в поисках утраченного времени

Марсель Пруст

По направлению к Свану

В поисках утраченного времени. Книга 1. По направлению к Свану

Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. По направлению к Свану
Обретение книги
Часть первая. Комбре
Часть вторая. Любовь Свана
Часть третья. Имена стран: имя
Примечания

Аннотация

Роман «По направлению к Свану» открывает монументальную семитомную эпопею Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», которую сам автор сравнивал с готическим собором и которая прочно вошла в число признанных шедевров мировой литературы.

Марсель Пруст
По направлению к Свану

Marcel Proust
À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann

© Любимов Н. М., наследники, перевод на русский язык, 2016
© Таганов А. Н., предисловие, 2016
© Фокин С. Л., примечания, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», ПАО «Т8 Издательские Технологии», 2016

* * *

Обретение книги

Лишь недавно у российского читателя появилась возможность прочесть полный перевод романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» и ощутить грандиозность и изящность замысла произведения, ставшего одним из самых известных и значительных явлений в искусстве XX века.

Путь прустовского романа к русскому читателю оказался весьма долгим, хотя его первые переводы появились еще в 1920–30-е годы. В этот период были напечатаны четыре тома книги, однако затем ее издание было приостановлено: Пруст явно не вписывался в каноны, установленные официальной эстетикой того времени.

Попытки возобновить издание «Поисков» неоднократно предпринимались в 1960–90-е годы. К сожалению, все они так и не были завершены: лишь совсем недавно появился заключительный том романа — «Обретенное время».

Впрочем, не слишком простым был путь книги Пруста и к французскому читателю. Вплотную к созданию своего произведения Пруст подходит

в конце 1900-х годов. В 1911 году завершается работа над первым вариантом романа, который состоял из трех частей. Однако поначалу попытки автора опубликовать его оканчиваются неудачей. Издатели — Пруст предлагал свою книгу издательствам «Фаскель», «Нувель Ревю Франсез» (Галлимар), «Оллендорф» — отвергают рукопись Пруста. Только в 1913 году он на собственные средства публикует первую часть романа под названием «По направлению к Свану» в издательстве «Грассэ».

Более удачно складывается судьба второго тома — «Под сенью девушек в цвету», напечатанного в 1918 году. За него годом позднее Прусту присуждается Гонкуровская премия. Между тем первоначальный замысел книги к данному времени изменился, став более обширным. Вслед за вторым томом выходят еще пять: «У Германтов» (1920–1921), «Содом и Гоморра» (1921–1922), затем, после смерти Пруста, — «Пленница» (1923), «Беглянка» (впервые напечатана в 1925 году под названием «Исчезнувшая Альбертина»), «Обретенное время» (1927).

Известно, что вплоть до последних дней Пруст продолжал править текст романа, изменяя его, внося многочисленные дополнения или же,

напротив, сокращая, как это было в случае с «Беглянкой», над рукописью которой Пруст работал перед самой смертью. Особое внимание Пруста к своей книге и удивительная приверженность к ней объяснимы, ибо путь писателя к главному своему произведению был чрезвычайно сложным и длительным. Достаточно долгое время бытовало мнение о том, что этот роман явился результатом внезапного и чудесного творческого порыва, ибо до его появления Пруст был известен лишь ранним сборником новелл, стихов и эссе «Утехи и дни» (1896), переводами книг английского писателя Джона Рескина, литературно-критическими статьями и светской хроникой, которые не принесли ему славы. До публикации и признания «Поисков» Пруст воспринимался скорее как сноб и денди, завсегдатай светских парижских салонов, куда он, человек неаристократического происхождения, был допущен во многом благодаря протекции своих друзей. На литературные же занятия Пруста смотрели как на любительство.

Только после того, как в архиве Пруста были найдены рукописи незаконченного романа, изданного в 1952 году под названием «Жан Сантей», и эссе «Против Сент-Бёва», напечатанного в 1954

году, перед литературоведами и читателями стала отчетливо проявляться вся масштабность писательской деятельности Пруста. Представление о художнике-дилетанте, внезапно обретшем силу творческого гения, сменилось осознанием того, что начиная с довольно раннего возраста Пруст последовательно и целенаправленно стремился к реализации своего уникального мировосприятия, создавая при этом по сути дела единую художественную ткань, где всё — ощущения, чувства, впечатления, образы, отдельные фрагменты текста, отдельные произведения — соединяется между собой сложными связями. В результате возникает возможность говорить об эффекте палимпсеста (рукописи, исполненной на пергаменте по смытому или счищенному тексту), ибо на протяжении всего творчества Пруст, по сути дела, «переписывает» один и тот же текст, который он начинает создавать с первых моментов занятия литературой, и далее продолжает работать над ним на протяжении всей жизни. Так рождается огромного масштаба палимпсест, в котором предыдущие письмена «просвечивают» сквозь новые. Этот принцип характерен как для всего творчества Пруста в целом, так и для отдельных его книг, начиная с самой первой

— сборника «Утехи и дни», вплоть до последних томов романа «В поисках утраченного времени», который занимает и в творчестве, и в жизни Пруста, несомненно, исключительное место.

Роман Пруста — произведение очень личностное, построенное на жизненном опыте, пережитом самим писателем. Вместе с тем он никоим образом не укладывается в рамки определения «автобиографический роман». Между текстом «Поисков» и жизнью писателя, так же как между личностью рассказчика по имени Марсель и Марселем Прустом, существует значительная дистанция. Пруст абстрагируется от фактов своего существования, подвергает их осмыслению, тщательному аналитическому препарированию, соотносит с общечеловеческим опытом, возводит их в степень философского обобщения. В результате книга вбирает в себя не только личностное начало, но и черты, характерные для общественно-духовной жизни эпохи. В силу этого при рассмотрении генезиса художественной системы Пру-ста чрезвычайно важно учитывать как индивидуальные особенности писателя, так и социально-культурные факторы, во многом обусловившие специфику его мироощущения.

Жизнь Пруста насыщена не слишком большим

количеством событий внешнего плана. Однако все они в той или иной мере «участвовали» в становлении художественной системы, послужившей основой для его произведений, так или иначе отразились в них.

Марсель Пруст родился 10 июля 1871 года в Отее, пригороде Парижа. Его отцом был Адриен Пруст (1834–1903), известный врач-гигиенист, специалист по восточным инфекционным болезням, член Медицинской академии. Мать Марселя, Жанна (1849–1905), происходила из богатого еврейского рода Вейлей. В 1873 году семья перебирается в Париж, где проходит большая часть жизни Марселя, правда в детстве он часто гостит в Отее, в доме родственников матери, или же в небольшом городке Ил-лье, находящемся недалеко от Шартра, в котором издавна, с XVI века, проживает семейство Прустов. Именно Иллье послужит основанием для создания образа Комбре в романе «В поисках утраченного времени». В более позднее время Пруст часто бывает летом и осенью в нормандских городах Трувиль, Кабург, Довиль, которые сольются в главной книге Пруста в образ Бальбека. Кроме того, в 1890–1900 годы писатель совершил ряд заграничных поездок (Амстердам, Брюгге, Антверпен, Дельфт, Гар-

лем, Гаага, Венеция и т. д.), в значительной мере определивших «географию» художественного пространства его романа и специфику образного ряда, в первую очередь соотносящегося со сферой искусства.

В девять или, по другим сведениям, в десять лет Пруст испытал первый приступ астмы, болезни, которая во многом обусловила его восприятие и образ жизни. Во всяком случае, тема болезни проходит через все его творчество, начиная с первой книги «Наслаждения и дни», которую он посвящает своему рано ушедшему из жизни другу Уильяму Хиту, видя в нем родственную душу, так как его собственная болезнь постоянно напоминает ему о трагической стороне человеческой судьбы. Болезнь как неизбежный атрибут существования персонажа-повествователя постоянно присутствует и в «Поисках».

В 1882 году Пруст поступает в лицей Кондорсе, испытывает сильное влияние преподавателя философии Дарлю. В 1889–1890 годах служит добровольцем в пехотном полку, расквартированном в Орлеане. Затем возвращается в Париж, поступает в Высшую школу политических наук. Начиная с конца 1880-х годов посещает парижские салоны (салоны г-жи Штраус, г-жи Бизе,

г-жи де Кайяве, г-жи Лемер и др.). Именно здесь Пруст черпает материал для своих будущих произведений. Как отмечает в своих мемуарах один из друзей писателя, Робер Дрейфус: «Мы никогда не смогли бы прочитать ни „Любовь Свана“, ни „У Герман-тов “, если бы тридцатью годами раньше он не решился бы вести раннюю и активную светскую жизнь»[1]. Именно здесь Пруст часто находил прототипов для своих персонажей, таких, скажем, как Шарль Аас (1832–1902) и Шарль Эфросси (1848–1905), черты которых будут узнаваться в Сване, или известный в то время писатель Робер де Монтескью-Фезанзак (1855–1921), чья личность послужила основанием для создания образа барона Шарлю.

Из других событий, бесспорно повлиявших на формирование личности Пруста, необходимо отметить всякий раз тяжело переживаемую им смерть родных (сначала бабушки и отца, затем — матери), обострение болезни и своеобразное затворничество в комнате, обитой пробковым деревом, где и была создана основная часть романа, принесшего ему славу.

Одной из главных, бросающихся в глаза от-

---

[1] Примечания: 1

Dreyfus R. Souvenirs sur Marcel Proust. Paris, 1926. P. 55–56.

личительных черт внутреннего мира Пруста, которую, как правило, особо выделяют все биографы и исследователи его творчества, является сверхострая чувствительность, проявившаяся уже в детские годы, постоянно заявлявшая о себе в последующие периоды, нашедшая отражение в его произведениях и, видимо, во многом обусловленная его болезнью.

С болезненно-чувствительной особенностью характера Прус-та связана и другая черта его натуры — фанатичная приверженность своей матери. Так, например, в относящемся, очевидно, к 1880-м годам вопроснике для альбома Антуанетты Фор, одной из дочерей будущего президента Франции, в котором в соответствии с модой того времени Пруст высказывает свои суждения по поводу собственных вкусов, интересов и личностных качеств, на вопрос: «Ваше представление о несчастье» он отвечает: «Быть разлученным с мамой». Эта любовь предельно отчетливо отражается и в его творчестве, подтверждением чему является хотя бы тема вечернего прощания с матерью, возникающая в первом томе «Поисков» и лейтмотивом проходящая через весь роман, вплоть до последних сцен заключительного тома.

По мнению Ж. Лакретеля, Пруст был приме-

ром гиперчувствительного ребенка, с ранимой и легковозбудимой психикой, для которого материнская нежность являлась жизненной необходимостью и который пытался проникнуть в секреты бытия через внутреннее созерцание. Таким образом, формируется «подспудное начало, из которого он будет черпать материал для своего творчества»[2]. Начиная с ранних лет гипертрофированная чувствительность Пруста выразилась в страстной жажде любви и нежности. Именно эти слова становятся своеобразным лейтмотивом прустовской переписки тех лет. Показателен в этом плане и уже упоминавшийся вопросник Антуанетты Фор. В нем на вопрос: «Что вызывает у вас наибольшую антипатию?» Пруст отвечает: «Люди, которые не чувствуют добра, не ведают ни нежности, ни любви».

В другой анкете немного более позднего периода на вопрос: «Главная черта моего характера» Пруст дает ответ: «Потребность быть любимым, а точнее — желание жить скорее в ласке и — чтоб меня баловали, нежели стремление вызывать восхищение». В этой связи в одной из последних биографий писателя говорится о том, что его по

---

[2] Примечания: 2

Lacretelle J. Centenaire de Marcel Proust. 1871–1971. Paris, 1972. P. 3.

сути своей детское желание быть любимым приобретало деспотический характер: «Он требует от другого, чтоб тот любил лишь его одного, в то время как сам претендует на любовь ко многим. Указанная черта будет преобладать над другими его свойствами. Она является первым знаком той навязчивой ревности, которая станет одной из тем его творчества»[3].

В результате столкновения обостренной чувствительности Пруста с внешней действительностью, с миром «других», который достаточно часто будет проявлять себя по отношению к писателю жестоким, отказывающим в понимании, рождался довольно сложный комплекс эмоций, в котором чувства разочарования, пессимизма, неверия в абсолютную любовь и дружбу постепенно занимают важнейшее место.

Сложность психологической организации личности Пруста (что во многом обусловливает наличие в зарубежном литературоведении большого числа исследований, носящих психоаналитический характер или затрагивающих вопросы психологии личности автора «Поисков»), замкнутость в себе и на себе во многом

[3] Примечания: 3
Diesbach G. de. Proust. Paris, 1991. P. 58.

объясняют его желание испытать полную гамму всевозможных человеческих чувств. Предельно отчетливо эта экстраординарность психологии Пруста проявила себя еще в его лицейские годы, которые во многих отношениях оказываются весьма важным этапом в его жизни. В этот момент особенно интенсивно происходит формирование и утверждение основных черт характера будущего писателя, определяется шкала его ценностей, устанавливаются основы экзистенциальных, философских, эстетических взглядов — всего того, что обусловит направленность его творчества. В эти годы, когда Пруст активно соприкасался с миром «других» и когда перед ним особенно часто с неизбежным постоянством возникала проблема сложности человеческих взаимоотношений, его жажда любви и нежности, желание пережить глубину, разнообразие ощущений и чувств, доступных человеческой природе, которое нередко вело к табуизированным официальной моралью явлениям, наталкивались на недоверие и непонимание не только взрослых, но и сверстников. В результате этого рождалось сложное переплетение переживаний и эмоций, зачастую в свою очередь вызывающих необычные и непривычные для окружающих формы

поведения, в том числе — сексуального, которые заставляли общающихся с ним людей подозревать его в склонностях сомнительного с позиции общепринятых нравственных норм характера.

Один из лицейских друзей Пруста, Даниэль Галеви, вспоминая о годах учебы, замечает, что в это время Пруст, чей облик («огромные, восточного типа глаза, большой белый воротник и развевающийся галстук») напоминал образ «беспокойного и беспокоящего архангела», вызывал одновременно любовь, восхищение, но и удивление, неловкость, ощущение «несоизмеримости» с ним. «Было в нем что-то, — признается Галеви, — что не нравилось нам… Он, с нашей точки зрения, слишком мало походил на мальчика; его вежливость, нежное внимание, его ласки мы часто, не будучи способными понять столь ранимое сердце, называли манерностью, и нам случалось говорить это ему прямо в лицо: его глаза тогда становились грустнее. Ничто, однако, не могло сделать его менее любезным»[4].

О «притягательной загадочности» Пруста-лицеиста вспоминает и Робер Дрейфус. Он также говорит об «утонченной», «неисчерпаемой»

---

[4] Примечания: 4

См.: *Halévy D.* Pays parisiens. Paris, 1932. P. 121–123.

любезности Пруста, которая воспринималась окружающими как нечто утомительное: «Такой близкий нам, Пруст тем не менее был сотворен словно бы из иной субстанции. Этого оказалось достаточно, чтобы разжечь наше недоверие, нашу несправедливую суровость по отношению к нему… Мы еще не понимали, что его слова „любезность “, „нежность “, которыми он постоянно злоупотреблял, обращаясь к нам, как мы позднее поняли, очень искренне, скромно и сдержанно, выражали его глубокую потребность в человеческой симпатии, его порывы, идущие от благородной и интеллигентной доброты»[5].

Стремление Пруста выйти за грань дозволенного во многом может быть объяснено его стремлением познать всю совокупность человеческих ощущений и чувств, добраться до таинственных глубин неподвластного разуму подсознания, в котором он угадывал истоки многих важнейших свойств человеческой природы, истоки жизненной и творческой энергии. Без присутствия этого «запретного» в жизни Пруста многое в его творчестве, и прежде всего — в романе «В поисках утраченного времени» (в первую очередь тема

---

[5] Примечания: 5

Dreyfus R. Souvenirs sur Marcel Proust. P. 34–35.

«Содома и Гоморры», проблемы, связанные с чувствами любви и ревности), очевидно, попросту не состоялось бы.

Вполне уместно предположить, что Пруст обладал более богатой и тонкой гаммой чувств, чем большинство других людей, — и это объясняло сложность его взаимоотношений с окружающими.

Специфика необычного мира прустовской личности, безусловно, в огромной степени определила особенности художественной системы романа «В поисках утраченного времени», однако в не меньшей степени ее формирование определено и культурной ситуацией эпохи.

Творческий дебют Пруста и его формирование как писателя приходится на «конец века» — время, которое поставило человека в чрезвычайно сложную экзистенциальную и гносеологическую ситуацию, заставило его необычайно остро ощутить разлад с миром привычных ценностей и утрату внутренней целостности, время, которое подвело итог существованию цивилизации на протяжении предшествующих веков и во многом предопределило направление и особенности культурного развития в XX веке.

Оформление первых литературных опытов

Пруста происходит сначала в ученических сочинениях, о чем он потом будет вспоминать в романе «Жан Сантей», затем в школьных журналах «Ле Лэнди», «Ла Ревю верт», «Ла Ревю лила». Пруст довольно рано начал играть особую роль среди своих друзей, приобретя репутацию человека, умеющего ориентироваться в сложной и запутанной литературной ситуации конца XIX века, обусловленной обилием самых разных школ и направлений. «Наш учитель вкуса» — так оценивает роль Пруста в те годы Даниэль Галеви[6].

Позиция Пруста в этот период, как, впрочем, и в дальнейшем, отличается сдержанной осмотрительностью. Несмотря на свою сверхчувствительную природу, он не желает слепо следовать за своими увлечениями или за модой, хотя собственные пристрастия у него в эти годы, безусловно, есть. В одном из писем 1888 года к Даниэлю Галеви в ответ на просьбу друга высказать свое мнение по поводу современной поэзии Пруст пишет: «Я не являюсь декадентом. В этом веке я особенно люблю Мюссе, старика Гюго, Мишле, Ренана, Сюлли-Прюдома, Леконта де Лиля, Галеви, Тэна, Бэка, Франса. Мне доставляет

---

[6] Примечания: 6
Halévy D. Pays parisiens. P. 117.

большое удовольствие Банвиль, Эредиа и своеобразная идеальная антология, составленная мною из фрагментов творчества поэтов, которых я в целом не принимаю: „Цветы“ Малларме, „Песни“ Поля Верлена и т. д. и т. д.»[7].

В большую литературу Пруст вступает, правда оставшись при этом почти незамеченным и публикой, и критикой, в начале 1890-х годов, когда в парижской прессе появляются первые его произведения: новеллы, эссе, светская хроника. Своеобразным итогом этого этапа писательской деятельности Пруста можно считать сборник «Наслаждения и дни», в основном составленный из напечатанных к этому времени произведений. Первые публикации Пруста относятся к 1890-м годам. Долгое время самыми ранними его работами считались статьи и рецензии, появившиеся в 1892 году в журнале «Ле Банке». Однако открытия последних лет отодвигают эту дату по крайней мере на два года назад: публикации, принадлежащие перу Пруста, были обнаружены в малотиражном журнале «Ле Мансюэль», выходившем в 1890 и 1891 годах.

Что касается произведений, напечатанных в

---

[7] Примечания: 7

Proust M. Ecrits de jeunesse. 1887–1895. Illiers-Combray, 1991. P. 56.

«Ле Банке», основанном в 1892 году (название в переводе означает «пир», и возникло оно по аналогии с произведением Платона), их появление объяснялось прежде всего тем, что Пруст был членом группы, объединившейся вокруг этого издания, в которую входили многие из его лицейских друзей. Кроме названных журналов Пруст в разное время печатался и в других парижских изданиях: «Литтератюр э критик», «Гратис-Журналь», «Ревю бланш», «Ла Патри», «Ле Голуа» и т. д.

Несмотря на участие в разного рода журналах и газетах, с самого начала своей творческой деятельности Пруст занимает достаточно обособленную позицию, настороженно относится к многочисленным литературным школам. С другой стороны, как в ранние, так и в последующие годы Пруст проявляет живейший интерес ко многим художественным явлениям. Определить, какое из них оказало решающее влияние на Пруста, — задача практически невыполнимая. Их круг чрезвычайно широк и разнообразен. Кроме уже названных ранее, можно упомянуть творчество О. Бальзака, Ф. Р. де Шатобриана, А. де Виньи, Ж. Санд, Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, П. Лоти, Р. де Монтескью, М. Барреса, Л. Н. Тол-

стого, Ф. М. Достоевского, Дж. Рёскина, Дж. Элиот и многих других. Как большинство писателей этого времени, Пруст не мог не испытать воздействия философских концепций, определявших особенности духовной атмосферы Франции «конца века»: идей Шопенгауэра, Вагнера, Ницше, Бергсона и т. д.

Подобная пестрота интересов не только не вредит ему, но, напротив, оказывается весьма плодотворной. Художественная система Пруста имеет изначально «фокусирующий» характер. Возникая на пересечении рационалистических и иррационалистических тенденций, она вбирает в себя самые разные проявления литературной жизни и затем своеобразно «преломляет» их, задавая им новое направление. Изначально лишенная радикального эстетического нигилизма и имеющая открытый характер, она постепенно приобретает все большую широту и одновременно — независимость и способность к творческому саморазвитию и качественной трансформации. Художественное сознание Пруста постоянно направлено на приобретение нового эстетического опыта за счет приобщения к опыту других писателей и его своеобразного «переживания». «Как только я приступал к чтению какого-нибудь

автора, — пишет в работе „Против Сент-Бёва“ Пруст, — я начинал распознавать за словами мелодию песни, которая у каждого писателя отлична от других, и, читая, я безотчетно для себя напевал ее, замедляя или убыстряя ход слов или же останавливая ее совсем»[8].

Важно отметить, что в отношении Пруста к этим литературным явлениям наряду с позитивным их освоением всякий раз присутствует и их критическое переосмысление, то есть наряду с «за», как правило, у Пруста есть и весомое «против» (против «неясности» символистов, против «идолопоклонства» Рескина, против литературно-критического метода Сент-Бёва и т. д.). Знакомясь с тем или иным художественным явлением, Пруст стремится, поняв его, проникнув в его суть, приобрести над ним власть и таким образом высвободиться из-под его влияния. В этой связи показателен прустовский интерес к жанру пастиша, который прослеживается на протяжении всего его творчества. В 1919 году выходит в свет его книга «Пастиши и смеси», одну из частей которой составляет собрание подражаний ряду французских писателей и критиков (Бальзаку,

[8] Примечания: 8

Proust M. Contre Sainte-Beuve pr*écédé* de Pastiches et m*é*langes et suivi de Essais et articles. Paris, 1971. P. 303. (Bibliothčque de la Pléiade).

Флоберу, Сент-Беву, Анри де Ренье, Гонкурам, Мишле, Фаге, Ренану, Сен-Симону), опубликованных Прустом в газете «Фигаро» на протяжении 1908–1909 годов. Являясь хорошей школой в стилевом плане, пастиш вместе с тем для Пруста — эффектное и эффективное средство преодоления влияний и увлечений, приводящих к потере творческой самобытности и самостоятельности.

Приобщение к обширному литературному контексту и накопление на его основе художественного опыта неизменно сопровождались у Пруста попытками теоретического обобщения и осмысления воспринятого.

Обладая особым эстетическим чутьем, Пруст усваивал существующий до него опыт художественного познания, извлекая из него прежде всего то, что могло дать ростки принципиально нового в его творчестве. Сознание Пруста-художника действует подобно тем живым природным созданиям, которые, перелетая с цветка на цветок, вытягивают из них чудесный экстракт, образующий в конце концов таинственно-прекрасную, наполненную теплом и светом эссенцию, заключающую в себе жизнетворную энергию бытия. Пруст из всего разнообразия явлений духовной жизни, попадающих в поле его зрения, пропус-

каемых через его сознание, извлекает то, что созвучно его внутреннему камертону, то, что затрагивает его личный опыт, то, что вызывает в нем ощущение живой деятельности, непосредственного переживания жизни, то, что позволяет создать реальный образ существования и осмыслить его.

Таким образом, начиная с раннего творчества Пруст-художник формируется не в замкнутом автономном пространстве, отгороженном от огромного культурного наследия человечества, накопленного за века цивилизации, и от современной ему духовной жизни, но в самой ее гуще. Эстетические теории, вошедшие в культурный обиход эпохи, сочетались у Пруста с его индивидуальным экзистенциальным и художественным опытом, пропускались через субъективное мироощущение, накладывались на своеобразную эмоционально-чувственную стихию, сформированную жизнью писателя.

С самого начала взгляды Пруста на искусство, отразившиеся в его критических статьях, рецензиях, эссе, часть из которых при жизни писателя осталась неопубликованной, отличались широтой. Продолжая традиции, существовавшие во Франции (Дидро, Стендаль, Бодлер и др.), Пруст

стремится создать своеобразную философию искусства, основываясь не только на явлениях литературы, но и музыки, живописи, архитектуры (статьи «Воскресный день в консерватории», «Против неясности», «Шарден и Рембрандт» и другие). Так, в письме директору журнала «Ревю эбдомадер» Пьеру Менге (1895) Пруст сообщает по поводу своей статьи «Шарден и Рембрандт»: «Я только что написал небольшой этюд по философии искусства, если только подобный термин не является слишком претенциозным, в котором я пытаюсь показать, как великие художники приобщают нас к знанию и внушают любовь к внешнему миру…»[9]

Искусство для Пруста — главный способ приобщения к глубинным основам человеческого бытия. Этот принцип будет исповедоваться писателем на протяжении всего его творчества и во многом определит специфику прустовских произведений, в которых проблемы творчества в различных его проявлениях будут традиционно занимать важное место. В разное время помимо литературных интересов у Пруста можно отметить проявление внимания к живописи Вер-

[9] Примечания: 9
Proust M. Correspondance. Paris, 1970. T. 1: 1880–1895. P. 444.

меера, Шардена, Рембрандта, Моро, Ватто, Моне, Уистлера, к архитектуре французских соборов, к музыке Сен-Санса, Бетховена, Франка Дебюсси, Вагнера, Бородина, Мусоргского и других. Эрудиция Пруста в этих областях поразительна. Имена писателей, композиторов, художников, встречающиеся в его произведениях, не поддаются исчислению.

Как уже отмечалось, последние годы жизни Пруста прошли под знаком своеобразного затворничества. Нередко это обстоятельство возводится в ранг своего рода легенды, в результате чего возникает образ писателя-отшельника, отказавшегося от любых контактов с внешним миром, утратившего всякий интерес к нему, всецело погрузившегося в мир субъективных переживаний.

Подобные представления о Прусте-писателе в достаточно малой степени соответствуют действительности. Даже в последние годы жизни, несмотря на обострение болезни, Пруст не утрачивает интереса к жизни во всех ее проявлениях, в том числе и к миру, существующему за пределами его знаменитой комнаты, обитой пробковым деревом, не порывает контактов с ним, о чем свидетельствует обширнейшая переписка писателя

и, конечно же, его роман «В поисках утраченного времени».

Книга Пруста поражает своей масштабностью, насыщенностью сложнейшими проблемами, связанными с человеческим существованием. Жизнь представлена в ней на самых разных уровнях: экзистенциальном, социально-историческом, конкретно-личностном, интимно-чувственном. Вопросы, затрагиваемые Прустом, касаются всех форм проявления человеческого бытия: сферы быта, личной и семейной жизни, любви, ревности, дружбы, общественных отношений, политики, искусства и т. д. В романе Пруста действует огромное число персонажей, представляющих различные социальные слои, различные стороны общественной жизни: простолюдины, буржуа, аристократы, слуги, обыватели, политики, ученые, писатели, художники, композиторы, актеры… Как правило, персонажи эти вымышлены. Однако у многих из них обнаруживаются реально существовавшие прототипы. Чаще всего Пруст соединяет в одном образе черты нескольких лиц. Так, образ герцогини Германтской вобрал в себя личностные особенности, присущие графине Грефюль, г-же Штраус, графине де Шевинье. Образ г-жи Вердюрен родился благода-

ря реально существовавшим г-же де Кайяве и г-же Лемер. В облике актрисы Берма запечатлены черты известных актрис «рубежа веков» Рашели и Сары Бернар. Говоря о другом персонаже Пруста, о писателе Берготе, часто вспоминают А. Франса, А. Бергсона, П. Бурже, Э. Ренана, М. Барреса.

В книге Пруста множество примет, отражающих реалии духовной жизни Франции и Европы конца XIX — начала XX века. Здесь упоминаются такие события, как дело Дрейфуса, мировая война, революция в России, сезоны русского балета в Париже и множество других. Текст «Поисков» насыщен именами реально существовавших людей, представляющих различные сферы общественной жизни: политики, науки, искусства. Среди них — Рембо, Верлен, Франс, Вагнер, Ницше, Стравинский, Жорес, Пуанкаре, Николай II, Распутин, Ленин и множество других (список имен, имеющийся в издании «Поисков» в серии «Библиотека Плеяды», насчитывает более ста страниц).

На первый взгляд книга Пруста производит впечатление произведения достаточно хаотичного, аморфного, где общий замысел тонет в многочисленных описаниях, авторских рассуждениях, растворяется в длиннейшей фразе, структура

которой всецело зависит от непредсказуемого течения авторской мысли, построенной на множества ассоциаций. С этой особенностью романа были во многом связаны и неудачи, с которыми Пруст столкнулся при попытках опубликовать свою книгу. Однако необходимо сказать, что роман «В поисках утраченного времени» был изначально задуман как очень четкая конструкция. «Наконец-то я нашел читателя, — пишет Пруст в 1914 году Жаку Ривьеру, — который догадывается, что моя книга представляет собой конструкцию…»[10] В письме же, адресованном Полю Суде, он замечает: «Композиция „В поисках утраченного времени“ настолько тщательно продумана… что заключительная глава последнего тома была написана сразу же вслед за первой главой тома первого»[11].

Присутствие авторского замысла просматривается в книге весьма отчетливо. Пространство, которое выстраивается вокруг главного персонажа, казалось бы, бессистемно, по трудно предсказуемой и необъяснимой логике спонтанной памяти, основанной на аналогии ощущений

---

[10] Примечания: 10

Proust M., Rivičre J. Correspondance (1914–1922). Paris, 1955. P. 1.

[11] Примечания: 11

Цит. по: *Мориак К.* Пруст. М., 1999. С. 197.

прошлого и настоящего, тем не менее строго структурировано. Все темы, образы романа, все фрагменты жизни героя — Комбре, «сторона Свана», «сторона Германтов», парижская повседневность и столичные светские салоны, курортная жизнь Бальбека и т. д., — которые поначалу воспринимаются как хаотичный поток сознания, выстраиваются в целостную структуру текста, архитектонику которого Пруст любил сравнивать с архитектурой собора.

То, что Пруст чрезвычайно внимательно относится к отдельным фрагментам реальности, к конкретным жизненным деталям и фактам, зачастую давало повод говорить о нем как о тонком аналитике, под микроскопом изучающем отдельные проявления бытия («Он рассматривает людей через лупу», — писал о Пру-сте художник Жак-Эмиль Бланш[12]), или же как о художнике-импрессионисте, пытающемся зафиксировать мимолетные впечатления. Пруст всегда с явным неудовольствием относился к подобным оценкам. В одном из писем к Луи де Роберу он пишет: «Вы говорите о моем прихотливом искусстве, основанном на детали, на неуловимом и т. д. Я

[12] Примечания: 12
Цит. по: *Bonnet H.* Marcel Proust de 1907 à 1914. Paris, 1971. T. 1. P. 181.

не знаю точно, что я делаю, но я наверняка знаю то, что я хочу сделать. Так вот, я опускаю детали, факты, я стремлюсь лишь к тому, что, как мне кажется… раскрывает какие-то общие законы»[13].

В «Обретенном времени» писатель с обидой говорит о тех, кто посчитал, что он «копается в мелочах», что проблемы, которые затронуты в его романе, «увидены под микроскопом», в то время как он «вооружился телескопом» для того, чтобы «открывать великие законы».

Та же мысль звучит и в письме к Камиллу Веттару: «Я хотел бы, чтобы все увидели в моей книге реализацию особого чувства… которое очень трудно описать тем, кто никогда его не испытывал (все равно как слепому объяснить, что такое зрение)… Образ, который, может быть, наилучшим образом поможет понять, что из себя представляет это особое чувство, — образ телескопа, который направлен на время… Я пытался сделать зримыми для сознания бессознательные феномены, которые, будучи полностью забыты-ми, пребывают далеко в прошлом»[14]. Принцип телескопа (нацеленность на удаленные, до по-

[13] Примечания: 13
Robert L. de. Comment débuta Marcel Proust. Paris, 1969. P. 60.

[14] Примечания: 14
Proust M. Correspondance générale. Paris, 1932. T. 3. P. 194–195.

ры не видимые, «не обретенные» жизненные явления) дает Прусту возможность выявлять универсальные законы существования.

Центром, объединяющим все множество фрагментов бытия, представленных в романе, является «я» рассказчика, творящего на наших глазах таинство возвращения моментов прошлой жизни, обретения «утраченного времени». Мироощущение этого «я», обретающего свое представление о мире, и становится главным структурообразующим началом книги. Первая фраза романа («Давно уже я привык укладываться рано»), возникающая словно бы продолжение уже давно длящегося повествования, задает главное направление всего произведения — стремление не только к восстановлению в сознании прожитой жизни, «утраченного времени», но и к обретению понимания сути своей роли и своего положения в мире.

Важнейшими моментами, определяющими суть жизненных воззрений героя романа и самого Пруста, являются понятия «Жизнь», «Время», «Смерть», «Искусство». Они постоянно выходят на «поверхность» прустовского мироощущения. Начиная с первых литературных шагов понятие «Смерть» задает масштаб шкалы ценностей писа-

теля. Образ смерти порождает в сознании Пруста парадоксальную логику. Предвосхищая экзистенциалистов, Пруст констатирует неизбежность конечности индивидуального существования, приобретающего в силу этого трагический характер. Однако писатель считает эту констатацию не концом, а началом размышлений о жизни. Тема смерти постоянно присутствует на протяжении всего романа «В поисках утраченного времени» (многочисленные рассуждения рассказчика, смерть бабушки, Альбертины). Размышлениям о ней посвящены и финальные сцены романа. Если учесть к тому же, что одним из последних текстов, над которыми работал Пруст, был эпизод смерти Бергота, можно отметить, что тема смерти «обрамляет» все творчество Пруста как в хронологическом, так и в структурном плане, ибо осознание трагического удела человеческого существования присутствует уже во многих произведениях, вошедших в сборник «Утехи и дни». Так, болезнь и ощущение неотвратимости смерти заставляет главного героя новеллы «Смерть Бальдассара Сильванда» воспринимать жизнь как движение к концу, однако это движение приобретает странную форму: человек продвигается к жизненному финалу, словно бы пятясь, обращая

свой взгляд назад — на пройденный путь. Это стремление обозреть преодоленное жизненное пространство, собрать воедино все пережитые мгновения станет основным мотивом и позднего творчества писателя. Финальная же сцена новеллы, где Бальдассар Сильванд, услышав звук колоколов, пробудивших его память, за несколько мгновений переживает все самые дорогие моменты своей жизни, словно бы в свернутом виде представляет всю структуру «Поисков».

Не будучи уверенным в индивидуальном духовном бессмертии, Пруст не сомневается в существовании вечного универсального духовного основания жизни. В подобном контексте понятие «Смерть» приобретает оттенок относительности. Оно оказывается теснейшим образом связанным с другим понятием — «Время», которое обретает в прустовском романе видимые контуры, «проявляемые», объективируемые существованием человека. Герой «Поисков», встретив у Германтов своих давних знакомых, с трудом узнает этих людей, стараясь сопоставить их нынешний образ с прежним, запечатленным в его памяти. Обнаруживающиеся в связи с этим различия позволяют выявить невидимое до поры Время.

Существование человека для Пруста — движе-

ние через пространство Жизни, подчиненное закону Времени. Однако это пространство соотносится с вечным всеобщим основанием бытия. Смерть является для Пруста своего рода границей между индивидуальной и универсальной формами существования, между Жизнью-Временем и Вечностью.

«Когда мы говорим „смерть“, — замечает Пруст, — мы упрощаем это явление, а ведь смертей почти столько же, сколько людей» («Пленница»). Смерть — понятие, порожденное привычкой к индивидуальному существованию: «Наша любовь к жизни — всего-навсего старая связь, от которой мы никак не можем отделаться, сила ее в постоянстве» («Беглянка»). Любовь к жизни, таким образом, оказывается для Пруста наваждением, болезнью, смерть же, разрывая нашу связь с Жизнью, «излечивает нас от жажды бессмертия», обращает к иным измерениям, позволяет понять, что «смерть — это прежде всего отсутствие» («Беглянка»).

Понятия «Жизнь», «Смерть», «Время» в художественной системе романа «В поисках утраченного времени» сосуществуют в сложной взаимозависимости, порождая и обусловливая друг друга. Поскольку существование внутреннего «я», по

мнению Пруста, дискретно и проявляет себя в форме «перебоев чувства», Смерть имеет прямое отношение к повседневному существованию человека, ибо рождение каждого нового «я» сопровождается исчезновением предыдущего. «Мы, — пишет Пруст, — страстно мечтаем об ином мире, в котором мы были бы такими же, как здесь. Но мы забываем, что, еще не дождавшись перехода в тот мир, мы и в этом мире по прошествии нескольких лет становимся другими, но не такими, какими нам хотелось бы оставаться навеки. Даже если откинуть мысль, что смерть изменит нас больше, чем превращения, происходящие с нами в жизни, все равно, повстречайся нам в ином мире то „я“, которым мы были прежде, мы бы от него отвернулись, как от тех, с кем мы были когда-то дружны, но с кем давно уже не виделись… Мы часто думаем о рае или, вернее, о многочисленных чередующихся раях, но все они, еще задолго до нашей смерти, оказываются потерянными раями, где мы чувствуем себя потерянными» («Содом и Гоморра»).

Смерть, считает Пруст, не только отделяет план Вечного от пространства Жизни, но постоянно вторгается в него, становясь неотъемлемой его частью. «Я понимал, что умереть, — говорит в

„Обретенном времени“ рассказчик, — не есть что-то новое, напротив, начиная с моего детства, я умирал уже множество раз». Собственно, страх перед смертью, с точки зрения Пруста, вырастает прежде всего из опасения утраты человеком своего «я», которую несет в себе будущее. Этот страх является для Пруста самой безобидной, неясной, «почти бессознательной формой мощного отчаянного сопротивления всего лучшего, что есть у нас теперь, тому, что мысленно мы приемлем такое будущее, где это лучшее отсутствует…» («Под сенью девушек в цвету»). Будущее несет в себе безразличие по отношению к «утраченному времени», ибо неизбежно меняется и наше «я», проявляя равнодушие к прошлому — к тому, что его уже не касается. Для Пруста — это «самая настоящая смерть», за которой, правда, последует воскресение, однако произойдет оно уже в ином «я», до любви к которому бессильны будут подняться обреченные на гибель составные части прежнего «я».

С другой стороны, то же положение вещей является у Пру-ста и основанием для преодоления страха перед смертью. Постоянные «последовательные смерти» отдельных «я», столь страшные поначалу из-за мысли о том, что они могут

уничтожить индивидуум, при их наступлении ощущаются спокойно и безразлично, ибо того, кто испытал страх, уже не существует и он попросту не может его ощущать. Так, Марсель, размышляя в «Обретенном времени» о смерти Альбертины, осознает, что умерла не только его возлюбленная, но и то его «я», которое испытывало к ней чувство: «Итак, я больше ее не любил, более того, я не был тем существом, которое ее любило, я стал иным, ее не любящим, я перестал ее любить, когда я стал другим».

Осознание неизбежности множества «последовательных смертей» на протяжении жизни и отсутствие боли и страдания при их осознании обусловливает в конце концов и особое отношение Марселя к физической смерти: «У существа, которым я стану после смерти, больше не будет повода вспоминать о том человеке, какого я представляю собой со дня моего рождения, так как этот человек не помнит, каким я был до своего рождения». В конечном итоге эти рассуждения приводят рассказчика к закономерному выводу: «Глупо бояться смерти» («Обретенное время»).

Проблема смерти и бессмертия оказывается у Пруста одним из аспектов более обширного вопроса — соотношения общего и частного. Каждый

индивидуум, сознавая конечность своего существования и ощущая в то же время внутреннюю сокровенную связь с единым духовным основанием, испытывает ностальгию по духовному и вечному. Из этой ностальгии неизбежно рождается еще одна проблема — проблема познания, ибо всякое «я» стремится определить смысл и место своего существования относительно универсального бытия, ощущая в себе его присутствие. «Поиски утраченного времени» в конечном счете и означают для главного героя Пруста постижение своего жизненного предназначения.

Главным объектом художественного познания Пруста является не внешняя реальность, не материальный мир («Материя безразлична, мысль может вложить в нее все, что угодно», — пишет он в «Обретенном времени»). Стремление к его постижению бессмысленно, ибо суть заключена не во внешних явлениях, а в наших бессознательных ощущениях и впечатлениях. Человек, как бы он этого ни хотел, считает Пруст, не может преодолеть границы своего сознания, картина же мира, складывающаяся в нашем уме, субъективна. Связи, возникшие в ней между отдельными вещами и существами, заданы нашим воображением. «Человек, — утверждает

Пруст, — существо, которое не может выйти за рамки своего „я“, которое знает других людей только в преломлении через его видение; если же он утверждает нечто противоположное, то он, попросту говоря, лжет…» («Беглянка»).

Таким образом, каждое отдельное «я» обладает своим мировосприятием, при этом видение одного человека соотносится по принципу относительности с видением других людей. Понятие «Истина» меняется в зависимости от точки отсчета. Общей объективной единицы ее измерения для Пруста не существует. Она всегда оказывается субъективной и произвольной. Ею может быть, например, плеск волн, как это происходит в одном из эпизодов «Содома и Гоморры», в котором Марсель во время одного из своих путешествий, созерцая море с высоты берега и уловив донесшийся до него плеск волн, предается следующим размышлениям: «Не являлся ли этот плеск особой единицей меры, которая, разрушая наше привычное восприятие, показывает нам, что, вопреки обычному нашему представлению, вертикальные расстояния соизмеримы с горизонтальными и что раз они приближают к нам небо, то, значит, они не так уж велики, что они даже короче преодолевающего их звука, как пре-

одолевала расстояние морская зыбь, потому что среда, через которую проходит звук, чище?»

Особую сложность, с точки зрения Пруста, представляет познание других людей, ибо их суть скрыта от познающего «я». «Другой» для Пруста — «тень, куда мы ни за что не проникнем и о которой нельзя составить ясное представление» («У Герман-тов»), стремление же к его познанию является погоней за «фантомами, большинство из которых живет только в нашем воображении» («Содом и Гоморра»).

Наиболее отчетливо трудности во взаимоотношениях и взаимопонимании людей у Пруста представлены в эпизодах, связанных с темой любви. Разрабатывая эту тему, Пруст «создает» еще одно из своих «против», на этот раз — «против Стендаля»[15]. Пруст отвергает стендалевскую концепцию «кристаллизации» любви, ибо она абсолютизирует роль объекта любовного чувства. Сила любовного влечения у Пруста зависит не столько от объективных причин, сколько от воображения любящего, создающего субъективный образ, зачастую очень далекий от действительности. В результате возникает сложное

[15] Примечания: 15

Полемика Пруста со Стендалем отчетливо проявилась еще в период работы над «Жаном Сантеем».

взаимоотношение воображаемого с действительным. Невозможность овладения всей полнотой знания об объекте любви порождает своего рода болезнь духа — ревность, то есть «жажду знания, благодаря которой мы в самых разных местах получаем всевозможные сведения, но только не то, которого добиваемся» («Пленница»). На этом основании рождается феномен любви-ревности: любовь Свана к Одетте, Марселя к Альбертине. Можно сказать, что в конечном итоге вся история любви Марселя к Альбертине — стремление к абсолютному обладанию ею, попытка заключить ее в «темницу» своего сознания, ее «пленение», нескончаемое бегство «пленницы» и бесконечная погоня за «беглянкой» — являет собой метафорическое изображение взаимоотношения человека с Жизнью, постоянно ускользающей за пределы наших стереотипных представлений о ней.

Итак, единственная подлинная реальность для Пруста — реальность внутреннего «я». Трагизм положения человека, однако, заключается в том, что существование внутреннего «я» постоянно «прерывается» вторжением внешнего повседневного бытия, приобретая форму «перебоев чувства». Истинная жизнь предстает перед человеком во фрагментах, их объединение — функция

индивидуального сознания, которое опирается на аналогии ощущений, возникающих при счастливой встрече с объектом, хранящим в себе чувственный опыт личности, относящийся к прошлому. Единственная возможность проникнуть через покровы внешнего мира повседневности к таинственным глубинам истинного бытия, с точки зрения Пруста, — это Искусство.

Тема искусства — одна из наиболее значительных в романе. Она представлена ярко, многогранно и проходит от первого до последнего тома «Поисков». Обращение Пруста к таким персонажам, как писатель Бергот, художник Эльстир, композитор Вентейль, актриса Берма — это попытка запечатлеть приметы духовной атмосферы своего времени, поразмышлять над особенностями ее развития. Вместе с тем принципиально важное место темы искусства в романе объясняется и еще одним обстоятельством. Ее значительность обусловлена прежде всего устремленностью повествователя, постоянно ощущающего тягу к творчеству, к поиску тех художественных принципов, которые способны вывести к подлинному произведению искусства. Роман Пруста — это и рассказ главного героя о своих творческих поисках. Путь Марселя к

«обретению» «своей» книги проходит через все произведение, оказываясь чрезвычайно долгим, извилистым. Рассказчик постоянно испытывает мучительные сомнения по поводу своего писательского призвания. «Как часто… — сетует он в первом томе, — во время прогулок по направлению к Германту, я еще сильнее, чем прежде, горевал из-за того, что у меня нет способностей к литературе и что я вынужден навсегда оставить надежду стать знаменитым писателем!» Только к финалу романа герой обретает наконец уверенность в своем призвании и находит путь к «своему» произведению. Отметим, что поиски главным персонажем собственного места в искусстве во многом соответствуют тому пути, который прошел и сам Пруст, прежде чем «обрел» свою книгу.

Естественно, в ранние годы только начинающее складываться прустовское мировоззрение не всегда имеет вид стройной, развернутой концепции, чаще предстает во фрагментах, тем не менее уже здесь возникают основные положения его экзистенциальной теории, вырисовываются контуры его художественной системы. Так, уже в первой книге Пруста, в сборнике «Утехи и дни», присутствует большая часть тех мотивов, обра-

зов, которые будут снова и снова появляться в его творчестве и в конце концов войдут в художественную ткань «Поисков».

Пруст достаточно рано пришел к мысли о сложности и динамизме человеческого бытия, рано ощутил интерес к психике человека. Вместе с тем сложность существования, по мысли Прус-та, определяется не только физиологическими или психическими процессами, она связана еще и с неизбежной для человека необходимостью существовать в социальном пространстве, сообразовываться с миром людей. Этот мир в свою очередь многомерен. В нем также действует сложная механика соотношений внутреннего и внешнего, кажущегося и настоящего, ложного и истинного. Исходя из подобного мироощущения, Пруст еще в «Утехах и днях» отчетливо обозначил тему параллельного бытия человека в двух плоскостях. С одной стороны — внешнее, социально-бытовое существование, обусловленное штампами расхожей повседневности, с другой — внутренняя, чувственно-интеллектуальная жизнь, в основе которой лежат имманентные законы подсознания. Эта мысль, ставшая одной из основных в романе «В поисках утраченного времени», приобретает важнейшее значение и

в первой книге Пруста. Вся структура сборника соответствует подобному представлению. Человеческая жизнь, жизнь отдельно взятого индивида, протекает на двух взаимно противоположных уровнях. Один из них — существование личности как общественного организма. При этом автор особое внимание уделяет светским салонам. Возникающее в сборнике замкнутое пространство светской среды, предвещающее аристократические салоны «Поисков», метафорически подчеркивает особенности положения человека в мире, дает возможность писателю сконцентрировать внимание на наиболее драматических сторонах бытия.

В рамках светской темы возникает чрезвычайно важная для всего творчества Пруста и прежде всего для «Поисков» тема Привычки, переводящей существование человека в плоскость неподлинного рутинного бытия, рождающей проблему «потерянного времени», то есть времени, безнадежно упущенного, бесплодно растраченного, которое соседствует в творчестве Пруста с иной разновидностью времени, уходящего в прошлое, — времени внутреннего «я», утраченного в силу естественного течения земной жизни.

Другой экзистенциальный уровень первой

книги Пруста — внутренняя жизнь субъективного «я», или отчужденная общественным бытием личности и потому робко и спонтанно проявляющая себя в отдельные редкие моменты в форме явления двойника-«постороннего», или же в свою очередь оттесняющая жизнь внешнюю, становящаяся первореальностью (новеллы «Грустная сельская жизнь мадам де Брейв», «Смерть Бальдассара Сильванда», «Посторонний»).

Уже в эти годы у Пруста возникает основополагающая для всего его творчества мысль о том, что обретение подлинного «я», а с ним и целостности личности, возможно вне суеты повседневности, не на поверхности жизненного потока, вне пространства, определяемого категорией настоящего времени. Уже в этой книге внешний мир по важности уступает миру внутреннему, существующему в сознании человека, независимому от времени. В «Утехах и днях» присутствуют и размышления над природой истинного искусства. Пруст приходит к выводу о том, что подлинная ценность творчества определяется не способностью создания универсальных, рационалистических схем бытия, а силой субъективно-чувственной энергии, заложенной в нем, умением адекватно воспроизводить эфемерную

стихию уникально-личностного чувственного мира. Подобная точка зрения в парадоксальной форме проявляется, например, в эссе «Похвала плохой музыке». Даже самая плохая музыка, по мнению Пруста, не только имеет право на существование, но часто может давать человеку больше, чем прекрасное произведение, в случае если она оказывается связанной с его внутренними эмоциональными порывами. Парадокс «плохой музыки» станет вскоре одним из главных принципов эстетической системы Пруста. Он лежит в основании одной из самых знаменитых прустовских тем — темы «музыкальной фразы», занимающей сначала в романе «Жан Сантей», а затем в «Поисках» особое место.

Задача художника для Пруста состоит в том, чтобы, основываясь на спонтанно возникающих ощущениях и воспроизводя их по принципу ассоциаций, используя способность художественного слова, отсылать к миру чувств, создавать художественную образность нового типа и, обнаружив тайную жизнь человеческой психики (вплоть до подсознательных сфер), вплотную подойти к истине бытия. Особую роль при этом Пруст возлагает на непроизвольную память, примеры действия которой можно найти в новеллах

«Смерть Бальдассара Сильванда», «Реальное присутствие», «Жемчужины», «Исповедь девушки». Так в раннем творчестве Пруста мы обнаруживаем еще одну тему, которая станет ключевой в структуре романа «В поисках утраченного времени».

Открытие рукописи романа «Жан Сантей», над которым Пруст работал во второй половине 1890-х годов, не только стало своего рода сенсацией, но и неизбежно поставило перед исследователями творчества Пруста естественно возникавший вопрос: почему, написав огромное количество страниц, обозначив множество тем и эпизодов, которые позднее будут играть определяющую роль и в «Поисках», писатель не закончил свое произведение, оставив его в виде многочисленных разрозненных фрагментов.

В структурном и содержательном плане книга Пруста напоминает прежде всего роман воспитания, в целом сохраняющий традиционные формы повествования. Здесь можно найти все мотивы, присущие произведениям подобного толка: детство, годы учения, дружба, любовь, вхождение в свет и т. д. Правда, наряду с лирическими мотивами существенное место здесь занимает и конкретно-социальная тематика.

Особенно показательны в этом плане фрагменты, посвященные делу Дрейфуса, и эпизоды, связанные со скандальной историей персонажа по имени Мари, замешанного в панамской афере.

Повествование о судьбе главного героя в «Жане Сантее» ведется от лица автора-рассказчика, присутствующего в самом произведении и претендующего на объективное и полное знание происходящего. Вместе с тем в романе «Жан Сантей», как и в сборнике «Наслаждения и дни», заметна тенденция не только к созданию повествования-истории, но и к импрессионистическому показу внутренних состояний души героя. Здесь зачастую мир чувств и переживаний оказывается более интересным для Пруста, чем перипетии внешней, социальной жизни. Внимание к этому миру характерно как для автора, так и для главного персонажа произведения. В то же время наряду с импрессионистическим воспроизведением мира чувств и ощущений в книге Пру-ста присутствуют обостренный аналитизм и рефлексия.

Работая над первым своим романом, Пруст явно стремился прежде всего представить подлинную картину бытия внутреннего «я» человека, сознавая, очевидно, при этом, что средством восстановления постоянно прерывающегося

течения внутреннего существования может быть только искусство особого рода, неизменно нацеленное на мир субъекта, не разрушающее его и не искажающее внутреннюю логику его развития. Однако формы такого искусства Пруст находит не сразу, во всяком случае не в период работы над романом «Жан Сантей». Несмотря на то что в этом произведении все внимание автора в конечном итоге оказывается направленным на внутреннее состояние героя, традиционные приемы художественной условности (повествование от лица «всезнающего рассказчика») прежде всего не дают возможность полностью восстановить непрерывность внутреннего мира героя. Повествователь, выступая здесь в качестве посредника между героем и читателем, становится непреодолимым препятствием для осуществления «показа-самораскрытия» внутреннего мира героя. Он должен постоянно «соблюдать правила игры», заботясь о правдоподобии, доказывать свое право на повествование и на знание того, о чем он рассказывает. Как и многие другие писатели того времени (А. Жид, П. Валери, Э. Дюжарден и другие), Пруст, чувствуя несостоятельность повествования, основанного на универсальной неподвижной точке зрения, пытается выйти

из этого положения весьма наивным способом — путем введения истории о некоем писателе, перу которого якобы принадлежит этот роман. В данный момент он очень близко подходит к форме «романа о романе», к которой обращались многие из литераторов того времени, ощущая потребность поразмышлять о проблемах творчества непосредственно в рамках художественного произведения, и к которой в конечном итоге придет сам Пруст в книге «В поисках утраченного времени».

Вместе с тем весь текст романа «Жан Сантей» оказывается совершенно автономным по отношению к упомянутому писателю. Сам творческий процесс остается вне поля нашего зрения. На первый план выходит всезнающий автор-рассказчик, рационалистически «выпрямляющий», логически схематизирующий происходящее. В конечном итоге истинное, не смоделированное рассудком и не разорванное на случайные фрагменты внутреннее «я» и главного персонажа, и писателя — автора рукописи, и рассказчика оказывается недоступным для нас. Целостного и органичного объединения двух планов — художественного объекта и художественного субъекта — здесь не происходит и не может произойти,

так как Пруст во многом остается в этом романе в рамках традиционных принципов художественного мышления. Очевидно, осознавая это, воспринимая свой труд как неудачу, Пруст отказывается от его завершения и композиционного оформления.

После несостоявшегося опыта написания романа возникает сравнительно непродолжительное, но весьма важное для становления Пруста-писателя увлечение трудами известного английского писателя и ученого Джона Рёскина (1819–1900), творчество которого было в то время в Европе чрезвычайно популярно. Пруст, чье знание английского языка было далеко от совершенства, берется за перевод книг Рёскина «Амьенская библия» и «Сезам и лилии» (переводы и комментарии к ним были опубликованы соответственно в 1904 и 1906 годах). Необходимо отметить, что начиная с первых шагов в искусстве Пруст неизменно сочетает художественное творчество с литературно-критической деятельностью, что дает ему возможность постоянно осмыслять и корректировать его писательскую деятельность. Работа Прус-та над трудами именитого англичанина оказывается продолжением его поисков истинного искусства, способного дать

наиболее точный инструмент познания человеческой натуры. Книга Рёскина «Амьенская библия» привлекает Пруста прежде всего тем, что, будучи направленной на восстановление духовных ценностей прошлого, воплощенных в памятниках архитектуры, она заставляет приобщиться к основам человеческого бытия, помогает по-своему обрести «утраченное время». Чувство прекрасного, связанного с общим жизненным основанием, невозможно реализовать вне материальной действительности, но, в свою очередь, эта материальная действительность оказывается для Пру-ста реальной лишь в том случае, если она выражает внутренний мир художника.

В этой связи важнейшей проблемой для Пруста оказываются вопросы, связанные с формированием индивидуального стиля в искусстве. Только через него художник может проникать в тайны бытия, только с его помощью он может заставить других людей увидеть красоту, скрытую в вещах и явлениях внешнего мира. Но «прорыв» к основам жизни, к прекрасному возможен, с точки зрения Пруста, лишь при условии полной искренности художника и его независимости от любых форм утилитаризма. Особая опасность возникает в тот момент, когда он перестает прислушиваться к

своему внутреннему голосу и начинает слушать «голоса», идущие извне, утрачивая при этом способность улавливать проявления жизненной реальности. По мысли Пруста, Рёскин не избежал этого порока, ибо для него искусство — явление, выполняющее прежде всего прагматические функции.

Прустовские тексты, посвященные Рёскину, прежде всего эссе «О чтении» (1905), важны в контексте нашего разговора постольку, поскольку в них прослеживаются идеи, образы и темы, вошедшие впоследствии в роман «В поисках утраченного времени». Здесь обнаруживаются рассуждения, вплотную подводящие Пруста к основным структурообразующим принципам, организующим художественную систему его главного произведения в единое целое. Говоря о манере письма Рёскина, Пруст замечает, что одна из ее отличительных черт заключается в наличии связей, обусловленных «глубинными аналогиями», постоянно возникающими между идеями, присутствующими как в рамках одного произведения, так и в пределах всего творчества английского писателя, в результате чего оно обретает единство и целостность особого рода. Наблюдения Пруста по поводу внутренней струк-

турообразующей роли соответствий и аналогий у Рёскина вскоре будут использованы им в его собственном художественном творчестве. Пока же они соотносятся с «чужим» текстом, правда, попытки воплощения в художественные образы идеи о важности внутренних тайных соответствий между жизненными проявлениями все же обнаруживаются в этот момент у Пруста и связаны они с темой памяти, которая неоднократно возникала и до этого в его произведениях. В эссе «О чтении» подробное исследование понимания Рёскином проблемы восприятия литературного произведения предваряется долгим и на первый взгляд совершенно обособленным от другой части текста экскурсом в далекое прошлое. Автор вспоминает свое детство, дорогие его сердцу моменты, когда, удобно устроившись перед камином, он предавался чтению. Характерно, что при этом вспоминается не содержание книг, не то, что читалось, а то, что при этом ощущалось. Воспоминания по прихоти аналогий уводят Пруста все дальше от чтения, превращаясь в причудливо сплетенную цепь эпизодов, воскрешающих душевное состояние автора в различные моменты его жизни. Эта часть произведения очень напоминает набросок будущего романа «В поисках

утраченного времени».

Решающими в генезисе художественной системы итогового произведения Пруста оказываются 1908–1910 годы, когда Пруст работает над текстами, которые впоследствии, уже после смерти писателя, будут собраны и опубликованы под единым названием, подсказанным самим автором, — «Против Сент-Бёва».

Обращение Пруста к творчеству Сент-Бёва не кажется случайным, через него он проводит рубеж, отделяющий старые, традиционные представления об искусстве от новых. Пруст считает литературно-критические суждения Сент-Бёва неадекватно отражающими литературный процесс.

Причины заблуждений маститого литератора Пруст видит в сути его подхода к художественному творчеству. Пруст соотносит критический метод Сент-Бёва с методологией, разработанной Ипполитом Тэном и Полем Бурже, в основе которой лежит детерминистский подход к творчеству. Ущербность такого подхода для Пруста заключается в том, что он предполагает отождествление социально-личностного проявления писателя с его творческой активностью. При этом игнорируется то, что книга является продуктом

деятельности внутреннего «я», отличного от иного «я», которое проявляется во внешней жизни. Проблема множественности «я», возникшая еще в «Утехах и днях», осмысляется здесь в контексте эстетических вопросов. Художественный образ соотносится Прустом с внутренним «я» человека, существующим имманентно, независимо от законов внешнего мира. Он основывается на субъективных ощущениях. Критический метод Сент-Бёва, считает Пруст, направлен на решение задач, не имеющих отношения к творчеству. Критика Сент-Бёва, не будучи нацеленной на художественный образ, созданный внутренним «я», не способна, по мысли Пруста, уловить суть произведения.

Единственно достойным объектом искусства в годы работы над текстами «Против Сент-Бёва» Пруст продолжает считать человека в его внутренней духовной данности. Постижение этой реальности, по его убеждению, возможно только через восстановление наших прошлых впечатлений. Чувственные образы-впечатления, составляя, с точки зрения Пруста, основу человеческого бытия и соотносясь со сферой подсознания, со временем забываются, оттесняясь суетным существованием внешнего «я» в прошлое, но

не исчезают совсем, воплощаясь в какой-либо материальный объект, который оказывается своего рода вместилищем и хранилищем духовного образа. Возвращение образа-впечатления, основанного на субъективных ощущениях и чувствах, изначально происходит не посредством интеллектуальных слоев сознания — но только интуитивно, через столкновение личности с материальным объектом, воплотившим в себе конкретное мгновение духовного существования внутреннего «я», в результате чего возникает ощущение, приводящее в движение механизм спонтанной памяти, которая возвращает живой образ-впечатление, позволяет вернуть ушедший в прошлое момент бытия, иными словами — обрести «утраченное время». Пруст дает примеры подобных «воскрешений», поразительно напоминающие эпизоды романа «В поисках утраченного времени», являющиеся, по сути дела, набросками сцен, которые станут ключевыми в этом произведении.

Так работа над произведениями 1890–1900-х годов — сборником «Утехи и дни», романом «Жан Сантей», переводами книг Рёскина и комментариями к ним, над текстами «Против Сент-Бёва» — в конечном итоге подвела Пруста к идеям, ко-

торые позволили ему приступить к оформлению всего его огромного жизненного и эстетического опыта, накопленного к этому времени, в единое целое, сделала возможным появление романа «В поисках утраченного времени».

Основываясь на идее глубинной взаимосвязи отдельных индивидуальных проявлений бытия, Пруст стремится в своей художественной системе воспроизвести сложную модель существования личности в пределах жизненного пространства, отражая сложную динамику сосуществования общего и единичного, вневременного и временного, внутреннего и внешнего, непрерывного и дискретного в рамках каждого отдельного «я». Исходя из теории «перебоев чувства», Пруст стремится не только вернуть и зафиксировать множественность фрагментов внутреннего существования человека, но и органично объединить их между собой на основании чувственных аналогий, тесно связанных с «механизмом» спонтанной памяти. При обретении утраченных моментов бытия для Пруста чрезвычайно важно восстановить их подлинное «имя», то есть прояснить смутный облик спонтанно возникающего воспоминания и таким образом в полной мере овладеть всем тем чувственно-образным потенциалом,

который содержится в «обретенном времени». Отсюда — совершенно особая роль имен собственных в «Поисках», зачастую выполняющих важную структурообразующую функцию, активно участвующих в композиционном оформлении произведения, о чем свидетельствуют хотя бы некоторые из названий его томов и частей: «По направлению к Свану», «У Германтов», «Комбре», «Любовь Свана», «Имена стран: имя», «Вокруг госпожи Сван», «Имена стран: страна», «Содом и Гоморра».

Всякое имя, по мнению Пруста, вмещает в себя определенное пространство и время — фрагмент бытия. А поскольку всякое существование для него есть «цепь мгновений» («Не только Альбертина, но и я представлял собой лишь цепь мгновений», — пишет Пруст в «Беглянке»), то каждое имя оказывается связанным со множеством точек в жизненном пространстве и, по сути дела, состоит из многих отдельных имен, связанных между собой по принципу аналогии. Так же как каждое имя у Пруста отсылает нас к определенному моменту и месту бытия, так и каждое мгновение у него имеет свое имя: Комбре, Сван, Германты, Бальбек и т. д.

«Чтобы быть точным, — говорит рассказчик, —

я должен был бы дать особое имя каждому из тех „я “, которое потом думало об Альбертине; и уж во всяком случае, я должен был бы дать особое имя каждой из тех Альбертин, какие представали предо мной, всегда разные, как, — я только море для удобства называю морем, — те моря, что сменялись одно другим и на фоне которых новоявленной нимфой выступала она» («Под сенью девушек в цвету»). Таким образом, имена собственные, так же как и прочие слова, обретают для Пруста истинное существование, когда они наполняются индивидуальным субъективно-чувственным содержанием, вписываются в структуру других, уже ставших «своими» имен, связываются с ними воедино через глубинную систему соответствий. Имя, подобно магическому заклинанию, дарующему власть над духами, будет давать автору «Поисков» власть над пережитыми мгновениями, над временем. Конечным итогом «магии имени» у Пруста станет универсальный образ-впечатление, вбирающий в себя всю жизнь героя романа.

Рассуждая о проблемах искусства в «Обретенном времени» — заключительном томе «Поисков», Пруст высказывает мысль о том, что истинное произведение не создается, а обретается

особым способом — «улавливается», «извлекается» из своего сознания, «переводится» с языка ощущений и чувств на язык слов-образов. Впечатление для писателя, с точки зрения Пруста, — то же, что для ученого эксперимент, с той лишь разницей, что у ученого работа разума предшествует проведению эксперимента, а у писателя осуществляется вслед за ним. По логике Пруста, художник оказывается несвободным перед своим произведением. Оно не может быть создано по его воле — подобно законам природы оно может быть только «открыто», так как присутствует в душе автора задолго до его создания. Подлинное произведение, по убеждению Пруста, творится непроизвольно из впечатлений, которые выплывают из глубин подсознания, подобно тому как образ Комбре — города, с которым связаны детские годы главного персонажа-рассказчика романа «В поисках утраченного времени», — «выплывает» из чашки чая или подобно тому «как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водою опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде, принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и

опознаваемыми существами...» («По направлению к Свану»).

Последовательно преодолевая в своем творчестве традиционные принципы творчества, Пруст идет на сближение субъекта и объекта повествования, устраняя существующих между ними посредников, которые присутствовали еще в ранних его произведениях — прежде всего в романе «Жан Сантей». На смену персонажу, изображенному через сознание автора-рассказчика, приходит персонаж-рассказчик, повествующий о себе. Субъект повествования у Пруста является в то же время и его объектом. Неподвижная абсолютная точка зрения, располагающаяся в традиционном искусстве вне сознания действующего персонажа, уступает точке зрения относительной. В произведении Пруста автор «перемещается» внутрь повествовательной системы — возникает форма «романа о романе», в которой персонаж-рассказчик является одновременно и автором, создающим на наших глазах свое произведение, вводящим нас в процесс творчества.

Предельно сблизив искусство с жизнью, Пруст сделал литературу не только средством постижения жизни, но и способом существования:

«Настоящая жизнь, жизнь, наконец открытая и проясненная, а следовательно, единственно реально прожитая жизнь — это литература» («Обретенное время»). Роман «В поисках утраченного времени» становится для Пруста той заветной книгой, о создании которой он мечтает на страницах своего произведения, той книгой, к «обретению» которой он шел на протяжении всей своей творческой жизни.

Вместе с Прустом эту книгу обретаем и мы.

А. Н. Таганов

Гастону Кальмету[16] *в знак глубокой и сердечной благодарности.*

Марсель Пруст

[16] Примечания: 16

Книга посвящена *Гастону Кальмету* (1858–1914), который был главным редактором и директором (1900–1914) газеты «Фигаро», где Пруст публиковал многочисленные статьи, светскую хронику и отрывки из будущего романа.

Часть первая. Комбре

I

Давно уже я привык укладываться рано. Иной раз, едва лишь гасла свеча, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю». А через полчаса просыпался от мысли, что пора спать; мне казалось, что книга все еще у меня в руках и мне нужно положить ее и потушить свет; во сне я продолжал думать о прочитанном, но мои думы принимали довольно странное направление: я воображал себя тем, о чем говорилось в книге, — церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V[17]. Это наваждение длилось несколько секунд после того, как я просыпался; оно не возмущало моего сознания — оно чешуей покрывало мне глаза и мешало им удостовериться, что свеча не горит. Затем оно становилось смутным, как воспоми-

[17] Примечания: 17

Франциск I (1494–1547) — французский король (с 1515). Карл V (1500–1558) — император «Священной Римской империи» (с 1519), успешно воевал с Францией. Пруст, судя по всему, намекает на книгу французского историка Франсуа Минье «Соперничество Франциска I и Карла V» (1875).

нание о прежней жизни после метемпсихоза; сюжет книги отделялся от меня, я волен был связать или не связать себя с ним; вслед за тем ко мне возвращалось зрение, и, к своему изумлению, я убеждался, что вокруг меня темнота, мягкая и успокоительная для глаз и, быть может, еще более успокоительная для ума, которому она представлялась как нечто необъяснимое, непонятное, как нечто действительно темное. Я спрашивал себя, который теперь может быть час; я слышал свистки паровозов: они раздавались то издали, то вблизи, подобно пению птицы в лесу; по ним можно было определить расстояние, они вызывали в моем воображении простор пустынных полей, спешащего на станцию путника и тропинку, запечатлеющуюся в его памяти благодаря волнению, которое он испытывает и при виде незнакомых мест, и потому, что он действует сейчас необычно, потому что он все еще припоминает в ночной тишине недавний разговор, прощание под чужой лампой и утешает себя мыслью о скором возвращении.

Я слегка прикасался щеками к ласковым щекам подушки, таким же свежим и пухлым, как щеки нашего детства. Я чиркал спичкой и смотрел на часы. Скоро полночь. Это тот самый миг, когда

заболевшего путешественника, вынужденного лежать в незнакомой гостинице, будит приступ и он радуется полоске света под дверью. Какое счастье, уже утро! Сейчас встанут слуги, он позвонит, и они придут к нему на помощь. Надежда на облегчение дает ему силы терпеть. И тут он слышит шаги. Шаги приближаются, потом удаляются. А полоска света под дверью исчезает. Это — полночь; потушили газ; ушел последний слуга — значит, придется мучиться всю ночь.

Я засыпал опять, но иногда пробуждался ровно на столько времени, чтобы успеть услыхать характерное потрескивание панелей, открыть глаза и охватить взглядом калейдоскоп темноты, ощутить благодаря мгновенному проблеску сознания, как крепко спят вещи, комната — все то бесчувственное, чьею крохотной частицей я был и с чем мне предстояло соединиться вновь. Или же я без малейших усилий переносился, засыпая, в невозвратную пору моих ранних лет, и мной снова овладевали детские страхи; так, например, я боялся, что мой двоюродный дед оттаскает меня за волосы, хотя я перестал его бояться после того, как меня остригли, — этот день знаменовал наступление новой эры в моей жизни. Во сне я забывал об этом происшествии и опять вспоми-

нал, как только мне удавалось проснуться, чтобы вырваться от деда, однако, прежде чем вернуться в мир сновидений, я из осторожности прятал голову под подушку.

Иной раз, пока я спал, из неудобного положения моей ноги, подобно Еве, возникшей из ребра Адама, возникала женщина. Ее создавало предвкушаемое мной наслаждение, а я воображал, что это она мне его доставляет. Мое тело, ощущавшее в ее теле мое собственное тепло, стремилось к сближению, и я просыпался. Другие люди, казалось мне, сейчас далеко-далеко, а от поцелуя этой женщины, с которой я только что расстался, щека моя все еще горела, а тело ломило от тяжести ее стана. Когда ее черты напоминали женщину, которую я знал наяву, я весь бывал охвачен стремлением увидеть ее еще раз — так собираются в дорогу люди, которым не терпится взглянуть своими глазами на вожделенный город: они воображают, будто в жизни можно насладиться очарованием мечты. Постепенно воспоминание рассеивалось, я забывал приснившуюся мне девушку.

Вокруг спящего человека протянута нить часов, чередой располагаются года и миры. Пробуждаясь, он инстинктивно сверяется с ними, мгновен-

но в них вычитывает, в каком месте земного шара он находится, сколько времени прошло до его пробуждения, однако ряды их могут смешаться, расстроиться. Если он внезапно уснет под утро, после бессонницы, читая книгу, в непривычной для него позе, то ему достаточно протянуть руку, чтобы остановить солнце и обратить его вспять; в первую минуту он не поймет, который час, ему покажется, будто он только что лег. Если же он задремлет в еще менее естественном, совсем уже необычном положении, например сидя в кресле после обеда, то сошедшие со своих орбит миры перемешаются окончательно, волшебное кресло с невероятной быстротой понесет его через время, через пространство, и, как только он разомкнет веки, ему почудится, будто он лег несколько месяцев тому назад и в других краях. Но стоило мне заснуть в моей постели глубоким сном, во время которого для моего сознания наступал полный отдых, — и сознание теряло представление о плане комнаты, в которой я уснул: проснувшись ночью, я не мог понять, где я, в первую секунду я даже не мог сообразить, кто я такой; меня не покидало лишь первобытно простое ощущение того, что я существую, — подобное ощущение может биться и в груди у животного; я был беднее

пещерного человека; но тут, словно помощь свыше, ко мне приходило воспоминание — пока еще не о том месте, где я находился, но о местах, где я жил прежде или мог бы жить, — и вытаскивало меня из небытия, из которого я не мог выбраться своими силами; в один миг я пробегал века цивилизации, и смутное понятие о керосиновых лампах, о рубашках с отложным воротничком постепенно восстанавливало особенности моего «я».

Быть может, неподвижность окружающих нас предметов внушена им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью того, что́ мы о них думаем. Всякий раз, когда я при таких обстоятельствах просыпался, мой разум тщетно пытался установить, где я, а вокруг меня все кружилось впотьмах: предметы, страны, годы. Мое одеревеневшее тело по характеру усталости стремилось определить свое положение, сделать отсюда вывод, куда идет стена, как расставлены предметы, и на основании этого представить себе жилище в целом и найти для него наименованье. Память — память боков, колен, плеч — показывала ему комнату за комнатой, где ему приходилось спать, а в это время незримые стены, вертясь в темноте,

передвигались в зависимости от того, какую форму имела воображаемая комната. И прежде чем сознание, остановившееся в нерешительности на пороге форм и времен, сопоставив обстоятельства, узнавало обиталище, тело припоминало, какая в том или ином помещении кровать, где двери, куда выходят окна, есть ли коридор, а заодно припоминало те мысли, с которыми я и заснул, и проснулся. Так, мой онемевший бок, пытаясь ориентироваться, воображал, что он вытянулся у стены в широкой кровати под балдахином, и тогда я себе говорил: «Ах, вот оно что! Я не дождался, когда мама придет со мной проститься, и уснул»; я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад; мое тело, тот бок, что я отлежал, — верные хранители минувшего, которое моему сознанию не забыть вовек, — приводили мне на память свет сделанного из богемского стекла, в виде урны, ночника, подвешенного к потолку на цепочках, и камин из сиенского мрамора, стоявший в моей комбрейской спальне, в доме у дедушки и бабушки, где я жил в далеком прошлом, которое я теперь принимал за настоящее, хотя пока еще не представлял его себе отчетливо, — оно вырисовывалось яснее, когда я просыпался уже окончательно.

Затем пробуждалось воспоминание о другом положении тела; стена тянулась в другом направлении, я был в своей комнате у г-жи де Сен-Лу, в деревне. Боже мой! Должно быть, одиннадцатый час; наверное, уже отужинали! По-видимому, я долго спал после обычной вечерней прогулки с г-жой де Сен-Лу — прогулки, которую я совершаю перед тем, как надеть фрак. Много лет назад, когда мы возвращались особенно поздно с прогулки в Ком-бре, я видел на стеклах моего окна рдяные отблески заката. В Тансонвиле, у г-жи де Сен-Лу, ведут совсем другой образ жизни, и совсем особенное наслаждение испытываю я оттого, что гуляю вечерами, при луне, по дорогам, на которых я когда-то резвился при свете солнца; когда же мы возвращаемся, я издалека вижу комнату, где я сначала усну, а потом переоденусь к ужину, — ее пронизывают лучи от лампы, от этого единственного маяка в ночной темноте.

Круговерть расплывчатых воспоминаний всякий раз продолжалась несколько секунд; нередко кратковременное мое недоумение по поводу того, где я нахожусь, различало предположения, из которых оно слагалось, не лучше, чем мы расчленяем в кинетоскопе движения бегущей лошади. И все-таки я видел то одну,

то другую комнату, где мне случалось жить, и в конце концов, пока я, проснувшись, надолго предавался мечтам, вспоминал все до одной; вот зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешься лицом в гнездышко — ты свил его из разнообразных предметов: из уголка подушки, из верха одеяла, из края шали, из края кровати, из газеты, а затем, скрепив все это по способу птиц, на неопределенное время в нем устраиваешься; зимние комнаты, где тебе особенно приятно чувствовать в стужу, что ты отгорожен от внешнего мира (так морская ласточка строит себе гнездо глубоко под землей, в земном тепле); где огонь в камине горит всю ночь, и ты спишь под широким плащом теплого и дымного воздуха, в котором мелькают огоньки вспыхивающих головешек, спишь в каком-то прозрачном алькове, в теплой пещере, выкопанной внутри комнаты, в жаркой полосе с подвижными границами, овеваемой притоками воздуха, которые освежают нам лицо и которые исходят из углов комнаты, из той ее части, что ближе к окну и дальше от камина, и потому более холодной; вот комнаты летние, где приятно бывает слиться с теплой ночью; где лунный свет, пробившись через полуотворенные ставни, добрасывает свою волшебную лестницу

до ножек кровати; где спишь словно на чистом воздухе, как спит синица, которую колышет ветерок на кончике солнечного луча; иногда это комната в стиле Людовика XVI[18], до того веселая, что даже в первый вечер я не чувствовал себя там особенно несчастным, — комната, где тонкие колонны, без усилий поддерживавшие потолок, с таким изяществом расступались, чтобы, освободив место для кровати, не заслонять ее; иногда это была совсем на нее непохожая, маленькая, но с очень высоким потолком, частично обставленная красным деревом, выдолбленная в двухэтажной высоте пирамида, где я в первую же секунду бывал морально отравлен незнакомым запахом нарда и убеждался во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии стенных часов, стрекотавших вовсю, как будто меня там не было; где всему здесь чуждое и беспощадное квадратное зеркало на ножках, наискось перегораживавшее один из углов комнаты, врезалось в умиротворяющую заполненность уже изученного мною пространства каким-то пустырем, всегда производившим впечатление

[18] Примечания: 18

Людовик XVI (1754–1793) — французский король (с 1774). Стиль Людовика XVI, отличавшийся грациозностью линий и нежностью цветов, получил распространение в конце XVIII века.

неожиданности; где моя мысль, часами силившаяся рассредоточиться, протянуться в высоту, чтобы принять точную форму комнаты и доверху наполнить ее гигантскую воронку, терзалась в течение многих мучительных ночей, а я в это время лежал с открытыми глазами, с бьющимся сердцем, напрягая слух, стараясь не дышать носом до тех пор, пока привычка не изменяла цвет занавесок, не заставляла умолкнуть часы, не внушала сострадания косому жестокому зеркалу, не смягчала, а то и вовсе не изгоняла запах нарда и заметно не уменьшала бросавшуюся в глаза высоту потолка. Привычка — искусная, но чересчур медлительная благоустроительница! Вначале она не обращает внимания на те муки, которые по целым неделям терпит наше сознание во временных обиталищах, и все же счастлив тот, кто ее приобрел, ибо без привычки, своими силами, мы ни одно помещение не могли бы сделать пригодным для жилья.

Теперь я уже проснулся окончательно, мое тело описало последний круг, и добрый ангел уверенности все остановил в моей комнате, натянул на меня одеяло и в темноте более или менее правильно водворил на место комод, письменный стол, камин, окно на улицу и две двери. Но хотя

я теперь знал наверное, что обретаюсь не в тех помещениях, чей облик, пусть и недостаточно явственный, на миг воскрешало передо мной неопытное пробуждение, намекая на то, что я могу находиться и там, — памяти моей был дан толчок; обычно я не пытался тут же заснуть; почти всю ночь я вспоминал, как жили в Комбре, у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, вспоминал местность, людей, которых я там знал, то, что я сам успевал за ними заметить и что мне про них говорили другие.

В Комбре, в сумерки, задолго до того момента, когда мне надо было ложиться, моя спальня, где я томился без сна, вдали от матери и бабушки, превращалась для меня в тягостное средоточие тревог. Так как вид у меня по вечерам бывал очень несчастный, кто-то придумал для меня развлечение: перед ужином к моей лампе прикрепляли волшебный фонарь, и, подобно первым зодчим и художникам по стеклу готической эпохи, фонарь преображал непроницаемые стены в призрачные переливы света, в сверхъестественные разноцветные видения, в ожившие легенды, написанные на мигающем, изменчивом стекле. Но мне становилось от этого только грустнее,

потому что даже перемена освещения разрушала мою привычку к комнате — привычку, благодаря которой, если не считать муки лежания в постели, мне было здесь сносно. Сейчас я не узнавал свою комнату и чувствовал себя неуютно, как в номере гостиницы или в «шале», куда бы я попал впервые прямо с поезда.

Поглощенный злым своим умыслом, Голó трусил на лошади; выехав из треугольной рощицы, темно-зеленым бархатом покрывавшей склон холма, он, трепеща, направлялся к замку несчастной Женевьевы Брабантской[19]. Замок был криво обрезан — просто-напрасно тут был край овального стекла, вставленного в рамку, которую вдвигали между чечевицами фонаря. То была лишь часть замка, перед нею раскинул-

---

[19] Примечания: 19

Женевьева Брабантская — героиня средневековой легенды. Первый дошедший до нас ее вариант зафиксирован в сборнике «Золотая легенда» (ок. 1260). Согласно легенде, Зигфрид, трирский пфальцграф, направляясь на войну, оставил свою жену Женевьеву, дочь герцога Брабантского, под покровительством своего управляющего Голо. Последний, в отсутствие господина, пытался соблазнить его жену; не добившись успеха, оклеветал ее, обвинив в прелюбодеянии. Разъяренный Зигфрид обрек супругу на смерть, однако убийцы сжалились над невинной жертвой, оставив ее в лесу, где она и прожила несколько лет. Ее дитя было вскормлено молоком лесной лани. Однажды на охоте Зигфрид погнался за этой ланью, которая и привела его к оставленным на произвол судьбы супруге и ребенку. Последовавшее примирение с мужем не спасло измученную Женевьеву от скорой смерти. Ее образ стал символом «несправедливо оклеветанной невинности». В XIX веке эта легенда легла в основу оперетты Жака Оффенбаха (1819–1880),

которая вскоре была переделана в пятиактную оперу.

ся луг, а на лугу о чем-то мечтала Женевьева в платье с голубым поясом. И замок, и луг были желтые, и я это знал еще до того, как мне показали их в фонаре, — я увидел ясно их цвет в отливавших золотом звуках слова «Брабант». Голо останавливался и печально выслушивал пояснение, которое громко читала моя двоюродная бабушка, — по-видимому, это было ему вполне понятно, ибо он, в строгом соответствии с текстом, принимал позу, не лишенную некоторой величественности; затем снова трусил. И никакая сила не могла бы остановить мелкой его рыси. Если фонарь сдвигали, я видел, как лошадь Голо едет по оконным занавескам, круглясь на складках и спускаясь в углубления. Тело самого Голо, из того же необыкновенного вещества, что и тело его коня, приспосабливалось к каждому материальному препятствию, к каждому предмету, который преграждал ему путь: оно превращало его в свой остов и наполняло его собой; даже к дверной ручке мгновенно применялось и наплывало на нее красное его одеяние или же бледное его лицо, все такое же тонкое и грустное, но не обнаруживавшее ни малейших признаков смущения от этой своей бескостности.

Понятно, я находил прелесть в световых изоб-

ражениях, которые, казалось, излучало меровингское прошлое, рассыпая вокруг меня блестки глубокой старины. Но я не могу передать, как тревожило меня вторжение тайны и красоты в комнату, которую мне в конце концов удалось наполнить своим «я» до такой степени, что я обращал на нее не больше внимания, чем на самого себя. Как только прекращалось обезболивающее действие привычки, ко мне возвращались грустные думы и грустные чувства. Дверная ручка в моей комнате, отличавшаяся для меня от всех прочих ручек тем, что она, казалось, поворачивалась сама, без всяких усилий с моей стороны, — до такой степени бессознательным сделалось для меня это движение, — теперь представляла собой астральное тело Голо. И как только звонил звонок к ужину, я бежал в столовую, где каждый вечер исправно светила большая висячая лампа, понятия не имевшая ни о Голо, ни о Синей Бороде[20], но зато знавшая моих родных и осведомленная о том, что такое тушеное мясо, и бросался в объятия мамы — несчастья Женевьевы Брабантской еще сильнее привязывали меня к ней, а злодеяния Голо заставляли с еще большим пристрастием

[20] Примечания: 20

Синяя Борода — легендарный злодей, убивавший своих жен, персонаж одноименной сказки Шарля Перро (1628–1703).

допрашивать свою совесть.

После ужина я должен был — увы! — уходить от мамы, а мама беседовала с другими в саду, если погода была хорошая, или в маленькой гостиной, где все сходились в ненастную погоду. Все — за исключением бабушки, которая утверждала, что «в деревне жаль сидеть в душной комнате», и в особенно дождливые дни вела нескончаемые споры с моим отцом, который говорил мне, чтобы я шел читать к себе в комнату. «Так мальчик никогда не будет у вас крепким и энергичным, — с унылым видом говорила она, — а ему необходимо поправиться и воспитать в себе силу воли». Отец пожимал плечами и смотрел на барометр — он интересовался метеорологией, — а мать, не поднимая шума из боязни рассердить его, смотрела на него с умильной почтительностью, но не очень пристально, чтобы как-нибудь не проникнуть в тайну его превосходства. Зато бабушка в любую погоду, даже когда хлестал дождь и Франсуаза спешила унести драгоценные плетеные кресла, а то как бы не намокли, гуляла в пустом саду, под проливным дождем, откидывая свои седые космы и подставляя лоб живительности дождя и ветра. «Наконец-то можно дышать!» — говорила она и обегала мокрые дорожки, чересчур

симметрично разделанные новым, лишенным чувства природы садовником, которого мой отец спрашивал утром, разгуляется ли погода, — обегала восторженной припрыжкой, управляемой самыми разными чувствами, какие вызвало в ее душе упоение грозой, могущество здорового образа жизни, нелепость моего воспитания и симметрия сада, а желание предохранить от грязи свою лиловую юбку, которую она ухитрялась так забрызгать, что горничная приходила в недоумение и в отчаяние от высоты брызг, было ей незнакомо.

Если бабушка делала по саду круги после ужина, то загнать ее в дом могло только одно: ее, словно мошку, тянуло к освещенным окнам маленькой гостиной, где на ломберном столе стояли бутылки с крепкими напитками, и в тот момент, когда она, сделав очередной полный оборот, оказывалась под окнами, слышался голос моей двоюродной бабушки: «Батильда! Запрети же ты своему мужу пить коньяк!» В самом деле: чтобы подразнить бабушку (она резко отличалась от остальных членов семьи моего отца, и все над ней подшучивали и донимали ее), моя двоюродная бабушка подбивала дедушку, которому крепкие напитки были воспрещены, немножко выпить.

Бедная бабушка, войдя в комнату, обращалась к мужу с мольбой не пить коньяку; он сердился, все-таки выпивал рюмочку, и бабушка уходила печальная, растерянная, но с улыбкой на лице, — она была до того кротка и добра, что любовь к ближним и способность забывать о себе и о причиненных ей обидах выражались у нее в улыбке, ирония которой — в противоположность улыбкам большинства людей — относилась лишь к ней самой, нам же она словно посылала поцелуй глазами: когда они были устремлены на тех, кто вызывал у нее нежные чувства, она непременно должна была приласкать их взглядом. Пытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, напрасные ее мольбы и ее слабохарактерность, обреченная терпеть поражение и тщетно пытавшаяся отнять у дедушки рюмку, — все это относилось к числу явлений, к которым так привыкаешь, что в конце концов наблюдаешь их со смехом, более того: довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, чтобы убедить самого себя, что тут, собственно, никакого преследования и нет; но тогда все это внушало мне столь сильное отвращение, что я бы с удовольствием побил мою двоюродную бабушку. И все же когда я слышал: «Батильда!

Запрети же ты своему мужу пить коньяк!» — я, уже помужски малодушный, поступал так, как все мы, взрослые, поступаем при виде несправедливостей и обид: я от них отворачивался; я шел поплакать наверх, под самую крышу, в комнатку рядом с классной, где пахло ирисом и куда вливалось благоухание дикой черной смородины, росшей среди камней ограды и протягивавшей цветущую ветку в растворенное окно. Имевшая особое, более прозаическое назначение, эта комната, откуда днем была издали видна даже башня замка Русенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне — разумеется, оттого что только там я имел право запираться на ключ — убежищем, где я мог предаваться тому, что требует ненарушимого уединения: где я мог читать, мечтать, блаженствовать и плакать. Увы! Я не знал, что бабушку гораздо сильнее, чем незначительные нарушения режима, допускавшиеся ее мужем, огорчали мое безволие и слабое здоровье, внушавшие ей тревогу за мое будущее, когда она, склонив голову набок и глядя вверх, и днем и вечером без конца кружила по саду и ее красивое лицо, ее морщинистые коричневые щеки, к старости ставшие почти лиловыми, словно пашни осенью, на воздухе прятавшиеся под приподнятой вуалью, с

набежавшими на них от холода или от грустных мыслей, непрошеными, тут же и высыхавшими слезами, то исчезали, то появлялись.

Идя спать, я утешался мыслью, что, после того как я лягу, мама придет меня поцеловать. Но она приходила со мной попрощаться так ненадолго и так скоро уходила, что в моей душе больно отзывались сначала ее шаги на лестнице, а потом легкий шелест ее летнего голубого муслинового, отделанного соломкой платья, проплывавший за двумя дверями по коридору. Шелест и шаги возвещали, что я их услышу вновь, когда она от меня уйдет, когда она будет спускаться по лестнице. Я уже предпочитал, чтобы это наше прощание, которое я так любил, произошло как можно позже, чтобы мама подольше не приходила. Иной раз, когда она, поцеловав меня, уже отворяла дверь, мне хотелось позвать ее и сказать: «Поцелуй меня еще», — но я знал, что она рассердится, оттого что уступка, которую она делала моей грусти и моему возбуждению, приходя поцеловать меня, даря мне успокоительный поцелуй, раздражала отца, считавшего, что этот ритуал нелеп, и она стремилась к тому, чтобы я отказался от этой потребности, от этой привычки, и, уж во всяком случае, не намерена была поощрять другую

привычку — просить, чтобы она еще раз меня поцеловала в тот момент, когда она уже собиралась шагнуть за порог. Словом, сердитый ее вид нарушал то умиротворение, которым от нее веяло на меня за секунду перед тем, как она с любовью склонялась над моей кроватью и, словно протягивая мне святые дары покоя, тянулась ко мне лицом, чтобы я, причастившись, ощутил ее присутствие почерпнул силы для сна. И все же те вечера, когда мама заходила ко мне на минутку, были счастливыми в сравнении с теми, когда к ужину ждали гостей и она ко мне не поднималась. Обычно в гостях у нас бывал только Сван; если не считать случайных посетителей, он был почти единственным нашим гостем в Комбре, иногда приходившим по-соседски к ужину (что случалось реже после его неудачной женитьбы, так как мои родные не принимали его жену), а иногда и после ужина, невзначай. Когда мы сидели вечером около дома под высоким каштаном вокруг железного стола и до нас долетал с того конца сада негромкий и визгливый звон бубенчика, своим немолчным неживым дребезжанием обдававший и оглушавший домочадцев, приводивших его в движение, входя «без звонка», но двукратное, робкое, округленное, золотистое

звяканье колокольчика для чужих, все задавали себе вопрос: «Гости! Кто бы это мог быть?» — хотя ни для кого не представляло загадки, что это может быть только Сван; моя двоюродная бабушка, желая подать нам пример, громко говорила возможно более непринужденным тоном, чтобы мы перестали шептаться, потому что это в высшей степени невежливо по отношению к гостю, который может подумать, что мы шепчемся о нем, а на разведку посылалась бабушка, радовавшаяся предлогу лишний раз пройтись по саду и пользовавшаяся им, чтобы по дороге, для придания розовым кустам большей естественности, незаметно вынуть из-под них подпорки, — так мать взбивает сыну волосы, которые прилизал парикмахер.

Мы ломали себе голову в ожидании известий о неприятеле, которые должна была доставить бабушка, точно напасть на нас могли целые полчища, но немного погодя дедушка говорил: «Я узнаю голос Свана». Свана действительно узнавали только по голосу; его нос с горбинкой, зеленые глаза, высокий лоб, светлые, почти рыжие воло-

сы, причесанные под Брессана[21], — все это было трудно разглядеть, так как мы, чтобы не привлекать мошкару, сидели при скудном свете, и тут я, уже не раздумывая, шел сказать, чтобы подавали сиропы: бабушка боялась, как бы не создалось впечатление, что сиропы у нас приносятся в исключительных случаях, только ради гостей, — ей казалось, что будет гораздо приличнее, если гость увидит сиропы на столе. Сван, несмотря на большую разницу лет, был очень дружен с дедушкой — одним из самых близких приятелей его отца, человека прекрасного, но со странностями: любой пустяк мог иногда остановить сердечный его порыв, прервать течение его мыслей. Несколько раз в год дедушка рассказывал при мне за столом одно и то же — как Сван-отец, не отходивший от своей умирающей жены ни днем, ни ночью, вел себя, когда она скончалась. Дедушка давно его не видел, но тут поспешил в имение Сванов, расположенное близ Комбре, и ему удалось выманить обливавшегося слезами приятеля на то время, пока умершую будут класть в гроб, из комнаты,

[21] Примечания: 21

Брессан, Жан-Батист (1815–1886) — актер «Комеди-Франсез», ввел в моду прическу, которая получила его имя. Спереди волосы подстрижены очень коротко («ежиком»), а сзади оставлены достаточно длинными. Шарль Аас, один из главных прототипов образа Свана, носил такую прическу.

где поселилась смерть. Они прошлись по парку, скупо освещенному солнцем. Внезапно Сван, схватив дедушку за руку, воскликнул: «Ах, мой старый друг! Как хорошо прогуляться вдвоем в такой чудесный день! Неужели вы не видите, какая это красота — деревья, боярышник, пруд, который я выкопал и на который вы даже не обратили внимания? Вы — желчевик, вот вы кто. Чувствуете, какой приятный ветерок? Ах, что там ни говори, в жизни все-таки много хорошего, мой милый Амедей!» Но тут он вспомнил, что у него умерла жена, и, очевидно решив не углубляться в то, как мог он в такую минуту радоваться, ограничился жестом, к которому он прибегал всякий раз, когда перед ним вставал сложный вопрос: провел рукой по лбу, вытер глаза и протер пенсне. Он пережил жену на два года, все это время был безутешен и тем не менее признавался дедушке: «Как странно! О моей бедной жене я думаю часто, но не могу думать о ней долго». «Часто, но не долго, — как бедный старик Сван», — это стало одним из любимых выражений дедушки, которое он употреблял по самым разным поводам. Я склонен был думать, что старик Сван — чудовище, но дедушка, которого я считал самым справедливым судьей на свете и чей приговор был для меня

законом, на основании коего я впоследствии прощал предосудительные в моих глазах поступки, мне возражал: «Да что ты! У него же было золотое сердце!»

На протяжении многих лет сын покойного Свана часто бывал в Комбре, особенно до женитьбы, а мои родные знать не знали, что он порвал с кругом знакомых своей семьи и что они с отменным простодушием ничего не подозревающих хозяев постоялого двора, пустивших к себе знаменитого разбойника, оказывают гостеприимство человеку, фамилия которого представляла для нас своего рода инкогнито, ибо Сван являлся одним из самых элегантных членов Джокей-клоба[22], близким другом графа Парижского[23] и принца Уэльского[24], желанным гостем Сен-Жерменского предместья.

Неведение, в котором мы пребывали отно-

---

[22] Примечания: 22

Джокей-клоб (Жокей-Клуб) был основан в Париже в 1833 г. по образцу английского Жокей-Клуба.

[23] Примечания: 23

Граф Парижский — Луи-Филипп-Альбер Орлеанский (1838–1894), внук короля Луи-Филиппа, во времена Третьей Республики был изгнан из Франции за политические интриги, направленные на занятие трона.

[24] Примечания: 24

Принц Уэльский — титул английского престолонаследника. Речь идет об Эдуарде VII (1841–1910), старшем сыне королевы Виктории, английском короле (1901–1910).

сительно блестящей светской жизни Свана, конечно, отчасти объяснялось его сдержанностью и скрытностью, но еще и тем, что тогдашние обыватели рисовали себе общество на индусский образец: им казалось, что оно делится на замкнутые касты, что каждый член этого общества с самого рождения занимает в нем то же место, какое занимали его родители, и что с этого места ничто, кроме редких случаев головокружительной карьеры или неожиданного брака, не в состоянии перевести вас в высшую касту. Сван-отец был биржевым маклером; его отпрыску суждено было до самой смерти принадлежать к той касте, где сумма дохода, как в окладном листе, колебалась между такой-то и такой-то цифрой. Были известны знакомства его отца; следовательно, были известны и его знакомства; известно, с кем ему «подобало» водиться. Если у него и бывали иного рода связи, то на эти отношения молодого человека старые друзья его семьи, как например моя родня, тем охотнее смотрели сквозь пальцы, что, осиротев, он продолжал бывать у нас постоянно; впрочем, смело можно было побиться об заклад, что этим неизвестным нам лицам он не решился бы поклониться в нашем присутствии. Если бы понадобилось сравнить

удельный вес Свана с удельным весом других сыновей биржевых маклеров того же калибра, как его отец, то вес этот оказался бы у него чуть-чуть ниже, потому что он был человек очень неприхотливый, был «помешан» на старинных вещах и на картинах и жил теперь в старом доме, который он завалил своими коллекциями и куда моя бабушка мечтала попасть, но особняк находился на Орлеанской набережной, а моя двоюродная бабушка полагала, что жить там неприлично. «Вы в самом деле знаток? — спрашивала она Свана. — Я задаю этот вопрос в ваших же интересах, — уж верно, торговцы всучивают вам всякую мазню». Она действительно была убеждена, что Сван ничего в этом не смыслит, более того: она вообще была невысокого мнения о его уме, потому что в разговорах он избегал серьезных тем, зато проявлял осведомленность в делах весьма прозаических, причем не только когда, входя в мельчайшие подробности, снабжал нас кулинарными рецептами, но и когда сестры моей бабушки говорили с ним об искусстве. Если они приставали к нему, чтобы он высказался, чтобы он выразил свое восхищение какой-нибудь картиной, он упорно отмалчивался, так что это уже становилось почти неприличным, и отде-

лывался от них тем, что давал точные сведения, в каком музее она находится и когда написана. Но обычно он ограничивался тем, что, желая нас позабавить, рассказывал каждый раз новую историю, которая у него вышла с кем-либо из тех, кого мы знали: с комбрейским аптекарем, с нашей кухаркой, с нашим кучером. Разумеется, его рассказы смешили мою двоюродную бабушку, но она не могла понять чем: смешной ролью, которую неизменно играл в них Сван, или же остроумием рассказчика: «Ну и чудак же вы, Сван!» Так как она — единственный член нашей семьи — была довольно вульгарна, то, когда заходила речь о Сване при посторонних, она старалась ввернуть, что если б он захотел, он мог бы жить на бульваре Османа или же на улице Оперы, что отец оставил ему миллиона четыре, а то и пять, но что он напустил на себя блажь. Впрочем, эта блажь представлялась ей занятной, и когда Сван приносил ей в Париже на Новый год коробку каштанов в сахаре, то, если у нее в это время кто-нибудь был, она не упускала случая задать Свану вопрос: «Что же, господин Сван, вы все еще живете у винных складов — боитесь опоздать на поезд, когда вам надо ехать по Лионской дороге?» И тут она искоса, поверх пенсне, поглядывала

на гостей.

Но если бы ей сказали, что Сван, который в качестве сына покойного Свана «причислен к разряду» тех, кого принимает у себя цвет «третьего сословия», почтеннейшие парижские нотариусы и адвокаты (между тем этой своей привилегией Сван, по-видимому, пренебрегал), живет двойной жизнью; что, выйдя от нас в Париже, он, вместо того чтобы идти домой спать, о чем он нас уведомлял перед уходом, поворачивал за углом обратно и шел в такую гостиную, куда ни одного маклера и ни одного помощника маклера на порог не пускали, моей двоюродной бабушке показалось бы это столь же неправдоподобно, как более начитанной даме показалась бы неправдоподобной мысль, что она знакома с Аристеем[25] и что после бесед с ней он погружается в Фетидино[26] подводное царство, в область, недоступную взорам

[25] Примечания: 25

Аристей (букв. «наилучший») — в греческой мифологии сын Аполлона и нимфы Кирены.

[26] Примечания: 26

Фетида — в греческой мифологии морская богиня, супруга Океана.

смертных, где, как о том повествует Вергилий[27], его принимают с распростертыми объятиями; или — если воспользоваться для сравнения образом, который скорее мог прийти в голову моей двоюродной бабушке, потому что он смотрел на нее в Комбре с маленьких тарелочек, — столь же неправдоподобной, как мысль, что ей предстоит обедать с Али-Бабой[28], который, убедившись, что он один, проникнет в пещеру, где блестят несметные сокровища.

Однажды Сван где-то обедал в Париже и, придя оттуда к нам, извинился, что он во фраке, а когда он ушел, Франсуаза со слов его кучера сообщила, что обедал он «у принцессы». «У принцессы полусвета!» — пожимая плечами и не поднимая глаз от вязанья, с хладнокровной насмешкой в голосе подхватила моя двоюродная бабушка.

Словом, она смотрела на него свысока. Она

---

[27] Примечания: 27

Вергилий — римский поэт Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.) в поэме «Георгики» («О земледелии») рассказывает о том, как Аристей, став виновником гибели Эвридики, навлек на себя гнев богов, но сумел избавиться от него, обратившись, по научению матери, за советом к морскому богу Протею.

[28] Примечания: 28

Али-Баба — главный персонаж сказки «Али-Баба и сорок разбойников» из сборника «Тысяча и одна ночь». Эту книгу можно считать одной из литературных и экзистенциальных моделей романа «В поисках утраченного времени»: подобно сказочной Шехеразаде, Пруст продлевает свою жизнь сложением историй.

считала, что знакомство с нами должно быть для него лестно, а потому находила вполне естественным, что летом он никогда не появлялся у нас без корзинки персиков или малины из своего сада и каждый раз привозил мне из Италии снимки великих произведений искусства.

Мои родные без всякого стеснения посылали за ним, когда нам нужен был рецепт изысканного соуса или же компота из ананасов для званых обедов, на которые его не приглашали, потому что он не пользовался настолько широкой известностью, чтобы им можно было козырнуть в обществе людей, которые сегодня первый раз в нашем доме. Если речь заходила об особах французского королевского дома, моя двоюродная бабушка, обращаясь к Свану, в кармане у которого, быть может, лежало письмо из Твикенгема[29], говорила: «С этими людьми ни у вас, ни у меня никогда не будет ничего общего, — уж как-нибудь мы и без них обойдемся, верно?»; в те вечера, когда сестра мой бабушки пела, она заставляла его аккомпанировать ей и переворачивать ноты — она проявляла по отношению к этому человеку, с которым столькие искали знакомства,

[29] Примечания: 29

Твикенгем — лондонский пригород, центр монархической оппозиции, где жил в изгнании граф Парижский.

простодушную грубость ребенка, обращающегося с какой-нибудь редкой вещью так небрежно, как будто ей грош цена. Свана уже в то время знали многие завсегдатаи клубов, а моя двоюродная бабушка, конечно, рисовала его себе совершенно иным, пропитывая и оживляя всем, что ей было известно о семье Сванов, возникавшую на фоне вечернего мрака в комбрейском садике после того, как дважды нерешительно звонил колокольчик, темную и неопределенную фигуру человека, которого вела бабушка и которого мы узнавали по голосу. Но ведь даже если подойти к нам с точки зрения житейских мелочей, и то мы не представляем собой чего-то внешне цельного, неизменного, с чем каждый волен познакомиться как с торговым договором или с завещанием; наружный облик человека есть порождение наших мыслей о нем. Даже такой простой акт, как «увидеть знакомого», есть в известной мере акт интеллектуальный. Мы дополняем его обличье теми представлениями, какие у нас уже сложились, и в том общем его очерке, какой мы набрасываем, представления эти играют, несомненно, важнейшую роль. В конце концов они приучаются так ловко надувать щеки, с такой послушной точностью следовать за линией носа,

до того искусно вливаться во все оттенки звуков голоса, как будто наш знакомый есть лишь прозрачная оболочка, и всякий раз, как мы видим его лицо и слышим его голос, мы обнаруживаем, мы улавливаем наши о нем представления. Разумеется, мои родные по неведению не наделили того Свана, которого они себе создали, множеством свойств, выработанных в нем его светской жизнью и способствовавших тому, что другие люди смотрели на его лицо как на царство изящества, естественной границей которого являлся нос с горбинкой; зато мои родные могли вливать в его лицо, лишенное своих чар, ничем не заполненное и емкое, в глубину утративших обаяние глаз смутный и сладкий осадок, — полуоживший, полузабытый, — остававшийся от часов досуга, еженедельно проводившихся вместе с ним после ужина, в саду или за ломберным столом, в пору нашего деревенского добрососедства. Телесная оболочка нашего друга была до такой степени всем этим пропитана, равно как и воспоминаниями о его родителях, что этот Сван стал существом законченным и живым, и у меня создается впечатление, будто я расстаюсь с одним человеком и ухожу к другому, непохожему на него, когда, напрягая память, перехожу от того Свана, которого

впоследствии хорошо знал, к первому Свану, — в нем я вновь узнаю пленительные заблуждения моей юности, да и похож он, кстати сказать, не столько на второго Свана, сколько на других людей, с которыми я тогда был знаком: можно подумать, что наша жизнь — музей, где все портреты одной эпохи имеют фамильное сходство, общий тон, — к первому Свану, веявшему досужеством, пахнувшему высоким каштаном, малиной и — немножко — дракон-травой.

Впрочем, однажды, когда бабушка о чем-то попросила маркизу де Вильпаризи, из знатного рода Буйон[30], с которой она познакомилась в Сакре-Кёр[31] (и с которой она в соответствии с нашим представлением о кастах, несмотря на взаимную симпатию, не захотела поддерживать отношения), маркиза сказала ей: «Если не ошибаюсь, вы хороши со Сваном, близким другом моих племянников по фамилии де Лом». Бабушка вернулась в восторге от дома окнами в сад — мар-

---

[30] Примечания: 30

Буйон — одно из самых знатных семейств Франции, игравшее ведущую роль во многих исторических событиях.

[31] Примечания: 31

Сакре-Кёр (Сердце Иисуса) — культ Сакре-Кёр, получивший распространение в католицизме, в XIX веке дал жизнь многочисленным школам для девочек из аристократических семейств; о такой школе и говорится в романе.

киза де Вильпаризи советовала ей нанять здесь квартиру, — а также от жилетника и его дочери, у которых было заведение во дворе и куда она, разорвав на лестнице юбку, зашла попросить заштопать ее. Бабушке эти люди показались верхом совершенства; она объявила, что малышка — настоящее сокровище, а что таких воспитанных, таких милых людей, как жилетник, она еще не встречала. Дело в том, что воспитанность, по ее мнению, нисколько не зависела от социального положения. Она восхищалась одним ответом жилетника и говорила маме: «Так бы и Севинье[32] не сказать!» Зато о племяннике маркизы де Вильпаризи, которого она у нее видела, бабушка отозвалась так: «Ах, доченька, до чего же он зауряден!»

Слова маркизы де Вильпаризи о Сване не подняли его в глазах моей двоюродной бабушки, а маркизу де Вильпаризи унизили. Казалось, то уважение, которое мы, полагаясь на бабушку, питали к маркизе де Вильпаризи, обязывало ее не ронять своего достоинства в наших глазах,

---

[32] Примечания: 32

Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза (1626–1696) — французская салонная писательница. Ее «Избранные письма», на которые Пруст часто ссылается в своем романе, считаются образцом классицистической прозы.

однако она его уронила, так как знала о существовании Свана и разрешала своим родственникам с ним водиться. «Как! Она знает Свана? А ты еще уверяешь, что она в родстве с маршалом Мак-Магоном[33]!» Мнение моих родных о знакомствах Свана укрепила, как они считали, его женитьба на женщине из дурного общества, почти кокотке, которую он, впрочем, и не пытался представить нам, продолжая бывать у нас один, хотя все реже и реже, но которая будто бы давала им возможность судить о неведомой им среде, а ведь они предполагали, что взял он ее оттуда, где он постоянно вращался.

Но вот однажды дедушка вычитал в газете, что Сван — постоянный посетитель воскресных завтраков у герцога Икс, отец и дядя которого при Луи-Филиппе занимали самые высокие посты. Надо заметить, что дедушка проявлял особое любопытство ко всякого рода мелким фактам, которые помогали ему мысленно проникать в частную жизнь таких людей, как Моле[34], как

---

[33] Примечания: 33

Мак-Магон, Патрис де (1808–1893) — французский военный и государственный деятель, президент Республики (1873–1879).

[34] Примечания: 34

Моле, Луи-Матье, граф де (1781–1855) — политик, государственный деятель, премьер-министр (1837–1839) при Луи-Филиппе.

герцог Пакье[35], как герцог де Брой[36]. Он был счастлив, что Сван встречается с людьми, которые их знали. А двоюродная бабушка истолковала эту новость в неблагоприятном для Свана смысле: человек, выбирающий себе знакомых вне своей касты, к которой он принадлежит по рождению, вне своего общественного «класса», переживает, с ее точки зрения, пагубный процесс деклассирования. Ей казалось, что такой человек отказывается от выгоды, заключающейся в хороших отношениях со всеми солидными людьми, а ведь кто попредусмотрительней, те, помня о своих детях, почитают за честь поддерживать такие отношения и дорожат ими. (Моя двоюродная бабушка даже отказала от дома сыну нашего друга нотариуса, потому что он женился на «сиятельной» и таким образом унизился в ее глазах до того, что променял почетное положение сына нотариуса на положение одного из тех проходимцев, лакеев и конюших, которым, по слухам, королевы в старину оказывали благосклонность.) Она восстала

[35] Примечания: 35

Герцог Пакье, Этьен-Дени (1767–1862) — политик, председатель Палаты пэров при Луи-Филиппе, автор «Мемуаров».

[36] Примечания: 36

Герцог де Брой, Леонс-Виктор (1785–1870) — политик, министр иностранных дел при Луи-Филиппе.

против намерения моего дедушки в ближайший же вечер, когда Сван придет к нам ужинать, расспросить его, что это за друзья, которых он завел без нашего ведома. Две сестры моей бабушки, старые девы, блиставшие душевными своими качествами, но не умом, со своей стороны выразили недоумение, что за удовольствие находит их зять в разговорах о таких пустяках. Обе они были с понятиями возвышенными и потому терпеть не могли перемывать, как говорится, косточки, их не интересовали даже исторические анекдоты; вообще у них не вызывало интереса все, что не имеет прямого отношения к прекрасному и высокому. Им было так глубоко безразлично все, что по видимости имело прямое или косвенное касательство к светской жизни, что их слуховые органы, — придя в конце концов к убеждению, что когда разговор за столом принимает легкомысленный или хотя бы даже низкий оттенок и обе старые девы не в состоянии обратить его к предметам для них дорогим, то они им просто не нужны, — переставали на это время воспринимать звуки, и, в сущности, это было началом их атрофии. Если дедушке необходимо было привлечь внимание двух сестер, он прибегал к сигналам, которыми пользуются психиатры,

имеющие дело с патологически рассеянными субъектами: к постукиванию ножом по стакану, сопровождаемому грозным окриком и грозным взглядом, к тем жестоким средствам, какие психиатры часто применяют и в общении с людьми здоровыми — то ли по профессиональной привычке, то ли потому, что они всех считают слегка сумасшедшими.

Накануне того дня, когда Сван, собираясь прийти к нам ужинать, прислал сестрам ящик асти, они проявили к Свану более живой интерес, потому что моя двоюродная бабушка, держа в руках номер «Фигаро»[37], где рядом с названием картины Коро[38], висевшей на выставке, было напечатано: «Из собрания г-на Шарля Свана», спросила: «Вы обратили внимание, что „Фигаро “ „почтил “ Свана?» — «Я всегда говорила, что у него хороший вкус», — вставила бабушка. «Ну конечно, разве ты хоть в чем-нибудь бываешь с нами согласна?» — заметила моя двоюродная

---

[37] Примечания: 37

«Фигаро» — сатирический еженедельник, основанный в 1854 г., преобразованный в 1866 г. в ежедневную газету, посвященную политике и литературе.

[38] Примечания: 38

Коро, Жан-Батист (1796–1875) — французский художник, продолжатель традиции классицизма, ставший предшественником импрессионизма.

бабушка; зная, что бабушка никогда с нею не соглашается, а мы не всегда становимся на ее сторону, она сделала попытку вырвать у нас огульное осуждение мнения бабушки, — ей хотелось заставить нас примкнуть к ней. Но мы хранили молчание. Бабушкины сестры изъявили желание поговорить со Сваном по поводу заметки в «Фигаро», но моя двоюродная бабушка им это отсоветовала. Всякий раз, как она убеждалась в чьем-либо превосходстве над собой, хотя бы самом незначительном, она приучала себя к мысли, что это не превосходство, а порок, и, чтобы не завидовать этому человеку, жалела его. «По-моему, вы ему этим удовольствия не доставите; мне, по крайней мере, было бы очень неприятно увидеть, что моя фамилия полностью напечатана в газете, — я ничуть не была бы польщена, если б со мной об этой заговорили». Впрочем, ей не пришлось долго уламывать бабушкиных сестер: из отвращения к пошлости они так изощрились в искусстве скрывать личности под хитроумными иносказаниями, что человек часто не замечал намека. А моя мать думала только о том, как бы убедить отца поговорить со Сваном, но не о жене его, а о дочери, которую Сван боготворил и ради которой он, по слухам, в конце концов решился

на брак: «Скажи ему два слова, спроси, как она поживает, нельзя же быть такими жестокими!» Отец сердился: «Ну уж нет! Что у тебя за вздор на уме! Это было бы просто глупо».

Единственно, кто у нас ждал Свана с мучительной тревогой, это я. Дело в том, что, когда у нас вечером бывали гости или хотя бы только Сван, мама не поднималась ко мне в комнату. Я ужинал раньше всех, затем приходил посидеть с гостями, а в восемь часов мне надо было подниматься к себе; я вынужден был уносить с собой из столовой в спальню тот драгоценный, хрупкий поцелуй, который мама имела обыкновение дарить мне, когда я лежал в постели, перед тем как мне заснуть, и, пока я раздевался, беречь его, чтобы не разбилась его нежность, чтобы не рассеялась и не испарилась его летучесть; но как раз в те вечера, когда я ощущал необходимость особенно осторожного с ним обращения, я должен был второпях, впопыхах, на виду у всех похищать его, не имея даже времени и внутренней свободы, чтобы привнести в свои действия сосредоточенность маньяков, которые, затворяя дверь, стараются ни о чем другом не думать, с тем чтобы, как скоро ими вновь овладеет болезненная неуверенность, победоносно противопоставить ей воспомина-

ние о том, как они затворяли дверь.

Мы все были в саду, когда дважды нерешительно звякнул колокольчик. Мы знали, что это Сван; и все же мы вопросительно переглянулись и послали бабушку на разведку. «На забудьте членораздельно поблагодарить его за вино, — посоветовал дедушка своим свояченицам. — Вино, как вам известно, дивное, ящик он прислал громадный». — «Только не шептаться! — сказала моя двоюродная бабушка. — В доме, где все шушукаются, не очень-то приятно бывать». — «А, Сван! Сейчас мы у него спросим, какая завтра будет погода», — сказал отец. Мать решила, что одного слова будет достаточно, чтобы загладить все обиды, которые наша семья причинила Свану после его женитьбы. Она нашла предлог отвести его в сторону. А я пошел за ней; я не мог отпустить ее ни на шаг, потому что вот-вот должен был с ней расстаться и, выйдя из столовой, идти к себе наверх, не утешаясь мыслью, как в другие вечера, что она придет поцеловать меня. «Расскажите о вашей девочке, Сван, — заговорила мать. — Наверно, она уже любит красивые вещи, как ее папа». — «Пойдем посидим на веранде», — подойдя к нам, сказал дедушка. Матери ничего не оставалось, как прекратить разговор, но эта

помеха навела ее на более счастливую мысль — так тирания рифмы заставляет хороших поэтов достигать совершенства. «Мы поговорим о ней наедине, — тихо сказала она Свану. — Только мать способна понять вас. Я убеждена, что ее мама того же мнения». Мы сели вокруг железного стола. Я старался не думать о тоскливых часах, которые мне предстояло провести в одиночестве, без сна, у себя в комнате; я уговаривал себя, что из-за этого не стоит огорчаться, потому что завтра утром я о них забуду, — я пытался сосредоточиться на мыслях о будущем, которые должны были провести меня, точно по мосту, над близкой и страшной пропастью. Однако мое перегруженное беспокойством сознание, такое же напряженное, как взгляды, которые я бросал на мать, было недоступно для внешних впечатлений. Мысли в него проникали, но так, что все прекрасное или даже смешное, способное растрогать меня или развлечь, оставалось снаружи. Как больной, отчетливо сознавая, что ему делают операцию, благодаря обезболивающему средству ничего при этом не чувствует, так я, не испытывая ни малейшего волнения, мог декламировать любимые стихи или без тени улыбки наблюдать за тем, как дедушка пытается заговорить со Сваном

о герцоге д' Одифре-Пакье[39]. Попытки деда не имели успеха. Стоило ему задать Свану вопрос об этом ораторе — и одна из бабушкиных сестер, чей слух воспринимал вопрос дедушки как глубокое, но неуместное молчание, нарушить которое требовала вежливость, обратилась к другой: «Ты знаешь, Флора, я познакомилась с молодой учительницей-шведкой, и она сообщила мне чрезвычайно интересные подробности о кооперативах в Скандинавских государствах. Надо будет пригласить ее к нам поужинать». — «Ну конечно! — ответила Флора. — Я тоже даром время не теряла. Я встретилась у Вентейля с одним широкообразованным стариком, который хорошо знает Мобана[40], и Мобан подробнейшим образом ему рассказал, как он работает над ролью. Чрезвычайно интересно! Оказывается, этот старик — сосед Вентейля, а я и не знала. Он очень любезен». — «Не у одного Вентейля любезные соседи!» — воскликнула ее сестра Селина голосом, громким от застенчивости и неестественным

[39] Примечания: 39

Д'Одифре-Пакье, Эдме Арман Гастон, герцог (1823–1905) — политический деятель, сторонник Реставрации, советник графа Парижского.

[40] Примечания: 40

Мобан, Анри (1821–1902) — актер «Комеди-Франсез», исполнявший роли благородных отцов и королей.

от преднамеренности, и при этом бросила на Свана взгляд, который она называла «многозначительным». Догадавшись, что Селина изъявила таким образом благодарность за асти, Флора тоже устремила на Свана взгляд, выражавший не только признательность, но и насмешку, то ли просто-напросто подчеркивавшую находчивость Селины, то ли показывавшую, что она завидует Свану, так как это он вдохновил ее сестру, а быть может, она просто не могла не поиронизировать над ним, так как была уверена, что он чувствует себя сейчас в положении подсудимого. «Я думаю, этот господин не откажется к нам прийти, — продолжала Флора. — О Мобане или о Матерна́[41] он способен говорить часами — стоит только завести о них разговор». — «Это должно быть очень любопытно», — со вздохом проговорил дедушка, чей ум природа, к несчастью, совершенно лишила способности проявлять живой интерес и к шведским кооперативам, и к работе Мобана над ролью, подобно тому как она забыла наделить ум сестер моей бабушки хотя бы крупицей соли, без которой даже рассказ об интимной жизни Моле или графа Парижского покажется пресным.

---

[41] Примечания: 41

Матерна́, Амалия (1847–1918) — австрийская певица, исполнявшая партию Брунгильды в «Валькирии» Р. Вагнера.

«Знаете, — обратился к дедушке Сван, — то, что я вам сейчас скажу, имеет больше отношения к вашему вопросу, чем это может показаться на первый взгляд, потому что если взглянуть на жизнь под определенным углом зрения, то нельзя не прийти к выводу, что она не так уж изменилась. Утром я перечитывал Сен-Симона[42] и нашел одно небезлюбопытное для вас место. Это в том томе, где Сен-Симон рассказывает, как он был послом в Испании; это не из лучших его томов, — перед вами просто дневник, но дневник, чудесно написанный, и уже в этом одном его громадное преимущество перед скучнейшими газетами, которые мы считаем себя обязанными читать утром и вечером». — «Я с вами не согласна; иногда читать газеты — большое удовольствие…» — перебила его бабушка Флора, намекая на заметку в «Фигаро» о принадлежащей Свану картине Коро. «Это когда газеты сообщают о событиях или людях, которые нас интересуют!» — подхватила бабушка Селина. «Да я против этого не спорю, — с удивлением заметил Сван. — Я ставлю в вину

[42] Примечания: 42

Сен-Симон, Луи де Рувре, герцог (1675–1755) — политик и писатель, снискавший посмертную славу своими «Мемуарами» (1829–1830), которые высоко ценил Пруст, рассматривая их в качестве одной из моделей романа.

газетам то, что они изо дня в день обращают наше внимание на разные мелочи, а книги, в которых говорится о важных вещах, мы читаем каких-нибудь три-четыре раза в жизни. Уж если мы с таким нетерпением разрываем каждое утро бандероль, в которую вложена газета, значит, нужно изменить положение вещей и печатать в газете… ну, скажем… „Мысли“ Паскаля[43]! (Чтобы не прослыть педантом, Сван произнес слово «мысли» высокопарно-иронически.) И наоборот: в томе с золотым обрезом, который мы раскрываем не чаще, чем раз в десять лет, — добавил он с тем пренебрежением к высшему свету, какое напускают на себя иные светские люди, — нам бы следовало читать о том, что королева эллинов отбыла в Канн, а что принцесса Леонская устроила костюмированный бал. Таким образом равновесие было бы восстановлено». Но Сван тут же пожалел, что хоть и вскользь, а заговорил о серьезных предметах. «У нас сегодня завязался умный разговор. Не понимаю, почему, собственно, мы заговорили о „высоких матери-

[43] Примечания: 43

«Мысли» Паскаля — под таким названием были опубликованы в 1670 г. подготовительные заметки к апологии христианства, составившие главный философский труд Блеза Паскаля (1623–1662), французского мыслителя, физика, математика.

ях “, — насмешливо заметил он и обратился к дедушке: — Так вот, Сен-Симон рассказывает, как Молеврье отважился протянуть руку его сыновьям. Об этом самом Молеврье[44] у герцога сказано: „В этой пузатой бутылке я никогда ничего не видел, кроме раздражения, грубости и вздора“». — «Пузатые или не пузатые — это другое дело, но я знаю бутылки, в которых налито нечто иное», — живо отозвалась Флора, считавшая своей обязанностью тоже поблагодарить Свана, потому что он подарил асти обеим сестрам. Селина засмеялась. Сван был озадачен. «Не знаю, что это было, — пишет Сен-Симон, — оплошность или подвох, — продолжал он, — но только Молеврье вознамерился протянуть руку моим детям. Я вовремя это заметил и предотвратил». Дедушку привело в восторг выражение: «оплошность или подвох», но у мадемуазель Селины фамилия Сен-Симона — писателя! — предотвратила полную потерю слуха, и она пришла в негодование: «Что с вами? Как вы можете этим восхищаться? И что, собственно, это значит? Чем один человек хуже другого? Если у человека есть ум и сердце, то не все ли равно — герцог он или конюх? Прекрасная

[44] Примечания: 44

Молеврье, Жан-Батист-Луи Андро, маркиз де (1677–1754) — политик, посол Франции в Мадриде (1720–1723).

система воспитания была у вашего Сен-Симона, коль скоро он воспрещал детям пожимать руку честным людям! Это просто отвратительно! Зачем вы это цитируете?» Тут дедушка, поняв, что при такой обструкции Сван не станет рассказывать занятные истории, с досадой сказал вполголоса маме: «Напомни-ка твой любимый стих, — мне от него становится легче жить на свете. Ах да! „Бог ненависть внушил нам к доблестям иным“[45]. Как это хорошо сказано!»

Я не спускал глаз с мамы — я знал, что мне не позволят досидеть до конца ужина и что, не желая доставлять неудовольствие отцу, мама не разрешит мне поцеловать ее несколько раз подряд, как бы я целовал ее у себя. Вот почему я решил — прежде чем в столовой подадут ужин и миг расставания приблизится — заранее извлечь из этого мгновенного летучего поцелуя все, что в моих силах: выбрать место на щеке, к которому я прильну губами, мысленно подготовиться, вызвать в воображении начало поцелуя, с тем чтоб уж потом, когда мама уделит мне минутку, всецело отдаться ощущению того, как мои губы касаются ее щеки, — так художник, связанный

[45] Примечания: 45

«Бог ненависть внушил нам к доблестям иным» — неточная цитата из трагедии Пьера Корнеля (1606–1684) «Смерть Помпея» (акт III, сцена 4).

кратковременностью сеансов, заранее готовит палитру и по памяти, пользуясь своими эскизами, делает все, для чего присутствие натуры не обязательно. Но еще до звонка к ужину дедушка совершил неумышленную жестокость. «У малыша усталый вид, — сказал он, — пора ему спать. Сегодня мы запоздали с ужином». Отец обычно не так строго следил за соблюдением устава, как бабушка и мать, но тут и он сказал: «Да, иди-ка спать». Я только хотел было поцеловать маму, как позвонили к ужину. «Нет уж, оставь маму в покое, довольно этих телячьих нежностей, пожелайте друг другу спокойной ночи, и все. Иди, иди!» И пришлось мне уйти без причастия; пришлось подниматься со ступеньки на ступеньку, как говорится, «скрепя сердце», потому что сердцу хотелось вернуться к маме, не поцеловавшей меня и, следовательно, не давшей сердцу разрешения уйти вместе со мной. Эта ненавистная мне лестница, по которой я всегда так уныло взбирался, пахла лаком, и ее запах до известной степени пропитывал и упрочивал ту особенную грусть, которую я испытывал ежевечерне, — он делал ее, пожалуй, даже еще более тягостной для моей восприимчивой натуры, потому что мой разум не в силах был с нею бороться, поскольку

она действовала на обоняние. Когда мы еще спим и воспринимаем зубную боль в виде молодой девушки, которую мы сотни раз подряд силимся вытащить из воды, или в виде мольеровского стиха, который мы твердим без устали, то какое великое облегчение наступает для нас, когда мы просыпаемся и даем возможность нашему рассудку совлечь с мысли о зубной боли героический или же ритмизованный наряд! Я ощущал нечто прямо противоположное такому облегчению: я вдыхал исходивший от лестницы запах лака, а вдыхание куда более ядовито, чем проникновение через мозг, и оттого грусть при мысли, что мне надо подниматься по лестнице, овладевала мной неизмеримо быстрее, почти мгновенно, коварно и вместе с тем стремительно. Придя к себе, я должен был наглухо запереться, закрыть ставни, вырыть себе могилу, откинув одеяла, и надеть саван в виде ночной рубашки. Однако, прежде чем похоронить себя в железной кровати, которую внесли ко мне в комнату, потому что летом мне было очень жарко под репсовым пологом, завешивавшим другую, большую кровать, я выказал своеволие, я прибег к уловке осужденного. Я написал маме записку, умоляя ее подняться ко мне по важному делу, о котором я мог сооб-

щить ей только устно. Я боялся, что кухарка моей двоюродной бабушки Франсуаза, которой велено было смотреть за мною в Комбре, откажется передать записку. Меня мучило опасение, что просьба передать моей матери записку при гостях покажется ей столь же невыполнимой, как для капельдинера вручить актеру письмо на сцене. Относительно того, что можно и чего нельзя, у Франсуазы был свой собственный свод законов, строгий, обширный, хитроумный и неумолимый, с непостижимыми и ненужными разграничениями (что придавало ему сходство с древними законами, которые были настолько свирепы, что предписывали убивать грудных младенцев, и в то же время обнаруживали чрезмерную щепетильность, воспрещая варить козленка в молоке его матери или же употреблять в пищу седалищный нерв животного). Если судить о своде законов Франсуазы по внезапному упрямству, с каким она отказывалась выполнять некоторые наши поручения, то невольно приходишь к выводу, что предусматриваемая этим сводом сложность общественных отношений и свет-ские тонкости не могли быть подсказаны Франсуазе ее средой и образом жизни деревенской служанки; очевидно, в ней жила глубокая французская старина,

благородная и недоступная пониманию окружающих, — так в промышленных городах старинное здание свидетельствует о том, что прежде это был дворец: рабочих химического завода окружают изящные скульптуры, изображающие чудо, происшедшее со святым Теофилом[46], и четырех сыновей Эмона[47]. У меня могла быть слабая надежда, что в данном случае Франсуаза нарушит статью своего кодекса, по которой она имела право беспокоить маму в присутствии г-на Свана из-за такой ничтожной личности, как я, лишь в случае пожара, а между тем этой статьей Франсуаза выражала свое почтение не только к моим родным — так чтут покойников, духовных особ и монархов, — но и к постороннему, которого зовут в гости, и это ее почтение, быть может, тронуло бы меня, прочти я о нем в книге, но оно меня раздражало, когда его изъявляла Франсу-

[46] Примечания: 46

…чудо, происшедшее со святым Теофилом… — «Чудо о святом Теофиле», религиозная драма, приписываемая Рутбёфу, труверу XIII века, один из источников легенды о Фаусте: монах Теофил продает свою душу дьяволу, но благодаря чудесной помощи Богоматери расторгает страшную сделку.

[47] Примечания: 47

…четырех сыновей Эмона. — Имеется в виду «Четыре сына Эмона» — средневековый роман в стихах, автором которого считается Гюон де Вильнев, трувер XIII века: четыре храбрых непокорных рыцаря бьются с Карлом Великим, отстаивая свою независимость.

аза, раздражал ее торжественный и умильный тон, особенно торжественный в тот вечер, ибо трапеза была в ее глазах священна, в силу чего она не осмелилась бы нарушить ее церемониал. И вот, стремясь повысить шансы на успех, я не остановился перед тем, чтобы солгать: я сказал, что написал маме отнюдь не по собственному желанию, — это мама, когда мы с ней прощались, велела мне не забыть ответить по поводу одной вещи, которую она просила меня поискать, и если ей не передать моей записки, то она, конечно, очень рассердится. Я думаю, что Франсуаза мне не поверила: подобно первобытным людям, у которых чувства были острее, чем у нас, она по каким-то непостижимым для нас признакам мгновенно угадывала правду, которую мы пытались от нее скрыть; она в течение пяти минут рассматривала конверт, как будто исследование бумаги и почерка могло дать ей представление о содержании записки и подсказать, какую статью здесь требуется применить. Затем она ушла с покорным видом, казалось, говорившим: «Какое несчастье для родителей иметь такого ребенка!» Вернулась она сейчас же и сказала, что еще кушают мороженое и буфетчик не может на виду у всех передать записку, но что когда будут полоскать

рот, он как-нибудь ухитрится передать ее маме. Я сразу успокоился; мое положение улучшилось по сравнению с тем, в каком я находился только что, расставаясь с мамой до завтра: моя записочка, конечно, рассердит маму (особенно потому, что хитрость моя выставит меня в смешном виде перед Сваном), но она введет меня, невидимого и ликующего, в ту комнату, где сидит мама, она шепнет маме обо мне, благодаря чему запретная, враждебная мне столовая, где даже мороженое — «гранитная глыба» — и стаканы для полоскания рта таили, как мне казалось еще за секунду до возвращения Франсуазы, пагубные и смертельно скучные удовольствия, раз мама получает их вдали от меня, — эта столовая будет теперь для меня открыта и, как спелый плод, разрывающий кожуру, вот-вот брызнет и доплеснет до моего исстрадавшегося сердца внимание мамы в то время, когда она будет читать мои строки. Теперь я уже не был от нее отгорожен; преграды рухнули, нас вновь связала чудесная нить. И это еще не все: мама, несомненно, ко мне придет!

Мне представлялось, что если бы Сван прочел мою записку и догадался, какова ее цель, то моя тоска показалась бы ему смешной; между тем впоследствии мне стало известно, что та же

самая тоска мучила его много лет, и, пожалуй, никто бы меня так не понял, как он; ее, эту тоску, нападающую, когда любимое существо веселится там, где тебя нет, где тебе нельзя быть с ним, вызывала в нем любовь, для которой эта тоска, в сущности, как бы и создана, которая непременно ее себе присвоит и для себя приспособит; если же, как это было со мной, тоска найдет на нас до того, как в нашей жизни появится любовь, то, в ожидании любви, она, смутная и вольная, не имея определенного назначения и перелетая от чувства к чувству, нынче служит сыновней привязанности, завтра — дружбе с товарищем. Более того: Сван познал и радость, какую принес мне первый мой опыт, когда Франсуаза пришла сказать мне, что записку передадут, — ту обманчивую радость, которую доставляет нам наш друг или родственник любимой женщины, когда, направляясь к дому или к театру, где он должен встретиться с ней на балу, на празднестве, на премьере, он замечает, что мы слоняемся у подъезда, напрасно надеясь, что случай нас с нею сведет. Он узнаёт нас, непринужденно подходит, спрашивает, что мы здесь делаем. Мы придумываем, что его родственница или приятельница нам нужна по срочному делу; он уверяет, что

устроить с нею свидание проще простого, приглашает войти в вестибюль и обещает прислать ее к нам через пять минут. Как мы благословляем его, — вот так же я благословлял сейчас Франсуазу, — доброжелательного этого посредника, одно слово которого сделало для нас приемлемым, человечным и даже почти приятным загадочное, бесовское торжество, во время которого, как нам только что представлялось, враждебные вихри, порочные и упоительные, уносят от нас, да еще заставляют издеваться над нами, ту, кого мы так любим! Если судить по этому подошедшему к нам родственнику, посвященному в жестокие таинства, то и в других приглашениях на праздник тоже нет ничего демонического. И вот мы проникаем в недоступный и мучительный для нас мир вкушаемых ею и неведомых нам наслаждений как во внезапно открывшийся перед нами пролом; и вот мы уже представляем себе, мы обладаем, мы приобщаемся, мы почти что сами и создаем одно из мгновений, из которых состоит это веселье, — мгновение не менее реальное, чем все остальные, может быть, даже наиболее важное для нас, потому что наша возлюбленная с ним особенно связана: это то самое мгновение, когда ей скажут, что мы там, внизу. И понятно,

последующие мгновения празднества, в сущности, не должны так уж отличаться от этого, не могут быть чудеснее, чем это, и не могут вызвать у нас такую душевную боль, раз благожелательный друг объявил: «Да она с радостью спустится к вам! Ей будет гораздо приятнее говорить с вами, чем скучать наверху». Увы! Сван знал по опыту, что благие намерения третьего лица не имеют власти над женщиной, раздраженной тем, что человек, которого она не любит, преследует ее даже на балу. Друг часто спускается к нам один.

Мама не пришла и, не щадя моего самолюбия (заинтересованного в том, чтобы выдумка насчет поисков, о результате которых она якобы просила меня сообщить ей, не была разоблачена), велела Франсуазе передать мне: «Ответа не будет» — слова, которые потом так часто говорили при мне бедным девушкам швейцары в «шикарных» гостиницах или лакеи в игорных домах. «Как! Он ничего не сказал? — переспрашивали те в изумлении. — Не может быть! Ведь вы же ему передали мое письмо. Ну хорошо, я подожду». И, уподобясь одной из таких девушек, неизменно уверяющей швейцара, что дополнительный газовый рожок, который тот хочет зажечь для нее, ей не нужен, остающейся ждать и слышащей лишь,

как швейцар и посыльный время от времени переговариваются о погоде и как швейцар, вдруг заметив, что указанный одним из постояльцев срок наступил, велит посыльному поставить напиток в ведро со льдом, — я, отвергнув предложение Франсуазы сделать мне настойку и побыть со мной, отослал ее в буфетную, а сам лег и закрыл глаза, стараясь не прислушиваться к голосам родных, пивших в саду кофе. Но через несколько секунд я почувствовал, что, написав записку маме, я, рискуя рассердить ее, настолько приблизился к ней, что как будто бы осязаю миг ее появления и тем лишаю себя возможности заснуть, не увидевшись с ней, и сердце мое с каждым мгновением билось все больнее, потому что, уговаривая себя успокоиться и покориться моей горькой участи, я только усиливал свое возбуждение. Вдруг тоска прошла и сменилась блаженством, как будто начало действовать сильное болеутоляющее средство: я решил даже не пытаться заснуть, не повидавшись с мамой, и во что бы то ни стало поцеловать ее, когда она будет подниматься к себе в спальню, хотя бы она долго после этого на меня сердилась. Конец мукам, ожидание, жажда и боязнь опасности — все это наполнило мою душу необыкновен-

ным восторгом. Я бесшумно отворил окно и сел у изножья кровати; чтобы меня не услышали внизу, я сидел почти неподвижно. За окном все предметы тоже как бы застыли в напряженном молчании, боясь потревожить лунный свет, а свет, растягивая перед каждым предметом его тень, более плотную и определенную, чем сам предмет, увеличивал его вдвое и отодвигал, а весь вид в целом утончал и в то же время разворачивал, как разворачивают свернутый чертеж. Что́ испытывало потребность в движении — например, листва каштана, — то шевелилось. Но всю ее охвативший трепет, тщательно отшлифованный, с соблюдением малейших оттенков, доведенный до возможной степени совершенства, не добрызгивался до окружающего, не сливался с ним, оставался обособленным. Дальние звуки, выделявшиеся на фоне тишины, которая их не поглощала, и долетавшие, по всей вероятности, из садов, раскинувшихся на другом конце городка, воспринимались до такой степени «отделанными» в каждом своем полутоне, что казалось, будто впечатление дальности зависит только от их пианиссимо, вроде тех мотивов, которые так мастерски исполняет под сурдинку оркестр консерватории: ни одна нота не пропадет, а у

слушателей создается впечатление, что они звучат где-то далеко от концертного зала, и старые абоненты — в частности, бабушкины сестры, когда Сван уступал им свои места, — наставляли уши, словно прислушиваясь к далеким шагам марширующих солдат, еще не свернувших на улицу Тревизы.

Зная моих родителей, я отдавал себе отчет, что моя затея может иметь для меня самые тяжкие последствия, куда более тяжелые, чем мог бы ожидать человек посторонний, — такие, которые, по его понятиям, могло бы повлечь за собой только что-нибудь действительно скверное. При том воспитании, которое я получал, степень важности проступков определялась по-иному, чем у других детей: меня приучали зачислять в разряд самых больших провинностей (наверное, потому, что меня надо было особенно тщательно оберегать от них) те, которые, как это мне стало ясно только теперь, мы обыкновенно совершаем под влиянием нервного возбуждения. Но тогда это выражение при мне не употреблялось, мне не указывали на происхождение подобного рода проступков, а то я мог бы сделать вывод, что это простительно или что справиться с этим мне не по силам. Однако я легко отличал эти проступки

по тоске, которая им предшествовала, и по строгости следовавшего за ними наказания; и сейчас я сознавал, что проступок, который я совершил, принадлежит к разряду тех, за которые меня постигала суровая кара, но только гораздо более важный. Если я выйду навстречу матери, когда она будет подниматься к себе в спальню, и она увидит, что я встал, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня больше дома не оставят, меня завтра же отправят в коллеж — я был в этом уверен. Ну что ж! Если бы даже я должен был через пять минут выброситься в окно, меня бы и это не удержало. У меня было одно желание: увидеть маму, пожелать ей спокойной ночи, я слишком далеко зашел в этом своем стремлении — отступать было поздно.

Я услыхал шаги моих родных, провожавших Свана. И едва колокольчик у калитки дал мне знать, что Сван ушел, я пробрался к окну. Мама спрашивала отца, хорош ли был лангуст и просил ли Сван подложить ему кофейного и фисташкового мороженого. «Мне оно не очень понравилось, — заметила мать. — В следующий раз надо будет сделать какое-нибудь другое». — «А как изменился Сван! — воскликнула моя двоюродная бабушка. — Он совсем старик!» Сван ей

все казался юнцом, и вдруг она с удивлением обнаружила, что он далеко не так молод. Впрочем, все мои родные отмечали ненормальную, раннюю, постыдную старость Свана и считали, что он ее заслужил, как все холостяки, для которых длинное «сегодня», не имеющее своего «завтра», тянется дольше, чем для других, потому что у них оно ничем не заполнено, мгновения с утра присчитываются одно к другому, не распределяясь между детьми. «Наверно, ему много крови попортила его мерзавка жена: ведь она на глазах у всего Комбре живет с каким-то Шарлю. Это притча во языцех». Мать возразила, что за последнее время Сван явно повеселел: «И теперь он не так часто протирает глаза и проводит рукой по лбу — это был характерный жест его отца. Мне думается, он разлюбил жену». — «Конечно, разлюбил, — подхватил дедушка. — Я уже давно получил от него письмо по этому поводу — тогда я не придал ему особого значения, но оно не оставляет никаких сомнений относительно его чувств к жене, во всяком случае — его любви к ней. Да, ну а почему же вы все-таки не поблагодарили его за асти?» — обратился дедушка к свояченицам. «Как так не поблагодарили? Если уж на то пошло, я, по-моему, сделала это достаточно тонко», — возразила ба-

бушка Флора. «Да, у тебя это очень хорошо вышло: я тобой восхищалась», — заметила бабушка Селина. «Ты тоже не сплоховала». — «Да, я горжусь своей фразой насчет любезных соседей». — «То есть как? Это вы называете поблагодарить? — вскричал дедушка. — Я все прекрасно слышал, но разрази меня Господь, если я сообразил, что это относилось к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял». — «Ну уж нет, Сван не так глуп, я убеждена, что он догадался. Не могла же я сказать, сколько бутылок и почем они!»

Оставшись вдвоем, отец и мать посидели немного, потом отец сказал: «Ну что ж, если хочешь — пойдем спать». — «Это если ты хочешь, мой друг, — у меня сна ни в одном глазу нет; впрочем, я не думаю, чтобы безвредное кофейное мороженое так меня возбудило. В буфетной горит свет; ну раз милая Франсуаза все равно меня ждет, я попрошу ее, пока ты будешь раздеваться, расстегнуть мне корсаж». И тут мама отворила решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается, чтобы закрыть у себя в комнате окно. Я проскользнул в коридор; сердце мое билось так сильно, что я еле шел, но теперь оно билось уже не от тоски, а от радости и от страха. Я увидел мамину свечу, освещавшую

лестничную клетку. Потом я увидел маму; я бросился к ней. В первую секунду она, не поняв, в чем дело, посмотрела на меня с изумлением. Затем на ее лице изобразился гнев; она не сказала мне ни единого слова; впрочем, со мной не разговаривали по нескольку дней из-за сущей безделицы. Если б мама сказала мне хотя бы одно слово, то это означало бы, что со мной можно говорить, и, пожалуй, это было бы для меня еще страшнее: я бы вообразил, что, в сравнении с ожидающим меня грозным возмездием, молчание, разрыв — пустяки. Слово было бы равнозначно спокойному тону, каким говорят со слугой, которого решено рассчитать, или поцелую, который дарят сыну, призванному на военную службу, и которого при других обстоятельствах ему бы не дали, так как был уговор наложить на него двухдневную опалу. Но тут мама услыхала шаги отца, вышедшего из туалетной, где он раздевался, и, чтобы избежать сцены, которую он устроил бы мне, прерывающимся от возмущения голосом сказала: «Беги! Беги! Не хватает еще, чтобы отец увидел, что ты тут торчишь, как дурак!» — «Приходи со мной попрощаться», — лепетал я, страшась отблеска отцовской свечи, кравшегося вверх по стене, и в то же время пользуясь его приближением как

средством шантажа в надежде, что мама, боясь, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать, скажет: «Иди к себе в комнату, я сейчас приду». Но было поздно: перед нами стоял отец. У меня невольно вырвалось — впрочем, так тихо, что никто моих слов не расслышал: «Я погиб!»

Однако этого не произошло. Отец постоянно отменял мои льготы, предусмотренные более широкими установлениями, принятыми моей матерью и бабушкой: он не обращал внимания на «принципы» и не считался с «правами человека». По совершенно случайной причине, а то и вовсе без всякой причины, он в последнюю минуту лишал меня прогулки, настолько привычной, настолько освященной обычаем, что это уже было с его стороны настоящим клятвопреступлением, или, как сегодня вечером, задолго до условленного часа объявлял: «Иди спать, без всяких разговоров!» Но поскольку принципов у него не было (в том смысле, как их понимала бабушка), то в нетерпимости его, собственно говоря, тоже нельзя было упрекнуть. Он посмотрел на меня удивленно и сердито, но, когда мама, запинаясь, вкратце объяснила ему, в чем дело, он сказал: «Ну так пойди к нему — ведь ты же

сама сказала, что тебе не хочется спать, побудь с ним немного, мне ничего не нужно». — «Но, друг мой, — робко возразила мать, — хочу я спать или не хочу — это нисколько не меняет дела, нельзя приучать ребенка...» — «Да никто и не приучает, — пожав плечами, заметил отец. — Ты же видишь: мальчик расстроен, вид у него удрученный, — что мы с тобой, палачи, что ли? А если он из-за тебя сляжет, что тогда? У него в комнате две кровати, — скажи Франсуазе, чтобы она приготовила тебе большую кровать, поспи у него. Ну, спокойной ночи! Я не такой нервный, как вы, — усну и один».

Отца нельзя было благодарить: его раздражало то, что он называл «сантиментами». Я замер на месте; он все еще стоял перед нами, высокий, в белом ночном халате и в платке из индусского кашемира в лиловую и розовую клетку, которым он повязывал голову с тех пор, как у него появились невралгические боли, и поза у него была как у повелевающего Сарре проститься с Исааком Авра-ама на подаренной мне Сваном гравюре фрески Беноццо Гоццоли[48].

---

[48] Примечания: 48

Гоццоли, Беноццо (1420–1497) — итальянский живописец флорентийской школы. Фреска «Жертвоприношение Авраама» находится среди других его фресок на Кампо-Санто в Пизе.

Этот вечер давно отошел в прошлое. Стены, на которой я увидел поднимающийся отблеск свечи, давно уже не существует. Во мне самом тоже разрушено многое из того, что тогда мне представлялось навеки нерушимым, и много нового воздвиглось, от чего проистекли новые горести и новые радости, которые я тогда еще не мог предвидеть, так же как прежние мне трудно понять теперь. Давно уже и отец мой перестал говорить маме: «Пойди с малышом». Такие мгновения для меня больше не повторятся. Но с некоторых пор, стоит мне напрячь слух, я отлично улавливаю рыдания, которые я нашел в себе силы сдержать при отце и которыми я разразился, как только остался вдвоем с мамой. В сущности, рыдания никогда и не затихали, и если теперь я слышу их вновь, то лишь потому, что жизнь вокруг меня становится все безмолвнее — так монастырские колокола настолько заглушает дневной уличный шум, что кажется, будто они умолкли, но в вечеровой тишине они снова звонят.

Мама провела эту ночь у меня в комнате; я ждал, что за мою провинность меня выгонят из дому, а вместо этого родители облагодетельствовали меня так, как не награждали ни за один хороший поступок. Даже сейчас, когда мне была

оказана такая милость, в отношении отца ко мне сказалось нечто незаконное, мною не заслуженное, что́ было вообще характерно для его отношения ко мне и что объяснялось не столько заранее обдуманными намерениями, сколько случайными его настроениями. Может быть, даже то, что он отсылал меня спать, в меньшей мере заслуживает названия строгости, чем строгость матери или бабушки, потому что кое в чем его натура резче отличалась от моей, чем их натура, и он, вероятно, до сих пор не догадывался, как я был несчастен все вечера, а между тем и моя мать, и бабушка прекрасно это знали, но они так меня любили, что не в силах были избавить от душевной боли: им хотелось приучить меня пересиливать ее, чтобы уменьшить мою нервозность и закалить мою волю. Отец любил меня по-другому, — вот почему я затрудняюсь сказать, хватило ли бы у него на это мужества; единственный раз, когда он понял, что мне тяжело, он сказал матери: «Успокой его». Мама осталась на эту ночь у меня и, как видно, не желая портить ни одним упреком те часы, от которых я вправе был ждать чего-то иного, на вопрос Франсуазы, понявшей, что происходит что-то необыкновенное (мама сидит рядом со мной, держит меня за

руку и, не пробирая меня, дает мне выплакаться): «Сударыня! Чего это мальчик так плачет?» — ответила: «Он сам не знает, Франсуаза, он просто разнервничался; постелите мне скорее на большой кровати и идите спать». Итак, впервые моя грусть рассматривалась не как заслуживающий наказания проступок, но как не зависящая от меня болезнь, признаваемая официально, как нервное состояние, за которое я не несу ответственности; я испытывал облегчение оттого, что мне не надо было стыдиться моих горючих слез, я сознавал, что это не грех. Помимо всего прочего, я очень гордился перед Франсуазой таким оборотом событий: ведь через час после того, как мама отказалась прийти ко мне и с высоты своего величия велела передать, чтобы я спал, я был возведен в сан взрослого, моя грусть была неожиданно воспринята как знак некоторой возмужалости, я был теперь волен плакать. Я должен был бы быть счастлив, но счастливым я себя не чувствовал. У меня было такое ощущение, что эта первая уступка моей мамы для нее мучительна, что это ее первый отказ от идеала, который она создала для меня, и что первый раз в жизни она, невзирая на свою храбрость, признала себя побежденной. У меня было такое ощущение,

что если я и одержал победу, то именно над ней, что моя победа равносильна победе болезни, скорбей или возраста, что она ослабляла ее волю, обессиливала ее разум и что нынешний вечер, открывавший новую эру, навсегда останется в ее памяти как печальная дата. Если б у меня хватило смелости, я бы сказал маме: «Нет, я не хочу, не ложись в моей комнате». Но мне был известен ее практический, реалистический, как сказали бы теперь, ум, уравновешивавший в ней пылко идеалистическую натуру бабушки; я знал, что теперь, когда ошибка допущена, мама, во всяком случае, предпочтет дать мне возможность насладиться блаженством покоя и не станет докучать отцу. Конечно, красивое лицо моей матери еще блистало молодостью в тот вечер, когда она так ласково гладила мои руки и старалась унять мои слезы; мне же казалось, что этого-то и не должно быть, ее гнев был бы для меня менее тягостен, чем эта необычайная нежность, которой мое детство не знало; мне казалось, что святотатственной и украдчивой рукой я только что провел в ее душе первую морщинку, что из-за меня у нее появился первый седой волос. При этой мысли я зарыдал еще неутешнее, и тут мне бросилось в глаза, что мама, никогда не позволявшая себе нежничать со

мной, внезапно растрогалась и силится удержать слезы. Поняв, что я это заметил, она сказала со смехом: «Ах ты мое золотце, ах ты мой чижик! Перестань сейчас же плакать, а то твоя мама наглупит, как ты. Послушай: раз мы оба спать не хотим, то не будем друг друга расстраивать, давай чем-нибудь займемся, что-нибудь почитаем». Книг у меня в комнате не было. «А что, если я принесу те книжки, которые бабушка хочет подарить тебе на день рождения, — это тебе удовольствия не испортит? Подумай: ты не будешь разочарован?» Напротив, я изъявил восторг; тогда мама принесла пачку книг, и сквозь бумагу, в которую они были завернуты, я мог только различить, что они разного формата, но даже при первом взгляде, поверхностном и беглом, я убедился, что они затмевают коробку с красками, которую я получил в подарок на Новый год, и шелковичных червей, которых мне подарили на день рождения в прошлом году. То были «Чертово болото», «Франсуа ле Шампи», «Маленькая Фадетта» и «Волынщики»[49]. Как выяснилось впоследствии, бабушка сперва выбрала для меня

[49] Примечания: 49

«Чертово болото» (1846), *«Франсуа ле Шампи»* (1850), *«Маленькая Фадетта»* (1848), *«Волынщики»* (1853) — романы Жорж Санд (1804–1876).

стихи Мюссе[50], том Руссо[51] и «Индиану»[52]: держась того мнения, что легкое чтение столь же нездорово, как конфеты и пирожное, она склонна была думать, что мощное дыхание гения оказывает на душу ребенка не более опасное и не менее животворное влияние, чем влияние свежего воздуха и морского ветра, оказываемое на его тело. Но когда отец узнал, что́ она собирается мне подарить, он сказал, что это безумие, — тогда она, чтобы я не остался без подарка, пошла в Жуиле-Виконт к книгопродавцу (день был жаркий, и она вернулась в таком изнеможении, что доктор предупредил мать, что бабушке нельзя так переутомляться) и сменяла те книги на четыре сельских романа Жорж Санд. «Доченька! — сказала она моей матери. — Я бы никогда не дала в руки твоему ребенку вредных книг».

---

[50] Примечания: 50

Мюссе, Альфред де (1810–1857) — французский писатель-романтик, чья бурная, хотя и недолгая связь с Жорж Санд легла в основу знаменитой «Исповеди сына века» (1836).

[51] Примечания: 51

Руссо, Жан-Жак (1712–1778) — французский мыслитель и писатель-моралист. В одном из последних своих сочинений «Исповедь» (1782–1789) рассказывает о своей жизни с невиданной к тому времени откровенностью.

[52] Примечания: 52

«Индиана» (1832) — роман Жорж Санд, подлинная апология свободы страсти.

В самом деле: она никогда не покупала ничего такого, из чего нельзя было бы извлечь пищи для ума, особенно такой пищи, которую нам доставляет что-либо прекрасное, учащее нас находить наслаждение не в достижении житейского благополучия и не в утолении тщеславия, а в чем-то другом. Даже когда бабушка старалась сделать кому-нибудь так называемый «полезный» подарок — кресло, сервиз, тросточку, — она непременно выбирала «старинные» вещи, словно то обстоятельство, что они долгое время не служили людям, стерло с них налет полезности и они годны не столько для того, чтобы удовлетворять потребности нашего быта, сколько для того, чтобы рассказывать о быте людей былых времен. Ей хотелось, чтобы у меня висели снимки архитектурных памятников и красивых видов. Но если даже то, что было снято на купленной ею фотографии, представляло художественную ценность, бабушке казалось, что фотография, этот механический способ воспроизведения, мгновенно придает воспроизводимому оттенок пошлости и утилитарности. Она пускалась на хитрости и стремилась если и не совсем изгнать торгашескую банальность, то, по крайней мере, ограничить ее, заменить ее по возможности

искусством, «прослоить» ее искусством: она спрашивала Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник Шартрский собор, большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и вместо фотографий предпочитала дарить мне репродукции «Шартрского собора»[53] Коро, «Больших фонтанов Сен-Клу»[54] Гюбера Робера[55], «Везувия» Тёрнера[56], — это была уже более высокая ступень искусства. Но если тут фотограф был устранен от воссоздания произведений искусства или природы и заменен крупным художником, зато он предъявлял свои права на воспроизведение истолкования. Потеснив пошлость, бабушка добивалась того, чтобы она отступила еще дальше. Бабушка спрашивала Свана, нет ли гравюр того или иного произведения, и по возможности предпочитала приобретать гравюры старинные,

---

[53] Примечания: 53

Шартрский собор — выдающийся памятник готической архитектуры (XI–XIII вв.).

[54] Примечания: 54

Большие фонтаны Сен-Клу — фонтаны в парке императорского дворца, разрушенного во время франко-прусской войны (1870–1871).

[55] Примечания: 55

Гюбер, Робер (1733–1808) — французский художник-пейзажист, писавший, в частности, Большие фонтаны.

[56] Примечания: 56

Тёрнер, Вильям (1775–1851) — английский живописец, автор многочисленных акварелей, изображающих Везувий.

представляющие интерес не только сами по себе, — такие, которые воссоздают произведения искусства в том виде, в каком оно теперь уже для нас недоступно (например, гравюра Моргена[57], сделанная с «Тайной вечери» Леонардо[58] до того, как «Вечеря» была испорчена). Надо заметить, что бабушкино искусство делать подарки не всегда приводило к блестящим результатам. Представление, которое я создал себе о Венеции по рисунку Тициана, фоном коего, как полагают, является лагуна, было, разумеется, гораздо менее верным, чем то, какое могли бы мне дать обыкновенные фотографии. Когда моя двоюродная бабушка принималась за составление против бабушки обвинительного акта, то, силясь вспомнить, сколько бабушка подарила молодоженам или старым супругам кресел, ломавшихся при первой попытке на них сесть, она сбивалась со счета. Подвергнуть испытанию прочность мебели, на которой еще можно было различить цветочек, улыбку, очаровательный вымысел

---

[57] Примечания: 57

Морген, Рафаэль (1761–1833) — итальянский график. Несмотря на известную свободу в трактовке шедевра Леонардо, его гравюра с «Тайной вечери» долгое время считалась лучшей копией знаменитой фрески.

[58] Примечания: 58

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи (1452–1519) — большая фреска в монастыре Санта Мария делле Грацие (Милан).

былых времен, — это показалось бы моей бабушке чересчур мелочным. Ее прельщало даже то, что в даримых ею вещах было удобно, потому что пользоваться этим удобством можно было непривычным уже для нас способом — так в старинных оборотах речи нас пленяет метафора, стершаяся в нашем современном языке от частого употребления. Сельские романы Жорж Санд, которые бабушка собиралась подарить мне на день рождения, напоминают старинную мебель: они полны выражений, вышедших из употребления и вновь обретших первоначальную свою образность, которой они еще не утратили в деревне. И бабушка остановила свой выбор на них, как она предпочла бы снять дом с готической голубятней или еще с какими-нибудь старинными сооружениями, благотворно влияющими на человеческую душу, наполняя ее тоской по неосуществленным путешествиям во времени.

Мама села у моей кровати; она взяла книгу «Франсуа ле Шампи», которой коричневый переплет и непонятное заглавие придавали в моих глазах черты резкого своеобразия и таинственную прелесть. Я слыхал, что Жорж Санд — образцовая романистка. Уже это одно заставляло меня думать, что во «Франсуа ле Шампи» есть

что-то невыразимо прекрасное. От всякого более или менее тонкого читателя не укрылось бы, что повествовательные приемы Жорж Санд, рассчитанные на то, чтобы возбудить любопытство или же растрогать, обороты речи, тревожащие или навевающие грусть, перекочевывают у нее из романа в роман; я же рассматривал каждую новую книгу не как одну из многих, но как своеобразную личность, в самой себе замкнутую, — вот почему мне эти приемы и обороты представлялись волнующим излучением особой сущности «Франсуа ле Шампи». Под будничными событиями, под прописными истинами, под ходячими выражениями я улавливал необычную интонацию, необычное звучание. Действие началось; оно показалось мне тем более запутанным, что в ту пору я имел обыкновение глотать страницу за страницей, а думать о другом. К проблемам, вызванным моей рассеянностью, на этот раз прибавились другие: мама, читавшая мне вслух, пропускала все любовные сцены. Вот почему те странные изменения, которые происходят в отношениях между мельничихой и мальчиком и которые объясняются их все усиливающимся взаимным сердечным влечением, казались мне окутанными глубокой тайной, происхождение

которой мне доставляло удовольствие искать в незнакомом и приятном для слуха имени Шампи, которое почему-то окрашивало в моем представлении мальчика в прелестный ярко-алый цвет. Вообще говоря, мама была ненадежная чтица, но если она обнаруживала в книге неподдельное чувство, то она становилась превосходной чтицей — так верен и прост был ее тон, так красив и мягок был звук ее голоса. Даже в жизни, когда не произведения искусства, а живые существа умиляли ее или восхищали, с какою трогательною чуткостью устраняла она из своего голоса, движений, речей оттенок жизнерадостности, который мог причинить боль матери, давно потерявшей ребенка, или избегала разговоров о праздниках и годовщинах, если они могли напомнить старику о его почтенном возрасте, разговоров о хозяйстве, если они могли показаться скучными молодому ученому! Равным образом, читая Жорж Санд, от романов которой веет добротой и душевным здоровьем, — а бабушка внушила маме, что это самое важное в жизни, и мне лишь значительно позже удалось внушить маме, что в книгах это не самое важное, — мама следила за тем, чтобы ее чтение было совершенно свободно от сюсюканья и неестественности, которые могли бы

испортить впечатление от мощного речевого потока, и в каждую фразу Жорж Санд, словно написанную для ее голоса и, если так можно выразиться, целиком вмещавшуюся в регистре ее отзывчивости, вкладывала всю свою врожденную мягкость, всю свою душевную щедрость. Чтобы верно произнести эти фразы, она находила в себе ту сердечность, которой они обязаны своим возникновением, которая их продиктовала, но которая не находит себе непосредственного выражения в словах; этой сердечностью мама одновременно умеряла грубость времен глаголов, сообщала прошедшему несовершенному и прошедшему совершенному ту мягкость, какая есть в доброте, ту грусть, какая есть в нежности, связывала фразы одну с другой, то ускоряя, то замедляя течение слогов вне зависимости от их количества, и придавала фразам ритмичность; ей удавалось вдохнуть в заурядную прозу некое подобие непрекращающейся жизни чувств.

Совесть перестала меня мучить; мама была со мной, и я весь отдался во власть ласковой этой ночи. Я сознавал, что такая ночь повториться не может, что самое сильное мое желание — чтобы моя мать была со мной, пока тянутся тоскливые ночные часы, — вступает в непримиримое

противоречие с жизненной необходимостью и с желаниями всех остальных членов семьи и что сегодня мне предоставлена возможность осуществить его только в виде особого одолжения и исключения. Завтра я опять затоскую, а мама уже со мной не останется. Но когда тоска проходила, я обыкновенно переставал понимать, отчего я тосковал; притом завтрашний вечер был еще далеко; я внушал себе, что у меня еще будет время что-нибудь придумать, хотя это время ничего не могло мне дать, ибо от меня ничто не зависело, — длительность промежутка лишь подогревала во мне надежду на то, что препятствия устранимы.

* * *

Так вот, на протяжении долгого времени, когда я просыпался по ночам и вновь и вновь вспоминал Комбре, передо мной на фоне полной темноты возникало нечто вроде освещенного вертикального разреза — так вспышка бенгальского огня или электрический фонарь озаряют и выхватывают из мрака отдельные части здания, между тем как все остальное окутано тьмой: на довольно широком пространстве мне грезилась маленькая гостиная, столовая, начало темной аллеи, откуда появлялся Сван, невольный ви-

новник моих огорчений, и передняя, где я делал несколько шагов к лестнице, по которой мне так горько было подниматься, — лестница представляла собой единственную и притом очень узкую поверхность неправильной пирамиды, а ее вершиной служила моя спальня со стеклянной дверью в коридорчик: в эту дверь ко мне входила мама; словом, то была видимая всегда в один и тот же час, отграниченная от всего окружающего, выступавшая из темноты неизменная декорация (вроде тех, которые воспроизводятся на первой странице старых пьес в изданиях, предназначенных для провинциальных театров), — декорация моего ухода спать, как если бы весь Комбре состоял из двух этажей одного-единственного дома, соединенных узкой лестничкой, и как если бы там всегда было семь часов вечера. Понятно, на вопрос, было ли еще что-нибудь в Комбре и показывали ли там часы другое время, я бы ответил утвердительно. Но это уже было бы напряжение памяти, это было бы мне подсказано рассудочной памятью, а так как ее сведения о прошлом не дают о нем представления, то у меня не было ни малейшей охоты думать об остальном Комбре. В сущности, он для меня умер.

Умер навсегда? Возможно.

Во всем этом много случайного, и последняя случайность — смерть — часто не дает нам дождаться милостей, коими нас оделяет такая случайность, как память.

Я нахожу вполне правдоподобным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, становятся пленницами какой-либо низшей твари — животного, растения, неодушевленного предмета; расстаемся же мы с ними вплоть до дня — для многих так и не наступающего, — когда мы подходим к дереву или когда мы становимся обладателями предмета, служившего для них темницей. Вот тут-то они вздрагивают, вот тут-то они взывают к нам, и как только мы их узнаем, колдовство теряет свою силу. Мы выпускаем их на свободу, и теперь они, победив смерть, продолжают жить вместе с нами.

Так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от нее получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни или так и не найдем — это чистая случайность.

Уже много лет для меня ничего не существова-

ло в Комбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну, но вот в один из зимних дней, когда я пришел домой, мать, заметив, что я прозяб, предложила мне чаю, хотя обычно я его не пил. Я было отказался, но потом, сам не знаю почему, передумал. Мама велела принести одно из тех круглых пышных бисквитных пирожных, формой для которых как будто бы служат желобчатые раковины пластинчатожаберных моллюсков. Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожиданием безотрадного завтрашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чаю с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул: во мне произошло что-то необыкновенное. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. Я, как влюбленный, сразу стал равнодушен к превратностям судьбы, к безобидным ее ударам, к радужной быстролетности жизни, я наполнился каким-то драгоценным веществом; вернее, это вещество было не во мне — я сам был этим веществом. Я перестал чувствовать себя человеком посредственным, незаметным, смертным. Откуда ко мне пришла всемогущая эта радость? Я ощущал связь меж нею и вкусом чая с пирожным, но она была бесконечно выше

этого удовольствия, она была иного происхождения. Так откуда же она ко мне пришла? Что она означает? Как ее удержать? Я пью еще одну ложку, но она ничего не прибавляет к тому, что мне доставила первая; третья действует чуть-чуть слабее второй. Надо остановиться, сила напитка уже не та. Ясно, что искомая мною истина не в нем, а во мне. Он ее пробудил, но ему самому она неизвестна, он способен лишь без конца повторять ее, все невнятней и невнятней, а я, сознавая свое бессилие истолковать выявление этой истины, хочу, по крайней мере, еще и еще раз обратиться к нему с вопросом, хочу, чтобы действие его не ослабевало, чтобы он немедленно пришел мне на помощь и окончательно все разъяснил. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Найти истину должен он. Но как? Тягостная нерешительность сковывает его всякий раз, как он чувствует, что взял верх над самим собой; ведь это же он, искатель, и есть та темная область, в которой ему надлежит искать и где все его снаряжение не принесет ему ни малейшей пользы. Искать? Нет, не только — творить! Он стоит лицом к лицу с чем-то таким, чего еще не существует и что никто, как он, не способен осмыслить, а потом озарить.

И я вновь и вновь задаю себе вопрос: что это за непонятное состояние, которому я не могу дать никакого логического объяснения и которое тем не менее до того несомненно, до того блаженно, до того реально, что перед ним всякая иная реальность тускнеет? Я пытаюсь вновь вызвать в себе это состояние. Я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда я пил первую ложечку чаю. Я испытываю то же самое состояние, но уже без прежней свежести восприятия. Я требую от разума, чтобы он сделал еще одно усилие и хотя бы на миг удержал ускользающее ощущение. Боясь, как бы ничто не помешало его порыву, я устраняю все преграды, всякие посторонние мысли, я ограждаю мой слух и внимание от звуков, проникающих из соседней комнаты. Когда же разум устает от тщетных усилий, я, напротив, подбиваю его на отвлечения, в которых только что ему отказывал, я разрешаю ему думать о другом, разрешаю набраться сил перед высшим их напряжением. Затем, уже во второй раз, я убираю от него все лишнее, сызнова приближаю к нему еще не выдохшийся вкус первого глотка и чувствую, как что-то во мне вздрагивает, сдвигается с места, хочет вынырнуть, хочет сняться с якоря на большой глубине; я не знаю, что это такое, но

оно медленно поднимается; я ощущаю сопротивление и слышу гул преодоленных пространств.

То, что трепещет внутри меня, — это, конечно, образ, зрительное впечатление: неразрывно связанное со вкусом чая, оно старается, следом за ним, всплыть на поверхность. Но оно бьется слишком глубоко, слишком невнятно; я с трудом различаю неопределенный отсвет, в котором сливается неуловимый вихрь мелькающих передо мной цветов, но я не в состоянии разглядеть форму, попросить ее, как единственно возможного истолкователя, перевести мне свидетельское показание ее современника, ее неразлучного спутника — вкуса, попросить ее пояснить мне, о каком частном случае, о каком из истекших периодов времени идет речь.

Достигнет ли это воспоминание, этот миг былого, притянутый подобным ему мигом из такой дальней дали, всколыхнутый, поднятый со дна моей души, — достигнет ли он светлого поля моего сознания? Не ведаю. Сейчас я ничего уже больше не чувствую, мгновение остановилось, — быть может, оно опустилось вновь; кто знает, всплывет ли оно еще когда-нибудь из мрака? Много раз я начинал сызнова, я наклонялся над ним. И всякий раз малодушие, отвлекающее нас

от трудного дела, от большого начинания, советовало мне бросить это занятие, советовало пить чай, не думая ни о чем, кроме моих сегодняшних огорчений и планов на завтра — ведь эту жвачку можно пережевывать без конца.

И вдруг воспоминание ожило. То был вкус кусочка бисквита, которым в Комбре каждое воскресное утро (по воскресеньям я до начала мессы не выходил из дому) угощала меня, размочив его в чаю или в липовом цвету, тетя Леония, когда я приходил к ней поздороваться. Самый вид бисквитика ничего не пробуждал во мне до тех пор, пока я его не попробовал; быть может, оттого, что я потом часто видел это пирожное на полках кондитерских, но не ел, его образ покинул Комбре и слился с более свежими впечатлениями; быть может, оттого, что ни одно из воспоминаний, давным-давно выпавших из памяти, не воскресало, все они рассыпались; формы — в том числе пирожные-раковинки, каждой своей строгой и благочестивой складочкой будившие остро чувственное восприятие, — погибли или, погруженные в сон, утратили способность распространяться, благодаря которой они могли бы достигнуть сознания. Но когда от далекого прошлого ничего уже не осталось, когда живые

существа перемерли, а вещи разрушились, только запах и вкус, более хрупкие, но зато более живучие, более невещественные, более стойкие, более надежные, долго еще, подобно душам умерших, напоминают о себе, надеются, ждут, и они, эти еле ощутимые крохотки, среди развалин несут на себе, не сгибаясь, огромное здание воспоминания.

И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя (хотя я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание, и вынужден был надолго отложить разгадку), в то же мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился, как декорация, к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей (только этот обломок старины и жил до сих пор в моей памяти). А стоило появиться дому — и я уже видел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. И, как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водою опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде,

принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и опознаваемыми существами, все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь — весь Комбре и его окрестности, — все, что имеет форму и обладает плотностью — город и сады, — выплыло из чашки чаю.

II

Издали, на расстоянии десяти миль, когда, подъезжая на Страстной к Комбре, мы смотрели из окна вагона, нам казалось, будто город состоит только из церкви, которая вобрала его в себя, которая его представляет, которая говорит о нем и от его имени далям, а вблизи — будто Комбре, как пастух овец, собирает в поле, на ветру, вокруг своей длинной темной мантии, лепящиеся один к другому дома с серыми шерстистыми спинами, обнесенные полуобвалившейся средневековой стеной, и ее безупречная линия круга придавала сходство Комбре с городком на примитивном рисунке. Жить в Комбре было невесело, как невеселы были его улицы, на которых стояли построенные из местного бурого камня дома с

крыльцами, с двускатными крышами, отбрасывавшими длинные тени, и с такими темными комнатами, что, как только начинало смеркаться, в «залах» приходилось поднимать занавески, — улицы с торжественными названиями в честь святых (некоторые из этих наименований связаны с историей первых владетелей Комбре): улица Святого Илария, улица Святого Иакова, где стоял дом моей тетки, улица Святой Ильдегарды, вдоль которой тянулся ее сад, улица Святого Духа, куда выходила боковая садовая калитка. Улицы эти живут в таком глухом тайнике моей памяти, расписанном в цвета, столь отличные от окрашивающих для меня мир теперь, что, по правде говоря, все они вместе с церковью, возвышавшейся на площади, представляются мне менее реальными, чем картины в волшебном фонаре, и по временам у меня возникает ощущение, что еще раз перейти улицу Святого Илария или снять комнату на Птичьей улице в старой гостинице «Подстреленная птица», из подвальных окон которой вырывался кухонный чад, изредка все еще поднимающийся во мне такими же горячими клубами, — что это было бы для меня еще более чудесным и сверхъестественным соприкосновением с потусторонним миром, чем знакомство с

Голо или беседы с Женевьевой Брабантской.

Кузина моего деда, моя двоюродная бабушка, у которой мы гостили, была матерью тети Леонии, после смерти своего мужа, дяди Октава, не пожелавшей расстаться сначала с Комбре, затем — со своим домом в Комбре, затем — со своей комнатой, а потом уже не расставшейся со своей постелью, к нам не «спускавшейся», погруженной в неопределенное состояние тоски, физической слабости, недомогания, навязчивых идей и богомольности. Ее комнаты выходили окнами на улицу Святого Иакова, упиравшуюся вдали в Большой луг (названный так в отличие от Малого луга, зеленевшего посреди города, на перекрестке трех улиц); эти одинаковые, сероватые комнаты с тремя высокими песчаниковыми ступенями чуть ли не перед каждой дверью напоминали углубления, проделанные в скале резчиком готических изображений, задумавшим высечь рождественские ясли или же Голгофу. В сущности, тетя жила в двух смежных комнатах: после завтрака, пока проветривали одну, она переходила в другую. Такие провинциальные комнаты, подобно иным воздушным или морским пространствам, освещенным или напоенным благоуханием мириад невидимых

микроорганизмов, очаровывают нас множеством запахов, источаемых добродетелями, мудростью, привычками, всей скрытой, незримой, насыщенной и высоконравственной жизнью, которой пропитан здесь воздух; запахов, разумеется, еще не утративших свежести и примет той или иной поры, так же как запахи подгородной деревни, но уже домовитых, человечьих, закупоренных, представляющих собой чудесное, прозрачное желе, искусно приготовленное из сока всевозможных плодов, переселившихся из сада в шкаф; запахов разных времен года, но уже комнатных, домашних, смягчавших колючесть инея на окнах мягкостью теплого хлеба; запахов праздных и верных, как деревенские часы, рассеянных и собранных, беспечных и предусмотрительных, бельевых, утренних, благочестивых, наслаждающихся покоем, от которого становится только еще тоскливее, и той прозой жизни, которая служит богатейшим источником поэзии для того, кто проходит сквозь эти запахи, но никогда среди них не жил. В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины, до того вкусной, до того сочной, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать, особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахи Комбре

не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце, еще зимнее, забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии, оттого что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома; я прохаживался между скамеечкой и обитыми рытым бархатом креслами с вязаными накидками на спинках, а между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и «поднимались» под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести, — огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый провинциальный, огромных размеров, слоеный пирог, и я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный,

фруктовый запах вышитого цветами покрывала.

В соседней комнате сама с собой вполголоса беседовала тетя. Она всегда говорила довольно тихо — ей казалось, будто у нее в голове что-то разбилось, что-то болтается и, если она будет говорить громко, сдвинется с места, но даже если она была одна в комнате, она никогда долго не молчала, — она полагала, что говорить полезно для груди, что это препятствует застою крови и помогает от удуший и стеснений; притом, живя в полном бездействии, она придавала малейшим своим ощущениям огромное значение; она сообщала им подвижность, и от этого ей было трудно таить их в себе, — вот почему, за отсутствием собеседника, с которым она могла бы ими делиться, она рассказывала о них самой себе в непрерывном монологе, являвшемся для нее единственной формой деятельности. К несчастью, привыкнув мыслить вслух, она не всегда обращала внимание, нет ли кого-нибудь в комнате рядом, и я часто слышал, как она говорила себе: «Нужно хорошенько запомнить, что я не спала». (Она всем старалась внушить, что у нее бессонница, и это находило отражение в нашей, особенно почтительной, манере говорить с ней: так, по утрам Франсуаза не приходила «будить» ее, а

«входила» к ней; когда тете хотелось вздремнуть днем, то говорили, что ей хочется «подумать» или «отдохнуть», а когда она проговаривалась: «Я проснулась от…», или: «Мне снилось, что…», то краснела и сейчас же заминала разговор.)

Мгновение спустя я входил к тете и целовался с ней; Франсуаза заваривала чай; если же тетя чувствовала возбуждение, то просила заварить ей вместо чаю липового цвету, и тогда это уже была моя обязанность — отсыпать из пакетика на тарелку липового цвету, который надо было потом заварить. Стебельки от сухости изогнулись и переплелись в причудливый узор, сквозь который виднелись бледные цветочки, как бы размещенные и расположенные художником в наиболее живописном порядке. Листочки, либо утратив, либо изменив форму, приобрели сходство с самыми разнородными предметами: с прозрачным крылышком мухи, с белой оборотной стороной ярлычка, с лепестком розы, — но только перемешанными, размельченными, перевитыми, как будто это должно было пойти на постройку гнезда. Очаровательная расточительность аптекаря сохранила множество мелких ненужных подробностей, которые, конечно, пропали бы при фабричном изготовлении, и как приятно бывает

встретить в книге знакомую фамилию, так отрадно мне было сознавать, что это же стебельки настоящих лип, вроде тех, которые я видел на Вокзальной улице, изменившиеся именно потому, что это были не искусственные, а самые настоящие, но только состарившиеся стебельки. И так как каждое новое их свойство представляло собой лишь метаморфозу прежнего, то в серых шариках я узнавал нераспустившиеся бутоны; однако наиболее верным признаком того, что эти лепестки, прежде чем наполнить своим цветом пакетик, пропитывали своим благоуханием весенние вечера, служил мне легкий лунно-розовый блеск цветков, выделявший их в ломкой чаше стеблей, с которых они свешивались золотистыми розочками, и отделявший часть дерева, которая была обсыпана цветом, от «необсыпанной», — так луч света, падающий на стену, указывает, где была стершаяся фреска. Их цвет все еще напоминал розовое пламя свечи, но только догорающее, гаснущее, ибо и жизнь их убывала, как убывает свеча, ибо это были их сумерки. Немного погодя тетя могла уже размочить бисквитик в кипящем настое, который она любила, потому что от него пахло палым листом или увядшим цветком, и, когда бисквитик стано-

вился мягким, она протягивала мне кусочек.

К тетиной кровати были придвинуты большой желтый, лимонного дерева, комод и стол, служивший одновременно домашней аптечкой и престолом: здесь, подле статуэтки божьей матери и бутылки виши-селестен, лежали богослужебные книги и рецепты — все, что нужно для того, чтобы, не вставая с постели, соблюдать и устав, и режим, чтобы не пропускать ни приема пепсина, ни начала вечерни. Кровать стояла у окна, так что улица была у тети перед глазами, и от скуки она, по примеру персидских принцев, с утра до вечера читала на этой улице всегда одну и ту же незабвенную комбрейскую хронику, а затем обсуждала ее с Франсуазой.

Не проходило и пяти минут, как тетя, боясь, что я ее утомлю, отсылала меня. Она подставляла мне унылый свой лоб, бледный и увядший, на который в этот ранний час еще не были начесаны накладные волосы и сквозь кожу которого, словно шипы тернового венца или бусинки четок, проглядывали кости. «Ну, милое дитя, иди, — говорила она, — пора готовиться к мессе. Если ты встретишь внизу Франсуазу, то скажи ей, чтобы она не очень долго с вами возилась, пусть скорее идет сюда — мало ли что мне может

понадобиться».

Франсуаза много лет жила у тети в прислугах и тогда еще не подозревала, что скоро совсем перейдет к нам, но, пока мы тут гостили, она не очень заботилась о тете. Во времена моего детства, когда тетя Леония еще жила зиму в Париже у своей матери и в Комбре мы не ездили, я так плохо знал Франсуазу, что на Новый год мама, прежде чем войти к моей двоюродной бабушке, совала мне в руку пятифранковую монету и говорила: «Смотри не ошибись. Не давай, пока я не скажу: „Здравствуй, Франсуаза“; я тут же дотронусь до твоего плеча». Стоило мне войти в темную тетину переднюю, как в сумраке под оборками туго накрахмаленного, ослепительной белизны чепчика, такого хрупкого, точно он был сделан из леденца, концентрическими кругами расходилась улыбка заблаговременной признательности. Это Франсуаза, словно статуя святой в нише, неподвижно стояла в проеме дверки в коридор. Когда наш глаз привыкал к этому церковному полумраку, мы различали на ее лице бескорыстную любовь к человечеству и умильную почтительность к высшим классам, которую пробуждала в лучших уголках ее сердца надежда на новогодний подарок. Мама больно

щипала меня за руку и громко говорила: «Здравствуй, Франсуаза!» При этом знаке пальцы мои разжимались, и за монетой хоть и робко, а все же тянулась рука. Но с тех пор, как мы стали ездить в Комбре, всех ближе была мне там Франсуаза; мы были ее любимцами, она — по крайней мере, первые годы — испытывала к нам такое же глубокое почтение, как и к тете, а сверх того, живую приязнь, потому что мы не просто имели честь быть членами семьи (к тем невидимым узам, коими связывает родственников кровь, Франсуаза относилась с не меньшим благоговением, чем древнегреческие трагики), — то обстоятельство, что мы не были постоянными господами Франсуазы, придавало нам в ее глазах особое очарование. Вот почему, когда мы приезжали перед Пасхой, она так радостно нас встречала и охала по поводу того, что теплая погода еще не наступила, — в день нашего приезда часто дул ледяной ветер, — а мама расспрашивала Франсуазу о ее дочери и племянниках, славный ли у нее внук, куда его собираются определить и похож ли он на бабушку.

Когда же мама и Франсуаза оставались вдвоем, мама, знавшая, что Франсуаза все еще оплакивает своих давным-давно умерших родителей,

участливо заговаривала о них и интересовалась мелочами их жизни.

Она догадывалась, что Франсуаза не любит своего зятя и что он портит ей удовольствие побывать у дочери, потому что при нем они с дочкой не могут говорить по душам. Вот почему, когда Франсуаза собиралась к ним, за несколько миль от Комбре, мама спрашивала ее с улыбкой: «Франсуаза! Если Жюльену надо будет уйти и вы с Маргаритой на целый день останетесь вдвоем, то, как это ни печально, вы с этим примиритесь?» А Франсуаза отвечала ей на это, смеясь: «Вы все насквозь видите; вы еще хуже, чем икс-лучи (она произносила „икс“ подчеркнуто затрудненно, с насмешливой улыбкой, что вот-де она, невежда, употребляет такие мудреные слова), — их сюда приносили для госпожи Октав, они видят все, что у вас в сердце», — и, смущенная тем, что ей уделили внимание, а быть может, боясь расплакаться, исчезала; мама первая дала ей почувствовать приятное волнение оттого, что ее жизнь, ее крестьянские радости и горести могут представлять интерес, могут кого-то еще, кроме нее самой, веселить или печалить. Тетя мирилась с тем, что, пока мы у нее гостили, Франсуаза была не всецело в ее распоряжении: она знала, как

высоко ценит моя мать услуги этой толковой и расторопной служанки, столь же миловидной в кухне, в пять часов утра, когда на ней был чепчик с застывшими, ослепительной белизны, словно фарфоровыми, складками, как и перед уходом к обедне; этой мастерицы на все руки, работавшей как вол, независимо от самочувствия, всякое дело делавшей спокойно и так, что оно у нее выходило словно само собой; единственной из тетиных служанок, которая, если мама просила горячей воды или черного кофе, подавала действительно самый настоящий кипяток; она принадлежала к числу тех слуг, которые с первого взгляда производят на постороннего самое невыгодное впечатление — быть может, потому, что они и не стараются понравиться и не проявляют угодливости, так как нисколько в этом постороннем человеке не нуждаются и отлично понимают, что хозяева скорее перестанут принимать его, чем рассчитают их, — и которыми зато особенно дорожат господа, ибо они уже испытали их способность, а есть ли у них внешний лоск, умеют ли они вкрадчиво изъясняться, что́ всегда так располагает к себе посетителя, но часто прикрывает безнадежную никчемность, — до этого хозяевам никакого дела нет.

Почти не было такого случая, чтобы, когда Франсуаза, позаботившись о моих родителях, в первый раз поднималась к тете дать ей пепсину и спросить, чего она хочет к завтраку, тетя не поинтересовалась ее мнением и не попросила объяснить какое-нибудь важное событие:

— Можете себе представить, Франсуаза: госпожа Гупиль зашла за своей сестрой и задержалась больше чем на четверть часа. Если она еще и по дороге замешкается, то я не удивлюсь, если она не поспеет к возношению.

— Очень может быть! — отвечала Франсуаза.

— Если б вы пришли на пять минут раньше, Франсуаза, вы бы увидели госпожу Эмбер: она несла спаржу вдвое крупней, чем у тетушки Кало; разузнайте у ее кухарки, где она покупает спаржу. В этом году вы подаете нам спаржу под всеми соусами, так уж постарайтесь для гостей.

— Я уверена, что она покупает спаржу у священника, — замечала Франсуаза.

— Да что вы, Франсуаза! — пожав плечами, возражала тетя. — У священника! Вы прекрасно знаете, что у священника дрянная, мелкая спаржонка. А я вам говорю, что эта спаржа толщиною в руку. Ну, конечно, не в вашу, а в мою несчастную руку, которая на этот год стала еще тоньше…

Франсуаза! Вы не слыхали этого трезвона, от которого у меня голова раскалывается?

— Нет, госпожа Октав.

— Благодарите Бога, моя милая, что у вас такая крепкая голова. Это Маглон заходила за доктором Пипро. Он только что вышел с ней, и они свернули на Птичью. Верно, кто-нибудь из детей заболел.

— Ах, боже мой! — вздыхала Франсуаза. Она не могла слышать, что случилось несчастье даже с незнакомыми людьми, хотя бы на краю света, без того, чтобы не поохать.

— Франсуаза! По ком это звонил колокол? Ах, Боже милостивый, да это по госпоже Руссо! Я совсем забыла, что она прошлой ночью скончалась. Скоро отец небесный и по мою душу пошлет. После смерти бедного Октава с моей головой творится что-то неладное… Да, но я вас задерживаю, миленькая.

— Нет, нет, госпожа Октав, мое время совсем уж не так дорого — мы за него денег не платим. Пойду только погляжу, не погасла ли плита.

Так Франсуаза с тетей на утреннем совещании обсуждали первые события дня. Но иногда происходили события столь таинственные и столь важные, что тетя не могла дождаться, когда

Франсуаза к ней поднимется, и тогда на весь дом четыре раза подряд оглушительно звонил ее колокольчик.

— Госпожа Октав! Да ведь еще рано принимать пепсин, — говорила Франсуаза. — Или у вас слабость?

— Да нет, Франсуаза, — отвечала тетя. — А впрочем, да. Вы же знаете, что у меня теперь почти все время слабость. Однажды я, вроде госпожи Руссо, не успею опомниться, как перейду в мир иной, но позвонила я не поэтому. Вы не поверите: я только что видела, как вот вас сейчас вижу, госпожу Гупиль с девочкой, которую я не знаю! Сбегайте, купите соли на два су у Камю. Теодор не может не знать, кто это.

— Да это, наверно, дочка Пюпена, — отвечала Франсуаза: сегодня она уже два раза была у Камю, а потому дала объяснение незамедлительно.

— Дочка Пюпена! Франсуаза, милая, что вы говорите? Неужели я бы ее не узнала?

— Да я не про взрослую дочку говорю, госпожа Октав, а про девочку — про ту, что учится в пансионе в Жуи. По-моему, я ее нынче утром видела.

— Ну, может быть, — соглашалась тетя. — Значит, она приехала на праздники. Да, конечно! В таком случае нет смысла и узнавать — она не

могла не приехать на праздники. Мы сейчас увидим, как госпожа Сазра позвонит к сестре, когда придет к ней завтракать. Непременно увидим! Только что мимо нас прошел мальчик с тортом от Галопена! Вот увидите: это торт для госпожи Гупиль.

— Раз у госпожи Гупиль нынче гости, то вы, госпожа Октав, скоро увидите, как все ее знакомые пойдут к ней завтракать, ведь сейчас совсем не так рано, — говорила Франсуаза; ей самой пора было готовить завтрак, и она радовалась, что у тети впереди развлечение.

— Но не раньше полудня! — покорно замечала тетя, посмотрев на часы тревожным и вместе с тем беглым взглядом, а то как бы Франсуаза не подумала, что она, ушедшая от мира, находит, однако, особое удовольствие в том, чтобы удостовериться, кого г-жа Гупиль позвала завтракать, хотя, к сожалению, ей, г-же Октав, придется ждать больше часу. — И это как раз совпадет с моим завтраком! — обращаясь к себе самой, добавила она вполголоса. Завтрак доставлял ей такое большое развлечение, что другого ей уже в то время не требовалось. — Так вы не забудете подать мне молочную яичницу на мелкой тарелке? — Мелкие тарелки были разрисованы, и тетя с неизменным

любопытством рассматривала изображенную на тарелку сказку. Она надевала очки, прочитывала: «Али-Баба и сорок разбойников», «Аладдин и волшебная лампа» — и с улыбкой приговаривала: «Прелестно, прелестно».

— Так сходить, что ли, к Камю?. — предлагала Франсуаза, убедившись, что тетя отдумала посылать ее туда.

— Да нет, не нужно, это, конечно, дочка Пюпена… Мне очень жаль, милая Франсуаза, что я заставила вас из-за такой безделицы подниматься ко мне.

Но тетя прекрасно знала, что не из-за безделицы звонила она Франсуазе, — в Комбре «неизвестная особа» была столь же баснословна, как мифологическое божество; в самом деле, старожилы не помнили такого случая, чтобы, после того как на улице Святого Духа или на площади появлялось пугающее видение, тщательная разведка в конце концов не свела сказочное существо до размеров «известной особы», известной лично или по доходившим сведениям о том, какое положение занимает она в обществе и в каком состоит родстве с кем-либо из комбрейцев. Это мог быть сын г-жи Сотон, отбывший воинскую повинность, или племянница аббата Пердро, вышедшая из

монастыря, или брат священника, податной инспектор в Шатодене, то ли вышедший в отставку, то ли приехавший сюда на праздники. Когда их видели впервые, то приходили в волнение от одной мысли, что в Комбре появились незнакомые лица, хотя их просто сразу не узнали и не установили, кто это. А между тем когда еще г-жа Сотон и священник предупреждали, что ждут «гостей»! После вечерней прогулки я обыкновенно поднимался к тете рассказать, кого мы встретили, и, если я имел неосторожность проговориться, что около Старого моста дедушка не узнал какого-то мужчину, тетя восклицала: «Чтобы дедушка кого-то не узнал? Так я тебе и поверила!» Все же она бывала слегка взволнована этим известием, ей хотелось, чтобы на сердце у нее было спокойно, и она призывала дедушку. «Кого это вы, дядя, встретили у Старого моста? Вы его не знаете?» — «Как же не знать! — отвечал дедушка. — Да это Проспер, брат садовника госпожи Буйбеф». — «Ах, вот это кто!» — говорила успокоенная, но все еще с легкой краской на лице тетя; пожав плечами, она добавляла с насмешливой улыбкой: «А он мне сказал, будто вы встретили незнакомого!» И тут мне советовали быть в другой раз осторожнее и не тревожить тетю и ничего не говорить ей,

не подумав. В Комбре всех так хорошо знали, и животных, и людей, что если тете случайно попадалась на глаза «незнакомая» собака, то она уже не могла ни о чем думать, кроме этой собаки, и посвящала загадочному этому событию свои индуктивные способности и свои досуги.

— Это, должно быть, собака госпожи Сазра, — говорила Франсуаза не очень уверенным тоном, только с целью успокоить тетю — чтобы она «не ломала себе голову».

— Да что я не знаю собаки госпожи Сазра? — возражала тетя, критический ум которой не мог так легко допустить какой-либо факт.

— А, так это, верно, новая собака Галопена — он ее из Лизье привез!

— Ну, может быть.

— Видать, ласковая собачонка, — продолжала Франсуаза, получившая эти сведения от Теодора, — умна, как человек, всегда веселая, всегда приветливая, что-то в ней есть такое милое! Чтобы такая маленькая собачка была так хорошо воспитана — это просто редкость… Госпожа Октав! Мне нужно идти, некогда мне разговоры разговаривать, ведь уж скоро десять, а плита еще не затоплена, а мне еще спаржу надо почистить.

— Как, опять спаржа? Вы, Франсуаза, в этом году

просто помешались на спарже, наши парижане скоро смотреть на нее не захотят!

— Да нет, госпожа Октав, они ее любят. Они придут из церкви с хорошим аппетитом и пальчики оближут.

— Но они сейчас уже в церкви. Не теряйте зря времени. Идите готовьте завтрак.

Пока тетя беседовала с Франсуазой, я с моими родителями бывал у обедни. Как я любил нашу церковь, как отчетливо представляю ее себе и сейчас! Ее ветхая паперть, почерневшая, дырявая, как шумовка, покосилась, в ее углах образовались впадины (так же как и на чаше со святой водой, к которой она подводила), словно легкое прикосновение одежды крестьянок, входивших в храм, их робких пальцев, которые они погружали в святую воду, могло от многовекового повторения приобрести разрушительную силу, могло продавить камень и провести на нем борозды, вроде тех, что оставляют на придорожной тумбе колеса, ежедневно задевающие за нее! Надгробные плиты, под которыми благородный прах похороненных здесь комбрейских аббатов образовывал как бы духовное возвышение для клироса, уже не являли собой косную и грубую материю, ибо время размягчило их, и они, словно

мед, вытекли за пределы своей четырехугольности: одни, хлынув золотистой волной, увлекли за собою разукрашенные цветами готические буквицы и затопили белые фиалки мраморного пола; другие, наоборот, укоротились, сжав и без того краткую эллиптическую латинскую надпись, сообщив еще бóльшую прихотливость расположению мелких литер, сблизив две буквы какого-нибудь слова, а прочие сверх всякой меры раздвинув. Витражи никогда так не переливались, как в те дни, когда солнца почти не было, и, если снаружи хмурилось, вы могли ручаться, что в церкви светло; одно из окон сплошь заполняла собой фигура, похожая на карточного короля, жившая в вышине, под сводом, между небом и землей, и в будничный полдень, после того как служба уже отошла, в одну их тех редких минут, когда церковь, проветренная, свободная, менее строгая, чем обычно, пышная, с солнечными пятнами на богатом своем убранстве, имела почти жилой вид, вроде залы со скульптурами и цветными стеклами в особняке, отделанном под стиль средневековья, косой синий свет витража озарял г-жу Сазра, на одно мгновение преклонившую колени и поставившую на ближайшую скамейку перевязанную крест-накрест коробочку

печенья, которую она только что купила в кондитерской напротив и несла домой к завтраку; на другом окне гора розового снега, у подножия которой происходило сражение, словно заморозила самые стекла, налипла на них мутной своей крупой, превратила витраж в окно с наледью, освещенной некоей зарей (вне всякого сомнения, той самой, что обагряла запрестольный образ красками такой свежести, что казалось, будто они всего лишь на миг наложены проникшим извне отсветом, готовым вот-вот померкнуть, а не навсегда прикреплены к камню); и все окна были до того ветхие, что там и сям проступала их серебристая древность, искрившаяся пылью столетий и выставлявшая напоказ лоснящуюся и изношенную до последней нитки основу их нежного стеклянного ковра. Одно высокое окно было разделено на множество прямоугольных окошечек, главным образом — синих, похожих на целую колоду карт, разложенную, чтобы позабавить короля Карла VI[59]; быть может, по нему скользил солнечный луч, а быть может, мой взгляд, перебегавший со стекла на стекло, то гасил, то вновь разжигал движущийся, самоцветами пере-

[59] Примечания: 59
Карл VI — король Франции (1380–1422).

ливавшийся пожар, но только мгновение спустя оно все уже блестело изменчивым блеском павлиньего хвоста, а затем колыхалось, струилось и фантастическим огненным ливнем низвергалось с высоты мрачных скалистых сводов, стекало по влажным стенам, и я шел за моими родителями, державшими в руках молитвенники, словно не в глубине церковного придела, а в глубине пещеры, переливавшейся причудливыми сталактитами; еще мгновение — и стеклянные ромбики приобретали глубокую прозрачность, небьющуюся прочность сапфиров, усыпавших огромный наперсный крест, а за ними угадывалась еще более, чем все эти сокровища, радовавшая глаз мимолетная улыбка солнца; ее так же легко было отличить в той мягкой голубой волне, которой она омывала эти самоцветы, как на камнях мостовой, как на соломе, валявшейся на базарной площади; и даже в первые воскресенья, которые мы здесь проводили, приехав перед Пасхой, когда земля была еще гола и черна, улыбка солнца утешала меня тем, что испещряла ослепительный золотистый ковер витражей стеклянными незабудками, как она испещряла его в далекую весну

времени наследников Людовика Святого[60].

Два гобелена изображали венчание Эсфири[61] на царство (по традиции Артаксерксу были приданы черты одного из французских королей, а Эсфири — принцессы Германтской, в которую король был влюблен), и оттого что краски расплылись, фигуры приобрели особую выразительность, рельефность, выступили в ином освещении: розовая краска на губах Эсфири чуть-чуть перешла за их очертания; на ее одежду желтая краска была положена так обильно, так густо, что одежда от этого казалась плотной и резко выделялась на потускневшем фоне. А зелень на деревьях, все еще яркая в нижней части вытканного шелком и шерстью панно, наверху «пожухла», и эта ее бледноватость оттеняла возвышавшиеся над темными стволами верхние желтеющие ветви, позлащенные косыми, жгучими лучами незримого солнца и сильно выгоревшие. Все это, и в еще большей мере драгоценные предметы, принесенные в дар церкви

---

[60] Примечания: 60

Людовик Святой — Людовик IX, король Франции (1226–1270).

[61] Примечания: 61

Эсфирь — героиня иудаистической мифологии, спасшая свой народ в эпоху владычества персидского царя Ксеркса (библейского Артаксеркса); главный персонаж Книги Эсфири, вошедшей в ветхозаветный канон. Став женой царя, она добивается пощады для иудеев.

лицами, для меня почти легендарными (золотой крест, будто бы сделанный святым Элигием[62] и подаренный Дагобертом, порфировая, с финифтяными украшениями, гробница сыновей Людовика Немецкого[63]), предметы, благодаря которым у меня, когда мы направлялись к нашим скамьям, было такое чувство, словно я иду по долине, посещаемой феями, где селянин с изумлением замечает на скале, на дереве, в болоте осязаемый след их сверхъестественных появлений, — все это в моих глазах совершенно обособляло церковь от остального города; для меня она представляла собой здание, которое занимало пространство, имевшее, если можно так выразиться, четыре измерения, — четвертым было Время, — и двигало сквозь века свой корабль, который, устремляясь от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто столько-то метров, но эпоху за эпохой и всякий раз выходил победителем; здание, скрывавшее грубый и суровый XI век в

[62] Примечания: 62

Святой Элигий (588–660) — был золотых дел мастером и наставником *Дагоберта I* (600–639), короля франков.

[63] Примечания: 63

Людовик Немецкий (804–876) — внук Карла Великого, царствовал в восточной части империи Каролингов (843–876).

толще стен, из которых тяжелые его своды, всюду заделанные и замурованные глыбами бутового камня, выступали только в длинном проеме лестницы на колокольню, но и здесь он был прикрыт изящными готическими аркадами, кокетливо обступившими его, подобно тому как старшие сестры, чтобы посторонним не было видно их младшего брата, увальня, грубияна и оборванца, с приветливой улыбкой становятся перед ним; здание, вздымавшее над площадью прямо в небо свою башню, помнившую Людовика Святого и как будто сейчас еще видевшую его перед собой; здание, погружавшееся вместе со своим склепом в темь меровингской ночи, где, ощупью ведя нас под мрачным сводом с могучими ребрами, напоминавшим перепонку исполинской каменной летучей мыши, Теодор или его сестра освещали свечой гробницу внучки Зигеберта[64], а на крышке гробницы — похожую на след допотопного животного впадину, образовавшуюся, по преданию, оттого, что «хрустальная лампада в ночь убийства франкской принцессы оторвалась от золотых цепей, на которых она висела в том месте, где сейчас находится абсида, и так, что

[64] Примечания: 64

Зигеберт — Зигеберт III, король Австразии (634–656), восточной части франкской Галлии.

хрусталь не разбился, а пламя не погасло, ушла в податливый камень».

Ну а что можно сказать о самой абсиде комбрейской церкви? Как же грубо она была сделана, — не говоря о художественности, в ней не чувствовалось даже религиозного настроения! Так как перекресток, на который она выходила, представлял собою низину, то снаружи толстая ее стена, в которой ничего церковного не было, высилась на цоколе из нетесаного камня с торчащими обломками; казалось, окна были в ней пробиты слишком высоко, а все вместе создавало впечатление скорее тюремной, нежели церковной стены. И конечно, впоследствии, когда я вспоминал виденные мною знаменитые апсиды, мне никогда бы и в голову не пришло сравнить их с апсидой комбрейской. Только однажды, свернув с одной провинциальной улочки, я увидел на перекрестке трех переулков обветшавшую высокую-высокую стену с пробитыми в ней вверху окнами, столь же асимметричную на вид, как и абсида в Комбре. И тут я не спросил себя, как в Шартре или в Реймсе, насколько сильно выражено в ней религиозное чувство, а лишь невольно воскликнул: «Церковь!»

Церковь! Такая привычная церковь на улице

Святого Илария, куда выходили северные ее двери, вплотную, без всякого промежутка, примыкавшая с одной стороны к аптеке г-на Рапена, а с другой — к дому г-жи Луазо, простая жительница Комбре, которая могла бы иметь свой номер, если бы дома в Комбре вообще имели номера, и перед которой по утрам, выйдя от г-на Рапена, по дороге к г-же Луазо, должен был, казалось, останавливаться почтальон; и однако между нею и всем остальным проходила грань, которую моему разуму никогда не удавалось переступить. Хотя на подоконнике у г-жи Луазо стояли фуксии, у которых была дурная привычка раскидывать во все стороны свои тянувшиеся книзу ветки, цветы которых, не успев распуститься, прежде всего стремились охладить свои фиолетовые, пышущие здоровьем щеки, дотронувшись до сумрачного фасада церкви, — от этого они не становились для меня священными; и пусть мое зрение не улавливало расстояния между цветами и почерневшим камнем, в который они упирались, зато разум представлял себе, что их разделяет пропасть.

Колокольню Св. Илария было видно издали: когда Комбре еще не появлялся, незабываемый ее силуэт уже вычерчивался на горизонте; едва

различив из окна вагона, в котором мы ехали на пасхальные дни из Парижа, как она движется по небесным просторам, поворачивая во все стороны железного своего петушка, отец говорил нам: «Собирайтесь, приехали». А на одной из самых наших дальних прогулок в Комбре было такое место, где стиснутая буграми дорога внезапно вырывалась на необозримую равнину с перелесками на горизонте и над ними возвышался один лишь острый шпиль колокольни Св. Илария, до того тонкий и розовый, что можно было подумать, будто он начерчен ногтем человека, которому хотелось придать этому виду, этой картине природы, и только природы, нечто от искусства, хотя бы этим намекнуть на участие в ней человека. Когда мы подходили ближе и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольней, но была ниже ее, то меня особенно поражал сумрачный, коричневый цвет камня, а туманным осенним утром пурпурная развалина, высившаяся над виноградниками цвета грозового неба, казалась очень похожей на лозу дикого винограда.

На возвратном пути бабушка обыкновенно останавливалась на площади и предлагала мне

посмотреть на башню. Из своих амбразур, расположенных парами, одна над другою, с тем оригинальным соблюдением одинаковости расстояния, что придает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала через определенные промежутки времени стаи ворон, и вороны с карканьем кружились, словно среди древних камней, до сих пор не мешавших воронам гомозиться, как бы их не замечавших, воронью стало невмоготу, потому что камни начали выделять из себя что-то несказанно жуткое, поразившее и спугнувшее его. Затем, исчертив во всех направлениях темно-лиловый бархат вечернего воздуха, вороны внезапно успокаивались и исчезали в глубине башни, утратившей свою враждебность и вновь сделавшейся гостеприимной, некоторые же из них располагались на зубцах и, казалось, не шевелились, а на самом деле, должно быть, ловили на лету насекомых — так чайки, неподвижные, как рыбаки, застывают на гребнях волн. Бабушка, сама не зная почему, полагала, что в колокольне Св. Илария отсутствует вульгарность, претенциозность, пошлость, а ведь именно за это отсутствие она любила природу, если только ее не портила рука человеческая, как например

рука садовника моей двоюродной бабушки, за это же она любила гениальные произведения, именно это заставляло ее верить в неиссякающе благотворное влияние природы и искусства. И в самом деле: каждая часть церкви, открывавшаяся взору, отличалась от всякого другого здания особой мыслью, которая была в нее вложена, но ее самосознание сосредоточивалось, по-видимому, в колокольне, через колокольню она утверждала свою незаурядность, свою самобытность. От лица церкви говорила колокольня. Я убежден, что бабушка, сама того не подозревая, находила в комбрейской колокольне то, что она ценила больше всего: естественность и изящество. Ничего не понимая в архитектуре, она говорила: «Дорогие мои! Смейтесь надо мной: быть может, она и небезупречна, но ее древний необычный облик мне нравится. Я уверена, что если б она играла на рояле, то играла бы *не сухо*». Глядя на колокольню, следя взором за мягкой упругостью, за стремительным наклоном каменных ее скатов, соединявшихся вверху, словно молитвенно сложенные руки, бабушка так сливалась со шпилем, протянутым ввысь, что казалось, будто взгляд ее уносится вместе с ним; и в то же время она приветливо улыбалась старым потрескавшимся

камням, из которых лишь самые верхние освещались закатом, и вот когда эти камни вступали в солнечную зону, то, сделавшись легче от света, они мгновенно взлетали — они были теперь высоко-высоко, словно голос, запевший фальцетом, взявший целой октавою выше.

Колокольня Св. Илария придавала каждому занятию, каждому часу дня, всем видам города особое обличье, увенчивала их и освящала. Из моей комнаты мне было видно только ее основание, вновь покрытое шифером, но, глядя, как теплым летним воскресным утром черными солнцами пылают шиферные плитки, я говорил себе: «Боже мой! Девять часов! Пора вставать к поздней обедне, иначе я не успею поздороваться с тетей Леонией», — и я точно знал, какую окраску принимает сейчас солнечный свет на площади, я чувствовал, как жарко и пыльно на рынке, представлял себе полумрак от опущенной шторы в пропахшем небеленым холстом магазине, куда мама, быть может, зайдет по дороге в церковь купить платочек, и воображал, как велит показать его ей приосанившийся хозяин, совсем было собравшийся запереть магазин и направлявшийся к себе в комнату надеть праздничный сюртук и вымыть с мылом руки, которые он имел обыкно-

вение каждые пять минут потирать с деловым видом удачливого проныры даже в самых прискорбных обстоятельствах.

После службы мы шли к Теодору заказать хлебец побольше, потому что из Тиберзи должны были, пользуясь хорошей погодой, приехать к нам позавтракать наши родственники, и в это время колокольня, пропеченная и подрумяненная, точно огромный благословенный хлеб с верхней коркой, облитой солнечной глазурью, вонзала острый свой шпиль в голубое небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о том, что скоро я распрощаюсь с мамой до утра, у колокольни на фоне гаснущего дня был такой кроткий вид, что казалось, будто это коричневого бархата подушка, которую кто-то положил поглубже на голубое небо, будто небо подалось под напором, образовало небольшую вмятину, чтобы дать ей место, и обтекло ее со всех сторон, а крики птиц, летавших вокруг нее, словно еще усиливали ее спокойствие, еще выше возносили ее шпиль и придавали ей нечто неизъяснимое.

Даже когда мы гуляли за церковью, там, откуда ее не было видно, нам мнилось, что все соотносится с колокольней, выглядывавшей между домами, и, пожалуй, она производила еще более

сильное впечатление, когда вырисовывалась одна, без церкви. Конечно, есть много колоколен, которые кажутся еще прекраснее, когда вот так на них смотришь; в моей памяти хранятся узоры возвышавшихся над крышами колоколен, которые отличались в художественном отношении от тех узоров, что образовывали унылые улицы Комбре. Мне не забыть двух прелестных домов XVIII века в одном любопытном нормандском городке по соседству с Бальбеком, — домов, которые по многим причинам мне милы и дороги; и вот, если смотреть на них из чудесного сада, уступами спускающегося к реке, то видно, как готический шпиль прячущейся за ними церкви устремляется ввысь, точно довершая, точно увенчивая их фасады, но только он совсем иной, до того изящный, тщательно отделанный, розовый, блестящий, что сразу бросается в глаза его непричастность к ним, как непричастна пурпурная зазубренная стрелка веретенообразной, покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на берегу моря. Даже в одном из самых некрасивых парижских кварталов я знаю окно, откуда виден не на первом, не на втором и даже не на третьем плане, которые образуются улица-

ми с громоздящимися одна над другою крышами, фиолетовый колокол, временами принимающий красноватый оттенок, временами — и это один из самых лучших снимков, которые делает с него воздух, — пепельно-черный, на самом же деле это не что иное, как купол церкви Св. Августина, придающий сходство этому парижскому виду с некоторыми римскими видами Пиранези[65]. Но во все эти гравюрки моя память, с какой бы любовью она их ни восстанавливала, бессильна вложить давным-давно мною утраченное, вложить чувство, которое заставляет нас не смотреть на предмет как на зрелище, а верить в него, как в существо, не имеющее себе подобных, — вот почему ни одна из них не имеет власти над целой эпохой в моей внутренней жизни, как властвуют над нею воспоминания о разных видах, которые принимала комбрейская колокольня в зависимости от того, с какой улицы, расположенной за церковью, я на нее смотрел. Видна ли она была нам в пять часов дня, слева, когда мы ходили за письмами на почту, через несколько домов от нас, неожиданно вздымавшаяся одинокой

[65] Примечания: 65

Пиранези, Джованни Батиста (1720–1778) — итальянский архитектор и гравер, автор многочисленных офортов («Древности Рима») зачастую фантасмагорического характера.

вершиной над грядою крыш; или если мы шли в противоположном направлении — справиться о здоровье г-жи Сазра, — и, зная, что надо свернуть на вторую улицу после колокольни, следили взглядом за этою грядою, после подъема шедшею под уклон; или если мы направлялись еще дальше от колокольни, на вокзал, и, видная сбоку, повернутая в профиль, она показывала нам другие срезы и плоскости, подобно геометрическому телу, застигнутому в прежде не наблюдавшийся момент его вращения вокруг оси; или, наконец, с берегов Вивоны, когда от апсиды, напрягшей все свои мускулы и приподнятой расстоянием, казалось, сыпались искры — так она силилась помочь колокольне устремить шпиль прямо в небо, — словом, колокольня неизменно притягивала взор, она господствовала надо всем, ее неожиданно возникавшая игла собирала вокруг себя дома и поднималась предо мною, точно перст Божий, — тело Бога могло быть от меня скрыто в толпе людей, но благодаря этому персту я никогда бы не смешал его с толпой. Еще и сейчас, когда в каком-нибудь большом провинциальном городе или в одном из парижских кварталов, который я плохо знаю, прохожий на вопрос: «Как пройти туда-то?» — показывает мне вдали, в виде приметы,

на углу той улицы, которую я разыскиваю, каланчу или же остроконечную, священническую шапку монастырской колокольни, то достаточно моей памяти обнаружить хотя бы неопределенное сходство с дорогим, исчезнувшим образом, и если прохожий обернется, чтобы удостовериться, что я не заблудился, он с удивлением заметит, что, позабыв о прогулке или о деле, я стою подле колокольни и могу неподвижно стоять здесь часами, напрягая память и чувствуя, как в глубине моей души зе́мли, залитые водою забвения, высыхают и заселяются вновь; и тогда я непременно, но только еще сильнее волнуясь, чем когда расспрашивал прохожего, начинаю искать дорогу, поворачиваю за угол… но… уже только мысленно…

Возвращаясь из церкви, мы часто встречали инженера Леграндена, — его вечно задерживали дела в Париже, так что, если не считать святок, он приезжал к себе в Комбре в субботу вечером, а в понедельник утром уезжал. Он принадлежал к числу людей, которые не только сделали блестящую ученую карьеру, но и обладают совсем иного рода культурой — литературной, художественной, совершенно ненужной для их профессии, однако обнаруживающейся при разговорах с

ними. Более сведущие, чем многие литераторы (мы тогда еще не знали, что Легранден довольно известен как писатель, и были бы очень удивлены, если б нам сказали, что знаменитый композитор написал музыку на его стихи), и отличающиеся большей «набитостью руки», чем многие художники, они убеждены, что жизнь у них сложилась неудачно, и работают они спрохвала, хотя не без затей, или же с неутомимой и надменной, презрительной, желчной и добросовестной старательностью. Высокий, стройный, с тонким задумчивым лицом, с длинными светлыми усами, с голубыми глазами, выражавшими разочарование, изысканно вежливый, такой интересный собеседник, какого мы отроду не слыхивали, Легранден считался у нас в семье образцом благородства и деликатности, натурой исключительной. Бабушке не нравилось в нем то, что он уж слишком красиво говорил, чересчур книжным языком, лишенным свободы, с какою тот же Легранден повязывал широким бантом галстук, так что он у него всегда болтался, с какою Легранден носил прямую и короткую, почти как у школьника, тужурку. Еще ее удивляли пламенные и частые его тирады против аристократии, против светского образа жизни и снобизма, «а

ведь снобизм, конечно, и есть тот грех, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит о грехе, которому нет прощения».

Бабушке не только было несвойственно светское тщеславие — она просто не понимала, что это такое, — вот почему ей казалось бессмысленным вкладывать столько душевного пыла в его осуждение. Кроме того, она полагала, что не очень-то красиво со стороны Леграндена, сестра которого была замужем за нижненормандским дворянином, проживавшим близ Бальбека, так яростно нападать на благородное сословие и даже упрекать Революцию, что она не всю знать гильотинировала.

— Здравствуйте, друзья! — говорил Легранден, идя нам навстречу. — Вы счастливы: вы можете жить здесь подолгу, а мне уже завтра надо возвращаться в Париж, в свою конуру. Ох! — вздыхал он, улыбаясь своей особенной улыбкой, в которой читались мягкая ирония, разочарованность и легкая рассеянность. — У меня в Париже полно ненужных вещей. Не хватает лишь необходимого: неба над головой. Живи так, мой мальчик, чтобы у тебя всегда было небо над головой, — обращаясь ко мне, добавлял он. — У тебя красивая, хорошая душа, художественная натура, — не

лишай же ее необходимого.

Когда мы возвращались домой и тетя посылала узнать у нас, опоздала ли г-жа Гупиль к обедне, мы ничего не могли ей ответить. Зато мы усиливали ее тревогу сообщением, что в церкви работает художник — копирует с витража Жильберта Дурного[66]. Франсуаза, которую немедленно посылали в бакалейную лавку, ничего толком не узнала, потому что в лавке не оказалось Теодора, а Теодор совмещал обязанности певчего, способствовавшего благолепию в храме, и приказчика в бакалейной лавке, и это обстоятельство, позволявшее ему поддерживать отношения со всеми слоями общества, сделало из него человека универсальных знаний.

— Ах! — вздыхала тетя. — Скорей бы приходила Евлалия! Уж она-то мне все расскажет.

Евлалия, глухая, расторопная хромоножка, «удалившаяся на покой» после смерти г-жи де ла Бретонри, у которой она служила с детства, снимала комнату около церкви и из церкви не выходила: то надо побыть на службе, то, когда

---

[66] Примечания: 66

Жильберт Дурной — вымышленный писателем персонаж, имя которого образовано по аналогии с историческими деятелями Франции. Одним из его прототипов можно считать Карла II (1332–1387), короля Наваррского, которого прозвали Дурным из-за интриг, направленных против Карла V.

службы нет, помолиться одной, то помочь Теодору; в свободное время она навещала больных, в частности тетю Леонию, которой она рассказывала все, что случалось за обедней или за вечерней. Прежние хозяева выплачивали ей скромную пенсию, но она не гнушалась случайным приработком и время от времени приводила в порядок белье настоятеля или же еще какой-либо важной духовной особы, проживавшей в Комбре. Ходила она в черной суконной накидке и в белом монашеском чепчике; какое-то кожное заболевание окрашивало часть ее щек и крючковатый нос в ярко-розовый цвет бальзамина. Ее приходы были большим развлечением для тети Леонии, никого уже, кроме священника, не принимавшей. Тетя постепенно отвадила гостей, потому что все они, с ее точки зрения, были повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которые она не переваривала. Одни, самые для нее невыносимые, от коих она отделалась в первую голову, советовали ей не «нянчиться с собой» и держались пагубного мнения, которое они, впрочем, выражали иногда чисто негативно: в неодобрительном молчании или же в скептической улыбке, — что пройтись по солнышку или скушать хорошо приготовленный бифштекс

с кровью (меж тем как тетя за четырнадцать часов выпивала каких-нибудь два несчастных глотка виши), — это было бы для нее полезнее, чем постельный режим и лекарства. Другую категорию составляли лица, притворявшиеся убежденными в том, что болезнь тети серьезнее, чем она предполагает, или в том, что она себя не обманывает, что она действительно тяжело больна. Словом, те, кого она после некоторого колебания и упрашиваний Франсуазы принимала и кто во время визита доказывал, что он недостоин этой милости, потому что робко позволял себе заметить: «Хорошо бы вам промяться в погожий день» или в ответ на ее слова: «Мне так плохо, так плохо, это конец, дорогие друзья» возражал: «Да, потерять здоровье — это хуже всего! Но вы еще долго можете протянуть», — такие люди, и первой и второй категории, могли быть уверены, что после этого тетя их больше к себе не пустит. Франсуазу смешил испуганный вид тети, когда со своего ложа она замечала на улице Святого Духа кого-либо из таких лиц, должно быть, собиравшихся зайти к ней, или же когда к ней звонили, но еще больше забавляли Франсуазу своей изобразительностью всегда имевшие успех хитрости, к коим прибегала тетя, чтобы отказать гостям, а

равно и озадаченные лица гостей, вынужденных удалиться, не повидав тетю, и в глубине души Франсуаза восхищалась своей госпожой: она считала, что, раз госпожа их к себе не пускает, стало быть, она выше их. Короче говоря, тетя требовала, чтобы посетители одобряли ее образ жизни, сочувствовали ей и в то же время уверяли, что она выздоровеет.

И вот в этом отношении Евлалия была незаменима. Тетя могла двадцать раз подряд повторять: «Это конец, милая Евлалия», — Евлалия двадцать раз ей на это отвечала: «Если знать свою болезнь так, как знаете ее вы, госпожа Октав, то можно прожить до ста лет — это мне еще вчера говорила госпожа Сазрен». (Одно из самых твердых убеждений Евлалии, которое не властно было поколебать бесчисленное множество веских доводов, заключалось в том, что настоящая фамилия этой дамы — не Саз-ра, а Сазрен.)

— А я не прошу у Бога, чтоб он продлил мне жизнь до ста лет, — возражала тетя, предпочитавшая не ограничивать свою жизнь определенным сроком.

Сверх того Евлалия умела, как никто, развлекать тетю, не утомляя, вот почему ее неизменные приходы по воскресеньям — помешать ей могло

только что-нибудь непредвиденное — были для тети удовольствием, предвкушение которого всю неделю поддерживало в ней приятное расположение духа, но зато если Евлалии случалось немного опоздать, состояние тети становилось таким же мучительным, как у изголодавшегося человека. Блаженство ожидания, затягиваясь, превращалось в пытку: тетя поминутно смотрела на часы, зевала, ей было не по себе. Если Евлалия звонила в конце дня, то уже переставшая ждать тетя почти заболевала. В самом деле, по воскресеньям она только и думала что о приходе Евлалии, и Франсуаза после завтрака с нетерпением ждала, когда мы уйдем из столовой, чтобы ей можно было «заняться» тетей. И все же (особенно когда в Комбре устанавливалась ясная погода) много времени проходило после того, как гордый полуденный час, нисходивший с колокольни св. Илария и на миг украшавший ее двенадцатью лепестками своей звучащей короны, раздавался над нашим столом, подле благословенного хлеба, который тоже запросто являлся к нам из церкви, а мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», осовевшие от жары, а еще больше от завтрака. И то сказать: постоянную основу нашего завтрака составляли яйца,

котлеты, картофель, варенье, бисквиты — об этом Франсуаза нам больше уже и не объявляла, но она добавляла многое другое, в зависимости от того, что уродилось в полях и в садах, в зависимости от улова, от случайностей торговли, от любезности соседей и от своих собственных дарований, так что наше меню, подобно розеткам, высекавшимся в XIII столетии на порталах соборов, до известной степени отражало смену времен года и череду человеческой жизни; добавляла же Франсуаза то камбалу, потому что торговка поручилась Франсуазе за ее свежесть; то индейку, потому что ей попалась на глаза превосходная индейка на рынке в Русенвиль-ле-Пен; то испанские артишоки с мозгами, потому что она никогда еще нам их так не готовила; то жареного барашка, потому что на свежем воздухе аппетит разгуливается, а нагулять его вновь к обеду семи часов хватит; то шпинат — для разнообразия; то абрикосы — потому что они еще редкость; то смородину, потому что через две недели она уже сойдет; то малину, потому что ее принес Сван; то вишни, потому что это первые вишни из нашего сада — два года подряд вишня не цвела; то творог со сливками, который я тогда очень *любил*; то миндальное пирожное, потому что она заказала

его с вечера; то хлебец, потому что нынче наша очередь нести его в церковь. Когда со всем этим бывало покончено, подавался приготовленный для всех нас, но в угоду главным образом моему отцу, который был особым любителем этого блюда, воздушный и легкий, как стихотворение «на случай», шоколадный крем — плод вдохновения и необыкновенной внимательности Франсуазы, в который она вкладывала весь свой талант. Если бы кто-нибудь к нему не притронулся, сказав: «Больше не могу, я сыт», — он был бы тотчас же низведен до степени тех невежд, которые, получив в подарок от художника его произведение, интересуются весом и материалом, а замысел и подпись не имеет для них никакой цены. Даже оставить крошечный кусочек на тарелке значило проявить такую же неучтивость, как уйти перед носом у композитора еще до того, как доиграли его вещь.

Наконец мама мне говорила: «Послушай: нельзя же тут сидеть до бесконечности. Если на дворе очень жарко, то иди к себе, но все-таки сперва подыши воздухом: нельзя прямо из-за стола браться за книгу». Я шел к желобу с насосом, во многих местах украшенному, подобно готической купели, саламандрами, отдавливавшими на

выветрившемся камне подвижной рельеф своего точеного аллегоричного тела, и усаживался под кустом сирени на скамейку без спинки в том заброшенном уголке сада, откуда через калитку можно было выйти на улицу Святого Духа и где стояла примыкавшая к дому, но казавшаяся отдельной постройкой черная кухня, куда вели две ступени. Ее красный плиточный пол блестел, точно порфировый. Кухня была похожа не столько на пещеру Франсуазы, сколько на храмик Венеры. Она изобиловала приношениями молочника, фруктовщика, зеленщицы, — эти люди приходили даже из дальних деревушек, чтобы принести на алтарь Франсуазы первые свои плоды. А конек крыши был неизменно увенчан воркующим голубем.

Раньше я не засиживался в окружавшей этот храм священной роще; прежде чем подняться к себе и взяться за книгу, я заходил в помещавшуюся на первом этаже комнатку дедушкиного брата Адольфа, старого военного, вышедшего в отставку в чине майора, — комнатку, куда через открытые окна вплывала жара, а солнечные лучи заглядывали редко и откуда никогда не улетучивался непередаваемый, свежий аромат, запах леса и запах далекого прошлого, который

мы так мечтательно втягиваем в себя в каком-нибудь заброшенном охотничьем домике. Но я уже несколько лет не заходил в комнату дедушки Адольфа, — он больше не приезжал в Комбре, потому что рассорился с моей семьей из-за меня, и вот при каких обстоятельствах.

В Париже меня раза два в месяц посылали навестить его, как раз когда он, в домашней куртке, кончал завтракать, а ему прислуживал лакей в блузе из полотна в лиловую и белую полоску. Дедушка Адольф ворчал, что я давно у него не был, что все его забыли, угощал меня марципанами или мандаринами, затем из столовой мы с ним шли через нежилую, неотапливаемую комнату, стены которой были украшены золотой резьбой, потолок расписан под небесную лазурь и где мебель была обита атласом, как у моих дедушки и бабушки, но только желтым, и входили в комнату, которую он называл своим «рабочим кабинетом»: здесь на стенах висели гравюры, изображавшие на черном фоне мясистую розовую богиню со звездой во лбу, правящую колесницей или восседающую на земном шаре, — такие гравюры пользовались успехом при Второй империи, так как в них находили что-то помпейское, затем любовь сменилась пренебре-

жением, а теперь их опять полюбили только потому (хотя выставляются обычно другие причины), что они напоминают Вторую империю. И я оставался у деда, покуда камердинер не приходил к нему спросить от имени кучера, когда подавать лошадей. Дед погружался в раздумье, а завороженный камердинер боялся вывести деда из задумчивости малейшим движением — он с любопытством ждал, чем это кончится, а кончалось это всегда одним и тем же. После напряженной внутренней борьбы дед неизменно изрекал: «В четверть третьего», — а камердинер с изумлением, но без всяких возражений повторял: «В четверть третьего? Слушаюсь… Я так и скажу…»

В то время я любил театр, но любил платонически, потому что родители еще не позволяли мне туда ходить, и имел весьма смутное понятие о том, какого рода это наслаждение; я представлял его себе примерно так, что каждый зритель смотрит в некий стереоскоп на картину, которую показывают ему одному, хотя она ничем не отличается от множества других картин, на которые направлены стереоскопы других зрителей.

Каждое утро я бегал к столбу читать афиши. Невозможно вообразить себе ничего более бес-

корыстного и ничего более счастливого, чем те мечтания, которые пробуждала во мне каждая анонсированная пьеса, — мечтания, связанные не только с образами, возникавшими из названий пьес, но и с цветом афиш, еще сырых и сморщенных от клея. На афишах Французской комедии, цвета бордо, были напечатаны такие странные названия, как «Завещание Цезаря Жиродо»[67] или «Царь Эдип»[68], а на зеленых афишах Комической оперы меня поражали своим цветовым контрастом белоснежное перо, украшавшее «Бриллиантовую корону»[69], и гладкий таинственный атлас «Черного домино»[70], а так как родители предупредили меня, что на первый раз я должен буду выбрать какую-нибудь из этих двух пьес, то я силился постичь смысл

---

[67] Примечания: 67

«Завещание Цезаря Жиродо» (1859) — комедия Бело и Вильтара, поставленная в «Одеоне» в 1859 г. Роль в этой пьесе, которая фигурировала в программе «Комеди-Франсез» вплоть до 1890 г., принесла успех Саре Бернар.

[68] Примечания: 68

«Царь Эдип» (ок. 430 до н. э.) — трагедия Софокла (496–406 до н. э.).

[69] Примечания: 69

«Бриллиантовая корона» — комическая опера французского композитора Обера (1782–1871), автор либретто Скриб (1791–1861), была поставлена в «Опера-Комик» в 1841 г.

[70] Примечания: 70

«Черное домино» — комическая опера Скриба и Обера, поставленная в «Опера-Комик» в 1837 г. Все эти произведения постоянно ставились в

парижских театрах в 80-е гг. XIX века.

их названий — ведь судить о пьесах я имел возможность только по названиям, — вызвать в воображении очарование, какое таят в себе для меня обе пьесы, сравнить удовольствие, которое я получу от одной и от другой, и в конце концов я до того явственно представлял себе то пьесу ослепительную, величественную, то тихую, бархатистую, что не знал, какую выбрать, так же как я заколебался бы, если б мне предложили на сладкое рис «Императрица» или шоколадный крем.

Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, и, хотя я их еще не видел, игра артистов явилась для меня первой из тех многообразных форм, которая дала мне почувствовать, что такое проявляющее себя в этих формах Искусство. Малейшие различия в манере артистов произносить, оттенять тот или иной монолог имели для меня огромное значение. На основании того, что я о них слышал, их фамилии шли у меня в списке по степени их одаренности, и списки эти я мысленно повторял с утра до вечера, так что в конце концов они как бы затвердели у меня в мозгу и уже надоедали мне своею неизменностью.

Впоследствии в коллеже, воспользовавшись тем, что преподаватель на меня не смотрел, и

заговорив с новичком, я всегда начинал с вопроса, был ли он уже в театре и считает ли он, что величайший наш актер, конечно, Го, второй — Делоне и так далее. И если, с его точки зрения, Февр был хуже Тирона, а Делоне — хуже Коклена, то внезапная подвижность, с какою имя Коклена, утратив окаменелость, съеживалось у меня в мозгу и переходило на второе место, чудодейственное проворство и животворящее воодушевление, с каким Делоне бывал оттесняем на четвертое место, рождали в моем обретшем восприимчивость и оплодотворенном уме ощущение расцвета и ощущение жизни.

Но если мысль об актерах так неотступно преследовала меня, если один вид Мобана, выходившего после полудня из Французской комедии, вызывал во мне дрожь и терзания влюбленного, то во сколько же раз тревога, охватывавшая меня при имени какой-нибудь звезды, сиявшем на дверях театра, или же когда лицо женщины, которую я принимал за актрису, мелькало передо мной сквозь стекло кареты, запряженной лошадьми с розами, цветшими между их челкой и ремнем уздечки, во сколько же раз эта тревога оказывалась длительнее и насколько же мучительнее были мои бесплодные усилия представить себе

ее образ жизни! Имена наиболее знаменитых артистов шли у меня в списке по степени их одаренности: Сара Бернар, Бермá, Барте, Мадлена Броан, Жанна Самари[71], но интересовали меня все. Так вот, мой дед Адольф был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я путал с актрисами. Он принимал их у себя. Мы бывали у него в определенные дни, потому что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми его родня не встречалась, во всяком случае — не считала для себя возможным встречаться; что же касается деда, то он, как раз наоборот, был рад душой познакомить с моей бабушкой красивых вдов, которые, вернее всего, и замужем-то никогда не были, или графинь с громкими именами, которые, вне всякого сомнения, представляли собой всего лишь звучные псевдонимы, — и не только познакомить, но и преподнести им фамильные драгоценности, что уже не раз являлось причиной его ссоры с братом. Я часто слышал, как мой отец, когда в разговоре упоминалось имя актрисы, с улыбкой пояснял матери: «При-

[71] Примечания: 71

…Сара Бернар, Бермá, Барте, Мадлена Броан, Жанна Самари… — Все приведенные имена актеров и актрис принадлежат известным исполнителям парижских театров конца XIX века. Исключение составляет Берма — вымышленный персонаж, чье искусство дает рассказчику богатую пищу для размышлений о смысле творчества.

ятельница твоего дяди». И мне приходило на ум: люди значительные, быть может, годами тщетно добиваются благосклонности женщины, не отвечающей на их письма и приказывающей консьержу не принимать их, а дедушка Адольф может от всего этого избавить такого мальчишку, как я, представив его у себя актрисе, недоступной для большинства, но являющейся его близким другом.

Ну так вот, — под предлогом, что один урок у меня переставлен до того неудачно, что это уже несколько раз мешало и будет мешать и впредь ходить к дедушке Адольфу, — однажды, выбрав день, когда мы обыкновенно его не навещали, я воспользовался тем, что мои родители позавтракали рано, вышел из дому и, вместо того чтобы пойти посмотреть на столб с афишами — туда меня пускали одного, — побежал к деду. У его подъезда стоял экипаж, запряженный парой с красной гвоздикой, прикрепленной к наглазникам; в петличке у кучера тоже была гвоздика. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но стоило мне позвонить, как все стихло, а двери кто-то запер. Отворивший мне камердинер при виде меня смутился и сказал, что дедушка очень занят и навряд ли меня примет, но все-таки по-

шел доложить, и вслед за тем уже знакомый мне голос сказал: «Впусти его, пожалуйста, на минутку, меня разбирает любопытство. На карточке, которая стоит у тебя на столе, он удивительно похож на мать, на твою племянницу, ведь это ее карточка стоит рядом с его? Мне хочется только взглянуть на этого мальчугана».

Дед ворчал, сердился; в конце концов камердинер впустил меня.

На столе, по обыкновению, стояла все та же тарелка с марципанами; дедушка Адольф был в своей неизменной куртке, а напротив сидела молодая женщина в розовом шелковом платье, с большим жемчужным ожерельем на шее, и доедала мандарин. Не зная, как назвать ее: «мадам» или «мадемуазель», я покраснел и, почти не глядя в ее сторону, чтобы не заговорить с ней, подошел поздороваться с дедом. Она смотрела на меня с улыбкой; дед сказал ей: «Это мой внучатый племянник», но не познакомил нас — вернее всего потому, что после размолвок с братом он по возможности старался не сталкивать родственников с подобного рода знакомыми.

— Как он похож на мать! — сказала она.

— Да, но вы же видели мою племянницу только на карточке! — недовольным тоном живо воз-

разил дед.

— Простите, дорогой друг! В прошлом году, когда вы тяжело болели, я столкнулась с ней на лестнице. Правда, она только промелькнула передо мной, да и на лестнице у вас темно, но я была ею очарована. У молодого человека такие же прекрасные глаза, как у нее, и потом еще *вот это*, — сказала она, проведя пальцем над бровями. — Ваша племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг? — обратилась она с вопросом к деду.

— Он больше похож на отца, — проворчал дед: ему было не по душе знакомить ее с моей матерью даже заочно, даже называть фамилию. — Он весь в отца и еще в мою покойную матушку.

— Я не знакома с его отцом, — слегка наклонив голову, сказала дама в розовом, — и никогда не была знакома с вашей покойной матушкой. Помните? Ведь мы с вами познакомились вскоре после того, как вас постигло это большое горе.

Я испытывал легкое разочарование: молодая женщина ничем не отличалась от красивых женщин, которых я кое-когда видел в кругу нашей семьи, — например, от дочери одного из наших родственников, которого я всегда поздравлял с Новым годом. Приятельница деда Адольфа

была только лучше одета, но у нее были такие же добрые и живые глаза, такой же открытый и приветливый взгляд. Я не находил в ней ничего театрального, чем я любовался на фотографиях актрис, не находил демонического выражения, соответствовавшего образу жизни, который, по моим представлениям, она должна была вести. Мне трудно было поверить, что это кокотка, и уж, во всяком случае, никогда бы я не поверил, что это кокотка шикарная, если б не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если б мне не было известно, что мой дед водит знакомства только с людьми самого высокого полета. Но мне было непонятно, какое удовольствие находит миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, в том, чтобы проматывать свое состояние ради женщины с такой простой и приличной внешностью. И все же, стараясь представить себе ее жизнь, я подумал о том, что ее безнравственность смущала бы меня, пожалуй, сильнее, приобрети она для меня бóльшую точность и определенность, — сильнее смущала бы меня незримость тайны какого-нибудь романа, какого-нибудь скандала, из-за которого ей пришлось покинуть отца и мать — мирных обывателей, который ославил ее

на весь свет, благодаря которому теперь цвела, возвысилась до степени дамы полусвета и приобрела известность женщина, чье выражение лица и интонации придавали ей сходство со многими моими знакомыми и невольно заставляли смотреть на нее как на девушку из хорошей семьи, хотя никакой семьи у нее уже не было.

Между тем мы перешли в «рабочий кабинет», и дедушка Адольф, которого мое присутствие несколько стесняло, предложил ей папиросу.

— Нет, мой дорогой, — сказала она, — я, как вам известно, привыкла к папиросам, которые мне присылает великий князь. Я от него не скрыла, что они вызывают у вас ревность.

Тут дама в розовом достала из портсигара несколько папирос с надписью золотыми буквами на иностранном языке.

— Ну, конечно, я встретилась у вас с отцом этого молодого человека! — неожиданно воскликнула она. — Ведь это же наш внучатый племянник? Как я могла забыть! Его отец был так мил, так очарователен со мной! — добавила она скромно и растроганно.

Вообразив, сколь суров мог быть этот очаровательный, по ее выражению, прием, оказанный ей моим отцом — я хорошо знал его сдержанность

и холодность, — я почувствовал неловкость, как если бы он совершил какую-нибудь неделикатность: от несоответствия между чрезмерной благодарностью, которую она к нему испытывала, и его нелюбезностью. Позднее я пришел к мысли, что одна из трогательных сторон роли, какую играют эти праздные и вместе с тем деятельные женщины, состоит в том, что они растрачивают свою доброту, свои дарования, вечно живущий в них сентиментальный идеал красоты — подобно всем художникам, они этот свой идеал не осуществляют, не вводят в рамки обыденности — и легко достающееся им золото на то, чтобы заключить в драгоценную и тонкую оправу неприглядную и неотшлифованную жизнь мужчин. Подобно тому как она наполняла курительную комнату, где мой дед принимал ее в куртке, прелестью своего тела, шелкового розового платья, жемчугов, той изысканностью, отпечаток которой накладывала на нее дружба с великим князем, точно так же она поступила с каким-нибудь ничтожным замечанием моего отца: она проделала над ним ювелирную работу, придала ему особое значение, дала ему высшую оценку и, вставив в него свой драгоценный, чистой воды взгляд, переливавшийся

кротостью и благодарностью, превратила его в художественное изделие, в нечто «совершенно очаровательное».

— Ну, тебе пора, — обратился ко мне дедушка.

Я встал; у меня явилось неодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но меня остановила мысль, что это не меньшая дерзость, чем похищение. С сильно бьющимся сердцем я задавал себе вопрос: «Поцеловать или не поцеловать?» — затем перестал спрашивать себя, что мне делать, — перестал для того, чтобы быть в состоянии хоть как-то действовать. Отметя все доводы, безотчетным, нерассуждающим движением я поднес к губам протянутую мне руку.

— Как он мил! Он уж умеет быть галантным, умеет ухаживать за женщинами — в дедушку пошел. Из него выйдет безукоризненный джентльмен, — чтобы придать фразе легкий английский акцент, добавила она сквозь зубы. — Пришел бы он ко мне на *a cup of tea*[72], как выражаются наши соседи — англичане. Пусть только утром пошлет «голубой листочек».

Я не знал, что такое «голубой листочек». Я не понимал половины того, о чем говорила дама, но

---

[72] Примечания: 72
Чашка чаю (*англ.*).

из страха, что ее слова заключают в себе вопрос, на который было бы невежливо не ответить, я напрягал внимание, и это было для меня очень утомительно.

— Нет, нет, это невозможно, — передернув плечами, возразил дедушка Адольф. — Он очень занят, много занимается. Он на лучшем счету в коллеже, — прошептал он, чтобы я не мог слышать эту ложь и не стал опровергать его. — Как знать! Может, из него получится второй Виктор Гюго, а глядишь — что-нибудь вроде Волабеля[73].

— Я обожаю писателей, — сказала дама в розовом, — женщин понимают только они... Они да еще такие редкие люди, как вы. Простите мне мое невежество, друг мой, — кто такой Волабель? Это не его томики с золотым обрезом стоят у вас в шкафчике в спальне? Вы обещали мне дать их почитать, я буду очень бережно с ними обращаться.

Дедушка Адольф терпеть не мог давать читать свои книги; он и тут ничего не ответил и проводил меня в переднюю. Безумно увлекшись дамой в розовом, я покрыл страстными поцелуями

---

[73] Примечания: 73

Волабель, Ашиль Тенай де (1799–1879) — французский журналист, историк и политический деятель.

пропахшие табаком щеки моего старого деда, и, когда он, довольно сконфуженный, не решаясь сказать прямо, намекнул на то, что он предпочел бы, чтобы я не проговорился об этой встрече родителям, я со слезами на глазах принялся уверять его, что он был со мной необычайно добр и что я непременно чем-нибудь отблагодарю его. В самом деле, я был ему так благодарен, что уже через два часа, сказав родителям несколько загадочных фраз и сочтя, что фразы эти бессильны дать им верное понятие о том, что со мной произошло нечто чрезвычайно важное, я решил для пущей ясности рассказать им во всех подробностях, как я побывал у деда. Мне в голову не могло прийти, что этим я ему врежу. Как мне могло прийти это в голову, раз я не собирался ему вредить? Я был далек от мысли, что мои родители усмотрят что-нибудь нехорошее в том, в чем я ничего нехорошего не усматривал. Ведь мы же сплошь и рядом не исполняем просьбу нашего друга извиниться перед какой-нибудь женщиной за то, что он не смог ей написать, — не исполняем потому, что считаем, что если мы не придаем этому его поступку никакого значения, то не придаст и она. Я, как и все прочие, рисовал себе, что мозг других людей — это косное и послушное вместилище, не

способное к специфическим реакциям на то, что в него вводится; вот почему я был убежден, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщение о моем новом знакомстве у деда, я одновременно выражаю мое положительное отношение к этой встрече, а это и была моя цель. На мое несчастье, мерило для оценки поведения деда Адольфа у моих родителей оказалось совершенно иное. По дошедшим до меня потом слухам, отец и дедушка имели с ним бурное объяснение. Несколько дней спустя, увидев на улице деда Адольфа, проезжавшего мимо в открытом экипаже, я почувствовал боль, благодарность, угрызения совести, и все это мне захотелось ему выразить. Чувства эти были так сильны, что по сравнению с ними поклон показался мне ничтожным, — он мог навести деда на мысль, что я отделываюсь банальной учтивостью. Я решил воздержаться от этого ничего не выражающего жеста и отвернулся. Дед подумал, что родители не велели мне с ним здороваться, и до конца жизни им этого не простил: умер он спустя много лет, но никто из нас больше с ним не виделся.

Вот почему я уже не заходил в запертую комнату деда Адольфа; я стоял около черной кухни, затем на пороге появлялась Франсуаза и говори-

ла: «Я велю судомойке готовить кофе и подать горячей воды, а мне пора к госпоже Октав», — и тогда я шел прямо к себе и принимался за чтение. Судомойка у нас была существом как бы бесплотным, неким постоянным учреждением, на которое, несмотря на смену недолговечных форм, в каковые оно облекалось, — ни одна из них не прослужила у нас более двух лет, — неизменный круг обязанностей налагал печать преемственности и сходства. В тот год, когда мы, приехав на Пасху, увлекались спаржей, наша судомойка, которой обыкновенно приказывали чистить ее, являла собой несчастное, болезненное существо, донашивавшее ребенка, так что было даже странно, как это Франсуаза гоняет ее то туда, то сюда по всяким делам, а ведь она уже с трудом носила перед собой таинственную, с каждым днем становившуюся все полнее корзину изумительной формы, которая угадывалась под широким передником. Передник напоминал плащ на аллегорических фигурах Джотто, снимки с которых мне дарил Сван. Он-то и обратил наше внимание на это сходство и спрашивал о судомойке: «Как поживает Благость Джотто[74]?» И в самом деле:

---

[74] Примечания: 74

Джотто (1266–1336) — итальянский живописец.

несчастная бабенка, отекшая от беременности, с прямыми квадратными щеками, походила на могучих, мужеподобных дев, точнее — матрон, этих олицетворений добродетелей из капеллы Арена[75]. Теперь я понимаю, что у нее была еще одна черта, общая с падуанскими Добродетелями и Пороками. Подобно тому как ничто в лице судомойки не отражало красоты и души того дополнительного символа, который увеличивал ее живот и который она носила просто как тяжкое бремя, по-видимому не постигая его смысла, так и дебелая хозяйка, над которой в Арене было написано Caritas[76] и репродукция с которой висела в Комбре у меня в классной, безусловно, не подозревала, что она есть воплощение этой добродетели, ибо в ее энергичном заурядном лице не проскальзывало ничего даже отдаленно похожего на благость. Исполняя чудесный замысел художника, она попирает земные сокровища, но попирает с таким видом, будто топчет виноград, чтобы выдавить из него сок, или, вернее, будто она взобралась на мешки, чтобы стать выше.

---

[75] Примечания: 75

Арена — капелла дель Арена в Падуе, украшенная фресками Джотто «Добродетели и Пороки».

[76] Примечания: 76

Милосердие (*лат.*).

Она вручает Богу свое пылающее сердце, точнее сказать — она его *передает* ему, как протягивает кухарка пробочник из окошка подвального помещения тому, кто стоит у окна нижнего этажа. Казалось бы, у Зависти должно быть что-то завистливое во взгляде. Но в этой фреске символ занимает такое большое место и изображен так живо, змея, шипящая в устах Зависти и заполняющая собой весь ее широко раскрытый рот, так велика, что для того, чтобы удержать ее, лицевые мускулы Зависти напряжены, как у ребенка, надувающего шар, и все внимание Зависти — так же, как и наше — всецело сосредоточено на положении губ, и ей уже не до завистливых мыслей.

Как ни восхищался Сван фигурами Джотто, мне в течение долгого времени не доставляло ни малейшего удовольствия смотреть в классной, где были развешаны копии, которые он мне привез, на эту Благость без благости, на Зависть, похожую на иллюстрации из медицинской книги, где показано сжатие голосовой щели или язычка вследствие опухоли на языке или введения хирургического инструмента, на Справедливость, чье неприметное, невзрачное в своей правильности лицо смахивало на лица иных миловидных жительниц Комбре, богомольных, необаятель-

ных, которых я видел в церкви и которые давно уже были зачислены в запасные войска Несправедливости. И лишь много спустя я уяснил себе, что своим потрясающим своеобразием, своею особою прелестью эти фрески обязаны той огромной роли, какую играет в них символ, и тем, что действие изображено на фреске не как символ — символическая идея нигде в ней не выступает, — а как нечто живое, действительно испытываемое, до осязаемости вещественное: это-то и придавало фрескам бóльшую определенность, бóльшую точность, их назидательность приобретала от этого бóльшую картинность и бóльшую яркость. Так же обстояло дело и с нашей бедной судомойкой: разве наше внимание не приковывалось к ее животу из-за тяжести, которая вздувала его? Так мысль умирающих часто бывает повернута к невыдуманной, мучительной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, именно к той ее стороне, которую она им показывает, которую она безжалостно дает им почувствовать и которая гораздо больше похожа на расплющивающую их тяжесть, на затрудненность дыхания, на жажду, чем на наше представление о смерти.

Должно быть, падуанские Добродетели и По-

роки были выполнены в достаточной мере жизненно, раз они представлялись мне такими же живыми, как беременная служанка, и если она сама казалась мне столь же аллегоричной, как они. И быть может, эта непричастность (по крайней мере, внешняя) души человеческой к доброте, действующей через человека, имеет, помимо эстетического значения, если не психологическое, то, так сказать, физиономическое обоснование. Впоследствии мне приходилось встречать — например, в монастырях — истинно святые воплощения деятельной доброты, и у большинства из них был бодрый, положительный, безразличный, жесткий вид занятого хирурга, на их лицах нельзя было прочесть ни отзывчивости, ни жалости к страдающему человеку, ни страха дотронуться до больного места, — то были лица неласковые, лица неприятные, но с возвышенным выражением истинного милосердия.

В то время как судомойка, невольно придавая особый блеск превосходству Франсуазы, — так Заблуждение оттеняет блестящую победу Истины — подавала кофе, о котором мама говорила, что это горячая водичка, только и всего, а затем приносила к нам в комнаты горячую, вернее сказать — чуть тепленькую воду, я ложился на

кровать с книжкой у себя в комнате, бережно охранявшей свою прозрачную, трепетную свежесть от полуденного солнца, блик которого все же ухитрялся просунуть сквозь неплотно прикрытые ставни свои золотистые крылышки и замирал между ставней и стеклом, в уголку, будто неподвижный мотылек. При таком освещении читать было трудно — ощущение яркого света создавал стук Камю, заколачивавшего на улице Кюр пыльные ящики (Франсуаза довела до его сведения, что тетя не «отдыхает» и можно стучать), — стук, раздававшийся в звонком воздухе, какой бывает только в жаркие дни, и словно рассыпавший далеко кругом алые звезды; поддерживалось это ощущение мухами, дававшими мне летний камерный концерт легкой музыки: эта музыка не рисует в вашем воображении лета, как музыка человеческая, которую вы услышали случайно в хорошую погоду и которая потом напоминает вам о лете; у мушиной музыки связь с летом более тесная; рожденная от ясных дней, возрождающаяся всегда одновременно с ними, содержащая в себе частицу их сущности, она не только возобновляет их образ в нашей памяти — она ручается за то, что они возвратятся, за то, что они действительно существуют, вот тут, вокруг

нас, в непосредственной близости.

Прохладный сумрак моей комнаты был для залитой солнцем улицы тем же, чем день является по отношению к лучу света: он был таким же ясным и вызывал в моем воображении цельную картину лета, меж тем как если бы я пошел гулять, я мог бы любоваться лишь ее частностями. Таким образом, этот сумрак способствовал моему покою, ощущавшему (из-за приключений, о которых рассказывалось в тех книгах, какими я тогда увлекался), подобно неподвижной руке, погруженной в проточную воду, толчки и бурление потока жизнедеятельности.

Но даже если погода портилась, если разражалась гроза или шел проливной дождь, бабушка все-таки умоляла меня выйти на воздух. И я, не расставаясь с книгой, читал в саду, под каштаном, в решетчатой, обтянутой парусиной беседке, и чувствовал себя укрытым от взоров тех, кто мог бы прийти к родителям в гости.

И разве мои мысли не были тоже своего рода убежищем, в глубине которого я оставался невидимым, даже когда смотрел, что делается снаружи? Если я видел какой-либо предмет внешнего мира, то меня от него отделяло сознание, что я его вижу, оно покрывало его тонкой духовной

оболочкой, не дававшей мне прикоснуться к его веществу; прежде чем я успевал до него дотронуться, оно как бы улетучивалось, — так, если поднести раскаленное тело к мокрому предмету, оно не дотронется до его влажности, оттого что вокруг такого предмета всегда образуется зона испарения. На том особом пестром экране переживаний, который, пока я читал, развертывало мое сознание, — переживаний, вызывавшихся как самыми сокровенными моими чаяниями, так и чисто внешним восприятием горизонта, который был у меня перед глазами, в конце сада, — самым заветным моим убеждением и желанием, тем, находящимся в вечном движении рычагом, который управляет всем остальным, была уверенность в богатстве мыслей, в красоте читаемой книги и стремление их постигнуть, какова бы ни была книга. Иногда я покупал книгу даже в Комбре, в лавочке Боранжа, находившейся так далеко от нас, что Франсуаза предпочитала все закупать у Камю, но зато привлекавшей меня своим писчебумажным и книжным отделом, где эта книга была привязана веревочкой к мозаике брошюр и журналов, украшавшей обе створки ее двери, более таинственной и более насыщенной мыслями, чем дверь собора, — покупал потому,

что я слышал о ней как о замечательном произведении от учителя или товарища, который, как я полагал тогда, познал тайну истины и красоты, между тем как я не столько понимал их, сколько чувствовал, и постижение их было неясной, но постоянной целью моего мышления.

Вслед за этой основной уверенностью, которая, пока я читал, непрерывно двигалась изнутри наружу в поисках истины, шли чувства, пробуждавшиеся во мне действием, в котором я принимал участие, ибо в эти дневные часы совершалось больше драматических событий, чем у иных за всю жизнь. То были события, происходившие в книге, которую я читал; правда, лица, с которыми они случались, не были «всамделишными», как выражалась Франсуаза. Но все ощущения, которые нас заставляют испытывать радость или беда какого-нибудь действительно существующего человека, появляются у нас благодаря образу этой радости или беды; искусство первого романиста заключалось в том, чтобы понять, что единственный существенный элемент в системе наших чувств — это образ и что упрощение, которое просто-напросто упразднило бы живых действующих лиц, произвело бы здесь коренное улучшение. Какую бы глубокую симпа-

тию мы ни испытывали к живому существу, мы воспринимаем его главным образом чувством, следовательно, оно остается для нас непрозрачным, оно представляет собой для нас мертвый груз, который наша впечатлительность не в силах поднять. Если с живым существом случается несчастье, то лишь крохотная частица нашего общего о нем представления приходит в волнение; более того: само это существо волнуется лишь небольшой частью того общего представления, которое сложилось у него о себе. Находка первого романиста состояла в том, что он додумался до замены непроницаемых для души частей равным количеством частей невещественных, то есть таких, которые наша душа способна усвоить. После этого не все ли нам равно, что поступки, чувства этой новой породы существ мы только принимаем за настоящие, раз они наши, раз все это случается с нами самими, раз, пока мы лихорадочно переворачиваем страницы, от них зависит учащенность нашего дыхания и напряженность нашего взгляда? Стоит только романисту привести нас в это состояние, когда, как и при любом исключительно внутреннем состоянии, всякое чувство десятикратно усиливается, когда его книга волнует нас, как волнуют видения, но

только более ясные, нежели те, что являются нам во сне и воспоминание о которых будет длиться дольше, — и в течение часа внутри нас бушуют все радости и все горести, тогда как в жизни нам понадобились бы годы, чтобы познать лишь некоторые из них, причем наиболее сильные мы бы так и не испытали, потому что свойственная им медлительность мешает нам воспринимать их. (Вот так же изменяется наше сердце, и это больнее всего, но мы знаем об этой боли только из книг, благодаря силе нашего воображения; на самом деле оно изменяется так же медленно, как медленно протекают некоторые явления природы; мы обладаем способностью последовательно закреплять в сознании каждого из его состояний, но зато мы избавлены от ощущения того, как оно изменяется.)

За жизнью героев следовал, уже не столь внутренне близкий моему существу, наполовину вырвавшийся за пределы моего «я», пейзаж, среди которого развивалось действие и который, однако, производил на мою мысль гораздо более сильное впечатление, чем другой, — тот, что являлся моим глазам, едва я поднимал их от книги. Вот так, два лета подряд, сидя на солнцепеке в комбрейском саду, я под влиянием книги, кото-

рую тогда читал, тосковал по стране гор и рек, где передо мною мелькало множество лесопилен и где на дне прозрачных рек среди зарослей кресса гнили коряги; неподалеку ползли по невысоким стенам гроздья лиловых и палевых цветов. А так как я постоянно мечтал о женщине, которая любила бы меня, то те два лета моя мечта была овеяна прохладой проточных вод; и кто бы ни была та женщина, которую я вызывал в своем воображении, справа и слева от нее, как дополнительные красочные пятна, мгновенно вырастали гроздья цветов, лиловых и палевых.

Так происходило не только потому, что образ, о котором мы мечтаем, всегда для нас означен, украшен и выгодно оттенен отблеском необычных красок, случайно окружающих его в нашем воображении: виды, о которых я читал в книгах, были для меня не просто видами, только более яркими, чем те, которые открывал передо мною Ком-бре, но, в сущности, похожими. Благодаря произведенному автором отбору, благодаря вере, с которой моя мысль шла навстречу его описанию, как бы навстречу некоему откровению, эти виды казались мне, — такое впечатление вряд ли могло создаться у меня в той местности, что меня окружала, и особенно в нашем саду, этом

бесславном произведении строго расчисленного искусства садовника, которого презирала бабушка, — эти виды казались мне неподдельной частью самой Природы, достойной углубленного изучения.

Я был убежден, что, если б мои родители позволили мне в то время, когда я читал книгу, посетить описываемую в ней страну, я сделал бы огромный шаг вперед в овладении истиной. В самом деле, хотя мы всегда испытываем такое ощущение, будто нас окружает наша душа, однако она не рисуется нам в виде неподвижной темницы, — скорее нам чудится, будто нас уносит вместе с нею неукротимое стремление вырваться из нее во внешний мир, — стремление, к которому примешивается разочарование, потому что мы слышим вокруг себя все те же созвучия, но то не отзвук, долетающий извне, а отголосок внутренней вибрации. Мы пытаемся обнаружить на предметах, которые благодаря этому стали для нас драгоценными, отсвет нашей души; нас постигает разочарование, когда мы убеждаемся, что на самом деле они лишены того обаяния, которым их наделило в нашем сознании соседство с некоторыми мыслями; порой мы проявляем душевные наши силы во всей их чуткости и во всем

их величии, чтобы воздействовать на существа, которые, как нам подсказывает чувство, находятся вне нас, за пределами нашей досягаемости. Вот почему, если я неизменно представлял себе вокруг любимой женщины местность, в ту пору для меня особенно желанную, если мне хотелось, чтобы именно она увлекла меня туда, открыла мне доступ в неведомый мир, то это не было простой, случайной ассоциацией представлений; нет, мои мечты о путешествии и мечты о любви были тогда двумя моментами, которые я теперь искусственно разделяю, — это все равно как если бы я рассекал на разной высоте с виду неподвижную, радужную струю воды, — двумя моментами в едином и непреломляющемся взлете всех моих жизненных сил.

Наконец, продолжая идти от внутренних к поверхностным слоям моего сознания — а эти слои сосуществовали и соприкасались в нем, — я, прежде чем достичь окружающего их реального горизонта, испытывал наслаждения иного рода: наслаждение уютно устроиться, дышать ароматным воздухом, знать, что никто из гостей мне здесь не помешает, а когда на колокольне Св. Илария били часы — наслаждение видеть, как капля за каплей падает уже минувшая часть

дня, — наслаждение, длившееся до тех пор, пока не раздавался последний удар, который позволял мне подсчитать общее число ударов и после которого наступала долгая тишина, казалось, начинавшая в глубоком небе новую часть дня, предназначавшуюся мне для чтения до вкусного обеда, который сейчас готовила Франсуаза и который должен был подкрепить мои силы, уставшие следовать за превратностями судьбы героя книги. И при каждом бое часов мне казалось, что после предыдущего истекло всего лишь несколько мгновений; вновь прозвучавший удар вписывался в небо совсем рядом с последним ударом истекшего часа, и я никак не мог поверить, чтобы на этой голубой дужке, между двумя золотыми знаками, уместились шестьдесят минут. Иногда эти торопившиеся часы били на один удар больше; стало быть, предшествующий бой я пропускал, нечто существовавшее не существовало для меня; интерес к книге, волшебный, как глубокий сон, сбивал с толку мой галлюцинировавший слух и стирал золотой колокол с лазурной поверхности тишины. Дивные воскресные дни, проведенные мною в комбрейском саду, под каштаном, тщательно мною очищенные от незначительных происшествий моей обыден-

ной жизни, которые я заменял жизнью, полною приключений и необычных стремлений в краю, орошаемом быстрыми речками! Вы все еще, когда я о вас думаю, воскрешаете в моей памяти эту жизнь, да вы и впрямь заключаете ее в себе, потому что вы постепенно огораживали ее и замыкали, — меж тем как я все больше углублялся в чтение и по мере того как становилось прохладней, — в мерный, медленно изменявшийся, сквозивший в листве хрусталь ваших безмолвных, звонких, душистых, прозрачных часов.

Иной раз в середине дня меня отвлекала от чтения дочь садовника, вбегавшая как угорелая, опрокидывавшая по дороге кадку с апельсинным деревом, обрезывавшая себе палец, выбивавшая себе зуб и кричавшая нам с Франсуазой: «Идут, идут!» — чтобы мы не пропустили зрелища. Звала нас дочь садовника в те дни, когда комбрейский гарнизон выезжал на учение, а следовал он обыкновенно по улице Святой Ильдегарды. Наши слуги, сидя рядком на стульях за воротами, смотрели на совершавших воскресную прогулку комбрейцев и себя им показывали, а в это время дочь садовника различала в прогале между двумя дальними домами на Вокзальной блеск касок. Слуги убегали со своими стульями, потому

что кирасиры заполоняли всю улицу Святой Ильдегарды, — их лошади мчались галопом у самых домов: так река в половодье затопляет свои берега.

— Бедные дети! — еще не успев подойти к решетке, пускала слезу Франсуаза. — Бедная молодежь, ведь ее скосят, как луг. От одной мысли об этом мне становится дурно, — прикладывая руку к сердцу, где ее мучила «дурнота», добавляла она.

— Этим парням жизнь не дорога, оттого на них и смотреть приятно, — правда, госпожа Франсуаза? — чтобы «растравить» ее, обращался к ней садовник.

Стрела попадала в цель.

— Не дорога жизнь? А что же может быть дороже жизни — этого единственного дара, которым господь Бог никого не наделяет дважды? Ах, Боже мой! К сожалению, вы правы: жизнь им не дорога! Навидалась я их в семидесятом; когда начинаются эти проклятые войны, они совсем не думают о смерти. Чисто сумасшедшие. Повесить их мало. Это не люди — это львы. (Для Франсуазы сравнение людей со львами — она произносила «ливы́» — не заключало в себе ничего лестного.)

Улица Святой Ильдегарды делала крутой по-

ворот, поэтому мы не могли заметить кирасир издали, только в прогале между домами на Вокзальной видны были все новые и новые каски, двигавшиеся и сверкавшие на солнце. Солнце пекло, садовнику хотелось пить, но он не знал, долго ли еще будут ехать кирасиры. Наконец его дочь выбегала, точно из осажденной крепости делала вылазку, добегала до поворота и, на каждом шагу рискуя жизнью, приносила нам графин с лимонадом, а также сообщение о том, что по крайней мере тысяча кирасиров движется безостановочно по направлению к Тиберзи и Мезеглизу. Франсуаза и садовник, помирившись, рассуждали о том, как нужно вести себя во время войны.

— Видите ли, Франсуаза, — говорил садовник, — революция лучше войны, потому что когда провозглашают революцию, то сражаться за нее идут только желающие.

— А, это другое дело, — по крайней мере, не силком.

Садовник был убежден, что после объявления войны поезда не ходят.

— Ну да, чтобы никто не удрал, — замечала Франсуаза.

— Народ пошел хитрый! — подхватил садов-

ник; он твердо держался того мнения, что война есть не что иное, как один из способов, предпринимаемых государством, чтобы околпачить народ, и что если б у людей была хоть какая-нибудь возможность, то все как один дали бы тягу.

Но вот Франсуаза заспешила к тете, я опять уселся с книгой, слуги снова расположились у ворот и убеждаются в том, что улеглись и пыль, и возбуждение, которое вызвали солдаты. Долго после затишья непривычный поток гуляющих еще чернил комбрейские улицы. И возле каждого дома, даже возле тех, где это было не принято, слуги и даже хозяева сидели и смотрели, обводя пороги причудливой, темной, фестончатой кромкой, — так мощный прибой, отхлынув, оставляет на берегу узорчатый креп водорослей и ракушек.

В другие дни я мог читать спокойно. Но неожиданный приход Свана и его суждение о Берготе — совершенно новом для меня авторе, книгу которого я как раз в это время читал, — имели своим последствием то, что долго еще потом образ женщины, владевшей тогда моими мечтами, вырисовывался передо мной не на фоне увитой лиловыми цветами стены, а на совсем другом — на фоне портала готического собора.

Впервые услышал я о Берготе от товарища по

фамилии Блок, — он был старше меня, и я перед ним преклонялся. Когда я выразил ему свое восхищение «Октябрьской ночью»[77], он раскатился трубным хохотом и сказал: «Твое обожание этого самого Мюссе — дурной тон, откажись от него. Мюссе — вредоносный тип; влияние эта скотина оказывает наигубительнейшее. Впрочем, надо отдать справедливость, раз в жизни удалось и ему, и даже некоему Расину сочинить стих не только довольно музыкальный, но и лишенный всякого смысла, а в моих устах это наивысшая похвала. Вот они: „И белый Оло-сон над белою Камирой“[78] и „Царя Миноса дочь и дочка Пасифаи“[79]. В оправдание этим душегубам их привел в своей статье мой дражайший учитель, папаша Леконт[80], любимец бессмертных бо-

[77] Примечания: 77

«Октябрьская ночь» — последнее стихотворение из лирического цикла «Ночи» (1835–1837) Альфреда де Мюссе.

[78] Примечания: 78

…*«И белый Олосон над белою Камирой»*… — Цитата из «Майской ночи» А. де Мюссе.

[79] Примечания: 79

…*«Царя Миноса дочь и дочка Пасифаи»*. — Цитата из «Федры» Жана Расина (1639–1699). *Минос* — в греческой мифологии сын Зевса и Европы, царствовал на Крите. *Паси-фая* (дочь бога Гелиоса) была женой Миноса. Дочери Миноса и Пасифаи — Ариадна и Федра.

[80] Примечания: 80

Леконт де Лиль, Шарль (1818–1894) — французский поэт, основатель Парнасской школы, переводчик «Илиады» и «Одиссеи», автор «Ан-

тичных стихов» (1852), «Варварских стихов» (1862) и «Трагических стихов» (1884).

гов. Кстати, этот невероятный чудак, кажется, хвалит одну книгу, которую мне сейчас читать недосуг. Как мне передавали, он считает, что ее автор, этот самый Бергот, — тонкая штучка. И хотя с ним случается, что он допускает ничем не объяснимую снисходительность, все-таки он для меня дельфийский оракул. По сему случаю прочти лирическую прозу Бергота, и если чародей ритма, написавший „Бхагавата“[81] и „Борзую Магнуса“[82], не соврал, то, клянусь Аполлоном, ты, дорогой маэстро, упьешься нектарным блаженством олимпаев». Как-то раз он шутки ради попросил меня называть его «дорогим маэстро» и шутки ради сам называл меня так же. Нам эта игра доставляла удовольствие — ведь мы с ним еще недалеко ушли от того возраста, когда, давая название чему-либо, мы полагаем, что создаем нечто новое.

К сожалению, мои беседы с Блоком и его объяснения не могли унять тревоги, которую он возбудил во мне утверждением, что стихи (от

---

[81] Примечания: 81

«Бхагават» — произведение Леконта де Лиля из сборника «Античные стихи» (1852).

[82] Примечания: 82

«Борзая Магнуса» — произведение Леконта де Лиля из сборника «Трагические стихи» (1884).

коих я ожидал ни больше ни меньше как откровения) тем прекраснее, чем меньше в них смысла. Блока к нам больше не приглашали. Сперва его приняли радушно. Правда, дедушка утверждал, что я дружу и привожу к себе в дом непременно евреев, против чего он принципиально не возражал бы — ведь его приятель Сван тоже был из евреев, — но он находил, что я выбираю себе в друзья не лучших. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, он почти всегда напевал «О бог наших отцов» из «Жидовки»[83] или «Израиль! Порви свои цепи»[84], напевая, конечно, только мотив («Тарарам, татим, татам»), но я боялся, что мой товарищ узнает мотив и вспомнит слова.

Еще не видя моих друзей, а лишь узнав их фамилии, в которых чаще всего не было ничего специфически еврейского, дедушка угадывал не только иудейское происхождение тех из них, которые действительно были евреями, но и неприятные особенности членов их семьи.

— А как фамилия твоего приятеля, который

---

[83] Примечания: 83

«Жидовка» («Дочь кардинала», 1835) — опера Фроманталя Галеви (1799–1862), автор либретто — Эжен Скриб.

[84] Примечания: 84

«Израиль! Порви свои цепи» — цитата из оперы «Самсон и Далила» французского композитора Камила Сен-Санса (1835–1921).

придет к тебе вечером?

— Дюмон, дедушка.

— Дюмон? Подозрительно!

И он напевал:

Так будьте ж бдительны, стрелки,

Не отвлекайтесь, не шумите!

Потом он без обиняков задавал несколько прямых вопросов, а затем восклицал: «Берегись! Берегись!» — или же, когда являлась сама жертва, он, учинив ей скрытый допрос, заставлял ее невольно выдать свое происхождение и, чтобы показать нам, что ему все ясно, довольствовался тем, что, глядя на нас в упор, мурлыкал:

Зачем же робкого еврея[85],

Зачем влечете вы сюда?

Или:

Ах, отчие поля, приятный дол Хеврона!

А то еще:

---

[85] Примечания: 85

Зачем же робкого еврея… и т. д. — Цитаты из оперы «Иосиф» французского композитора Этьена Мегюля (1763–1817), премьера которой состоялась в 1807 г., а в 1899 г. она была представлена в новой постановке. В романе цитируется ария Иосифа в I акте.

Я – сын богоизбра́нного народа.

В этих чудачествах дедушки не было ничего враждебного по отношению к моим товарищам. Блок не понравился моим родным по другим причинам. Прежде всего он рассердил моего отца, — тот, видя, что Блок весь мокрый, с любопытством спросил:

— Какая же сейчас на дворе погода, господин Блок? Разве шел дождь? Ничего не понимаю: барометр все время показывал «ясно».

В ответ он услышал следующее:

— Я не могу вам сказать, был ли дождь. Я живу до такой степени вне всяких физических явлений, что мои чувства не считают нужным давать мне о них знать.

— Вот что, милый мальчик, — когда Блок ушел, обратился ко мне отец, — твой друг — идиот. Что же это такое! Он даже не мог сказать, какая погода. Ведь это так интересно! Ну и дурак!

Не понравился Блок и моей бабушке, потому что, когда она после завтрака сказала, что ей немножко нездоровится, он подавил рыдания и вытер слезы.

— Неужели ты думаешь, что это было искренне? — сказала она. — Ведь он же меня не

знает. Может, он сумасшедший?

И наконец, Блок вооружил против себя всех тем, что, опоздав к завтраку на полтора часа, весь в грязи, он, вместо того чтобы извиниться, сказал:

— Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных пертурбаций, условный счет времени для меня не существует. Я бы с удовольствием ввел в обычай курение опиума или ношение малайского кинжала, но я никогда не пользуюсь орудиями неизмеримо более вредными и притом пошло мещанскими — часами и зонтиком.

И все-таки его принимали бы в Комбре. Однако не о таком друге мечтали для меня мои родные, и хотя в конце концов они пришли к заключению, что слезы, которые он пролил по случаю недомогания бабушки, были непритворны, они знали инстинктивно или по опыту, что проявления нашей чувствительности почти не влияют на дальнейшие наши поступки и поведение и что более прочной основой для исполнения нравственного долга, дружеской верности, упорства в достижении цели, соблюдения правил служат бессознательные привычки, чем минутные порывы, бурные, но бесплодные. Они предпочли бы, чтобы вместо Блока у меня были товарищи,

которые давали бы мне не больше того, что разрешает буржуазная мораль; которые не присылали бы мне ни с того ни с сего корзинку фруктов только потому, что в этот день они думали обо мне с нежностью; которые не считали бы возможным, повинуясь прихоти своего воображения или чувствительности, склонять в мою пользу чашу точных весов обязанностей и требований дружбы, и вместе с тем не могли бы испортить весы во вред мне. Даже наши проступки редко когда заставляют отказываться от своих обязательств по отношению к нам таких людей, как моя двоюродная бабушка: давным-давно рассорившись со своей племянницей и перестав с ней разговаривать, она из-за этого не изменила своего завещания, в котором оставляла ей все свое состояние, — оставляла потому, что у нее не было родных ближе этой племянницы, и потому, что «так полагалось».

Но я любил Блока, родным не хотелось меня огорчать, попытки постичь, что же все-таки значит бессмысленный стих о красоте дочери Миноса и Пасифаи, утомляли меня и мучили больше, чем беседы с Блоком, хотя моя мать и считала, что они вредны для меня. И его принимали бы в Комбре, если бы однажды, после обеда, он не

просветил меня, — этот разговор имел огромное влияние на всю мою дальнейшую жизнь, из-за него она стала счастливее, а затем несчастнее: он сказал, что все женщины только о любви и думают, что нет на свете такой женщины, сопротивление которой нельзя было бы сломить, и убедил меня, будто он знает из достовернейших источников, что у моей двоюродной бабушки была бурная молодость и что она открыто жила у кого-то на содержании. Несмотря на все мои усилия не проболтаться, я все-таки поделился этим с моими родными. Блока в следующий раз, когда он явился к нам, выставили за дверь, и при встречах на улицах он был со мной чрезвычайно холоден.

Но о Берготе он судил верно.

Первое время от меня было еще скрыто все, что я так полюбил в его стиле потом, — так напев, от которого впоследствии мы будем сходить с ума, наш слух пока еще не различает. Я не мог оторваться от его романа, но мне казалось, что меня интересует только сюжет, подобно тому как в самом начале увлечения мы ежедневно встречаемся с женщиной на каком-нибудь сборище, на каком-нибудь увеселении и воображаем, что ходили мы туда ради самих развлечений.

Постепенно я стал замечать редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любит употреблять в определенные моменты, когда сокровенная волна гармонии, когда внутренняя музыкальность возвышает его стиль. Вот тут-то он и говорил о том, что «жизнь есть мечтание пустое», о «неиссякаемом потоке прекрасных обликов», о «бесплодной и сладостной муке познания и любви», о «волнующих изображениях, навсегда облагородивших величественные, дивные фасады наших соборов», излагал новую для меня философию, излагал с помощью чудных образов, создававших впечатление, что это поют арфы и что они придают аккомпанементу что-то неземное. Одно из таких мест у Бергота, не то третье, не то четвертое, которое я выделил, преисполнило меня радостью, несоизмеримой с блаженством, какое я испытал при чтении первого отрывка, — радостью, которую я почувствовал в более глубокой сфере моего «я», более цельной, более обширной, откуда как будто были убраны препятствия и средостения. Я почувствовал в этом отрывке то же пристрастие писателя к редким выражениям, обнаружил тот же разлив звуков, узнал ту же идеалистическую философию, которые, незаметно для меня

самого, и доставляли мне наслаждение, но на сей раз у меня не создалось впечатления, что передо мной определенный отрывок из такой-то книги Бергота, вычерчивавший на поверхности моего сознания линейную фигуру; скорей мне казалось, что это некий «идеальный» отрывок из Бергота, характерный для всех его книг, отрывок, которому все сходные места, слившись с ним, придавали известную плотность, объемность, и эта плотность, эта объемность словно расширяла границы моего понимания.

Я был далеко не единственным поклонником Бергота; он был любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери; наконец, доктор дю Бульбон так зачитывался недавно вышедшей из печати книгой Бергота, что задерживал пациентов. Из его-то кабинета и из парка на окраине Комбре и пали одни из первых семян увлечения Берготом — растением, тогда еще весьма редким, а теперь распространенным везде до такой степени, что и прекрасные, и пошлые его цветы можно встретить всюду: в Европе, в Америке, даже в каком-нибудь захолустье. Подруга матери и, по-видимому, доктор дю Бульбон любили у Бергота то же, что и я: плавное течение речи, старинные выражения, стоявшие рядом с совсем

простыми, обиходными, которые автор, однако, ставил на такое место и так освещал, что сразу делалось явным его особое к ним пристрастие; наконец — грубоватость тона, какую-то надтреснутость в грустных местах. Да он и сам, наверное, сознавал, что эти черты составляют главную его прелесть. В более поздних своих произведениях, говоря о какой-нибудь великой истине или упоминая знаменитый собор, он прерывает повествование и в отступлении, в обращении, в длинной молитве дает волю потокам, которые в первых его книгах струятся внутри его прозы и лишь изредка выбиваются на поверхность: там они укрыты, так что вы никогда точно не определите, где рождается, а где замирает их журчание, и оттого, пожалуй, там они еще пленительнее и благозвучнее. Ему самому доставляло удовольствие писать эти наши любимые отступления. Я знал их на память. Мне было жаль, когда он снова ухватывал нить повествования. Всякий раз, как он заговаривал о явлениях, красота которых была до времени от меня скрыта, — о сосновых лесах, о граде, о соборе Парижской Богоматери,

о «Гофолии»[86] или о «Федре»[87] — эта красота вдруг вспыхивала в каком-нибудь его образе. Я сознавал, как много во всей вселенной мое слабое мировосприятие было бы неспособно разглядеть, если б он не приближал эти явления ко мне, и потому мне хотелось знать его мнение, его образное представление обо всем, особенно о том, что я буду иметь возможность увидеть своими глазами, в частности о памятниках французской старины, о видах на море, — настойчивость, с которой он возвращался к ним в своих сочинениях, показывала, что для него они полны глубокого смысла и красоты. К сожалению, его мнение почти обо всем оставалось мне неизвестным. Я был убежден, что у него совсем другие мнения, чем у меня, ибо они исходили из неведомого мне мира, до которого я только еще пытался подняться: не сомневаясь, что мои мысли показались бы этому тонкому уму чистейшей ерундой, я их выбросил из головы, но когда я натыкался в какой-нибудь его книге на представление, которое у меня сложилось самостоятельно, сердце у меня готово

[86] Примечания: 86

«Гофолия» (1691) — трагедия Расина, в которой слились библейские сюжеты и события английской революции 1688 г.

[87] Примечания: 87

«Федра» (1677) — трагедия Расина на мотивы Еврипида и Сенеки.

было выпрыгнуть из груди, как если бы это представление мне вернуло по своей благости некое божество, найдя, что оно верно и что оно прекрасно. На некоторых страницах Бергот говорил о том же самом, о чем я часто в бессонные ночи писал бабушке и матери, так что эти его страницы можно было принять за сборник эпиграфов к моим письмам. Даже впоследствии, когда я начал писать свою книгу и застревал на иных фразах, которые меня не удовлетворяли, я находил нечто подобное у Бергота. Но я упивался этими фразами только у него; когда же я, стремясь к тому, чтобы они передавали все оттенки моей мысли, и в то же время боясь «быть похожим», сам составлял их, меня одолевали сомнения, хорошо ли это написано. Но, в сущности говоря, только такого рода фразы, такого рода мысли я и любил по-настоящему. Мои отчаянные и напрасные усилия уже сами по себе служили доказательством этой любви — любви, не дававшей мне удовлетворения, но любви глубокой. Вот почему, когда я неожиданно встречал такие фразы в произведении другого писателя и, следовательно, не испытывал ни колебаний, ни злости, не мучил себя, я наслаждался ими всласть, как повар, которому сегодня не нужно готовить, наконец-то лакомится вволю. Найдя

где-то у Бергота шутку, относившуюся к старой служанке, шутку, которой великолепный торжественный слог писателя придавал еще большую колкость, но которая ничем не отличалась от той, что я частенько в разговорах с бабушкой позволял себе по отношению к Франсуазе, а в другом месте, убедившись, что Бергот не считает предосудительным отразить в одном из зеркал истины, то есть в одной из своих книг, наблюдение, похожее на то, которое я как-то сделал над нашим другом Легранденом (наблюдения над Франсуазой и Легранденом я, не задумываясь, пожертвовал бы Берготу, хотя был уверен, что они не представляют для него интереса), я пришел к заключению, что моя незаметная жизнь и царства истины совсем не так далеко расположены друг от друга, как это мне казалось прежде, что в иных пунктах они даже соприкасаются, и я плакал над этими страницами — плакал от уверенности в своих силах и от радости: так плачет сын в объятиях отца после разлуки.

По произведениям Бергота я представлял его себе хилым, разочаровавшимся в жизни стариком, у которого умерли дети и который все горюет о них. Вот почему я читал, вернее — пел про себя

его прозу, быть может, в большей мере *dolce*[88] и *lento*[89], чем это было написано; самая простая его фраза приобрела для меня трогательную интонацию. Особенно я любил его философию — она завладела мной навсегда. Из-за нее я с нетерпением ждал, когда мне по возрасту можно будет перейти в коллеже в класс, именуемый «философией». Но я мечтал только о том, чтобы меня там учили жить по Берготу, и если бы меня предупредили, что метафизики, которыми я увлекусь, ничего общего с ним не имеют, я почувствовал бы отчаяние влюбленного, которому в ответ на его слова, что он останется верен до гроба, замечают, что у него будут другие любовницы.

В одно из воскресений, когда я сидел в саду, мне помешал читать Сван, пришедший к моим родным.

— Что это вы читаете? Можно посмотреть? Как, неужели Бергота? Кто же вам посоветовал?

Я сказал, что Блок.

— Ах, это тот мальчуган, которого я у вас здесь как-то видел и который ужасно похож на бел-

---

[88] Примечания: 88
Мягко (*ит.*).

[89] Примечания: 89
Медленно (*ит.*).

линиевский портрет Магомета Второго![90] Это просто поразительно: такие же брови дугою, такой же крючковатый нос, и такой же он скуластый. Когда он отпустит бородку, это будет вылитый Магомет. Во всяком случае, у него есть вкус: Бергот — чудесный писатель.

Заметив, что на моем лице написан восторг перед Берготом, Сван, никогда не говоривший о своих знакомых, из любезности сделал для меня исключение.

— Мы с ним коротко знакомы, — сказал он, — я могу попросить, чтобы он надписал эту книгу, если это доставит вам удовольствие.

Я застеснялся, но зато начал расспрашивать Свана о Берготе:

— Вы не знаете, кто его любимый актер?

— Актер? Понятия не имею. Мне известно лишь, что он не знает равных Берма, — ее он ставит выше всех. Вы ее видели?

— Нет, родители не пускают меня в театр.

— Жаль. А вы упросите их. Берма в «Федре», в

---

[90] Примечания: 90

Магомет Второй (1432–1481) — турецкий султан, захвативший в 1453 г. Константинополь и превративший этот город в столицу Оттоманской империи. Его портрет принадлежит кисти итальянского художника Джентиле Беллини (1429–1507), приглашенного султаном в Константинополь.

«Сиде»[91] — это, если хотите, только актриса, но, знаете, я не очень верю в «*иерархию*» искусств. (Я заметил — и меня это поражало в его разговорах с сестрами моей бабушки, — что, когда Сван говорил о вещах серьезных, когда он употреблял выражение, которое должно было изъяснить его взгляд на какой-то важный предет, он старался выделить его при помощи особой интонации, рассеянной и насмешливой, он как бы ставил его в кавычки, делая вид, что не несет за него никакой ответственности, и как бы говоря: «Вы знаете слово *иерархия*? Так говорят одни чудаки». Но если это было чудно, то почему же он сам говорил: *иерархия*?)

Мгновение спустя он добавил:

— Ее игра так же благородна, как любое великое произведение искусства, ну как… — Он засмеялся: — …как шартрские королевы![92]

До сих пор мне казалось, что его отвращение к серьезным разговорам — это особый парижский шик, который он противопоставляет провинциальному догматизму сестер моей бабушки; и

---

[91] Примечания: 91

«Сид» (1636) — трагедия Пьера Корнеля.

[92] Примечания: 92

Шартрские королевы — статуи знаменитого Королевского портала Шартрского собора.

еще я предполагал, что это был дух того кружка, где вращался Сван и где, как реакция против восторженности предшествовавших поколений, возродился чрезмерный интерес к мелким, не допускающим сомнений фактам, коими в былое время пренебрегали за их пошлость; любовь к «фразе» была изгнана. Но сейчас в отношении Свана к явлениям мне почудилось нечто обидное. Он производил впечатление человека, который не отваживается иметь собственное мнение и который лишь тогда чувствует себя уверенно, когда он, ничего не упуская, сообщает достоверные сведения. Но он не понимал, что придавать такое значение подробностям — значит выражать свое мнение. Тут мне вспомнился тот вечер, когда я был так огорчен, что мама не придет ко мне в спальню, и когда он заметил, что на балах у принцессы Леонской скучно. А между тем из подобного рода увеселений состояла вся его жизнь. Я усматривал во всем этом противоречие. Для какой же другой жизни приберегает он свои серьезные мысли, те суждения, которые ему не надо было ставить в кавычки? Когда же он перестанет с учтивой добросовестностью заниматься тем, что он сам же считает смешным? Еще я заметил в том, как Сван говорил со мной о Берготе,

нечто свойственное, правда, не ему одному, а всем тогдашним поклонникам этого писателя: подруге моей матери, доктору дю Бульбону. Они говорили о Берготе то же, что Сван: «Это чудесный писатель, вполне самобытный, в его манере есть нечто чересчур изысканное, но обаятельное. Не надо смотреть на обложку — сразу узнаешь, что это он». Но никто не решался о нем сказать: «Это большой писатель, у него большой талант». Они вообще не говорили, что у него есть талант. Не говорили, потому что не знали, есть у него талант или нет. Мы долго раскачиваемся, прежде чем различим в особом обличье нового писателя ту черту, которая в нашем музее общих понятий носит название «большой талант». Именно потому, что обличье у него своеобразное, мы не находим в нем полного сходства с тем, что мы называем «талант». Мы предпочитаем употреблять по отношению к нему такие выражения, как «оригинальный, прелестный, тонкий, могучий». А потом, в один прекрасный день, мы приходим к заключению, что все это, вместе взятое, и есть талант.

— Бергот где-нибудь говорит о Берма? — спросил я Свана.

— По-моему, в книжечке о Расине, но она, на-

верно, распродана. Хотя, кажется, было второе издание. Я узнаю. Вообще я могу спросить у Бергота все, что хотите, — он непременно раз в неделю обедает у нас. Он большой друг моей дочери. Они вместе осматривают старинные города, соборы, замки.

Я не имел никакого понятия об общественной иерархии, а потому то обстоятельство, что мой отец считает невозможным бывать у мадам и мадемуазель Сван, я перетолковал по-своему: я представлял себе, что нас разделяет огромное расстояние, и это поднимало их в моих глазах. Я жалел, что моя мать не красит волос и не подмазывает губ, как это делала, по словам нашей соседки, г-жи Сазра, жена Свана, — но не для того, чтобы нравиться мужу, а чтобы нравиться г-ну де Шарлю́, — я был уверен, что она нас презирает, и мне это было особенно больно из-за дочки Свана, о которой я слышал, что она чудная девочка, и о которой я часто думал, мысленно создавая всегда один и тот же прелестный образ. Когда же я в тот день узнал из разговора со Сваном, что ей так хорошо живется, что всякого рода преимущества — это ее родная стихия, что когда она спрашивает родителей, будет ли у них кто-нибудь сегодня к обеду, то слышит в ответ два светозарных слога,

златокованое имя гостя: Бергот, который для нее всего лишь старый друг дома; что интимный разговор за столом с Берготом о том, чего он не затрагивает в своих произведениях и о чем мне так хотелось услышать его прорицания, — это для нее все равно что для меня беседа с двоюродной бабушкой, и что, наконец, когда она осматривает города, Бергот сопровождает ее, точно один из тех прославленных и никем не узнанных богов, которые сходили к смертным, я понял, что мадемуазель Сван — это некое высшее существо, а я перед ней — мужлан и невежда, и при этом я живо почувствовал всю сладость и всю невозможность быть ее другом, почувствовал, как в моей душе борются страстная мечта и безнадежность. Теперь, когда я думал о ней, я чаще всего рисовал ее в своем воображении перед собором, пояснявшей мне, что́ олицетворяет та или иная статуя, и с благосклонной улыбкой представлявшей меня как своего друга Берготу. И всякий раз очарование мыслей, на которые наводили меня соборы, очарование холмов Иль-де-Франса и равнин Нормандии зажигало отблеск на образе мадемуазель Сван, который я себе составил: это значило быть готовым к тому, чтобы полюбить ее. Решающим условием, необходимым для

того, чтобы зародилась любовь, условием, при наличии которого все остальные кажутся уже неважными, является уверенность, что некое существо имеет отношение к неведомому нам миру и что его любовь нас туда ведет. Даже те женщины, которые якобы судят о мужчине только по его наружности, на самом деле видят в его наружности излучение некоего особенного мира. Вот почему они любят военных, пожарных; форма заставляет их быть снисходительными к наружности; когда женщины целуются с ними, им чудится, что под панцирем бьется необыкновенное сердце, бесстрашное и нежное; юный властелин или наследный принц для одержания наиболее отрадных побед в чужих странах, где он путешествует, не нуждается в красивом профиле, без которого, пожалуй, не мог бы обойтись биржевой заяц.

Пока я читал в саду, приводя в изумление мою двоюродную бабушку, которая не могла понять, как это я читаю в другие дни, кроме воскресенья, когда воспрещается заниматься чем-нибудь серьезным и когда она сама не шила (она бы мне сказала: «Ты опять забавляешься чтением? Ведь нынче не воскресенье», — для нее *забавляться чтением* было равносильно ребячеству и потере

времени), тетя Леония в ожидании Евлалии болтала с Франсуазой. Она уведомляла Франсуазу, что сейчас только видела, как мимо прошла г-жа Гупиль «без зонтика, в шелковом платье, которое она недавно сшила в Шатодене. Если ей до вечерни нужно куда-нибудь далеко, она вымокнет до нитки».

— Все может быть, все может быть (это означало: «А может быть, и не вымокнет»), — отвечала Франсуаза, не отрицавшая и более благоприятной возможности.

— Ах! — восклицала тетя и хлопала себя по лбу. — Я вспомнила: ведь я же так и не узнала, опоздала ли она к возношению. Не забыть спросить Евлалию!. Франсуаза! Посмотрите на черную тучу за колокольней и какой зловещий свет падает от солнца на крыши, — нет, нынче без дождя не обойдется. Такая жара долго не продержится — уж очень душно. И чем скорее будет гроза, тем лучше, потому что до грозы мой виши не подействует, — добавляла тетя, для которой действие виши было бесконечно важнее того обстоятельства, что г-жа Гупиль рискует испортить себе платье.

— Все может быть, все может быть.

— А если дождь застанет на площади, то ведь

там спрятаться особенно некуда… Как! Уже три часа? — внезапно побледнев, восклицала тетя. — Значит, вечерня уже началась, а я забыла про пепсин! Теперь я понимаю, почему виши не оказал на меня никакого действия.

Тут она схватывала лилового бархата молитвенник с золотыми застежками, откуда у нее в спешке высыпались обведенные узорчатой каемочкой картинки на пожелтевшей бумаге, которыми она закладывала праздничные молитвы, проглатывала капли и принималась второпях читать молитву за молитвой, смысл которых ей слегка затемняла неизвестность, сможет ли пепсин, принятый не скоро после виши, догнать минеральную воду и вызвать действие желудка.

— Три часа! Как время-то летит!

Слабый стук в окно, как будто что-то об него ударилось; вслед за тем сыпалось много чего-то легкого, точно из верхнего окна кто-то сыпал песок; потом это нечто сыпучее начинало распространяться вширь, постепенно упорядочивалось, подчинялось определенному ритму, становилось текучим, звонким, музыкальным, неисчислимым, безбрежным: это был дождь.

— Ну вот, Франсуаза, что я вам говорила? Что будет дождь. А это не колокольчик звякнул в саду?

Поглядите, кого это к нам Бог несет в такую пору.

— Это госпожа Амедэ (моя бабушка), — вернувшись, сообщала Франсуаза, — захотелось, говорит, прогуляться. А дождь проливной.

— Меня это не удивляет, — закатив глаза под лоб, отзывалась тетя Леония. — Я всегда говорила, что у нее все не по-людски. Не хотела бы я быть сейчас на ее месте.

— Госпожа Амедэ все делает наперекор другим, — мягко замечала Франсуаза; в разговоре со слугами она выражалась определеннее: дескать, моя бабушка немножко «того».

— Вот уже и вечерня отошла! Не придет Евлалия, — вздыхала тетя. — В такую погоду она не решится.

— Пяти еще нет, госпожа Октав, сейчас только половина.

— Только половина? А я уже подняла занавески, чтобы не так темно было в комнате. Это в половине пятого! За неделю до рогаций![93] Ах, милая Франсуаза! Видно, прогневался на нас Господь. Да, по правде сказать, есть за что! Как говорил мой дорогой Октав, забыли мы Бога — вот он нас и наказывает.

---

[93] Примечания: 93

Рогации — трехдневные публичные молитвы и процессии накануне Вознесения.

Внезапно лицо у тети вспыхивало живым румянцем — появлялась Евлалия. К несчастью, только она успевала войти, как возвращалась Франсуаза и с улыбкой, имевшей целью показать, что она всецело разделяет то радостное чувство, которое она, несомненно, вызовет сейчас у тети своим сообщением, говорила, отчеканивая каждое слово, чтобы тетя поняла, что она, как подобает вышколенной слуге, точно излагает, хотя и с помощью косвенной речи, то, что удостоил ее чести передать госпоже посетитель:

— Его преподобие будет рад, будет счастлив, если госпожа Октав сейчас не отдыхает и сможет его принять. Его преподобию не хотелось бы беспокоить госпожу Октав. Его преподобие внизу, я провела его в залу.

На самом деле приходы священника не доставляли тете такого большого удовольствия, как предполагала Франсуаза, и ликующий вид, который она считала своим долгом принимать всякий раз, как ей предстояло доложить о нем, не вполне соответствовал настроению больной. Священник (мне жаль, что я редко беседовал с этим прекрасным человеком: в искусстве он ничего не смыслил, зато превосходно разбирался в этимологии), привыкший рассказывать почетным

посетителям о церкви (у него даже была мысль написать историю комбрейского храма), утомлял тетю бесконечными пояснениями, притом всегда одними и теми же. А когда он приходил в одно время с Евлалией, тете это было очень неприятно. Она не любила, когда гости являлись к ней скопом, ей хотелось выжать все из Евлалии. Но она не осмеливалась не принять священника и ограничивалась тем, что делала Евлалии знак не уходить вместе с ним, чтобы Евлалия его пересидела.

— Что это я слышала, ваше преподобие, будто в вашем храме какой-то художник поставил мольберт и копирует витраж? Сколько лет на свете живу, а такого не слыхала! До чего народ дошел! Ведь это самое безобразное, что только есть в храме!

— Я бы не сказал, что самое безобразное. У святого Илария есть что посмотреть, но некоторые другие части моей бедной базилики до того обветшали, — ведь это же единственный храм во всей епархии, который не был реставрирован! О Господи! Паперть грязная, старая, но все-таки есть в ней что-то величественное. Гобелены с Эсфирью еще сойдут; я-то бы ломаного гроша за них не дал, а вот знатоки говорят, что они уступают

только гобеленам Санса[94]. Впрочем, я признаю, что, если отбросить некоторые натуралистические подробности, художнику нельзя отказать в наблюдательности. Но вот уж витражи! Кому нужны окна, не пропускающие света и даже обманывающие зрение какого-то неопределенного цвета пятнами в храме, где нет двух плит, которые находились бы на одном уровне, — ведь мне же не дают переделать пол под тем предлогом, что это могильные плиты комбрейских аббатов и сеньоров Германтских, бывших графов Брабантских, предков нынешнего герцога Германтского, равно как и герцогини, потому что она тоже из рода Германтов и вышла замуж за своего родственника. (Бабушка в связи с отсутствием интереса к знатным особам в конце концов стала путать все имена и всякий раз, когда при ней упоминали герцогиню Германтскую, уверяла, что она в родстве с маркизой де Вильпаризи. Все помирали со смеху, а она в свое оправдание ссылалась на какое-то приглашение: «Мне помнится, что там было что-то насчет Германтов». Только в этом случае я бывал не на ее стороне: я не мог допустить, чтобы существовала какая-то связь

[94] Примечания: 94

Гобелены Санса — гобелены XV — XVI веков в соборе Сент-Этьен в городе Сансе.

между ее подругой по пансиону и родственницей Женевьевы Брабантской.) Возьмем Русенвиль: теперь это приход фермеров, а ведь в былые времена там, по всей вероятности, жили богато — городок славился фетровыми шляпами и стенными часами. (Почему он стал называться Русенвиль — это мне не совсем ясно. Я думаю, что первоначальное его название было, вернее всего, Рувиль — *Radulfi villa*[95], как Шатору вырос из *Castrum Radulfi*[96], но об этом как-нибудь в другой раз.) Так вот, в русенвильском храме замечательные витражи, почти все современные, и этому величественному «Въезду Луи-Филиппа в Комбре» место не там, а в самом Комбре, — говорят, он стоит наравне со знаменитыми витражами Шартра. Не далее как вчера я встретил брата доктора Перспье — он любитель витражей и уверяет, что это великолепная работа. Так вот, я спросил художника, а он, как видно, человек весьма любезный и мастер своего дела: «Что вы находите необыкновенного в этом витраже? Помимо всего прочего, он еще темнее других».

— Я убеждена, что если б вы обратились к

---

[95] Примечания: 95
Усадьба Радульфа (*лат.*).

[96] Примечания: 96
Лагеря Радульф (*лат.*).

епископу, он не отказал бы вам в новом витраже, — вяло замечала тетя: ей казалось, что она уже устала.

— Надеяться никому не воспрещено, — возражал священник. — Но ведь как раз епископ-то первый и заговорил об этом злополучном витраже: он стал доказывать, что на нем изображен сеньор Германтский, прямой потомок Женевьевы Брабантской, также принадлежавшей к этому роду, Жильберт Дурной, которому отпускает его грехи святой Иларий.

— Да где же там святой Иларий?

— Есть-то он там есть, в уголку, — вы никогда не обращали внимания на даму в желтом платье? Ну так вот это и есть святой Иларий, тот самый, которого в иных провинциях называют, как вам известно, святой Илья, святой Элье, а в Юре так даже святой Или. Надо вам сказать, что есть еще более любопытные искажения имен святых, чем коверканье на разные лады Sanctus Hilarius. Вот, например, ваша покровительница, милейшая Евлалия, — sancta Eulalia — знаете, в кого она превратилась в Бургундии? Ни больше ни меньше как в Элигия — она стала не святой, а святым. Можете себе представить, Евлалия? После вашей смерти вас превратят в мужчину.

— Насмешник вы, ваше преподобие!

— Брат Жильберта, Карл Косноязычный, был набожный принц, но, рано лишившись отца, Пипина Безумного, умершего от последствий умственного расстройства, он правил со всей самонадеянностью молодого человека, который не получил воспитания, и, если ему не нравилось лицо какого-нибудь горожанина, он истреблял всех жителей до единого. С целью отомстить Карлу Жильберт велел сжечь церковь в Комбре — старинную церковь, ту самую, которую Теодеберт[97], выступив в поход на бургундцев из летнего дворца, — этот дворец находился недалеко отсюда, в Тиберзи (*Theodeberciacus*), — дал обет выстроить над гробницей святого Илария, если тот поможет ему одолеть врага. От этого храма уцелел лишь склеп, — Теодор, наверно, водил вас туда, — все остальное Жильберт сжег. Затем он разбил незадачливого Карла — разбил с помощью Вильгельма Завоевателя (священник произносил: «Вилельма»), — вот почему здесь бывает так много англичан. Но Жильберту, должно быть, не удалось привлечь к себе сердца обитателей Комбре, — когда он выходил из храма после мессы,

[97] Примечания: 97

Жильберт Дурной, Карл Косноязычный, Пипин Безумный, Теодеберт — имена вымышленных исторических персонажей.

они бросились на него и отрубили ему голову. Кстати, у Теодора есть книжечка — он дает ее почитать, — там вы найдете все сведения.

Что достойно внимания в нашем храме, так это, бесспорно, необозримый вид с колокольни. У вас сил немного, и вам я, конечно, не советую подниматься на девяносто семь ступенек — это как раз половина лестницы знаменитого Миланского собора. Тут и здоровый-то человек устанет, тем более что подниматься нужно, согнувшись в три погибели, иначе голову разобьешь, а платьем вы сметаете с лестницы паутину. Да и одеться нужно потеплее, — продолжал священник, не замечая, что тетя пришла в негодование от одной мысли, что ей пришлось бы взбираться на колокольню, — ведь там, наверху, сильный ветер! Некоторые потом рассказывали, что они совсем закоченели. И тем не менее по воскресным дням сюда ходят целыми компаниями, только чтобы полюбоваться красотой панорамы, и возвращаются в полном восторге. Да вот в следующее воскресенье, если погода постоит, народу соберется тьма: будет крестный ход. И то сказать, вид оттуда упоительный: каждая полоска в долине по-своему очаровательна. В ясные дни виден даже Вернейль. Главное, вы сразу окидываете

взглядом все, что обыкновенно является вашим глазам порознь: например, река Вивона и рвы Сент-Асиз-ле-Комбре, от коих она отделена завесой высоких деревьев, или, например, каналы Жуи-ле-Виконт (Gaudiacus vice comitis[98], как вам известно). Когда мне приходилось бывать в Жуи-ле-Виконт, я сперва видел какую-нибудь одну часть канала; только свернешь за угол — глядь, уже другая, а та исчезла. Как я ни пытался мысленно их соединить, толку от этого было мало. Совсем иное дело, когда смотришь с колокольни Святого Илария: оттуда открывается общий вид на всю сеть. Только самую воду не различишь, — можно подумать, что город разделен на части широкими ущельями: словно каравай разрéзали на куски, но они еще не отвалились. Чтобы получить полное представление, нужно быть одновременно на колокольне Святого Илария и в Жуи-ле-Виконт.

Священник так заговаривал тетю, что после его ухода тетя выпроваживала и Евлалию.

— Вот вам, милая Евлалия, — слабым голосом говорила тетя, доставая монету из кошелечка, который всегда был у нее под рукой, — помоли-

---

[98] Примечания: 98
Отрада виконта (*искаж. лат.*).

тесь за меня.

— Что вы, госпожа Октав, мне, право, неловко, вы же знаете, что я не за этим к вам хожу! — говорила Евлалия, неизменно колеблясь и конфузясь, как будто она впервые оказывалась в таком положении, и с недовольным видом, который, должно быть, не сердил, а, напротив, радовал тетю, потому что, если Евлалия, беря монету, не проявляла обычного неудовольствия, тетя потом говорила:

— Не понимаю, что сегодня с Евлалией: я ей дала, сколько даю всегда, а она, по-моему, осталась недовольна.

— Уж ей-то грех жаловаться, — вздыхала Франсуаза: что бы тетя ни дала ей или ее детям, она считала это мелочью, те же монетки, которые тетя каждое воскресенье совала в руку Евлалии (впрочем, до того незаметно, что Франсуаза не успевала их рассмотреть), она воспринимала как сокровища, без толку расточаемые ради неблагодарного существа. И это совсем не потому, что она зарилась на деньги, которые тетя давала Евлалии. Она радовалась, что у тети всего много, — она считала, что богатство хозяйки возвышает и красит служанку в глазах всех и что она, Франсуаза, славна и знаменита во всем Комбре, Жуи-ле-Виконт и во всей округе благодаря

многочисленным фермам тети, благодаря частым и продолжительным визитам священника, а также благодаря основательному количеству бутылок виши, поглощенных тетей. Франсуаза была скупа только на тетины деньги; если бы она управляла тетиным имуществом, что составляло заветную ее мечту, то она с материнской свирепостью охраняла бы его от всех, кто бы ни имел на него виды. Впрочем, Франсуаза не очень горевала бы, если б тетя, неудержимая щедрость которой была ей хорошо известна, в приливе добрых чувств что-нибудь дарила, но только богатым. По всей вероятности, она рассуждала так: богачи не нуждаются в тетиных подарках, следовательно, их нельзя заподозрить, что они заискивают перед тетей в корыстных целях. Кроме того, подношения состоятельным людям, вроде г-жи Сазра, г-на Свана, г-на Леграндена, г-жи Гупиль, лицам «того же ранга», что и моя тетя, лицам, которые «держатся с ней запросто», Франсуаза рассматривала как одну из основ той необыкновенной и блистательной жизни, какую ведут богатые люди, которые охотятся, задают балы, ходят друг к другу в гости, — эта жизнь вызывала у Франсуазы восторженную улыбку. Отношение Франсуазы к тетиной щедрости резко менялось, если бла-

годетельствуемые принадлежали к числу тех, кого Франсуаза называла: «Такие же люди, как я, люди не лучше меня», — этих она особенно презирала, если только они не называли ее «госпожа Франсуаза» и не считали себя «ниже ее». И вот когда Франсуаза удостоверилась, что тетя ее не слушается, поступает по-своему и расшвыривает деньги — так, по крайней мере, полагала Франсуаза — людям недостойным, то Франсуазе стало казаться, что по сравнению с баснословными суммами, коими тетя одаривала Евлалию, она получает от тети пустячные подарки. По мнению Франсуазы, в окрестностях Комбре не было такой богатой фермы, которую Евлалия не могла бы легко и просто приобрести на те солидные куши, что доставляли ей приходы к моей тете. Справедливость требует заметить, что и Евлалия была убеждена, что у Франсуазы припрятаны несметные богатства. Когда Евлалия уходила, Франсуаза обычно сулила ей не слишком много добра. Она не выносила Евлалию, но боялась ее, и, пока Евлалия пребывала у тети, она считала себя обязанной «быть с ней полюбезнее». Зато после ее ухода Франсуаза отводила душу и хотя не называла Евлалию прямо, однако ее Сивиллины пророчества или изречения общего характера в

духе Екклезиаста не оставляли сомнений у моей тети, в кого Франсуаза метит. Отдернув краешек занавески и убедившись, что Евлалия затворила за собой входную дверь, Франсуаза изрекала: «Льстецы умеют влезть в душу и выклянчить деньжонок, — ну погоди ж они! В один прекрасный день Господь их накажет», — и при этом искоса поглядывала на тетю с тем многоговорящим видом, с каким Иоас, имея в виду только Гофолию, произносит:

> Благополучье злых волною бурной смоет.[99]

Но когда приход священника совпадал с приходом Евлалии и когда священник сидел у тети до бесконечности, а тетя изнемогала, Франсуаза, уходя следом за Евлалией, говорила:

— Госпожа Октав! Вам необходимо отдохнуть, у вас очень усталый вид.

Вместо ответа тетя испускала вздох, до того тяжелый, что казалось, будто это ее последний вздох, и закрывала глаза, как покойница. Но не успевала Франсуаза спуститься вниз, как на весь

---

[99] Примечания: 99

Благополучье злых волною бурной смоет. — Цитата из трагедии Расина «Гофолия» (акт II, сцена 7).

дом раздавались четыре оглушительных звонка, и тетя, присев на кровати, кричала:

— Евлалия уже ушла? Понимаете, я забыла у нее спросить, поспела ли госпожа Гупиль к возношению! Бегите за ней!

Но Франсуаза, не догнав Евлалию, возвращалась одна.

— Вот досада! — покачивая головой, говорила тетя. — Самое важное я и упустила!

Так, день за днем, текла жизнь тети Леонии, и это безмятежное ее однообразие тетя с деланным пренебрежением, но и с глубокой нежностью именовала: «скрипеть потихоньку». Всеми охраняемое, — и не только у нее в доме, где окружающие, убедившись в бесполезности даваемых ей советов начать вести более здоровый образ жизни, мало-помалу привыкли считаться со «скрипеньем», но и в городке, где упаковщик, заколачивавший ящики за три улицы от нас, прежде чем начать работу, посылал узнать у Франсуазы, не «отдыхает» ли тетя, — это «скрипенье» все-таки было в тот год однажды нарушено. Как незаметно созревает прячущийся в листве плод и внезапно отрывается от ветки, так однажды ночью разрешилась от бремени судомойка. Боли у нее, впрочем, были невыносимые, и так

как в Комбре повивальной бабки не было, то пришлось Франсуазе еще до рассвета идти в Тиберзи. Стоны судомойки не дали тете «отдохнуть», и тетя очень нуждалась в услугах Франсуазы, а Франсуаза, хотя до Тиберзи было близко, вернулась не скоро. Утром мама сказала мне: «Пойди узнай, не нужно ли чего тете». Я вошел в первую комнату и в отворенную дверь увидел, что тетя спит, лежа на боку; она похрапывала. Я хотел было на цыпочках выйти, но, по всей вероятности, мои шаги ворвались в ее сон и «переключили его скорость», как говорят про автомобили, потому что мелодия храпа прервалась, а спустя мгновение возобновилась тоном ниже; потом тетя проснулась и легла так, что половина ее лица была мне видна; лицо ее выражало ужас; должно быть, ей приснился страшный сон; в том положении, какое приняла тетя, она не могла меня видеть, а я стоял неподвижно, не зная, что делать: подойти или удалиться, но тетя, по-видимому, вернулась к действительности и поняла, что всю эту жуть она видела во сне; блаженная улыбка и почтительная благодарность Богу за то, что, по его милости, жизнь менее жестока, чем сны, слабо озарили ее лицо, и она по своей привычке разговаривать сама с собой, когда она была

уверена, что в комнате никого нет, забормотала: «Слава тебе, Господи! У нас в доме только одно беспокойство: судомойка рожает. А ведь вот поди ж ты: мне снилось, будто дорогой мой Октав воскрес и уговаривает меня гулять ежедневно!» Рука ее потянулась к ночному столику за четками, но сон вновь ее одолел, и она так и не дотянулась до четок: успокоившись, она опять заснула, а я вышел, крадучись, из комнаты, и ни она, и никто другой так и не узнали, что я подслушивал.

Говоря о том, что тетя без всяких перемен потихоньку скрипела, я исключаю такие чрезвычайно редкие события, как роды судомойки, а равно и те, что, повторяясь с предельной точностью через одинаковые промежутки времени, привносили в однообразие ее жизни однообразие дополнительное. Так, например, по субботам Франсуаза ходила на рынок в Русенвиль-ле-Пен после полудня, и потому все завтракали часом раньше. И тетя так привыкла к этому еженедельному нарушению своих привычек, что это стало такой же ее привычкой, как и все остальные. Она до того к этому «приобыкла», как выражалась Франсуаза, что если бы ей пришлось завтракать в субботу в установленное время, это так же «сбило бы ее с толку», как если б она была вынуждена в другой

день завтракать тогда же, когда и в субботу. Притом ранний этот завтрак придавал в наших глазах субботе особенное обличье, снисходительное и даже, я бы сказал, милое. Обычно внутреннее напряжение длилось битый час, пока завтрак не разряжал его, а тут мы знали, что через несколько секунд увидим до установленного срока салат из эндивия, в виде особой милости — омлет и обычно не полагавшийся бифштекс. Эта выходившая из ряда, повторявшаяся Суббота представляла собой одно из тех внутренних домашних, едва ли не политических событий, которые на фоне спокойного течения жизни и узкого круга знакомых укрепляют отношения между жителями и становятся излюбленной темой разговоров, поводом для шуток и для всякого рода прикрас; будь кто-нибудь из нас эпическим поэтом, он воспользовался бы этим как готовой канвой для цикла легенд. Утром, еще не одетые, мы без всякой причины, только ради удовольствия испытать силу единодушия, в бодром настроении, говорили друг другу с сердечной теплотой, в приливе патриотических чувств: «Скорей, скорей! Ведь нынче суббота», — а в это время тетя, совещаясь с Франсуазой и приняв во внимание, что этот день длиннее других, говорила: «Хорошо, если б

ради субботы вы их угостили телятинкой». Иной раз кто-нибудь по рассеянности вынимал часы в половине одиннадцатого и говорил: «Ух ты! Еще целых полтора часа до завтрака», — другие с восторгом ему возражали: «Да что с вами! Вы забыли, что сегодня суббота?» Четверть часа мы заливались хохотом и наконец решали подняться к тете и рассказать об этой забывчивости, чтобы посмешить и ее. Казалось, даже вид небосвода менялся. После нашего завтрака солнце, памятуя, что нынче суббота, лишний час бездельничало в зените, и если кто-нибудь, вообразив, что давно пора идти гулять, но, услыхав слетевшие с колокольни Св. Илария два удара, обыкновенно никого не встречавшие ни на дорогах, безлюдных по случаю завтрака или дневного сна, ни на берегах быстрой и прозрачной реки, покинутой даже рыбаками, и одиноко проплывавшие по пустынному небу, где лениво тянулись рассеянные облачка, восклицал: «Как! Еще только два часа?», то все отвечали ему хором: «Вас ввело в заблуждение то, что завтрак у нас был на целый час раньше, вы упустили из виду, что сегодня Суббота!» Редко, что так смешило Франсуазу, как изумление варвара (это название мы давали всякому, кто не знал особенностей Субботы),

приходившего в одиннадцать часов к моему отцу и заставававшего нас за столом. Ей казалось забавным, что растерявшийся посетитель не имел понятия, что по субботам мы завтракаем раньше, но еще в более веселое расположение духа приводил ее мой отец (узкому формализму которого она, впрочем, сочувствовала всей душой): не допуская мысли, чтобы этот варвар мог не знать таких вещей, и не вдаваясь в подробные объяснения, чтобы рассеять его недоумение, отчего это мы уже в столовой, отец говорил: «Да ведь сегодня же Суббота!» Дойдя до этого места в своем рассказе, Франсуаза вытирала слезы, выступившие у нее на глазах от смеха, а затем, чтобы продлить удовольствие, придумывала ответ посетителя, которому слово «суббота» ничего не говорило. А мы не сетовали на эту выдумку, — напротив: она нас не удовлетворяла, и мы говорили: «По-моему, он еще что-то сказал. Первый раз вы дольше рассказывали». Даже моя двоюродная бабушка переставала рукодельничать и, подняв голову, смотрела на нас поверх очков.

Суббота имела еще ту особенность, что в мае в этот день мы после обеда ходили на богородичные богослужения.

В церкви мы иной раз встречались с Вентейлем,

весьма сурово относившимся к «прискорбной неряшливости молодых людей, которых коснулись новые веяния», и моя мать, перед тем как идти в церковь, подвергала меня строгому осмотру. Помнится, в мае я полюбил боярышник. Боярышник не просто был в церкви, — несмотря на всю святость этого места, нам ведь тоже не воспрещалось там бывать, — нет, он лежал на престоле, неотделимый от таинства, он принимал участие в его совершении, он празднично устремлял от светильника к светильнику и от священного сосуда к сосуду свои сплетенные одна с другой ветки, радовавшие взор тем, что фестончатая их зелень была усеяна, точно фата невесты, бутонами ослепительной белизны. Я поглядывал на это украдкой, но чувствовал, что все это пышное убранство живое и что сама природа, сделав вырезы в листьях и тем придав белым бутонам несравненное очарование, достойно украсила сочетание народного празднества с торжественным таинством. Над престолом цветы с бездумным изяществом раскрывали венчики, и венчики небрежно, словно это был неказистый и воздушный наряд, поддерживали пучки тонких, как паутинка, тычинок, которые плотно окутывали их дымкой, а я, наблюдая за цвет-

ками, пытаясь мысленно изобразить, как они распускаются, представлял это себе как быстрое, капризное движение головки девушки в белом платье, легкомысленной и шустрой, кокетливо щурящей глазки. Вентейль приходил с дочерью и садился рядом с нами. Он был из хорошей семьи, в давно прошедшие времена учил музыке сестер моей бабушки, затем умерла его жена, он получил наследство, поселился недалеко от Комбре и одно время часто заходил к нам. Потом он перестал у нас бывать: его высоконравственность не позволяла ему встречаться со Сваном, который, по его мнению, вступил «в непозволительный брак, брак в духе времени». Моя мать, узнав, что он сочиняет музыку, сказала ему из любезности, что, когда она придет к нему в гости, пусть он непременно сыграет что-нибудь свое. Вентейль и рад был бы сыграть, но он был необычайно щепетилен в своей учтивости и радушии и всегда ставил себя на место других, — он боялся, что если исполнит свое желание или хотя бы даст понять, что ему этого хочется, то наскучит гостям или же они сочтут его эгоистом. Родные брали меня к нему, но мне разрешалось поиграть во дворе, а так как усадьба Вентейля Монжувен была расположена у подножия поросшей кустар-

ником горки, то, прячась в кустах, я находился на уровне помещавшейся на втором этаже гостиной, в полуметре от окна. Мне было видно, что, когда слуга докладывал Вентейлю, что пришли мои родные, Вентейль спешил положить на пюпитр ноты. А как только они входили, он снимал ноты с пюпитра и прятал. Очевидно, он боялся, как бы они не подумали, что он им рад только потому, что это даст ему возможность сыграть свою вещь. И всякий раз, когда моя мать пыталась с ним об этом заговаривать, он обычно отвечал так: «Не понимаю, кто это мог положить ноты на пюпитр, — им тут совсем не место», — а затем переводил разговор на другие темы — переводил именно потому, что они меньше его интересовали. Единственно, кого он горячо любил, это свою дочь, и нельзя было смотреть без улыбки, с какой заботливостью набрасывал он на нее, более похожую на мальчика, пышущую здоровьем, еще одну шаль. Бабушка обращала наше внимание на то, какое кроткое, мягкое, почти робкое выражение часто принимало веснушчатое лицо этого угловатого подростка. Вставляя какое-нибудь слово, дочь Вентейля следила за тем, какое впечатление он производит на других, боялась, что его могут неверно истолковать, и тогда, точно через

транспарант, просвечивали, обрисовывались под мужеподобной внешностью «славного малого» более тонкие черты заплаканной девушки.

Прежде чем выйти из церкви, я опускался перед алтарем на колени, а когда вставал с колен, то внезапно ощущал, что от боярышника ко мне доносится сладко-горький запах миндаля, и тут я замечал на цветах пятнышки с желтоватым отливом, и я представлял себе, что этот запах скрывается под ними, — так вкус миндального пирожного таится под его пригорелою корочкой и точно так же нежность щек дочки Вентейля скрывается под веснушками. В противовес безмолвной неподвижности боярышника, прерывистый этот запах был как бы шелестом той напряженной жизни, от которой трепетал весь алтарь, подобно деревенской изгороди, где шевелятся живые усики, напоминающие почти рыжие тычинки некоторых цветов, как будто не утративших весенней ядовитости, назойливости, свойственной насекомым, сегодня преображенным в цветы.

На паперти мы недолго разговаривали с Вентейлем. Он вмешивался в ссору мальчишек на площади, брал под защиту малышей, отчитывал старших. Когда его дочь грубым своим голосом

говорила, как она рада нас видеть, то чувствовалось, что застенчивая сестра внутри нее краснеет от этих слов нетактичного мальчугана: как бы мы не подумали, что она напрашивается к нам в гости! Отец набрасывал ей на плечи накидку, затем они садились в двуколку — правила она сама — и возвращались в Монжувен. В воскресенье мы вставали не торопясь, только чтобы поспеть к поздней обедне, а потому, если вечер был теплый и лунный, мой отец шел домой не прямиком, а из тщеславия вел нас кружным путем, мимо кальвария, и так как моя мать ориентировалась плохо и с трудом запоминала дорогу, то она видела в этом подвиг стратегического гения моего отца. Иногда мы доходили до виадука, каменные шаги которого начинались у вокзала и представлялись мне олицетворением несчастья, олицетворением изгнания из цивилизованного мира, потому что каждый год, когда мы приезжали сюда из Парижа, нас предупреждали, чтобы мы, подъезжая к Комбре, были внимательны и не пропустили станции, чтобы все у нас было готово, а то поезд здесь стоит всего две минуты и затем по виадуку уходит за пределы христианских стран, конечным пунктом которых я считал Комбре. Мы шли по привокзальному бульвару, где стояли самые

красивые дома в городе. В каждом саду лунный свет, подобно Гюберу Роберу, рассыпáл обломки беломраморных лестниц, водометы, полуотворенные калитки. Луна сравнивала с землей почтово-телеграфную контору. От нее оставалась всего одна колонна, полуразрушенная, но сохранявшая красоту бессмертной руины. Я еле передвигал ноги, я засыпал на ходу; запах лип представлялся мне наградой, которую можно заслужить лишь ценою смертельной усталости и которая не стоит того. Разбуженные нашими шагами, гулко раздававшимися в безмолвии, у редких ворот поднимали лай собаки — то одна, то другая; этот лай мне и теперь иногда слышится по вечерам, и, видимо, привокзальный бульвар все еще прячется за ним, — хотя на месте бульвара в Комбре разбит городской сад, — потому что, стоит собакам начать перелаиваться, как перед моим мысленным взором, где бы я ни находился, возникает бульвар с липами и дорожкой, освещенной луной.

Внезапно отец останавливался и спрашивал мать: «Где мы сейчас?» Уставшая от ходьбы, но гордая за мужа, она с нежностью в голосе признавалась, что не имеет об этом никакого представления. Отец со смехом пожимал пле-

чами. Затем он показывал на нашу садовую калиточку, точно вынув ее вместе с ключом из кармана пиджака, — она как будто бы поджидала нас на углу улицы Святого Духа, в конце незнакомых дорог. Мать говорила отцу с восхищением: «Потрясающе!» После этого мне не нужно было делать ни шагу — за меня шла земля в нашем саду, где уже давным-давно мои действия не требовали от меня внимания: привычка брала меня на руки, как малого ребенка, и несла до самой кровати.

Хотя суббота начиналась у нас часом раньше, хотя в этот день тетя не имела возможности пользоваться услугами Франсуазы и время тянулось для нее дольше, чем всегда, тем не менее тетя уже в начале недели с нетерпением ждала субботы, вносившей в ее жизнь разнообразие и служившей ей единственным развлечением, которое еще способно было выдержать ее ослабевшее, подточенное манией тело. Изредка и она мечтала о крупных переменах, и в ее жизни были те редкие часы, когда человек жаждет чего-то иного; когда он, если у него не хватает энергии или воображения, чтобы в самом себе найти силы для возрождения, ждет от следующей минуты, от звонка почтальона какой-нибудь новости, пусть

неприятной, ждет волнения, горя; когда впечатлительность, которую благоденствие превратило в молчащую арфу, стремится вновь зазвучать под чьей-либо пусть даже грубой рукой, которая может порвать ее струны; когда воля, с таким трудом завоевавшая право без помехи предаваться своим страстям и своим горестям, предпочитает бросить вожжи в руки каких-нибудь мощных событий, хотя бы жестоких. Тетины силы, иссякавшие при малейшем напряжении, вновь возвращались к ней в лоно ее покоя — возвращались по капельке, сосуд наполнялся долго, а потому естественно, что только спустя несколько месяцев она начинала ощущать легкое переполнение, — других оно побуждает к деятельности, ну а тетя не знала, что с этим делать и как этим воспользоваться. Я не сомневаюсь, что в подобных случаях, — вроде того как желание заменить пюре картофелем под бешамелью постепенно возникало у тети из удовольствия, которое ей доставляло есть каждый день никогда не «надоедавшее» ей пюре, — из вереницы однообразных дней, за которую она цеплялась всеми силами, у нее рождалось ожидание домашнего катаклизма, мгновенного, однако успевавшего принудить ее совершить одну из тех решительных перемен,

которые она считала для себя благодетельными, но на которые по своей доброй воле она никогда бы не отважилась. Она любила нас искренне, она бы с умилением оплакивала нас; думаю, что она часто рисовала себе такую картину: она чувствует себя хорошо, не обливается потом, и вдруг ей говорят, что в доме пожар, что все мы погибли, что скоро все сгорит дотла, но что она еще успеет спастись, и притом без особой спешки, — надо только сейчас же встать, и вот эта весть, наряду со второстепенными преимуществами, как например преимущество наслаждаться длительной болью утраты, в которой выражалась бы вся ее любовь к нам, потрясти весь город своим видом на наших похоронах, — она удручена, в полном изнеможении, а все-таки духом бодра и стойка, — сулила ей куда более существенную выгоду: пожар мог бы вынудить ее в удобный момент, даром времени не теряя, не тратя нервов на колебания, выехать на лето в прелестную ферму Миругрен, где был водопад. Так как подобных событий не происходило, — хотя она, вне всякого сомнения, думала об этом, когда оставалась одна и погружалась в раскладывание бесконечных пасьянсов (а между тем она пришла бы в отчаяние, если б что-нибудь вроде этого только началось,

пусть даже мелкое неожиданное происшествие, пришла бы в отчаяние при первом слове, которое содержит в себе дурную весть и звучание которого мы потом будем помнить всю жизнь: весть о том, что кто-то действительно умер, ничего общего не имеющую с отвлеченными рассуждениями о возможности и неизбежности смерти), — она, чтобы занять себя, время от времени воображала какие-нибудь осложнения, а потом с увлечением мысленно следила за тем, к чему это поведет. Ни с того ни с сего она придумывала, будто Франсуаза обкрадывает ее, и, чтобы увериться в этом, чтобы поймать ее на месте преступления, пускалась на хитрости; привыкнув, сидя одна, играть и за себя, и за воображаемого партнера, она неуклюже вывертывалась за Франсуазу, а потом отвечала ей с таким пылом негодования, что если кто-нибудь из нас неожиданно входил к ней в такие минуты, то видел, что она вся в поту, что глаза у нее блестят и что ее парик съехал набок, обнажив лысую голову. Возможно, что до Франсуазы долетали иногда из соседней комнаты относившиеся к ней едкие сарказмы, придумывание коих не давало бы тете полного удовлетворения, если б они не облекались плотью, если б она, бормоча их вполголоса, тем самым не придавала им большего

правдоподобия. Впрочем, даже эти «представления в постели» не всегда удовлетворяли тетю — ей хотелось, чтобы ее пьесы разыгрывались в лицах. И вот в одно из воскресений все двери таинственно запирались, и она поверяла Евлалии свои сомнения относительно честности Франсуазы, говорила, что собирается рассчитать ее, а зато в другой раз делилась своими подозрениями с Франсуазой, что Евлалия ей не друг, и уверяла, что скоро перестанет пускать ее к себе; несколько дней спустя у нее вновь появлялось недоброе чувство к своей недавней наперснице, и она опять начинала шушукаться с предательницей, а на следующем спектакле предательница и наперсница снова менялись ролями. Впрочем, подозрения, которые тете временами внушала Евлалия, выражались в минутной вспышке, и так как Евлалия с тетей не жила, то за отсутствием горючего быстро гасли. С подозрениями, которые внушала Франсуаза, дело обстояло иначе: тетя все время чувствовала, что живет с Франсуазой под одной крышей, вот только она боялась простуды, а потому не отваживалась вылезти из-под одеяла и спуститься в кухню, чтобы удостовериться в основательности своих подозрений. С течением времени все ее умственные интересы

свелись к угадыванию, что́ в данный момент делает и что́ пытается от нее утаить Франсуаза. Она подмечала каждый мимолетный ее взгляд, противоречия, желания, которые та будто бы подавляла в себе. Тетя показывала, что видит ее насквозь; она находила жестокое наслаждение в том, чтобы заставить Франсуазу побледнеть от одного какого-нибудь намека, который она вонзала в самое сердце несчастной. И в ближайший же воскресный день какое-нибудь разоблачение, сделанное Евлалией, — вроде тех открытий, которые внезапно озаряют поле деятельности, о существовании коего не подозревала только что возникшая наука, до сих пор двигавшаяся по проторенным дорогам, — доказывало тете, что она еще была лучшего мнения о Франсуазе. «А уж, кажется, теперь-то Франсуаза должна особенно вас ценить, после того как вы подарили ей экипаж». — «Я ей подарила экипаж?» — восклицала тетя. «Впрочем, может быть, я ошибаюсь, — я так подумала, когда увидела, как она, надменная, словно Артабан[100], ехала в коляске на русенвильский рынок. Я решила, что госпожа Октав подарила ей коляску». Франсуаза и тетя, точно

[100] Примечания: 100

Артабан — персонаж романа «Клеопатра» (1647) французского писателя Ла Кальпренеда (1614–1663).

дичь и охотник, теперь уже только и делали, что старались перехитрить друг друга. Мама боялась, как бы Франсуаза в конце концов не возненавидела тетю, наносившую ей тягчайшие оскорбления. Во всяком случае, Франсуаза теперь обращала особое внимание на малейшее тетино замечание, на малейшее ее движение. Если ей нужно было что-нибудь попросить у тети, она долго колебалась, как ей к этому приступить. Когда же она наконец обращалась с просьбой, она украдкой поглядывала на тетю, стараясь угадать по выражению ее лица, что́ тетя подумала и каково-то будет ее решение. Вот так — в противоположность какой-нибудь художественной натуре, которая, читая мемуары XVII века и пытаясь лучше понять великого короля, воображает, что самый верный путь — это придумать, что она принадлежит к славному роду, или же вступить в переписку с кем-либо из ныне здравствующих европейских государей, на самом деле поворачивается спиной к тому, что эта художественная натура напрасно ищет под схожими и, следовательно, мертвыми формами, — старая провинциалка только оттого, что она слепо повиновалась неодолимым своим пристрастиям, только оттого, что она злилась от безделья, постепенно убеждалась, вовсе и не

думая о Людовике XIV, что деспотическая причудливость мелочей ее житейского обихода, касающихся утреннего туалета, завтрака, отдыха, дает известное право для сравнения их с тем, что Сен-Симон называл «механикой» версальской жизни, и могла воображать, что ее молчание, оттенок благоволения или же надменности в выражении ее лица дают Франсуазе повод для таких же мучительных или робких раздумий, какие вызывало молчание, благоволение или надменность короля, когда кто-либо из придворных или даже вельмож вручал ему прошение на повороте аллеи версальского парка.

Как-то раз, в воскресенье, когда тетя отдыхала после одновременного визита священника и Евлалии, мы пришли пожелать ей спокойной ночи, и мама выразила ей сочувствие по поводу того, что гости всегда так неудачно приходят к ней в одно время.

— Я слышала, Леония, что и нынче у вас был трудный день, — мягко сказала она, — опять вам пришлось принимать всех ваших гостей сразу.

— Когда много удовольствий… — прервала ее моя двоюродная бабушка, считавшая своим долгом, с тех пор как ее дочь заболела, ободрять ее и все представлять ей в розовом свете. Но тут

вмешался отец.

— Я хочу воспользоваться тем, что вся семья в сборе, — начал он, — и, чтобы не повторяться, кое-что сообщить. Я боюсь, не обижен ли на нас Легранден: утром он со мной еле поздоровался.

Я не стал дослушивать рассказ отца, — я шел с ним из церкви и видел Леграндена; я предпочел справиться в кухне, что у нас сегодня на обед, — это всегда меня интересовало, как газетные новости, и возбуждало мое любопытство, как программа празднества. Выйдя из церкви, Легранден прошел мимо нас с одной местной помещицей, которую мы знали только в лицо, поэтому отец, не останавливаясь, приветствовал его дружественно, но сдержанно; Легранден ответил ему сухо, с удивленным видом, словно не узнал нас, и с тем особенным выражением лица, какое бывает у человека, который не желает быть любезным и который глядит на вас прищурившись, словно всматриваясь в вас издалека, и ограничивается небрежным кивком соответственно вашим кукольным размерам.

Дама, с которой шел Легранден, была женщина почтенная и высоконравственная; чтобы Леграндену стало неловко оттого, что мы увидели, как он за ней ухаживает, об этом не могло быть

и речи, — вот почему отец недоумевал, чем он вызвал неудовольствие Леграндена. «Мне было бы очень жаль, если б он на нас почему-либо рассердился, — заметил отец. — Среди всех этих франтов он, в своем однобортном пиджачке и мягком галстуке, держится так естественно, с такой ненаигранной простотой, и эта его непосредственность удивительно симпатична». Однако семейный совет вынес единодушное решение, что отцу все это померещилось или же что Легранден как раз в тот момент был поглощен какой-то мыслью. Да и опасения отца рассеялись на другой же вечер. Возвращаясь с далекой прогулки, мы около Старого моста увидели Леграндена — он остался на праздники в Комбре. Он подошел к нам и первый протянул руку. «Вы человек начитанный, — обратился он ко мне, — вы знаете эту строчку Поля Дежардена?

Леса уже черны, но ясен небосвод…[101]

Совсем как сейчас, правда? Вы, может быть, не

[101] Примечания: 101

Леса уже черны, но ясен небосвод… — Цитата из стихотворения французского поэта и философа Поля Дежардена (1859–1940) «Тот, кого забывают» (1883). Поль Дежарден был профессором в Школе Политических наук, где его лекции посещал Пруст, когда готовился к экзамену на степень лиценциата по праву.

читали Поля Дежардена. Прочтите, дитя мое. Говорят, он вылинял в дидактика, но долгое время он был чистым акварелистом…

Леса уже черны, но ясен небосвод…

Пусть же для вас, мой молодой друг, небо всегда остается ясным; и даже в тот час, который наступает теперь для меня, когда леса уже черны, когда уже быстро опускается ночь, вы будете, как и я, находить утешение, глядя на небо». Легранден вынул папиросу и долго не отводил глаз от горизонта. «Прощайте, друзья», — сказал он вдруг и пошел своей дорогой.

Когда я входил в кухню узнать про обед, он уже готовился, и Франсуаза, повелевая силами природы, которые стали ее помощницами, как в сказках, где великаны нанимаются в кухонные мужики, колола уголь, тушила картофель и дожаривала произведения кулинарного искусства, которые приготовлялись в кухонной посуде, в состав которой входили большие чаны, котлы, чугуны, сковороды для жаренья рыбы, миски для дичи, формы для пирожных, горшочки для сливок и целый набор кастрюль любого размера. Я останавливался у стола, за которым судомойка

лущила горох, — горошины были сосчитаны и выстроены в ряд, словно зеленые шарики в какой-то игре; однако восторг во мне вызывала вымоченная в чем-то ультрамариново-розовом спаржа, головка которой, лилово-голубая, выписанная тонкою кистью, незаметно, благодаря каким-то небесным переливам красок, переходила в еще не отмытый от земли, вытащенный из грядки корешок. Мне казалось, что небесные эти оттенки служат приметами неких дивных созданий, которым вздумалось преобразиться в овощи и которые сквозь маскарадный костюм, прикрывающий их съедобное и плотное тело, дают мне возможность уловить в этих нарождающихся красках зари, в этих отливах радуги, в этом угасании голубого вечера их драгоценную сущность, и сущность эту я узнавал, когда они потом, в течение всей ночи, разыгрывая поэтичные и грубоватые фарсы, похожие на шекспировскую феерию, превращали мой ночной горшок в благоуханный сосуд.

Бедная «Благость Джотто», как прозвал ее Сван, чистила по поручению Франсуазы лежавшую около нее в корзинке спаржу с таким несчастным видом, словно она переживала сейчас все земные муки; и каждая звездочка легкого лазурного вен-

чика на головке спаржи, над розовой ее туникой, была тонко очерчена, как цветок на фреске — в венке и в корзинке падуанской Добродетели. Тем временем Франсуаза поворачивала на вертеле цыпленка, поджаривая его так, как только она умела это делать, — одного из тех цыплят, которые разнесли далеко за пределы Комбре аромат ее искусства и которые, когда она их нам подавала, склоняли меня к мысли, что основная черта характера Франсуазы — доброта: сладковатый и нежный запах, который она умела придавать мясу, представлялся мне ароматом одного из ее совершенств.

Но в тот день, когда я ушел в кухню, между тем как мой отец обсуждал на семейном совете встречу с Легранденом, «Благость Джотто» еще очень плохо себя чувствовала после родов и не вставала с постели; Франсуаза, оставшись без помощницы, запаздывала. В черной кухне, выходившей окнами на птичий двор, она резала цыпленка, а цыпленок, оказывая отчаянное и вполне понятное сопротивление разъяренной Франсуазе, пытавшейся нанести ему удар ножом под головку и кричавшей: «Дрянь паршивая! Дрянь паршивая!» — выставлял смирение и елейность нашей служанки в слегка невыгодном свете, но

зато потом, за обедом, расшитая золотом риза его кожи и драгоценный его сок, капавший как бы из дароносицы, не оставляли и следа от неблагоприятного впечатления. Зарезав цыпленка, Франсуаза не утолила своей ярости его кровью; бросив злобный взгляд на труп врага, она еще раз повторила: «Дрянь паршивая!» Я поднимался наверх, весь дрожа; мне хотелось, чтобы Франсуазу сейчас же выгнали. Да, но кто будет печь мне горячие булочки, варить такой душистый кофе, ну и, в конце концов… жарить цыплят?. В сущности, такой же малодушный расчет был и у других. Ведь знала же тетя Леония, — для меня это до времени оставалось тайной, — что Франсуаза, которая, не рассуждая, отдала бы жизнь за свою дочь или за племянников, в то же время проявляла необыкновенное бездушие к другим. И тем не менее тетя ее не прогоняла: зная ее жестокость, она ценила ее услужливость. Постепенно мне открылось, что доброта, безответность и прочие достоинства Франсуазы прикрывают всевозможные кухонные трагедии, — так история обнаруживает, что у королей и королев, изображенных на церковных витражах в молитвенной позе, руки обагрены кровью. Я уяснил себе, что, если не считать ее родных, чем дальше были от

нее люди, тем больше она их жалела. Потоки слез, которые она проливала, читая в газете о бедствиях неизвестных ей людей, мгновенно прекратились бы, как только она чуть-чуть отчетливее представила бы себе оплакиваемого ею. Судомойка как-то ночью, вскоре после родов, почувствовала невыносимые боли; услыхав ее стоны, мама встала и разбудила Франсуазу, но та невозмутимо заметила, что все эти крики — комедия и что судомойка «корчит из себя барыню». Доктор, боявшийся этих приступов, заложил одну из наших медицинских книг на той странице, где эти приступы описывались и где давались указания, в чем должна заключаться первая помощь. Мама послала Франсуазу за книгой и предупредила, чтобы она не выронила закладку. Прошел час — Франсуаза так и не вернулась; мама, рассердившись, решила, что Франсуаза опять улеглась, и послала в библиотеку меня. В библиотеке я нашел Франсуазу: ее разобрало любопытство, о чем идет речь на заложенной странице, и она читала клиническое описание послеродовой горячки и рыдала над типичным случаем этого заболевания именно потому, что в глаза не видела роженицу. При каждом болезненном симптоме, на который указывал автор,

она восклицала: «Царица небесная! И за что это Господь посылает бедным людям такие муки? Вот страдалица-то!»

Однако стоило мне ее позвать и она очутилась у постели «Благости Джотто», как слезы у нее тотчас же высохли; здесь уже ничто не могло вызвать у нее ни приятного ощущения жалости и умиления, которое было ею изведано и которое она так часто испытывала при чтении газет, ни какого-либо другого наслаждения в том же духе, — напротив: она была раздосадована и обозлена, что ее подняли ночью с постели из-за судомойки, и при виде тех же страданий, над описанием которых она только что проливала слезы, теперь она недовольно брюзжала и даже, думая, что мы ушли и не слышим ее, позволяла себе делать оскорбительные замечания:

— Не надо было до этого доводить! Удовольствие получила, ну а уж теперь потерпи! Видно, парень-то попался неприхотливый, коли спутался с *такой*. Недаром говорили у меня на родине:

Из зада сучки розой пахнет
Для дурня, что по сучке чахнет.

Стоило ее внуку чихнуть, и она, сама больная, не ложилась спать, а шла ночью четыре мили

— узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, а чуть свет возвращалась и принималась за дело, и вот эта ее любовь к своим близким и стремление укрепить будущее величие своего рода заставляли Франсуазу придерживаться в своей политике по отношению к слугам определенного правила: никому из слуг не позволять переступать порог тетиной комнаты, каковое правило — никого не подпускать к тете — она установила из некоторого чувства гордости, и даже если ей нездоровилось, она предпочитала вставать и подавать тете виши, только бы не открывать доступа судомойке в комнату госпожи. И, как изученное Фабром[102] перепончатокрылое, как земляная оса, которая для того, чтобы у личинок после ее смерти был свежий корм, призывает на помощь своей жестокости анатомию и, наловив долгоносиков и пауков, с изумительным знанием дела и ловкостью вонзает жало в их двигательные нервы, не затрагивая нервов, от которых зависят прочие жизненные функции, с той целью, чтобы парализованное насекомое, подле которого она кладет яички, снабжало личинки, когда они появятся, послушной, беззащитной

[102] Примечания: 102

Фабр, Жан Анри (1823–1915) — французский энтомолог, автор «Энтомологических воспоминаний» (1879–1907).

дичью, не способной убежать или оказать сопротивление, и притом не протухшей, Франсуаза, следуя своему неуклонному намерению сделать жизнь в тетином доме невыносимой для всей остальной прислуги, прибегала к хитроумным и беспощадным каверзам, и мы только много спустя узнали, что в то лето мы почти каждый день ели спаржу только потому, что ее запах вызывал у несчастной судомойки, которой вменялось в обязанность чистить ее, такие жестокие приступы астмы, что в конце концов она вынуждена была от нас уйти.

Увы! Нам пришлось в корне изменить свое мнение о Леграндене. После встречи на Старом мосту, заставившей отца признать, что он ошибся, в одно из ближайших воскресений, когда обедня отошла и в церковь вместе с солнечным светом и шумом извне хлынуло нечто до такой степени не благоговейное, что г-жи Гупиль и Перспье (а ведь еще недавно они так молились, что я мог бы подумать, будто они не обратили на меня никакого внимания, когда я вошел с некоторым опозданием, если бы они легонько не отодвинули ногами скамеечку, стоявшую у меня на дороге) громко заговорили с нами о житейском, точно мы были уже на площади, — мы увидели на рас-

каленной от солнца паперти, господствовавшей над гулкой пестрядью рынка, как муж той дамы, с которой шел тогда Легранден, знакомит его с женой другого крупного местного помещика. Лицо Леграндена выражало необычайное оживление и подобострастие; он низко поклонился и тут же откинулся назад, после чего туловище Леграндена уже не приняло своего прежнего положения, — по всей вероятности, он перенял эту манеру кланяться у мужа своей сестры, г-жи де Говожо. От этого стремительного выпрямления по спине Леграндена — прежде я никогда не замечал, что она у него такая плотная, — отхлынула какая-то быстрая мускулистая волна; и по непонятной для меня самого причине это колыхание чистой материи, этот прилив плоти, лишенный устремлений духовных, гонимый бурей низменных побуждений, внезапно навели меня на мысль о возможности существования другого Леграндена, ничуть не похожего на того, с которым мы были знакомы. Дама попросила его что-то сказать своему кучеру, и, пока он шел к экипажу, печать робкой и преданной радости, которую поставило на его лице знакомство с дамой, все еще не сходила с него. Вознесенный какими-то своими мечтами, он улыбался, затем

торопливым шагом вернулся к даме, а так как шел он быстрее обыкновенного, то плечи его как-то нелепо вихлялись, и до того он полон был своего бездумного счастья, что казался его послушной, безвольной игрушкой. Между тем мы вышли из церкви, мы прошли мимо него, он был хорошо воспитан, и с его стороны было бы невежливо просто не смотреть в нашу сторону, — вот почему он устремил внезапно преисполнившийся глубокой задумчивости взгляд в такую даль, что не мог нас видеть и имел право не поклониться. Лицо его попрежнему хранило простодушное выражение, его однобортный пиджак из тонкой материи имел такой вид, как будто случайно попал в среду ненавистной ему роскоши. А галстук в горошину от ветра на площади развевался на Леграндене, как знамя его гордого одиночества и благородной независимости. Уже когда мы подходили к дому, мама обнаружила, что мы забыли про пирожное, и попросила отца, чтобы он пошел со мной и велел сейчас же принести. Около церкви мы столкнулись с Легранденом, — он вел ту же даму к экипажу. Он прошел мимо нас и, не прерывая разговора со спутницей, сделал нам уголком своего голубого глаза еле уловимый знак, как бы между век и без участия лицевых мускулов, так

что собеседница вполне могла не заметить его; однако, стремясь вознаградить силой чувства некоторую узость круга, в который он мог бы это чувство вписать, он сделал так, что голубой уголок, оставленный им для нас, лучился живейшей приязнью, не только радостной, но даже лукавой; он изощрил тонкость своей благожелательности до заговорщицких подмигиваний, до полуслов, до намеков, до тайны соучастия; и наконец, уверения в дружбе он возвысил до изъявлений нежности, до объяснения в любви, для нас одних зажигая скрытое и невидимое для его спутницы пламя влечения в своем любящем зрачке, горевшем на ледяном лице.

Как раз накануне он просил моих родителей отпустить меня к нему сегодня поужинать. «Составьте компанию вашему старому другу, — сказал он мне. — Уподобьтесь путешественнику, который присылает нам букет цветов из страны, куда мы уже не вернемся, дайте мне подышать весенними цветами, произрастающими в дальнем краю вашего отрочества, среди которых и я гулял давно-давно. Принесите примул, кашки, лютиков, наберите в бальзаковской флоре

заячьей капусты[103], из которой составляют букеты влюбленности, принесите цветов Светлого Христова Воскресенья: маргариток и белоснежной калины, которая начинает пахнуть в аллеях сада у вашей бабушки, когда еще не растаял последний снег пасхальных метелей. Приходите в пышном шелковом одеянии из лилий, в котором не стыдно было бы показаться и Соломону[104], и с разноцветной эмалью анютиных глазок, а главное — принесите ветра, еще холодного от последних заморозков, — он приоткроет для двух мотыльков, которые нынче с утра дожидаются его во дворе, лепестки первой розы Иерусалима».

Дома возник вопрос, отпустить ли меня все-таки к Леграндену. Бабушка и слышать не хотела, что он мог быть с нами невежлив: «Вы же сами говорите, что в церкви вы всегда видите его скромно одетым и что он не похож на светского человека». Бабушка полагала, что в крайнем слу-

---

[103] Примечания: 103

…наберите в бальзаковской флоре заячьей капусты… — Пруст намекает на описания букетов в романах Бальзака «Лилия долины» и «Утраченные иллюзии».

[104] Примечания: 104

Приходите в пышном шелковом одеянии из лилий, в котором не стыдно было бы показаться и Соломону… — Намек на Евангелие: «Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Лк. 12, 27; ср.: Мф. 6, 28).

чае, даже если он допустил неучтивость, лучше сделать вид, что мы ее не заметили. В сущности, отец, который был больше всех возмущен поведением Легранден, и тот, пожалуй, не мог бы вполне определенно ответить, что бы это значило. Поведение Легранден ничем не отличалось от всякого поведения или действия, в котором раскрываются самые глубокие и сокровенные свойства человеческой души: прежде он держал себя с нами совсем иначе; бесполезно что-либо предъявлять обвиняемому — все равно он ни в чем не сознается; мы можем основываться только на свидетельских показаниях наших чувств, и мы задаем себе вопрос относительно этого обособленного, обрывочного воспоминания: не явились ли наши чувства жертвой обмана зрения, — вот отчего подобного рода поступки, единственно важные для познания человека, часто оставляют нас в недоумении.

Я ужинал с Легранденом у него на террасе; сияла луна. «У тишины есть прекрасное свойство, верно? — сказал Легранден. — Один романист, которого вы потом прочтете, утверждает, что для таких раненых сердец, как мое, нужны только тень и тишина. Видите ли, дитя мое, в жизни человека наступает такое время, — вам до этого

еще далеко, — когда его утомленное зрение выносит только один свет: свет, который изготовляет и пропускает через темноту вот такая чудесная ночь, как эта, когда ухо не может больше слушать другую музыку, кроме игры лунного света на флейте тишины». Я, как всегда, с удовольствием слушал Леграндена, но сегодня я был взволнован воспоминанием об одной женщине, которую недавно увидел впервые, и у меня мелькала мысль, что раз Легранден, как это только что выяснилось, в дружбе с местной аристократией, то, быть может, он знаком и с нею, и вот, набравшись храбрости, я обратился к нему с вопросом: «Вы не знакомы с владелицей… с владелицами Герман-та?»; произносил же я это последнее слово со счастливым чувством, что приобретаю над ним некую власть уже тем, что извлекаю его из области моих мечтаний и придаю ему объективную звучащую реальность.

Однако при звуке слова «Германт» я различил в голубых глазах нашего друга коричневые ямочки, словно кто-то незримый проколол ему глаза иголкой, меж тем как из остальной части зрачков хлынули лазурные волны. Круги у него под глазами потемнели, оттянулись книзу. Первыми перебороли волнение губы: горькую складку

сменила улыбка, а взгляд все еще выражал скорбь, как у прекрасного мученика, пронзенного стрелами. «Нет, я с ними незнаком», — ответил Легранден; однако это было сказано не обычным, естественным тоном, какого требовало такое простое сообщение, ответ, в котором не могло быть для меня ничего удивительного, — Легранден сделал ударение на каждом слове, наклонившись ко мне, покачав головой, с той особенной настойчивостью, которая появляется у нас в голосе, когда нужно, чтобы нам поверили, хотя мы говорим неправду, — словно то, что он незнаком с Германтами, могло быть только прихотью судьбы, — и в то же время с нарочитой выразительностью, к которой мы прибегаем, когда, не в силах умолчать о создавшемся для нас тяжелом положении, мы предпочитаем объявить о нем, чтобы другие подумали, что нас ничуть не стесняет подобное признание, что сделать его нам легко, приятно, что оно вылилось у нас из души, что вот такое обстоятельство — отсутствие каких бы то ни было отношений у Легранден с Германтами — совсем не случайно, что такова его, Легранден, воля, такова его семейная традиция, что ему не позволяют бывать у Германтов его нравственные воззрения или какой-то таинственный обет.

«Нет, — продолжал Легранден, видимо, желая объяснить, чем вызвана его интонация, — я с ними незнаком, я никогда не стремился к этому знакомству, я всегда дорожил своей полной независимостью: вы же знаете, ведь я, в сущности, якобинского толка. Многие предлагали мне свои услуги, убеждали, что я напрасно не бываю у Германтов, что обо мне могут подумать, будто я невежа, будто я бирюк. Но что-что, а это меня не пугает: ведь это же правда! Откровенно говоря, я люблю несколько церквей, две-три книги, картины, числом чуть побольше, лунный свет, и еще я люблю, когда ветер вашей юности веет на меня запахом цветов, — видеть их мои старые глаза уже не видят». Мне было не совсем понятно, какая связь между отказом побывать у людей, с которыми вы незнакомы, и сохранением своей независимости и почему за это вас ославят дикарем, бирюком. Я чувствовал лишь, что Легранден не вполне искренен, уверяя, будто он не любит ничего, кроме церквей, лунного света и юности; он очень любил знать, и так велика была его боязнь произвести на нее неблагоприятное впечатление, что он умалчивал о том, что у него есть приятели среди мещан: сыновья нотариусов или биржевых маклеров, — он считал, что если прав-

де суждено всплыть наружу, то пусть уж лучше это произойдет в его отсутствие, пусть его судят заочно, «за неявкой в суд»: Легранден был сноб. Само собой разумеется, он никогда не пользовался выражениями, которые так любили мои родные и я. И когда я спросил его: «Вы знакомы с Германтами?» — Легранден-собеседник ответил: «Нет, я никогда не стремился к знакомству с ними». На беду Леграндена, сразу было видно, что это отвечает его двойник, так как другой Легранден, которого он старался запрятать поглубже внутрь себя, которого он не показывал, потому что тот Легранден знал о существовании нашего Леграндена, о его снобизме, знал о нем такие вещи, которые могли бы бросить на него тень, — другой Легранден уже ответил мне страдальческим взглядом, ответил тем, как искривились его губы, ответил неуместной многозначительностью тона, тучей стрел, которыми наш Легранден был мгновенно изъязвлен и обескровлен, как некий снобствующий св. Себастьян[105]: «Ах, какую боль вы мне причинили! Нет, я с Гер-мантами незнаком, не касайтесь же этой раны, она и так ноет

[105] Примечания: 105

Св. Себастьян (250–288) — римский военачальник, перешедший на сторону христиан, за что был казнен и впоследствии причислен к лику святых.

у меня всю жизнь». И хотя Легранден-бедокур, Легранден-шантажист не был таким краснобаем, как тот, зато его речь отличалась гораздо большей непосредственностью, складывалась из так называемых «рефлексов», и когда Легранден-собеседник только еще собирался заткнуть ему рот, он уже проговаривался, и сколько бы потом наш друг ни приходил в отчаяние от того, как ему напортил своими разоблачениями его *alter ego*, он мог лишь сгладить впечатление, но не больше.

Конечно, это не значит, что Легранден лицемерил, когда нападал на снобов. Он не мог знать и, во всяком случае, не замечал за собой, что он тоже сноб, — нам видны только чужие наклонности; если же нам удается познать свои собственные, то лишь те из них, на которые нам укажут со стороны. На нас самих они влияют опосредованно, через воображение, подменяющее первые наши душевные движения выросшими на их основе и выглядящими красивее. Снобизм не соблазнял Леграндена зачастить к какой-нибудь герцогине. Он лишь заставлял его воображение наделять ее всеми достоинствами. Легранден завязывал отношения с герцогиней, уверяя себя, что его влечет к ней ее ум и душевные качества, которых не видят жалкие снобы. А другие снобы знали,

что он одной с ними породы: не способные понять посредническую роль его воображения, они видели только светский образ жизни Леграндена и его первопричину.

Теперь мои близкие окончательно разочаровались в Леграндене и отдалились от него. Мама потешалась всякий раз, как заставала его на месте преступления, совершающим грех, в котором он не каялся и который он продолжал называть непростительным, то есть грех снобизма. Отец, напротив, не склонен был из-за фатовства Леграндена отворачиваться от него или же смотреть на него как на посмешище, и в тот год, когда родные хотели отправить меня на летние каникулы с бабушкой в Бальбек, он заявил: «Надо непременно сказать Леграндену, что вы собираетесь в Бальбек, — может быть, он даст вам письмо к своей сестре. Он, наверно, уже и забыл, что говорил нам про нее: она живет в двух километрах оттуда». Бабушка считала, что во время морских купаний нужно весь день проводить на пляже и дышать морской солью, а что заводить знакомства не следует, потому что визиты и знакомства уводят от морского воздуха; напротив, она просила отца ничего не говорить Леграндену о наших намерениях, — она уже видела, как его сестра, г-жа де

Говожо, подъезжает к нам как раз в тот момент, когда мы собираемся на рыбную ловлю, и нам ничего иного не остается, как сидеть в душной комнате и принимать ее. Мама посмеивалась над ее опасениями; в глубине души она была уверена, что опасность не столь грозна и что Легранден не проявит особого желания знакомить нас с сестрой. Нам не пришлось заводить с ним разговор о Бальбеке: однажды вечером мы встретили Леграндена на берегу Вивоны, и он, не подозревая, что мы собираемся в Бальбек, сам попался в ловушку.

— Сегодня облака окрашены в чудные фиолетовые и голубые тона, правда, мой друг? — заговорил он с отцом. — Особенно хорош голубой, — это скорее тон цветов, чем воздуха, тон зольника, который мы не привыкли видеть на небе. А вон у того розового облачка, — разве и у него не окраска цветка: гвоздики или гортензии? Пожалуй, только на берегу Ла-Манша, между Нормандией и Бретанью, я приобрел еще более богатый запас наблюдений над растительным царством атмосферы. Недалеко от Бальбека, в еще совсем диких местах есть очаровательная тихая бухточка, так вот там закат над Ожской долиной, золотисто-багряный закат — кстати, я не могу о нем сказать

ничего плохого — лишен своеобразия, не производит впечатления; но зато в этом влажном и мягком воздухе вечерами мгновенно распускаются небесные цветы, голубые и розовые, — их ни с чем нельзя сравнить, и чаще всего увядают они на протяжении нескольких часов. Другие опадают сейчас же, и тогда небо, все покрытое осыпью бесчисленных лепестков, светло-желтых и розовых, еще прекраснее. Золотистая отмель этой бухты — ее называют Опаловой — оставляет особенно умилительное впечатление, оттого что она, словно белокурая Андромеда[106], прикована к грозным утесам, к бесприютному берегу, где произошло столько бедствий, где каждую зиму корабль за кораблем гибнут в коварном океане. Бальбек! Это наш самый древний геологический костяк, действительно Арморика[107], Море, край света, проклятая страна, так хорошо описанная Анатолем Франсом, этим чародеем, которого наш юный друг непременно должен прочесть, страна

---

[106] Примечания: 106

Андромеда — в древнегреческой мифологии жена Персея, убившего морское чудовище, которому она была отдана в жертву.

[107] Примечания: 107

Арморика — кельтское название Бретани (букв. «на море»). Природа Бретани отображена в произведении Анатоля Франса «Пьер Нозьер» (1899), где он сравнивает ее с Киммерией, сказочной страной, в которой никогда не появлялось солнце.

с ее вечными туманами, настоящая Киммерия из «Одиссеи». В Бальбеке, на древней чудесной земле, уже строятся отели, но они не могут ее испортить, и как раз оттуда особенно упоительны походы в первобытные и такие прекрасные места, — ведь это же два шага!

— А у вас нет знакомых в Бальбеке? — спросил отец. — Вот этому мальчугану предстоит провести там два месяца с бабушкой, а может быть, и с мамой.

Отец задал этот неожиданный для Легранде-на вопрос, когда тот смотрел прямо на него, и Легранден не смог отвести взгляд; вместо этого он все пристальнее и пристальнее, с печальной улыбкой, смотрел в глаза своему собеседнику, дружелюбно и открыто, как человек, которому нечего бояться глядеть на другого в упор: можно было подумать, что голова моего отца вдруг стала прозрачной, и Легранден видит сквозь нее вдали ярко окрашенное облако, и это оправдывало Леграндена в собственных глазах, это давало ему возможность мысленно сослаться на то, что, когда его спросили, нет ли у него знакомых в Бальбеке, он думал о другом и не слышал, что ему сказали. Обычно такое выражение лица вызывает у собеседника вопрос: «О чем это вы задумались?» Но

мой отец имел жестокость спросить Леграндена с любопытством и раздражением:

— Раз вы так хорошо знаете Бальбек, стало быть, у вас есть там друзья?

Легранден напряг отчаянные усилия для того, чтобы его улыбка достигла предела ласковости, неопределенности, чистосердечия и рассеянности, но, очевидно, решив, что не ответить нельзя, сказал:

— У меня друзья всюду, где есть купы раненых, но не побежденных деревьев, сплачивающихся для того, чтобы с патетической настойчивостью возносить совместную мольбу к немилосердному небу, которое не щадит их.

— Я не об этом, — перебил его мой отец, настойчивый, как деревья, и безжалостный, как небо. — Я спросил, нет ли у вас там знакомых, чтобы в случае чего моя теща не чувствовала себя одинокой в этой глуши.

— Там, как и везде, я знаю всех и не знаю никого, — ответил Легранден; его не так-то просто было припереть к стене. — Я знаю множество предметов и очень мало людей. Но предметы там тоже кажутся людьми, людьми с тонкой душой, которые редко встречаются и которым жизнь не удалась. Это может быть замок: он остановился

на придорожной скале, чтобы поведать свою печаль еще розовому вечернему небу, на котором всходит золотой месяц, между тем как суда, бороздя радужную воду, поднимают вымпелы разных цветов; это может быть и простой уединенный дом, скорее некрасивый с виду, застенчивый, но романтичный, скрывающий от всех вечную тайну счастья и разочарования. Этот неверный край, — с макиавеллиевским хитроумием продолжал Легранден, — этот край чистого вымысла — плохое чтение для мальчика, и, понятно, не его бы я выбрал и рекомендовал моему юному другу с его предрасположением к грусти, с его так устроенным сердцем. Страны любовных тайн и бесплодных сожалений хороши для таких во всем разуверившихся стариков, как я, и они всегда вредны для натур еще не сложившихся. Поверьте мне, — настаивал он, — воды этой бухты, уже наполовину бретонской, могут быть целительны — что́, впрочем, спорно — для нездорового сердца, как у меня, для сердца с некомпенсированным пороком. Вашему возрасту, мой мальчик, они противопоказаны. Спокойной ночи, друзья! — добавил он и, уйдя от нас с обычной для него увиливающей неожиданностью, вдруг обернулся и, жестом доктора подняв палец, закончил кон-

сультацию: — Никаких Бальбеков до пятидесяти лет, да и в этом возрасте все зависит от сердца! — крикнул он.

При каждой новой встрече отец снова заговаривал с Легранденом о Бальбеке, донимал его расспросами, но — тщетно; если б мы продолжали к нему приставать, то Легранден, подобно сведущему мошеннику, употребляющему на фабрикацию поддельных палимпсестов[108] столько труда и знаний, что сотой их доли было бы достаточно, чтобы он, избрав более почтенное занятие, имел больше дохода, в конце концов создал бы целую этику пейзажа и небесную географию Нижней Нормандии, но так и не признался бы, что в двух километрах от Бальбека живет его родная сестра, и ни за что не дал бы к ней рекомендательного письма, мысль о котором не внушала бы ему, впрочем, такого ужаса, если б он был твердо уверен, — а он мог бы быть уверен: он же знал характер моей бабушки, — что мы к нему не прибегнем.

---

[108] Примечания: 108

Палимпсест — пергамент, на котором первоначальная запись стерта и поверх нанесена другая.

* * *

Чтобы успеть зайти к тете Леонии до ужина, мы гуляли недолго. Первое время после нашего приезда в Комбре темнело все еще рано, и, когда мы доходили до улицы Святого Духа, на окнах нашего дома рдел отблеск заката, рощи кальвария опоясывала пурпурная лента, а еще дальше эта же лента отражалась в пруду, и ее пламя в обычном сочетании с довольно резким холодом рисовало в моем воображении огонь, на котором жарился в это время цыпленок, обещавший мне, вслед за поэтическим блаженством прогулки, блаженство чревоугодия, отдыха и тепла. Когда же мы возвращались с прогулки летом, солнце еще не заходило, и, пока мы сидели у тети Леонии, его свет, снизившийся и бивший прямо в окно, запутывался в широких занавесках, дробился, распылялся, просеивался, инкрустировал крупинки золота в лимонное дерево комода и косо, с той мягкостью, какую он приобретает в лесной чаще, озарял комнату. Однако были такие редкие дни, когда мы уже не заставали на комоде непрочных инкрустаций, при повороте на улицу Святого Духа мы уже не видели на окнах закатного отсвета, пруд у подножия

кальвария не пламенел, иной раз он становился опаловым, и его от одного берега до другого пересекал длинный, постепенно расширявшийся и размельченный всеми его морщинками луч месяца. В такие дни, подходя к дому, мы различали силуэт на пороге, и мама мне говорила:

— Ах, боже мой! Да ведь это Франсуаза поджидает нас — наверно, тетя беспокоится: запоздали мы сегодня.

Не тратя времени на раздевание, мы спешили успокоить тетю Леонию и доказать ей, что, вопреки тому, что она себе навоображала, с нами ничего не случилось, — мы ходили «по направлению к Германту», а тетя должна же знать, что когда предпринимаешь такую прогулку, то время рассчитать невозможно.

— Ну вот, Франсуаза! — восклицала тетя. — Я же вам говорила, что они пошли по направлению к Германту! Как они, наверно, проголодались-то, господи! А ваша баранина, наверное, пережарилась. Разве можно приходить так поздно? Значит, вы ходили по направлению к Германту?

— Я думала, вы знаете, Леония, — отвечала мама. — Мне показалось, что Франсуаза видела, как мы выходили через калитку.

Дело в том, что в окрестностях Комбре было

два «направления» для прогулок, столь противоположных, что мы выходили из дому через разные двери, смотря по тому, в каком направлении мы собирались идти: по направлению к Мезеглиз-ла-Винез, которое иначе называлось «направлением Свана», так как дорога здесь проходила мимо его имения, или по направлению к Германту. Откровенно говоря, я знал не самый Мезеглиз, а «направление» к нему да незнакомых людей, приходивших по воскресеньям погулять в Комбре, — людей, которых даже тетя «совсем не знала» и которые на этом основании относились к числу «людей, должно быть, из Мезеглиза». А вот Германт я узнал лучше, но только произошло это значительно позднее, и если Мезеглиз на протяжении всего моего отрочества оставался для меня не менее недоступным, чем горизонт, если, как бы далеко мы ни зашли, его утаивали от наших взоров складки местности, уже не похожей на комбрейские места, то Германт был для меня скорее воображаемым, чем реальным, пределом своего «направления», неким абстрактным географическим наименованием, чем-то вроде линии экватора, полюса, востока. Тогда «идти на Германт», чтобы попасть в Мезеглиз или наоборот, показалось бы мне столь же бес-

смысленным, как идти на восток, чтобы попасть на запад. Мой отец всегда говорил о направлении в Мезеглиз как о самой красивой долине, какую он когда-либо видел, а о направлении в Германт — как о характерном речном пейзаже, и они представлялись мне двумя разными сущностями, я наделял их той внутренней связью, тем единством, какими обладают лишь создания нашей мысли; малейшая частица каждой из них казалась мне драгоценной, мне казалось, что в ней проявляется их превосходство, тогда как, прежде чем ступить на священную землю любого из этих направлений, мы уже начинали смотреть на проложенные вокруг идеального вида равнины и идеального речного пейзажа чисто материальные дороги не более внимательно, чем завзятый театрал смотрит на улочки, прилегающие к театру. Но еще больше, чем километры, разделявшие эти два направления, их разделяло расстояние между частями моего мозга, которыми я о них думал, одно из тех умозрительных расстояний, что только отдаляют и отдаляют, разъединяют и помещают в разные плоскости. Грань между двумя направлениями становилась все резче потому, что мы никогда не ходили на прогулку и туда и сюда — сегодня мы шли по направлению

к Мезеглизу, завтра к Германту, и это делало их непознаваемыми одно для другого, это их, если можно так выразиться, заключало, вдали одно от другого, в закрытые и несообщавшиеся сосуды дней.

Когда мы собирались идти по направлению к Мезеглизу, то выходили (не очень рано и даже если небо было облачным, так как прогулка предстояла недолгая и далеко не уводила), как будто нам все равно было, куда идти, через парадную дверь тетиного дома, на улицу Святого Духа. С нами здоровался оружейник, мы опускали письма в почтовый ящик, мимоходом говорили Теодору от имени Франсуазы, что у нас вышло масло или кофе, и, пройдя город, шли по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка Свана. Когда мы только еще приближались к ограде, нас встречал выходивший к прохожим навстречу запах сирени. А сама сирень с любопытством свешивала над оградой окруженные зелеными свежими сердечками листьев султаны из лиловых или белых перьев, блестевших даже в тени от солнечного света, в котором они выкупались. Несколько сиреневых кустов, наполовину скрытых домиком под черепичной крышей, где жил сторож, — домиком, носившим название

Дома стрелков, — увенчивали его готический щипец розовым своим минаретом. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, вносившими во французский сад чистые и живые тона персидских миниатюр. Мне так хотелось обвить руками гибкий их стан, притянуть к себе звездчатые локоны их душистых головок, но мы шли, не останавливаясь: после женитьбы Свана мои родные перестали бывать в Тансонвиле, и, чтобы не создавалось впечатления, будто мы заглядываем в парк, мы сворачивали с дороги, тянувшейся вдоль ограды и выходившей прямо в поле, и шли туда же, но окольным путем, заставлявшим нас давать изрядного крюку. Как-то раз дедушка обратился к моему отцу:

— Помните, Сван вчера сказал, что по случаю отъезда его жены и дочери в Реймс он собирается на один день в Париж? Раз дамы уехали, мы могли бы пройти мимо парка — это сильно сократило бы нам расстояние.

Мы постояли у ограды. Сирень отцветала; на некоторых кустах высокие лиловые люстры еще вздували хрупкие пузырьки цветов, но на многих, там, где еще неделю назад бушевала в листве их благоуханная пена, блекла опавшая, потемнев-

шая, полая накипь, сухая и ничем не пахнувшая. Дедушка показывал отцу, в какой части парка все осталось по-прежнему и что изменилось с того дня, когда он с отцом Свана гулял здесь в день смерти его жены, и, воспользовавшись случаем, опять рассказал об этой прогулке.

От нас к дому поднималась залитая солнцем аллея, обсаженная настурциями. Справа, в ровной низине, раскинулся парк. Высокие деревья, окружавшие пруд, выкопанный родителями Свана, бросали на него густую тень; но даже когда человек создает что-нибудь в высшей степени искусственное, работает он над природой; иные места никому не уступают своего господства; они с незапамятных времен сохраняют в парке отличительные свои знаки, как если бы человек ни во что здесь не вмешивался, как если бы глушь вновь и вновь обступала их со всех сторон, принимая по необходимости их очертания и напластовываясь на творения человеческих рук. Так, в конце аллеи, спускавшейся к искусственному пруду, образовался двухслойный, сплетенный из незабудок и барвинка изящный естественный голубой венок, окружавший светотень водной поверхности, а над посконником и водяными лютиками на мокрых ножках, с царственною

небрежностью склоняя мечи, простирал взлохмаченные фиолетовые и желтые, в виде лилий, цветы своего прудового скипетра шпажник.

Отъезд мадемуазель Сван устранял грозную возможность увидеть в аллее эту счастливицу, которая дружит с Берготом и осматривает с ним соборы, которая узна́ет меня и обдаст презрением, но от этого мне уже не так хотелось полюбоваться Тансонвилем, на что я впервые получил разрешение, а в глазах дедушки и отца это обстоятельство, по-видимому, напротив, придавало усадьбе Свана особый уют, недолговечную прелесть; оно было для них все равно что безоблачное небо во время похода в горы: благодаря ему день оказывался исключительно благоприятным для прогулки в этом направлении; я мечтал, чтобы их расчеты не оправдались, чтобы каким-нибудь чудом мадемуазель Сван и ее отец внезапно выросли перед нами, так что мы не успели бы скрыться и нам волей-неволей пришлось бы с ней познакомиться. Вот почему, когда я обнаружил на траве знак возможного ее присутствия: забытую корзинку и рядом удочку, поплавок которой дрожал на воде, я постарался отвлечь от этого внимания отца и деда. Впрочем, Сван ведь нам говорил, что ему неудобно уезжать,

потому что к нему приехали родственники, а значит, удочка могла принадлежать кому-нибудь из гостей. В аллеях не было слышно ничьих шагов. Рассекая высоту какого-то неведомого дерева, невидимая птица, чтобы убить время, проверяла с помощью протяжной ноты окружавшую ее пустынность, но получала от нее столь дружный отклик, получала столь решительный отпор затишья и покоя, что можно было подумать, будто птица, стремившаяся, чтобы это мгновение как можно скорей прошло, остановила его навсегда. Солнечный свет, падавший с неподвижного небосвода, был до того беспощаден, что хотелось исчезнуть из его поля зрения; даже стоячая вода в пруду, чей сон беспрестанно нарушали мошки, — вода, грезившая, по всей вероятности, о каком-нибудь сказочном Мальстрёме[109], — и та усиливала тревогу, которую вызвал во мне пробковый поплавок: я думал, что вот сейчас его понесет с бешеной скоростью по безмолвным просторам неба, отражавшегося в пруду; казалось, стоявший почти вертикально поплавок сию секунду погрузится в воду, и я уже спрашивал себя: может быть, отрешившись от желания и

[109] Примечания: 109

Мальстрём — сильное морское течение в Атлантическом океане у берегов Норвегии.

от страха познакомиться с мадемуазель Сван, я должен сообщить ей, что рыба клюет, но мне пришлось бегом догонять звавших меня отца и деда, которых удивляло, что я не пошел за ними по ведущей в поля тропинке, куда они уже свернули. Над тропинкой роился запах боярышника. Изгородь напоминала ряд часовен, погребенных под снопами цветов, наваленными на престолы; у престолов, на земле, солнечные лучи, как бы пройдя сквозь витражи, вычерчивали световые квадратики; от часовен исходило елейное, одного и того же состава благоухание, словно я стоял перед алтарем во имя Пречистой Девы, а цветы, такие же нарядные, как там, с рассеянным видом держали по яркому букетику тычинок, похожих на тонкие лучистые стрелки «пламенеющей» готики, что прорезают в церквах ограду амвона или средники оконных рам, но только здесь они цвели телесной белизной цветков земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся в сравнении с ними цветы шиповника, которые несколько недель спустя оденутся в розовые блузки из гладкого шелка, распахивающиеся от дуновения ветерка, и тоже станут подниматься на солнце по этой же заглохшей тропе!

Однако я напрасно останавливался перед бо-

ярышником, чтобы вобрать в себя этот незримый, особенный запах, чтобы попытаться осмыслить его, — хотя моя мысль не знала, что с ним делать, — чтобы утратить его, чтобы вновь обрести, чтобы слиться с тем ритмом, что там и сям разбрасывал цветы боярышника с юношеской легкостью, через неожиданные промежутки, как неожиданны бывают иные музыкальные интервалы, — цветы с неиссякаемою щедростью, неустанно одаряли меня своим очарованием, но не давали мне углубиться в него, подобно мелодиям, которые проигрываешь сто раз подряд, так и не приблизившись к постижению их тайны. Я отходил от них — и снова со свежими силами начинал наступление. Я отыскивал глазами за изгородью, на крутой горе, за которой начинались поля, всеми забытые маки, из-за своей лени отставшие от других васильки, чьи цветы местами украшали склоны горы, напоминая бордюр ковра, где лишь слегка намечен деревенский мотив, который восторжествует уже на самом панно; еще редкие, разбросанные, подобно стоящим на отшибе домам, которые, однако, уже возвещают приближение города, они возвещали мне бескрайний простор, где колышутся хлеба, где барашками курчавятся облака, а при взгляде

на одинокий мак, водрузивший на своей мачте трепещущий на ветру, над черным маслянистым бакеном, красный вымпел, у меня учащенно билось сердце, как у путешественника, замечающего в низине первую потерпевшую крушение лодку, которую чинит конопатчик, и, ничего еще больше не видя, восклицающего: «Море!»

Затем я возвращался к боярышнику, — так возвращаются к произведениям искусства, ибо, по нашему мнению, они производят более сильное впечатление после того, как некоторое время на них не смотришь, но я напрасно делал из своих рук экран, чтобы перед моими глазами был только боярышник: чувство, какое он пробуждал во мне, оставалось смутным и неопределенным, и оно тщетно пыталось высвободиться и слиться с цветами. Цветы боярышника не проливали света на мое чувство, а другие цветы не насыщали его. И вот, когда я испытывал радость, переполняющую нас при виде картины любимого художника — картины, не похожей на те, которые были известны нам прежде, — или когда нас подводят к картине, которую мы раньше видели у него в карандаше, или когда музыкальное произведение, которое нам до этого проигрывали на рояле, предстает перед нами облаченным в цвета ор-

кестра, меня подозвал дед и, показав на изгородь тансонвильского парка, сказал: «Ты любишь боярышник — погляди-ка на этот розовый куст: какая красота!» В самом деле: это был боярышник, но только розовый, еще красивее белого. Он тоже был в праздничном уборе, в одном из тех, какие надевают в настоящие праздники, то есть в праздники церковные, ибо они тем и отличаются от праздников светских, что случайная прихоть не приурочивает их к дням, для них не предназначенным, в которых ничего праздничного, по существу, и нет, но только убор его был еще богаче, потому что цветы, лепившиеся на его ветвях, одни над другими, точно помпончики, увешивающие пастуший посох в стиле рококо и унизывавшие весь куст, были «красочные», следовательно, по законам комбрейской эстетики, — высшего качества, если судить о ней по шкале цен в «магазине» на площади или у Камю, где самыми дорогими бисквитами были розовые. Да я и сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть такой, куда мне позволяли положить давленой земляники. Эти цветы избрали окраску съедобной вещи или изящного украшения в наряде, надеваемом по большим праздникам, — окраску, которая именно потому,

что детям ясно, в чем ее преимущество, с полной очевидностью представляется им самой красивой, и по той же причине они неизменно отдают ей предпочтение как самой, на их взгляд, живой и самой естественной, даже когда они узнают, что цветы эти ничего лакомого им не сулят и что портниха не прикрепляла их к платью. И впрямь: я сразу почувствовал, как и при виде белого боярышника, но только с бóльшим восторгом, что праздничное настроение передается цветами не искусственно, подобно ухищрениям человеческой выделки, — что так, непосредственно, с наивностью деревенской торговки, украшающей переносный престол, выразила его сама природа, перегрузив куст чересчур нежного оттенка розетками в стиле провинциального «помпадур». На концах ветвей, как на розовых кустиках в горшках, обернутых в бумагу с вырезанными зубчиками, — кустиках, по большим праздникам распускающих на престоле тонкие свои волоконца, — кишели полураскрытые бутончики более бледной окраски, а внутри этих бутончиков, словно на дне чаши из розового мрамора, виднелись ярко-красные пятнышки, — вот почему бутоны, в еще большей степени, чем цветы, обнаруживали особенную, пленительную сущность боярышни-

ка, которая, где бы он ни распускался, где бы он ни зацветал, могла быть только розовой. Составлявший часть изгороди и все же отличавшийся от нее, как отличается девушка в праздничном платье от одетых по-домашнему, которые никуда не собираются, вполне готовый для майских богородичных богослужений, он уже словно участвовал в них — так, в новом розовом наряде, сиял, улыбаясь, этот дивный католический куст.

Сквозь изгородь была видна аллея парка, обсаженная жасмином, анютиными глазами и вербеной, между ними левкои раскрывали свои новенькие розовые сумочки, душистые и сухие, как будто сделанные из старой кордов-ской кожи, а на самой аллее, усыпанной гравием, из дырочек выкрашенного в зеленый цвет длинного рукава, разматывавшего свои круги, взметывался над цветами, аромат которых он впитывал, вертикальный, призматический веер разноцветных капелек. Вдруг я остановился, я не мог сделать ни шагу дальше, как это бывает, когда явление не просто открывается нашему взору, но требует более глубокого восприятия и овладевает всем нашим существом. Подняв лицо, усеянное розовыми крапинками, на нас смотрела рыженькая девочка, по-видимому, вернувшаяся с прогулки

и державшая в руке копалку. Черные ее глаза блестели, но я не умел тогда, да так потом и не научился, выделять из сильного впечатления объективные элементы, я не отличался тем, что называется «наблюдательностью», необходимой для того, чтобы точно определить цвет ее глаз, а потому всякий раз, как я о ней думал, блеск этих глаз долго еще рисовался в моей памяти ярко-голубым, потому что девочка была блондинка, а если б глаза у нее были не такие черные, особенно поражавшие своей чернотой при первой встрече, я бы, может статься, так не влюбился в эти глаза, показавшиеся мне голубыми.

Сначала я смотрел на нее не только взглядом — передатчиком для глаз, но и взглядом-окном, куда с тревожным изумлением глядят все чувства, взглядом, которому не терпится коснуться, покорить, унести с собой созерцаемое им тело, а вместе с телом и душу; потом, из боязни, что каждую секунду дед и отец, заметив девочку, могут оторвать меня от нее, сказать, чтобы я шел впереди, я стал смотреть на нее уже другим взглядом, бессознательно умоляющим, взглядом, который старался обратить на меня ее внимание, заставить ее познакомиться со мной. Девочка устремила свои зрачки сперва вперед, потом

вбок, чтобы получить представление о моем деде и отце, и, по всей вероятности, мы произвели на нее жалкое впечатление, потому что она с равнодушно-пренебрежительным видом отвернулась, чтобы моему деду и отцу было не видно ее лицо; и они ее не заметили и, продолжая свой путь, обогнали меня, а она, насколько хватал ее глаз, метала взгляды в мою сторону, не придавая им никакого особого выражения и не видя меня, однако смотрела она пристально и с полуулыбкой, которую я на основании полученных мною понятий о благовоспитанности не мог истолковать иначе, как доказательство обидного презрения; а рука ее в это время едва уловимо выписывала непристойный жест, имевший в словарике приличий, который я всегда носил в себе, — если этот жест обращен публично к незнакомому лицу, — одноединственное значение: значение умышленного оскорбления.

— Жильберта, иди же сюда! Что ты там делаешь? — резким, повелительным тоном крикнула дама в белом, которую я никогда раньше не видел, а поблизости от нее стоял незнакомый мне господин в полотняном костюме и, вытаращив глаза, смотрел на меня; мгновенно смахнув с лица улыбку, девочка взяла копалку и, не оборачива-

ясь в мою сторону, с покорным, непроницаемым и таинственным видом удалилась.

Так произнесенное неподалеку от меня имя Жильберта было мне вручено как некий талисман, который, вероятно, поможет мне впоследствии отыскать ту, что благодаря ему из смутного образа только что превратилась в определенную личность. Так промелькнуло оно над жасмином и левкоями, терпкое, свежее, словно капельки, вытекавшие из зеленого рукава, насыщая, расцвечивая зону чистого воздуха, через которую оно прошло и которую оно отгородило тайною жизни той, кого могли так называть жившие, путешествовавшие с нею счастливцы, — промелькнуло, раскрывая передо мной, сквозь розовый боярышник, на уровне моего плеча, суть столь мучительных для меня отношений между этими людьми и ею вместе со всем неведомым, что таила в себе ее жизнь, и мне недоступным.

На мгновение (пока мы удалялись и мой дед бормотал: «Бедный Сван! Какую роль они заставляют его играть! Его выпроводили, чтобы она могла побыть со своим Шарлю, — ведь это Шарлю, я его узнал! А девчушка должна смотреть на всю эту грязь!») впечатление, произведенное на меня деспотическим, не допускающим возра-

жений тоном, каким мать Жильберты говорила с ней, тем самым показывая, что Жильберта обязана кого-то слушаться, что она не царит над всем, утишило мою душевную боль, подало мне слабую надежду и уменьшило мою любовь. Но очень скоро любовь выросла снова как противодействие: мое униженное сердце пыталось или подняться до уровня Жильберты, или низвести ее до моего уровня. Я любил ее, мне было жаль, что я не успел и не нашелся чем обидеть ее, как сделать ей больно и оставить по себе память. Она казалась мне такой красивой, что хотелось вернуться и, поведя плечами, крикнуть ей: «Какая вы уродина, до чего же вы безобразны, до чего же вы мне противны!» Тем не менее я уходил все дальше и дальше, унося с собой навсегда, словно символ счастья, в силу незыблемых законов природы недоступного таким детям, как я, образ рыженькой девочки с розовыми крапинками на лице, державшей в руке копалку и долго водившей по мне, улыбаясь, загадочным и безразличным взглядом. И вот уже очарование, которым ее имя, как фимиамом, окурило то место, где мы, глядя друг на друга сквозь боярышник, услышали его одновременно, охватывало, пропитывало, овевало своим благоуханием все, что ее окружало: ее

дедушку и бабушку, с которыми мои дедушка и бабушка имели несказанное счастье быть знакомы, благородную профессию биржевого маклера, унылый квартал Елисейских полей, где она жила в Париже.

«Леония! — вернувшись с прогулки, сказал дедушка. — Жаль, что тебя не было с нами. Ты бы не узнала Тансовиля. Будь я посмелей, я бы срезал для тебя ветку розового боярышника — ты ведь так его любила!» Дедушка подробно рассказал тете Леонии о нашей прогулке — быть может, чтобы развлечь ее, а быть может, потому что он еще не окончательно утратил надежду вытащить ее погулять. В былое время она очень любила эту усадьбу, да и потом, когда двери ее дома были закрыты для всех, последний, кого она еще принимала, был Сван. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он теперь осведомлялся о ее здоровье (из всех нас ему только с ней и хотелось повидаться), что сейчас она устала, но что в следующий раз она его примет, — тем же тоном она сказала в тот вечер: «Да, как-нибудь, в хорошую погоду, я проедусь в экипаже до ворот парка». Говорила она это искренне. Она с удовольствием еще раз увидела бы Свана и Тансонвиль, но самое желание поглощало последние

ее силы; исполнение желания было ей уже не по силам. Иногда хорошая погода приободряла ее, она вставала, одевалась; но она уставала, еще не дойдя до соседней комнаты, и требовала, чтобы ее уложили в постель. Для нее уже начиналось — раньше, чем для других, — великое отречение старости, готовящейся к смерти, прячущейся в свою куколку, то отречение, какое можно наблюдать в конце жизни каждого человека, который зажился, даже у самых давних и страстных любовников, у друзей, связанных теснейшими узами духовной дружбы, когда, по прошествии стольких-то лет, они вдруг перестают ездить или даже просто выходить из дому, чтобы повидаться, перестают переписываться, ибо отдают себе отчет, что в этом мире общение для них кончено. Тетя, наверное, ясно сознавала, что она больше не увидит Свана, что она никогда больше не выйдет из своего дома, но это окончательное заточение она, видимо, переносила довольно легко по той причине, по которой, на наш взгляд, оно должно было бы быть для нас особенно мучительным: ее заточение вызывалось уменьшением сил, которое она замечала в себе ежедневно и вследствие которого всякое действие, всякое движение утомляло ее, превращалось для нее в пытку, а

бездействие, уединение, молчание приобретало укрепляющую, благодатную сладость покоя.

Тетя так и не поехала посмотреть изгородь из розового боярышника, но я поминутно спрашивал моих родных, поедет она или нет и часто ли она бывала раньше в Тансонвиле: этим я старался вызвать их на разговор о родителях и о дедушке и бабушке мадемуазель Сван, которых я себе представлял великими, как боги. Имя Свана стало для меня почти мифологическим, и, когда я говорил с родными, я томился желанием услышать его из их уст; сам я не осмеливался произнести его, но я нарочно заводил разговор на темы, касавшиеся Жильберты и ее семьи, имевшие к ней прямое отношение, не отгонявшие меня прочь от нее: так, например, притворившись, будто я убежден, что должность дедушки до него занимал кто-то еще в нашей семье или же что изгородь из розового боярышника, которую хотелось посмотреть тете Леонии, находилась на общественной земле, я вынуждал отца поправлять меня, говорить как бы наперекор мне, как бы по своей доброй воле: «Да нет же, это была должность отца *Свана*, эта изгородь составляет часть парка *Свана*». Тут я переводил дух — так это имя давило на то место во мне, где оно было начертано навсегда, так оно

душило меня, ибо в тот момент, когда я его слышал, оно казалось мне весомее всякого другого: оно утяжелялось всякий раз, как я, еще до этого разговора, мысленно произносил его. Оно доставляло мне наслаждение, которое я, преодолевая стыд, выпросил у родных, — наслаждение это было так велико, что, наверно, требовало от них крайних усилий, усилий не вознаграждавшихся, поскольку для них это не было наслаждением. И я из деликатности переводил разговор на другие темы. А еще из-за своей щепетильности. Когда родные произносили имя Сван, я вновь обретал в нем то обаяние, которое у меня было с ним связано. И тогда мне вдруг приходило в голову, что эти обольщения возникают и перед моими родными, что родные становятся на мою точку зрения, что от них не укрылись мои мечты, что они мне их прощают, что они их разделяют, и я чувствовал себя таким несчастным, как если б я их сломил и развратил.

В тот год мои родители решили вернуться в Париж несколько раньше обычного и в день отъезда, утром, собрались повести меня к фотографу, но, прежде чем повести, завили мне волосы, в первый раз осторожно надели на меня шляпу и нарядили в бархатную курточку, а некоторое

время спустя моя мать после долгих поисков наконец нашла меня плачущим на тропинке, идущей мимо Тансонвиля: я прощался с боярышником, обнимая колючие ветки, и, не испытывая ни малейшей благодарности к надоедливой руке, выпустившей мне на лоб кудряшки, я, как героиня трагедии — принцесса, которую давят ненужные украшения, топтал сорванные с головы папильотки и новую шляпу. Мои слезы не тронули мать, но она невольно вскрикнула при виде испорченной прически и разодранной куртки. Я не слышал, что она кричит. «Милые мои цветочки! — причитал я. — Это не вы меня огорчаете, не вы меня увозите. Вы — вы никогда не обижали меня! За это я всегда буду вас любить». И, вытирая слезы, я обещал им, что когда вырасту большой, то не буду вести глупый образ жизни, какой ведут другие, и, даже живя в Париже, весной, вместо того чтобы ездить с визитами и слушать всякую чепуху, буду вырываться в окрестности, только чтобы взглянуть на первые цветы боярышника.

Выйдя в поля, мы уже не расставались с ними во все время прогулки по направлению к Мезеглизу. По ним бродягой-невидимкой беспрестанно пробегал ветер, который я считал добрым гением

Комбре. Каждый год по приезде я непременно выходил из дому, и тут я чувствовал, что я действительно в Комбре: ветер вновь обегáл складки моего плаща и подгонял меня в спину. Если идти по направлению к Мезеглизу, по возвышенности, где на протяжении нескольких миль не встретишь ни одной неровности почвы, ветер всегда дует попутный. Я знал, что мадемуазель Сван часто ездила на несколько дней в Лан, и хотя до него было не близко, расстояние казалось не таким большим благодаря полному отсутствию препятствий, и когда, в жаркие дни, я видел, как ветер, прилетевший из чуть видных пределов, там, далеко-далеко, клонит к земле хлеба, разливается волной по всему неоглядному простору и, теплый, шуршащий, ложится меж эспарцетом и клевером у моих ног, то эта общая для нас обоих равнина, казалось, сближала, соединяла нас; я думал, что тот же самый ветер провеял мимо нее, что он принес мне от нее весточку, но только я не могу разобрать, о чем он шепчет, и я целовал его на лету. Слева было село Шампье (*Campus Pagani*[110], как объяснял священник). Справа, за хлебами, виднелись резные шпили сельского

[110] Примечания: 110
Языческое поле (*лат.*).

храма Андрея Первозванного-в-полях: то были два острых, чешуйчатых, ячеистых, гильошированных, желтоватых, зернистых шпиля, похожих на колосья.

На равном расстоянии одна от другой яблони раскрывали широкие белые атласные лепестки, неподражаемо орнаментированные листьями, которые не спутаешь с листьями никакого другого фруктового дерева, или свешивали робкие букетики розовеющих бутонов. Идя именно по направлению к Мезеглизу, я впервые заметил круглую тень, которую бросают яблони на залитую солнцем землю, и призрачные шелковые золотистые нити — закат наклонно прял их под листьями яблонь, а мой отец у меня на глазах пытался разорвать их тросточкой, но они оставались на прежнем месте.

Иной раз по полуденному небу украдкой, без всякой торжественности, белая, словно облачко, скользила луна: так не занятая в спектакле актриса, надев свое обиходное платье, нарочно тушуясь, чтобы не обращать на себя внимание, забегает на минутку в зрительный зал посмотреть на товарищей. Я любил отыскивать ее изображение на картинах и в книгах, но эти произведения, попадавшиеся мне, во всяком слу-

чае, до того как Блок приучил мой глаз и мысль воспринимать более тонкую гармонию, резко отличались от тех, в которых луна показалась бы мне красивой сейчас и в которых я не узнал бы ее тогда. Это был, например, роман Сентина[111] или пейзаж Глейра[112], где она серебряным серпом отчетливо вырисовывается на небе, словом, одно из творений, которые были так же до наивности несовершенны, как мое тогдашнее художественное восприятие, и мое пристрастие к которым возмущало сестер бабушки. Они считали, что надо с детства воспитывать вкус на произведениях, которые по-настоящему начинаешь любить уже в зрелом возрасте. Вне всякого сомнения, они представляли себе художественные достоинства в виде материальных предметов, которые только слепой может не заметить, — медленное вызревание в твоем сердце соответствующих способностей здесь, мол, не обязательно.

Когда мы шли по направлению к Мезеглизу, то в Монжувене, на берегу большого пруда, у

[111] Примечания: 111

Сентин, Жозеф Ксавье Бонифаций (1798–1865) — французский романист и драматург. В XIX веке огромной популярностью пользовался его роман «Пикколо».

[112] Примечания: 112

Глейр, Шарль Габриэль (1808–1874) — швейцарский художник академической школы.

поросшего кустарником холма, нам виден был дом Вентейля. Мы здесь часто встречали его дочь — она мчалась в двуколке и сама правила. С некоторых пор она стала появляться вместе со своей старшей подругой, о которой в наших краях шла дурная слава и которая вдруг окончательно поселилась в Монжувене. Это вызвало толки: «Должно быть, бедняга Вентейль совсем ослеп — он не обращает внимания на все, что про нее рассказывают, и позволяет дочери — а ведь ее оскорбляет всякое „не к месту сказанное“ слово — жить под одной крышей с подобной женщиной! Он говорит, что она прекрасный человек, что у нее золотое сердце и что если б она развивала свои музыкальные способности, то из нее вышла бы выдающаяся пианистка. Он может быть уверен, что с его дочерью она занимается не музыкой». Вентейль утверждал, что именно музыкой; в самом деле, вот что замечательно: особа, находящаяся в телесной близости с другой, всегда вызывает восхищение у родственников этой последней душевными своими качествами. Плотская любовь, совершенно несправедливо очерненная, столь властно заставляет человека растрачивать весь имеющийся у него запас доброты и самоотверженности, что эти его свой-

ства бросаются в глаза непосредственному его окружению. Доктор Перспье, которому густой бас и густые брови предоставляли возможность, сколько ему заблагорассудится, играть не подходившую к его внешним данным роль злоязычника, нимало не подрывая своей прочной и незаслуженной репутации добродушного ворчуна, умел насмешить до слез священника и кого угодно. «Так вот в чем дело, — грубым тоном говорил он. — Оказывается, она со своей подругой, мадемуазель Вентейль, занимается музыкой. Вы, я вижу, удивлены. Я-то ничего не знаю. Мне об этом сказал вчера сам папаша Вентейль. В конце концов, эта девица имеет полное право любить музыку. Я, например, против того, чтобы мешать развитию артистических способностей у детей. Вентейль, как видно, тоже. Да ведь он и сам занимается музыкой с подругой своей дочери. Не дом, а музыкальная школа, ей-богу! Чего вы смеетесь? Я хочу только сказать, что они чересчур увлекаются музыкой. На днях я встретил папашу Вентейля около кладбища. Он еле брел».

Тем, кто, как мы, замечали, что Вентейль избегает встреч со своими знакомыми, а завидев их, отворачивается, что он постарел за последние месяцы, что он весь погружен в свое горе, что у него

одна-единственная цель в жизни: счастье дочери, что он проводит все дни на могиле жены, — нетрудно было догадаться, что он скоро умрет от горя и что до него не могут не доходить толки. Он знал, что́ говорят, и, может быть, даже верил слухам. Видимо, нет такого высоконравственного человека, которого сложность обстоятельств не заставила бы жить бок о бок с пороком, хотя бы он самым решительным образом его осуждал, но только он не сразу узнаёт его под маской необыкновенного, которую тот надевает, чтобы войти к нему в доверие, а потом причинить ему боль: под маской непонятных слов, сказанных однажды вечером, необъяснимого поведения существа, которое он за многое любит. Для такого человека, как Вентейль, должно было быть особенно мучительно мириться с одним из положений, которые неправильно считаются уделом мира богемы: эти положения возникают всякий раз, как порок испытывает потребность обеспечить себе убежище и безопасность, причем порок этот развивается в человеке сызмала, и развивает его сама природа, иной раз просто-напросто смешивая достоинства отца и матери, как она смешивает цвет их глаз. Но то, что Вентейль, может статься, был осведомлен о поведении дочери, не мешало ему

по-прежнему боготворить ее. Фактам недоступен мир наших верований — не они их породили, не они и разрушают их; они вольны самым настойчивым образом опровергать их, но это их не подрывает, — целая лавина бед или болезней, беспрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит ее усомниться в божьем милосердии или в искусстве врача. Но когда Вентейль, думая о дочери и о себе, вспоминал о своей репутации, когда он мысленно пытался вновь занять вместе с дочерью то место, которое им обоим отводило общественное мнение, он судил себя и дочь точно таким же судом, каким судил бы их наиболее враждебно настроенный к ним житель Комбре, ему представлялось, что он и его дочь опустились на самое дно, и в его манерах стала проглядывать униженность, почтительность к вышестоящим лицам, на которых он смотрел теперь снизу вверх (хотя еще так недавно они были гораздо ниже его), стремление подняться до них — словом, то, что является почти неизбежным следствием падения. Как-то раз, когда мы со Сваном шли по одной из комбрейских улиц, из-за угла вышел Вентейль и налетел на нас, и тут Сван с вызывающей отзывчивостью светского человека, отрешившегося от всяких предрассудков

в области морали и усматривающего в позоре другого человека лишь повод выказать к нему благожелательность, проявление которой тем больше льстит самолюбию проявляющего ее, что он чувствует, насколько она дорога опозоренному, завел с Вентейлем длинный разговор, хотя до этой встречи не сказал с ним и двух слов, и, перед тем как распрощаться, попросил его как-нибудь прислать свою дочь в Тансонвиль, чтобы она поиграла. Два года назад подобное приглашение возмутило бы Вентейля, а сейчас он был преисполнен благодарности и только из скромности счел за нужное не принять его. Любезность Свана по отношению к его дочери уже сама по себе казалась ему благородной и неоцененной нравственной поддержкой, и он рассудил, что, пожалуй, лучше не прибегать к ней, а зато получать чисто платоническое наслаждение от сознания, что она у тебя есть.

— Какой прелестный человек! — когда Сван с нами расстался, сказал Вентейль с тем благоговейным восторгом, какой испытывают умные и красивые мещанки, преклоняющиеся перед герцогиней и находящиеся под ее обаянием, хотя бы она была уродлива и глупа. — Какой прелестный человек! И какое несчастье — эта его неудачная

женитьба!

И тут — в силу того, что лицемерие укореняется в душе у самых чистосердечных людей и они, разговаривая с кем-либо, не выказывают своего истинного отношения к нему, а стоит ему отойти, и они говорят то, что думают, — мои родные вместе с Вентейлем пожалели неудачно женившегося Свана во имя тех принципов и приличий, которые якобы не нарушались в Монжувене, — именно потому, что они с Вентейлем смотрели на вещи одинаково, как порядочные люди одной породы, они делали вид, что это сомнению не подлежит. Вентейль так и не послал дочь к Свану. И об этом особенно жалел Сван. Расставшись с Вентейлем, он всякий раз вспоминал, что давно уже собирается у него спросить про одного человека, который, как он предполагал, приходился Вентейлю родственником. И он твердо решил не забыть узнать про него, когда дочь Вентейля придет в Тансонвиль.

Прогулка по направлению к Мезеглизу была короче другой нашей прогулки в окрестности Комбре, и в неустойчивую погоду мы предпочитали ходить туда, а так как там все-таки часто перепадали дожди, то мы никогда не теряли из виду опушки русенвильского леса, в чаще кото-

рого можно было укрыться.

Солнце часто пряталось за облаком, изменяло его форму и позлащало края. Казалось, будто вся жизнь замирала на равнине, утрачивавшей блеск, но не освещение, а в это время сельцо Русенвиль с удручающей четкостью и тщательностью вырезывало на небе рельеф своих белых гребней. Легкий порыв ветра срывал ворона с дерева, и ворон пропадал вдали, а напротив белеющего края небес синели дальние леса, словно нарисованные на картинах в одну краску, висящих в простенках старых домов.

А иногда шел дождь, которым грозила нам настурция в витрине у оптика; капли падали с неба сомкнутым строем, какой соблюдают перелетные птицы, пускающиеся в путь одновременно. Они не отрывались одна от другой, они не падали наугад в стремительном своем низвержении, — нет, каждая, не теряя своего места в строю, увлекала за собой следующую, и небо от этого становилось еще темнее, чем при отлете ласточек. Мы прятались в лесу. Но вот уж и кончился, по-видимому, их перелет, и теперь только редкие капли, более слабые, более медлительные, все еще прибывали. Мы покидаем наше убежище, оттого что каплям хорошо на листьях, — земля почти уже высохла,

а капли не спешат: сверкая под лучами солнца, они нежатся на жилках у самого края, а затем соскальзывают с высоты ветки прямо нам на нос.

Часто мы укрывались от дождя вперемежку со святыми и библейскими патриархами на паперти Андрея Первозванного. Какая это была французская церковь! Святые, короли-рыцари с лилией в руке, бракосочетания и похороны были изображены так, как их могла бы себе представить Франсуаза. Еще скульптор рассказал анекдоты об Аристотеле и Вергилии в том же духе, в каком Франсуаза с удовольствием толковала на кухне о Людовике Святом, точно она была с ним знакома, — толковала обыкновенно для того, чтобы пристыдить сопоставлением дедушку и бабушку, которые были не такие «справедливые». Чувствовалось, что представления средневекового художника и средневековой крестьянки (дожившей до XIX века) о древнем и христианском мире, в одинаковой мере неточные и простодушные, были почерпнуты не из книг, а из предания, старинного и непосредственного, не прерывавшегося, устного, искаженного, неузнаваемого и живого. Еще одного обитателя Комбре, тайно преображенного, я узнавал в готической скульптуре Андрея Первозванного-в-полях: это был Теодор,

мальчик, служивший у Камю. И я не ошибался: Франсуаза так остро ощущала в нем отчий край и своего современника, что, когда тетя Леония тяжело заболевала и Франсуаза была не в силах без посторонней помощи ворочать ее на постели и переносить в кресло, она предпочитала звать Теодора — лишь бы не дать судомойке подняться к тете, а то она еще, не дай бог, «покажется» госпоже. И вот этот малый, с полным основанием стяжавший себе славу паршивца, был преисполнен духа, веявшего от Андрея Первозванного, и, в частности, почтения, которое Франсуаза считала необходимым проявлять к «несчастным больным», к своей «несчастной госпоже», и, когда Теодор приподнимал тетину голову, его лицо принимало наивное и ревностное выражение, как на барельефах у ангелочков, теснившихся со свечками в руках вокруг Божьей Матери в час ее успения, и вид у ангелочков был такой, как будто эти высеченные из камня лики, серые и голые, были, точно деревья, погружены в зимнюю спячку, точно они копят силы, чтобы потом ожить и вновь зацвести бесчисленными крестьянскими лицами, благочестивыми и хитрыми, как у Теодора, раскрашенными румянцем спелого яблока. Еще там была, но только не лепившаяся, как анге-

лочки, к каменной стене, а, чтобы предохранить ноги от сырости, словно на табурете стоявшая у паперти на постаменте, какая-то святая выше человеческого роста, круглолицая, полногрудая, грудью натягивавшая покров, подобно тому как гроздь спелого винограда натягивает мешок, с узким лбом, с курносым и задорным носом, с глубоко сидевшими глазами, со здоровым, загрубелым и бестревожным лицом, как у местной крестьянки. Это сходство, неожиданно для меня очеловечивавшее статую, нередко удостоверяла деревенская девушка, как и мы, припрятавшаяся от дождя, и ее присутствие, наводившее на мысль о листьях ползучего растения, обвивающегося вокруг листьев, высеченных из камня, словно имело целью дать нам возможность путем сравнения с природой судить о том, насколько правдиво произведение искусства. Вдали, перед нами — земля обетованная, а быть может, проклятая Богом: Русенвиль, и вот этот Русенвиль, в стенах которого я никогда не был, то, когда дождь здесь уже не шел, все еще подвергался каре, подобно библейскому селению, и его осыпáли косые стрелы ливня, впивавшиеся в жилища, то получал прощение от Бога-отца, который ниспускал на него неодинаковой длины золотые

бахромчатые стебли своего вновь показавшегося солнца, напоминавшие лучи на потире.

Бывало и так, что погода портилась безнадежно, — тогда уж ничего не оставалось делать, как возвращаться и сидеть дома. В сумраке и от влажного воздуха равнина становилась похожей на море, а вдалеке одинокие дома, разбросанные по склону холма, погруженного во тьму и в воду, сверкали, словно кораблики, свернувшие паруса и заночевавшие в открытом море. Но что такое дождь, что такое гроза! Летом дурная погода — это всего лишь скоропреходящее, поверхностное раздражение погоды хорошей, глубоко залегающей и постоянной, резко отличающейся от неустойчивой и быстротечной зимней погоды, ибо летнее вёдро, установившееся и оплотневающее в виде густой листвы, которую поливает дождь, не портя, однако, ее стойкого и неизменного в своей жизнерадостности настроения, на весь сезон повесило на улицах городка, на стенах домов и садовых оградах лиловые и белые шелковые флаги. Читая перед обедом в маленькой гостиной, я слышал, как струилась с наших каштанов вода, но я знал, что ливень только лакирует листья и что они провисят на ветвях всю дождливую ночь как залоги лета, обеспечивающие непрерывность

хорошей погоды; я знал, что дождь волен идти сколько угодно — все равно завтра над белой оградой Тансонвиля будут колыхаться столь же многочисленные, как и сегодня, «сердечки» листиков; и у меня не болела душа, когда я видел, как тополь на улице де Першан просит у грозы пощады и в отчаянии склоняется перед ней; у меня не болела душа, когда из глубины сада до моего слуха доносились последние раскаты грома, рокотавшего в кустах сирени.

Если хмурилось уже с утра, мои родные не гуляли, и я сидел дома. В такие дни я потом ходил один по направлению к Мезеглиз-ла-Винез, но это было уже в ту осень, когда нам пришлось съездить в Комбре по поводу наследства тети Леонии, потому что она наконец умерла, и смерть ее была торжеством как для тех, кто утверждал, что нездоровый образ жизни в конце концов сведет ее в могилу, так и для тех, кто всегда держался мнения, что ее заболевание не воображаемое, а органическое, бесспорное наличие которого теперь, когда она скончалась, не могут не признать даже скептики, но никого особенно не огорчила, за исключением одного-единственного существа; зато для него это было страшное горе. Последние две недели Франсуаза ни на шаг не

отходила от умирающей тети, не раздевалась, никому не позволяла за ней ухаживать и до самого погребения не расставалась с ее телом. Тут только мы поняли, что вечный страх, который внушали Франсуазе упреки моей тети, ее подозрения, вспышки развили у Франсуазы чувство, которое мы принимали за ненависть, но которое на самом деле представляло собой преклонение и любовь. Истинной ее повелительницы, чьи намерения невозможно было предугадать, чьи козни трудно было расстроить, чье доброе сердце легко было смягчить, ее владычицы, ее загадочной и всемогущей монархини не стало. Мы теперь мало что для нее значили. Прошло время, когда, проводя каникулы в Комбре, мы пользовались у Франсуазы таким же уважением, как и тетя. В ту осень у моих родителей все время уходило на разные формальности, на переговоры с нотариусами, фермерами, так что гулять им было некогда, да и погода не благоприятствовала, поэтому они отпускали меня одного пройтись по направлению к Мезеглизу, закутывая от дождя в длинный плед, который я тем охотнее накидывал на плечи, что шотландские его клеточки, как я чувствовал, оскорбляли Франсуазу, ибо мысль, что цвет одежды не имеет никакого отноше-

ния к человеческому горю, была недоступна ее пониманию, да и вообще она была недовольна нами за то, что мы, по ее мнению, недостаточно тяжело переживаем кончину тети: ведь мы же не устроили торжественного поминального обеда, говорили о ней обыкновенным тоном, а я даже иногда напевал. Я убежден, что в книге — этим я был похож на Франсуазу — подобное представление о горе в духе «Песни о Роланде» и изваяний на паперти Андрея Первозванного-в-полях вызвало бы у меня сочувствие. Но когда Франсуаза была тут, злой дух наущал меня рассердить ее, и я при всяком удобном случае говорил ей, что жалею тетю, так как она, несмотря на ее чудачества, была хорошая женщина, а совсем не потому, что она моя тетя, — будь она другим человеком, я бы ее терпеть не мог и ее смерть меня бы нисколько не огорчила, а между тем в книге такие рассуждения показались бы мне вздорными.

Если Франсуаза, подобно поэту, полная неясных мыслей о скорби, полная семейных преданий, оправдывалась, что не может опровергнуть мои теории, и говорила: «Я не больно речиста», — мой насмешливый и грубый здравый смысл, достойный здравого смысла доктора Перспье, выслушав это признание, торжествовал; если же она

добавляла: «Все-таки она ваша родильница, родильницу завсегда надо почитать» — я пожимал плечами и говорил себе: «Что мне за охота ввязываться в спор с безграмотной женщиной, которая путает слова!» — так, судя Франсуазу, я разделял узкий взгляд тех, что в сценах обыденной жизни отлично играют роль людей, рассуждающих беспристрастно, а на самом-то деле относящихся к себе подобным с глубочайшим презрением.

В ту осень прогулки были мне тем более приятны, что я выходил из дому, несколько часов подряд просидев за книгой. Устав читать все утро в комнате, я накидывал плед и уходил; мое тело, вынужденное долгое время сохранять неподвижное положение и накапливавшее, сидя на месте, живость и быстроту, теперь, как пущенный волчок, испытывало потребность растрачивать их без малейшего удержу. Стены домов, тансонвильская изгородь, деревья в русенвильском лесу, кусты, к которым прислонился Монжувен, получали удары зонтом или тросточкой, слышали радостные крики: и в ударах, и в криках находили выражение смутные мысли, волновавшие меня и не обретавшие покоя в уяснении, — вот почему они предпочитали медленному и трудному просветлению наслаждение легче дающегося

мгновенного взрыва. Большинство мнимых толкований того, что мы ощущаем, есть не что иное, как наше стремление отделаться от них, заставить их выйти из нас в таком расплывчатом обличье, которое мешает нам постичь их. Пытаясь отдать себе отчет, чем я обязан прогулкам по направлению к Мезеглизу, пытаясь осмыслить скромные открытия, для которых они служили случайной рамкой или на которые они меня вдохновляли, я припоминаю, что именно в ту осень, на прогулке, возле заросшего кустарником холма, прикрывающего Монжувен, я впервые был поражен несоответствием между нашими впечатлениями и обычным их выражением. После часовой веселой борьбы с дождем и ветром я вышел на берег монжувенского пруда, к лачуге, крытой черепицей, где садовник Вентейля хранил свой инструмент, и тут внезапно проглянуло солнце, и его вымытая ливнем позолота заблестела как новенькая на небе, на деревьях, на стене лачуги, на ее еще мокрой черепичной крыше, по гребню которой прогуливалась курица. Ветер заставлял проросшие на стене травинки принимать горизонтальное положение и раздувал перья на курице, так что и травинки, и перья отдавались на волю ветра до самого своего

основания с покорностью неодушевленных, невесомых предметов. Черепичная крыша провела в пруду, который вновь стал прозрачным, розовую прожилку — прежде я на нее не обращал внимания. Увидев на воде и на стене бледную улыбку, отвечавшую улыбке солнца, я, размахивая сложенным зонтом, в полном восторге закричал: «Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты!» Но я тут же почувствовал, что не имею права довольствоваться этими ничего не значащими словами, что я должен пристальнее вглядеться в мое восхищение.

И в это самое мгновение — благодаря проходившему мимо крестьянину с уже довольно угрюмым выражением лица и ставшим еще угрюмее после того, как я чуть-чуть не ткнул его зонтом в лицо, вследствие чего на мои слова: «В такую славную погоду приятно прогуляться, правда?» — он ответил кисло, — я понял еще, что одни и те же чувства не рождаются у разных людей одновременно, в предуказанном порядке. Впоследствии, всякий раз, когда после долгого чтения мне припадала охота поговорить, товарищ, с которым мне не терпелось перекинуться словом, уже наговорился всласть и теперь мечтал об одном: чтобы ему не мешали читать. А если я с нежностью думал о моих родных, если

я принимал наиблагоразумнейшие решения, которые должны были бы особенно порадовать их, то именно в это время они узнавали о моем давно мной забытом грешке и, когда я бросался их целовать, делали мне строгий выговор.

Иной раз к возбуждению, вызванному одиночеством, примешивалось иного рода возбуждение, и я не знал, какое из них предпочесть: это другое возбуждение возникало из желания неожиданно увидеть крестьянку и сдавить ее в объятиях. Вызываемое этим желанием радостное чувство рождалось внезапно, когда у меня в голове роились самые разные мысли, так что я не успевал точно определить, откуда оно, и я воображал, что это высшая степень наслаждения, которое я получал от мыслей. Я находил дополнительную прелесть во всем, что сейчас входило в мое сознание: в розовом отблеске черепичной крыши, в траве на стене хижины, в Русенвиле, куда меня тянуло уже давно, в его лесу, в колокольне его церкви, в том необычном смятении, благодаря которому все эти явления становились еще желаннее: ведь мне казалось, будто они-то и вызывают во мне смятение и будто единственная цель этого смятения — как можно скорее, надувая мой парус сильным, мне неведомым попутным ветром, перенести меня

к ним. Жажда встречи с женщиной прибавляла в моих глазах к очарованию природы нечто еще более возбуждающее, зато очарование природы расширяло ограниченное очарование женщины. В моем представлении красота деревьев была вместе с тем и ее красотой, а ее поцелуй должен был раскрыть мне душу этих далей, душу Русенвиля, душу прочитанных в этом году книг; мое воображение черпало силы в соприкосновении с чувственностью, между тем как чувственность охватывала все области воображения, и моя жажда была уже неутолима. Вот почему — так бывает, когда нам случается замечтаться на лоне природы, когда действие привычки приостанавливается, а наши отвлеченные представления о вещах отходят на второй план и мы начинаем глубоко верить в неповторимость мест, где мы находимся, в то, что они живут своей, особенной жизнью, — я видел в прохожей, которую пыталось притянуть к себе мое желание, не просто представительницу некоего общего типа, типа женщины, но вызываемое необходимостью, естественное порождение именно этой земли. Надо заметить, что земля и живые существа — все, что не было мною, — казались мне тогда более ценными, более значительными, живущими более

реальной жизнью, чем это представляется людям уже сложившимся. Землю от живых существ я не отделял. Я вожделел к крестьянке из Мезеглиза или из Русенвиля, к рыбачке из Бальбека так же, как вожделел к самому Мезеглизу или Бальбеку. Если б я мог произвольно изменить обстановку, наслаждение, какого я ожидал от этих женщин, показалось бы мне менее подлинным, я бы утратил веру в него. Сблизиться в Париже с рыбачкой из Бальбека или с крестьянкой из Мезеглиза — это было для меня все равно что получить в подарок от кого-нибудь раковины, которые я никогда не видел на берегу моря, или папоротник, который я никогда не видел в лесу, это значило бы отнять у наслаждения, какое доставила бы мне женщина, те наслаждения, среди которых мне его представляло воображение. Но бродить по русенвильским лесам и не обнять крестьянку — это было все равно что не знать, где схоронен клад в этих лесах, не знать, в чем глубина их красоты. Я рисовал себе эту девушку не иначе как в теневых пятнах, которыми ее покрывали листья, да и вся она была для меня местным растением, но только высшей породы и чье строение дает возможность с особенной силой ощутить глубокое своеобразие здешних мест. Мне тем легче было

в это верить (как и в то, что ее ласки, которые помогли бы мне почувствовать это своеобразие, тоже были бы необыкновенными и доставили бы мне наслаждение, какого с другой женщиной мне бы не изведать), что я долго пребывал в том возрасте, когда это наслаждение мы еще не отделяем от обладания разными женщинами, с которыми мы его испытали, когда оно еще не стало для нас общим понятием, порождающим взгляд на женщин как на сменяющиеся орудия всегда одинакового наслаждения. В том возрасте это наслаждение не существует даже как нечто обособленное, отъединенное, как осознанная цель сближения с женщиной, как причина его предвестницы — тревоги. Мы даже вряд ли мечтаем о нем, как обычно мечтают о предвкушаемом наслаждении; мы всё готовы приписать обаянию женщины: ведь мы же не думаем о себе — мы думаем, как бы выйти за пределы своего «я». Неясно предощущаемое, неискоренимое, затаенное, это наслаждение в тот миг, когда мы его испытываем, обладает только одной способностью: доводить наслаждения от нежных взглядов, от поцелуев той, что сейчас с нами, до такого исступления, что главным образом мы сами воспринимаем его как нечто близкое восторженной благодарности

нашей подруге за ее доброту и за трогательное предпочтение, которое она оказала нам и которое мы измеряем ее милостями, тем счастьем, каким она одаряет нас.

Увы, напрасно я молил башню русенвильского замка послать мне навстречу какую-нибудь юную сельчанку, — взывал же я к башне, потому что она была единственной моей наперсницей, которой я поверял первые мои желания, и, глядя с верху нашего дома в Комбре, из пахнувшей ирисом комнатки, и только эту башню и видя в четырехугольнике полуотворенного окна, испытывал героические колебания путешественника, отправляющегося в неведомые края, или человека, в отчаянии решившегося на самоубийство, и, изнемогая, прокладывал в себе самом новую дорогу, казавшуюся мне дорогою смерти, прокладывал до тех пор, пока на листьях дикой смородины, тянувшихся ко мне, не намечался некий естественный след, напоминавший след, оставляемый улиткой. Напрасно я обращался к башне с мольбой во время прогулки. Напрасно впивался взглядом в окрестности, надеясь, что он притянет женщину. Так я мог дойти до самого Андрея Первозванного-в-полях; я не встречал крестьяночку, которая неизменно попадалась

мне на пути, когда я шел с дедом и не мог заговорить с ней. Я бесконечно долго смотрел на ствол далекого дерева, из-за которого она показывалась и потом шла мне навстречу; обнятая моим взглядом, даль по-прежнему оставалась безлюдной; темнело; теперь мое внимание уже ничего не ожидало и все-таки не отвлекалось от бесплодной почвы, от истощенной земли как бы в чаянии таящихся под нею живых существ; и уже не весело, а в ярости ударял я по деревьям русенвильского леса, из-за которых никто не появлялся, точно это были деревья, нарисованные на полотне панорамы, — ударял до тех пор, пока, — хоть и трудно мне было примириться с мыслью, что я вернусь домой, так и не сжав в объятиях желанную женщину, — вынужденный сознаться, что случайная встреча становится все менее вероятной, не поворачивал назад, в Комбре. А если бы даже я и повстречался с женщиной, отважился ли бы я заговорить с ней? Я боялся, как бы она не подумала, что я сумасшедший; я уже не верил, что другие поймут меня, я уже не верил, что желания, возникавшие у меня во время прогулок и никогда не осуществлявшиеся, не утрачивают своей подлинности вовне. Теперь они представали передо мной как чисто субъективные, хилые,

призрачные создания моего темперамента. У них уже не было связи с природой, с действительностью, которая теперь теряла в моих глазах всякое очарование, всякое значение и превращалась в условную рамку моей жизни — наподобие той, какою служит для вымысла, воплощенного в романе, вагон, на скамейке которого пассажир читает, чтобы убить время.

Быть может, на основе впечатления, которое явилось у меня тоже неподалеку от Монжувена, но только несколько лет спустя, — впечатления, тогда еще смутного, — я гораздо позже составил себе представление о садизме. Дальше будет видно, что в силу совсем других причин воспоминание об этом впечатлении сыграет важную роль в моей жизни. Это было в очень жаркую пору; родители уезжали на целый день и разрешили мне погулять подольше; и вот, дойдя до монжувенского пруда, чтобы полюбоваться отражением черепичной крыши, я лег и заснул под кустом, на холме, возвышавшемся над домом, там, где я поджидал отца, когда он заходил к Вентейлю. Проснулся я, когда почти уже совсем стемнело, хотел было встать, но увидел мадемуазель Вентейль (узнал я ее с трудом, так как встречался с ней в Комбре не часто, да и то когда она была

девочкой, а теперь она уже превращалась в девушку): должно быть, она только что пришла домой и стояла передо мной, совсем близко, в той комнате, где ее отец принимал моего отца и где она теперь устроила себе маленькую гостиную. Окно было приотворено, лампа горела, мне было видно каждое движение мадемуазель Вентейль, а она меня не видела, но если бы я двинулся и затрещали бы кусты, она услышала бы и подумала, что я за ней подсматривал.

Ее отец недавно умер, и она была в глубоком трауре. Мы у нее не были: мою мать удержала одна-единственная добродетель, способная ставить предел ее отзывчивости: нравственность, но ей было глубоко жаль сиротку. Мама помнила грустный конец жизни Вентейля, сперва всецело поглощенного заботами матери и няньки, которых он заменял своей дочери, потом — горем, какое причинила ему дочь; мама так и видела перед собой страдальческое выражение, последнее время не сходившее с лица старика; ей было известно, что он не стал переписывать набело свои произведения последних лет — слабенькие вещицы старого учителя музыки, бывшего сельского органиста, о которых у нас было такое мнение, что сами по себе они не представляют большой

ценности, но мы не отзывались о них пренебрежительно потому, что они были очень дороги самому Вентейлю: они составляли смысл его жизни до того, как он посвятил свою жизнь дочери, хотя бóльшую их часть он даже не записывал, а держал в памяти, те же, что были записаны на клочках, прочтению не поддавались, и ожидала их безвестность; моя мать не могла отделаться также от мысли о другом, еще более жестоком ударе, постигшем Вентейля: у него была отнята надежда на честное и почетное счастье дочери; представляя себе всю глубину отчаяния бывшего учителя, дававшего уроки музыки моим тетушкам, она скорбела всей душой и с ужасом думала о той по-иному гнетущей скорби, которая должна была мучить мадемуазель Вентейль, — скорби, к которой постоянно примешивались угрызения совести от сознания, что, в сущности, это она убила отца. «Бедный Вентейль! — говорила моя мать. — Он жил для дочери и умер из-за нее, так и не получив награды. Получит ли он ее после смерти и что это будет за награда? Вознаградить его может только дочь».

В глубине комнаты мадемуазель Вентейль на камине стояла карточка ее отца, и мадемуазель Вентейль быстрым движением взяла ее как раз в

тот момент, когда послышался стук свернувшего с дороги экипажа, затем села на диван, придвинула к себе столик и поставила на него портрет — так Вентейль спешил положить на пюпитр вещицу, которую ему хотелось сыграть моим родителям. Немного погодя вошла ее подруга. Мадемуазель Вентейль, закинув руки за голову, поздоровалась с ней, не вставая, и подвинулась — как видно, для того чтобы та могла сесть на софу. Но она тут же почувствовала, что подруга может это принять за навязчивость. Она подумала: а что, если подруге хочется сесть подальше от нее, на стуле, — тогда это с ее стороны нескромно; ее деликатность страдала; раскинувшись на софе, она закрыла глаза и начала зевать, показывая этим, что легла она только потому, что ее клонит в сон. Под грубой и властной бесцеремонностью ее обращения с подругой я узнавал заискивающие и нерешительные жесты, внезапную робость ее отца. Она тут же встала и сделала такое движение, словно тщетно пыталась закрыть ставни.

— Не закрывай, мне жарко, — сказала подруга.

— Но ведь это противно, нас могут увидеть, — возразила мадемуазель Вентейль.

По всей вероятности, мадемуазель Вентейль боялась, как бы подруга не подумала, что она

сказала это, чтобы вызвать ее на ответ, которого она от нее добивалась, но из скромности предоставляла ей заговорить первой. Вот почему на лице у мадемуазель Вентейль, черты которого я различал смутно, наверное, появилось так нравившееся моей бабушке выражение в то время, как она поспешила добавить:

— Когда я сказала: «Нас могут увидеть», — я имела в виду, что увидят, как мы читаем. Чем бы мы ни занимались, хотя бы самым обыкновенным делом, все равно становится противно от одной мысли, что за нами подсматривают.

По своему врожденному благородству и в силу бессознательной учтивости она удерживала слова, которые готовы были сорваться у нее с языка и без которых ее желание не могло осуществится полностью. И все время в глубине ее души боязливая, молящая девушка заклинала и оттесняла неотесанного солдафона-победителя.

— Да, здесь такое людное место, что на нас, наверное, смотрят, — насмешливо проговорила подруга. — Ну и что ж из этого? — добавила она (считая нужным ласково и лукаво подмигнуть, произнося эти слова нарочито цинично, а произносила она их из добрых чувств, так как знала, что они доставят удовольствие мадемуазель Вен-

тейль). — Если даже и увидят, так тем лучше.

Мадемуазель Вентейль вздрогнула. Ее стыдливое и ранимое сердце не ведало, что́ должно невольно вырваться у нее в соответствии с тем, чего требовали ее чувства. Она пыталась как можно дальше отойти от своей подлинной нравственной природы, найти язык, свойственный порочной девушке, какой она старалась казаться, но она боялась, как бы слова, которые та проговорила бы искренне, в ее устах не прозвучали фальшиво. И в том немногом, что она позволила себе сказать, обычная ее застенчивость пресекала претензии на смелость, и, произносимое неестественным тоном, оно перемежалось с: «Тебе не холодно? Тебе не очень жарко? Тебе не хочется побыть одной и почитать?»

— Я вижу, сегодня у вас, мадемуазель, очень нескромные мысли, — в заключение сказала она фразу, которую, по всей вероятности, слышала от подруги.

Почувствовав, что поцелуй подруги ужалил ее в вырез черной кофточки, мадемуазель Вентейль слабо вскрикнула, вырвалась, и тут обе начали гоняться одна за другой, подпрыгивая, взмахивая широкими рукавами, словно крыльями, щебеча и пища, как влюбленные пичужки. Кончилось тем,

что мадемуазель Вентейль повалилась на диван, а подруга накрыла ее своим телом. Но подруга лежала спиной к столику, на котором стоял портрет бывшего учителя музыки. Мадемуазель Вентейль понимала, что подруга не увидит его, если она не привлечет к нему ее внимания, и она сказала так, словно сама только что заметила его:

— Ах, на нас смотрит портрет отца! Кто же это его сюда поставил? Я двадцать раз говорила, что здесь ему не место.

Я вспомнил, что так говорил Вентейль моему отцу о своих музыкальных произведениях. Наверное, портрет был им необходим для их кощунственного ритуала, потому что подруга ответила мадемуазель Вентейль, по-видимому, на языке их литургии:

— Да оставь ты его, пусть себе стоит, теперь он не станет к нам приставать. Не бойся, он уже не будет скулить, не будете зудеть, чтоб ты надела пальто, когда стоишь у открытого окна. Мерзкая обезьяна!

В тоне мадемуазель Вентейль послышался легкий упрек, когда она сказала: «Да будет тебе, будет тебе!» — упрек, говоривший о ее душевной мягкости, но слова ее не были внушены возмущением по поводу того, как смела подруга так говорить об

ее отце (видимо, она приучила себя — но только при помощи каких софизмов? — подавлять в такие минуты чувство негодования), — эту своего рода узду она, чтобы не показаться эгоисткой, добровольно накладывала на наслаждение, которое ей собиралась доставить подруга. Притом эта улыбчивая сдержанность, которой она отвечала на хулу, этот лицемерный и ласковый упрек, быть может, представлялись бесхитростной и доброй ее душе самым гадким и самым сладостным проявлением той скверны, в которую она стремилась окунуться. Но она не могла устоять против чар наслаждения, которое ей сулили ласки той, что была так безжалостна к беззащитному покойнику; она прыгнула к подруге на колени и целомудренно, точно это была ее родная мать, подставила ей для поцелуя лоб, ощущая блаженство при мысли, что, продолжая глумиться над отцовским чувством Вентейля, хотя он уже в могиле, они выказывают к нему предельную жестокость. Подруга обхватила руками ее голову и поцеловала в лоб, для чего ей не надо было перебарывать себя, потому что она в самом деле относилась к мадемуазель Вентейль с большой нежностью, а еще потому, что ей хотелось внести некоторое оживление в унылую жизнь сироты.

— Знаешь, что бы я сделала с этим старым чучелом? — спросила она и взяла портрет.

И тут она что-то прошептала на ухо мадемуазель Вентейль, но я не расслышал.

— Куда тебе! Смелости не хватит.

— Не хватит смелости плюнуть? Вот на это? — с подчеркнутой грубостью переспросила подруга.

Больше я ничего не слышал, так как мадемуазель Вентейль с усталым, принужденным, деловым, невинным и печальным видом подошла и затворила ставни и окно, но теперь я знал, какую награду получил после смерти Вентейль от дочери за все, что он претерпел из-за нее при жизни.

И все-таки я потом подумал, что если б Вентейль присутствовал при этой сцене, он, может быть, не утратил бы веры в доброту души своей дочери и, может быть, даже был бы отчасти прав. Конечно, во всех замашках мадемуазель Вентейль зло проступало с полной очевидностью, то был верх его совершенства, достигаемый только садисткой; девушку, подбивающую подругу плюнуть на портрет своего отца, который жил только ради нее, скорее можно увидеть при огнях рампы бульварных театров, чем при свете лампы в настоящем деревенском домике, а в жизни садизм

чаще всего лишь закладывает основы эстетики мелодрамы. В действительности, может быть, и найдется такая девушка, в которой ничего от садистки нет и которая, однако, с не меньшей, чем мадемуазель Вентейль, жестокостью надругается над памятью и над волей своего покойного отца, но она не станет издеваться вызывающе, она не сделает жеста, исполненного столь примитивной и столь наивной символики; то, что есть в ее поведении преступного, будет скрыто от постороннего взора и даже от собственного ее взора, потому что она самой себе не призна́ется, что поступает дурно. Но если отрешиться от того, как это выглядело, то, вне всякого сомнения, в сердце мадемуазель Вентейль зло — по крайней мере, на первых порах — было с чем-то перемешано. Садистка такого типа, как она, играет в зло, тогда как насквозь порочное создание не способно играть в зло, потому что зло не находится за пределами его «я», оно представляется ему вполне естественным, зло от него неотделимо; и так как у подобного создания никогда не было культа добродетели, культа памяти усопших, не было дочерней нежности, то осквернение всего этого не доставит ему святотатственного наслаждения. Такие садистки, как мадемуазель

Вентейль, — существа в высшей степени сентиментальные, добродетельные от природы, так что даже в чувственном наслаждении они видят дурное, — считают, что это — для грешников. И если им удается уговорить себя на мгновение предаться злу, то они силятся сами побывать и заставить побывать своих соучастниц в шкуре порока, так, чтобы на мгновение создать себе видимость побега из их совестливой и нежной души в бесчеловечный мир наслажденья. И когда я убедился, насколько это недоступно для мадемуазель Вентейль, я начал понимать, насколько это для нее желанно. В то время, когда она стремилась быть совсем не похожей на отца, ход ее мыслей и манера говорить особенно напоминали старого учителя музыки. С гораздо большим упорством, чем карточку отца, она оскверняла и заставляла служить своим наслаждениям отделявшее ее от них и препятствовавшее ей отдаться им всецело сходство с отцом, голубые глаза матери, которые были переданы ей по наследству, как фамильная драгоценность, и ласковость, разобщавшую мадемуазель Вентейль и ее порок посредством оборотов речи и посредством миропонимания, не созданных для порока и мешавших ей смотреть на него как на нечто совершенно отличное от

многочисленных обязанностей, возлагавшихся на нее вежливостью и вошедших у нее в привычку. Не зло внушало ей мысль о наслаждении, которое казалось ей соблазнительным; само наслаждение казалось ей зловредным. И так как всякий раз, как она ему предавалась, у нее рождались нечистые мысли, в общем чуждые добродетельной ее натуре, то с течением времени она стала находить в наслаждении нечто демоническое, стала отожествлять его со Злом. Быть может, мадемуазель Вентейль чувствовала, что ее подруга испорчена, но не окончательно, и что кощунственные ее речи неискренни. Так или иначе, ей доставляло наслаждение ощущать на своем лице улыбки, взгляды, быть может — лгущие, но своею порочностью и пошлостью доказывавшие, что так улыбаться и смотреть способно существо жестокое и блаженствующее, а не доброе и страдающее. На мгновение мадемуазель Вентейль могла вообразить, что она и впрямь играет с извращенной соучастницей в игры, в какие играла бы дочь, которой действительно была бы ненавистна память отца. Возможно, порок не казался бы ей столь редким, столь необычайным явлением, иной землей, побывав в которой всякий раз чувствуешь себя

посвежевшей, если б она и в себе, и в других умела распознавать равнодушие к причиняемым страданиям, представляющее собой, как бы его ни назвать, страшную и неискоренимую разновидность жестокости.

В прогулке по направлению к Мезеглизу ничего особенно сложного не было, чего нельзя было сказать о прогулке по направлению к Германту, потому что идти туда было далеко и хотелось быть уверенным, что погода не подведет. Когда конца ясным дням не предвиделось; когда Франсуаза, приходившая в отчаяние оттого, что на «бедные всходы» не упало ни капли дождя, и видевшая лишь белые облачка, изредка проплывавшие по безмятежной небесной лазури, охала и ахала: «Ну ни дать ни взять акулы: высунут морды из воды и резвятся! Да разве они думают о том, что надо полить землю дождичком ради горемычных хлебопашцев? А вот когда хлеба нальют колос, тут-то дождь и зарядит не переставая, не глядя, куда он падает, как будто под ним море»; когда мой отец неизменно получал благоприятные ответы от садовника и от барометра, то кто-нибудь говорил за ужином: «Завтра, если погода будет такая же, мы пойдем по направлению к Германту». Тотчас после завтрака мы выходили через садовую

калитку на улицу де Першан, узкую, кривую, заросшую травой, в которой две-три осы целыми днями занимались ботаникой, улицу, столь же своеобразную, как и ее название, откуда, думается мне, и ведут свое происхождение любопытные ее особенности и неприветливое ее обличье, улицу, которую мы тщетно стали бы искать в сегодняшнем Комбре, ибо на ее месте возвышается школа. Но мое воображение (подобно архитекторам школы Виоле-ле-Дюка[113], которые, решив, что они обнаружили под амвоном эпохи Возрождения и алтарем XVII века остатки романского клироса, придают всему храму тот вид, который он будто бы имел в XII веке) камня на камне не оставляет от нового здания, вновь прокладывает и «восстанавливает» улицу де Першан. И то сказать: оно обладает более точными данными для ее воссоздания, чем обыкновенно располагают реставраторы: в моей памяти все еще живут — быть может, последние и обреченные на скорую гибель — образы того, что́ собой представлял Комбре во времена моего детства; и так как это он сам, прежде чем исчезнуть, начертал их во мне,

[113] Примечания: 113

Виоле-ле-Дюк, Эжен (1814–1879) — французский архитектор и историк искусств, много сил отдал реставрации готических замков и храмов (в том числе собора Парижской Богоматери).

то они волнуют меня не меньше — если только можно сравнить неясный снимок со знаменитыми изображениями, репродукции с которых любила дарить мне бабушка, — чем старинные гравюры «Тайной вечери» или же картина Джентиле Беллини[114], на которых перед нами предстает в ныне несуществующем виде шедевр Леонардо да Винчи и портал святого Марка.

Мы шли по Птичьей улице, мимо старой гостиницы «Подстреленная птица», на широкий двор которой в XVIII веке въезжали кареты герцогинь де Монпансье, Германт и Монморанси[115], когда им нужно было быть в Комбре то ли из-за тяжбы с вассалами, то ли чтобы привести их к присяге. Потом мы выходили на бульвар, из-за деревьев которого выглядывала колокольня Св. Илария. И мне хотелось целый день здесь читать, сидя на скамейке, и слушать колокольный звон, — кругом было так хорошо и так тихо, что казалось, будто бой часов не нарушает спокойствия, а

[114] Примечания: 114

…или же картина Джентиле Беллини… — Речь идет о картине Джентиле Беллини «Процессия на площади Святого Марка» (1496), находящейся в Венецианской Академии.

[115] Примечания: 115

…въезжали кареты герцогинь де Монпансье, Германт и Монморанси… — Пруст, по обыкновению, смешивает реальных исторических персонажей (герцогини де Монпансье и Монморанси) с действующими лицами романа (герцогиня де Германт).

только освобождает его от лишней тяжести и что колокольня с вялой и безукоризненной точностью бездельницы давит на безмолвие единственно для того, чтобы в расчисленные ею миги выжимать из его полноты несколько золотых капелек, которые постепенно и непреднамеренно накапливает жара.

Особая прелесть нашей прогулки по направлению к Германту заключалась в том, что почти все время надо было идти берегом Вивоны. Первый раз мы переходили реку через десять минут после начала прогулки по пешеходному, так называемому Старому мосту. Когда мы приезжали в Комбре и если стояла хорошая погода, я уже на другой день — то был первый день Пасхи — после проповеди бежал сюда, чтобы среди беспорядка, какой бывает в большие праздники по утрам, когда рядом с пышными украшениями особенно неказисто выглядят еще не убранные предметы житейского обихода, взглянуть на реку, уже струившую небесно-голубые воды между еще черными и голыми берегами, в сопровождении слишком рано явившихся кустиков первоцвета, до срока распустившихся примул и кое-где выставлявших язычки голубого пламени фиалок, сгибавшихся под тяжестью душистых капель в

их рожках. Старый мост выходил на тропинку бечевника, где летом с обеих ее сторон тянулись ковры голубых листьев орешника, под которым пустил корни рыболов в соломенной шляпе. В Комбре я знал всех наперечет: знал, кто именно из кузнецов надел на себя одежду церковного сторожа, кто именно из мальчиков, находящихся в услужении у бакалейщика, — вон тот певчий в стихаре, а кто такой рыболов — это для меня так и осталось тайной. По-видимому, рыболов был знаком с моими родителями, потому что, когда мы проходили мимо, он приподнимал шляпу; я делал попытку спросить, кто это, но, чтобы я не напугал рыбу, мне делали знак молчать. Мы шли по высокому берегу; противоположный, низкий берег простирал луга до самого городка, даже до вокзала, стоявшего в некотором от него отдалении. В траве прятались останки замка, принадлежавшего древнему роду графов Комбрейских, который в Средние века с этой стороны защищала от нападения государей Германтских и аббатов Мартенвильских Вивона. То были всего-навсего приподнимавшие равнину едва заметные части башен, остатки бойниц, откуда лучник бросал когда-то камни, откуда дозорный наблюдал за Новпоном, Клерфонтеном, Мартенвиль-ле-Секом,

Байо-л'Экзаном, за всеми землями Германтов, в которые вклинивался Комбре, ныне утопавшие в траве, доставшиеся во владение школьникам из Братской школы, прибегавшим сюда учить уроки или поиграть на перемене, — почти ушедшее в землю былое, разлегшееся на берегу реки, точно усталый гуляющий, далеко-далеко переносившее мои думы, заставлявшее меня подразумевать под названием Комбре не только теперешний городок, но и резко отличающийся от него древний город, занимавший мое воображение непонятным и старинным своим обличьем, которое он старался спрятать за лютиками. Лютиков тут было видимо-невидимо — они выбрали это место для своих игр в траве и росли в одиночку, парами, стайками, желтые, как яичный желток, ослепительно блестевшие, так что за невозможностью занести удовольствие, которое они доставляли мне своим видом, в тот разряд, куда мы помещаем все приятное на вкус, я любовался их золотистой поверхностью, пока мой восторг не достигал такой силы, что я обрел способность восхищаться красотой бесполезной; и повелось это с самого раннего моего детства, когда я, только-только сойдя с моста на тропинку бечевника, тянулся к ним, хотя не умел еще выговорить прелестное

сказочное имя этих чужеземцев, прибывших к нам несколько веков тому назад, быть может, из Азии, и навсегда поселившихся близ городка, привыкших к скромным далям, полюбивших солнце и берег реки, не изменяющих унылому виду на вокзал и все-таки, подобно иным нашим старым полотнам, хранящих в своей народной неприхотливости поэтический отблеск Востока.

Я с любопытством смотрел на графины, которые запускали в Вивону ловившие рыбешку мальчуганы; наполнявшиеся речной водой и ею окруженные, они представляли собой и «вместилище» с прозрачными стенками, напоминавшими затвердевшую воду, и «вмещаемое», погруженное в более емкое вместилище из жидкого и текучего хрусталя, и создавали более пленительное и раздражающее впечатление свежести, чем если б стояли на накрытом столе, так как свежесть эта выявлялась только в движении, в непрерывной созвучности неплотной воды, в которой руки не могли ее поймать, и нельющегося стекла, в котором нёбо не насладилось бы ею. Я все хотел пойти туда с удочками; мне давали немного хлеба, остававшегося от завтрака, и я бросал в Вивону хлебные шарики, — казалось, они вызывают в воде явление перенасыщения,

потому что вода мгновенно сгущалась вокруг них яйцевидными гроздьями заморышей-головастиков, до этого невидимых, но, конечно, растворенных в воде и только и ждавших кристаллизации.

Немного дальше Вивоне преграждают путь водяные растения. Сперва попадались одиночки вроде какой-нибудь кувшинки, на свое несчастье выросшей в таком месте, где быстрое течение не давало ей покоя, и она, подобно механически движущемуся парому, приставала к этому берегу и сейчас же возвращалась к тому, — словом, все время снова туда и обратно. Гонимая к одному из берегов, ее цветоножка распрямлялась, удлинялась, вытягивалась, достигала крайнего предела своей растяжимости, и вот тут-то течение подхватывало ее, зеленая снасть скручивалась и возвращала злополучный цветок к его исходному пункту — именно исходному, точнее не определишь, потому что оно, проделывая тот же самый путь, не задерживалось там ни на мгновение. Когда бы я ни пошел туда гулять, я всегда заставал эту кувшинку в том же самом положении, и этим она напоминала иных неврастеников, к числу коих мой дед относил тетю Леонию, — неврастеников, на протяжении многих лет являющих

неизменное зрелище чудны́х привычек, от которых, как им представляется, они не нынче завтра избавятся, но которым они остаются верны всю жизнь; втянутые в шестерню хворей и маний, они прилагают бесплодные усилия к тому, чтобы вырваться из нее, но от этих усилий ломается стопор, а действие их совершенно особенной, непреоборимой и пагубной диететики совершается бесперебойно. Та кувшинка была похожа на одного из несчастных, чьи необычайные, вечные мужи возбуждали любознательность Данте[116], и Данте, конечно, подробнее расспросил бы терзаемого, что именно он чувствует и за какие грехи это терпит, если б Вергилий не уходил далеко вперед и не заставлял Данте бежать за ним бегом, как бежал я за моими родителями.

А дальше река замедляет течение; она проходит по имению, но публику пускал туда владелец — любитель водяных растений, насадивший в прудиках, которые там образует Вивона, целые сады кувшинок. Лесистые в тех местах берега бросали на воду густую тень, и поэтому основной тон воды чаще всего был темно-зеленый; когда же мы шли домой послегрозовым ясным вече-

[116] Примечания: 116

…любознательность Данте… — Намек на «Божественную комедию», в которой поэт, ведомый Вергилием, посещает Ад, Чистилище и Рай.

ром, я видел на воде прозрачную яркую синь, которая отливала лиловью и напоминала эмаль в японском вкусе. Там и сям на водной поверхности краснели, как земляника, цветки кувшинок с пунцовым сердечком, белым по краям. На середине росло больше цветов, но эти цветы были бледнее, не такие глянцевитые, более шершавые, более складчатые, и прихотливая случайность располагала их такими изящными завитками, что казалось, будто это плывут по течению, как после печального опадения галантного празднества, развязавшиеся гирлянды белопенных роз. Один уголок был как будто бы отведен для простых сортов — для напоминавших ночные фиалки, белых с розовым, чистюль, вымытых с домовитою тщательностью, точно фарфоровая посуда, а поодаль некие подобия анютиных глазок теснились, как на плавучей клумбе, и, словно мотыльки, простирали лощеные голубоватые крылышки над прозрачной покатостью этого водного цветника; и небесного цветника тоже, потому что грунт, который он накладывал на водяные цветы, был редкостнее и трогательнее окраски самих цветов; и сверкал ли он под кувшинками в полдень калейдоскопом вдумчивого, безмолвного, уплывающего счастья или, словно

далекий залив, к вечеру розовел и наполнялся мечтательностью заката, — вечно менявшийся, но и всегда созвучавший вокруг венчиков, расцветка которых отличалась большей устойчивостью, со всем, что есть самого глубокого, самого таинственного, со всем, что есть бесконечного во времени, — он создавал впечатление, будто цветы цветут на просторах неба.

Выйдя из парка, Вивона снова бежала быстро. Сколько раз я наблюдал за гребцом, сколько раз я давал себе слово, когда буду жить самостоятельно, брать с него пример: выпустив из рук весла и запрокинув голову, он лежал на спине в лодке, которую уносило течением, видел только небо, медленно проплывавшее над ним, и лицо его выражало предвкушение блаженства и покоя.

Мы садились среди ирисов на берегу. В праздничном небе долго не исчезало из глаз неторопливое облачко. Время от времени в порыве отчаяния, изнемогший от скуки, всплескивал карп. Нам пора было закусить. Рассевшись на траве, мы долго ели фрукты, хлеб, шоколад, и до нас долетали далекие, ослабленные, но все еще густые металлические звуки колокола Св. Илария, и они не растворялись в воздухе, хотя так долго его прорезали, а, расчлененные беспрерывным

колебанием своих волн, дрожали над самыми цветами, у наших ног.

Иной раз мы проходили мимо стоявшего на лесистом берегу дома: это было что-то вроде уединенной, затерянной дачи, ничего на свете не видевшей, кроме катившейся совсем около нее реки. У окошка, упираясь взглядом в причаленную подле двери лодку, стояла молодая женщина, задумчивое лицо и элегантное платье которой указывали на то, что она не здешняя и что она, как говорит народ, «зарылась» в этой глуши, чтобы испытывать горькое наслаждение от сознания, что ее имя, а главное — имя того, чье сердце она не сумела к себе привязать, здесь никому не известны. Услыхав из-за прибрежных деревьев голоса, по которым, еще не видя лиц, она могла догадаться, что прохожие не знают и так никогда и не узнают изменника, что он не оставил следа в их прошлом, что он не будет иметь возможности оставить след в их будущем, она рассеянно поднимала глаза. Чувствовалось, что она по своей доброй воле ушла от мира и, покинув края, где она могла бы, по крайней мере, поглядеть на любимого человека, променяла их на другие, которые ни разу его не видали. От моего взгляда не ускользало, как она, пройдясь

по дороге, где она никоим образом не могла бы с ним встретиться, снимала длинные перчатки со своих смирившихся рук уже ненужным в своем изяществе движением.

Гуляя по направлению к Германту, мы ни разу не дошли до истоков Вивоны, о которых я часто думал и которые представлялись мне чем-то таким отвлеченным, таким баснословным, что, услыхав, что они находятся в нашем департаменте, в нескольких километрах от Комбре, я был так же изумлен, как в тот день, когда узнал, что на земле в самом деле есть такое место, где в древние времена открывался вход в преисподнюю. Не доходили мы и до предела, которого мне так хотелось достичь, — до самого Германта. Я знал, что там стоит замок герцога и герцогини Германтских, знал, что это живые люди, существующие в действительности, однако всякий раз, как я о них думал, я представлял их себе то на гобелене, такими, какою была изображена графиня Германтская в нашей церкви в «Венчании Есфири на царство», то — в переливах красок, каким представал Жильберт Дурной на витраже, где из капустно-зеленого он становился сливно-синим в зависимости от того, погружал ли я еще руку в святую воду или подходил к нашим стульям,

то совсем бестелесными, как образ Женевьевы Брабантской, родоначальницы Гер-мантов, которую волшебный фонарь водил по занавескам в моей комнате или заставлял подниматься на потолок, — словом, неизменно окутанными тайной меровингских времен и купавшимися, словно в сиянии заката, в оранжевом свете, что излучал этот слог: «ант». Несмотря ни на что, они, просто как герцог и герцогиня, были для меня живыми, хотя и необыкновенными людьми, зато герцогская их сущность расширялась до бесконечности, обезвествлялась для того, чтобы вместить в себя Германт, где они были герцогом и герцогиней, все осиянное солнцем «направление к Германту», Вивону, кувшинки, тенистые деревья и столько прекрасных дней. И еще мне было известно, что они не только герцог и герцогиня Германтские: начиная с XIV столетия, после безуспешных попыток одолеть прежних своих сеньоров, герцоги Германтские, породнившись с ними, стали также графами Комбрейскими, следовательно — первыми гражданами Комбре и в то же время единственными из граждан, здесь не жившими: графами Комбрейскими, сделавшими Комбре частью своего имени, частью своей личности и, разумеется, впитавшими в себя присущую лишь

Комбре особую, молитвенную грусть; владельцами всего города, а не какого-то одного дома, жившими, разумеется, наружи, на улице, между небом и землей, как Жильберт Германтский, на которого я, подняв голову, смотрел, когда шел за солью к Камю, и видел на витраже абсиды Св. Илария только покрытую черным лаком оборотную сторону.

Гуляя по направлению к Германту, я проходил иногда мимо сырых садов, откуда свешивались гроздья темных цветов. Я останавливался около них в надежде приобрести какое-нибудь ценное познание: я полагал, что передо мной часть приречной местности, которую мне так захотелось изучить после того, как я прочел ее описание у одного из моих любимых авторов. И вот, когда я услыхал от доктора Перспье о цветах и о чудесных ключах в замковом парке, я мысленно отожествил Германт, которому мое воображение придало другой вид, с этой местностью, с этой изрезанной бурлящими потоками землей. Я рисовал себе, что герцогиня Германтская, на которую вдруг нашла любовная блажь, пригласила меня к себе; целый день мы с ней ловили форелей. А вечером шли с ней под руку мимо садиков ее вассалов, и она сообщала мне названия

цветов, свешивавших над низкой оградой мотки фиолетового и красного шелка. Герцогиня заговаривала о моих будущих стихах. И эти мечты напоминали мне, что раз я хочу быть писателем, то пора решить, о чем писать. Однако стоило мне задать себе этот вопрос, как только я пытался выбрать тему, в которую я мог бы вложить глубочайший философский смысл, мой ум переставал работать, мысленный взор уходил в пустоту, мне казалось, что у меня нет таланта или что какая-то болезнь мозга не дает ему развиться. Иногда я надеялся на отца. Он был так всемогущ, к нему так благоволили влиятельные лица, что он преступал законы, которые Франсуаза научила меня считать более незыблемыми, чем законы жизни и смерти, например: ему одному во всем квартале дозволялось отложить на год «штукатурку» дома, он исхлопатывал у министра для сына г-жи Сазра, собиравшейся на воды, разрешение держать выпускные экзамены за два месяца до срока, вместе с теми, чьи фамилии начинались на «А», не дожидаясь очереди «С». Если б я тяжело заболел, если б меня похитили разбойники, то, уповая на прочность связей отца в высших кругах, на силу его рекомендательных писем к господу Богу, я смотрел бы на свою болезнь или

на плен как на бредовые явления, не опасные для меня, и спокойно дожидался бы, когда настанет час моего неизбежного возвращения к отрадной действительности, час моего освобождения или же выздоровления; так вот, возможно, что отсутствие таланта, эта черная дыра, зиявшая в моем уме, когда я думал, о чем же мне писать, — это тоже ни на чем не основанный домысел, который отпадет благодаря вмешательству отца: он попросит за меня правительство и провидение, и я стану самым крупным писателем нашего времени. Но когда мои родители выходили из терпения, оттого что я от них отставал, моя теперешняя жизнь уже не представлялась мне творением моего отца, которое он мог как угодно переиначивать, — она была как бы заключена в некую беспощадную реальность, созданную не для меня, внутри которой у меня не было союзников и которая ничем не располагала вовне. В такие минуты я склонялся к мысли, что я такой же, как и все, что я состарюсь, что я умру, как и все, и что я принадлежу к числу людей, у которых нет литературных способностей. Я падал духом и навсегда отрекался от литературы, несмотря на то что Блок пытался воодушевить меня. Это внутреннее непосредственное ощущение бессилия

моей мысли брало верх над всеми лестными словами, кто бы их ни расточал: так в злодее берут верх угрызения совести, хотя все восторгаются его благодеяниями.

Как-то раз моя мать сказала мне: «Ты все толкуешь про герцогиню Германтскую, — так вот, четыре года назад доктор Перспье вылечил ее, и она приедет к Комбре на свадьбу его дочери. Ты можешь увидеть ее во время венчания». Чаще всего я слышал о герцогине Германтской именно от доктора Перспье, и он же показал нам номер журнала, где художник написал ее в том платье, в каком она была на костюмированном балу у принцессы Леонской.

И вот во время венчания церковный сторож перешел на другое место, и это дало мне возможность увидеть сидевшую в одном из приделов белокурую даму с большим носом, с прыщиком под крылом носа, с голубыми проницательными глазами; на шее у нее был воздушный шарф из гладкого, нового, блестящего сиреневого шелка. И так как на ее лице, красном, по-видимому оттого, что ей было очень жарко, я различал расплывающиеся, едва уловимые черточки сходства с портретом в журнале, так как то, что я обнаружил в ней наиболее характерного, я мог

бы определить в тех же выражениях, что и доктор Перспье, описывавший при мне герцогиню Германтскую: большой нос, голубые глаза, то я подумал: «Эта дама похожа на герцогиню Германтскую»; находилась она в приделе Жильберта Дурного, под плоскими могильными плитами которого, золотистыми и вытянувшимися в длину, как пчелиные соты, покоились графы Брабантские, а мне запомнились чьи-то слова, что когда кто-нибудь из членов семьи Гер-мантов должен присутствовать в комбрейском храме на торжественной службе, то для него оставляют место именно в этом приделе; по всей вероятности, другой женщины, похожей на портрет госпожи Германтской, сегодня, как раз когда ее ждали, в приделе Жильберта Дурного быть не могло: это она! Я был глубоко разочарован. Думая прежде о герцогине Германтской, я ни разу не поймал себя на том, что воображение рисует мне ее на гобелене или витраже, переносит ее в другое столетие, творит ее не из того вещества, из какого сделаны другие люди, — вот чем было вызвано мое разочарование. Мне никогда бы не пришло в голову, что у нее могут быть красные щеки, сиреневый шарф, как у г-жи Сазра, да и овалом лица она живо напоминала мне некоторых моих

домашних, в связи с чем у меня закралось подозрение — впрочем, тут же рассеявшееся, — что эта дама в своей первооснове, во всех своих молекулах, пожалуй, существенно отличается от герцогини Германтской, что ее тело, не имеющее понятия о том, какой у нее титул, принадлежит к определенному женскому типу, к которому могут относиться и жены врачей и коммерсантов. «Так это и есть герцогиня Германтская?» — наверное, читалось на моем лице, пока я внимательно и изумленно рассматривал ее облик, естественно, ничего общего не имевший с теми, которые под именем герцогини Германтской столько раз являлись мне в мечтах, потому что вот этот облик, в отличие от других, не был создан по моему хотению — он только что бросился мне в глаза впервые, в церкви; потому что его природа была иная; потому что его нельзя было окрасить в любой цвет, как те, что покорно впивали в себя оранжевый оттенок одного-единственного слога, — он был до того реален, что все в нем, вплоть до прыщика, рдевшего под крылом носа, удостоверяло его подвластность законам жизни, подобно тому как в театральном апофеозе морщинка на платье феи или дрожание ее мизинца обличают материальную сущность живой ак-

трисы, а если б не это, нас бы взяло сомнение: не проекция ли это волшебного фонаря?

В то же время к этому облику, чей крупный нос и проницательные глаза прикололи к себе мой взгляд (потому, быть может, что они с самого начала поразили его, что они сделали в нем первую зарубку, когда я еще не успел подумать, не герцогиня ли Германтская эта возникшая передо мною женщина), к облику, еще совсем свежему, не изменявшемуся, я пытался прикрепить мысль: «Это герцогиня Германтская», но я терпел неудачу: мысль вращалась рядом с обликом — так, на некотором расстоянии один от другого, вращаются два диска. Но теперь, когда я убедился, что та самая герцогиня Германтская, которую я так часто видел в мечтах, действительно существует, отдельно от меня, она еще сильнее пленила мое воображение, — на миг оцепенев от столкновения с действительностью, обманувшей мои ожидания, оно опомнилось и стало нашептывать мне: «Германты, стяжавшие славу еще до Карла Великого, были вольны в жизни и смерти своих вассалов; герцогиня Германтская ведет свое происхождение от Женевьевы Брабантской. Она незнакома и ни за что не станет знакомиться ни с кем из тех, кто сейчас в церкви».

И — о чудотворная независимость человеческих взоров, держащихся на такой слабо натянутой, на такой длинной, на такой растяжимой нити, что они могут разгуливать свободно, вдали от лица! — в то время, как герцогиня Германтская сидела над могильными плитами предков, взор ее бродил, поднимался по колоннам, останавливался даже на мне, подобно солнечному лучу, скользящему по нефу, но только такому лучу, который в тот миг, когда он меня ласкал, представлялся мне осмысленным. А сама герцогиня Германтская сидела неподвижно, точно мать, которая делает вид, что не замечает дерзких шалостей и невоспитанности своих детей, играющих и заговаривающих с незнакомыми ей людьми, и я не мог догадаться, одобряет она или порицает — сейчас, когда ее душа бездействует, — блуждание своих взглядов.

Я боялся, как бы она не ушла прежде, чем я на нее вволю не нагляжусь, — ведь я уже несколько лет страстно мечтал увидеть ее, — и я не спускал с нее глаз, как будто каждый мой взгляд обладал способностью на самом деле унести и сохранить во мне воспоминание о крупном носе, о красных щеках, о всех особенностях, которые, как мне казалось, дают ценное и точное представление о

своеобразии ее наружности. Теперь, когда все мои мысли о ней внушали мне, что она прекрасна, и, быть может, не столько мысли, сколько своего рода инстинкт сохранения лучшего, что есть в нас самих, стремление во что бы то ни стало избежать разочарования, — и я отделял ее (ведь она и та герцогиня Германтская, которую я до этого вызывал в своем воображении, были сейчас одним и тем же лицом) от остального человечества, тогда как бесхитростное, простодушное созерцание ее тела на миг слило ее с ним, — теперь меня возмущали толки о ней: «Она лучше госпожи Сазра, мадемуазель Вентейль» — как будто ее можно было сравнивать с ними! И, останавливая взгляд на светлых ее волосах, на голубых глазах, на выгибе ее шеи и не обращая внимания на черты, которые могли мне напомнить другие лица, я мысленно восклицал, изучая этот преднамеренно неоконченный набросок: «Как она прекрасна! Как в ней чувствуется порода! Передо мной и впрямь горделивая Германт, из рода Женевьевы Брабантской!» И мое внимание, освещавшее ее лицо, до такой степени обособляло его, что, восстанавливая в памяти венчание, я уже никого не вижу, кроме нее и сторожа, ответившего утвердительно на мой вопрос, не герцогиня ли Германтская

эта дама. Но особенно ясно я вижу ее, когда все проследовали в ризницу, которую по временам озаряло проглядывавшее сквозь облака солнце этого ветреного и грозового дня и где превосходство герцогини Германтской перед всеми этими окружившими ее комбрейцами, про которых она не могла бы даже сказать, как их зовут, было до того несомненно, что герцогиня не испытывала к ним ничего, кроме самой искренней симпатии, а кроме того, она надеялась, что приветливостью и простотой произведет на них еще более сильное впечатление. Герцогиня не имела возможности излучать взгляды, куда ей хочется, и придавать им определенное выражение, как смотрят на знакомого человека, — ее рассеянные мысли уносило неиссякаемым потоком голубого света, который она не в силах была преградить, и она старалась никого не стеснять, держалась так, чтобы про нее не подумали, будто она презирает людишек, которых этот поток встречал на своем пути, которых он задевал поминутно. Я, как сейчас, вижу над пышным шелковым сиреневым шарфом ее ласково удивленные глаза, выражение которых она дополняла несмелой улыбкой, не предназначавшейся никому в отдельности, рассчитанной на то, чтобы каждый мог восполь-

зоваться ее частицей, — несмелой улыбкой жены сюзерена, которая в чем-то извиняется перед своими вассалами и которая их любит. Я смотрел на герцогиню не отрываясь, и наконец ее улыбка упала и на меня. Тут я вспомнил взгляд, который она остановила на мне во время службы, голубой, как луч солнца, прошедший сквозь витраж с Жильбертом Дурным, и сказал себе: «Ну конечно, она меня заметила!» Я вообразил, что понравился ей, что, уйдя из церкви, она будет думать обо мне и что, быть может, нынче вечером, в Германте, ей станет без меня грустно. И я полюбил ее, ибо для того, чтобы мы полюбили женщину, иногда достаточно бывает ее презрительного взгляда, обращенного на нас, каким на меня, казалось, смотрела мадемуазель Сван, достаточно подумать, что она никогда не будет принадлежать нам, а иногда достаточно бывает ее доброго взгляда, каким смотрела герцогиня Германтская, достаточно подумать, что она может принадлежать нам. Ее глаза голубели, как барвинок, и этот барвинок нельзя было сорвать, но предназначала она его мне; а солнце, хотя его и грозила накрыть туча, пока, напрягая все свои силы, забрасывало стрелами лучей площадь и ризницу, окрашивало в цвет герани разостлан-

ные для пущей торжественности красные ковры, по которым с улыбкой ступала герцогиня Германтская, и добавляло к их шерсти розовую бархатистость, вносило в праздничное ликование особую мягкость, строгую нежность, какою проникнуты иные места в «Лоэнгрине»[117], иные картины Карпаччо[118] и которая объясняет нам, почему Бодлер применяет к звуку трубы эпитет «сладостный»[119].

Как часто после этого дня, во время прогулок по направлению к Германту, я еще сильнее, чем прежде, горевал из-за того, что у меня нет способностей к литературе и что я вынужден навсегда оставить надежду стать знаменитым писателем! Думая об этом наедине с самим собой, я испытывал мучительную боль, и, для того чтобы эта боль утихла, мой разум как бы своею властью накладывал запрет на скорбь и совершенно переставал думать о стихах, о романах, о писательском пути,

---

[117] Примечания: 117

«Лоэнгрин» (1848) — опера Рихарда Вагнера.

[118] Примечания: 118

Карпаччо, Витторе (1455–1525) — итальянский живописец венецианской школы.

[119] Примечания: 119

…почему Бодлер применяет к звуку трубы эпитет «сладостный». — Речь идет о стихотворении Шарля Бодлера (1821–1867) «Неожиданное» из сборника «Цветы зла».

о котором я не смел мечтать из-за отсутствия дарования. В такие минуты, вне всякой зависимости от моих мыслей о литературе, без всякой связи с ними, вдруг крыша какого-нибудь строения, игра солнечного света на камне или запах дороги доставляли мне такое наслаждение и такой у них был загадочный вид — будто они таят в себе нечто недоступное моему зрению, будто они готовы мне это отдать, да вот только я никакими силами не могу это обнаружить, — такой загадочный, что я невольно останавливался. Я чувствовал, что они в себе это содержат, и потому стоял как вкопанный, смотрел во все глаза, глубоко дышал, стремился провести мою мысль сквозь образ, сквозь запах. Если же мне нужно было догнать деда, нужно было идти дальше, я шел с закрытыми глазами; я старался запечатлеть в памяти очертания крыши, цвет камня, ибо мне, неизвестно почему, казалось, что их переполняет желание приоткрыться и оделить меня тем, для чего они служат лишь оболочкой. Понятно, эти впечатления не могли вернуть мне надежду стать когда-нибудь прозаиком и поэтом — ведь они всегда были связаны с предметом, лишенным интеллектуальной ценности и не заключавшим в себе отвлеченной истины. Во вся-

ком случае, они доставляли мне иррациональное наслаждение, создавали иллюзию оплодотворенности, разгоняли мою тоску, и у меня проходило чувство бессилия, которое я испытывал всякий раз, когда искал философскую тему для крупного произведения. Однако долг моей совести перед впечатлениями от формы, от аромата или же от цвета — долг, состоявший в том, чтобы постараться уловить скрывавшееся за ними, — был до того тяжек, что я недолго искал повода не исполнять его через силу и сбросить с себя эту обузу. На мое счастье, меня звали родные, я чувствовал, что сейчас я недостаточно спокоен, чтобы с толком продолжать исследование, и что лучше до возвращения домой вовсе об этом не думать и пока что попусту не растрачивать сил. Словом, я уже не пытался распознать неведомое, облекавшееся в форму или же в запах, и это меня нисколько не беспокоило, потому что я знал, что под покровом образов я донесу его до дому живым, — так, когда меня отпускали на рыбную ловлю, я приносил свой улов в корзинке, прикрыв его сверху травой, благодаря которой рыба сохраняла свежесть. Дома я думал о чем-нибудь другом, и в моем сознании накоплялись (как у меня в комнате цветы, которые я срывал во время прогулок,

или вещицы, которые мне дарили) камень с отблеском солнечного света, крыша, колокольный звон, запах листьев, множество разных образов, но прежде я ощущал за ними жизнь — у меня только не хватило силы воли ее обнаружить, — а теперь оказывалось, что эта жизнь давным-давно от них отлетела. Впрочем, однажды — когда мы загулялись и были очень рады, так как уже смеркалось, встретить на полдороге до дому доктора Перспье, который мчался в экипаже и, узнав нас, предложил подвезти, — мне удалось несколько углубить одно из таких впечатлений. Меня посадили рядом с кучером, и мы полетели вихрем, потому что доктору нужно было еще заехать по пути в Комбре в Мартенвиль-ле-Сек к больному, мы же должны были подождать его около дома. На одном из поворотов я неожиданно испытал особое, ни с чем не сравнимое наслаждение при виде озаренных лучами заходящего солнца двух колоколен мартенвильской церкви, которые из-за того, что наш экипаж двигался, а дорога петляла, все время словно бы перемещались, а затем к этим двум колокольням присоединилась вьевикская: она была отделена от них холмом и долиной, стояла вдали, на более высоком месте, а мне казалось, что она — близкая их соседка.

Отмечая, подмечая форму их шпилей, передвижение их очертаний, блистание их поверхности, я чувствовал, что мое впечатление — не полное, что за этим движением, за этим освещением что-то есть, и это «что-то» они заключают в себе, но таят.

Казалось, колокольни еще далеко-далеко, мы же так медленно к ним приближаемся, и когда мы несколько минут спустя остановились перед мартенвильской церковью, то это меня удивило. Я не отдавал себе отчета, почему мне доставляло такое наслаждение смотреть на них издалека, — объяснить себе это мне представлялось весьма затруднительным; я стремился лишь удержать в памяти движущиеся в солнечном блеске линии и до времени о них не думать. И наверное, если б мне это удалось, обе колокольни навсегда присоединились бы к стольким деревьям, крышам, запахам, звукам, которые я отличал от других, потому что благодаря им я испытал наслаждение, но то было наслаждение непонятное, и разобраться в нем я так и не сумел. В ожидании доктора я слез с козел и поговорил с моими родными. Затем мы поехали дальше, я опять сел на козлы, оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на колокольни, и немного погодя они исчезли

за поворотом. Кучер был явно не расположен со мной разговаривать и отвечал нехотя, так что волей-неволей, за неимением другого собеседника, мне пришлось беседовать с самим собой и попытаться вспомнить колокольни. Вскоре их очертания, их освещенная солнцем поверхность задрались, как кора на деревьях, слегка обнажив то, что было от меня скрыто, и в одно мгновение у меня явилась мысль и нашла себе выражение в словах, а наслаждение, которое я только что испытал при виде колоколен, от этого настолько усилилось, что я как бы опьянел, я ни о чем другом не мог думать. И тут, хотя мы были уже далеко от Мартенвиля, я обернулся и опять увидел их, но сейчас они были совершенно черные, так как солнце уже зашло. Время от времени они скрывались за поворотами, наконец показались в последний раз, и больше я их не видел.

Я был далек от мысли, что таившееся за мартенвильскими колокольнями может найти себе некое соответствие в изящной фразе, но так как оно явилось передо мной в форме слов, доставивших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумаги, я, не обращая внимания на тряску, для очистки совести и под влиянием охватившего меня восторга, сочинил следующий

отрывок, который я впоследствии разыскал и в котором почти ничего не изменил:

«Одиноко возвышавшиеся над равниной и словно затерянные в открытом поле, две мартенвильские колокольни возносились к небу. Вскоре мы увидели третью: замешкавшаяся вьевикская колокольня смелым броском догнала их. Мелькали мгновения, мы ехали быстро, и все же три колокольни, похожие на птиц, неподвижно стоящих в поле и явственно различимых при свете солнца, были далеко впереди нас. Потом вьевикская колокольня отделилась, отошла на свое место, мартенвильские колокольни остались одни, и мне даже на таком расстоянии было видно, как играет на их скатах и улыбается заходящее солнце. Мы к ним приближались очень медленно, и я был уверен, что пройдет еще много времени, пока мы до них доберемся, как вдруг экипаж свернул и подкатил прямо к ним, а колокольни так стремительно вымахнули навстречу экипажу, что, если бы кучер вовремя не остановил лошадей, экипаж ударился бы о паперть. Мы поехали дальше, немного погодя мы уже выехали из Мартенвиля, село, несколько секунд провожавшее нас, исчезло, и на горизонте остались только его колокольни, да еще вьевикская: они

смотрели, как мы мчимся, и прощально кивали нам освещенными солнцем верхушками. Время от времени какая-нибудь из них отступала, чтобы другим было нас видно, но потом дорога сделала поворот, колокольни мелькнули тремя золотыми веретенами и скрылись из глаз. А немного спустя, когда солнце зашло и мы уже подъезжали к Комбре, я увидел их издали в последний раз, и теперь это были всего лишь три цветка, как бы нарисованные на небе, над низким полевым горизонтом. Еще они напомнили мне трех девушек из сказки, которых застигла ночь в безлюдном месте; мы вскачь уносились от них, а они в это время боязливо искали дорогу, их благородные силуэты несколько раз оступились, затем прижались друг к дружке, спрятались друг за дружку, слились на еще розовом небе в единую темную форму, пленительную и покорную, и, скрылись во мраке».

Потом я забыл про эту страницу, но, когда я, сидя на краешке козел, на которые докторский кучер имел обыкновение ставить корзину с птицей, купленной на мартенвильском рынке, кончил писать, я почувствовал, что я счастлив, что эта запись сбросила с меня всю тяжесть колоколен и того, что таилось за ними, я был подобен

курице, снесшей яйцо, и я запел во все горло.

В дни прогулок я мог все время думать о том, какое счастье — быть другом герцогини Германтской, ловить форелей, кататься на лодке по Вивоне, и, несмотря на то что я был жаден на счастье, в такие минуты я требовал от жизни только одного: чтобы вся она состояла из вереницы таких вот блаженных дней. Но когда, на возвратном пути, я видел слева от дороги расположенную довольно далеко от двух ферм, стоявших совсем рядом, еще одну ферму, отделенную от Комбре всего лишь дубовой аллеей, по одну сторону которой совсем близко тянулись садики, где росли на равном расстоянии одна от другой яблони, на закате вычерчивавшие японский узор теней, у меня вдруг начинало колотиться сердце: я знал, что меньше чем через полчаса мы будем дома и что, как это всегда бывает в дни прогулок по направлению к Германту, когда мы ужинаем позже, меня пошлют спать после первого же блюда и моя мать, остававшаяся за столом, как при гостях, не подойдет к моей кровати попрощаться. Область печали, куда мне надлежало войти, была так же отгорожена от области, где я только что веселился, как иногда на небе розовую полосу отделяет от зеленой или от черной некая незримая

черта. Видно, как птица летит по розовому, приближается к краю, почти касается черноты, затем вступает в нее. Только что вокруг меня теснились желания: пойти в Германт, путешествовать, быть счастливым, а теперь я был так от них далек, что их исполнение не доставило бы мне ни малейшего удовольствия. С какой радостью отдал бы я все это только за то, чтобы мне позволили проплакать всю ночь в объятиях у мамы! Я дрожал, я не сводил тоскующих глаз с лица матери, которая не придет вечером в комнату, где я уже видел себя, мне хотелось умереть. И это состояние продлится до завтра, пока утреннее солнце не приставит, точно садовник — лестницу, световых своих полос к стене, увитой настурциями, ползущими к окну, и я не спрыгну с кровати и не полечу в сад, забыв о том, что вечером неизбежно настанет час расставания с матерью. Таким образом, именно прогулки по направлению к Германту научили меня различать состояния, сменявшиеся во мне через определенные промежутки времени и даже делившие между собою мой день с точностью лихорадки: одно наступало и прогоняло другое, и хотя они соприкасались, но это были совершенно разные области, никак между собой не сообщавшиеся, так что, находясь в одном состоянии, я

не мог понять, не мог даже представить себе, чего я желал, чего боялся, что осуществил, пока находился в другом.

Итак, направление Мезеглиза и направление Герман-та остаются для меня связанными с множеством мелких событий в одной из тех различных жизней, которые мы ведем параллельно, — в изобилующей превратностями, в особенно богатой происшествиями, то есть в жизни интеллектуальной. Без сомнения, она развивается внутри нас неприметно, мы с давних пор подготавливаем открытие истин, которые изменили для нас ее смысл и облик, которые указали нам новые пути, но подготавливаем, не отдавая себе в этом отчета, и мы уверены, что открыли их в тот день и в ту минуту, когда они стали для нас видимы. Цветы, резвившиеся тогда в траве, вода, бежавшая под солнцем, — словом, облик природы с ее бездумным или рассеянным выражением, среди которой они возникали, неизменно сопровождает воспоминание о них; и, понятно, когда на все это долго смотрел безвестный прохожий, склонный к мечтательности ребенок, — так смотрит на короля замешавшийся в толпу летописец, — этот уголок природы, этот край сада и не подозревали, что благодаря

прохожему они долго будут жить со всеми их недолговечными особенностями; и, однако, моя восторженность не упустила ни запаха боярышника, который облетал изгородь и скоро должен был уступить место запаху шиповника, ни мягких шагов по гравию дорожки, ни пузырька, вздувшегося на воде напротив речного растения и тут же лопнувшего, и ей удалось все это пронести сквозь столько лет, а между тем пролегавшие здесь дороги заглохли, умерли те, что по ним ходили, да умерла и самая память о тех, что по ним ходили. Иногда этот вид, донесенный мною до сего дня, совершенно обособляется и, подобно цветущему Делосу[120], неуверенно держится на поверхности моего сознания, и я даже затрудняюсь сказать, из какого края, из какого времени — а может быть, просто-напросто из каких мечтаний — выплыл он. Но самыми глубокими залежами в душевной моей земле, самой твердой почвой, на которой я и сейчас еще стою, я считаю направление в Мезеглиз и направление в Германт. И это потому, что, приглядываясь к предметам, к людям, я убеждался, что мне все еще дороги и все еще радуют меня только те предметы, только те люди, с которыми

[120] Примечания: 120

Делос — один из Кикладских островов в Эгейском море. Согласно древнегреческой легенде, Делос был плавучим островом.

я столкнулся там. Оттого ли, что животворная вера иссякла во мне, оттого ли, что действительность создается лишь в памяти, но только цветы, которые я вижу теперь впервые, кажутся мне ненастоящими. Направление в Мезеглиз с его сиренью, боярышником, васильками, маком, яблонями, направление в Германт с рекой, где было полно головастиков, с кувшинками и лютиками навсегда сложили для меня представление о стране, где бы мне хотелось жить, где бы, самое главное, можно было ходить на рыбную ловлю, кататься на лодке, осматривать развалины готических укреплений и обнаруживать среди хлебов величественный храм, вроде Андрея Первозванного-в-полях, настоящий, сельский и золотистый, как скирд; и потому что васильки, боярышник, яблони, которые попадаются мне теперь, когда я гуляю, расположены на глубине, на уровне моего прошлого, они мгновенно находят доступ к моему сердцу. И все же в каждой местности есть нечто своеобразное, и когда меня охватывает желание вновь увидеть направление в Германт, то его нельзя удовлетворить, приведя меня на берег реки, где были бы такие же красивые, даже еще более красивые кувшинки, чем на Вивоне, так же как, возвращаясь домой вечером — в час, когда во

мне пробуждалась тоска, которая позднее переселяется в любовь, причем у иных — навсегда, — я бы не хотел, чтобы ко мне пришла попрощаться мать красивее и умнее моей. Нет, подобно тому как для того, чтобы я заснул блаженным сном, с тем безмятежным покоем в душе, какого мне потом не могла дать ни одна из моих любовниц, потому что мы сомневаемся в них, даже когда мы еще им верим и потому что мы не владеем их сердцем так, как я владел сердцем матери, когда она, целуя, отдавала его мне, отдавала все целиком, без задней мысли, без остатка, — мне нужна была она, нужно было, чтобы она ко мне наклонилась и я увидел у нее под глазом какой-то, должно быть, шрам, который был мне дорог не меньше, чем все ее лицо, точно так же мне нужно направление в Германт, каким я его знал, с фермой, находившейся на некотором расстоянии от двух ферм, жавшихся друг к дружке при повороте в дубовую аллею, нужны луговинки, на которых, когда солнце придает им зеркальность пруда, вырисовываются листья яблонь, нужен весь этот пейзаж с его своеобразием, обволакивающим меня в бессонные ночи с какой-то почти колдовскою силой и ускользающим, как только я проснусь. Вне всякого сомнения, из-за того, что во

мне неразрывно связаны разнородные впечатления — связаны только потому, что складывались они одновременно, — направление в Мезеглиз и направление в Гер-мант позднее принесли мне немало разочарований, более того: из-за них я наделал немало ошибок. Ведь я часто мечтал увидеться с кем-нибудь, не отдавая себе отчета, что моя мечта вызвана только тем, что этот человек напомнил мне боярышник, и я уверял себя и других, что во мне заговорила былая привязанность, тогда как мне просто хотелось туда съездить. Но по этой же самой причине, а еще потому, что давние мои впечатления живут в теперешних, с которыми у них есть какая-то связь, они служат им опорой, придают глубину, какое-то особое измерение. Вдобавок они наделяют их очарованием, значением, доступным лишь мне. Когда, летним вечером, исполненное гармонии небо вдруг начинает рычать, как дикий зверь, и все ворчат на грозу, я один стою на дороге в Мезеглиз и под шум дождя с упоением вдыхаю запах незримой и неотвязной сирени.

* * *

Вот так я часто думал до утра о временах Комбре, о моих унылых бессонных вечерах, о стольких

днях, образ которых был мне не так давно возвращен вкусом, — в Ком-бре сказали бы: «ароматом» — чая, и, по связи воспоминаний, о том, что спустя много лет после моего расставания с этим городком я узнал про любовь Свана, которая была у него еще до моего появления на свет, — узнал с такими достоверными подробностями, какие легче раздобыть, если дело идет о людях, умерших несколько веков тому назад, чем если это касается наших лучших друзей, с подробностями, какие, кажется, просто невозможно раздобыть, как когда-то казалось невозможным говорить из одного города с другим — пока эту невозможность не удалось обойти с помощью выдумки. Все постепенно наслаивавшиеся воспоминания в конце концов образовали во мне единое целое, не настолько, однако же, слитное, чтобы я не мог различить среди них — среди самых старых и сравнительно недавних, возникших из аромата, а потом среди воспоминаний другого лица, поделившегося ими со мной, — если не расщелины, если не настоящие сдвиги, то, во всяком случае, прожилки, крапинки, по которым узнаются происхождение, возраст, «формация» иных горных пород, иных видов мрамора.

Разумеется, к тому времени, когда приближа-

лось утро, кратковременная смутность моего пробуждения давно уже рассеивалась. Я точно знал, в какой комнате я нахожусь, я восстанавливал ее вокруг себя в темноте — то ли по памяти, то ли пользуясь, как указателем, слабым светом, под которым я поместил занавеску на окне, — восстанавливал всю как есть и обставлял не хуже архитектора и мебельщика, сохраняющих первоначальное расположение окон и дверей, я ставил на свои места зеркала и комод. Но чуть только дневной свет — а не принятый мной за него отблеск догоравших углей на медном пруте портьеры — проводил во тьме, точно мелом, первую белую, вносившую поправку черту, и тогда окно с занавеской покидало четырехугольник двери, где я его ошибочно расположил, меж тем как письменный стол, который моя память неудачно поставила там, где окно, убегал, чтобы дать ему место, во всю свою прыть, подгоняя камин и отодвигая стену, отделявшую комнату от коридора, дворик воцарялся там, где за минуту до этого находилась моя туалетная, и в конце концов жилище, которое я перестраивал впотьмах, постигала участь других жилищ, мелькавших в круговерти моего пробуждения: его обращал в бегство бледный знак, начертанный над занавес-

кой перстом наставшего дня.

Часть вторая. Любовь Свана

Чтобы вступить в «ядрышко», в «группку», в «клан-чик» Вердюренов, требовалось только одно, но зато необходимое условие: нужно было безоговорочно принять символ веры, один из членов коего состоял в том, что молодой пианист, которому в тот год покровительствовала г-жа Вердюрен и про которого она говорила: «Пусть кто-нибудь попробует так сыграть Вагнера!» — «забивает» и Планте[121], и Рубинштейна[122], а доктор Котар как диагност лучше Потена[123]. Любой «новобранец», которого Вердюренам не удавалось убедить, что на вечерах у тех, кто не вхож к Вердюренам, можно умереть от скуки, немедленно исключался из их общества. Женщи-

---

[121] Примечания: 121

Планте, Франсис (1839–1934) — французский композитор и пианист, прославившийся в начале XX века своими «Субботними концертами» в Консерватории.

[122] Примечания: 122

Рубинштейн, Антон (1829–1894) — русский пианист и композитор, основатель Санкт-Петербургской консерватории. Его концерты в Париже в 1886 г. были настоящим триумфом.

[123] Примечания: 123

Потен, Пьер (1825–1901) — французский хирург, член Медицинской академии (1882) и Академии наук (1883).

ны оказывались в этом отношении непокорнее мужчин: подавить в себе праздное любопытство и стремление разузнать самим, что творится в других салонах, — это было выше их сил, и Вердюренам, опасавшимся, как бы демон легкомыслия и пытливый дух в силу своей заразительности не внесли раскола в их церковку, пришлось изгнать одну за другой всех «верных» женского пола.

Если не считать молодой жены доктора, в тот год представительницами женского пола у Вердюренов (сама г-жа Вердюрен была женщина добродетельная, из почтенной буржуазной семьи, очень богатой, но совершенно безвестной, с которой она по собственному желанию постепенно прервала всякие отношения) были только дама чуть что не полусвета, г-жа де Креси, которую г-жа Вердюрен называла по имени — Одеттой и говорила про нее, что она «душка», и похожая на привратницу тетка пианиста; так как обе не знали света, то в простоте душевной принимали на веру, что княгиня Саганская и герцогиня Германтская платят несчастным страдальцам за то, чтобы они являлись на их званые обеды, и если бы кто-нибудь вызвался получить для бывшей привратницы и кокотки приглашение к этим знатным дамам, то и та и другая с презрением

отвергли бы подобное предложение.

Никто не получал от Вердюренов особого приглашения к обеду — каждый знал, что для него «поставлен прибор». Вечера не имели программы. Молодой пианист играл, но только если бывал «в настроении», — здесь никого не принуждали, г-н Вердюрен говорил: «У нас попросту, потоварищески!» Если пианист изъявлял желание сыграть «Полет валькирии»[124] или прелюдию к «Тристану»[125], то г-жа Вердюрен возражала не потому, чтобы эта музыка ей не нравилась, а потому, что она производила на нее слишком сильное впечатление: «Вы хотите, чтобы у меня разболелась голова? Ведь после этого у меня всегда бывает мигрень. Я себя знаю! Завтра утром я не смогу встать с постели — нет уж, сделайте милость, увольте!» Если пианист не играл, то шел общий разговор, и один из друзей, чаще всего — художник, который тогда был у Вердюренов в чести, «отмачивал», по выражению Вердюрена, «что-нибудь этакое забористое, и все надрывали себе животики от смеха», особенно

---

[124] Примечания: 124

«Полет валькирии» — вступление к последнему акту оперы Вагнера «Валькирия» (1870).

[125] Примечания: 125

«Тристан и Изольда» (1859) — опера Вагнера.

г-жа Вердюрен, которая так привыкла понимать в буквальном смысле образы, выражавшие ее душевные состояния, что доктору Котару (в то время начинающему врачу) пришлось лечить ее от болезни желудка.

Являться во фраках было запрещено; помните: вы здесь «в своей компании», избави бог походить на «скучных», от скучных нужно бегать, как от чумы, а если и приглашать их, то лишь на званые вечера, устраивавшиеся елико возможно реже, и то, чтобы позабавить художника или чтобы у музыканта прибавилось поклонников. Обыкновенно играли в шарады, устраивались костюмированные ужины, но — «в своем кругу», без участия посторонних.

В жизни г-жи Вердюрен «товарищи» занимали большое место, а потому все, что их отдаляло от «кланчика», что мешало им иногда быть свободными, становилось для нее скучным, неприемлемым: мать кого-нибудь из них, род занятий другого, дача или недомогание третьего. Если доктор Котар должен был встать из-за стола, потому что ему опять надо было ехать к тяжелобольному, то г-жа Вердюрен говорила доктору: «А может быть, гораздо лучше вам не ехать и не беспокоить вечером больного; без вас он

только скорее заснет; а завтра поезжайте к нему как можно раньше — вот увидите, что он будет совсем здоров». Уже в начале декабря она заболевала от одной мысли, что верные «дернут от нее» на первый день Рождества и первого января. Тетка пианиста требовала, чтобы первого января он пошел с ней на семейный обед к ее матери.

— А что, ваша мать умрет, если вы не пообедаете с ней на Новый год, провинциал вы несчастный? — грубым тоном спрашивала г-жа Вердюрен.

Тревога охватывала ее также на Страстной неделе.

— Вы, доктор, человек ученый, свободомыслящий, — вы, конечно, приедете к нам в Великую пятницу, как в любой другой день? — задала она вопрос Котару в первый год, когда Вердюрены стали принимать, и задала его таким тоном, как будто была заранее уверена в ответе. На самом деле она очень волновалась: ведь если доктор не придет, у них никого не будет.

— В Великую пятницу я приду… попрощаться с вами, потому что Пасху мы проведем в Оверни.

— В Оверни? Да вас там заедят вши и блохи! Умнее ничего не могли придумать?

Помолчав, она добавила:

— Вы бы хоть предупредили нас — мы бы все наладили и поехали бы вместе, со всеми удобствами.

Точно так же, если у кого-нибудь из «завсегдатаев» был друг, а у какой-нибудь верной — роман, и из-за этого они могли «дернуть», Вердюрены, которых не пугало, что у женщины есть любовник, лишь бы она приходила с ним, лишь бы этот роман протекал у них на глазах и не отвлекал ее от них, говорили: «Ну так приводите же вашего друга!» И его подвергали испытанию, способен ли он не иметь секретов от г-жи Вердюрен и можно ли принять его в «кланчик». Если он не подходил, то верного, который ввел его в дом, отзывали в сторонку и делали ему одолжение: ссорили его с другом или же с любовницей. Если «новенький» приходился по нраву, то он становился верным. И вот когда дама полусвета сообщила Вердюрену, что познакомилась с очаровательным человеком, г-ном Сваном, и намекнула, что он был бы очень рад, если б Вердюрены его пригласили, Вердюрен тут же уведомил о ее ходатайстве свою жену. (Он высказывал свое мнение только после нее, вся его роль сводилась к тому, чтобы исполнять ее желания и желания верных, и тут он проявлял необыкновенную изобретательность.)

— У госпожи де Креси есть к тебе просьба. Она хочет познакомить тебя со своим другом, господином Сваном. Как ты на это смотришь?

— Да разве я могу в чем-нибудь отказать этой прелести? Молчите, вас не спрашивают, я вам говорю, что вы — прелесть.

— Ну, если вы так думаете… — жеманясь говорила Одетта и добавляла: — Вы же знаете, что *I am not fishing for compliments*[126].

— Ну так приводите же вашего друга, если это в самом деле приятный человек.

Разумеется, «ядрышко» Вердюренов было весьма далеко от общества, где вращался Сван, и настоящие светские люди нашли бы, что человек, занимающий такое исключительное положение, не должен добиваться приглашения к Вердюренам — для них, мол, это слишком много чести. Но Сван так любил женщин, что, перезнакомившись почти со всеми аристократками и взяв от них все, чему они могли научить его, он смотрел на свидетельства о подданстве, на дворянские грамоты, в сущности пожалованные ему Сен-Жерменским предместьем, как на меновую стоимость, как на аккредитив, сам по себе ничего не стоивший, но

---

[126] Примечания: 126
Я не напрашиваюсь на комплименты (*англ.*).

предоставлявший ему возможность разыграть из себя важную птицу в какой-нибудь провинциальной дыре или в парижской трущобе, где на него произвела впечатление дочка захудалого дворянина или судейского. В ту пору желание и любовь будили в нем тщеславие, от которого он теперь в повседневной жизни избавился (ведь именно тщеславие внушило ему мысль о светской карьере, из-за которой он растратил свои способности на пустые забавы, а свои познания в области искусства обнаруживал в советах дамам из общества, покупавшим картины и обставлявшим свои особняки), и не что иное, как тщеславие, вдохновляло его на то, чтобы блеснуть перед пленившей его незнакомкой, в глазах которой фамилия Сван сама по себе блеску ему не прибавляла. Особенно хотелось этого Свану, если незнакомка была из низшего сословия. Умному человеку не страшно показаться глупцом другому умному человеку, — вот так и светский человек боится, что его светскость не получит признания у мужлана, а не у вельможи. С тех пор как существует мир, три четверти душевных сил, три четверти лжи, на которую людей подбивало тщеславие и от которой они только проигрывали, были ими расточены перед людьми ниже их

по положению. И Сван, державший себя просто и свободно с герцогиней, боялся уронить себя в глазах ее горничной и рисовался перед ней.

Он не принадлежал к многочисленному кругу людей, которые то ли по лени, то ли покорно исполняя долг, возлагаемый на них высоким общественным положением — быть всегда пришвартованным к определенному берегу, отказываются от удовольствий, какие жизнь может доставить им за пределами высшего света, где они замыкаются на всю жизнь и в конце концов, смирившись со своею участью, за неимением лучшего называют удовольствиями убогие развлечения и терпимую скуку, на которую их обрекает свет. Сван не принуждал себя называть хорошенькими женщин, с которыми он проводил время, — он старался проводить время с женщинами, которых он действительно считал хорошенькими. И часто он проводил время с женщинами, красота которых была довольно вульгарна, — внешняя их привлекательность, к которой он бессознательно тянулся, ничего общего не имела с тем, что так восхищало его в женских портретах или бюстах, выполненных любимыми его мастерами. Задумчивое или печальное выражение охлаждало его чувство, и

наоборот: здоровое, пышное, розовое тело возбуждало его.

Если во время путешествия он встречал семейство, с которым ему, с точки зрения светской, лучше было бы не общаться, но в котором он углядел женщину, наделенную неведомым для него очарованием, то остаться «при своих», притворяться перед самим собой, что он ничуть ею не взволнован, заменить наслаждение, какое он мог бы изведать с нею, другим, вызвав письмом свою бывшую любовницу, — это показалось бы ему таким же малодушным отказом от радостей жизни, таким же нелепым отречением от нового счастья, как если бы он, вместо того чтобы побывать в невиданном краю, заперся у себя в комнате и стал любоваться видами Парижа. Он не замыкался в здании своих общественных отношений, — он сделал себе походную палатку, вроде тех, какие берут с собой путешественники, чтобы ее можно было разбивать всюду, где только он влюблялся в женщину. Все, что нельзя было переносить с места на место или же обменять на еще не испытанное наслаждение, не имело в его глазах цены, какую бы зависть это ни вызывало у других. Сколько раз он, уподобясь голодному, готовому выменять бриллиант на кусок хлеба, мгновенно

утрачивал влияние на какую-нибудь герцогиню, уже несколько лет старавшуюся сделать ему приятное, но все не находившую случая, — утрачивал лишь из-за того, что в бестактной депеше просил рекомендательной телеграммы, надеясь благодаря ей сразу завязать знакомство с одним из управляющих герцогини, дочь которого обратила на себя его внимание в деревне! Получив щелчок, он только посмеивался над собой: дело в том, что ему была свойственна искупавшаяся редкой деликатностью известная доля нахальства. Помимо всего прочего, он был одним из тех умных и праздных людей, которые успокаивают и, может быть, даже оправдывают себя тем, что праздность предоставляет их уму объекты, в такой же степени достойные внимания, как искусство или наука, и что «Жизнь» изобилует более любопытными, более романическими положениями, чем все романы вместе взятые. Так, по крайней мере, он убеждал себя и легко убеждал самых утонченных из светских своих друзей, в особенности — барона де Шарлю, которого ему нравилось забавлять рассказами о своих занимательных похождениях: то о женщине, которую он встретил в поезде и увез к себе и только потом узнал, что это родная сестра государя, в

чьих руках были тогда сосредоточены все нити европейской политики, и вот благодаря такому очаровательному приключению Сван оказывался в курсе этой политики; или о том, что от выборов на конклаве папы в силу запутанности обстоятельств зависело, удастся или не удастся ему, Свану, стать любовником одной кухарки.

Впрочем, не одну только блистательную фалангу добродетельных вдов, генералов, академиков, с которыми он был особенно близок, Сван с таким цинизмом заставлял сводничать. Все его друзья время от времени получали письма, в коих он излагал просьбу рекомендовать его или ввести в дом — излагал с дипломатическим искусством, которое не изменяло ему ни в любовных похождениях, ни в других случаях и обличало в нем ярче, чем его оплошности, настойчивость в достижении цели. Много лет спустя, заинтересовавшись характером Свана из-за его сходства с моим, — вот только проявлялось это сходство совсем в другом, — я часто просил его рассказать, как мой дедушка (который тогда еще не был дедушкой, — сильное увлечение Свана, из-за которого он долго не прибегал к обычным своим приемам, падает примерно на год моего рождения), узнав на конверте почерк своего друга,

восклицал: «Сван о чем-то просит — берегись!» И то ли из чувства недоверия, то ли из неосознанно демонического чувства, которое толкает нас предлагать людям то, в чем они как раз не нуждаются, мои дедушка и бабушка решительно отклоняли самые легкоисполнимые его просьбы, как, например, познакомить его с девицей, обедавшей у нас по воскресеньям, и всякий раз, когда Сван об этом заговаривал, они уверяли, что больше с ней не видятся, а между тем целую неделю ломали голову, кого бы это пригласить вместе с ней, и иной раз так ничего и не могли придумать, хотя им стоило только поманить Свана — и он был бы счастлив.

Иногда дружившие с моими дедушкой и бабушкой супруги, жаловавшиеся, что совсем не видят Свана, вдруг с удовлетворением и, может быть, даже не без желания возбудить зависть, говорили, что Сван — само очарование, и сообщали, что он с ними не расстается. Дедушке не хотелось портить им настроение, он только поглядывал на бабушку и напевал:

Что же это за тайна?[127]
Не могу разгадать.

Или:

Быстролетное виденье…[128]

Или:

Тут все так непонятно[129],
Что лучше не вникать.

Несколько месяцев спустя, когда дедушка обращался с вопросом к новому другу Свана: «Вы по-прежнему часто видитесь со Сваном?» — лицо у этого человека вытягивалось: «Я имени его слышать не хочу!» — «А я думал, что вы с ним такие друзья…» Несколько месяцев он был сво-

---

[127] Примечания: 127

Что же это за тайна?. — Цитата из заключительного трио первого акта оперы французского композитора Буальдье (1775–1834) «Белая дама» (1825), автором либретто, в котором были использованы мотивы романов Вальтера Скотта (1771–1832), был Скриб.

[128] Примечания: 128

Быстролетное виденье… — Ария из второго акта оперы Массне (1842–1912) «Иродиада» (1884), в либретто которой были использованы мотивы одноименной сказки Гюстава Флобера (1821–1880). Пруст слушал эту оперу 1 октября 1912 г. в театре «Гэте-Лирик».

[129] Примечания: 129

Тут все так непонятно… — Неточная цитата из первой сцены III акта оперы Жака Оффенбаха (1819–1880) «Синяя Борода», авторы либретто Мейлак и Галеви.

им человеком у родственников моей бабушки, обедал у них чуть не каждый день. Внезапно, без всякого предупреждения, он у них бывать перестал. Решили, что он болен, и двоюродная сестра моей бабушки уже собиралась послать к нему узнать, как он себя чувствует, но вдруг обнаружила в буфетной его письмо — кухарка положила письмо в расходную книгу и забыла про него. В нем он извещал ее, что больше сюда не придет, что он уезжает из Парижа. Кухарка была его любовницей, и когда он решил порвать с ней, то счел нужным предупредить о своем исчезновении ее одну.

Если же очередной его любовницей была светская дама или, во всяком случае, женщина, чье незнатное происхождение или шаткое положение не мешали ему, однако, открыть ей доступ в свет, то ради нее он туда возвращался, но только на ту особую орбиту, по которой двигалась она или на которую завлек ее он. «Сегодня на Свана рассчитывать нельзя, — говорили про него, — вы же знаете, что это тот день, когда его американка бывает в Опере». Он добивался для нее приглашений в недоступные салоны или туда, где он сам был завсегдатаем, куда он раз в неделю ездил ужинать, где он играл в покер; каждый вечер,

слегка взбив свои жесткие рыжие волосы, отчего умерялась живость его зеленых глаз, он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся ужинать к той или иной даме его круга, чтобы встретиться у нее с любовницей; и тогда — стоило ему представить себе, как будут им восхищаться при любимой женщине и как будут заверять его в своих дружеских чувствах обезьянничавшие с него хлыщи, — наскучившая ему светская жизнь вновь его околдовывала, и самое ее вещество, прохваченное и окрашенное в яркие тона бушевавшим внутри нее пламенем, которое разжег он, казалось ему, с тех пор как он ввел в эту жизнь новую свою любовь, прекрасным и драгоценным.

Все эти связи и все эти флирты более или менее полно осуществляли мечту Свана, возникавшую в нем, когда он влюблялся в чье-нибудь лицо или тело и непосредственно, не принуждая себя, отдавался своему чувству, но вот как-то раз в театре один из старых друзей Свана познакомил его с Одеттой, о которой он еще раньше говорил с ним как о чудной женщине, — намекнув, что Сван, быть может, чего-нибудь от нее и добьется, однако, чтобы увеличить в глазах Свана размеры своей услуги, изобразив ее менее доступной, чем она была на самом деле, — и Одет-та действитель-

но показалась Свану красивой, но красивой той красотой, к которой он был равнодушен, которая не будила в нем никаких желаний, напротив, вызывала в нем что-то вроде физического отвращения: ведь у каждого из нас есть свой любимый, не похожий на другие, тип женщины, а она была не во вкусе Свана. На взгляд Свана, у нее был слишком резко очерченный профиль, слишком нежная кожа, выдающиеся скулы, слишком крупные черты лица. Глаза у нее были хороши, но чересчур велики, так что величина подавляла их, от нее уставало все лицо, и поэтому казалось, будто она или нездорова, или не в духе. Некоторое время спустя после встречи в театре она написала Свану и, попросив показать ей его коллекции, которые очень интересовали ее, «женщину невежественную, но питавшую слабость к красивым вещам», добавляла, что она лучше узнает его, когда увидит его в *home*[130], в уютной обстановке, за чашкой чаю, обложившимся книгами, хотя и не скрывала своего удивления, что он проживает в унылом квартале, «недостаточно *smart*[131] для такого человека, как вы». Он пригласил ее

[130] Примечания: 130
Домашнем быту (*англ.*).

[131] Примечания: 131
Изысканном, аристократическом (*англ.*).

к себе, и, прощаясь, она сказала, что побывать у него в доме — это для нее счастье, и выразила сожаление, что так мало здесь пробыла, из слов же ее о самом Сване можно было понять, что он для нее значит больше, чем кто-либо другой, она как бы намекала на то, что у них уже начался роман, и этим вызвала у Свана улыбку. Однако в том уже довольно трезвом возрасте, к какому приближался Сван, в том возрасте, когда довольствуются состоянием влюбленности, потому что оно приятно, особенно не претендуя на взаимность, сердечная близость хотя уже не является, как в ранней юности, целью, которой во что бы то ни стало стремится достигнуть любовь, тем не менее она, эта близость, продолжает оставаться связанной с любовью такой прочной ассоциацией идей, что может вызвать любовь даже в том случае, если появилась раньше нее. Прежде мы мечтали завладеть сердцем женщины, в которую были влюблены; теперь одно ощущение, что ты владеешь сердцем женщины, может оказаться достаточным, чтобы мы влюбились в нее. Следовательно, в том возрасте, когда кажется — поскольку в любви ищут прежде всего субъективного наслаждения, — что самое главное — это женская красота, любовь может возник-

нуть — любовь самая что ни на есть плотская — и не на основе желания, она не обязательно вырастает из него. Мы уже не раз испытывали волнения любви; теперь она уже не развивается в нашем изумленном и бездеятельном сердце самостоятельно, следуя своим собственным, непостижимым и роковым законам. Мы идем ей навстречу, мы подделываем ее с помощью памяти и самовнушения. Узнав одну из ее примет, мы воскрешаем, мы воссоздаем другие. Песнь ее запечатлелась в наших сердцах вся целиком, а потому нам не нужно, чтобы женщина пела ее с начала, исполненного восторга перед красотой, — мы и так вспомним ее продолжение. Пусть начинает с середины — со сближения сердец, с того, что нельзя жить друг без друга, — мы знаем эту песнь наизусть, и стоит певице в ожидании смолкнуть на миг, как мы подхватываем без промедления.

Одетта де Креси вскоре опять побывала у Свана, потом стала приходить к нему все чаще и чаще; и, без сомнения, каждый ее приход вызывал в нем разочарование при виде ее лица, черты которого успевали в промежутке между встречами слегка потускнеть в его памяти, несмотря на то что оно было у нее такое выразительное и такое не по годам увядшее; когда она разговаривала с ним, он с

сожалением думал о том, что редкая ее красота не принадлежит к тому роду, которому он невольно отдавал предпочтение. Впрочем, надо заметить, что лицо Одетты казалось ему особенно худым и вытянутым оттого, что лба и верхней части щек, этих гладких и почти плоских поверхностей, не было у нее видно под волосами, — женщины напускали их тогда на лоб «кудряшками», завивали «барашком» и закрывали уши небрежными локонами; сложена Одетта была изумительно, однако трудно было представить себе ее фигуру как единое целое (трудно только из-за тогдашней моды, потому что одеваться с таким вкусом, как Одетта, умели лишь очень немногие парижанки): корсаж приподнимался так, словно под ним был большой живот, затем образовывал мыс, и уже под корсажем ширился колокол юбок, отчего создавалось впечатление, что Одетта состоит из разнородных частей, неплотно пригнанных одна к другой, и, подчиняясь лишь прихоти рисунка или плотности ткани, рюши, оборки и вставки совершенно свободно двигались по направлению к бантикам, кружевной отделке, к отвесно спускавшейся стеклярусной бахроме или располагались вдоль корсета, но и в том и в другом случае они жили обособленной жизнью, не свя-

занной с жизнью тела, а тело, в зависимости от того, облегали его все эти финтифлюшки или, напротив, отделялись от него, чувствовало себя скованным или тонуло в них.

Когда же Одетта уходила от Свана, он с улыбкой вспоминал ее слова о том, как долго будет тянуться для нее время, пока он опять позволит ей прийти к нему; он представлял себе, с каким взволнованным, смущенным видом она просила его однажды, чтобы он не очень откладывал встречу с ней, какая робкая мольба читалась тогда в ее взгляде, не менее трогательная, чем ее круглая белая соломенная шляпка с букетиком искусственных анютиных глазок, подвязанная черными шелковыми лентами. «А вы не придете как-нибудь ко мне на чашку чая?» — спросила она. Он сослался на спешную работу, на этюд — заброшенный им несколько лет назад — о Вермеере[132] Дельфтском. «Я сознаю всю свою никчемность, сознаю, какой жалкой я выгляжу рядом с такими крупными учеными, как вы, — заметила она. — Я — лягушка перед ареопагом. И все же мне так хочется учиться, много знать,

[132] Примечания: 132

Вермеер (Вермер) *Дельфтский*, Ян (1632–1675) — голландский живописец, творческое наследие которого составляют бытовые сцены, портреты и пейзажи, один из любимых художников Пруста.

иметь большой запас сведений! Как это должно быть интересно — рыться в старинных книгах, заглядывать в манускрипты!» — продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины, пытающейся уверить, что для нее нет ничего приятнее, как заняться, не боясь выпачкаться, какой-нибудь грязной работой — ну, например, стряпней — и «собственноручно месить тесто». «Вы будете надо мной смеяться, но я ничего не слышала об этом художнике, из-за которого вы не едете ко мне (она имела в виду Вермеера), — он еще жив? В Париже есть его картины? А то мне хочется иметь понятие о том, что́ вы любите, постараться угадать, что скрывается за этим высоким многодумным лбом, в этой голове, в которой не прекращается работа мысли; я должна знать: вот о чем он сейчас думает! Какое счастье было бы для меня помогать вам в ваших занятиях!» Он оправдывался тем, что боится заводить новых друзей, причем эту боязнь он изящно называл боязнью стать несчастным. «Вы боитесь привязанностей? Как странно! А я только этого и ищу, я бы за это жизнь отдала, — проговорила она естественным и убежденным тоном, который невольно тронул его. — Наверное, вы много выстрадали из-за какой-нибудь женщины. И

решили, что все такие же, как она. Она не сумела вас понять, — ведь вы же совсем особенный! За это-то я вас прежде всего и полюбила, — я сразу почувствовала, что вы не такой, как все». — «Да ведь и вы тоже, — заметил он. — Я хорошо знаю, что такое женщины, у вас, наверное, масса дел, вы редко бываете свободны». — «Кто, я? Мне совершенно нечего делать! Я всегда свободна, для вас я всегда буду свободна. Вам захочется меня видеть — пошлите за мной в любое время дня и ночи, и я с восторгом примчусь к вам. Хорошо? Как было бы славно, если б вы познакомились с госпожой Вердюрен, — я бываю у нее каждый вечер. Понимаете: мы бы с вами там встречались, и я думала бы, что вы бываете у нее отчасти ради меня!»

Конечно, вспоминая разговоры с нею, думая о ней в одиночестве, он ограничивался тем, что в любовных своих мечтах представлял себе ее образ среди многих других женских образов; но если б благодаря какому-нибудь случайному обстоятельству (а может быть, даже независимо от него, ибо в тот самый момент, когда сокровенное чувство внезапно себя обнаруживает, обстоятельство иной раз никак на это не влияет), образ Одетты де Креси поглотил бы все его меч-

ты, если б воспоминание о ней срослось с ними, то физические ее недостатки утратили бы для него всякое значение, как утратило бы для него значение, насколько ее наружность в его вкусе: с той поры, как она стала бы наружностью его любимой, это был бы для него единственный источник радостей и страданий.

Мой дед хорошо знал семейство Вердюренов, чего нельзя сказать об их нынешних друзьях. Но он порвал всякие отношения с тем, кого он называл «молодым Вердюреном»: он считал, несколько упрощая положение вещей, что «молодой Вердюрен», сохранив свои миллионы, окружил себя богемой и всякой шушерой. Однажды дед получил письмо от Свана, в котором Сван спрашивал, не может ли он познакомить его с Вердюренами. «Берегись! Берегись! — воскликнул дед. — Меня это нисколько не удивляет — так именно и должен кончить Сван. Хорошо общество, нечего сказать! Я не могу исполнить его просьбу прежде всего потому, что с этим господином я больше не знаком. А потом, здесь, наверно, замешана женщина, не хочу я лезть в такие дела. Сван завязнет в болоте у молодых Вердюренов, и мы же будем потом в ответе!»

Дед отказал, и к Вердюренам ввела Свана Одет-

та.

Когда Сван пришел к Вердюренам в первый раз, у них обедали доктор Котар с женой, молодой пианист с теткой и художник, который в то время был у них в чести, а вечером начали подходить и другие верные.

Доктор Котар никогда не знал, каким тоном нужно отвечать собеседнику, не умел различить, шутит тот или говорит серьезно. И на всякий случай он добавлял к любому выражению своего лица запрашивающую, прощупывающую собеседника условную улыбку, выжидательная двусмысленность которой должна была избавить его от упрека в наивности, если бы выяснилось, что с ним шутят. Но ему приходилось считаться и с другой возможностью, — вот почему он не позволял улыбке проступать отчетливо; по его лицу постоянно скользила неуверенность, и в ней читался вопрос, который он не решался задать: «Это вы серьезно?» На улице, да и вообще в жизни, он чувствовал себя так же неуверенно, как в гостях, и смотрел на прохожих, на экипажи, на происшествия все с той же лукавой улыбкой, заранее отводившей от него упрек в том, что он поступил неловко, ибо она доказывала в том случае, если он допускал бестактность, что он

сам это прекрасно знает и что неуместный этот поступок он совершил в шутку.

Когда же доктор полагал, что может задать вопрос без обиняков, он не упускал случая уменьшить количество пробелов в своем образовании и пополнить запас знаний.

Вот почему, следуя совету, который ему дала предусмотрительная мать, когда он уезжал из провинции, доктор не пропускал ни одного незнакомого ему образного выражения или имени и собирал о них точные сведения.

Что касается образных выражений, то тут его пытливость не знала границ: он часто искал в них точного смысла, какого на самом деле они не имеют; он хотел понять, что значат буквально те выражения, которые ему приходилось слышать особенно часто: «брать молодостью», «голубая кровь», «вести рассеянную жизнь», «четверть часа Рабле»[133], «законодатель мод», «не в масть», «поставить в тупик» и т. д., и в каких случаях он сам мог бы безошибочно употребить их. Заменял он обычно эти выражения заученными каламбу-

---

[133] Примечания: 133

«четверть часа Рабле»... — Выражение, обозначающее затруднительное положение в денежных расчетах, в основе которого лежит легендарный эпизод из жизни Франсуа Рабле (1494–1553), которому якобы однажды не хватило денег, чтобы расплатиться на одном из постоялых дворов в Лионе.

рами. Когда же при нем называли неизвестное ему имя, он не спрашивал, кто это, — он считал, что для получения разъяснений достаточно повторить имя вопросительным тоном.

Он был убежден, что на все смотрит критически, а между тем именно критического взгляда на вещи ему и не хватало, вот отчего утонченная вежливость, которая заключается в том, чтобы делать кому-нибудь одолжение и при этом утверждать — вовсе не желая, чтобы этот человек вам поверил, — что не вы ему, а он вам делает одолжение, не производила на доктора никакого впечатления: он все понимал в прямом смысле. Как ни была ослеплена доктором г-жа Вердюрен, все же доктор, хотя она попрежнему считала его очень умным человеком, в конце концов навлек на себя ее неудовольствие тем, что, когда она, пригласив его в литерную ложу на Сару Бернар, сказала, стараясь быть с ним сверхлюбезной: «Как это мило с вашей стороны, доктор, — ведь вы, конечно, много раз видели Сару Бернар, и потом, мы, пожалуй, сидим слишком близко от сцены», — он, войдя в ложу с улыбкой, готовой расплыться по лицу или исчезнуть, в зависимости от того, какое мнение выскажет о спектакле кто-нибудь из авторитетных лиц, проговорил: «В

самом деле, мы слишком близко от сцены, да и Сара Бернар мне уже надоела. Но вы изъявили желание, чтобы я пришел. Ваше желание для меня закон. Я счастлив, что могу хоть чем-нибудь услужить вам. Чего бы я не сделал, чтобы доставить вам удовольствие, — ведь вы такая добрая! Сару Бернар называют „Золотой голос“, — верно? — продолжал он. — А еще про нее часто пишут, что она играет с подъемом. Странное выражение, верно?» — спросил он, ожидая пояснений, но их не последовало.

— Знаешь, — сказала мужу г-жа Вердюрен, — мы из скромности снижаем ценность того, что дарим доктору, — по-моему, это неправильно. Он принадлежит к числу ученых, далеких от практической жизни, он не знает цены вещам и верит нам на слово.

— Я тоже это заметил, только не хотел тебе говорить, — подтвердил Вердюрен.

И на Новый год, вместо того чтобы послать доктору Котару в три тысячи франков стоимостью рубин с запиской, что это, мол, сущий пустяк, Вердюрен купил за триста франков поддельный драгоценный камень и намекнул, что такой красивый камень — это большая редкость.

Когда г-жа Вердюрен объявила, что на вечере у

них будет г-н Сван, доктор переспросил: «Сван?» — грубым от удивления тоном, потому что даже незначительная новость всегда заставала врасплох этого человека, который был уверен, что готов ко всякой неожиданности. Ему не ответили. «Сван? А кто такой этот Сван?» — взревел он в сильнейшей тревоге, но его тревога мгновенно рассеялась, как только г-жа Вердюрен сказала: «Да это же друг Одетты, про которого она нам говорила». — «Ах, это вот кто, теперь я понял!» — успокоенно проговорил доктор. Зато художник, узнав, что у г-жи Вердюрен будет Сван, ликовал: ему представлялось, что Сван влюблен в Одетту, а он покровительствовал романам. «Устраивать свадьбы — это моя страсть, — говорил он на ухо доктору Ко-тару. — До сих пор мне здорово везло по этой части, даже у женщин!»

Сказав Вердюренам, что Сван очень *smart*, Одетта напугала их тем, что он, наверное, «скучный». Но вышло наоборот: он произвел прекрасное впечатление, чему способствовало, хотя Вердюрены этого и не подозревали, то обстоятельство, что он вращался в высшем обществе. В самом деле: он обладал преимуществом даже перед людьми тонкими, но не бывавшими в высшем свете, — преимуществом человека, который там принят

и потому не приукрашивает света и не чурается его — он просто не придает ему никакого значения. Любезность такого человека, свободная от всяких проявлений снобизма и не боящаяся показаться чересчур любезной, достигшая полной независимости, отличается изяществом и свободой движений, свойственными людям, чье гибкое тело послушно исполняет их волю, без неуместной и неловкой помощи ненужных для этой цели своих частей. Простые, необходимые телодвижения светского человека, благосклонно протягивающего руку незнакомому юнцу, которого ему представляют, и без подобострастия кланяющегося посланнику, которому представляют его, в конце концов, незаметно для самого Свана, стали его манерой держать себя в обществе, и когда он попал в круг людей, которые были ниже его по положению, то есть в круг Вердюренов и их друзей, то инстинктивно проявил предупредительность, был одинаково мил со всеми, и Вердюрены подумали, что «скучный» так бы себя не вел. Только с доктором Кота-ром в первую минуту он был суховат: они еще не заговорили, а доктор уже стал подмигивать ему и двусмысленно заулыбался (эту мимику сам Котар называл: «Милости просим»), и Сван ре-

шил, что они, наверное, встречались где-нибудь в увеселительном заведении и доктор узнал его, хотя Сван ходил туда редко, так как не любил распутства. Этот намек покоробил Свана, особенно потому, что он был сделан при Одетте, которая могла дурно о нем подумать, и Сван придал своему лицу холодное выражение. Однако, узнав, что рядом с доктором сидит его жена, он решил, что муж, да еще такой молодой, не стал бы при жене намекать на подобного рода развлечения, и заговорщицкий вид доктора утратил для него опасный смысл. Художник сейчас же предложил Свану посмотреть вместе с Одеттой его мастерскую, и Сван нашел, что это очень милый человек. «Может быть, к вам отнесутся там благосклонней, чем ко мне, — притворно обиженным тоном сказала г-жа Вердюрен, — и покажут портрет Ко-тара (это она заказала его художнику). — Постарайтесь, „маэстро“ Биш, — обратилась она к художнику, которого назвали так в шутку, — передать на полотне его прелестный взгляд, эту забавную лукавинку в уголке глаза. Вы знаете, что для меня всего важней его улыбка, я просила вас написать портрет его улыбки». Это выражение понравилось ей самой, и она повторила его громко, чтобы всем было слышно, а прежде чем

произнести его, она даже под каким-то непонятным предлогом кое-кого из гостей подозвала к себе. Сван попросил познакомить его со всеми, даже со старым другом Вердюренов Саньетом, который из-за своей застенчивости, простодушия и доброты утратил вес в обществе, а между тем это был сведущий палеограф, богатый человек из хорошей семьи. У него была каша во рту, и это было очаровательно, так как чувствовалось, что это не столько дефект речи, сколько душевное качество, как бы навсегда сохранившийся в нем остаток детскости. Когда Саньет глотал какую-нибудь согласную, то казалось, что он обнаруживает неспособность сказать резкость. Попросив г-жу Вердюрен познакомить его с г-ном Саньетом, Сван вынудил ее нарушить заведенный порядок (и она, знакомя их, нарочно подчеркнула разницу: «Господин Сван! Позвольте вам представить нашего друга Саньета»), но благодаря этому он завоевал полную симпатию Саньета, о чем Вердюрены не нашли нужным довести до сведения Свана, так как Саньет слегка раздражал их и они особенно не старались с кем-либо сдружить его. Зато Сван бесконечно тронул Вердюренов, сочтя своим долгом попросить их после знакомства с Саньетом познакомить его с теткой пианиста.

Она была, как обычно, в черном платье, ибо держалась того мнения, что быть одетой в черное всегда хорошо и что черный цвет — самый благородный, а лицо у нее, как всегда после еды, было багровое. Она почтительно поклонилась Свану, но тут же приняла величественную осанку. Она не получила никакого образования и боялась обнаружить свою неграмотность, поэтому говорила умышленно нечленораздельно, полагая, что если она допустит ошибку, то ошибка потонет в общей невнятице и ее нельзя будет уловить, так что речь гостьи превращалась в непрерывное отхаркиванье, из которого лишь по временам выныривали отдельные слова, в произношении коих она была уверена. Сван счел себя вправе подшутить над ней в разговоре с Вердюреном, но Вердюрен был за нее обижен.

«Это прелестная женщина, — сказал он. — Вы правы: с первого взгляда она не покоряет, но если вы поговорите с ней наедине, то увидите, какой это очаровательный человек, уверяю вас». — «Да я не спорю, — поспешил согласиться Сван. — Я только хотел сказать, что она не показалась мне „выдающейся личностью “, — подчеркнув последние два слова, добавил он, — и в общем, это скорей комплимент!» — «Я вас сейчас удив-

лю, — продолжал Вердюрен. — Она прекрасно пишет. Вы слышали, как играет ее племянник? Дивно, — ведь правда, доктор? Господин Сван! Хотите, я попрошу его сыграть?» — «Это было бы счастьем...» — начал Сван, но его с лукавым видом перебил доктор. Он слыхал, что высокопарность и велеречивость отжили свой век, и теперь, когда при нем серьезным тоном произносили какое-нибудь красивое слово вроде «счастья», ему казалось, что человек, подобным образом выразившийся, впадает в банальность. Если же вдобавок это выражение доктор относил к старомодным, хотя бы оно было самое что ни на есть обиходное, то у него возникала догадка, что фраза, начавшаяся с этого выражения, — фраза шутливая, и заканчивал он ее иронически каким-нибудь общим местом, как бы приписывая собеседнику намерение изъясниться именно таким образом, хотя бы у собеседника и в мыслях этого не было.

— Счастьем для Франции! — торжественно воздев длани, с лукавым видом подхватил он.

Вердюрен не мог удержаться от смеха.

— Над чем это они смеются? Как видно, в вашем уютном уголке нет места для скуки! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Я тут сижу одна, как

наказанная, и если вы воображаете, что мне очень весело, то вы ошибаетесь, — тоном капризной девочки добавила она.

Госпожа Вердюрен сидела на высоком шведском стуле из полированной ели, который был ей подарен шведским скрипачом и который, хотя он скорей напоминал табурет и не подходил к красивой старинной мебели, стоял у нее на видном месте, так как она считала необходимым получаемые ею иногда подарки от верных выставлять напоказ для того, чтобы верные порадовались, придя к ней и увидев свои подарки. Она пыталась убедить их, что лучше всего дарить цветы и конфеты, — пыталась, имея в виду, что и то и другое недолговечно, но верные были непреклонны, и так у нее образовалась целая коллекция грелок, подушечек, стенных часов, ширм, барометров, ваз — склад дареной всячины, но только не всякой, а одной и той же.

Сидя на своем возвышении, г-жа Вердюрен принимала живейшее участие в разговоре верных, ее забавляло их «дуракавалянье», но после того как она надорвала себе живот, она избегала прыскать и ограничивалась условной мимикой, неутомимой и неопасной, означавшей, что она хохочет до слез. Стоило кому-нибудь из завсегдатаев (к ве-

ликому прискорбию для Вердюрена, который все время старался быть не менее любезным, чем его жена, но, смеясь по-настоящему, быстро выдыхался, тогда как г-жа Вердюрен благодаря своей хитрости беспрестанно разыгрывала взрывы хохота и таким образом брала верх и торжествовала над мужем) отпустить словцо по адресу скучного или по адресу бывшего завсегдатая, попавшего в разряд скучных, — и г-жа Вердюрен вскрикивала, зажмуривала свои птичьи глаза, которые уже начинали заволакиваться бельмами, а потом вдруг, словно застигнутая врасплох непристойным зрелищем или отражая смертельный удар, плотно закрывала лицо руками, чтобы ничего не видеть, и изображала усилия подавить душивший ее смех, который, если б она не выдержала, мог бы довести ее до обморока. Так, оглушенная весельем верных, упоенная духом товарищества, злословием и поклонением, г-жа Вердюрен, подобно птице, которой подлили в корм глинтвейну, из любезности кудахтала на насесте.

Между тем Вердюрен, попросив у Свана разрешения закурить трубку («у нас без церемоний, по-товарищески»), начал уговаривать юного пианиста сесть за рояль.

— Ах, да отстань ты от него, он пришел к нам не

для того, чтобы его мучили! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Я не хочу, чтобы его мучили!

— Откуда ты взяла, что я собираюсь его мучить? — спросил Вердюрен. — Господин Сван, может быть, не знает сонаты фа-диез, которую мы открыли. Он нам ее сыграет в аранжировке для рояля.

— Ах нет, нет, только не мою сонату! — вскричала г-жа Вердюрен. — А то я изойду слезами и потом буду страдать от насморка и от воспаления лицевого нерва, как в прошлый раз; покорно благодарю, с меня довольно, вам-то что — никто из вас потом не будет валяться целую неделю в постели!

Эта сценка повторялась всякий раз, как пианиста просили сыграть, и приводила друзей в такой восторг, словно они присутствовали при ней впервые, ибо она являлась для них доказательством обаятельной оригинальности «хозяйки» и ее музыкальности. Сидевшие близко от нее делали знак курильщикам и игрокам подойти, точно здесь что-то происходило, и кричали, как кричат в рейхстаге, когда там говорится что-нибудь интересное: «Слушайте, слушайте!» А на другой день выражалось сожаление тем, кто не был, потому что вчера разыгралась сценка еще

более занятная, чем обычно.

— Ну что ж, порешим на том, что он сыграет только анданте, — объявил Вердюрен.

— Только анданте, какой ты умный! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Как раз от анданте я и делаюсь больна. Наш «хозяин» просто великолепен! Это все равно что сказать о «Девятой»[134]: «Послушаем только финал» или: «Послушаем увертюру к „Мейстерзингерам“[135]».

Но тут доктор начал упрашивать г-жу Вердюрен позволить пианисту сыграть, и не потому, чтобы он считал, что на самом деле музыка ее не волнует (он признавал разные неврастенические явления), а потому, что он, как и многие врачи, мгновенно смягчал строгость своих предписаний в тех случаях, когда происходили сборища, с его точки зрения, более важные, чем недомогания, и когда одним из главных действующих лиц была его пациентка, тут он, участник сборища, советовал ей забыть на этот вечер и о расстройстве желудка, и о простуде.

— Сегодня вы не заболеете, вот увидите, — ска-

---

[134] Примечания: 134

«Девятая» — Девятая симфония с хором Бетховена (1770–1827).

[135] Примечания: 135

«Мейстерзингеры» — «Нюрнбергские мейстерзингеры», опера Вагнера (1868).

зал он, гипнотизируя ее взглядом. — А заболеете — мы вас вылечим.

— Правда? — спросила г-жа Вердюрен так, словно после такого обнадеживающего заявления ей оставалось только сдаться. А быть может, сказав, что она заболеет, г-жа Вердюрен потом уже забывала, что она же это и придумала, и входила в роль. Так больные, уставшие от сознания, что чем больше проявят они благоразумия, тем реже будут у них приступы, позволяют себе думать, что они могут безнаказанно делать все, что угодно, — за что они потом обыкновенно платятся, — если только всецело отдадутся в руки некоего могущественного существа, которое, не требуя от них ни малейших усилий, одним каким-нибудь словом или пилюлями поставит их на ноги.

Одетта направилась к ковровому дивану около рояля.

— Вы знаете, это мое любимое местечко, — сказала она г-же Вердюрен.

Заметив, что Сван сидит на стуле, г-жа Вердюрен заставила его встать:

— Вам здесь неуютно, сядьте рядом с Одеттой. Одет-та, милая, подвиньтесь!

— Какой прелестный «бове»[136]! — прежде чем сесть, заметил Сван, чтобы сказать что-нибудь приятное г-же Вердюрен.

— Я очень рада, что вам понравился мой диван, — отозвалась г-жа Вердюрен. — Могу ручаться, что другого такого вы нигде не найдете. Это бесподобно. Стульчики тоже чудо. Вы потом обратите на них внимание. Каждое бронзовое украшение соответствует сюжетцу на сиденье; если вы захотите получше рассмотреть, то вас это, знаете ли, позабавит, вы получите удовольствие, уверяю вас. Ну вот хотя бы этот фризовый бордюрчик: виноградные гроздья на красном фоне из «Медведя и винограда». Каков рисунок? Что вы скажете? По-моему, когда-то умели рисовать. Ведь, правда, эти виноградинки сами просятся к вам в рот? Мой муж утверждает, что я не люблю фруктов, потому что ем их меньше, чем он. Но это неверно: по части гурманства я всех вас за пояс заткну — я только не испытываю

---

[136] Примечания: 136

Бове — город во Франции, с XVII века — важнейший центр по производству гобеленов и мягкой мебели, отсюда — стиль «бове». В 1734–1755 гг. мануфактурой Бове руководил Ж.-Б. Одри (1688– 1755), который прославился своими иллюстрациями к басням Лафонтена (1621–1695). Эти иллюстрации использовались при изготовлении гобеленов и обивочной ткани. Среди произведений Лафонтена нет басни под названием «Медведь и виноград», речь может идти либо о басне «Лиса и виноград», либо о басне «Медведь и любитель садов».

потребности класть ягоды в рот, раз я пожираю их глазами. Чего вы все хохочете? Спросите доктора: он вам скажет, что этот виноград действует на меня послабляюще. Другие ездят лечиться в Фонтенбло, — я прохожу курсик в Бове. Господин Сван! Непременно потрогайте бронзовые украшеньица на спинках. Не правда ли, патина? Да вы не бойтесь, потрогайте как следует.

— Ну раз госпожа Вердюрен наехала на бронзу, то музыки нам уж нынче не слыхать, — заметил художник.

— Молчите, невежа! В сущности, — обращаясь к Свану, продолжала г-жа Вердюрен, — нам, женщинам, запрещены менее соблазнительные наслаждения. Ведь с этим не сравнится никакое тело! Когда господин Вердюрен снисходил до того, что устраивал мне сцены ревности… Послушай, будь хоть раз в жизни учтивым: не отрицай, что ты устраивал мне…

— Да я ничего не говорю. Доктор, будьте свидетелем: разве я проронил хоть единый звук?

Сван из вежливости все никак не мог перестать трогать бронзу.

— Послушайте: вы еще успеете ее поласкать, — сейчас будут ласкать вас самого, будут ласкать ваш слух; я убеждена, что вы такую ласку люби-

те; порадует ваш слух вот этот милый молодой человек.

Когда пианист кончил играть, Сван проявил к нему еще больше любезности, чем к другим гостям. И вот почему.

В прошлом году он слышал на вечере музыкальное произведение для рояля и скрипки. Сперва он ощущал лишь материальную оболочку звуков. Огромным наслаждением явилось для него уже то, что под струйкой скрипки, тонкой, упорной, густой, направляющей, он вдруг разглядел пытавшуюся взметнуться всплесками влаги громаду звуков рояля, многообразную, нераздельную, реявшую, переливавшуюся, напоминавшую лиловую зыбь, зачарованную и утишаемую лунным сияньем. Но в какой-то момент Сван, внезапно завороженный, не умея явственно различить очертания, определить то, что пленяло его слух, попытался удержать в памяти фразу или мелодию, — он сам не знал, что это такое, — которая только что проплыла перед ним и распахнула ему душу: так от благоухания роз, веющего во влажном вечернем воздухе, у нас раздуваются ноздри. Быть может, именно оттого, что он не знал музыки, у него и возникло одно из тех неясных впечатлений, которые, пожалуй, только и

можно назвать истинно музыкальными, нерастяжимыми, вполне оригинальными, не похожими ни на какие другие. Подобного рода мгновенное впечатление — это, так сказать, впечатление *sine materia*[137]. Конечно, ноты, которые мы слышим в эти мгновения, уже стремятся заполнить собой перед нашим взором, в соответствии со своей высотой и длиной, большую или меньшую площадь, набросать арабески, вызвать у нас ощущение ширины, тонины, устойчивости, прихотливости. Но эти ноты замирают, прежде чем ощущения успевают сформироваться в нас, — их захлестывают другие, пробуждаемые теми, что следуют за ними или звучат одновременно. И это впечатление продолжало бы смывать своим течением, своим «сплывом» едва различимые мотивы, временами показывающиеся на поверхности и тут же вновь погружающиеся и тонущие, угадываемые только благодаря наслаждению, какое они доставляют, не поддающиеся описанию, воссозданию, безымянные, невыразимые, — продолжало бы, если бы память, словно рабочий, возводящий среди волн несокрушимые устои, не изготовляла для нас отпечатки быстротечных музыкальных

[137] Примечания: 137
Неосязаемое (*лат.*).

фраз и не предоставляла нам возможности сравнивать их с идущими на смену и отличать. Вот почему, чуть только блаженное чувство, какое испытывал Сван, проходило, память мгновенно снабжала его списком с этого чувства, и хотя список был неполный и неточный, а все-таки, пока игра продолжалась, он находился перед глазами Свана, так что, когда прежнее впечатление неожиданно возвращалось, его уже можно было уловить. Сван представлял себе размеры фразы, симметричность ее построения, ее рисунок, ее изобразительную силу; перед ним была уже не чистая музыка — тут были и живопись, и зодчество, и мысль, и все вместе напоминало музыку. На этот раз он явственно расслышал фразу, несколько мгновений продержавшуюся над звуковыми волнами. Такого упоения Сван никогда еще не испытывал, — он чувствовал, что познал его только благодаря ей, и он полюбил ее какой-то особенной любовью.

Медленно вела она его то здесь, то там, то чуть дальше к высокому, непостижимому, но несомненному счастью. Он послушно следовал за ней, но, дойдя до известного предела и выдержав секундную паузу, она круто повернула и уже другим темпом, ускоренным, частым, тоскливым,

непрерывным, отрадным, повлекла его к неведомым далям. Потом вдруг исчезла. Он жаждал услышать ее в третий раз. И она появилась вновь, но речь ее была все-таки невнятна, а вот упоение он на этот раз испытал не такое глубокое. Но, придя домой, он затосковал по ней: его охватило чувство, какое овладевает мужчиной, в чью жизнь случайно встреченная им незнакомка вносит утончающий его художественное восприятие образ прежде не виданной им красоты, хотя он не знает, увидит ли он еще когда-нибудь ту, которую уже любит, не имея представления даже о том, как ее зовут.

Казалось, эта любовь к музыкальной фразе открывает перед Сваном путь к некоторому душевному обновлению. Он уже так давно перестал стремиться к идеальной цели; теперь он гнался лишь за обыденными удовольствиями и был уверен, — хотя не признавался в этом даже самому себе, — что так будет продолжаться до конца его дней; более того: высокие мысли уже не занимали Свана, и он перестал верить в их существование, хотя и не отрицал его начисто. В связи с этим у него появилась привычка думать о мелочах, отвлекавшая его от размышлений о смысле жизни. Он никогда не задавал себе вопро-

са: не лучше ли ему не появляться в свете, зато он знал наверное, что, если он принял приглашение, значит, надо ехать и что если он потом перестанет там бывать, то должен, по крайней мере, завозить туда визитные карточки; точно так же в разговоре он не отстаивал с жаром заветных своих убеждений, но зато сообщал мелкие факты, сами по себе небезлюбопытные и дававшие ему возможность не раскрывать свою душу. Он проявлял необыкновенную точность, давая кулинарный рецепт или, если его спрашивали, когда родился или когда умер такой-то художник, как называются его картины. Иногда он все же высказывал мнение о каком-нибудь произведении, о чьем-либо миропонимании, но — в ироническом тоне, так что можно было понять, что говорит он не вполне искренне. И вот, подобно больным, чье состояние резко улучшается в связи с переменой места, режима, а у некоторых — в связи с самопроизвольными, загадочными изменениями в организме, и они начинают серьезно подумывать о том, что еще так недавно казалось им неосуществимым, — о том, чтобы на старости лет начать жить по-новому, — Сван в самом себе, в воспоминании о слышанной фразе, в сонатах, какие он, надеясь отыскать эту фразу, просил сыграть ему,

обнаруживал присутствие одной из невидимых реальностей; он уже не верил в них, но музыка по-особенному действовала на его духовную одеревенелость, и он вновь ощущал в себе не только желание, но даже, пожалуй, силы посвятить этим реальностям жизнь. Но так как ему не удалось узнать, кто написал слышанное им произведение, то приобрести его он не мог и в конце концов забыл про него. Правда, на этой же неделе он встречался с людьми, присутствовавшими на том вечере, и спрашивал их, но некоторые приехали после музыки, а некоторые уехали до; те, что были во время исполнения, разговаривали в другой комнате, а те, что слушали, могли рассказать не больше других. Хозяева дома знали только, что это какая-то новая вещь, которую приглашенные ими музыканты попросили разрешения сыграть, музыканты же отправились в турне, — словом, Сван так и не добился толку. У него были друзья среди музыкантов, но, хотя он отлично помнил то особое, непередаваемое наслаждение, какое доставила ему эта фраза, хотя перед мысленным его взором вырисовывались ее очертания, пропеть ее он не мог. Потом он перестал о ней думать.

Но вот, несколько минут спустя после того, как молодой пианист начал играть у Вердюренов,

после высокой ноты, тянувшейся долго, целых два такта, Сван внезапно увидел, как из-за долгого звука, протянутого, точно звучащий занавес, скрывающий тайну рождения, выпархивает и движется к нему заветная шелестящая, обособившаяся музыкальная фраза, и ее, эту свою воздушную и благоухающую любимицу, он узнал в тот же миг. И она была так необычна, полна такого своеобразного, такого особенного очарования, что для Свана это была как бы встреча в гостиной у друзей с женщиной, которая однажды обворожила его на улице и с которой он не чаял свидеться вновь. Наконец она, путеводная, быстрая, исчезла в клубах своего благоухания, оставив на лице Свана отсвет своей улыбки. Но теперь он мог узнать имя незнакомки (ему сказали, что это анданте из сонаты Вентейля для рояля и скрипки), он ее поймал, он мог когда угодно залучить ее к себе, мог попытаться изучить ее язык и проникнуть в ее тайну.

Вот почему, когда пианист кончил играть, Сван подошел к нему и горячо поблагодарил, чем произвел очень приятное впечатление на г-жу Вердюрен.

— Волшебник! Правда — волшебник? — обратилась она к Свану. — Как вы скажете: ведь

вжился в сонату, негодник этакий? Вы, наверно, и не думали, что можно достичь этого на рояле. Здесь было все, но только не рояль, даю вам слово! Каждый раз я попадаюсь: мне слышится оркестр. Только это лучше оркестра, еще полнее.

Молодой пианист поклонился и, улыбаясь, отчеканивая каждое слово, точно это была острота, проговорил:

— Вы ко мне слишком снисходительны.

Госпожа Вердюрен обратилась к мужу: «Ну-ка, принеси ему оранжаду — он это вполне заслужил», а Сван в это время рассказывал Одетте, как он влюбился в короткую музыкальную фразу. Когда же сидевшая поодаль г-жа Вердюрен заметила: «Если не ошибаюсь, Одетта, вам рассказывают что-то интересное», — Одетта подтвердила: «Да, это очень интересно», и ее непосредственность показалась Свану очаровательной. Он начал расспрашивать ее о Вентейле, о его творчестве, когда именно он написал эту сонату; особенно его интересовало, что́ Вентейль хотел сказать этой короткой фразой.

Между тем все остальные, превозносившие композитора до небес (когда Сван заметил, что соната действительно хороша, г-жа Вердюрен воскликнула: «Еще бы не хороша! Сонату Вен-

тейля нельзя не знать, ее стыдно не знать», а художник прибавил: «Это колоссально, а? Про нее не скажешь, что это „мило“, что это „всем доступно“, а? Но на художественные натуры она производит сильнейшее впечатление»), все остальные, по-видимому, никогда не задавали себе подобных вопросов — не задавали потому, что все равно не могли бы на них ответить.

Даже на замечания Свана по поводу его любимой фразы г-жа Вердюрен отозвалась таким образом:

— А что? В самом деле занятно, раньше я не обращала на нее внимания. Сказать по совести, я не любительница крохоборства и буквоедства; мы не теряем времени на копание в мелочах — у нас это не принято, — разглагольствовала г-жа Вердюрен, а в это время доктор Котар смотрел на нее с восторженным благоговением и ученым пылом человека, купающегося в волнах готовых выражений. К тому же и он, и его супруга с присущим им обоим благоразумием, каким отличаются иные простолюдины, остерегались высказывать свое мнение или же делать вид, что они в восторге от музыки, о которой они, вернувшись домой, говорили друг другу, что она им так же непонятна, как живопись «маэстро Биша».

Широкая публика познает прелесть, очарование, познает явления природы через шаблонное искусство, медленно, но все же доходящее до ее сердца, — в противоположность оригинальному художнику, который прежде всего отметает шаблоны, — и не составлявшие из нее исключения, напротив — характерные ее представители, г-н и г-жа Котар не находили ни в сонате Вентейля, ни в портретах художника того, что составляло для них гармонию в музыке и красоту в живописи. Когда пианист играл сонату, им казалось, что это хаос звуков, — казалось потому, что звуки эти не имели ничего общего с привычными для них формами музыкального произведения, а когда они смотрели на картины Биша, у них было такое впечатление, что художник наносит мазки как придется. Если же они и узнавали на его полотне какое-нибудь явление, то находили, что оно выглядит у него грубым, пошлым (то есть лишенным изящества, присущего тому направлению в живописи, сквозь которое они воспринимали даже идущих по улице живых людей) и неестественным, точно маэстро Биш не знал, как устроены у человека плечи и что у женщин не бывает лиловых волос.

Тем не менее, как только верные разбрелись,

доктор подумал, что удобный момент настал, и, едва г-жа Вердюрен договорила похвальное слово о сонате Вентейля, он бросился в воду, словно учащийся плавать, однако выбирающий для этого такое время, когда зрителей остается немного.

— Да уж, это, как говорится, композитор *di primo cartello*![138] — с внезапной решимостью воскликнул он.

Свану удалось только выяснить, что недавно изданная соната Вентейля произвела большое впечатление на самых передовых композиторов, но что широкая публика понятия о ней не имеет.

— Я знаю человека по фамилии Вентейль, — сказал Сван, подразумевая того, кто преподавал музыку сестрам моей бабушки.

— Может быть, это он и есть! — воскликнула г-жа Вердюрен.

— О нет! — со смехом ответил Сван. — Если бы вы только взглянули на него, вы бы не задали мне такого вопроса.

— Разве задать вопрос — значит уже разрешить его? — спросил доктор.

— Может быть, это его родственник, — продолжал Сван. — Печально, конечно, хотя, впрочем,

---

[138] Примечания: 138
Первоклассный (*um.*).

может же гений доводиться двоюродным братом старому дураку. Если это так, то, клянусь, нет такой муки, которую я не согласился бы претерпеть ради того, чтобы старый дурак познакомил меня с автором сонаты: прежде всего, муку бывать у старого дурака, а это, наверно, ужасно.

Художнику было известно, что Вентейль очень болен и что доктор Потен не ручается за его жизнь.

— Как! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Неужели у Потена еще кто-нибудь лечится?

— Госпожа Вердюрен! — разыгрывая негодование, обратился к ней Котар. — Вы забываете, что это мой собрат, более того: мой учитель.

Художник от кого-то слыхал, будто Вентейлю грозит умопомешательство. И он начал уверять, что кое-где это можно почувствовать в сонате. Свану утверждение художника не показалось нелепым, но все-таки оно озадачило его: ведь чисто музыкальные произведения лишены той логичности, отсутствие которой в человеческой речи является признаком безумия; безумие, слышащееся в сонате, представлялось ему таким же загадочным, как бешенство собаки, бешенство лошади, хотя такие случаи и наблюдаются в жизни.

— Оставьте меня в покое с вашими учителями, вы знаете в десять раз больше, чем он, — возразила доктору Котару г-жа Вердюрен тоном женщины, имеющей мужество высказывать свои мнения без обиняков и давать отпор тем, кто с ней не согласен. — По крайней мере, вы не морите своих больных!

— Но ведь он же академик! — с насмешкой в голосе заметил доктор. — Тот больной, который предпочитает умереть от руки одного из светил… Куда больше шику, если сказать: «Я лечусь у Потена!»

— Что? Больше шику? — переспросила г-жа Вердюрен. — Стало быть, нынче есть шик и в болезнях? А я и не знала… Да нет, вы надо мной смеетесь! — неожиданно воскликнула она и уронила голову на ладони. — Я-то хороша: спорю с вами совершенно серьезно, а вы, оказывается, меня дурачите.

Вердюрен решил, что по такому пустячному поводу хохотать не стоит, а потому ограничился тем, что пыхнул трубкой и пришел к печальному выводу, что на поприще любезности ему за женой не угнаться.

— Вы знаете, ваш друг нам очень понравился, — сказала г-жа Вердюрен Одетте, когда та с

ней прощалась. — Он прост, мил; если и другие ваши приятели — такие же, как он, то приводите их всех.

Вердюрен вставил, что Сван не оценил тетку пианиста.

— Да он еще не приноровился, — возразила г-жа Вердюрен, — с первого раза дух нашего дома не уловишь, к нему нельзя предъявлять такие же требования, как к Ко-тару — давнему члену нашего маленького кланчика. Первый раз — не в счет, тут дай бог найти общий язык. Одет-та! Давайте уговоримся, что завтра мы с ним встречаемся в Шатле[139]. Возьмите его с собой!

— Да нет, он не захочет.

— Ну как угодно. Лишь бы он от нас в конце концов не дернул!

К великому изумлению г-жи Вердюрен, у Свана и в мыслях не было «дернуть». Он появлялся в обществе Вердюренов везде: в загородных ресторанах, где, впрочем, они еще бывали редко, так как сезон не начался, чаще — в театре: г-жа Вердюрен была заядлой театралкой; и когда однажды, у себя дома, она сказала при Сване, что хорошо бы иметь постоянный билет на премье-

[139] Примечания: 139

Шатле — парижский музыкальный театр, где начиная с 1874 г. проходили концерты оркестра, основанного Эдуардом Колоном.

ры, на торжественные церемонии, а то в день похорон Гамбетта[140] они намучились, Сван, до сего времени умалчивавший о своих блистательных знакомствах, говоривший только о тех, которые ценились не высоко, которые он именно поэтому считал некрасивым утаивать и через которые Сен-Жерменское предместье приучило его завязывать связи в официальном мире, неожиданно заявил:

— Обещаю вам это уладить: перед возобновлением «Данишевых»[141] у вас будет постоянный билет — как раз завтра я в Елисейском дворце завтракаю вместе с префектом полиции.

— То есть как в Елисейском дворце? — взревел доктор Котар.

— Да, у Греви[142], — слегка озадаченный произ-

---

[140] Примечания: 140

Гамбетта, Леон (1838–1882) — французский политический деятель, в 1870 г. провозгласил Третью республику и выступил организатором защиты отечества в войне 1870 г. Он скончался 31 декабря 1882 г., его похороны, состоявшиеся 6 января 1883 г., стали событием общегосударственного значения, что позволяет привязать время действия этой части романа к 80-м гг. XIX века.

[141] Примечания: 141

«Данишевы» — четырехактная комедия А. Дюма-сына (1824–1895) и П. де Корвин-Круковского, премьера которой состоялась в 1876 г. В центре интриги — любовь графа Владимира Данишева к крепостной девушке Анне. Упоминание этой пьесы, новая постановка которой была представлена в 1884 г., может служить намеком на неравность социального положения Свана и Одетты.

[142] Примечания: 142

Греви, Жюль (1807–1891) — французский политический деятель, президент Республики (1879–1887), был вынужден оставить свой пост в связи с «делом о награждениях», в котором был замешан его зять.

веденным эффектом, подтвердил Сван.

А художник, будто бы добродушно подшучивая, спросил доктора:

— Что это вас так разобрало?

Обыкновенно, получив разъяснения, Котар говорил: «Ну да, ну да, все понятно», — и больше не выказывал ни малейших признаков волнения. На этот раз последние слова Свана не принесли ему обычного успокоения, — напротив: он был крайне изумлен тем, что человек, сидевший с ним за одним столом, не занимавший никакого официального положения, ничем не знаменитый, бывает у главы правительства.

— То есть как у Греви? Вы знакомы с Греви? — вскричал он с недоверчиво обомлелым видом гвардейца, которого незнакомец спрашивает, можно ли видеть президента республики, и который, поняв из этих слов, как пишут в газетах, «с кем он имеет дело», уверяет несчастного сумасшедшего, что его пропустят к президенту без всяких разговоров, и направляет его в приемный покой при полицейском участке.

— Я с ним хоть и не коротко, но знаком, у нас есть общие друзья (Сван не решился сказать, что один из этих друзей — принц Уэльский); кроме того, он очень гостеприимен, да и завтраки его не

представляют ничего любопытного, уверяю вас, никакой пышности у него нет, больше восьми человек никогда за столом не бывает, — ответил Сван: он старался доказать собеседнику, что в отношениях с президентом республики ничего сногсшибательного нет.

Котар, не задумываясь, принял слова Свана за чистую монету и понял его так, что приглашения Греви — не слишком большая честь, что рассылает он их направо и налево. Его уже не удивляло, что Сван бывает в Елисейском дворце, раз доступ туда открыт всем и каждому; Котару даже было жаль Свана: вот, мол, ему, по его же собственному признанию, приходится скучать на этих завтраках.

— Так-так, все ясно, — проговорил он тоном таможенного надсмотрщика, только что сверлившего вас подозрительным взглядом, но после ваших объяснений дающего визу и пропускающего вас без досмотра.

— Я охотно верю, что в этих завтраках ничего любопытного нет, это для вас тяжелый крест, — заметила г-жа Вердюрен, смотревшая на президента республики как на наиболее опасного скучного, потому что президент располагал средствами прельщения и принуждения, которы-

ми он мог воспользоваться, чтобы верные от нее дернули. — Мне говорили, что он глухая тетеря и ест руками.

— Ну раз так, то для вас эти завтраки — удовольствие из средних, — с оттенком сожаления в голосе проговорил доктор и, вспомнив, что за стол у президента садится всего лишь восемь человек, не столько из праздного любопытства, сколько с пылом лингвиста вдруг задал Свану вопрос: — Что же, это интимные завтраки?

Однако престиж президента республики возобладал в глазах доктора и над самоуничижением Свана, и над злопыхательством г-жи Вердюрен, и за каждым обедом Котар с интересом спрашивал: «Сван вечером придет? Он хорошо знаком с Греви. Ведь правда, это настоящий джентльмен?» Он даже предложил Свану пригласительный билет на выставку искусственных зубов.

— По этому билету вы пройдете с кем угодно, но собак туда не пускают. Я, понимаете ли, потому вас об этом предупреждаю, что кое-кто из моих друзей не знал — ну и поворот от ворот.

Что г-жу Вердюрен покоробило, когда она узнала, что у Свана есть могущественные друзья, о которых он до сих пор словом не обмолвился, — на это обратил внимание только ее супруг.

Если не затевалась какая-нибудь поездка, то Сван заставал все «ядрышко» у Вердюренов, но появлялся Сван у них по вечерам и почти никогда, несмотря на настоятельные просьбы Одетты, не приходил к обеду.

— Мы бы с вами могли обедать вдвоем, если вам так больше нравится, — говорила ему она.

— А как же госпожа Вердюрен?

— О, это очень просто! Я скажу, что платье мое было не готово, что запоздал кеб. Вывернуться всегда можно.

— Вы очень милы.

Но себе Сван говорил, что, соглашаясь встречаться с Одеттой после обеда, он намекает ей на то, что удовольствию видеть ее он предпочитает иные, и этим еще сильней привязывает ее к себе. Да Свану и в самом деле неизмеримо больше, чем Одетта, нравилась свежая и пышная, как роза, молоденькая работница, в которую он был тогда влюблен, и ему хотелось ранним вечером побыть с ней, а потом уже с Одеттой, тем более что эта встреча не могла не состояться. Исходя из тех же соображений, он не позволял Одетте заезжать за ним по дороге к Вердюренам. Работница ждала Свана недалеко от его дома, на углу, и его кучер Реми об этом знал; она садилась рядом со Сва-

ном и пребывала в его объятиях до той минуты, когда экипаж останавливался перед домом Вердюренов. Как только он входил, г-жа Вердюрен, показывая на розы, которые он прислал ей утром, говорила: «Я на вас сердита», — и предлагала ему сесть рядом с Одеттой, а пианист для них одних играл короткую фразу из сонаты Вентейля, ставшую как бы гимном их любви. Начинал он со скрипичных тремоло, и в продолжение нескольких тактов звучали только они, наполняя собой весь первый план, потом вдруг они словно бы раздвигались, и, как на картинах Питера де Хооха[143], у которого ощущение глубины достигается благодаря узкой раме полуотворенной двери, далеко-далеко, в льющемся сбоку мягком свету появлялась иной окраски фраза, танцующая, пасторальная, вставная, эпизодическая, из другого мира. Ее движения были исполнены бессмертной простоты, и приближалась она все с той же непостижимой улыбкой, рассыпая вокруг себя дары своего обаяния, но теперь Свану слышалась в ней какая-то разочарованность. Она

[143] Примечания: 143

Питер де Хоох (1629–1684) — голландский живописец, автор многочисленных «интерьеров», отличительной особенностью которых было изображение на заднем плане открытых дверей, ведущих в другие комнаты.

словно сознавала суетность счастья, к которому указывала путь. В ее ненавязчивом обаянии было нечто завершенное, в ней угадывалось то безразличие, которым сменяется скорбь. Но Сван это не трогало, — он видел в ней не столько музыкальную фразу (не то, чем она была для композитора, который, когда сочинял ее, не подозревал, что существуют Сван и Одетта, и для всех, кто будет слушать ее на протяжении столетий), сколько залог, сколько памятную книжку его любви, заставлявшую даже Вердюренов и юного пианиста думать об Одетте и о нем одновременно, соединявшую их; Сван даже исполнил каприз Одетты и отказался от мысли прослушать в исполнении какого-нибудь пианиста всю сонату — только это место он в ней и знал. «Зачем вам остальное? — говорила Одетта. — *Наш* там только этот отрывочек». Более того: страдая от мысли, что, проходя так близко и вместе с тем так бесконечно далеко, обращаясь к ним обоим, она все же не знала их, Сван испытывал нечто похожее на сожаление о том, что в ней заложен определенный смысл, что в ней есть неизменная внутренняя красота, существующая независимо от них, — так, рассматривая подаренные нам драгоценности и даже читая письма от любимой

женщины, мы бываем недовольны чистотой воды камня и оборотами речи, потому что в них отражаются не только единственность нашего мимолетного увлечения и любимое существо со всеми его отличительными особенностями.

Часто Сван так задерживался с молоденькой работницей перед отъездом к Вердюренам, что пианист только успевал сыграть короткую фразу, и Одетте пора уже было домой. Сван провожал Одетту до самого ее домика на улице Лаперуза, за Триумфальной аркой. И быть может, именно чтобы не домогаться всех ее милостей, он пожертвовал менее важным для него удовольствием — встречаться с ней раньше и с ней приезжать к Вердюренам — ради пользования правом вместе от них уезжать, и Одетта была ему благодарна за то, что он пользовался этим правом, он же особенно им дорожил, ибо оно утверждало его в мысли, что никто другой не видится с Одеттой, не становится между ними, не мешает ей все еще быть с ним — уже после того, как они расставались.

Итак, домой она возвращалась в его экипаже; однажды, когда они уже простились до завтра, она, бросившись к палисадничку и сорвав последнюю хризантему, успела отдать ее Свану. До самого дома Сван не отрывал от хризантемы

губ, а спустя несколько дней осторожно положил увядший цветок в ящик письменного стола.

Но к Одетте он не заезжал. Только два раза, днем, он был у Одетты на «чашке чаю» и принял участие в этом чрезвычайно важном для нее деле. Отъединенность и безлюдность коротких улиц (почти сплошь застроенных жавшимися друг к дружке домиками, однообразие которых внезапно нарушала мрачного вида лавчонка — исторический памятник, мерзость, оставшаяся от тех времен, когда эти кварталы пользовались дурной славой), снег, не таявший под деревьями и на ветвях, ненарядное время года, близость природы — все это придавало какую-то особенную таинственность теплу и цветам у нее в доме.

Войдя в этот дом на высоком фундаменте и пройдя мимо спальни, помещавшейся в нижнем этаже, слева, и выходившей на параллельную улочку, Сван между стенами, выкрашенными в темный цвет, увешанными восточными тканями и турецкими четками, по прямой лестнице, освещенной державшимся на шелковом шнуре японским, крупных размеров, фонарем (в котором, однако, горел газ — иначе гости были бы лишены одного из последних достижений западной цивилизации), поднялся на второй

этаж, где находились две гостиные, большая и малая. Туда можно было пройти через узкую переднюю, где вдоль всей стены, разграфленной в клетку решеткой, — как в саду, но только позолоченной, — тянулся прямоугольный ящик, где, точно в оранжерее, цвела вереница пышных хризантем, тогда еще редких и значительно уступавших тем, которые впоследствии удалось вырастить садоводам. Свана раздражала державшаяся целый год мода на них, однако здесь его порадовали душистые лучи этих хрупких звезд, сиявших серебристым днем и окрашивавших полумрак передней в розовый, оранжевый и белый цвета. Одетта вышла к нему в домашнем открытом розовом шелковом платье. Она усадила Свана рядом с собой в одном из многочисленных укромных уголков, устроенных в глубине гостиной под сенью огромных пальм в китайских горшках или за ширмами, которые были увешаны фотографиями, бантиками и веерами. «Вам так неудобно, — сказала она, — погодите: сейчас я вас устрою», — и с тщеславным смешком, выражавшим удовлетворение собственной изобретательностью, положила Свану под голову и под ноги подушки из японского шелка, которые она предварительно взбила с таким видом, будто

ей не жаль всей этой роскоши и она нисколько ею не дорожит. Но тут лакей стал вносить лампу за лампой, и теперь они, почти все в китайских вазах, парами или поодиночке, горели, как на престолах, на всевозможных видах мебели и в почти уже ночном мраке угасшего зимнего дня длили закат, но только этот закат был розовее и человечнее, — а в это время с улицы на них, быть может, смотрел влюбленный, остановившийся в раздумье перед тайной этого обиталища, и выдаваемой и скрываемой освещенными окнами, — и вот, пока лакей возился с лампами, Одетта искоса, однако строго следила за тем, как он их расставляет. Она была уверена, что если хоть одну из них поставить не на отведенное для нее место, то весь эффект ансамбля ее гостиной пропадет, а ее портрет на завешанном плюшем мольберте будет невыгодно освещен. Вот почему ее беспокоило каждое движение этого увальня — до такой степени, что она сделала ему резкое замечание за то, что он прошел слишком близко от двух жардиньерок, которые она всегда вытирала сама из боязни, как бы он не помял растения, а затем пошла посмотреть, не обломал ли он их. Ей казались «занятными» формы китайских безделушек, орхидей, в особенности — катлей: катлеи

и хризантемы были ее любимые цветы, так как обладали тем непостижимым достоинством, что были не похожи на цветы, что они казались сделанными из шелка, из атласа. «Вот эта как будто выкроена из подкладки моего пальто», — показывая на орхидею, сказала Свану Одетта с оттенком почтения к этому «шикарному» цветку, к этой элегантной сестре, которую ей неожиданно подарила природа, — сестре, стоявшей так далеко от нее на лестнице живых существ и все же утонченной, более, чем многие женщины, достойной быть принятой у нее в гостиной. Предлагая вниманию Свана то химер с огненными языками, написанных на вазе или же вышитых на экране, то венчики орхидей, то верблюда из черненого серебра, у которого вместо глаз были вделаны рубины и который стоял на камине рядом с нефритовой жабой, Одетта притворялась, будто ее пугает злобный вид чудищ, будто ее смешат их уморительные морды, будто она краснеет, оттого что цветок напоминает ей нечто непристойное, будто испытывает непреодолимое желание расцеловать верблюда и жабу и назвать их «дусями». И это ее притворство вступало в противоречие с искренностью ее благоговения, например, перед

Лагетской Божьей Матерью[144], которая когда-то давно, в Ницце, исцелила ее от смертельной болезни и золотой образок которой она с тех пор носила на груди, приписывая ему чудотворную силу. Налив Свану «своего чайку», она спросила: «С лимоном или со сливками?» — и, когда Сван ответил: «Со сливками», — сказала, смеясь: «С забелочкой!» Он нашел, что чай хорош. «Уж я знаю, какой вы любите!» — заметила она. Свану чай в самом деле казался, как и ей, чудесным, а так как любовь стремится найти себе оправдание, гарантию долгосрочности в наслаждениях, которых не было бы без любви и которые как раз и кончаются вместе с любовью, то Сван, которому нужно было заехать домой и переодеться к вечеру, в семь часов ушел от Одетты и с радостным чувством, сидя в своей карете, всю дорогу твердил себе: «Приятно бывать у молоденькой женщины, которая может угостить тебя такой редкостью, как вкусный чай». Через час он получил от Одетты записку и сразу узнал крупный ее почерк, которому, несмотря на кривизну букв, создавала видимость четкости показная британская твер-

[144] Примечания: 144

…перед Лагетской Божьей Матерью… — Имеются в виду церковь и монастырь Лагетской Божьей Матери (XVII в.), расположенные в Лагете неподалеку от Ниццы, место паломничества.

дость, хотя беспристрастный взгляд, быть может, вычитал бы в этих буквах нестройность мысли, невоспитанность, неискренность и слабохарактерность. Сван забыл у Одетты портсигар. «Ах, зачем вы не забыли у меня и свое сердце! Я бы вам его ни за что не вернула».

Второй визит Свана к Одетте имел для него, пожалуй, еще большее значение. По дороге к Одетте он, как всегда перед встречей с ней, рисовал ее в своем воображении, и необходимость — ради того чтобы признать, что у нее красивое лицо, — сосредоточивать внимание на розовых и свежих скулах и не смотреть на ее нередко желтые, утомленные, иной раз в красных пятнышках, щеки, удручала его, ибо она доказывала, что идеал недостижим и что счастье сомнительно. Сван привез гравюру, которую ей хотелось посмотреть. Одетта неважно себя чувствовала; она вышла к нему в лиловом крепдешиновом пеньюаре, точно плащом кутая грудь узорным платком. Она стала рядом со Сваном, опустив голову, отчего по ее щекам струйками покатились распущенные волосы, и выставив ногу, точно собиралась танцевать, а на самом деле для того, чтобы легче было склониться над гравюрой, на которую она смотрела своими большими глазами, прини-

мавшими усталое и хмурое выражение, когда ничто не занимало ее, и Свана поразило сходство Одетты с Сепфорой, дочерью Иофора[145], изображенной на фреске в Сикстинской капелле. Свану всегда доставляло особое удовольствие находить на картинах старых мастеров не только общее сходство с окружающей действительностью, но и то, что как будто меньше всего поддается обобщению: индивидуальные особенности наших знакомых; так, в бюсте дожа Лоредано работы Антонио Риццо[146] ему бросались в глаза выдающиеся скулы и изогнутые брови кучера Реми, вообще — потрясающее сходство с ним; под кистью Гирландайо[147] — нос г-на де Паланси; на одном из портретов Тинторетто[148] — пухлость щек, проглядывающая сквозь намечающиеся

[145] Примечания: 145

Сепфора, дочь Иофора — согласно Библии, жена Моисея (Исх. 2. 16–22). Сандро Боттичелли (1445–1510) в 1481–1482 гг. написал в Сикстинской капелле три фрески, одна из которых представляет «Сцены из жизни Моисея».

[146] Примечания: 146

Антонио Риццо (Антонио Бреньо, прозванный Иль Риццо, 1430–1498) — итальянский архитектор и скульптор, участвовавший в оформлении Дворца дожей в Венеции. Важно, что первый дож с фамилией Лоредано — Леонардо — был избран в 1501 г., т. е. уже после смерти Риццо. Так или иначе, в одном из музеев Венеции имеется бронзовый бюст, моделью которого, как считалось долгое время, был дож Андреа Лоредано, прославившийся военными действиями против турков в конце XV века. В настоящее время автором бюста признан Андреа Бриоско, прозванный Иль Риццо, тогда как в эпоху Пруста его автором

действительно считался Антонио Бреньо.

[147] Примечания: 147

Гирландайо, Доменико (1449–1494) — итальянский художник флорентийской школы; Пруст намекает на его картину «Портрет старика с внуком», которая находится в Лувре. На картине изображен старик в красном с огромным носом, который разглядывает красивого белокурого ребенка.

[148] Примечания: 148

Тинторетто (настоящее имя Якопо Робусти, 1512–1594) — итальянский живописец венецианской школы. Возможно, речь идет об автопортрете художника (Париж, Лувр).

бакенбарды, горбинка на носу, пронизывающий взгляд и красные веки доктора дю Бульбона. Сван мучился тем, что вся его жизнь проходит во встречах с людьми из высшего общества, в разговорах, и, быть может, он пытался найти у великих художников известное оправдание себе в том, что и они с удовольствием рассматривали и писали такие лица, которые придают их произведениям особенную жизненность и правдивость, которые придают им привкус современности; быть может, его так закружила суета высшего света, что он испытывал потребность находить в старинном произведении искусства предвосхищающий и омолаживающий намек на определенных современников. А быть может, наоборот: он сумел сохранить в себе художественную натуру, и в силу этого индивидуальные черты доставляли ему удовольствие именно тем, что приобретали для него более общий смысл, когда, оторванные от корней, ни с чем не связанные, они вдруг проступали на старинном портрете, писанном с совершенно иного оригинала. Так или иначе, и, быть может, именно благодаря обилию новых впечатлений, хотя впечатления эти нахлынули на него вместе с любовью к музыке, в нем стало сильнее сказываться его влечение к живописи, а

получаемое от нее наслаждение стало глубже, — и потом ее влияние на него длилось еще долго, — с той минуты, когда он обнаружил сходство Одетты с Сепфорой Сандро ди Мариано, которого охотнее называют Боттичелли[149] потому, что это популярное его прозвище давно уже связывается не с творчеством художника, а с ходячим, ложным и пошлым представлением о нем. Сван уже не обращал внимания на то, хороши или не хороши у Одетты щеки, не думал, что если только он когда-нибудь осмелится поцеловать ее, то, наверное, ощутит чисто телесную нежность ее губ — теперь это было для него переплетение тонких и красивых линий, которые его взгляд разматывал, следя за их извивами, за крутизной ее затылка, за водопадом волос и разлетом бровей; это был для него портрет, благодаря которому тип ее лица становился понятным и ясным.

Он смотрел на нее; в ее лице и в ее фигуре оживала часть фрески, которую он всегда теперь старался в ней разглядеть, хотя бы только мысленно, когда они были не вместе; и если он так полюбил шедевр флорентийца, вернее всего потому, что он находил его в ней, то, с другой

[149] Примечания: 149

…которого охотнее называют Боттичелли… — Настоящее имя Боттичелли — Сандро ди Мариано Филипепи.

стороны, от этого сходства и она становилась для него дороже и краше. Сван упрекал себя, что сразу не оценил женщину, которая привела бы в восхищение великого Сандро, и радовался, что внешность Одетты вполне отвечает его эстетическим требованиям. Он убеждал себя, что связывает мысль об Одетте со своими мечтами о счастье не за неимением лучшего, как это ему до сих пор представлялось, а потому, что Одетта вполне удовлетворяет его строгий художественный вкус. Он пока не думал о том, что от этого она не становится для него более желанной, так как его желания никогда не совпадали с его художественными требованиями. Понятие «флорентийская живопись» оказало Свану большую услугу. Это было нечто вроде титула, предоставлявшего ему право ввести образ Одетты в мир своих мечтаний, куда ей до самого последнего времени не было доступа, и этот мир отблагодарил ее. Чувственное представление об этой женщине, давая все новую и новую пищу сомнениям Свана в красоте черт ее лица, в стройности ее фигуры, охлаждало его любовь, но с этими сомнениями было покончено, и любовь упрочилась, как только он получил возможность утвердить ее на основе определенных эстетических взглядов; и, само собой разумеется,

поцелуй и обладание, которые показались бы Свану чем-то обыкновенным и заурядным, если б он этого добился от несоблазнительной женщины, теперь, когда они увенчивали его восторг перед музейною ценностью, представлялись ему чем-то необыкновенным и упоительным.

И когда Сван начинал жалеть, что вот уже несколько месяцев он только видится с Одеттой, он убеждал себя, что поступает разумно, посвящая столько времени изучению дивного произведения, отлитого из необычного, на редкость приятного материала в единственном экземпляре, на который он смотрел то смиренным, возвышенным и бескорыстным взором художника, то горделивым, себялюбивым, плотоядным взглядом коллекционера.

Сван поставил на письменный стол, как бы вместо карточки Одетты, репродукцию дочери Иофора. Он любовался ее большими глазами, тонкими чертами лица, оттенявшими нездоровую кожу чудными локонами, падавшими на усталые щеки. Применяя сложившийся у него идеал красоты к образу живой женщины, он превращал этот идеал в мерило женских прелестей и радовался, что нашел сочетание этих прелестей в существе, которое, быть может, ему отдастся. Те-

перь, когда Сван узнал во плоти оригинал дочери Иофора, смутное влечение, притягивающее нас к произведению искусства, перерастало у Свана в желание, которое до сих пор бессильно было у него вызвать тело Одетты. Подолгу глядя на этого Боттичелли, он думал о собственном Боттичелли, приходил к заключению, что тот еще прекраснее, и, поднося к глазам снимок Сепфоры, воображал, будто прижимает к сердцу Одетту.

Но боролся он не только с душевной вялостью Одетты, но и со своей вялостью тоже; заметив, что с тех пор как Одетте уже не нужно было прилагать какие бы то ни было усилия, чтобы видеться с ним, — ей, казалось, особенно не о чем стало с ним говорить, — он испугался, как бы ее беспечная, всегда одна и та же, заученная манера держать себя с ним в конце концов не убила в нем романтическую надежду на то, что она объяснится ему в любви, а ведь только из-за этой надежды он влюбился в Одетту и продолжал оставаться влюбленным. И вот, стремясь хотя бы слегка всколыхнуть внутренний мир Одетты, неподвижность которого могла надоесть ему, он время от времени писал ей письма, полные притворного разочарования и поддельной досады, и отправлял с таким расчетом, чтобы она получила

их до обеда. Он знал, что она испугается, что она непременно ответит, и надеялся, что, едва лишь сердце Одетты сожмется от страха потерять его, у нее выльются такие слова, которых она еще никогда не говорила ему; и в самом деле: благодаря именно этой хитрости он получал от нее нежнейшие письма, и одно из них, посланное ей в полдень из «Золотого дома»[150] (там происходило тогда увеселение в пользу пострадавших от наводнения в Мурсии[151]), начиналось следующим образом: «Друг мой! У меня так дрожит рука, что я еле пишу», — письма эти он хранил в том же ящике, где была спрятана засохшая хризантема. Если же ей недосуг было ответить, то, когда он входил к Вердюренам, она, поспешив ему навстречу, произносила: «Мне нужно с вами поговорить», — и он с любопытством следил, как отражается на ее лице и в словах все, что она до сих пор таила в душе.

Еще только подъезжая к Вердюренам и увидев большие освещенные окна их дома, никогда не

---

[150] Примечания: 150

«Золотой дом» — модный ресторан, который во времена Пруста находился на углу Итальянского бульвара и улицы Лафит.

[151] Примечания: 151

Мурсия — город на юге Испании, пострадавший от наводнения 14–15 октября 1879 г. Благотворительный праздник «Париж — Мурсия» состоялся 18 декабря 1879 г.

закрывавшиеся ставнями, Сван приходил в умиление от одной мысли, что сейчас увидит, как это прелестное существо расцветает при золотом свете ламп. Временами в окнах, как на экране, вырисовывались черные и тонкие тени гостей — это напоминало прозрачный абажур, весь светящийся, кроме тех мест, на которые наклеены картинки. Сван пытался различить силуэт Одетты. А как только он входил, глаза его невольно излучали такую радость, что Вердюрен говорил художнику: «Кажется, дело идет на лад». И правда: присутствие Одетты снабжало в глазах Свана дом Вердюренов тем, чего были лишены другие дома, где ему приходилось бывать: чем-то вроде чувствительного прибора, нервной системы, разветвлявшейся по всем комнатам и беспрестанно возбуждавшей его сердечную деятельность.

Так простое функционирование общественного организма, который представлял собой «кланчик», автоматически обеспечивало Свану ежедневные свидания с Одеттой и давало ему возможность притворяться безучастным к тому, увидится он с ней или нет, и даже притворяться, будто у него совсем нет желания видеться с ней, в чем не было для него большого риска, так как, что бы ни писал он ей днем, вечером он непременно

виделся с ней и отвозил домой.

Но как-то, с неудовольствием подумав о неизбежности совместного возвращения и намереваясь отдалить момент появления у Вердюренов, он прокатил свою молоденькую работницу до самого Булонского леса и приехал к ним так поздно, что Одетта, не дождавшись его, уехала одна. Когда Сван убедился, что Одетты в гостиной нет, у него защемило сердце; он впервые понял, какая радость для него встреча с Одеттой: до сих пор он был уверен, что эту радость он может себе доставить в любую минуту, между тем подобного рода уверенность уменьшает всякую радость, а то и вовсе мешает нам измерить ее силу, и вот теперь дрожь пробежала по его телу от сознания, что радость эта у него отнята.

— Ты заметила, как он скривился, когда увидел, что ее нет? — спросил жену Вердюрен. — Точно его ущипнули.

— Кто скривился? — весь так и вскинулся доктор Ко-тар: он только что приехал от больного за женой и не понял, о ком идет речь.

— Как? Разве вы не встретились в дверях с лучшим из Сванов?

— Нет. А Сван был здесь?

— Только сию минуту ушел. Он очень волно-

вался, нервничал. Можете себе представить: он не застал Одетту.

— Вы хотите сказать, что она дошла с ним до последней черты, что она позволила ему все? — подыскивая выражения, спросил доктор.

— Да нет, ничего похожего. Между нами говоря, помоему, она делает большую глупость; ведет себя как круглая дура, да, впрочем, она такая и есть.

— Те-те-те! — вмешался Вердюрен. — Почем ты знаешь, что между ними ничего такого нет? Ведь мы же с тобой при сем не присутствовали?

— От меня бы она не стала скрывать, — с гордостью ответила г-жа Вердюрен. — Она рассказывает мне о всех своих интрижках. Сейчас у нее никого нет, и я уговаривала ее сойтись с ним. Она говорит, что не может, что она в него здорово врезалась, а что он робеет, и эта робость передается ей, и что она его любит не так, что он для нее идеал и что она боится осквернить свое чувство, — словом, что-то в этом роде. Но именно это-то ей, дескать, и нужно.

— Я позволю себе не согласиться с тобой, — возразил Вердюрен, — мне этот господин не очень по душе, — помоему, он позер.

Г-жа Вердюрен окаменела, она как бы превра-

тилась в статую, и эта игра позволила ей внушить другим, будто она не слыхала слова «позер», нестерпимого для ее слуха и подававшего повод думать, будто у них в доме можно «позировать», следовательно — «ставить себя выше их».

— Наконец, даже если между ними и ничего нет, все-таки я не могу допустить, будто это оттого, что этот господин считает ее *добродетельной*, — с насмешкой в голосе продолжал Вердюрен. — А может, это оттого, что он, видимо, принимает ее за умную. Ты не слыхала, что он ей на днях наговорил про сонату Вентейля? Я очень люблю Одетту, но что надо иметь в голове, чтобы читать ей лекции по эстетике?

— Не смейте дурно говорить про Одетту, — тоном капризного ребенка сказала г-жа Вердюрен. — Она очаровательна.

— Да это нисколько не мешает ей быть очаровательной; мы ничего дурного о ней и не говорим, мы только утверждаем, что она не олицетворение добродетели и не светоч ума. В сущности говоря, — обратился Вердюрен к художнику, — разве ей так уж необходимо быть добродетельной? Как знать: может быть, тогда она утратила бы значительную долю своего очарования?

На площадке лестнице к Свану подошел метр-

дотель, который куда-то уходил, когда Сван приехал, и сказал, что Одетта просила — но уже час назад! — передать Свану, — если только он все-таки здесь появится, — что по дороге она, по всей вероятности, заедет выпить шоколаду к Прево[152]. Сван поехал к Прево, но ему на каждом шагу преграждали путь экипажи или переходившие улицу пешеходы, и он думал, с каким наслаждением разрушил бы он ненавистные эти преграды, если бы полицейский, который начал бы составлять протокол, не задержал бы его еще дольше, чем прохожий. Он считал минуты, прибавляя к каждой из них по нескольку секунд, чтобы быть уверенным, что он не укорачивает их и что у него есть шанс — на самом деле совсем не такой большой — приехать более или менее рано и еще застать Одетту. И вдруг, на одно мгновение, точно проснувшемуся больному, отдающему себе отчет в нелепости бредовых явлений, от которых он не в состоянии был себя отделить, Свану стало ясно, что мысли, которые закружились у него в голове, как только ему сообщили у Вердюренов, что Одетта уехала, — это не его мысли, что сердце

[152] Примечания: 152

…она… заедет выпить шоколаду к Прево. — Горячий шоколад был одним из фирменных блюд «Кафе Прево», открытого в 1825 г. на бульваре Бон-Нувель.

у него так заболело впервые, но что эту новизну ощущения он постиг только сейчас, как бы внезапно проснувшись. Что же, значит, все эти волнения — из-за того что он увидит Одетту не раньше завтрашнего дня, меж тем как всего лишь час назад он именно этого и хотел, когда ехал к г-же Вердюрен? Он вынужден был признать, что хотя к Прево увозил его тот же самый экипаж, да он-то был уже не тот, что он был сейчас не один, что с ним было другое существо, сросшееся, спаянное с ним, от которого ему, пожалуй, уже не удастся избавиться, с которым ему придется носиться, как носятся со своим наставником или со своим здоровьем. И все же с той минуты, когда он почувствовал, что с ним сросся кто-то еще, ему стало интереснее жить на свете. Он только убеждал себя, что встреча с ней у Прево (ожидание которой до такой степени опустошало, обессмысливало предшествовавшие ей мгновения, что он не мог остановиться ни на одной мысли, ни на одном воспоминании, которое бы его успокоило), если, впрочем, она состоится, наверное, будет похожа на прежние, — ну встретились, только и всего. Повторится то, что бывало ежевечерне: украдкой бросив при входе взгляд на ее вечно меняющееся лицо и сейчас же отведя его из страха,

как бы она не уловила в нем намек на вожделение и не разуверилась в бескорыстии своего знакомого, он утратит способность думать о ней — настолько он будет поглощен подыскиванием повода, во-первых, не уходить от нее сейчас же, а во-вторых, с деланно равнодушным видом взять с нее слово встретиться завтра у Вердюренов: то есть продлить, а на другой день возобновить муку разочарования, причиняемую беспроки-ми свиданиями с этой женщиной, с которой он сближался, не смея обнять ее.

У Прево ее не было; он решил заглянуть во все бульварные рестораны. Чтобы не терять времени, он сам направился в одну сторону, а в другую послал кучера Реми (дожа Лоредано работы Рицци), и, так и не найдя Одет-ту, стал ждать его в условленном месте. Экипаж не возвращался, и Сван представлял себе момент его возвращения и так и этак: Реми скажет ему: «Эта дама там», или Реми скажет ему: «Этой дамы нет ни в одном ресторане». И соответственно ему по-разному представлялось окончание вечера: или он встретится с Одеттой и она развеет его тоску, или он будет вынужден расстаться с мечтою разыскать ее сегодня вечером, смириться с тем, что он вернется домой, так и не повидавшись с ней.

Кучер вернулся, но когда он остановил экипаж, Сван, вместо того чтобы спросить: «Нашли вы эту даму?» — сказал: «Напомните мне завтра распорядиться насчет дров, а то ведь дрова, кажется, у нас на исходе». Быть может, он убедил себя, что если Реми нашел Одетту в каком-нибудь ресторане, где она поджидала Свана, то злополучие этого вечера перечеркнется счастливым его исходом и что он может не спешить навстречу своему счастью: ведь оно и так уже поймано и находится в надежном месте, откуда ему не сбежать. Но тут действовала еще и сила инерции; у Свана была неповоротливая душа, как у иных бывает неповоротливым тело: когда нужно увернуться от удара, отскочить от огня, сделать быстрое движение, они не торопятся, некоторое время не меняют положения, как бы для того, чтобы собраться с силами и взять разбег. И конечно, если бы кучер перебил его и сказал: «Эта дама там», — он бы ответил: «Ах да, верно, ведь я же вас посылал… вот так так! Совсем из головы вон!» — и продолжал бы говорить о дровах, чтобы скрыть волнение и дать себе время покончить с тревогой и порадоваться.

Но кучер объявил, что нигде ее не нашел, и на правах старого слуги позволил себе высказать свое мнение:

— По-моему, вам теперь надо ехать домой.

Однако равнодушие, которое Сван с такой непринужденностью разыгрывал, пока в нем жила надежда на положительный ответ, мгновенно с него слетело, как только кучер предпринял попытку заставить его отказаться от своей мечты и прекратить поиски.

— Ни в коем случае! — вскричал Сван. — Мы должны найти эту даму; это чрезвычайно важно. У нее есть ко мне дело, она будет очень недовольна и обидится, если мы не встретимся.

— Да чего ей обижаться? — возразил Реми. — Ведь она же уехала, не дождавшись, велела передать, что будет у Прево, а ее там не оказалось.

К довершению всего стали гаснуть огни. Под деревьями бульваров, в таинственной темноте еще бродили редкие прохожие, но различить их можно было с трудом. Время от времени к Свану приближалась тень женщины, шептала ему на ухо, просила проводить, и он каждый раз вздрагивал. Он впивался взглядом в призрачные эти фигуры, как будто в царстве мрака, среди

мертвецов, искал Эвридику[153].

Любовь возникает по-разному, по-разному рассеиваются семена священного зла, но, разумеется, один из наиболее действенных возбудителей — это мощный порыв тревоги, который время от времени налетает на нас. И тут жребий брошен: мы непременно полюбим женщину, с которой нам сейчас хорошо. Для этого даже не требуется, чтобы прежде она нравилась нам больше, чем другие, или даже одинаково. Нужно лишь, чтобы наше влечение к ней было необыкновенным по силе. И оно становится необыкновенным, когда она обманывает нас и когда поиски наслаждения, доставляемого нам ее прелестью, неожиданно сменяются непреоборимым желанием, какое вызывает в нас эта женщина, желанием безрассудным — ибо законы нашего общества не дают возможности удовлетворить его и затрудняют исцеление — безумным и мучительным желанием обладать ею.

Сван велел везти его в ночные рестораны: это

---

[153] Примечания: 153

Эвридика — в древнегреческой мифологии жена Орфея, погибшая от укуса змеи. Согласно мифу, Орфей спускается в Ад, чтобы найти возлюбленную; очаровав богов Аида своим пением, он добивается возвращения Эвридики в царство живых с условием не смотреть на нее прежде, чем они переступят порог Ада. Не выполнив этого условия, Орфей теряет ее навсегда. Любовь Свана к Одетте тоже может быть уподоблена сошествию в Ад.

была единственная надежда на счастье, которая его ободряла; теперь он уже не скрывал своей тревоги, не скрывал значения, какое он придавал этой встрече, и обещал — в случае успеха — поблагодарить кучера, словно во власти кучера было, если только его заинтересовать и если их интересы совпадут, сделать так, что, хотя бы Одетта вернулась домой и легла спать, все-таки она окажется в одном из бульварных ресторанов. Сван доехал до «Золотого дома», дважды заглянул к Тортони, потом в Английское кафе[154] и нигде ее не нашел, но когда он с потерянным видом зашагал к своему экипажу, ждавшему его на углу Итальянского бульвара, то столкнулся с женщиной: это была она; Одетта объяснила ему, что так как у Прево свободного места не нашлось, то она поехала ужинать в «Золотой дом», но он не заметил ее в уголке, а теперь она направляется к своему экипажу.

Она никак не ожидала встретить Свана и оттого невольно вздрогнула. А он объездил Париж не

---

[154] Примечания: 154

...заглянул к Тортони, потом в Английское кафе... — «Кафе Тортони» — первое итальянское кафе-мороженое в Париже, с начала XIX века излюбленное место встречи парижских политиков, журналистов и литераторов. «Английское кафе» открыто в 1844 г. В конце XIX века — один из лучших ресторанов Парижа, который как и «Тортони» располагался на Итальянском бульваре.

потому, чтобы надеялся встретить ее, а потому, что отказаться от дальнейших поисков было для него слишком больно. Зато радость, которая, как подсказывал ему до сих пор здравый смысл, сегодня вечером от него ускользнула, сейчас казалась ему особенно полной: ведь он не напрягал усилий, чтобы предугадать ее вероятность, — она пришла к нему сама; ему не нужно было путем умозаключений искусственно возбуждать ее в себе — она сама излучала подлинность, она бросала на него снопы света, и ее сияние разгоняло пугавшее его одиночество, будто это был сон, — он только бессознательно утверждал, основывал на ней свои мечты о счастье. Так путешественник, приехав в хорошую погоду на побережье Средиземного моря и усомнившись в том, что страны, откуда он прибыл, действительно существуют, не оглядывается, а предпочитает, чтобы ему слепил глаза блеск сверкающей и неиссякаемой морской лазури.

Он сел в экипаж к Одетте и велел своему кучеру ехать за ними.

В руке у нее был букет орхидей, и еще Сван увидел эти цветы под кружевной косынкой у нее в полосах — они были приколоты к эгретке из лебяжьих перьев. Внизу, под мантильей, в

поток черного бархата косо врезался широкий треугольник белого фая, в открытом корсаже из-под мантильи выглядывала вставка тоже из белого фая, а за корсаж были засунуты опять-таки орхидеи. У нее еще не совсем прошел испуг после встречи со Сваном, как вдруг шарахнулась налетевшая на что-то лошадь. Их тряхнуло, Одетта вскрикнула, задрожала всем телом, ей стало нечем дышать.

— Ничего, ничего, — проговорила она, — не бойтесь.

Чтобы она не упала, он обнял ее и притянул к себе.

— Главное, не разговаривайте, — сказал он, — отвечайте мне знаками, иначе вам будет еще труднее дышать. Вы ничего не будете иметь против, если я поправлю цветы на платье? После этого толчка они у вас еле держатся. Как бы они не выпали, — я хочу засунуть их поглубже.

Одетта не привыкла к тому, чтобы мужчины так с ней церемонились.

— Да, да, конечно, пожалуйста, — улыбаясь, ответила она.

Свана ее ответ несколько обескуражил, а кроме того, ему, вероятно, хотелось создать впечатление, что у него не было задней мысли, да, может

быть, он и сам поверил в свою искренность.

— Нет, нет, главное, не разговаривайте! — воскликнул он. — Вы совсем задыхаетесь. Вы отлично можете отвечать мне жестами — я вас пойму. Значит, вы правда ничего не имеете против? Посмотрите: вот тут немножко… по-моему, на вас насыпалась пыльца, позвольте, я стряхну. Так вам не очень неприятно, так не больно? Может, вам щекотно? Я боюсь помять платье. Понимаете: их действительно необходимо прикрепить, иначе они упадут, а вот если я их засуну поглубже… Скажите по чистой совести: это вас не коробит? А если я их понюхаю? Мне хочется проверить, пахнут они еще или нет. Я не знаю, как они пахнут. Можно? Скажите откровенно.

Она чуть заметно, с улыбкой пожала плечами, как бы говоря: «Чудак! Вы же видите, что мне это доставляет удовольствие».

Он погладил другой рукой щеку Одетты, Одетта пристально на него посмотрела томным и многозначительным взглядом, каким смотрят женщины флорентийского мастера, с которыми он нашел у нее сходство; глядевшие из-под полуопущенных век блестящие ее глаза, большие, продолговатые, точь-в-точь как у тех женщин, казалось, вот-вот выльются, точно две слезы. Она

выгибала шею, как женщины на картинах из языческой жизни и на картинах религиозного содержания. И хотя, без сомнения, это была для нее привычная поза, хотя она знала, что это наиболее выигрышная поза в такие минуты, и хотя она следила за собой, как бы не забыть принять ее, все же она делала вид, будто напрягает крайние усилия, чтобы удержаться в этом положении, оттого что какая-то невидимая сила притягивает ее лицо к Свану. И прежде чем она как бы нехотя приблизила губы к Свану, он на мгновение охватил ее голову руками. Ему хотелось, чтобы у его мысли было время примчаться, опознать мечту, которую она так долго лелеяла, и присутствовать при осуществлении этой мечты, — так приглашают родственницу, чтобы она порадовалась успеху горячо любимого ею ребенка. И быть может, вот еще что: в последний раз видя ту Одетту, которую он даже не поцеловал, не говоря уже о полной близости, он приковал к ней взгляд, каким мы в день отъезда стремимся вобрать в себя край, куда мы не попадем уже никогда.

Но он был так робок с ней, что, начав тот вечер с приведения в порядок цветов, а кончив обладанием ею, он, то ли из боязни оскорбить ее, то ли из страха, что она, хотя бы задним числом,

увидит в нем обманщика, то ли оттого, что ему не хватало смелости требовать от нее большего (поправлять цветы он уже не считал нескромностью, поскольку Одетта не рассердилась на него в первый раз), и в дальнейшем пользовался этим предлогам. Если орхидеи были приколоты у нее к корсажу, он говорил: «Сегодня мне не повезло: не нужно поправлять орхидеи, а тогда они у вас чуть не выпали; но только, по-моему, вот эта слегка наклонилась. Любопытно, так же ли они пахнут, как те, — можно понюхать?» — А если цветов не было: «Ой! Сегодня нет орхидей — нечего поправлять». Словом, некоторое время порядок, заведенный в первый же вечер, когда Сван начал с того, что прикоснулся пальцами и губами к груди Одетты, не нарушался, и каждый раз это были первые его ласки; и долго еще, уже когда приведение в порядок (или, вернее, ритуальная игра в приведение в порядок) орхидей было упразднено, образное выражение «орхидеиться», превратившееся у них в самое обыкновенное слово, которое они употребляли, не думая о его буквальном значении и подразумевая физическое обладание, — хотя, кстати сказать, никакого обладания тут не происходит, — сохранилось в их языке и пережило преданный забвению обычай.

Можно предположить, что и слово «любиться», которому придается особый смысл, прежде означало не совсем то, что означают его синонимы. Пусть мы пресыщены женской любовью, пусть нам представляется, что обладание самыми разными женщинами всегда одинаково и что тут все известно заранее, тем не менее оно становится для нас неиспытанным наслаждением, когда мы имеем дело с трудными женщинами или если они нам кажутся трудными, — вот почему в таких случаях мы придираемся к какой-нибудь неожиданности в наших отношениях с ними, как в первый раз придрался Сван к тому, что надо поправить цветы. В тот вечер у него была робкая надежда (он говорил себе: а вдруг Одетта не догадается и он ее проведет!), что обладание этой женщиной возникнет из их широких лиловых лепестков; и только потому, что Одетта, как он полагал, разрешает уже испытываемое им наслаждение, сама не ощущая его, — вот таким оно должно было представляться первому человеку, вкусившему его среди цветов земного рая, — ему казалось, что этого наслаждения никогда прежде не существовало, что он сам пытается сотворить его, что это наслаждение, которому он потом должен был придумать особое название, чтобы

след его сохранился, — что это наслаждение решительно ни с чем не сравнимое и небывалое.

Теперь каждый вечер, отвезя ее, он должен был заходить к ней, и она часто провожала его в капоте до экипажа и, поцеловав на глазах у кучера, говорила: «Какое мне дело, что мне до посторонних?» В те вечера, когда он не бывал у Вердюренов (что иной раз случалось с тех пор, как он получил возможность встречаться с ней и в других местах) или когда он — все реже и реже — появлялся в свете, она просила его заезжать к ней по дороге домой, невзирая на поздний час. Была весна, весна ясная и холодная. Уйдя со званого вечера, он садился в свою коляску, закутывал ноги полостью, говорил уезжавшим одновременно друзьям, предлагавшим ему ехать вместе, что он не может, что ему не по дороге, и кучер, знавший, куда ехать, лихо его мчал. Друзья давались диву, и в самом деле: Сван был не тот. Никто из них больше не получал от него писем, в которых он просил бы познакомить его с какой-нибудь женщиной. Он перестал обращать внимание на женщин и избегал ходить туда, где мог бы их встретить. В ресторанах и за городом его манера держать себя была совсем не та, по которой еще так недавно его можно было сразу узнать и которую он, казалось,

не переменит никогда. Так страсть становится нашим новым характером, временным и отличным от прежнего, сменяющим его и стирающим до сих пор не менявшиеся его черты. Зато теперь неизменной привычкой Свана было откуда бы то ни было заезжать к Одетте. Путь его к ней — крутой и стремительный спуск его жизни — был неизбежен. Засидевшись у кого-нибудь, он, откровенно говоря, предпочел бы ехать прямо домой, не давая крюку и отложив встречу до завтра; но то обстоятельство, что он себя затруднял, отправляясь к ней в такое необычное время, что он догадывался, что простившиеся с ним друзья говорили между собой: «Его здорово держат в руках; должно быть, какая-то женщина требует, чтобы он являлся к ней в любое время», — это обстоятельство напоминало ему, что у него на первом плане сердечная привязанность и что, жертвуя покоем и выгодой ради упоительных мечтаний, он приобретает внутреннее обаяние. Притом уверенность, что она ждет его, что она не с другим, что он не вернется домой, не повидавшись с ней, незаметно для него самого подавляла забытую им, но всегда готовую зашевелиться тоску, измучившую его в тот вечер, когда он не застал Одетту у Вердюренов, и сменившуюся

такой отрадной душевной тишиной, которую можно было назвать счастьем. Быть может, именно благодаря этой тоске Одетта приобрела над ним такую власть. Люди в большинстве своем до того нам безразличны, что когда мы наделяем кого-нибудь из них способностью огорчать и радовать нас, то это существо представляется нам вышедшим из другого мира, мы поэтизируем его, оно преображает нашу жизнь в захватывающий дух простор, где оно оказывается на более или менее близком от нас расстоянии. Как только Сван пытался вообразить себе, чем станет для него Одетта в будущем, его охватывало волнение. Иной раз, когда Сван чудесной холодной ночью ехал в коляске и смотрел на яркую луну, заливавшую своим сиянием пространство между его глазами и безлюдными улицами, он думал о таком же ясном, розоватом, как лунный лик, лице, которое однажды возникло перед его сознанием и в таинственном свете которого он видит теперь весь мир. Если он приезжал после того, как Одетта отсылала своих слуг спать, то, прежде чем позвонить у калитки, он шел на улицу, куда наряду с совершенно одинаковыми, но темными окнами соседних домой выходило только одно освещенное окно ее спальни в нижнем этаже.

Он стучал в окно, и она, ответив на условный знак, спешила встретить его на другой стороне, у калитки. На рояле были раскрыты ноты ее любимых вещей: «Вальса роз»[155] или «Несчастного безумца» Тальяфико[156] (она завещала исполнить их на ее похоронах), тем не менее он просил сыграть фразу из сонаты Вентейля, хотя Одетта играла прескверно, но ведь прекрасные видения, которые остаются у нас после музыки, часто возносятся над теми фальшивыми звуками, что извлекаются неумелыми пальцами из расстроенного рояля. Короткая фраза все еще связывалась в представлении Свана с его любовью к Одетте. Он живо чувствовал, что эта любовь не имеет ничего общего с внешним миром, что она никому, кроме него, непонятна, он сознавал, что никто так высоко не ценит Одетту, как он, — ведь все дело было в тех мгновениях, которые проводил он с нею вдвоем. И нередко, когда в Сване брало верх рассудочное начало, он готов был прекратить

---

[155] Примечания: 155

«Вальс роз» (1855) — произведение Оливье Метра́ (1830–1889), автора оперетт и музыки к танцевальным представлениям в «Фоли-Бержер», где он был главным дирижером до 1877 г., затем дирижировал на балах в Парижской Опере.

[156] Примечания: 156

Тальяфико, Жозеф-Дьедонне (1821–1900) — французский баритон и автор романсов.

жертвовать столькими умственными и общественными интересами ради воображаемого наслаждения. Но стоило ему услышать короткую фразу — и она освобождала в нем необходимое для нее пространство, она нарушала душевные его пропорции; какой-то краешек его души приберегался для радости, которая тоже не была связана ни с каким явлением внешнего мира, но которую, в противоположность чувствам глубоко личным, в противоположность, например, любви, Сван воспринимал как некую высшую реальность, стоящую над осязаемыми предметами. Фраза вызывала в нем жажду неизведанных очарований, но она не указывала средств к ее утолению. Таким образом, те части души Свана, откуда короткая фраза изгнала житейские заботы, соображения, которые нам почеловечески представляются такими важными, остались у него неисписанными, чистыми страницами, на которых он волен был написать имя Одетты. Фраза присоединяла, припаивала таинственную свою сущность к тому непрочному и обманчивому, что могло быть в его увлечении Одеттой. Кто смотрел на лицо Свана в то время как он слушал фразу, тот мог бы подумать, что Сван только что принял обезболивающее средство, которое дает

ему возможность глубже дышать. И в самом деле: наслаждение, которое доставляла Свану музыка и которое перерастало у него в подлинную страсть, напоминало в такие минуты наслаждение, получаемое им от ароматов, от соприкосновения с миром, для которого мы не созданы, который представляется нам бесформенным, потому что наши глаза его не различают, который представляется нам бессмысленным, потому что он недоступен нашему пониманию, и который мы постигаем только одним из наших чувств. Великим покоем, таинственным обновлением было для Свана — для него, чьи глаза, тонкие ценители живописи, и чей ум, зоркий наблюдатель нравов, все же носили на себе неизгладимую печать бесплодности его существования — чувствовать, что он превращен в создание, не похожее на человека, слепое, лишенное логического мышления, в некое подобие сказочного единорога, в создание выдуманное, способное воспринимать действительность только через слух. И так как его разум бессилен был погрузиться в смысл короткой фразы, хотя он его и доискивался, то такое же необыкновенное упоение должен был испытывать он, лишая самую глубь своей души какой бы то ни было помощи мышления, пропуская ее

одну через цедилку, через темный фильтр звука! Он начинал сознавать, как много мучительного, может быть, даже скрытно неутоленного заключала в себе ласкающая слух музыкальная фраза, но ему от этого не было больно. Она утверждала, что любовь недолговечна, но какое было ему до этого дело, если его любовь была так сильна! Грусть этой фразы его веселила, — он чувствовал, что она его овевает, но овевает как ласка, от которой только еще глубже и отрадней становится его счастье. Он заставлял Одетту повторять фразу десять раз, двадцать раз подряд и в то же время требовал, чтобы Одетта целовала его не переставая. Один поцелуй влечет за собой другой. О, в первоначальную пору любви поцелуи рождаются так естественно! Они размножаются, тесня друг друга; сосчитать, сколько поцелуев в час, — это все равно что сосчитать в мае полевые цветы. Наконец она делала вид, будто прекращает игру, и говорила: «Ты просишь, чтобы я играла, а сам меня держишь! Я не могу делать все сразу. Выбери что-нибудь одно. Что я должна: играть или ласкаться?» Он сердился, а она заливалась смехом, смех превращался в дождь поцелуев и низвергался на него. Иногда она смотрела на Свана хмуро, перед ним опять было лицо, достойное

занять место в «Жизни Моисея»[157] Боттичелли, и он помещал его там, он придавал шее Одетты нужный выгиб; когда же он чувствовал, что ее портрет во вкусе XV века, написанный водяными красками на стене Сикстинской капеллы, удался ему, мысль, что Одетта все-таки остается здесь, у рояля, что сию минуту она может обнять ее, обладать ею, что она из плоти и крови, что она — живая, до того опьяняла его, что, с помутившимися глазами, выдвинув нижнюю челюсть, точно собирался проглотить ее, он бросался на эту деву Боттичелли и впивался в ее щеки. А когда он от нее уходил, причем нередко возвращался, чтобы еще раз поцеловать ее, потому что не унес в своей памяти какую-нибудь особенность ее запаха или какие-то черты, и уезжал в своей коляске, он благословлял Одетту за то, что она допускала эти ежедневные его приезды, — ведь он же чувствовал, что ей они большой радости не доставляют, но его они оберегали от припадков ревности, от повторения приступа боли, случившегося с ним в тот вечер, когда он не застал ее у Вердюренов, от возобновления этих приступов, первый из которых оказался невероятно жестоким и пока

---

[157] Примечания: 157
«Жизнь Моисея» — см. примеч. к стр. 283.

что был первым и последним, и то, что он испытывал в эти почти волшебные, небывалые в его жизни мгновения, он мог бы сравнить лишь с тем, что переполняло его, когда он ехал от нее по освещенному луною Парижу. И, замечая при возвращении домой, что светило за это время переместилось и приближается к линии горизонта, чувствуя, что его любовь тоже подчиняется неизменным законам природы, он задавал себе вопрос, долго ли будет длиться этот период его жизни, или мысленный его взор различит дорогое лицо потом уже издали, уменьшенным и почти лишенным способности очаровывать. А между тем Сван, влюбившись, опять стал видеть в вещах очарование, точно к нему вернулась молодость, когда он воображал себя художником; но это было уже не то очарование: новое придавала окружающему Одетта. Он чувствовал, как в нем возрождаются юношеские порывы, которые рассеяла его легкая жизнь, но все они носили на себе отблеск, отпечаток единственной; теперь, получая изысканное наслаждение от того, что он подолгу бывал дома, один на один со своей выздоравливающей душою, он постепенно вновь становился самим собой, но — ее.

Он ходил к ней только по вечерам и не знал,

чем она занимается днем, как не знал он и ее прошлого, более того: он не располагал даже теми начальными пустячными сведениями, которые помогают нам довообразить, чего мы не знаем, и подстрекают наше любопытство. Вот почему он не задавал себе вопроса, что́ она сегодня делала, как складывалась прежде ее жизнь. Он только улыбался при воспоминании о том, что несколько лет назад, когда он еще не был с нею знаком, ему говорили об одной женщине — если память ему не изменяла, конечно, о ней, — говорили как о девице легкого поведения, как о содержанке, как об одной из тех, которых он, еще мало их зная, принимал за существа, безнадежно испорченные, погрязшие в разврате, каковыми их изображали иные романисты. Теперь он говорил себе, что в большинстве случаев для того, чтобы узнать человека, не нужно считаться с мнением о нем света, и в доказательство противопоставлял выдуманной Одетте Одетту подлинную, добрую, простодушную, требовательную к себе, почти неспособную говорить неправду, до такой степени, что, попросив ее однажды написать Вердюренам и сослаться на нездоровье, потому что ему хотелось пообедать с ней вдвоем, на другой день он заметил, как она покраснела, когда г-жа

Вердюрен осведомилась, не лучше ли ей сегодня, как она залепетала что-то невразумительное и как, помимо ее воли, лицо ее выразило страдание, муку, оттого что ей приходится лгать, и как она, нагромождая вымышленные подробности вчерашнего своего недомоганья, молящими взглядами и жалобным тоном словно просила прощения за лживость своих объяснений.

Иногда — впрочем, редко — она приходила к нему днем и выводила его из задумчивости или прерывала его работу над изучением Вермеера, за которую он опять принялся. Ему докладывали, что г-жа де Креси в маленькой гостиной. Он шел к ней, и стоило ему отворить дверь, как, при виде его, на розовом лице Одетты, изменив склад ее рта, выражение глаз и форму щек, показывалась улыбка. Оставшись один, он вспоминал или эту ее улыбку, или ту, какой она улыбнулась ему накануне, или ту, какой она улыбалась тогда-то и тогда-то, или ту, какой она ответила ему в экипаже, когда он спросил: может быть, ей неприятно, что он поправляет цветы; и так как он понятия не имел, что делает Одетта, когда он не с ней, то на нейтральном и бесцветном фоне жизни без него

она казалась ему сошедшей с этюдов Ватто[158], где на светло-желтой бумаге тремя разноцветными карандашами нарисованы везде и всюду, и вдоль и поперек, бесчисленные улыбки. И лишь время от времени, приоткрывая уголок жизни, который Сван представлял себе совершенно пустым, хотя разум говорил ему, что если его воображение бессильно, то это еще ровно ничего не значит, кто-нибудь из друзей, подозревавший, что Сван и Одетта любят друг друга, и потому стеснявшийся сообщить о ней Свану что-нибудь важное, набрасывал перед ним силуэт Одетты, которую он видел утром на улице Аббатуччи, как она шла в отороченной скунсовым мехом накидке, в шляпе «Рембрандт» и с фиалками на груди. Этот легкий набросок потрясал Свана, — он убеждался, что у Одетты есть своя жизнь; ему хотелось знать, кому она старается понравиться в этом костюме; он давал себе слово спросить у нее, куда она ходила утром, как будто во всей бесцветной жизни его любовницы — жизни, почти несуществующей, поскольку он ее не видел, — помимо всех обращенных к нему улыбок было только одно: ее выход в шляпе «Рембрандт»,

[158] Примечания: 158

Ватто, Антуан (1684–1721) — французский художник, автор «Галантных праздников». На его творчество Пруст часто ссылается в романе.

с фиалками на груди!

За исключением просьбы сыграть вместо «Вальса роз» фразу Вентейля, Сван никогда не просил ее играть его любимые вещи и не собирался воспитывать ее вкус ни в музыке, ни в литературе. Он не закрывал глаз на то, что Одетта неумна. Она очень просила Свана рассказать ей о великих поэтах и воображала, что сейчас он произнесет высокопарную или страстную речь во вкусе виконта де Борелли[159] или даже еще более трогательную. Она поинтересовалась, не было ли в жизни Вермеера Дельфтского любовной драмы и не женщина ли вдохновляла его, а когда Сван ответил, что ему ничего про это не известно, она утратила к Вермееру всякий интерес. Она часто говорила: «Я убеждена, что если бы все это была правда, если бы поэты думали так, как они пишут, то, конечно, не было бы на свете ничего прекраснее поэзии. Но многие из них до крайности корыстолюбивы. Я ведь их немного знаю, одна моя приятельница любила человека, который называл себя поэтом. В стихах он только

---

[159] Примечания: 159

Виконт де Борелли (1837–1906) — популярный французский поэт XIX века, получивший известность, в частности, благодаря успешной постановке его одноактной пьесы «Ален Шартье» в «Комеди-Франсез». Можно думать, что для Пруста, характеризующего вкусы Одетты в области поэзии, творчество Борелли было образчиком поверхностности.

и говорил что о любви, о небе, о звездах. И как же он ее надул! Она на него ухлопала больше трехсот тысяч франков». Когда Сван пытался объяснить Одетте, в чем красота художественного произведения, как нужно понимать стихи или картины, Одетта сейчас же переставала его слушать. «Да… а ведь я ничего этого не знала», — говорила она. Сван между тем чувствовал, как велико было ее разочарование, и предпочитал лгать — он уверял, что это еще только самое начало, что это еще сравнительно пустяки, что ему пока некогда углубляться, что тут еще много всякого другого. «Всякого другого? — живо обращалась она к нему. — Что же именно?. Ну скажи!» Но он молчал — он предвидел, что все это покажется ей незначительным и непохожим на то, чего она ожидала, менее ошеломляющим и менее трогательным, и боялся, как бы она, разочаровавшись в искусстве, не разочаровалась и в любви.

И правда: она находила, что Сван не такой умный, каким он ей показался вначале. «Ты какой-то уж слишком уравновешенный, не могу я тебя понять». Ей гораздо больше нравилось его равнодушие к деньгам, его любезность со всеми, его деликатность. И правда: даже более выдающиеся личности, чем Сван, ученые, художники,

пользующиеся вниманием окружающих, видят доказательство признания своего превосходства не в увлечении их идеями, ибо окружающим они недоступны, но в уважении к их доброте. Положение, какое Сван занимал в обществе, тоже внушало Одетте уважение, но она туда не стремилась. Быть может, она предвидела, что из его попыток ввести ее туда все равно ничего не выйдет, а быть может, даже боялась, что разговор о ней повлечет за собой опасные для нее разоблачения. Как бы то ни было, она всякий раз брала с него слово не называть ее имени. В качестве причины, почему она не хочет бывать в обществе, она выставляла давнишнюю ссору с одной своей приятельницей, которая, чтобы отомстить ей, стала распускать о ней сплетни. Сван возражал: «Да кто там знает твою приятельницу!» — «Ах, это все равно что жирное пятно, свет так зол!» Сван не мог понять, почему Одетта придает этой истории такое значение, но, с другой стороны, он знал, что изречения: «Свет так зол!», «Клевета — что жирное пятно» — считают неопровержимыми, а когда так, то должны же быть случаи, к которым их можно применить. Значит, случай с Одеттой именно таков? Он думал над этим, но недолго, потому что, когда предстояло решить

трудную задачу, он был таким же тугодумом, как и его отец. Притом это самое общество, которое так пугало Одетту, по-видимому, не очень ее влекло: оно ничего общего не имело с тем, где она вращалась, так что она даже не могла ясно себе его представить. Вместе с тем, не порывая связей с простонародьем (так, например, она по-прежнему дружила с дешевой портнихой, уже больше не шившей, и почти ежедневно взбиралась к ней по крутой, темной и зловонной лестнице), она обожала шик, но только понятие о шике у нее было иное, чем у людей из общества. Для них шик — это свойственная немногим способность испускать лучи на довольно значительное расстояние, способность, которую уже не так сильно чувствуют те, что находятся не в самом центре близости с ними, способность озарять лучами круг своих друзей и друзей своих друзей, чьи имена входят в особый адрес-календарь. Люди из общества знают его на память, в этой области они отличаются осведомленностью, воспитывающей в них особого рода вкус, такт, и если, например, Сван читал в газете фамилии лиц, присутствовавших на таком-то обеде, то ему не было необходимости прибегать к своему знанию света, чтобы мгновенно определить степень шикарно-

сти этого обеда, — так тонкий критик по одной фразе может точно установить степень одаренности автора. Но Одетта принадлежала к числу лиц (числу огромному, что бы ни говорили светские люди, причем лица эти встречаются во всех слоях общества), не обладающих такими познаниями, лиц, представляющих себе шик совсем иначе, оттого что шик принимает разные обличья в зависимости от среды, к которой принадлежат люди, и все же есть в нем одна характерная черта — будь то шик, о котором мечтала Одетта, или шик, перед которым преклонялась г-жа Котар, — общедоступность. Но ведь и шик светских людей тоже, в сущности говоря, общедоступен, он не требует ничего, кроме времени для обладания им. Одетта говорила про кого-нибудь:

— Он бывает только в шикарных местах.

А когда Сван спрашивал, что она под этим понимает, она отвечала с легким презрением в голосе:

— Ах, боже мой, ну в шикарных местах! Ты еще так молод, что тебе нужно объяснять, что такое шикарные места, ты хочешь, чтобы я тебе растолковала? Ну, например, в воскресенье утром

— авеню Императрицы[160], в пять часов — прогулка вокруг озера[161], по четвергам — театр Эден[162], по пятницам — ипподром, балы…

— Да какие балы?

— Такие. Которые дают в Париже, — я говорю про шикарные балы. Ну вот хотя бы Эрбингер — ты понимаешь, кого я имею в виду? Биржевика. Да нет, ты не можешь его не знать, его знает весь Париж: высокий белокурый молодой человек, ужасный сноб, с цветком в петличке, в светлом пальто со швом на спине; на все премьеры он водит какую-то накрашенную дамочку не первой молодости. Так вот он на днях устроил бал — у него собрался весь шикарный Париж. Как мне туда хотелось! Надо было предъявить при входе пригласительный билет, а мне его не удалось достать. По правде говоря, теперь я даже довольна, что не пошла: там была такая давка — я бы все равно ничего не увидела. Стоило пойти только для того, чтобы потом сказать: я была у Эрбингера.

---

[160] Примечания: 160

Авеню Императрицы — прежнее название авеню Фош.

[161] Примечания: 161

…прогулка вокруг озера… — Озеро в Булонском лесу, к которому как раз и вела авеню Императрицы.

[162] Примечания: 162

Театр Эден («Эден-Театр») находился на улице Будро, недалеко от Оперы. В 1882–1894 гг. был одним из самых престижных театров Парижа.

Ты знаешь: я ведь тщеславна! Впрочем, можешь быть уверен, что половина женщин, которые рассказывают, будто они там были, вдруг… Но вот что меня удивляет: как это ты, такой «пшют», там не был.

Сван даже не пытался изменить ее понятие о шике; отдавая себе отчет, что его представление о шике такое же неверное, такое же нелепое, такое же поверхностное, как у нее, он не испытывал желания просветить свою возлюбленную и достиг того, что уже спустя несколько месяцев она перестала проявлять любопытство к тем людям, у кого он бывает, — они интересовали ее лишь с той точки зрения, нельзя ли через них достать билеты на скачки, на бега, на премьеру. Она всецело была за то, чтобы он поддерживал полезные знакомства, но только они показались ей не очень шикарными после того, как она встретила на улице шедшую пешком маркизу де Вильпаризи в черном шерстяном платье, в чепчике с завязками.

— Да у нее вид капельдинерши, старой консьержки, *darling*![163] Вот так маркиза! Я не маркиза, но я бы ни за какие деньги не вышла на

---

[163] Примечания: 163
Милый! (*англ.*)

улицу в этаком наряде!

Она не могла понять, как это Сван может жить на Орлеанской набережной: она считала это неприличным, хотя и не решалась сказать ему об этом прямо.

Правда, она мнила себя «любительницей древностей» и с напускным упоением и будто бы со знанием дела говорила о том, как она обожает целыми днями «рыться» во «всякой всячине», отыскивать «старину». Хотя, боясь, повидимому, уронить свое достоинство (и, кроме того, следуя каким-то семейным традициям), она упорно не отвечала на вопросы Свана и не считала нужным «отдавать отчет», как она проводит время, все же она как-то сказала Свану, что была у приятельницы, у которой все «выдержано в одном стиле». Но Сван так и не мог добиться, какой же именно этот стиль. Впрочем, подумав, она ответила: «Средневековый». Она имела в виду, что там были панели. Некоторое время спустя она опять заговорила с ним об этой приятельнице неуверенным тоном, но с понимающим видом человека, толкующего о незнакомце, чье имя ему неизвестно, с которым он накануне обедал и с которым хозяева обходились как со знаменитостью, так что он надеется, что его собеседник

сразу догадается, кого он имеет в виду: «У нее столовая в стиле… в стиле восемнадцатого века!» В глубине души Одетта находила, что столовая до ужаса гола, что дом как будто недостроен, что женщины выглядят там ужасно и что мода туда и не заглядывала. Наконец, она в третий раз заговорила об этом со Сваном и показала ему визитную карточку того, кто отделывал столовую: ей хотелось, когда у нее будут деньги, пригласить его и спросить, не согласится ли он отделать столовую и ей, но только, разумеется, не так, потому что она мечтала о другой столовой, для которой ее домик был, к несчастью, слишком мал, — с высокими буфетами, с мебелью Ренессанс и с каминами, как в замке в Блуа[164]. Вот тут-то Одетта и высказала мнение о жилище Свана: Сван заметил, что обстановка в столовой у приятельницы Одет-ты не в стиле Людовика XVI, потому что она не делается на заказ, а что это подделка под старину, хотя сама по себе подделка может быть прелестна. «Не станет же она жить, как ты, — среди поломанной мебели и потертых ковров», — возразила Одетта, у которой мещанское благоговение перед тем, что подумают люди, возобладало над дилетан-

[164] Примечания: 164

…как в замке в Блуа. — Замок в Блуа был одной из королевских резиденций в XVI веке.

тизмом кокотки.

Коллекционеров, любителей поэзии, людей не мелочных, мечтавших о славе и о любви, она считала гордостью человечества. Можно было и не иметь этих пристрастий — важно было заявить о них; если обедавший вместе с Одет-той человек уверял, что любит бродить по улицам, возиться в пыли антикварных лавочек, что в наш торгашеский век его не оценят, так как он не думает о собственной выгоде, что он — пережиток, она, вернувшись домой, восхищалась: «Какое очарование, какая тонкость, кто бы мог подумать!» — и начинала боготворить его. Зато истинные ценители прекрасного, такие как Сван, не считавшие нужным разглагольствовать о своих пристрастиях, не вызывали у нее восторга. Понятно, она признавала, что Сван не сребролюбив, однако с капризным видом добавляла: «Но только он совсем в другом роде»; да ведь ее душе и впрямь говорило не самое бескорыстие, а его словарь.

Чувствуя, что сплошь да рядом он не может исполнить ее желания, Сван, по крайней мере, заботился о том, чтобы ей было с ним хорошо, не опровергал плоских ее суждений, не исправлял дурной ее вкус, проявлявшийся во всем, более того: он любил ее суждения и ее вкусы, как любил

все, что было ей свойственно, даже восхищался ими, оттого что благодаря этим особенностям сущность ее открывалась ему, прояснялась. Вот почему, если у нее было счастливое выражение лица, так как она собиралась на «Царицу топазов»[165], или если ее взгляд становился серьезным, тревожным и упрямым, когда она боялась не попасть на праздник цветов или просто-напросто опоздать к чаю с *muffins*[166] и *toasts*[167] — к «чаю на Королевской», посещение которого Одетта считала необходимым для того, чтобы упрочить за собой репутацию элегантной женщины, Сван восторгался ею, как при виде ребенка, не притворяющего взрослым, или при виде того живо написанного портрета, как будто он сейчас заговорит; Сван так ясно видел на лице своей возлюбленной отражение ее души, что не подойти к Одетте и не коснуться ее губами было выше его сил. «Ах, маленькой Одетте

---

[165] Примечания: 165

«Царица топазов» — оперетта французского композитора Виктора Массе (1822–1884), авторы либретто — Локруа и Леон Батти. Премьера состоялась в 1856 г. в «Театр-Лирик», постановка была возобновлена в 1882 г. в театре «Шато д'О».

[166] Примечания: 166

Булками (*англ.*).

[167] Примечания: 167

Сухариками (*англ.*).

хочется, чтобы ее взяли на праздник цветов, ей хочется, чтобы все ею восхищались, — ну что ж, мы ее туда поведем, наше дело — ей повиноваться». Сван стал хуже видеть, и дома, когда он работал, ему приходилось надевать очки, а в обществе пользоваться моноклем, который не так уродовал его. Увидев у него в глазу монокль, Одетта залюбовалась. «По-моему, для мужчины это очень шикарно, тут не может быть двух мнений! Тебе это так идет! У тебя вид настоящего джентльмена. Только титула не хватает!» — с оттенком сожаления в голове добавила она. Сван любил Одетту именно такою, — вроде того как если б он влюбился в бретонку, то ему нравился бы ее чепец, нравилось бы в ней то, что она верит в привидения. До сих пор, как у большинства мужчин, у которых художественный вкус развивается независимо от их чувствительности, у Свана наблюдалось странное несоответствие между его эстетическими потребностями и тем, как он их удовлетворял: самыми тонкими произведениями искусства он наслаждался в обществе самых невежественных женщин; так, например, он приводил молоденькую горничную в ложу бенуара на декадентскую пьесу или на выставку импрессионистической живописи, будучи,

впрочем, уверен, что образованная светская дама поняла бы не больше горничной, но что у нее не хватило бы выдержки так же мило промолчать. Полюбив Одетту, Сван стал находить особую прелесть в том, чтобы смотреть на вещи одинаково, быть с ней единодушным во всем, наслаждаться всем, что нравилось ей, и тем глубже была его радость не только перенимать ее привычки, но и разделять ее мнения, что привычки эти и мнения не имели никаких корней в его внутреннем мире, — они только напоминали ему о его любви, ради которой он шел на эту жертву. Он по несколько раз смотрел «Сержа Панина»[168], он узнавал, когда будет дирижировать Оливье Метра, потому что ему доставляло удовольствие получить представление о круге интересов Одетты, сойтись с ней во вкусах. Блаженство сближения с ней, которое доставляли Свану любимые ее произведения или картины природы, казалось ему таинственней блаженства, которое заключало в себе нечто более прекрасное, но не

[168] Примечания: 168

«Серж Панин» (1882) — сценическая версия одноименного романа (1881) французского писателя и драматурга Жоржа Онэ (1848–1918). Премьера состоялась в 1882 г. в «Жимназ драматик» и имела большой успех. В центре интриги — судьба Сержа Панина, разорившегося польского аристократа: соблазнив богатую наследницу, он женится на ней, проматывает наследство и погибает от руки матери своей жены.

напоминавшее о ней. Притом, отойдя от увлечений молодости и, незаметно для себя самого, пропитав даже их скептицизмом светского человека, он пришел к мысли (во всяком случае, он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать), будто абсолютных ценностей в области искусства не существует, что тут все зависит от эпохи, от класса, что тут на всем лежит отпечаток мод, причем самые пошлые люди ничуть не хуже считающихся самыми благородными. Он полагал, что волнения Одетты из-за билетов на выставку не более смешны, чем удовольствие, какое в былые времена получал он сам от завтрака у принца Уэльского, а следовательно, ее восторг перед Монте-Карло или Риги[169] не менее безрассуден, чем его увлечение Голландией, в которой ничего красивого не видела она, или Версалем, который казался скучным ей. Из-за этого он туда не ездил и утешался мыслью, что ради Одетты он чувствует так же, как и она, и любит то же, что и она.

Как все, что окружало Одетту и до известной степени являлось лишь средством увидеться и поговорить с ней, он любил общество Вердюренов.

---

[169] Примечания: 169

Риги — небольшой горный массив в центральной Швейцарии.

Так как все развлечения, обеды, музыка, игры, костюмированные ужины, выезды за город, выезды в театр, даже редкие «званые вечера» — для скучных — все это являлось лишь изменчивым фоном, а неизменным оставалось присутствие Одетты, встреча с Одеттой, беседа с Одеттой — бесценный подарок, который Вердюрены делали Свану, приглашая его к себе, — то в их «ядрышке» он чувствовал себя лучше, чем где-нибудь еще, и старался убедить себя, что здесь и в самом деле приятно и что он всю жизнь бывал бы здесь ради собственного удовольствия. Не решаясь сказать себе — из боязни в это не поверить, — что он всегда будет любить Одетту, во всяком случае, допуская возможность, что к Вердюренам он будет ездить по-прежнему (это его предположение *a priori* вызывало меньше принципиальных возражений со стороны его здравого смысла), он воображал, что и в дальнейшем будет ежевечерне встречаться с Одет-той; пожалуй, это было не совсем все равно что любить до конца дней, но теперь, когда он любит ее, верить в то, что не перестанет встречаться с ней, — это было все, чего он мог желать. «Какое приятное общество! — говорил он себе. — В сущности, ведь это и есть настоящая жизнь! Насколько же все там

интеллигентнее, насколько же у них больше вкуса, чем у людей из высшего света! Несмотря на свою восторженность, порой смешную, как искренне любит госпожа Вердюрен живопись, музыку, какая у нее страсть к искусству, как ей нравится доставлять удовольствие художникам и музыкантам! Она составила себе неверное представление о людях из высшего света, но ведь и у высшего света еще менее верное представление о художественном мире! Может быть, у меня недостаточно высокие требования по части умных разговоров, но я отлично себя чувствую в обществе Котара, хотя каламбуры его глупы. Что касается художника, то он неприятен, когда старается удивить, но это один из самых блестящих умов, какие я только знаю. А главное, там чувствуешь себя свободно, непринужденно, — нет этой связанности, натянутости. У них в салоне всегда весело! За редкими исключениями, право, я нигде больше не стану бывать. Это будет моя среда, мой родной дом».

Так как достоинства, которые он приписывал Вердюренам, являли собой не более чем отблеск того наслаждения, какое ему доставляла у них в доме его любовь к Одет-те, то чем больше радости приносила ему любовь, тем существеннее,

глубже, жизненно необходимее становились в его глазах достоинства Вердюренов. Так как г-жа Вердюрен иной раз одаряла Свана тем, что только и могло составить его счастье; так как, если ему на вечере становилось не по себе, потому что Одетта разговаривала с кем-нибудь из гостей дольше, чем с другими, и он с досады не приглашал ее ехать домой вдвоем, г-жа Вердюрен вливала мир и радость в его душу, как бы ненароком обращаясь к Одетте с вопросом: «Одетта! Ведь вы поедете с господином Сваном?»; так как близилось лето и он начал проявлять беспокойство, не уедет ли Одетта без него, будет ли он по-прежнему видеться с ней ежедневно, а г-жа Вердюрен пригласила их обоих вместе провести лето на даче, то благодарность и личный интерес, помимо его воли, просочились в его сознание и повлияли на ход его мыслей, и он уже стал считать г-жу Вердюрен женщиной с большой душой. Когда кто-нибудь из его старых товарищей по Лувркой школе[170] заговаривал с ним о тонких или знаменитых художниках, он отвечал: «Я в сто раз выше ставлю Вердюренов». И с несвойственной ему высокопарностью пояснял

[170] Примечания: 170

Лувркая школа была создана в 1882 г. для подготовки музейных работников.

свою мысль: «Это люди великодушные, а ведь, в сущности говоря, в жизни имеет значение только великодушие, и только оно украшает человека. Понимаешь, все люди делятся на великодушных и невеликодушных, а я уже в том возрасте, когда нужно сделать окончательный выбор, раз навсегда решить, кого мы должны любить и кого презирать, прилепиться к тем, кого мы полюбили, и, чтобы наверстать время, которое мы зря потратили на других, не расставаться с ними до самой смерти. Так вот, — продолжал он с легким волнением, какое овладевает человеком, когда он, даже сам до конца того не сознавая, высказывает определенную мысль не потому, чтобы она была правильна, а потому, что ему доставляет удовольствие ее высказать и у него создается ощущение, будто это не он, а кто-то другой говорит за него, — жребий брошен, отныне я буду любить только великодушных и жить только в атмосфере великодушия. Ты спрашиваешь, действительно ли госпожа Вердюрен интеллигентная женщина. Уверяю тебя, что она доказала мне, какое у нее благородное сердце, какая у нее возвышенная душа, а ведь тебе должно быть ясно, что это возможно только при возвышенном образе мыслей. Вне всякого сомнения, она тонко

чувствует искусство. И все-таки, пожалуй, не это в ней самое удивительное: она, даже в мелочах, до такой степени чутка по отношению ко мне, так потрясающе внимательна и предупредительна, так проста в своем душевном величии, что отсюда сам собой напрашивается вывод: она обнаруживает более глубокое понимание жизни, чем все философские трактаты вместе взятые».

Свану не мешало бы, однако, вспомнить, что среди старых друзей его родителей были люди такие же простые, как и Вердюрены, что друзья его юности тоже были помешаны на искусстве, что у некоторых его знакомых тоже было большое сердце, но что с тех пор, как он стал поборником простоты, искусств и великодушия, он с ними порвал. Все дело в том, что эти люди не были знакомы с Одеттой, а если бы даже и были знакомы, то не подумали бы содействовать ее сближению со Сваном.

Таким образом, во всем окружении Вердюренов, конечно, не нашлось бы ни одного верного, который любил бы их — или думал бы, что любит, — так же, как Сван. А между тем, когда Вердюрен заявил, что Сван ему не нравится, он выразил не только свое собственное отношение к Свану, но и угадал, как относится к Свану г-жа

Вердюрен. Бесспорно, любовь Свана к Одетте носила на себе печать столь резкого своеобразия, что он не считал нужным ежедневно посвящать г-жу Вердюрен во все подробности их романа; бесспорно, та умеренность, с какою он пользовался гостеприимством Вердюренов, часто не приходя к ним обедать, причем истинная причина его отсутствия оставалась им неизвестной и они были уверены, что он изменил им ради скучных; бесспорно, его блестящее положение в обществе, о котором они хоть и не сразу, а все-таки дознались, несмотря на принятые им меры предосторожности, — все это настраивало их против него. И тем не менее причина лежала глубже. Дело в том, что они очень скоро почувствовали в нем заветный, недоступный уголок, где он продолжал верить в то, что принцесса Саганская вовсе не посмешище и что остроты Котара нисколько не забавны, и хотя он всегда был ровен в своей любезности к ним и никогда не восставал против их догматов, навязать ему свои догматы, всецело обратить его в свою веру они были бессильны — с таким упорством им прежде сталкиваться не приходилось. Они простили бы ему встречи со скучными (которых он, кстати сказать, в глубине души ставил бесконечно ниже Вердюренов и всего их

«ядрышка»), если б он открыто от них отступился в присутствии верных. Но Вердюренам стало ясно, что они никогда не вырвут у него отречения.

До чего не похож был на Свана «новенький», которого Одетта попросила разрешения привести к Вердюренам, хотя сама видела его всего несколько раз, и на которого Вердюрены уже возлагали большие надежды, — граф де Форшвиль! (К вящему удивлению верных, он оказался шурином Саньета: старый архивариус держался очень скромно, и верные были убеждены, что он ниже их по положению; им и в голову не могло прийти, что Саньет человек состоятельный и даже довольно знатного рода). Разумеется, Форшвиль, в отличие от Свана, был завзятым снобом; разумеется, он, в противоположность Свану, ни за что на свете не поставил бы кружок Вердюренов выше всех остальных кружков. Но он был лишен врожденного такта, не позволявшего Свану присоединяться к явно несправедливым нападкам г-жи Вердюрен на общих знакомых. Что касается претенциозных и пошлых тирад, произносившихся иногда художником, и коммивояжерских острот, на которые отваживался Котар, то Сван, любивший обоих, охотно извинял их, но ему не хватало ни смелости, ни лицемерия руко-

плескать им, между тем как интеллектуальный уровень Форшвиля был таков, что тирады художника ошеломляли и восхищали его, хотя смысл их оставался для него темен, и он упивался остроумием доктора. И уже тот обед у Вердюренов, на котором Форшвиль присутствовал впервые, подчеркнул разницу между ним и Сваном, оттенил достоинства Форшвиля и предрешил опалу Свана.

На этом обеде, помимо постоянных гостей, был профессор Сорбоннского университета Бришо, познакомившийся с супругами Вердюренами на водах, и, если бы университетские обязанности и ученые труды не отнимали у него так много времени, он с удовольствием бывал бы у них чаще. Его отличали любознательность и интерес к жизни, которые в сочетании с известной долей скептицизма по отношению к своим занятиям, создают некоторым интеллигентным людям самых разных профессий — врачам, не верящим в медицину, преподавателям, не верящим в пользу латыни, — репутацию людей широких, ярких, даже необыкновенных. Говоря у г-жи Вердюрен о философии или об истории, он обращался за примерами к самым последним событиям, прежде всего потому, что, по его мнению, история и

философия — это лишь подготовка к жизни, а в «кланчике», как он уверял себя, осуществляется на деле то, что ему до сих пор было известно только из книг, и еще, быть может, потому, что, бессознательно сохранив некогда привитое ему почтение к некоторым предметам, он воображал, будто сбрасывает с себя университетскую мантию, допуская по отношению к этим предметам известную вольность, которая, впрочем, оттого-то и казалась ему вольностью, что он и не думал снимать университетскую мантию.

В начале обеда, когда Форшвиль, сидевший справа от г-жи Вердюрен, которая ради «новенького» изрядно потратилась на туалет, заметил: «Как оригинально сшито это платье цвета бланш!» — доктор, смотревший на графа не отрываясь: такое любопытство вызывала у него титулованная знать, всячески старавшийся привлечь к себе его внимание и войти с ним в более тесный контакт, поймал на лету слово «бланш» и, уткнувшись в тарелку, переспросил: «Какая бланш? Бланш де Кастий[171]?» — а затем, все так же не поднимая головы, украдкой повел неуверенно улыбающим-

[171] Примечания: 171

Бланш де Кастий (Бланка Кастильская, 1188–1252) — жена французского короля Людовика VIII, мать Людовика IX Святого. Будучи Регентшей Франции, всячески укрепляла монархическую власть.

ся взглядом. Тягостное и напрасное усилие Свана скривить губы в улыбку свидетельствовало о том, что каламбур, по его мнению, идиотский, а Форшвиль, напротив, показал одновременно, что он оценил его тонкость и что он умеет вести себя в обществе, ибо удерживает в определенных рамках веселое свое оживление, искренность которого очаровала г-жу Вердюрен.

— Как вам нравится этот ученый? — спросила она Форшвиля. — С ним двух минут нельзя говорить серьезно. Вы и в больнице так разговариваете? — обратилась она к доктору. — Я вижу, больные там не очень скучают. Не попроситься ли и мне туда?

— Если не ошибаюсь, доктор заговорил об этой, извините за выражение, старой ведьме Бланш де Кастий. Правда, сударыня? — спросил Бришо г-жу Вердюрен, а г-жа Вердюрен зажмурилась, затряслась от хохота, и из-под ладоней, на которые она уронила голову, у нее по временам вырывались придушенные взвизги. — Упаси бог, я вовсе не намерен задевать за живое людей, настроенных благоговейно, если такие, *sub rosa*[172], есть среди нас… Да я и не собираюсь отрицать,

---

[172] Примечания: 172
Между нами говоря (*лат.*).

что наша достохвальная афинская республика — сверхафинская! — чтила бы в этой капетингской обскурантке первого префекта полиции твердой руки. Да, да, дорогой хозяин, это ясно, это ясно, — отчеканивая каждое слово, зычным голосом продолжал он, не дав раскрыть рот Вердюрену. — «Летопись монастыря Сен-Дени»[173], достоверность которой непререкаема, не оставляет на этот счет никаких сомнений. Невозможно себе представить лучшей покровительницы отошедшего от религии пролетариата, чем эта мать святого, которому она, однако, в печенки въелась, как утверждают Сюжер[174] и святой Бернар[175], — она ведь всем сестрáм раздавала по серьгам.

— Кто этот господин? — спросил г-жу Вердюрен

---

[173] Примечания: 173

«Летопись монастыря Сен-Дени» — речь идет о «Великих французских хрониках», составленных монахами монастыря Сен-Дени. Летопись повествует об истории французской монархии от ее начала до эпохи Людовика XII. Хроники писались на латыни, затем, с XIV века — по-французски. Опубликованы в конце XV века. Герой Пруста путается в хронологии: Сугерий был аббатом Сен-Дени начиная с 1122 г., а Бланка Кастильская была регентшей Франции в период несовершеннолетия своего сына Людовика IX и потому не могла знать ни Сугерия, ни Святого Бернара.

[174] Примечания: 174

Сюжер (Сугерий, 1081–1151) — летописец, аббат монастыря Сен-Дени, был советником королей Людовика VI и Людовика VII. Во время второго крестового похода был регентом Франции.

[175] Примечания: 175

Святой Бернар (Клервосский, 1091–1153) — основатель монашеского ордена цистерцианцев; организовал второй крестовый поход, в котором участвовал Людовик VII, после смерти был канонизирован.

Форшвиль. — По-видимому, он человек широкообразованный.

— Как! Вы не знаете знаменитого Бришо? Он пользуется известностью во всей Европе.

— Ах, это Бришо! — не расслышав, воскликнул Форшвиль. — Вы мне потом расскажете о нем поподробнее, — пяля глаза на знаменитость, продолжал он. — Всегда интересно обедать с человеком, на которого обращено всеобщее внимание. Какое, однако, здесь изысканное общество! У вас не соскучишься.

— О, вы знаете, самое главное — это то, что все мы тут нараспашку, — скромно заметила г-жа Вердюрен. — Все говорят откровенно, и каждое слово — на вес золота. Сегодня Бришо как раз не в ударе, но однажды, вы знаете, он был ослепителен, хотелось упасть перед ним на колени, но это он такой у меня, а у других ничего особенного, куда девается все его остроумие, из него надо тянуть слова клещами, с ним просто скучно.

— Любопытно! — в изумлении воскликнул Форшвиль.

В том кружке, где проводил время молодой Сван, остроумие Бришо было бы расценено как чистопробная глупость, хотя и уживающаяся с несомненными способностями. А большим от

природы и получившим мощное развитие способностям профессора наверняка позавидовали бы многие люди из высшего общества, которым Сван в остроумии не отказывал. Но эти люди из высшего общества в конце концов сумели так укрепить в Сване свои пристрастия и свою неприязнь — по крайней мере, во всем, что касается светской жизни и даже тех ее надстроек, которые скорей относятся к области духа, как например искусства вести беседу, — что шутки Бришо казались Свану тяжеловесными, пошлыми и сальными до тошноты. Кроме того, Сван привык к хорошим манерам, и его коробил нарочито грубый тон матерого вояки, который усвоил себе в обращении со всеми этот профессор-солдафон. Наконец, в тот вечер Сван, быть может, потому утратил обычную свою снисходительность, что г-жа Вердюрен была подчеркнуто любезна с Форшвилем, которого Одетте почему-то вздумалось ввести в ее дом. Чувствуя себя неловко перед Сваном, Одетта спросила его по приезде:

— Ну как мой приглашенный?

А Сван, впервые заметив, что Форшвиль, с которым он давно был знаком, способен нравиться женщинам и даже довольно красив, ответил ей: «Омерзителен!» Понятно, он и не думал рев-

новать Одетту, но в тот вечер ему было не так хорошо на душе, как обычно, и когда Бришо, начав рассказывать историю матери Бланш де Кастий[176], которая «несколько лет жила с Генрихом Плантагенетом невенчанной», и, решив подбить Свана продолжить рассказ, спросил его: «Верно, господин Сван?» — тем панибратским тоном, каким заговаривают с крестьянином, чтобы к нему подладиться, или к служивому, чтобы придать ему духу, Сван, приведя в ярость хозяйку дома, не дал профессору возможности блеснуть: он извинился перед ним за то, что не проявил должного интереса к Бланш де Кастий, так как ему надо кое о чем расспросить художника. Художник был днем на выставке другого, недавно умершего художника, друга г-жи Вердюрен, и Свану действительно хотелось у него узнать (вкус его он ценил), правда ли, что в последних работах покойного художника есть нечто большее, чем изумлявшая его уже и раньше виртуозность.

— С этой точки зрения он бесподобен, но мне казалось, что его картины, как принято выражаться, не относятся к «высокому» искусству, — улыба-

[176] Примечания: 176

…историю матери Бланш де Кастий… — Неточность Бришо: Генрих Плантагенет (1133–1189), герцог Нормандский, затем король Англии, был не отцом, а дедом Бланки Кастильской.

ясь, заметил Сван.

— Высокому… как учреждение, — перебил его Ко-тар и с притворной торжественностью поднял руки.

Все захохотали.

— Я же вам говорила, что он невозможен! — сказала Форшвилю г-жа Вердюрен. — Когда меньше всего ожидаешь, тут-то он и отколет.

Но она обратила внимание, что Сван даже не улыбнулся. Он и правда был не в восторге от того, что Котар поднял его на смех при Форшвиле. К довершению всего художник, желая покорить гостей, вместо того чтобы сказать Свану в ответ что-нибудь интересное, как бы он, по всей вероятности, и ответил, будь они вдвоем, предпочел пройтись насчет мастерства покойного художника.

— Я подошел вплотную к картине — посмотреть, как это сделано, я уткнулся в нее носом, — сказал он. — Не тут-то было! Попробуйте определить, чем это написано: клеем, рубином, мылом, бронзой, солнечным светом, дерьмом!

— Всего понемножку! — вскричал доктор с таким запозданием, что никто не понял, что он хочет сказать.

— Словно бы ничем, — продолжал художник. —

Так же невозможно разгадать его прием, как в «Ночном дозоре»[177] или в «Регентшах»[178], а ручища еще сильнее, чем у Рембрандта или у Хальса. Все из ничего, клянусь вам!

И, подобно певцам, которые, взяв самую высокую ноту, какую только позволяют их голосовые данные, продолжают фальцетом, *piano*, художник, посмеиваясь, забормотал, как будто в красоте этой живописи было что-то потешное:

— Это хорошо пахнет, вам ударяет в голову, спирает дыхание, по телу мурашки, но хоть лопни, а не поймешь, как это сделано: это колдовство, это обман, это чудо (залившись хохотом): это нечестно! — Тут он приосанился и уже низким басом, стараясь придать ему особую благозвучность, закончил: — И это так добросовестно!

Только когда художник сказал: «Еще сильнее, чем „Ночной дозор“», — против него восстала г-жа Вердюрен, расценившая его слова как богохульство, потому что она причисляла «Ночной

---

[177] Примечания: 177

«Ночной дозор» (1642) — картина Рембрандта (1606–1669) находится в Королевском музее Амстердама, который Пруст посещал в октябре 1902 г.

[178] Примечания: 178

«Регентши» (1664) — картина голландского живописца Франса Хальса (1580–1666), находится в музее Хальса в Гарлеме (Северная Голландия). Пруст посетил его в 1902 г.

дозор» вместе с «Девятой» и «Самофракией»[179] к величайшим произведениям мирового искусства, да еще когда он выразился: «Написано дерьмом», — Форшвиль обвел взглядом сидевших за столом, однако, уверившись, что это «прошло», сложил губы в смущенно-одобрительную улыбку, в продолжение же остальной речи художника все, за исключением Свана, не отводили от него восторженно-очарованного взгляда.

— Люблю, когда он так заносится! — дав художнику договорить, воскликнула г-жа Вердюрен, радовавшаяся, что обед проходит так оживленно именно сегодня, когда Форшвиль у них в первый раз. — Ты-то что смотришь на него как баран на новые ворота и словно воды в рот набрал? — напустилась она вдруг на мужа. — Ведь ты же знаешь, каким он обладает даром красноречия. Можно подумать, что он впервые вас слушает. Если б вы обратили на него внимание во время своей речи! Он упивался! Завтра он повторит все, что вы сказали, ни единого слова не пропустит.

— Не думайте, что я валял дурака, — упоенный своим успехом, сказал художник, — у вас такой

---

[179] Примечания: 179

«Самофракия» (Ника Самофракийская) — античная статуя Победы, найденная на острове Самофракия Греческого архипелага в 1863 г.; ныне находится в Лувре.

вид, будто я вам втирал очки, будто я вам голову морочил. Я вас туда поведу, и тогда вы скажете, преувеличил я или нет. Даю голову на отсечение, что вас это еще больше захватит, чем меня!

— Откуда вы взяли, что мы подозреваем вас в страсти к преувеличениям? Мы только хотим, чтобы вы ели и чтобы мой муж тоже ел; подложите вот этому господину нормандской камбалы — вы же видите, что она у него остыла. Мы никуда не спешим, а вы гоните как на пожар; подождите подавать салат.

Госпожа Котар обычно из скромности помалкивала, но если ее осеняло, то она находила в себе мужество ввернуть словцо. Когда она чувствовала, что оно будет сказано кстати, то это ее ободряло, и она с кем-нибудь заговаривала не столько для того, чтобы блеснуть, сколько для того, чтобы оказать услугу мужу. Вот почему она сейчас подхватила слово «салат», сказанное г-жой Вердюрен.

— А это не японский салат? — вполголоса обратилась она к Одетте.

Обрадованная и смущенная уместностью и смелостью тонкого, но прозрачного намека на новую и уже нашумевшую пьесу Дюма, она рассмеялась очаровательным смехом инженю, негромким,

но таким неудержимым, что несколько минут ничего не могла с собой поделать.

— Кто эта дама? Она не лишена остроумия, — заметил Форшвиль.

— Это еще что! Мы вам покажем ее во всем блеске, если вы соберетесь пообедать у нас в пятницу.

— Вы, наверно, про меня подумаете, что я настоящая провинциалка, — сказала г-жа Котар Свану, — но я еще не видела этого знаменитого «Франсильона»[180], о котором все только и говорят. Доктор уже был (я даже помню, что он делился со мной, как ему было приятно провести вечер с вами), и, по-моему, это неблагоразумно — расходоваться на билеты только ради меня. Конечно, кто побывал во Французской комедии, тот не пожалеет, что зря потратил вечер, — там так хорошо играют, — но у нас есть друзья, очень милые люди (г-жа Котар редко называла фамилии и, считая это проявлением особой «благовоспитанности», фальшивым тоном и с важным видом, как бы подчеркивавшим, что она сообщает, о ком

---

[180] Примечания: 180

«Франсильон» — пьеса Александра Дюма-сына, премьера которой состоялась в «Театр-Франсе» 17 января 1887 г. Во второй сцене первого акта одна из героинь рассказывает о рецепте «японского салата». Упоминание этой пьесы может подчеркивать мотив ревности Свана, так как этот же мотив обыгрывается в комедии Дюма.

именно говорит, только когда хочет, обыкновенно изъяснялась так: «наши друзья», «одна моя приятельница»), они часто берут ложу и бывают так добры, что и нас приглашают на все новые вещи, которые стоит посмотреть, и я уверена, что рано или поздно увижу «Франсильона» и составлю о нем мнение. Признаться сказать, положение у меня довольно глупое: куда ни придешь, везде, конечно, только и разговору что об этом злополучном японском салате. Это даже начинает слегка надоедать, — видя, что Сван сверх ожидания не проявляет особого интереса к столь злободневной теме, добавила она. — Во всяком случае, надо отдать справедливость этой пьесе, она вдохновляет на довольно остроумные затеи. У меня есть приятельница, большая оригиналка, но очень хорошенькая: рой поклонников, всегда нарасхват, так вот она уверяет, что однажды велела кухарке приготовить японский салат и положить в него все, о чем говорится в пьесе Александра Дюма-сына. Пригласила она на него своих приятельниц. Меня, к сожалению, там не было. Но в ближайший из дней, по которым она принимает, она все нам рассказала; наверно, это было отвратительно, мы хохотали до слез. Но только, знаете, это надо уметь рассказать, — ви-

дя, что Сван даже не улыбнулся, заметила она и, объяснив это его нелюбовью к «Франсильону», продолжала: — Мне все-таки кажется, что я буду разочарована. Не думаю, чтобы это можно было поставить рядом с «Сержем Паниным», которого обожает госпожа де Креси. Вот это глубокая пьеса, она заставляет задумываться, но давать рецепт салата на сцене Французской комедии! Зато «Серж Панин»! Хотя ведь у Жоржа Онэ все хорошо. Вы видели «Железоделательного заводчика»[181]? По-моему, это еще лучше, чем «Серж Панин».

— Прошу меня извинить, — с насмешкой в голосе заговорил Сван, — но, признаюсь, я одинаково равнодушен к обоим этим произведениям искусства.

— Вот как? Что же вам в них не нравится? Это ваше твердое мнение? Может, вам это кажется слишком мрачным? Впрочем, я всегда говорю, что о романах и пьесах не спорят. У каждого свой вкус: вас это возмущает, а меня приводит в восторг.

Но тут ее прервал Форшвиль, обратившийся к Свану с вопросом. Дело обстояло так: пока г-жа Котар рассуждала о «Франсильоне», Форшвиль

---

[181] Примечания: 181

«Железоделательный заводчик» (1883) — пьеса Жоржа Онэ, поставленная по его одноименному роману (1882).

выразил г-же Вердюрен восхищение тем, что он назвал «кратким спичем».

— У него редкий дар слова, редкая память! — когда художник умолк, сказал он г-же Вердюрен. — Я ему завидую, черт побери! Из него вышел бы превосходный проповедник. Можно смело сказать, что если считать господина Бришо, то у вас сегодня два отличных номера; я даже склоняюсь к мысли, что, как говорун, художник еще перещеголяет профессора. У него это все выходит естественнее, не так вычурно. Правда, он нет-нет да и вставит какое-нибудь грубоватое словцо, но ведь это теперь как раз в моде; мне редко приходилось наблюдать, чтобы человек мог так долго не закрывать плевательницы, как выражались у нас в полку, где, между прочим, у меня был товарищ, которого художник чем-то мне напоминает. По любому поводу, ну вот хоть по поводу этой рюмки, он был способен часами точить лясы; да нет, не по поводу рюмки, — это я сморозил, — по поводу битвы под Ватерлоо, по поводу чего угодно он сообщал вам попутно такие вещи, о которых вы понятия не имели. Кстати сказать, Сван служил в нашем полку — он должен его знать.

— Вы часто видитесь с господином Сваном? —

осведомилась г-жа Вердюрен.

— Да нет, не часто, — ответил граф де Форшвиль, а так как, чтобы заслужить благоволение Одетты, он старался быть любезным со Сваном, то сейчас он решил воспользоваться случаем и польстить ему, заговорить о его блистательных знакомствах, но заговорить как светский человек, как благожелательно настроенный критик, не делая вида, будто поздравляет его с неожиданным успехом: — Ведь правда, Сван? Мы с вами совсем не видимся. Да и как с ним видеться? Этот мерзавец вечно торчит то у Ла Тремуй[182], то у Лом, то еще у кого-нибудь в этом роде!.

Между тем это была сущая напраслина: уже целый год Сван нигде, кроме Вердюренов, не бывал. Но у Вердюренов каждое незнакомое имя всегда вызывало молчаливое осуждение. Вердюрен, боясь, что эти фамилии скучных, бестактно названные в присутствии всех верных, произведут на его жену неблагоприятное впечатление, украдкой бросил на нее озабоченный и обеспокоенный взгляд. И тут он увидел, что г-жа Вердюрен, решив не принимать к сведению только что сообщенной новости, никак не выразить своего

[182] Примечания: 182

Ла Тремуй, Шарль-Луи де (1838–1911) — французский историк, эрудит, друг Шарля Ааса, прототипа Свана.

отношения к ней, разыграть не только немую, но еще и глухую, как прикидываемся глухими мы, когда провинившийся друг пытается мимоходом оправдаться перед нами, а между тем выслушать его извинение — значит принять его, или же когда в нашем присутствии произносят запретное имя бесчестного человека, и в то же время желая, чтобы ее молчание было воспринято не как потворство, а как отрешенное молчание неодушевленных предметов, сделала совершенно безжизненное, совершенно неподвижное лицо; ее выпуклый лоб являл собою в эту минуту прелестный этюд круглого рельефа, через который имя этих Ла Тремуй, где пропадал Сван, никак не могло проникнуть; в ее слегка сморщенном носу были видны два ущелья, словно вылепленные непосредственно с натуры; ее полуоткрытый рот, казалось, сейчас заговорит. Но это было только нечто отлитое из воска, только гипсовая маска, только макет памятника, только бюст для выставки во Дворце промышленности — бюст, перед которым, несомненно, останавливалась бы публика полюбоваться искусством ваятеля, сумевшего выразить неколебимую горделивость Вердюренов, торжествующих и над де Ла Тремуй и над де Лом, которым они ни в чем решительно

не уступят, равно как и всем скучным на свете, и сообщить почти папскую величественность негибкой белизне камня. Но в конце концов мрамор ожил и дал понять, что только человек, утративший всякое чувство брезгливости, может переступать порог дома, где жена вечно пьяная, а муж настолько малограмотен, что вместо «коридор» произносит «колидор».

— Я бы их не пустила к себе ни за какие блага в мире, — заключила г-жа Вердюрен и бросила на Свана уничтожающий взгляд.

Разумеется, она не ожидала, что Сван унизится до подражания святой простоте тетки пианиста, воскликнувшей: «Ведь это что! И как это люди могут с такими дружить, вот чего я в толк не возьму! У меня бы смелости не хватило. Долго ли до греха? Ведь это уж надо всякий стыд потерять, чтобы вокруг них увиваться!» Но все-таки Сван мог бы возразить ей, как Форшвиль: «Что ни говорите, она — герцогиня, а на некоторых это еще действует», — по крайней мере, это дало бы возможность г-же Вердюрен заметить: «Ну и бог с ними!» Сван же не нашел ничего лучшего, как рассмеяться, показывая этим, что на такой вздор только смехом и можно ответить. Вердюрен, продолжая искоса поглядывать на жену, с грустью

видел и отлично понимал, что она пылает гневом Великого инквизитора, которому не удается искоренить ересь, а так как, по его мнению, стойкость, выказываемая человеком, принимается за расчет и за трусость теми, при ком он отстаивает свои мнения, то, чтобы облегчить Свану отступление, он воззвал к нему:

— Скажите нам по чистой совести, что вы о них думаете, — мы им не передадим.

Сван на это ответил так:

— Да я нисколько не боюсь герцогиню (если вы имеете в виду де Ла Тремуй). У нее любят бывать, уверяю вас. Не скажу, чтоб это была натура «глубокая» (он произнес «глубокая» так, как будто это было слово смешное: в его речи сохранился след тех настроений, которые в нем временно приглушило душевное обновление, вызванное любовью к музыке, — теперь он иногда горячо высказывал свои мнения), но я вам скажу, положа руку на сердце: она человек интеллигентный, а муж ее широко образован. Это прелестные люди.

Тут уж у г-жи Вердюрен, чувствовавшей, что один этот отступник способен внести разброд в ее «кланчик», и разозлившейся на этого упрямца, не желающего замечать, какую боль причиняют ей его слова, вырвался вопль возмущенной души:

— Думайте о них все, что вам угодно, но, по крайней мере, не сообщайте этого нам!

— Все зависит от того, что вы понимаете под словом «интеллигентность», — сказал Форшвиль, которому тоже хотелось блеснуть. — Нет, правда, Сван, что такое, повашему, интеллигентность?

— Вот, вот! — подхватила Одетта. — Это как раз одна из тех серьезных вещей, о которых я хочу знать его мнение, а он отмалчивается.

— Да, но… — запротестовал Сван.

— Не отвиливайте! — воскликнула Одетта.

— А разве у него есть хвост, чтоб вилять? — спросил доктор.

— Для вас, — продолжал Форшвиль, — интеллигентность — это светская болтовня, это уменье втираться?

— Доедайте же, нужно убирать тарелки! — с раздражением в голосе сказала г-жа Вердюрен Саньету, который был так поглощен своими мыслями, что позабыл о еде. Но она тут же, видимо, устыдилась своего тона: — Да нет, вы не торопитесь, это я только так сказала, чтобы других не задерживать.

— Есть любопытное определение интеллигентности у этого мирного анархиста Фенело-

на[183]... — с расстановкой заговорил Бришо.

— Слушайте! — обратилась г-жа Вердюрен к Форшвилю и к доктору. — Сейчас он нам расскажет, как определял интеллигентность Фенелон; это же интересно; не каждый день можно услышать такие вещи.

Но Бришо ждал, когда Сван даст свое определение. А Сван молчал, и эта его уклончивость сорвала блестящее состязание, которым г-жа Вердюрен надеялась угостить Форшвиля.

— Вот он так же и со мной! — капризным тоном сказала Одетта. — Хорошо хоть, что не я одна, с его точки зрения, до него не доросла.

— Эти самые де Ла Тремуй, которых г-жа Вердюрен обрисовала нам с такой невыгодной стороны, не ведут ли они свое происхождение от тех, с которыми эта милая снобка госпожа де Севинье, по ее собственному признанию, была счастлива познакомиться, потому что это знакомство было выгодно для ее крестьян? — особенно выразительно подчеркивая слова, спросил Бришо. — Правда, у маркизы была еще одна причина,

---

[183] Примечания: 183

Фенелон (Франсуа де Салиньяк де Ламот-Фенелон; 1651–1715) — французский писатель, академик, воспитатель внуков Людовика XIV, архиепископ. В 1699 г. из-за своего романа «Приключения Телемака» впал в немилость при дворе и был отлучен от церкви.

более для нее важная: литераторша в душе, она присматривалась к каждому человеку, чтобы потом описать его. И вот из дневника, который она аккуратно посылала дочери, явствует, что де Ла Тремуй, хорошо осведомленная благодаря своим обширным связям, делала иностранную политику.

— Да нет, это, наверно, однофамильцы, — наугад сказала г-жа Вердюрен.

Саньет, поспешив передать метрдотелю свою еще полную тарелку, опять погрузился в задумчивость, но затем встрепенулся и начал, смеясь, рассказывать, как он обедал с герцогом де Ла Тремуй и как на этом обеде выяснилось, что герцог не знает, что Жорж Санд — псевдоним женщины. Благорасположенный к Саньету Сван стал было приводить примеры, свидетельствовавшие о том, что подобное невежество — вещь немыслимая для человека такой культуры, как герцог, и вдруг замолчал: он понял, что Саньет не нуждается в доказательствах, ибо ничего этого не было — все это он только что выдумал. Этот прекрасный человек страдал оттого, что Вердюрены считали его очень скучным, а так как он сознавал, что сегодня он особенно бесцветен, то решил хоть под конец обеда попробовать позабавить общество. Сдался

он мгновенно и, словно заклиная Свана не продолжать бесполезный спор, с несчастным видом человека, убедившегося, что потерпел неудачу, малодушно забормотал: «Вы правы, вы правы, но если я что-то и спутал, то ведь это же все-таки не преступление», — и теперь уже Свану хотелось уверить его, что все, конечно, так и было и что это презабавно. Прислушивавшийся к их разговору доктор подумал, что сейчас кстати было бы сказать: *Se non e vero*, но побоялся попасть впросак.

После обеда к доктору подошел Форшвиль.

— Наверно, когда-то госпожа Вердюрен была недурна, и потом, с ней можно поговорить обо всем, а для меня это самое важное. Конечно, она уже отцветает. А вот госпожа де Креси дамочка бедовая, у этой, канальство, чертенятки в глазах так и прыгают! Мы говорим о госпоже де Креси, — обратился он к Вердюрену, когда тот, покуривая трубку, подошел к ним. — На мой взгляд, женщина буйного нрава…

— По мне, лучше целый лес буянок, но только без лесбиянок, — живо перебил его Котар: озабоченный тем, как бы ввернуть этот избитый каламбур, он все ждал, чтобы Форшвиль перевел дух, и боялся, что если разговор примет другое направление, то каламбур окажется уже неумест-

ным, проговорил же он его с той преувеличенной развязностью и самоуверенностью, за которыми скрывается холодное волнение, с каким человек повторяет что-нибудь заученное. Знавший этот каламбур Форшвиль из вежливости посмеялся. Зато Вердюрен сделал вид, что ему очень смешно: недавно он открыл способ изображать веселое расположение духа, непохожий на способ, применявшийся его женой, но такой же простой и понятный. Он начинал подергивать головой и плечами, как человек, который давится хохотом, а потом закашливался, словно в горле у него першило от дыма. И, не выпуская трубки изо рта, он мог до бесконечности разыгрывать удушье и приступ смеха. Между тем сидевший напротив г-же Вердюрен что-то рассказывал художник, отчего она, прежде чем уронить голову на руки, зажмурилась, и в эту минуту супруги являли собой две маски, по-разному олицетворявшие веселье.

Надо заметить, что Вердюрен поступил благоразумно, не выпустив трубку изо рта, потому что Котару понадобилось на минуточку удалиться, и он полушепотом произнес шутку, которую от кого-то недавно слышал и которую в подобных случаях всякий раз теперь повторял: «Мне нужно посетить кабинет задумчивости», — после чего

Вердюрен снова закашлялся.

— Послушай, вынь трубку изо рта — ведь ты же задохнешься, если будешь делать над собой такие усилия, чтобы удержаться от смеха, — заметила г-жа Вердюрен, предлагавшая гостям ликеры.

— Какой прелестный человек ваш муж, по части остроумия он кого угодно за пояс заткнет, — сказал г-же Котар Форшвиль. — Благодарю вас. Такой старый солдат, как я, всегда рад приложиться к рюмочке.

— Господин де Форшвиль находит, что Одетта обворожительна, — сообщил Вердюрен жене.

— А ей бы хотелось как-нибудь пообедать с вами. Мы это уладим, но втайне от Свана. Понимаете, он немножко связывает. Конечно, это не значит, что вы не должны приходить к нам ужинать, — мы надеемся видеть вас у себя очень часто. Скоро потеплеет, и мы постоянно будем ужинать на свежем воздухе. Вы не против скромных ужинов в Булонском лесу? Прекрасно, прекрасно, это будет очень мило. Вы что же это, намерены сегодня сидеть сложа руки? — крикнула она молодому пианисту, чтобы «новенький» такого полета, как Форшвиль, убедился и в остроте ее языка, и в ее тиранической власти над верными.

— Господин де Форшвиль только что прохаживался на твой счет, — сказала г-жа Котар мужу, когда тот вернулся в гостиную.

А муж, все еще увлеченный мыслью о благородном происхождении Форшвиля — мыслью, которая занимала его с начала ужина, сообщил ему:

— Я сейчас лечу одну баронессу, баронессу Пютбу. Пютбу участвовали в крестовых походах, ведь так? Где-то в Померании у них есть озеро величиною с десять площадей Согласия. Лечу я ее от уродующего ревматизма, женщина она прелестная. Кажется, госпожа Вердюрен с ней знакома.

Когда, немного погодя, Форшвиль опять остался вдвоем с г-жой Котар, это дало ему возможность дополнить лестный отзыв о ее муже:

— Помимо всего прочего, с ним интересно, — сразу видно, что он человек бывалый. Ох уж эти доктора, тайн для них нет!

— Я сыграю для господина Свана фразу из сонаты, — заявил пианист.

— Дьявольщина! Надеюсь, это не Сонорная соната? — явно рассчитывая на эффект, спросил Форшвиль.

Доктор Котар, никогда не слышавший этого

каламбура, не понял его и решил, что Форшвиль ошибся. Он поспешил подойти к нему и поправить его:

— Да нет, не Сонорная, а Сонная соната, — сказал он убежденно, решительно и торжествующе.

Форшвиль разъяснил ему, что «сонорная» значит громозвучная. Доктор покраснел.

— Ну как, доктор, ведь остроумно, а?

— Да это я еще бог знает когда слышал, — ответил Котар.

Но тут их разговор оборвался; из-под зыбей выдержанных скрипичных тремоло, трепетный покров которых простирался над ней двумя октавами выше, — так с вершины двухсотфутовой горы, за кажущейся головокружительной неподвижностью водопада, нам видна крохотная женская фигурка, — вдали всплыла короткая изящная фраза, прикрывавшаяся длительным колыханием прозрачного бескрайнего звучащего полога. И Сван в глубине души воззвал к ней как к хранительнице своей любовной тайны, как к подруге Одетты — подруге, которая, вне всякого сомнения, посоветовала бы ему не обращать внимания на Форшвиля.

— Как жаль, что вы запоздали! — сказала г-жа Вердюрен одному из верных, которого она

нарочно пригласила почти что к «шапочному разбору», — *такого* Бришо мы еще не слыхали, — каскад красноречия! Он уже уехал. Как ваше мнение, господин Сван? Если не ошибаюсь, вы сегодня видели его в первый раз, — сказала она с намерением подчеркнуть, что знакомством с Бришо он обязан ей. — Ведь правда, наш Бришо — одно очарование?

Сван учтиво поклонился.

— Вы не находите? Значит, он не произвел на вас впечатления? — сухо спросила г-жа Вердюрен.

— Да нет, напротив, большое, я от него в восторге. На мой взгляд, он только, пожалуй, чересчур безапелляционен и чересчур игрив. Порой хотелось бы меньшей прямолинейности, большей мягкости, но чувствуется, что он много знает и что он милейший человек.

Гости засиделись.

— Редко когда госпожа Вердюрен бывает в таком ударе, как сегодня, — поспешил поделиться своим впечатлением с женой доктор Котар.

— Что такое, в сущности, эта госпожа Вердюрен, — сводня? — спросил Форшвиль художника, которому он предложил поехать вместе.

Одетта с грустью смотрела вслед Форшвилю;

она не решилась сказать Свану, чтобы он не провожал ее, но дорогой была не в духе, а когда он спросил, можно ли к ней зайти, она ответила: «Конечно», — но при этом досадливо передернула плечами.

Когда гости разошлись, г-жа Вердюрен спросила мужа:

— Ты заметил, каким глупым смехом смеялся Сван, когда мы говорили о госпоже Ла Тремуй?

Она обратила внимание, что Сван и Форшвиль, произнося эту фамилию, несколько раз опускали частицу «де». Не сомневаясь, что это они делали нарочно, чтобы показать, что они не благоговеют перед титулами, г-жа Вердюрен мечтала выказать такую же независимость, но она не уловила, какая грамматическая форма эту независимость выражает. А так как ее малограмотность была сильнее ее республиканской принципиальности, то она все еще говорила «де Ла Тремуй» или допускала аббревиатуру в стиле шансонеток или подписей под карикатурами, скрадывавших «де»: «д'Ла Тремуй», но тут же спохватывалась и поправлялась: «Госпожа Ла Тремуй». «Герцогиня, как величает ее Сван», — прибавила она с насмешливой улыбкой, свидетельствовавшей о том, что она только цитирует его, но не берет на

себя ответственности за такое наивное и нелепое наименование.

— Должна тебе сказать, что он набитый дурак.

Вердюрен ей на это ответил:

— Он человек неискренний, двуличный, и нашим и вашим. Ему хочется, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Полная противоположность Форшвилю! У этого человека, по крайней мере, что на уме, то и на языке. Вы вольны с ним соглашаться или не соглашаться. А Сван — ни то ни се. Одетте, как видно, гораздо больше нравится Форшвиль, и я ее понимаю. Сван корчит из себя перед нами светского льва, поклонника герцогинь, но ведь у Форшвиля как-никак есть титул: он всегда был и останется графом де Форшвилем, — со вкусом произнес Вердюрен последние слова, как будто, изучая историю графского рода Форшвилей, он тщательно взвесил особую ценность пожалованного Форшвилям титула.

— Должна тебе сказать, — снова заговорила г-жа Вердюрен, — что он счел своим долгом сделать несколько ехидных и довольно глупых замечаний насчет Бришо. Он не мог не обратить внимания, что Бришо любят у нас в доме, — значит, он хотел задеть нас, испортить нам настроение. Он из тех, которые в глаза одно, а за

глаза другое.

— Я же тебе давно говорил, — заметил Вердюрен, — это неудачник, ничтожество, завидующее всем, кто хоть что-то собой представляет.

На самом деле никто из верных не был так предан Вердюренам, как Сван; но все они из предосторожности обезвреживали свои шпильки ходячими остротами, капелькой воодушевления и благожелательности, тогда как малейшее проявление сдержанности, какое позволял себе Сван, — сдержанности, не заключенной в такие условные формулы, как, например: «Я, собственно, ничего против него не имею», которые он считал для себя унизительными, — принималось за вероломство. Читателя возмущает малейшая вольность у некоторых настоящих писателей, потому что они ничего не сделали для того, чтобы угодить ему, и не угостили его пошлостями, к которым он приучен; именно это раздражало Вердюрена в Сване. Подобно такого рода писателям, Сван необычностью своих оборотов речи вызывал предположение, что на уме у него что-то недоброе.

Сван пока еще не подозревал, что ему грозит опала, и так как он по-прежнему смотрел на сумасбродства Вердюренов сквозь свою любовь к

ним, то эти сумасбродства представлялись ему в розовом свете.

Свидания с Одеттой чаще всего бывали у него по вечерам, а днем он боялся ей надоесть, но ему все-таки хотелось беспрестанно занимать собой ее воображение, и он все время старался напомнить ей о себе, но так, чтобы это ей было приятно. Если на витрине цветочного или ювелирного магазина его взгляд привлекали цветы или драгоценности, он, решив послать их Одетте, представлял себе, что наслаждение, которое они доставили ему, испытает и она, что это наслаждение усилит ее нежность к нему, и приказывал доставить это на улицу Лаперуза немедленно, чтобы не оттягивать той минуты, когда ей передадут его подарок и когда он почувствует, что он — с ней. Важно, чтобы посыльный застал ее дома, — тогда она будет еще ласковее при встрече у Вердюренов, а может быть, даже — как знать? — если хозяин магазина поторопится, она пришлет ему до обеда письма или невзначай сама приедет поблагодарить его. Раньше Сван действовал на Одетту вспышками гнева, теперь он стремился, чтобы благодарность извлекла самое сокровенное, что было в ее чувстве к нему и что до сих пор она не обнаруживала.

Она часто сидела без денег, и тогда какой-нибудь срочный долг вынуждал ее обращаться за помощью к Свану. Он бывал счастлив выручить ее, как бывал счастлив всякий раз, когда чем-нибудь мог неопровержимо доказать Одетте, как он ее любит, или хотя бы неопровержимо доказать, что он способен дать ей разумный совет, что он может быть ей полезен. Вне всякого сомнения, если бы в начале их знакомства кто-нибудь сказал ему: «Ей льстит твое положение в обществе», а теперь: «Она *любит* твои деньги», — он не поверил бы, но и не очень возмутился бы, если б узнал, что в глазах общества ее связывают с ним, что в глазах общества их объединяют такие могучие силы, как снобизм или деньги. Но если бы даже он и сам пришел к такой мысли, то, пожалуй, не был бы огорчен открытием, что у любви Одетты к нему более прочное основание, чем его приятная наружность или душевные качества: выгода, выгода, при наличии которой ее уход от него невозможен. Задаривая ее, делая ей одолжения, он мог пока что рассчитывать на преимущества, не имевшие отношения к его личности, к его уму, не требовавшие от него изнурительных забот о том, чтобы он сам ей нравился. И это блаженство быть влюбленным, жить только любовью, той

реальностью, в которой он временами сомневался, еще усиливалось для Свана вследствие того, что он, любитель невещественных ощущений, оплачивал его, — так люди, неуверенные, на самом ли деле упоительны вид на море и шум волн, убеждаются в этом, а заодно и в редкостном бескорыстии своего вкуса, как только снимают за сто франков в сутки номер в отеле и получают возможность любоваться всем этим из окна.

Однажды, продумывая свои отношения с Одеттой, он опять вспомнил, что ему говорили о ней как о содержанке, и ему опять показалось занятным это странное раздвоение личности: одна Одетта — содержанка, переливчато блестящий сплав непонятных, демонических элементов, опутанный ядовитыми цветами, служащими оправой для драгоценных камней, — точно сошла с картины Гюстава Моро[184], и была другая Одетта, лицо которой выражало то сострадание к обездоленному, то возмущение несправедливостью, то благодарность за доброе дело, словом, те же самые чувства, какие когда-то испытывала

[184] Примечания: 184

Моро, Гюстав (1826–1898) — французский живописец-символист, которому Пруст посвятил три заметки под общим названием «Заметки о загадочном мире Гюстава Моро» (см.: *Пруст М.* Против Сент-Бёва. М., 1999. Стр. 156–163).

его мать, какие испытывали его друзья, — Одетта, постоянно касавшаяся в разговоре того, что он знал лучше, чем кто-либо: его коллекций, его кабинета, его старого слуги, банкира, у которого он держал свои бумаги, и тут Сван поймал себя на том, что образ банкира повлек за собой мысль, что придется взять у него денег. А то если в этом месяце он не окажет Одетте такой же щедрой материальной помощи, как в прошлом, когда он ей дал пять тысяч франков, если он не подарит ей бриллиантового ожерелья, о котором она мечтала, то уменьшится ее восхищение его добротой, уменьшится ее признательность, — а он был счастлив этим ее восхищением и признательностью, — и у нее может даже закрасться мысль, что, раз он стал сдержаннее в проявлениях своей любви к ней, значит, он уже не так любит ее, как прежде. И тут он вдруг задал себе вопрос: а не входит ли все это в понятие «содержать женщину» (как будто это понятие могло и в самом деле возникнуть не из таинственных элементов порочности, а из глубины его повседневной, частной жизни, из таких вещей, как тысячефранковый билет, такой домашний и обыкновенный, разорванный и подклеенный, который камердинер Свана, уплатив по счетам за истекший

месяц и — за три месяца — за квартиру, запер в ящик старого письменного стола, откуда Сван потом вынул его и, присоединив к нему четыре таких же билета, послал Одетте!), и не может ли все-таки быть применимо к Одетте, но только с начала их знакомства (он не допускал мысли, чтобы до него она брала деньги у кого-нибудь еще), совершенно, на его взгляд, не подходящее к ней слово: «содержанка»? Он не смог углубиться в эту мысль: приступ умственной лени, которая была у него врожденной, перемежающейся и роковой, погасил в его сознании свет с такой быстротою, с какой в наше время, когда всюду проведено электрическое освещение, можно выключить электричество во всем доме. Несколько секунд мысль Свана шла ощупью, потом он снял очки, протер стекла, провел рукой по глазам и наконец увидел свет только после того, как наткнулся на совсем другую мысль, а именно — что ему в следующем месяце нужно будет послать Одетте не пять, а шесть или даже семь тысяч франков — чтобы сделать ей сюрприз и чтобы порадовать ее.

В те вечера, когда он не сидел дома в ожидании встречи с Одеттой у Вердюренов или, вернее, в одном из летних ресторанов в Булонском лесу и —

особенно часто — в Сен-Клу, которые облюбовали Вердюрены, он отправлялся в один из аристократических домов, где прежде бывал постоянно. Ему не хотелось терять связь с людьми, которые — как знать? — могут когда-нибудь пригодиться Одетте и благодаря которым ему и теперь часто удавалось доставлять ей удовольствия. Притом давняя привычка к высшему свету, к роскоши вызывала у Свана не только презрение к этой жизни, но и потребность в ней, и хотя его рассудок теперь уже не усматривал разницы между убогими домишками и княжескими дворцами, чувства его так срослись с дворцами, что в домишках ему было не по себе. Он мерил одной меркой — сами они ни за что бы не поверили этой совершенной одинаковости его отношения — простых обывателей, приглашавших его на танцевальные вечера: лестница Д, шестой этаж, налево, и принцессу Пармскую, балы которой славились на весь Париж, но у него не было ощущения, что он на балу, когда он вместе с отцами семейств сидел в спальне у хозяйки, и вид прикрытых салфетками умывальников и превращенных в раздевальни кроватей, где прямо на одеяла были навалены пальто и шляпы, действовал на него удручающе, как действует в наши дни на людей, за двадцать

лет привыкших к электричеству, вонь коптящей лампы или ночника.

Когда Сван ужинал в городе, он приказывал подавать экипаж в половине восьмого; переодеваясь, он все время думал об Одетте и благодаря этому не чувствовал себя в одиночестве: вечная мысль об Одетте придавала мгновениям, когда он был вдали от нее, ту же особую прелесть, какая заключалась в мгновениях, когда она была с ним. Он садился в экипаж с таким ощущением, словно мысль его вскакивала туда же и садилась к нему на колени, как любимое животное, которое всюду берут с собой и которое, невидимо для присутствующих, просидит у него на коленях весь вечер. Он ласкал свою мысль, он грелся около нее; он испытывал что-то похожее на томление и, не в силах унять дрожь, подергивая шеей и морща нос, засовывал в петличку букетик аквилегий. Последнее время Сван чувствовал себя неважно, хандрил, особенно после того как Одетта познакомила с Вердюренами Форшвиля, и ему хотелось немного отдохнуть на свежем воздухе. Но он не решался уехать от Одетты из Парижа ни на один день. Было совсем тепло; стояли лучшие весенние дни. Сколько бы ни ездил Сван по каменному городу в душные дома, он все время видел перед

собою свой парк под Комбре: там с четырех часов с полей Мезеглиза подувал ветерок; там, недалеко от грядок спаржи, под сенью буков, или на берегу пруда, окаймленного шпажником и незабудками, или за обеденным столом, вокруг которого играли в догонялки посаженные садовником вперемежку розовые кусты и кусты смородины, можно было дышать полной грудью.

Если свидание в Булонском лесу или в Сен-Клу было назначено на ранний час, Сван так скоро уходил после ужина — особенно если собирался дождь и можно было предположить, что верные разойдутся раньше, — так скоро, что как-то принцесса де Лом (у нее ужинали поздно, и, чтобы застать Вердюренов на острове в Булонском лесу, Сван встал из-за стола, не дожидаясь кофе), сказала:

— Если бы Сван был на тридцать лет старше и страдал недержанием мочи, то его еще можно было бы извинить за то, что он удирает. А так это просто безобразие.

Он убеждал себя, что прелесть весны, которой он не имел возможности насладиться в Комбре, есть и на Лебедином острове, и в Сен-Клу. Но так как думал он только об Одетте, то потом не мог даже припомнить, чувствовал ли он запах ли-

стьев и светила ли луна. Его встречали короткой фразой из сонаты — играли ее в саду на ресторанном инструменте. Если в саду рояля не было, Вердюрены добивались, чтобы его принесли из отдельного кабинета или из общего зала. К Свану они относились хуже, чем когда-либо, но мысль затеять для кого-нибудь необычное развлечение, даже для человека, которого они не любили, вызывала у них во время приготовлений минутные и случайные чувства доброжелательности и благорасположения. Иногда он думал, что вот так проходит еще один весенний вечер, и заставлял себя посмотреть на деревья, на небо. Но при Одетте он был всегда возбужден, а кроме того, последние дни его слегка лихорадило, между тем спокойствие и хорошее самочувствие — это тот необходимый фон, на котором мы воспринимаем природу.

Как-то вечером, когда Сван, ужиная у Вердюренов, объявил, что завтра у него дружеская пирушка, Одетта сказала во всеуслышание, при Форшвиле, который был уже одним из верных, при художнике и при Котаре:

— Да, я помню, что у вас завтра пирушка; значит, мы увидимся у меня, но только приезжайте не очень поздно.

Хотя у Свана ни разу еще не вызвала и тени подозрения приязнь Одетты к кому-нибудь из верных, а все-таки его глубоко радовало, когда Одетта при всех, с таким спокойным бесстыдством говорила об их ежевечерних встречах, подчеркивала, что он у нее на особом положении и что, значит, она предпочла его всем остальным. Конечно, Сван часто думал, что Одетта самая обыкновенная женщина; он понимал, что власть над существом, стоящим настолько ниже его, не может льстить его самолюбию и что тут нечем хвастаться перед верными, но как только он заметил, что Одетта нравится многим, что она волнует мужчин, телесное желание, которое она будила у них, вызывало у него острую потребность завладеть всеми тайниками ее души. И ему стали бесконечно дороги те минуты, которые он проводил у нее вечером, когда он сажал ее к себе на колени, спрашивал, что она думает о том, о другом, когда он устраивал поверку тем радостям, которые теперь придавали смысл его жизни. Вот почему после ужина он, отведя Одетту в сторону, поблагодарил ее от всего сердца, и эта высшая ступень его признательности должна была показать ей, что в ее власти воздвигнуть для него целую лестницу блаженств, самое высокое

из которых состоит в том, чтобы, пока длится его любовь и пока он с этой стороны уязвим, не знать, что такое ревность.

Когда, на другой день, он ушел с пирушки, дождь лил ливмя, а в распоряжении Свана была открытая коляска; кто-то из друзей предложил отвезти его домой в карете, и так как Одетта, позвав его к себе, тем самым ручалась ему, что никого к себе не ждет, то ему, вместо того чтобы мокнуть под дождем, можно было со спокойной душой и легким сердцем ехать домой спать. Ну а вдруг Одетта, заключив, что он не дорожит своим преимуществом — проводить с ней все поздние вечера без исключения, отнимет у него это преимущество, как раз когда оно будет ему особенно желанно?

Приехав к ней уже в двенадцатом часу, он извинился, а она сказала, что сейчас, правда, очень поздно, что от грозы ей стало плохо, что у нее разболелась голова, и предупредила, что позволит ему побыть у нее с полчасика, не больше, только до двенадцати; немного погодя она почувствовала, что устала, ей захотелось спать.

— Значит, сегодня никаких орхидей? — спросил он. — А я как раз мечтал о славной орхидейке.

Она ответила ему с кислым, слегка сердитым

видом:

— Нет-нет, милый, сегодня никаких орхидей, ты же видишь, что мне нездоровится!

— Может, тебе от этого было бы лучше, но я не настаиваю.

Она попросила его погасить перед уходом свет; он задернул полог и ушел. Дома ему внезапно пришла мысль: а вдруг Одетта кого-нибудь ждала, вдруг она притворилась усталой и попросила погасить свет единственно для того, чтобы он поверил, что она сейчас уснет, а только он за дверь — и она опять зажжет свет и впустит того, кто должен провести с нею ночь? Сван посмотрел на часы — прошло уже часа полтора после того, как он от нее уехал. Он вышел из дому, взял извозчика и велел остановиться около ее дома, на улице, перпендикулярной той, на которую ее дом выходил своей задней стеной и откуда Сван иной раз стучал в окно ее спальни, чтобы она ему отворила; он вылез из экипажа; вокруг были мрак и тишина; он сделал несколько шагов и очутился возле самого ее дома. Среди окон, в которых давно уже было темно, только из одного просачивался сквозь ставни выдавливавшийся ими таинственный, золотистый сок заливавшего комнату света, столько вечеров еще издали радовавшего Свана,

как только он, свернув на эту улицу, замечал его, возвещавшего: «Она там и ждет тебя», — а сейчас разрывавшего ему сердце: «Она там — с человеком, которого она ждала». Ему не терпелось узнать, кто же это; он прокрался вдоль стены к освещенному окну, но сквозь переплет ставен ему ничего не удалось рассмотреть; в ночной тиши слышны были только неясные голоса.

Конечно, ему больно было смотреть на окно, за которым в золотистом свету невидимо двигалась ненавистная парочка; ему больно было слышать тихие голоса, обличавшие присутствие того, кто пришел сюда после его отъезда, обличавшие лживость Одетты, блаженствовавшей в эту минуту с другим. И все-таки он был рад, что приехал: выгнавшая его из дома душевная пытка вместе с беспричинностью утратила и остроту, утратила именно сейчас, когда другая жизнь Одетты, до последнего момента внушавшая ему мучительное и бессильное подозрение, была вон там, в упор освещенная лампой, и когда она, неведомо для нее самой, стала узницей этой комнаты, где, при желании, он в любую минуту мог застать ее врасплох и заключить под стражу; а может, лучше постучать, как он стучал всякий раз, когда приезжал поздно: так,

по крайней мере, Одет-та поймет, что ему все известно, что он видел свет и слышал разговор, и если он только что рисовал себе, как она смеется с другим над его доверчивостью, то теперь ему представлялось, что они пребывают в блаженном неведении, что перехитрили-то в конце концов не они его, а он их: ведь они воображают, что он от них далеко-далеко, тогда как Сван — это он уже точно знал — вот сейчас возьмет да и постучит к ним. И быть может, почти приятное ощущение, какое он испытывал в этот миг, не было связано ни с тем, что разрешилось сомнение, ни с тем, что утихла боль: то была скорей забава для его ума. Когда он полюбил, вещи вновь приобрели в его глазах известную долю той притягательной силы, какую они имели для него прежде, но только если их озаряло воспоминание об Одетте, а теперь ревность пробудила в нем другое свойство любознательной его молодости: страсть к истине, но к истине, тоже стоявшей меж ним и его любовницей, истине, заимствовавшей свет от нее, истине чисто субъективной, у которой был один-единственный предмет для изучения, предмет неслыханной ценности, предмет до того прекрасный, что в познании его не было почти ничего корыстного, — поступки Одетты, ее от-

ношения с людьми, ее намерения, ее прошлое. Прежде Сван не придавал никакого значения мелким событиям в жизни человека, его образу действий; когда Свану сплетничали на кого-нибудь, он не проявлял к этому интереса, а если и прислушивался, то лишь самой пошлой частью своего слуха; в такие минуты он считал себя жалкой посредственностью. Но в необычную пору его жизни, в пору любви, субъективное начало достигло у Свана такой глубины, что любопытство, с каким он когда-то изучал историю, теперь возбуждал в нем житейский обиход любимой женщины. И все, чего он еще вчера устыдился бы, — подсматривание в окно, а там, может быть даже, ловкое выспрашивание посторонних, подкуп слуг, подслушивание у дверей, — теперь было для него равнозначно расшифровке текстов, сопоставлению свидетельских показаний, изучению памятников старины, то есть методам научного исследования, обладающим неоспоримой духовной ценностью, незаменимым при поисках истины.

Он хотел было постучать, но ему вдруг стало стыдно при мысли, что Одетта узнает о его подозрениях, о том, что он вернулся, о его стоянии на улице. Она часто говорила ему, что ревнивцы,

любовники-соглядатаи внушают ей отвращение. Он действует в высшей степени некрасиво, и она может возненавидеть его, а между тем пока он не постучал, она, быть может изменяя ему, все-таки еще любит его. Сколько таких случаев в жизни, когда счастье губила нетерпеливость в утолении страсти! Однако желание узнать истину возобладало в Сване — теперь ему казалось, что это самый благородный выход из положения. Для Свана расчерченное световыми полосами окно было сейчас все равно что тисненный золотом переплет драгоценной рукописи для ученого, которому дороже всего художественные сокровища самой рукописи: он внушил себе, что за переплетом окна перед ним откроется действительное положение вещей, а за то, чтобы восстановить его, он готов был пожертвовать жизнью. То было доходившее у него до сладострастия желание постичь истину в этом единственном свитке, неверном и драгоценном, просвечивающем, таком теплом и таком прекрасном. Кроме того, преимущество, которое, как он внушил себе, было у него перед ними, — а ему было очень важно сознавать, что у него есть преимущество, — заключалось, пожалуй, не столько в самом знании, сколько в возможности показать им, что он знает

все. Он поднялся на цыпочки. Постучал. Его не услышали, он постучал сильнее, разговор смолк. Мужской голос, в который Сван так и впился слухом, силясь догадаться, у кого из известных ему знакомых Одетты такой голос, спросил:

— Кто там?

Сван так и не узнал этого человека по голосу. Он постучал еще раз. Отворили окно, потом ставни. Отступать теперь уже было поздно, и, так как сию минуту Одетте предстояло понять все, он, чтобы не показаться ей слишком несчастным, не в меру ревнивым и любопытным, проговорил небрежным и веселым тоном:

— Не бойтесь, я проходил мимо, увидел свет, и мне захотелось узнать, не лучше ли вам.

Он поднял глаза. У окна стояли два старика, один из них держал лампу, и тут Сван увидел комнату, но комната была не та. Он привык узнавать окно Одетты, когда приезжал к ней поздно, по той примете, что из всех похожих окон это было одно-единственное освещенное окно, и сегодня он по ошибке постучал в следующее — в окно соседнего дома. Извинившись, он отошел от окна и вернулся домой в восторге от того, что удовлетворение любопытства не повредило их любви и что, так долго проявляя к Одетте притворную

холодность, он своею ревностью не доказал ей, что любит ее безмерно, а ведь подобного рода доказательство раз и навсегда освобождает любовника, который получил его, от обязанности любить одинаково сильно.

Сван ничего не сказал Одетте о своем злоключении, да он и не думал о нем. Однако время от времени мысль его случайно натыкалась на воспоминание об этом происшествии, ранила его, загоняла внутрь, и Сван ощущал острую боль в глубине души. Это была как бы физическая боль, потому что мысли Свана бессильны были облегчить ее, но если бы только физическая! Ведь физическая боль не зависит от мысли, мысль может сосредоточиться на ней, признать, что она стала меньше, что она на время утихла. Но эту боль мысль возобновляла одним тем, что напоминала о ней. Хотеть не думать о ней — это уже означало все еще о ней думать, все еще от нее страдать. И когда, беседуя с друзьями, он забывал про свою боль, вдруг кем-либо случайно оброненное слово заставляло его измениться в лице — так искажается лицо у раненого, когда чья-нибудь неловкая рука неосторожно притронется к больному месту. Когда он расставался с Одеттой, он бывал счастлив, спокоен, припоми-

нал ее улыбки, насмешливые, когда она говорила о ком-либо из знакомых, и ласковые, когда она обращалась к нему, вспоминал, какая тяжелая была у нее голова, когда она, нарушив обычное ее положение, склоняла, почти нехотя роняла ее ему на губы, как это впервые с ней произошло в экипаже, вспоминал томные взгляды, какие она, зябко прижимаясь к его плечу головой, бросала на него, когда он ее обнимал.

И в то же мгновение ревность, словно то была тень его любви, творила ему двойника новой улыбки, которою Одетта ему улыбнулась не далее как сегодня вечером, но которая сейчас смеялась над Сваном и полнилась любовью к другому, двойника наклона ее головы, опрокинувшейся на другие губы, и всех проявлений нежности, какую Одетта выказывала теперь не ему, а другому. Сладостные воспоминания, какие он уносил от нее в душе, были как бы набросками, эскизами, вроде тех, что предлагает вашему вниманию декоратор, и по ним Сван пытался создать себе представление о любовном жаре и об изнеможении, какое могли вызывать у нее другие. И ему уже было жаль каждого наслаждения, изведанного с нею. Жаль, что он имел неосторожность дать ей почувствовать, как отрадна каждая ласка, которую

он для нее изобрел, жаль тех обворожительных свойств, какие он в ней открывал, — жаль, потому что он знал, что некоторое время спустя это будут новые орудия его пытки.

Пытка эта становилась еще более жестокой, когда Сван вспоминал беглый взгляд, который он несколько дней назад в первый раз перехватил у Одетты. Это было у Вердюренов, после обеда. То ли Форшвиль, почувствовав, что Вердюрены недолюбливают его шурина Саньета, решил избрать его мишенью для своего остроумия и проехаться на его счет, то ли его рассердила неловкость, допущенная по отношению к нему Саньетом, кстати сказать, прошедшая незамеченной для присутствовавших, не понявших, что слова Саньета можно истолковать как обидный намек, тем более что у Саньета никакой задней мысли и не было, то ли, наконец, Форшвиль в последнее время просто искал случая выставить отсюда человека, который слишком много о нем знал и который был настолько щепетилен, что в иные минуты его коробило самое присутствие Форшвиля, о чем тот догадывался, — так или иначе, Форшвиль ответил на неудачное замечание Саньета крайне грубо и принялся осыпать его оскорблениями, испуганное же и горестное вы-

ражение лица и мольбы Саньета подлили масла в огонь, и в конце концов несчастный Саньет, спросив г-жу Вердюрен, не лучше ли ему уйти, и не получив ответа, со слезами на глазах, что-то бормоча, вышел из комнаты. Одетта не проявляла к этой сцене ни малейшего интереса, но, когда дверь за Саньетом затворилась, Одетта, так сказать, принизила обычное выражение своего лица, чтобы в смысле пошлости сравняться с Форшвилем: она зажгла в своих зрачках недобрую улыбку, приветствовавшую решительность Форшвиля и насмешливую по отношению к его жертве; она бросила на Форшвиля взгляд сообщницы в преступлении, ясно говоривший: «Вот это, я понимаю, расправа! Вы обратили внимание, какой у него был пришибленный вид? Он даже заплакал», — так что Форшвиль, встретившись с ней глазами, осекся, его неподдельный или наигранный гнев прошел, он улыбнулся и сказал:

— Если б он был поучтивее, ему не надо было бы отсюда уходить. Хорошая взбучка бывает полезна в любом возрасте.

Однажды днем, не застав кого-то из своих знакомых, Сван, никогда прежде не бывавший в это время у Одетты, но знавший, что сейчас она дома наверняка — отдыхает или пишет письма до чая,

решил, чтобы не беспокоить ее, заехать к ней на одну минутку. Швейцар сказал, что, кажется, она дома; Сван позвонил, ему послышался шорох, шаги, но ему не отворили. Обеспокоенный, раздраженный, он вышел на улицу, куда выходила задняя стена дома, и стал под окном спальни; за занавесками ничего не было видно; он забарабанил в окно, позвал; окно не отворилось. На него смотрели соседи. Подумав, что ему, быть может, послышалось, будто кто-то ходит по комнате, он ушел, но уже ни о чем другом не мог думать. Через час он снова был здесь. Одетта его впустила; она сказала, что когда он звонил, она была дома, но спала; звонок разбудил ее, она догадалась, что это Сван, побежала отворять, но он уже ушел. Она слышала стук в окно. Сван мгновенно обнаружил в ее лепете нити фальши, за которые хватаются застигнутые врасплох лжецы, чтобы вплести их в свою выдумку, вплести для того, чтобы факт нельзя было отличить от выдумки, заимствующей правдоподобие у самой Истины. Разумеется, когда Одетта совершала что-нибудь втайне от других, она старалась спрятать этот свой поступок в одном из укромных уголков своей души. Но как только она оказывалась лицом к лицу с человеком, которому она намеревалась

солгать, ее охватывало смятение, мысли у нее путались, изобретательность и рассудительность бездействовали, в голове было пусто, а между тем непременно надо было что-то сказать, и на язык подвертывалось именно то, что заключало в себе истину и что ей хотелось утаить. Она отрывала от этого какую-нибудь ничего не значившую частицу и внушала себе, что так лучше, что выдуманная подробность опаснее той, которую можно проверить.

«По крайней мере, я говорю правду, — твердила она себе, — уже одно это хорошо, он может справиться — и убедится, что я сказала правду, так я не попадусь». Это было ее заблуждением: тут-то она и попадалась; она не понимала, что место истинной подробности только внутри истинного происшествия, откуда она ее произвольно вынула, и что, какими хитроумно изобретенными подробностями она бы ее ни окружила, что-то будет вылезать наружу, а чего-то будет не хватать, ибо эта подробность не отсюда. «Она призналась, что слышала мой звонок, поток стук, и сообразила, что это я, она была рада мне, — рассуждал сам с собой Сван. — Но это не вяжется с тем, что она меня так и не впустила».

Однако он не указал ей на это противоречие:

он рассчитывал на то, что, предоставленная самой себе, Одетта, быть может, проболтается, и эта ложь послужит для него хотя и расплывающимся, но отражением истины; говорила она; он не прерывал ее — он с алчным и мучительным благоговением подбирал роняемые ею слова, различая за ними, словно за священной завесой, неясную тень истины (различая именно потому, что Одетта пыталась задернуть истину словами), смутно обрисовывавшиеся очертания правды, бесценной, но — увы! — неуловимой: чем она была занята в три часа дня, когда он к ней заходил? — правды, от которой у него останутся только эти россказни, только эти невразумительные, дивные приметы и которая таилась лишь в скрытой памяти вот этого существа, не имевшего понятия о том, какая это ценность, и все-таки не желавшего поделиться ею с ним. Конечно, временами он сильно сомневался, чтобы повседневная жизнь Одетты представляла захватывающий интерес и чтобы ее отношения с другими мужчинами непроизвольно и непременно всякий раз источали для каждого мыслящего существа смертельную тоску, способную довести до бреда о самоубийстве. В такие минуты Сван сознавал, что только он один и болен этим интересом и

этой тоской и что, как только болезнь пройдет, поступки Одетты и ее поцелуи вновь станут такими же безобидными, как поступки и поцелуи других женщин. Однако, приходя к мысли, что источник мучительного любопытства находится в нем самом, Сван не делал отсюда вывода, что подобного рода любопытство и такое страстное желание насытить его безрассудны. Сван приближался к тому возрасту, когда его философия, соответствовавшая философии эпохи, а также философии той среды, которая окружала Свана на протяжении многих лет, философии кружка принцессы де Лом, где считалось, что умный человек должен сомневаться во всем и где объективной истиной признавались только субъективные пристрастия, — когда его философия уже перестала быть философией его юности: это была философия позитивная, почти врачебная, философия человека, уже не ищущего цель жизни вовне, а пытающегося отделить от уже истекших лет некий прочный устой тех привычек, которые он склонен рассматривать как характерные для него, тех страстей, которые он склонен рассматривать как постоянные свои страсти, и неусыпно пекущегося прежде всего о том, чтобы избранный им образ жизни соответствовал его

привычкам и утолял его страсти. Сван считал столь же разумным страдать от того, что не знает, чем в данную минуту занята Одетта, и помнить, что его экзема обостряется от влажного климата, предусматривать в своем бюджете особую статью расходов на получение сведений о времяпрепровождении Одетты, — сведений, без которых он не мог спокойно жить, — и приберегать деньги на другие прихоти, удовлетворение коих, как это он знал по опыту, могло доставить ему удовольствие, — во всяком случае, пока он еще не был влюблен, — в частности, на коллекции и на хорошую кухню.

Когда Сван стал прощаться, Одетта попросила его побыть еще немного и даже быстрым движением удержала его за руку в тот момент, как он собирался отворить дверь. Но он не придал этому значения: ведь из множества жестов, слов, чистых случайностей, из которых состоит разговор, мы роковым образом проходим мимо того, что таит в себе истину, которую наши подозрения ищут вслепую, и останавливаемся как раз на том, что не содержит в себе ничего. Одетта все повторяла: «Как жаль, что ты не приходишь ко мне днем! В кои-то веки пришел, а я тебя упустила!» Он знал, что она уж не настолько была в него

влюблена и не могла так горько жалеть о том, что их свидание не состоялось, но она была добрая, она любила доставлять ему удовольствия и часто огорчалась, когда он на нее обижался, а потому он нашел вполне естественным, что огорчилась она и теперь, лишив его удовольствия побыть с ней час, — удовольствия очень большого, но не для нее, а для него. И все же это была мелочь, и вовсе не потому печаль, которую все еще выражало ее лицо, удивила его. Сейчас Одетта больше, чем когда-нибудь, напоминала ему женские лица создателя «Весны»[185]. У нее был тот же, что и у них, удрученный и подавленный вид — вид людей, падающих под непосильным бременем скорби, а между тем они просто дают поиграть младенцу Иисусу гранат или смотрят, как Моисей льет воду в водоем. Он уже как-то раз видел у нее на лице такую же точно печаль, но забыл когда. И вдруг вспомнил: это было, когда Одет-та лгала г-же Вердюрен на другой день после обеда, на который она не пришла якобы потому, что была нездорова, а на самом деле потому, что провела время со

[185] Примечания: 185

«Весна» — картина Боттичелли, которая находится в галерее Уффици во Флоренции. Младенец Иисус изображен с гранатом в руках на картине Боттичелли «Мадонна с гранатом», также хранящейся в галерее Уффици.

Сваном. Разумеется, будь она даже правдивейшей из женщин, у нее не могло быть угрызений совести из-за такой невинной лжи. Но Одетте постоянно приходилось прибегать и к гораздо менее невинной лжи, чтобы избежать разоблачений, которые могли бы поставить ее в ужасное положение. Вот почему, когда она лгала, трепеща от страха, сознавая, что она недостаточно хорошо вооружена для того, чтобы защищаться, не веря в победу, то ей хотелось плакать, плакать от усталости, как плачут невыспавшиеся дети. К тому же она сознавала, что ее ложь глубоко оскорбляет человека, которому она лжет, и что если она солжет неискусно, то окажется всецело в его власти. И у нее был вид смиренный и виноватый. Когда же она прибегала к светской лжи по пустякам, то связь ощущений и воспоминаний была до того сильна, что она в этих случаях испытывала и переутомление, и раскаяние.

Так в чем же заключалась эта давящая ложь, которая заставляла Одетту смотреть на Свана таким страдальческим взглядом и говорить таким жалобным голосом, точно изнемогавшим от крайних усилий и молившим о пощаде? У Свана складывалось впечатление, что Одетта пытается скрыть от него не только подоплеку

сегодняшнему происшествия, но и нечто более животрепещущее, еще, может быть, и не происшедшее, но готовое вот-вот совершиться и уже на все пролить свет. В эту минуту раздался звонок. Одетта не смолкла, но теперь то была уже не речь, а стон: ее сожаление, что они со Сваном не увиделись днем, что она ему не отворила, переросло в вопль отчаяния.

Захлопнулась входная дверь, послышался стук колес: кому-то, должно быть, сказали, что Одетты нет дома, и он уехал, — тот, с кем Свану не следовало встречаться. Убедившись, что одним своим появлением в необычное время он перевернул вверх дном столько всего, о чем Одетте не хотелось ставить его в известность, Сван впал в уныние, почти в отчаяние. Но ведь он любил Одетту, он привык думать только о ней, и потому, вместо того чтобы пожалеть себя, он пожалел ее. «Бедняжка!» — прошептал он. Когда он уходил, она взяла со стола письма и попросила опустить. Дома он обнаружил, что забыл ее просьбу. Он отправился на почту, вынул из кармана письма, но, прежде чем бросить в ящик, взглянул на адреса. Все письма были к поставщикам, одно — к Форшвилю. Оно было у него в руке. Он говорил себе: «Если я его прочту, то узнаю, как она к нему обра-

щается, как она с ним говорит, есть ли что-нибудь между ними. Может быть, даже так будет лучше для Одетты: пробежать письмо — это единственный способ избавиться от подозрения, вероятно, ложного и, во всяком случае, неприятного для Одетты, а как только письмо будет брошено, то уж потом подозрение не рассеешь».

Это письмо Сван унес к себе. Не решившись распечатать его, он зажег свечку и поднес его к свету. Сперва ему ничего не удалось разобрать, но конверт был тонкий, и, прижав его к листку плотной почтовой бумаги, который был внутри, он прочел последние слова. Это была холодная заключительная фраза. Если бы не он вчитывался в письмо к Форшвилю, а Форшвиль — в письмо к Свану, то Форшвилю показались бы эти же самые слова гораздо более нежными! Сван сначала придерживал письмо, ерзавшее в конверте, потому что оно было меньше его, затем стал подвигать большим пальцем строчку за строчкой к той части конверта, где кончалась подкладка, — только так и можно было хоть что-нибудь разобрать.

И все-таки письмо с трудом поддавалось прочтению. Но Сван относился к этому спокойно: он понял одно, что речь идет о каких-то пустяках и что о любви там нет ни полслова; Одетта что-то

писала о своем дяде. Сван ясно увидел в начале строчки: «Я должна была...» — но не понимал, что именно она должна была сделать, и вдруг одно слово, которое ему до сих пор не удавалось разобрать, отчетливо проступило и уяснило смысл всей фразы: «Я должна была впустить: ко мне приезжал мой дядя». Впустить! Стало быть, когда Сван звонил, у нее был Форшвиль и она его спровадила, — это его шаги слышал тогда Сван.

Сван прочел все письмо; в конце она извинялась за то, что действовала так бесцеремонно, и писала, что он забыл у нее папиросы, — то же, что писала Свану после одного из первых его приездов. Но в письме к Свану она добавляла: «Ах, зачем вы не забыли и своего сердца! Я бы вам его ни за что не вернула». В письме к Форшвилю ничего похожего не было: ни единого намека на то, что у них роман. Вообще говоря, Форшвиль был больше одурачен, чем он: Одетта писала Форшвилю, чтобы убедить его, что к ней заезжал дядя. Следовательно, со Сваном она считалась больше и ради него выпроводила другого. И все же, если между Одеттой и Форшвилем ничего не было, то почему она не впустила его сейчас же, зачем ей нужно было писать: «Я должна была впустить: ко мне приезжал мой дядя»? Если она ничего

предосудительного не делала, то как Форшвиль мог подумать, что кого-то ей нельзя впускать? Растерянный, удрученный и все же счастливый, Сван держал в руках конверт, который Одет-та безбоязненно вручила ему, — так верила она в порядочность Свана, — и через прозрачное стекло которого вместе с тайной случая, уже казавшейся ему недоступной, перед ним, словно в освещенном проеме, откуда видно самое-самое сокровенное, внезапно приоткрылся краешек жизни Одетты. И тут его ревность возрадовалась, как если бы она была существом самостоятельным, эгоистическим, жадным до всякой пищи, хотя бы этой пищей служил для нее Сван. Теперь она в питании не нуждалась: Сван мог каждый день волноваться из-за того, кто бывает у Одетты около пяти часов, и разведывать, где в это время дня находится Форшвиль. Любовь Свана к Одетте попрежнему носила на себе отпечаток, с самого начала наложенный на нее незнанием того, как проводит время Одет-та, и его умственной ленью, мешавшей его воображению восполнять пробелы. На первых порах он ревновал не всю жизнь Одетты, но лишь те ее моменты, когда какое-нибудь обстоятельство, быть может неправильно им истолкованное, заставляло его предполагать,

что Одетта ему неверна. Его ревность, подобно спруту, выпускающему сперва одно, потому другое, потом третье щупальце, прочно присосалась сначала к пяти часам дня, потом к другому моменту, потом к третьему. Но Сван никогда не придумывал себе огорчений. Его заставляли страдать воспоминания, они представляли собой дальнейшее развитие того страдания, которое пришло к нему извне.

Но вовне все причиняло ему боль. Он хотел разлучить Одетту с Форшвилем, увезти ее на несколько дней на юг. Но он боялся, что она понравится всем мужчинам в гостинице и что они понравятся ей. Тот самый Сван, который когда-то пускался в путешествия, потому что искал новых встреч, потому что любил шумные сборища, превратился в бирюка, избегающего людей, точно они горько его обидели. Да и как тут было не стать человеконенавистником, если в каждом мужчине он видел возможного любовника Одетты? Так ревность в еще большей мере, чем его первоначальная радостная страсть к Одетте, изменяла характер Свана, ничего не оставляла от прежнего даже во внешних его проявлениях.

Месяц спустя после того, как Сван прочел письмо Одетты к Форшвилю, он поехал на ужин,

который Вердюрены устраивали в Булонском лесу. Перед самым разъездом он обратил внимание, что г-жа Вердюрен ведет кое с кем из гостей тайные переговоры, и уловил, что пианисту напоминали о завтрашней поездке в Шату; Сван приглашения не получил.

Вердюрены говорили полушепотом, изъяснялись намеками, но художник, видимо по рассеянности, воскликнул:

— Не нужно никакого освещения! Пусть он играет «Лунную сонату»[186] в темноте, чтобы только она одна освещала предметы.

Сван стоял от него в двух шагах, и на лице у заметившей его г-жи Вердюрен появилось выражение, как у человека, которому хочется заставить говорящего замолчать и таким образом замять неловкость, а в глазах слушающего сохранить невинный вид, и у которого оба эти желания достигают некой напряженной уравновешенности благодаря тому, что неподвижный понимающе-заговорщицкий знак прячется у него под улыбкой простачка, уравновешенности, в конце концов неминуемо нарушающейся, после чего промах становится ясен если не тому, кто его

---

[186] Примечания: 186

«Лунная соната» (1802) — 14-я фортепианная соната Бетховена.

допустил, то уж, во всяком случае, тому, при ком надо было соблюдать осторожность. Одетта вдруг изобразила на своем лице отчаяние женщины, павшей в борьбе с житейскими невзгодами, а Сван не чаял, как дождаться той минуты, когда, уйдя из ресторана, он дорогой потребует у Одетты объяснений, добьется того, что она не поедет завтра в Шату, или того, что его тоже пригласят, и успокоит свою тревогу в ее объятиях. Наконец подали экипажи.

— Надеюсь, до скорого? — спросила Свана г-жа Вердюрен, пытаясь приветливым взглядом и насильственной улыбкой заставить его забыть то, что она говорила ему всегда: «Завтра — в Шату, послезавтра — у меня».

Вердюрены предложили Форшвилю сесть к ним; экипаж Свана стоял сзади их экипажа, и Сван ждал, когда он тронутся, чтобы предложить Одетте ехать вместе.

— Одетта, вы с нами! — объявила г-жа Вердюрен. — У нас есть свободное местечко рядом с господином де Форшвилем.

— Хорошо, — ответила Одетта.

— Как? А я надеялся вас проводить! — воскликнул Сван, ему было сейчас не до светских приличий; дверца была отворена, до отъезда

оставались считанные мгновения, вернуться домой в том состоянии, в каком он сейчас находился, он не мог и сказал те слова, какие ему нужно было сказать.

— Меня просила госпожа Вердюрен…

— Послушайте, — вмешалась г-жа Вердюрен, — вы отлично можете доехать один, мы и так уже столько раз отпускали ее с вами.

— Но мне необходимо сказать ей важную вещь.

— А вы ей напишите…

— До свиданья! — протянув ему руку, сказала Одетта. Сван попытался улыбнуться, но он был сражен.

— Как тебе нравится поведение Свана? — обратилась к мужу г-жа Вердюрен, когда они вернулись домой. — Я думала, он меня съест за то, что мы увезли Одетту. Нет, это просто неприлично! Скоро он будет говорить, что у нас дом свиданий! Не понимаю, как его выходки терпит Одетта. У него прямо на лице написано: «Вы — моя». Я все выскажу Одетте — надеюсь, она меня поймет. Дрянь паршивая! — в бешенстве добавила она, быть может, испытывая неосознанную потребность оправдаться, подобно Франсуазе в Комбре, когда цыпленок не желал издыхать, и

употребляя слова, срывающиеся с языка у крестьянина, когда он режет беззащитное животное и видит его предсмертные судороги.

Едва экипаж г-жи Вердюрен отъехал и Свану был подан его экипаж, кучер, взглянув на Свана, спросил, здоров ли он и не случилось ли чего с ним.

Сван отослал его; ему хотелось пройтись, и он пошел по Булонскому лесу. Он громко разговаривал сам с собой тем слегка неестественным тоном, каким прежде расписывал все прелести «ядрышка» и расхваливал великодушие Вердюренов. Но, подобно тому как слова, улыбки, поцелуи Одетты стали ему ненавистны, раз они были обращены теперь не к нему, а к другим, ненавистны настолько, насколько еще недавно казались очаровательными, точно так же салон Вердюренов, где ему было интересно, где будто бы по-настоящему любили искусство, где будто бы царила атмосфера душевного благородства, теперь, когда Одетта намеревалась там встречаться с другим и любить его, ни от кого не таясь, раскрывал перед ним свои смешные стороны, свою глупость, свою душевную низость.

Сван с гадливым чувством рисовал себе завтрашний вечер в Шату. «Прежде всего, кто это

едет в Шату? Торговцы после закрытия магазинов! Да нет, это олицетворение буржуазности, таких людей в жизни не бывает, это — действующие лица из комедии Лабиша[187]!»

Там будут Котары, может быть — Бришо. «Эти людишки не могут жить друг без друга — до чего же они смешны! Ведь если они завтра не встретятся в *Шату*, — честное слово, им покажется, что свет провалился!» Ох, там будет еще и художник, любитель «сватать», он пригласит Форшвиля с Одеттой к себе в мастерскую. Сван представлял себе, что Одетта непременно разрядится для этой загородной прогулки, — «ведь она же так вульгарна, а главное, бедняжка, до того глупа!!!»

Ему так и слышались послеобеденные остроты г-жи Вердюрен, которые, кто бы из скучных ни являлся их мишенью, всегда забавляли его, потому что он видел, как они смешат Одетту, как она смеется вместе с ним, почти что внутри него. Он невольно подумал о том, что вот так же заставят Одетту смеяться и над ним. «Какая гадость! — говорил он себе, и губы его кривила гримаса такого глубокого отвращения, что у него напрягались

[187] Примечания: 187

Лабиш, Эжен (1815–1888) — французский драматург, автор многочисленных комедий, в которых зачастую высмеивал пошлые вкусы разбогатевших буржуа.

мускулы и воротничок врезался в шею. — И как существо, созданное по образу и подобию Божию, может смеяться этим тошнотворным остротам? Всякий мало-мальски чуткий нос отвернулся бы с омерзением, чтобы не задохнуться в этой вони. Как мыслящее существо может не понимать, что, посмеиваясь над человеком, который искренне к нему расположен, оно скатывается в болото, откуда его никакими силами не вытащишь? Я стою бесконечно высоко над ямой, где кишит и шипит вся эта погань, шуточки какой-то госпожи Вердюрен меня не забрызгают своей грязью! — вскричал он, вскинув голову и гордо выпятив грудь. — Бог свидетель, я делал все, чтобы вызволить оттуда Одет-ту, мне хотелось, чтобы она дышала чистым и свежим воздухом. Но всякому терпению приходит конец, мое тоже скоро лопнет», — сказал он таким тоном, как будто задачу извлечь Одетту из атмосферы ядовитых насмешек он взял на себя давно, а не несколько минут назад, только после того, как ему пришла мысль, что посмешищем теперь, быть может, явится он и что цель этих насмешек — оторвать от него Одетту.

Он так и видел пианиста, собирающегося играть «Лунную сонату», и ужимки г-жи Вердюрен,

у которой нервы якобы не выдерживают музыки Бетховена. «Идиотка, притворщица! — вскричал Сван. — И эта кикимора воображает, что она любит *Искусство*!» Сперва она ловко ввернет несколько комплиментов Форшвиль, как она нередко отпускала их Свану, а потом скажет Одетте: «Подвиньтесь немножко — рядом с вами сядет господин де Форшвиль». «В темноте! Бандерша, сводня!» Теперь он называл «сводней» и музыку, потому что под музыку хорошо молчать, вместе мечтать, смотреть друг на друга, браться за руки. Он разделял суровое отношение Платона[188], Боссюэ[189] и старинного французского воспитания к искусству.

Словом, жизнь, какую вели у Вердюренов и какую он так часто называл «настоящей жизнью», представлялась ему теперь ужасной, а их «ядрышко» — сборищем подонков. «Да ведь это же самая низкая ступень общественной лестницы,

---

[188] Примечания: 188

Платон (427–347 до н. э.) — древнегреческий философ, автор трактата «Государство», где он говорит о том, что поэтам в государстве не место.

[189] Примечания: 189

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627–1704) — французский писатель и проповедник, автор «Максим и размышлений о комедии» (1694), где он яростно критикует театр.

последний круг дантова ада[190], — убеждал он себя. — Вне всякого сомнения, эти вдохновенные страницы написаны о Вердюренах! В сущности, как бы ни чернили людей из высшего общества, а все-таки с этой шантрапой их не сравнишь, и в том, что они не хотят с ней знаться, об нее пачкаться, есть глубокая мудрость. Какая предусмотрительность в этом *Noli me tangere*[191][192] Сен-Жерменского предместья!» Он давно уже вышел из Булонского леса и приближался к дому, но приступ душевной боли и пыл искусственного возбуждения, который он в себе подогревал фальшивыми интонациями и нарочитой звучностью голоса, у него еще не прошли, и он продолжал разглагольствовать в точной тишине: «Люди из высшего общества подвержены слабостям, и я их знаю лучше, чем кто-нибудь другой, но есть такие вещи, которых они никогда себе не позволят. Та

---

[190] Примечания: 190

…последний круг дантова ада… — Этот намек на «Божественную комедию» чуть меняет мотив сошествия в Ад, обозначенный образом Эвридики: изгнанный из общества Вердюренов, которое и уподобляется здесь «последнему кругу Данте», Сван испытывает самые страшные муки ревности.

[191] Примечания: 191

Не прикасайся ко мне (*лат.*).

[192] Примечания: 192

Noli me tangere (лат.) — «Не прикасайся ко мне» — первые слова воскресшего Иисуса, обращенные к Марии-Магдалине (Ин. 20, 17).

элегантная женщина, с которой я был знаком, далека от совершенства, и все же это женщина чуткая, порядочная, и вот эта порядочность ни при каких обстоятельствах не позволит ей вести двойную игру, между нею и такой мегерой, как Вердюрен, — целая пропасть. Вердюрен! Одна фамилия чего стоит! Да уж, в своем роде они представляют собой нечто законченное, в своем роде они — верх совершенства! Покорно благодарю, давно пора перестать вожжаться с этой шушерой, с этой швалью».

Но, подобно тому как одних достоинств, которые он еще недавно приписывал Вердюренам, хотя бы они ими действительно обладали, но не покровительствовали и не оказывали содействия его любви, было бы недостаточно, чтобы вызвать у Свана восторженное умиление душевным их благородством, ибо, даже если источником этого умиления служил кто-нибудь другой, оно притекало к нему от Одетты, — так, не пригласи Вердюрены Одетту поехать вместо него с Форшвилем, из-за одной их безнравственности, как бы ни был он прав, бросая им подобное обвинение, он не пришел бы в такое негодование и не обозвал бы Вердюренов «шушерой». И конечно, голос Свана был дальновиднее его самого, поскольку

он соглашался произносить слова, полные отвращения к кружку Вердюренов и радости, что с ним покончено, не иначе как приподнятым тоном, так, словно Сван выбирал их не столько, чтобы выразить то, что он на самом деле думает, сколько чтобы сорвать свою злобу. А думал он, меча громы и молнии, наверное, совсем о другом, потому что, придя к себе и только успев затворить входную дверь, он вдруг хлопнул себя по лбу, распахнул дверь и, выбежав на улицу, воскликнул на этот раз своим обычным голосом: «По-моему, я придумал, как получить приглашение на завтрашний ужин в Шату!» Однако выдумка Свана оказалась, должно быть, неудачной, потому что его так и не пригласили. Доктор Котар, выезжавший в провинцию к тяжелобольному и несколько дней не видевший Вердюренов, не был в Шату и на другой день, садясь с ними за стол, спросил:

— А сегодня-то мы Свана увидим? Это действительно, что называется, друг дома…

— Нет уж, увольте! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Избави нас боже от таких людей: он нестерпимо скучен, глуп и невоспитан.

При этих словах лицо Котара выразило удивление и покорность, словно он сейчас услышал истину, противоречившую всему, в чем он был до

сих пор уверен, но неумолимую в своей очевидности. Он отступил в полном порядке вплоть до самого дна своей души; он протянул: «А-а-а-а-а!», начиная с самой верхней и кончая самой нижней нотой, какие только он мог взять, а затем с возбужденным и испуганным видом уткнулся в тарелку. Больше у Вердюренов никто уже о Сване не заговаривал.

Так салон, в свое время сблизивший Свана и Одетту, сделался помехой для их свиданий. Теперь Одетта говорила ему не то, что в первоначальную пору их любви: «Во всяком случае, мы увидимся завтра вечером: у Вердюренов ужин», а: «Завтра вечером мы не увидимся: у Вердюренов ужин». Вердюрены собирались взять ее с собой в Комическую оперу на «Одну ночь Клеопатры», и Сван прочел в глазах Одетты боязнь, как бы он не стал отговаривать ее — боязнь, которая еще недавно так его умиляла, что он не мог удержаться, чтобы лишний раз не поцеловать ее, а теперь возмутила. «Нет, я не сержусь на Одетту за то, что ее тянет рыться в этом навозе, именуемом музыкой, — рассуждал он. — Мне только обидно — не за себя, понятно, а за нее; обидно, что, полгода с лишним видясь со мной ежедневно, она сама не пришла к тому, что Виктора Массе

слушать нельзя. А главное, как она не доросла до понимания, что женщина, хоть сколько-нибудь чуткая, в иных случаях обязана отказать себе в удовольствии, раз ее об этом просят! Здравый смысл должен был бы подсказать ей ответ: «Я не пойду!» — потому что на основании ее ответа будет вынесено окончательное суждение о ее душевных качествах». Убедив сначала себя, что он настаивает на том, чтобы она побыла с ним, а не ездила в Комическую оперу, так как это повлияет в лучшую сторону на его мнение о ее духовной ценности, Сван привел и ей те же самые доводы, скрывая под ними такое же лицемерие, как под тем, что он внушал себе, и даже еще большее, ибо тут он еще старался подействовать на ее самолюбие.

— Клянусь, — говорил он ей за несколько минут до ее отъезда в театр, — что всякий эгоист на моем месте был бы счастлив, если б ты отказалась исполнить его просьбу, — ведь у меня вечером масса дел. Я бы не знал, как мне быть, не знал, как мне выпутаться, если бы, паче чаяния, ты мне сказала, что не поедешь в театр. Но мои дела, мои развлечения — это не все, я должен подумать и о тебе. Если мы расстанемся с тобой навсегда, ты вправе будешь упрекнуть меня, что в реши-

тельную минуту, когда я чувствовал, что теряю уважение к тебе и скоро разлюблю, я тебя не предостерег. Видишь ли, не в «Ночи Клеопатры» (ну и название!) тут дело. Мне важно убедиться, что ты действительно стоишь на самой низкой ступени умственного развития, что в тебе нет ничего хорошего, что ты презренное существо, неспособное даже отказать себе в удовольствии. Если ты правда такая, то как же я могу тебя любить, раз ты не личность, не цельная натура, пусть несовершенная, но подающая надежды? Ты бесформенна, как вода, которая стекает с любого склона, ты — рыба, не обладающая ни памятью, ни способностью мыслить: рыба сто раз на дню бьется о стекло аквариума, которое она принимает за воду. Разумеется, твой ответ не сразу изгонит из моего сердца любовь, но неужели ты не понимаешь, что ты станешь для меня менее привлекательна, как только я увижу, что ты — не личность, что я не знаю никого ниже тебя? Конечно, я предпочел бы обратиться к тебе с просьбой не ходить на «Одну ночь Клеопатры»[193] (меня тошнит от одного названия) так, как будто это для

[193] Примечания: 193

«Одна ночь Клеопатры» — опера Виктора Массе, в основу которой положена новелла Теофиля Готье; автор либретто — Жан Барбье. Ее премьера состоялась в «Опера-Комик» в 1885 г.

меня несущественно, и притом в тайной надежде, что ты все-таки пойдешь в театр. Но именно потому, что я придаю твоему решению большое значение, раз твой ответ будет иметь важные последствия, я считаю необходимым честно тебя предупредить.

Одетта обнаруживала все признаки волнения и беспокойства. Смысл того, что говорил Сван, был ей недоступен, но она понимала, что это целая «громовая речь», что это настоящая сцена, что тут и мольбы и упреки, а так как Одетта хорошо изучила мужчин, то, не вдумываясь в отдельные слова, она соображала, что мужчина никогда бы их не произнес, если б не был влюблен, а раз он влюблен, значит, подчиниться ему невыгодно, что от неповиновения его влюбленность только усилится. Вот почему она выслушала бы Свана с полнейшим спокойствием, если б не видела, что время идет и что если Сван сию минуту не замолчит, то она (это было сказано ею с улыбкой, выражавшей нежность, смущение и упорство) «непременно опоздает на увертюру!».

Иногда Сван говорил Одетте, что она никак не может отучиться лгать и что это главное, из-за чего он в конце концов разлюбит ее. «Даже если подойти к этому с точки зрения простого

кокетства, — рассуждал он, — неужели же ты не понимаешь, насколько ты теряешь свою привлекательность, унижаясь до *лжи*? Как много дурных поступков могла бы ты искупить честным признанием! Нет, я думал, что ты умнее!» Сван тщетно доказывал Одетте, что лгать стыдно; его доказательства могли бы разрушить стройную систему *лжи*, но ее у Одетты не было: она лишь умалчивала всякий раз о том, что ей хотелось утаить от Свана. Ложь была для нее средством, к которому она обращалась в отдельных случаях, и принимала она решение — прибегнуть к этому средству или сказать правду — тоже в каждом отдельном случае особое: все зависело от того, сможет или не сможет Сван уличить ее во *лжи*.

Внешне Одетта дурнела: она расплылась, ее выразительное и печальное очарование, то изумленное, то мечтательное выражение ее лица — все, казалось, исчезло вместе с первою молодостью. Но так вышло, что она стала особенно дорога Свану, как раз когда она ему разонравилась. Он подолгу вглядывался в нее — он пытался уловить в ней былое очарование, но — тщетно. Ему достаточно было знать, что в этой новой хризалиде живет все та же Одетта, все то же непостоянное существо, неуловимое и неискреннее, и

одно это сознание заставляло Свана попрежнему страстно желать, чтобы Одетта была увлечена им. Он рассматривал ее карточки, на которых она была снята два года назад, и вспоминал, как она была обворожительна. И это отчасти облегчало страдания, которые она причиняла ему.

Когда Вердюрены увозили ее в Сен-Жерменское предместье, в Шату, в Мелан, то, если погода была хорошая, они часто предлагали гостям там же и переночевать, а вернуться домой на другой день. Г-жа Вердюрен старалась успокоить пианиста, у которого в Париже оставалась тетка:

— Она будет рада отдохнуть от вас денек. Да и чего ей волноваться, раз она знает, что вы с нами? Всю ответственность я беру на себя.

Если же ей не удавалось убедить пианиста, Вердюрен шел на телеграф или нанимал рассыльного и опрашивал верных, не нужно ли им кого-нибудь предупредить. Одет-та благодарила его, но объясняла, что посылать телеграмму ей некому: она, мол, раз навсегда объявила Свану, что открытая переписка с ним компрометирует ее. Когда Вердюрены брали ее с собой осматривать гробницы в Дре или, по совету художника, в Компьен — любоваться закатом в лесу, с тем чтобы потом доехать до Пьерфонского замка, то

продолжалось это несколько дней.

«Да она же могла бы осмотреть действительно прекрасные памятники со мной: ведь я десять лет изучал архитектуру, лучшие люди умоляют меня повезти их в Бове или в Сен-Лу-де-Но[194], но я бы поехал туда только ради нее, а она едет со скотами из скотов восхищаться дерьмом Луи-Филиппа и Вьоле-ле-Дюка! Чтобы разобраться в том, что это такое, право, не нужно быть знатоком; не нужно обладать особенно тонким обонянием, чтобы не ездить за город для осмотра зловонных отхожих мест».

Но когда Одетта уезжала в Дре или в Пьерфон, — увы! не позволяя ему появиться там якобы случайно, потому что, она как выражалась, «это произвело бы отвратительное впечатление», — он погружался в чтение упоительнейшего романа: в чтение расписания поездов, дававшего ему возможность видеться с нею днем, вечером, даже утром! Только возможность? Нет, пожалуй, больше: право. Ведь не для собак же предназначалось расписание и самые поезда! Если пассажиров типографским способом извещали,

---

[194] Примечания: 194

Сен-Жермен, Шату, Мелан, Дре, Компьен, Пьерфонский замок, Бове, Сен-Лу-де-Но — города и исторические места в окрестностях Парижа, знаменитые своими архитектурными памятниками.

что поезд в Пьерфон отходит в восемь часов утра, а прибывает в десять, значит, поездка в Пьерфон разрешается законом, и позволения Одетты на это не требуется; а кроме того, целью поездки в Пьерфон могла быть вовсе не встреча с Одеттой: ездят же туда ежедневно люди, не знающие ее в глаза, и людей этих так много, что ради них стоит гонять поезда.

Словом, если он захочет поехать в Пьерфон, помешать этому она не в силах! А ему как раз хотелось туда поехать, и он поехал бы непременно, даже если бы не был знаком с Одеттой. Сван давно интересовался реставрационными работами Вьоле-ле-Дюка. Да и дни стояли такие чудесные, что его неудержимо тянуло в Компьенский лес.

Какая досада, что Одетта запретила ему появляться там, куда его так манит именно сегодня! Сегодня! Если, несмотря на запрет, он все-таки туда поедет, то сможет увидеться с ней *сегодня же!* Но если Одетта встретит в Пьерфоне кого-нибудь, кто ей безразличен, она радостно воскликнет: «Как! И вы здесь?» — и пригласит его в гостиницу, где остановилась она и Вердюрены; если же встретит Свана, то рассердится, скажет, что он преследует ее, он станет ей неприятен, может быть даже, она в сердцах отвернется от него.

«Мне уж и за город поехать нельзя!» — скажет она ему, когда они вернутся, а на самом деле это он не имеет права ездить за город!

У него мелькнула мысль, что он может поехать в Компьен и в Пьерфон будто бы не ради встречи с Одеттой, он напросится к одному своему приятелю, маркизу де Форе-стелю, у которого в тех краях замок. Он сказал маркизу о своем желании поехать к нему, умолчав о том, чем вызвано это желание, — маркиз пришел в восторг, что Сван впервые за пятнадцать лет наконец-то обрадовал его, согласившись приехать к нему в имение, но Сван предупредил маркиза, что он у него не остановится, — он только, мол, обещает в течение нескольких дней, которые он там проведет, совершать совместные прогулки и экскурсии. Сван уже рисовал себе, как он будет там проводить время с Форестелем. Даже еще не видя Одетты, даже если ему не удастся с ней повидаться, как счастлив будет он ходить по земле, на которой, не зная в точности, где именно она сейчас, он всюду может ожидать трепетной радости внезапного ее появления: во дворе замка, прекрасного, потому что он приехал сюда ради нее; на любой улице города, в котором он почувствует нечто романтическое; на каждой дороге в лесу, розовой в глубоком и

нежном свету заката, — в бесчисленных и многообразных приютах, где одновременно укроется со всей расплывчатой вездесущностью своих упований его счастливая, скитальческая, размножившаяся душа. «Только бы нам не наткнуться на Одетту и на Вердюренов, — скажет он Форестелю. — Я сейчас узнал, что как раз сегодня они должны быть в Пьерфоне. Я сыт по горло встречами с ними в Париже; если и там некуда будет от них деваться, то есть ли смысл выезжать?» И его приятель не поймет, почему, приехав туда, он двадцать раз будет менять планы, заглянет в рестораны всех компьенских гостиниц, но так и не решится где-нибудь сесть за столик, хотя ни в одном из них Вердюренами и не пахнет, и почему он как будто бы разыскивает тех, от кого он сам же, если верить его словам, собирался удрать, да и удрал бы, если б на них налетел: встретив «группку», он удалился бы с нарочитой поспешностью, довольный тем, что видел Одетту и что Одетта видела его, в особенности же тем, что он не обратил на Одетту внимания и что Одетта это заметила. Да нет, она сразу догадается, что приехал он ради нее. И когда Форестель заезжал за ним, он говорил: «Сегодня я — увы! — не могу ехать в Пьерфон: там Одетта». И все же Сван был

счастлив сознанием, что если он, единственный из смертных, не имеет права ехать сегодня в Пьерфон, значит же, он Одетте не безразличен, значит, он ее избранник, и то, что ему одному запрещено пользоваться всеобщим правом свободы передвижения, является одной из форм его рабства, их близких отношений, которые так ему дороги! В самом деле, лучше не рисковать ссорой с Одеттой, лучше потерпеть, дождаться ее возвращения. Целыми днями сидел он над картой Компьенского леса, как над картой Страны Любви[195], раскладывал снимки Пьерфонского замка. В день, когда, по его расчетам, Одетта должна была вернуться, он опять доставал расписание, пытался угадать, с каким поездом она приедет, и смотрел, какие поезда еще остаются, если она опоздает на тот. Боясь, что телеграмма придет без него, он не выходил из дому и не ложился, надеясь, что если Одетта приедет с последним поездом, то может устроить сюрприз и приехать к нему ночью. Действительно, раздавался звонок; ему казалось, что ей долго не отворяют, и он то

[195] Примечания: 195

Карта Страны Любви — эта карта, представленная французской писательницей Мадлен де Скюдери (1607–1701) в романе «Клелия, или Великий Кир» (1656), является аллегорическим изображением Страны Любви аристократов и прециозных литераторов XVII века.

порывался будить швейцара, то подбегал к окну, чтобы окликнуть Одетту, если это она, потому что, хотя он десять раз сходил вниз и сам отдавал соответствующие распоряжения, люди все-таки могли сказать ей, что его нет дома. Оказывалось, что это звонил слуга. Теперь до Свана доносилось непрерывное движение экипажей — прежде он его просто не замечал. Сван еще издали улавливал, что едет экипаж; вот он все ближе, ближе, вот он проезжает, не останавливаясь, мимо его дома и уносит дальше весть, предназначавшуюся не для Свана. Он ждал ночи напролет, ждал совершенно напрасно, потому что Вердюрены возвращались раньше и Одетта уже с полудня обреталась в Париже; ей не приходило в голову известить Свана; не зная, куда деваться, она шла в театр одна, рано возвращалась домой и засыпала.

Она даже не думала о Сване. И те минуты, когда она забывала о его существовании, приносили ей больше пользы, сильнее привязывали к ней Свана, чем все ее кокетство. Благодаря этому Сван все время находился в мучительном возбуждении, которое уже показало свою власть над ним и под действием которого расцвела его любовь, когда он не застал Одетту у Вердюренов и потом весь

вечер проискал ее. И у него не было счастливых дней, какие были у меня в Комбре, во времена моего детства, дней, когда забываются страдания, оживающие по вечерам. Дни Сван проводил без Одетты и иногда подумывал, что позволять хорошенькой женщине ходить одной по Парижу так же легкомысленно, как оставлять на улице шкатулку с драгоценностями. В эти минуты он ненавидел всех прохожих без исключения: что ни прохожий, то вор. Но их обобщенный, расплывающийся образ ускользал от его воображения и не питал его ревности. Он утомлял мысль Свана, и Сван, проведя рукой по глазам, восклицал: «Господи, помоги!» — так люди, измучившись от усилий обнять умом проблему реальности внешнего мира или бессмертия души, находят разрядку для своего усталого мозга в молитве. Но воспоминание об отсутствующей неизменно примешивалось к простейшему житейскому обиходу Свана — к завтраку, к получению почты, к выходу из дому, к укладыванию в постель, — его примешивала к нему грусть о том, что все это Свану приходится делать без нее, и грусть эта напоминала инициалы Филиберта Красивого, которые горевавшая о нем Маргарита Австрийская всюду переплела со своими инициалами в

церкви в Бру[196]. Иногда Свану было так тоскливо сидеть одному дома, что он шел завтракать в находившийся сравнительно недалеко ресторан, где ему когда-то нравилась кухня и куда он ходил теперь по мотивам мистическим и бредовым, которые принято называть романтическими: дело в том, что этот ресторан (он существует и сейчас) носил то же название, что и улица, где жила Одетта, — *Лаперуз*. Бывали случаи, когда Одетта вспоминала, что надо же дать Свану знать о себе, лишь несколько дней спустя после кратковременного выезда за город. И тогда она, как ни в чем не бывало, говорила Свану, уже на всякий случай не прикрываясь из предосторожности лоскутком правды, что приехала только сейчас, с утренним поездом. Это была ложь; Одетта, по крайней мере, знала, что это чистейшая ложь: ведь если б она говорила правду, то у этой правды была бы точка опоры в воспоминании Одетты о том, как поезд подошел к вокзалу; когда Одетта лгала Свану, ей

[196] Примечания: 196

…инициалы Филиберта Красивого, которые… Маргарита Австрийская всюду переплела со своими инициалами в церкви в Бру. — Церковь Богоматери в Бру была по-строена Маргаритой Австрийской (1480–1530) в память о погибшем муже Филиберте Савойском (Красивом) (1480–1504). Инициалы влюбленных, соединенные знаком любви (узлом восьмеркой), равно как и другие символы страсти украшают каменные стены и витражи церкви. Пруст посещал ее в октябре 1903 г., а также писал об этом памятнике в своей статье «Смерть соборов».

мешало представить себе свой приезд то, что на самом деле все происходило иначе. Но в сознании Свана ее рассказ не встречал отпора: напротив, он врезался в его сознание и приобретал неоспоримую незыблемость истины, так что если бы кто-нибудь из его приятелей сказал ему, что приехал с этим поездом, но Одетту не видел, то Сван убедил бы себя, что раз его приятель не встретился на перроне с Одеттой, значит, он спутал день и час. Сван подумал бы, что рассказ Одетты не соответствует действительности, только если б он с самого начала отнесся к ее словам предвзято. Необходимым условием для того, чтобы Сван воспринял ее рассказ как ложь, должна была быть предубежденность. Достаточно было даже одной предубежденности. Предубежденность вызывала у Свана сомнения во всем, что бы Одетта ему ни сказала. Если она называла чье-нибудь имя, то он был уверен, что так зовут ее любовника; как только его догадка принимала определенные очертания, он надолго впадал в отчаяние; как-то он даже обратился в справочное бюро с просьбой сообщить адрес и род занятий незнакомца, с которым он просто не мог жить в одном городе и который, как он узнал после, приходился Одетте дяде и двадцать лет тому назад скончался.

Хотя обычно Одетта во избежание сплетен не разрешала Свану появляться одновременно с ней в общественных местах, все-таки они встречались на каком-нибудь вечере, куда приглашали их обоих: у Форшвиля, у художника, на благотворительном балу в министерстве. Он видел ее, но не решался остаться из боязни рассердить ее тем, что он будто бы поглядывает, как весело ей с другими, и когда он один уезжал с вечера и ложился в тоске, какая несколько лет спустя, в Комбре, вечерами, стоило ему прийти к нам ужинать, наваливалась на меня, то у него появлялось такое ощущение, что этому ее веселью не будет конца. Раза два на таких вечерах он познал радости, которые, если бы только они не выражались поначалу в бурном порыве, сменявшем внезапно утихшую тревогу, можно было бы назвать тихими радостями, потому что приносят они с собой успокоение; как-то он показался на рауте у художника и уже собирался уйти; он уходил от Одетты, обернувшейся какой-то блистательной незнакомкой, окруженной мужчинами, и ее счастливые взгляды, обращенные не на Свана, казалось, говорили им о наслаждении, которое ей предстоит испытать здесь или где-то еще (быть может, прямо отсюда она поедет на Бал Беспут-

ных[197], и одна мысль об этом бросала Свана в дрожь) и которое вызывало у Свана более жгучую ревность, чем даже телесная близость, оттого что ему было труднее представить ее себе; он уже отворил дверь из мастерской, как вдруг услышал обращенные к нему слова, отсекавшие от празднества страшивший его конец, превращавшие это празднество в невинное развлечение, слова, благодаря которым возвращение Одетты домой, страшное своею загадочностью, неожиданно стало таким отрадным и таким знакомым, потому что она будет сидеть рядом с ним, в его экипаже, и составлять частичку его повседневной жизни, и которые, сбросив с нее чересчур блестящую и жизнерадостную оболочку, показывали, что это была всего лишь личина, что надела она ее ненадолго и только для него, а не в предвидении каких-то таинственных наслаждений, и что она от нее устала, — слова, произнесенные Одеттой, когда он переступал порог: «Вы можете подождать меня пять минут? Я сейчас ухожу; поедемте вместе, проводите меня».

---

[197] Примечания: 197

…поедет на Бал Беспутных… — «Беспутные» — антиакадемическая группа юмористических художников-карикатуристов устраивала выставки в Париже в 1882–1888 г. «Балы беспутных» проходили в марте 1885 г. и в январе 1891 г.

Правда, как-то раз с ними поехал Форшвиль, но, когда он попросил у Одетты позволения зайти к ней, Одетта, указывая на Свана, сказала: «Это зависит от него, обращайтесь к нему. Ну уж, так и быть, зайдите, но только на минутку: я должна предупредить вас, что он любит беседовать со мной на свободе и совсем не любит, когда кто-нибудь бывает у меня при нем. Вы же не знаете этого человека так, как его знаю я! Ведь правда, *my love*[198], кроме меня, никто вас не знает?»

Но, быть может, еще больше, чем эти сказанные при Форшвиле, исполненные нежности и особого расположения слова, Свана трогали некоторые ее замечания: «Я уверена, что вы так и не ответили вашим друзьям насчет обеда в воскресенье. Можете туда не ходить, это дело ваше, но исполните, по крайней мере, долг вежливости»; или: «Что, если б вы оставили у меня этюд о Вермеере, а завтра еще немножко над ним посидели? Экий лентяй! Я вас приучу работать!» Замечания эти свидетельствовали о том, что Одетта знала, каковы его светские обязанности и что́ он пишет об искусстве, свидетельствовали о том, что они живут одной жизнью. Говоря с ним об этом, она

[198] Примечания: 198
Мой дорогой (*англ.*).

улыбалась, и в глубине ее улыбки Сван читал: «Я вся твоя».

Одетта делала в это время оранжад, и внезапно, как это случается с неправильно установленным рефлектором, сперва отбрасывающим на стену, вокруг предмета, огромные причудливые тени, которые потом идут на убыль и, наконец уходят в предмет, все грозные и тревожные догадки Свана об Одетте улетучивались, исчезали в прелестной фигурке, которую он сейчас видел перед собой. Ему вдруг начинало казаться, что этот час, проведенный у Одетты при свете лампы, пожалуй, не содержит в себе ничего показного, придуманного нарочно для него (чтобы замаскировать то страшное и упоительное, о чем он все время думал, не в силах ясно себе это представить: час настоящей жизни Одетты, жизни Одетты без него), что тут нет бутафории, нет картонных фруктов, что, пожалуй, это подлинный час жизни Одетты; что, если б его здесь не было, она подвинула бы Форшвилю то же самое кресло и налила ему не какого-то неведомого напитка, а того же самого оранжада; что мир, где находилась Одетта, ничего общего не имеет с тем пугающим и сверхъестественным миром, в котором он мысленно все время ее держал и который, быть может, суще-

ствовал только в его воображении; что этот мир реальный, не источающий какой-то особенной грусти, мир, куда входят и этот стол, на котором он волен писать, и этот напиток, которым его сейчас угостят, — все эти вещи, вызывавшие в нем не только любопытство и восхищение, но и чувство признательности, потому что они поглощали его бред, и хотя их это обогащало, зато он избавлялся от бредовых видений, потому что эти вещи становились осязаемыми воплощениями его видений и занимали его ум, потому что они у него на глазах приобретали особую выпуклость и вместе с тем успокаивали его душевную боль. Ах, если б ему было суждено жить вместе с Одеттой, чтобы у нее в доме он был бы у себя дома; чтобы на вопрос о том, что? у них сегодня на завтрак, слуга ответил бы, что? заказала Одетта; чтобы, стоило Одетте изъявить желание погулять в Булонском лесу, он, по долгу примерного мужа, хотя бы ему больше улыбалось остаться дома, пошел с ней и, когда ей станет жарко, понес ее пальто, а чтобы вечером, если ей не захочется наряжаться, если она предпочтет побыть дома, он сидел с ней и исполнял все, что ей заблагорассудится, — какую бы тогда все мелочи жизни Свана, казавшиеся ему раньше такими скучными, только потому,

что теперь они составляли бы часть жизни Одетты, все, вплоть до самых интимных, — какую бы они, наподобие вот этой лампы, вот этого оранжада, вот этого кресла, впитавших в себя столько дум, воплотивших столько желаний, какую бесконечную приобрели бы они сладость и какую таинственную объемность!

И все же Сван сильно сомневался, чтобы все, о чем он мечтал, чтобы тишина и спокойствие создали благоприятную атмосферу для его любви. Если б Одетта перестала быть для него существом вечно отсутствующим, влекущим, вымышленным; если б его чувство к ней уже не было бы тем таинственным волнением, какое вызывала в нем фраза из сонаты, а выродилось в привязанность, в благодарность; если б между ними установились нормальные отношения, которые положили бы конец его безумию и его тоске, то, вне всякого сомнения, повседневная жизнь Одет-ты показалась бы ему малоинтересной, да у него давно уже возникали такие подозрения, в частности — когда он сквозь конверт прочитал ее письмо к Форшвилю. Изучая свою болезнь с такой любознательностью, как если бы он сам ее себе привил на предмет изучения, Сван убеждался, что, если б он выздоровел, Одетта стала бы ему безразлична.

Но пока болезненное состояние длилось, для него, откровенно говоря, поправка была равносильна смерти, и в самом деле: тот, каким он был сейчас, прекратил бы свое существование.

После таких спокойных вечеров подозрения Свана замирали; он благословлял Одетту и на следующий день, спозаранку, посылал ей особенно ценные подарки: вчерашняя ее доброта вызывала у него признательность, или желание вновь ощутить на себе эту доброту, или прилив любви, искавшей выхода.

А в другие дни он снова мучился; ему казалось, что Одетта — любовница Форшвиля и что когда, в Булонском лесу, накануне пикника в Шату, куда его не позвали, он, так и не уговорив Одетту, сидевшую вместе с Форшвилем в ландо Вердюренов, ехать с ним, хотя у него был такой отчаянный вид, что даже кучер это заметил, повернулся и пошел от нее, отвергнутый, одинокий, Одет-та, проговорив: «Как он бесится!» — бросила на Форшвиля такой же блестящий, лукавый, быстрый и неискренний взгляд, какой был у нее в тот вечер, когда Форшвиль выгнал из дома Вердюренов Саньета. В такие дни Сван ненавидел ее. «Да ведь я же набитый дурак, — говорил он себе, — я оплачиваю удовольствия, которые она доставляет

другим. Ей все-таки не мешает быть осторожнее и не перегибать палку, а то она больше ничего от меня не получит. Как бы то ни было, воздержимся на время от дополнительных подношений! Нет, это что ж такое: не далее как вчера, когда она выразила желание поехать на театральный сезон в Байрёйт[199], я имел глупость предложить ей снять для нас двоих в окрестностях один из красивых замков баварского короля. И это ее совсем не так уж обрадовало, она не сказала ни «да», ни «нет». Авось, бог даст, откажется! Она понимает в музыке Вагнера столько же, сколько свинья в апельсинах, и слушать с ней эту музыку в течение двух недель — удовольствие из средних!» Его ненависти, так же как и любви, нужно было вылиться, проявить себя в действии, и он заходил все дальше и дальше в мрачных своих предположениях: за измены, которые он приписывал Одетте, он все сильнее ненавидел ее, и если бы эти предположения оправдались — а он убеждал себя в их справедливости, — то у него появился бы повод наказать ее и утолить свою все растущую злобу. Он уже не знал, что придумать;

[199] Примечания: 199

Байрёйт — город в Баварии, где Людвиг II Баварский (1845–1886) построил театр для представлений опер Вагнера. Первый байрейтский фестиваль проходил в 1876 г.

он ждал письма, в котором она попросит у него денег, чтобы снять замок близ Байрейта, но предупредит, что ему там жить нельзя, потому что она пригласила Форшвиля и Вердюренов. Ах, как ему хотелось, чтобы она дошла до такой наглости! С какой радостью он бы ей отказал, послал бы ей в отместку ответ, каждое выражение которого он тщательно выискивал и произносил вслух, как будто письмо и впрямь было получено!

И так оно на другой же день и случилось. Одетта написала ему, что Вердюрены с их друзьями изъявили желание послушать Вагнера и что если он будет так любезен и пришлет ей денег, то она, их частая гостья, наконец-то будет иметь удовольствие пригласить их к себе. О нем не было сказано ни слова: что ему не могло быть места там, где будут они, — это само собой разумелось.

Итак, ему предоставлялась отрадная возможность послать ей убийственный ответ, каждое слово которого он взвесил накануне, не надеясь когда-либо воспользоваться этой возможностью. Увы! Он знал, что на те деньги, которыми она располагала, или на те, которые ей нетрудно будет достать, она непременно снимет в Байрейте помещение, раз уж ей этого так хочется, даром что она не способна отличить Баха от Клаписо-

на[200]. Но ей все-таки придется урезáть себя. Не пришли он ей на этот раз несколько тысячефранковых билетов, ей не на что будет каждый вечер устраивать в замке изысканные ужины, после которых ей, чего доброго, придет охота — быть может, впервые — упасть в объятия Форшвиля. Нет уж, извините, пусть кто угодно оплачивает эту пакостную поездку, только не Сван! Ах, если бы он мог сделать так, чтобы она не состоялась! Если бы Одетта перед самым отъездом вывихнула себе ногу, если бы кучер, который повезет ее на вокзал, согласился за любое вознаграждение завезти ее в такое место, где бы она некоторое время провела в заточении, — она, изменница с глазами, лучащимися обращенной к Форшвилю улыбкой заговорщицы, а ведь именно такою в течение последних сорока восьми часов рисовалась Одетта Свану!

Но долго она такой никогда не бывала; спустя несколько дней ее сияющие и лукавые глаза теряли свой блеск и свою двусмысленность, образ ненавистной Одетты, говорившей Форшвилю: «Как он бесится!» — бледнел, расплывался. Его постепенно вытеснял и в тихом сиянии выплывал

[200] Примечания: 200

Клаписон, Антонен Луи (1808–1866) — французский композитор, автор оперетт и романсов, коллекционер музыкальных инструментов.

облик другой Одетты, улыбавшейся и Форшвилю, но вся нежность этой улыбки предназначалась Свану, в то время как она говорила: «Только ненадолго, — он не очень-то любит, чтобы у меня сидели гости, когда ему хочется побыть со мной. Вы же не знаете его так, как я!» — и ею она благодарила Свана за проявление чуткости, что она особенно ценила, за совет, какой она в тяжелых для нее обстоятельствах считала возможным попросить только у него.

И тогда он мысленно спрашивал у этой, другой Одет-ты, как мог он написать ей такое оскорбительное письмо, на которое она, конечно, не считала его способным и которое свергнет его с той недосягаемой высоты, на какую она поставила Свана за его доброту и порядочность. Он будет ей уже не так дорог, потому что любила его она именно за эти качества, которых не находила ни у Форшвиля, ни у других мужчин. За эти его качества она и была с ним так часто мила, и хотя, когда его мучила ревность, он это ее отношение к нему в грош не ставил, потому что оно не было знаком желания и выражало скорее привязанность, чем любовь, все же он снова начинал ценить его, по мере того как подозрения рассеивались сами собой, нередко разгоняемые чтением книг по

искусству или дружеской беседой, и его страсть становилась менее требовательной.

Теперь, когда Одетта, после этого сдвига, естественно принимала вновь то положение, из которого ее ненадолго вывела ревность Свана, и он получал возможность рассматривать ее под тем углом зрения, под каким она обретала в его глазах всю свою прелесть, она являлась его мысленному взору полной нежности, покорной и до того красивой, что он невольно протягивал губы, словно она была тут и он мог поцеловать ее; и он был бесконечно ей благодарен за ее чарующий и милый взгляд, точно она и правда так на него смотрела, а не только в его воображении, которое придало ее лицу именно это выражение, чтобы утолить его страсть.

Как он ее, наверно, измучил! Конечно, ему было за что на нее сердиться, но этих причин было бы недостаточно, если б он любил ее не так горячо. Других женщин он люто ненавидел еще вчера, а сегодня с удовольствием оказал бы им услугу и не питал к ним злобных чувств, потому что разлюбил их. Если Одетта когда-нибудь тоже станет ему безразлична, то он поймет, что только из ревности мог находить что-то жестокое, непростительное в ее желании, таком, в сущности,

естественном, в котором было, правда, что-то детское, но которое говорило и о щепетильности: ей нравилось изображать из себя хозяйку дома, а кроме того, хотелось, воспользовавшись случаем, отплатить Вердюренам за их гостеприимство.

Он уже судил Одетту с иной точки зрения — не с точки зрения своей любви и ненависти, он стремился быть беспристрастным, стремился всесторонне рассмотреть поведение Одетты, он думал о ней так, как будто он ее не любит, как будто она значит для него не больше, чем все остальные женщины, как будто Одетта не ведет в его отсутствие совсем другой жизни и тайком не плетет нитей заговора, направленного против него.

Зачем непременно воображать, что она будет там предаваться с Форшвилем или с кем-нибудь еще упоительным наслаждениям, каких она не испытывала с ним и которые от начала до конца выдумала его ревность? Если бы Форшвиль стал думать о Сване где угодно: в Байрейте или в Париже, он думал бы о нем так же, как Сван думал о Форшвиле, то есть пришел бы к заключению, что Сван занимает большое место в жизни Одетты и что, когда они встретятся у нее, ему придется уйти. Если Форшвиль и Одетта победят и все-таки

туда поедут, то повинны будут в этом его, Свана, попытки им помешать — попытки, пусть даже безуспешные, — а вот если он одобрит ее затею, в которой, кстати сказать, есть и своя разумная сторона, то у нее сложится впечатление, что она поехала по его совету, у нее будет такое чувство, что это он ее туда послал и устроил, и за удовольствие принять у себя людей, которые столько раз принимали ее, она будет признательна Свану.

И если — вместо того чтобы рассориться с Одеттой и даже не повидаться с ней перед ее отъездом — он пошлет ей денег, поощрит в ней это желание, и если благодаря его стараниям путешествие окажется для нее приятным, то она прибежит к нему счастливая, благодарная, и опять он ей обрадуется, а между тем этой радости видеть ее он был лишен почти целую неделю — радости, которую ему ничто не могло заменить. Ведь когда он думал о ней без отвращения, когда он опять улавливал ласку в ее улыбке, когда ревность не примешивала к его любви желание вырвать ее из объятий другого, его любовь вновь превращалась прежде всего в блаженство тех ощущений, какие в нем вызывала Одетта, в блаженство любоваться ею как зрелищем, изучать, как особое явление, рассвет ее взоров, возникновение ее улыбки, звук

ее голоса. И вот из этого ни с чем не сравнимого наслаждения у Свана в конце концов выросла потребность в Одетте, которую только она способна была удовлетворить своим присутствием или своими письмами, потребность, почти такая же бескорыстная, почти такая же эстетическая, такая же неестественная, как и другая потребность, характерная для этого нового периода в жизни Свана, когда бесплодность, вялость минувших лет уступила место крайней напряженности духовной жизни, причем нежданное это обогащение его внутреннего мира было так же ему непонятно, как непонятно человеку слабого здоровья, отчего это он вдруг крепнет, полнеет, на время создавая впечатление у окружающих, что он на пути к полному выздоровлению: потребность, которая тоже развивалась у Свана вне всякой зависимости от внешнего мира, — потребность слушать и понимать музыку.

Так, в силу химизма своего заболевания, выработав из любви ревность, Сван опять принялся выделывать нежность, выделывать жалость к Одетте. Она вновь превращалась в милую, прелестную Одетту. Его мучила совесть за то, что он бывал с нею груб. Ему хотелось сделать ей что-нибудь приятное, чтобы потом она пришла к нему

и чтобы он увидел, как благодарность высекает ее лицо и вылепливает ее улыбку.

А она, уверенная, что спустя несколько дней Сван, такой же нежный и покорный, придет к ней мириться, привыкла к этому и уже не боялась ему разонравиться, не боялась даже злить его, и, когда ей было почему-нибудь неудобно дарить его ласками, которыми он особенно дорожил, она ему в этом отказывала.

Может быть, она не отдавала себе отчета, насколько искренен бывал он во время ссор, когда заявлял, что не пришлет ей денег, и старался сделать ей больно. Может быть, она не отдавала себе отчета и в том, насколько искренен бывал он, во всяком случае, с самим собой, когда, ради прочности их отношений притворяясь, что может обойтись без Одетты, что разрыв его не пугает, некоторое время не появлялся у нее.

Иногда он переставал бывать у Одетты после того, как она несколько дней ничем его не огорчала, а так как он знал, что предстоящие свидания большой радости ему не доставят, скорее наоборот: опечалят его, и это нарушит его покой, то он писал ей, что очень занят и не сможет приехать в условленные дни. А она в письме, которое разошлось с его письмом, как

раз просила его перенести свидание. Он задавал себе вопрос, что́ это значит; его подозрения оживали, его душевная пытка возобновлялась. Он бывал так взволнован, что уже не мог держаться той линии, какую он себе наметил в состоянии относительного спокойствия, — он бежал к ней и требовал ежедневных свиданий. И если даже не она писала первая, если она только отвечала ему, давая свое согласие на краткую разлуку, все равно он уже не мог без нее жить. Дело в том, что, вопреки расчетам Свана, согласие Одетты все в нем переворачивало. Подобно тем, кто обладает чем-либо, Сван, чтобы посмотреть, что́ будет, если он на время это утратит, устранял это из своего сознания, а все прочее оставлял как было. Но изъятие чего-либо — это ведь не просто изъятие, это не просто частичная нехватка, это крушение всего остального, это уже новое состояние, которое нельзя предугадать в прежнем.

А в других случаях, когда Одетта собиралась уехать, все происходило иначе: Сван нарочно из-за какого-нибудь пустяка придирался к Одетте и давал себе слово не писать ей и не искать с ней встреч до ее возвращения, тем самым создавая видимость крупной ссоры, которую Одетта могла принять и за окончательный разрыв, ожидая

от обычной разлуке такой же выгоды, как и от ссоры, а между тем долгота этой разлуки зависела, главным образом, от продолжительности путешествия, — Сван только перестал встречаться с Одеттой чуть-чуть раньше, чем следовало. Он уже рисовал себе Одетту встревоженной, огорченной тем, что он к ней не приходит и не пишет, и этот образ, утишая его ревность, помогал ему отвыкать от свиданий с ней. Конечно, временами, в силу длительности оторвавшей их друг от друга на целых три недели добровольной разлуки, самый краешек его сознания, куда он бывал отброшен своею собственною решимостью, лелеял мысль, что он свидится с Одеттой по ее возвращении, но Сван так терпеливо ее ждал, что невольно задавал себе вопрос, не увеличить ли вдвое срок воздержания, которое так мало брало у него душевных сил. Оно продолжалось пока всего лишь три дня, — он часто не виделся с Одеттой гораздо дольше и не уговаривался точно о встрече. Но вот, под влиянием легкого раздражения или нездоровья, он начинал рассматривать этот случай как исключительный, который нельзя подвести ни под какие правила, случай, когда само благоразумие позволяет доставить себе радость, потому что она приносит успокоение

и дает отдых воле до тех пор, когда появится необходимость в полезном ее применении, и это раздражение или нездоровье приостанавливали действие воли: воля переставала сдерживать его; а иногда он цеплялся за сущие мелочи: то он забыл спросить Одетту, в какой цвет решила она выкрасить свой экипаж, то забыл спросить, как она намерена распорядиться своими деньгами — купить обыкновенные акции или же привилегированные (разумеется, очень приятно показать ей, что он может без нее обойтись, но хорош он будет, если экипаж придется перекрашивать или если акции не принесут дивиденда), — и вот уже, точно растянутая резинка, которую вдруг отпускают, или точно воздух, когда открывают насос, мысль о встрече с Одеттой из тайников, где она была заперта, выскакивала на поле сегодняшнего дня и насущных надобностей.

Она возвращалась, не встречая сопротивления, возвращалась неотвратимо, так что Свану куда легче было ждать две недели до приезда Одетты, чем потерпеть десять минут, пока его кучер запряжет лошадей, которые отвезут его к Одетте, и за это время нетерпение беспрестанно сменялось радостью излить на нее свою нежность, радостью, какую ему доставляла мысль снова увидеться с

Одеттой, вернувшаяся неожиданно, как раз когда он думал, что она далеко-далеко, и вновь оказавшаяся совсем близко, на самой поверхности его сознания. Дело в том, что эта мысль уже не наталкивалась на преграды: у Свана пропадала охота ей сопротивляться, как только он убеждал себя — и ему казалось, что убедил, — будто ему ничего не стоит оказать ей сопротивление: раз у него теперь не вызывает сомнений, что при желании он в любой момент расстанется с Одеттой, то ему нисколько не стыдно отложить опыт разлуки. Помимо всего прочего, мысль о том, чтобы вновь увидеть Одетту, возвращалась к нему в уборе новизны, искушения, отравленная ядами, наделенная всем, что притупила привычка и что оживило лишение, но не трехдневное, а двухнедельное (продолжительность отказа себе в чем-либо должна измеряться заранее установленным сроком), и потому то, что до сих пор было для него ожи-данным наслаждением, которым нетрудно пожертвовать, превращалось в нечаянное счастье, с которым нет сил бороться. Наконец мысль эта возвращалась, приукрашенная незнанием того, что́ Одетта подумает, даже как она поступит, не получая от Свана вестей: так все, что он там, у нее, найдет, представлялось ему

волнующим открытием какой-то почти неведомой ему Одетты.

Но Одетта, не верившая, что он в самом деле не даст ей денег, усматривала в его просьбе оставить ему распоряжения относительно окраски экипажа или покупки бумаг только предлог, и ничего больше. Ведь Одетта не давала себе труда последовательно воссоздать в своем воображении случившийся с ним приступ, — составляя себе представление о нем, она не задавалась целью постичь, из чего он слагается: она верила только в то, что ей было известно заранее, в его раз навсегда предуказанный, неизбежный и всегда один и тот же конец. Представление у Одетты складывалось неполное, — и, может быть, именно потому особенно глубокое, — если судить о нем с точки зрения Свана, который, конечно, решил бы, что Одет-та не понимает его: так морфинист или чахоточный, уверенные, что одному из них какая-нибудь чисто внешняя причина помешала избавиться от укоренившейся в нем привычки — помешала именно в тот момент, когда он эту привычку перебарывал, а другому повредило случайное заболевание, как раз когда дело наконец-то пошло на поправку, полагают, что врач не разобрался в их случаях, что он напрасно не при-

дал такого же значения, как они, этим мнимым совпадениям, а врач смотрит на эти совпадения просто как на личины, которые надели порок одного и болезнь другого, чтобы те снова почувствовали себя больными: ведь на самом-то деле, пока один тешил себя мечтою о том, что взял себя в руки, а другой — о том, что выздоровел, порок и болезнь не переставали тяготеть над ними. Действительно, любовь Свана дошла до такого состояния, когда врач или, при некоторых заболеваниях, самый смелый хирург задают себе вопрос, разумно ли избавлять одного больного от его порока и возможно ли излечить другого.

Понятно, у Свана не было ясного представления, как велико его чувство. Когда он пытался измерить его, то иной раз ему казалось, что его чувство ослабело, почти сошло на нет; так, например, бывали дни, когда выразительные черты Одетты и поблекший цвет ее лица не прельщали, даже почти отвращали его, как в ту пору, когда он ее еще не любил. «Кое-чего я уже добился, — говорил он себе на другой день. — Вчера, признаться, я почти не испытывал удовольствия, лежа с ней в постели. Странно: мне она казалась даже некрасивой». И понятно, он не лукавил, но его любовь вышла далеко за пределы вожделения.

Одетта уже не занимала в этой любви большого места. Когда она смотрела на Свана с карточки, стоявшей у него на столе, или когда она сама приходила к нему, он не без труда связывал ее лицо, живое или запечатленное на бристольской бумаге, с жившей в нем неутихающей, мучительной тревогой. Он говорил себе почти с изумлением: «Так это она?» — словно человеку показали то, что у него болело и что, пока ему это не удалили, он представлял себе совершенно иначе. «Она?» — спрашивал себя Сван, силясь понять, что же это такое, ибо мы только и слышим, что тайна личности больше похожа на любовь и на смерть, чем на наше смутное представление о болезнях, и из боязни, как бы разгадка тайны от нас не ускользнула, мы доискиваемся ее с особой настойчивостью. А между тем болезнь Свана — ведь его любовь была именно болезнью — так распространилась, так сплелась со всеми его привычками, поступками, мыслями, с его здоровьем, с его сном, с его жизнью, даже с его желаниями, переходившими за черту, когда его уже не будет, так срослась с ним, что удалить ее — это было равносильно тому, чтобы разрушить почти всего Свана: как выражаются хирурги, его любовь была уже неоперабельна.

Любовь отвлекла Свана от всех его интересов настолько, что когда он теперь случайно появлялся в свете, — убеждая себя, что его связи, подобно изящной оправе, которую Одетта, впрочем, не умела ценить, могут до известной степени повысить в ее глазах его самого (и, пожалуй, он был бы прав, если б его любовь не обесценивала этих связей, ибо, в представлении Одетты, она умаляла все, к чему бы он ни прикоснулся, — его любовь как бы заявляла, что все это не может идти с ней ни в какое сравнение), — он не только тосковал, оттого что находится там, где Одетта не бывает, среди людей, ей незнакомых, нет, он испытывал столь же бескорыстное наслаждение, какое доставил бы ему роман или картина, на которых изображены развлечения нетрудового класса, так же как у себя он наслаждался бы упорядоченностью своего домашнего обихода, элегантностью своей одежды и одежды слуг, выгодностью помещения своих ценностей, чтением Сен-Симона, одного из любимых своих авторов, тем, как Сен-Симон описывает распорядок дня и меню г-жи де Ментенон[201], потрясающую ску-

[201] Примечания: 201

Ментенон, Франсуаза де (1635–1719) — фаворитка французского короля Людовика XIV, после смерти королевы была с ним тайно обвенчана (1685).

пость Люлли[202] и его широкий образ жизни. То был не полный отрыв от Одетты, и Сван отчасти был этому обязан до сих пор не испытанным блаженством на время укрыться в тех немногих уголках своего «я», куда почти не проникала его любовь, его печаль. Вот почему личность, какою его наградила моя двоюродная бабушка — «сын Свана» — и которая отличалась от его личности, наделенной более ярко выраженными индивидуальными чертами — «Шарль Сван» — была ему теперь особенно отрадна. Как-то, по случаю дня рождения принцессы Пармской (а еще потому, что принцесса косвенным образом могла быть во многих случаях полезной Одетте, так как через нее можно было доставать билеты на торжества и юбилеи), Сван решил послать ей фруктов, но он не очень хорошо себе представлял, как это делается, и поручил это своей двоюродной тетке со стороны матери, — та была рада оказать ему услугу и написала, что купила фруктов в разных местах: виноград взяла у Крапота, магазин которого славился именно виноградом, землянику у Жоре, груши у Шеве, у которого можно было

[202] Примечания: 202

Люлли, Жан-Батист (1633–1687) — итальянский композитор, большую часть творческой жизни провел во Франции, где стал капельмейстером придворного оркестра и главой французской оперы.

найти лучшие сорта, и т. д.: «Я осмотрела и проверила каждую ягодку». В самом деле: по тому, как благодарила Свана принцесса, он мог составить себе представление об аромате земляники и о сочности груш. А слова: «Я осмотрела и проверила каждую ягодку» — явились успокоением для его исстрадавшейся души: они переносили его мысль в ту область, куда он заглядывал редко, хотя она досталась ему по наследству как члену богатой и добропорядочной буржуазной семьи, из поколения в поколение передававшей знание «хороших магазинов» и умение купить, — знание и умение, которыми он мог воспользоваться в любую минуту.

И правда: он так надолго забывал, что он — «сын Свана», что как только снова временно им становился, то получал от этого более острое наслаждение, чем те, какие испытывал постоянно и какими был уже пресыщен; и хотя любезность буржуа, для которых он по-прежнему оставался «сыном Свана», была не такая пылкая, как любезность аристократии (впрочем, более лестная, поскольку у буржуа она неотделима от уважения), тем не менее письмо от «светлости», какие бы торжественные празднества оно ему ни сулило, было ему менее приятно, чем письмо, в

котором его просили быть шафером или просто-напросто гостем на свадьбе в семье кого-нибудь из старинных друзей его родителей — друзей, продолжавших с ним встречаться, как например мой дед, пригласивший его в прошлом году на свадьбу моей матери, или почти с ним не знакомых, однако считавших долгом вежливости пригласить почтенного сына покойного г-на Свана.

Но люди из высшего общества, на правах давней дружбы, тоже в известной мере были связаны с его домом, с укладом его жизни, с его семьей. Окидывая мысленным взором блистательные свои знакомства, он ощущал ту же опору вовне, испытывал то же чувство комфорта, как при осмотре чудесных земель, чудесного серебра, чудесных скатертей и салфеток, доставшихся ему от родителей. И мысль, что если б он внезапно заболел, то первым движением камердинера было бы броситься к герцогу Шартрскому, принцу Рейнскому, герцогу Люксембургскому и барону де Шарлю, так же утешала его, как утешала нашу старую Франсуазу мысль, что, когда она умрет, тело ее обернут в ее собственные простыни из тонкого полотна, на которых она сама вышила метки и которые еще ни разу не были в починке

(а если и чинились, то эта тонкая работа свидетельствовала лишь об искусстве мастерицы), что ее обернут в саван, образ которого, постоянно бывший у нее перед глазами, доставлял ей известное удовлетворение: хотя саван особенной пышностью и не отличался, а все-таки тешил ее тщеславие. Но главное для Свана заключалось не в этом: всеми его поступками и мыслями, имевшими отношение к Одетте, управляло и руководило неосознанное чувство, что хотя, быть может, он не менее дорог ей, но вместе с тем и менее приятен, чем любой, самый скучный из верных Вердюренам, а потому, переносясь мыслью в общество, где все считали, что он — само очарование, в общество, куда его всячески старались заманить, где без него скучали, он вновь начинал верить, что есть более счастливая жизнь, и его уже тянуло к ней, как притягивает больного, которого несколько месяцев продержали в постели и на диете, напечатанное в газете меню официального завтрака или объявление о морском путешествии вокруг Сицилии.

Перед людьми из общества он извинялся за то, что не бывает у них, а перед Одеттой оправдывался в том, что заезжает к ней. В довершение всего он платил за свои приезды к ней (и в конце месяца

задавал себе вопрос: поскольку он злоупотребил ее терпением и слишком часто у нее бывал, то не мало ли будет послать ей четыре тысячи франков?) и для каждого приезда подыскивал предлог: иногда это бывал подарок, иногда — какое-нибудь известие, которого она ожидала, иногда — встреча с де Шарлю, который направлялся к ней и, встретив по дороге Свана, потребовал, чтобы тот его проводил. Если же предлога не было, то он просил де Шарлю немедленно отправиться к Одетте и, начав разговор, вдруг его оборвать, якобы он вспомнил, что ему нужно что-то срочно сообщить Свану, так вот, не будет ли она, мол, так любезна и не пошлет ли за ним; чаще всего Сван ждал напрасно, а вечером де Шарлю сообщал ему, что потерпел неудачу. Итак, мало того что Одетта теперь часто выезжала из Парижа, но и когда она оставалась в городе, они виделись редко, и если в ту пору, когда Одетта любила Свана, он постоянно слышал от нее: «Я всегда свободна» и «Какое мне дело до того, что подумают другие!», то теперь, стоило ему выразить желание повидаться с ней, она ссылалась на приличия или выдумывала, что занята. Когда он заговаривал о том, что ему хочется побывать на увеселении с благотворительной целью, на выставке, на премьере, словом, там,

куда собиралась Одетта, — она отвечала, что он, как видно, добивается, чтобы их связь ни для кого уже не являлась тайной и что поступает он с ней как с уличной девкой. Чтобы их встречи в конце концов не прекратились совсем, Сван, осведомленный о том, что Одетта знает и очень любит моего двоюродного деда Адольфа, с которым он тоже был дружен, решил обратиться к нему с просьбой повлиять на Одетту и однажды пришел в его квартирку на улице Бельшас. Так как Одетта всегда говорила со Сваном о моем деде высоким слогом: «О, это совсем не то, что ты! В нашей дружбе есть для меня что-то необыкновенно прекрасное, возвышенное, упоительное. Вот он относится ко мне с уважением — он не станет показываться со мной в публичных местах», — то Сван был растерян и не знал, как приступить. Начал он с априорного утверждения совершенства Одетты, с аксиомы о ее серафической надмирности, с обнаружения ее недоказуемых добродетелей, понятие о которых не может быть выведено из опыта. «Я хочу с вами поговорить. Кто-кто, а вы-то знаете, что среди женщин нет равной Одетте, что это дивное существо, что это ангел. Но вы знаете и другое — вы знаете, что такое парижская жизнь. Всем прочим Одетта

представляется не в том свете, как нам с вами. И вот находятся люди, которые утверждают, что я играю довольно смешную роль, — из-за этого она не хочет со мной встречаться на улице, в театре. Она так прислушивается к вашим мнениям — не могли ли бы вы замолвить за меня словечко, убедить ее, что она преувеличивает неприятности, которые могут ей грозить оттого, что я поклонюсь ей на улице?»

Дед посоветовал Свану некоторое время не встречаться с Одеттой — так она, мол, еще сильнее к нему привяжется, — а Одетте посоветовал разрешить Свану видеться с нею где угодно. Несколько дней спустя Одетта рассказала Свану о постигшем ее разочаровании: мой дед такой же, как все, — он только что пытался овладеть ею. Сван хотел было тут же вызвать моего деда на дуэль — Одетта его отговорила, но при встрече с дедом Сван все-таки не подал ему руки. Сван очень жалел, что поссорился с моим дедом Адольфом: он надеялся поговорить с ним по душам и выяснить, как вела себя Одетта в Ницце, о чем до Свана дошли темные слухи. Мой дед Адольф имел обыкновение зимой жить в Ницце. И у Свана мелькала мысль, не там ли он познакомился с Одеттой. Один человек в присутствии Свана

намекнул, что некто был, по всей вероятности, ее любовником, и это потрясло Свана. Но когда он узнавал что-нибудь такое, что, по его понятиям, ужаснуло бы его до того, как он про это узнал, и чему он отказывался бы тогда верить, — в то же мгновение оно сливалось с его тоской, и он это принимал, он уже не постигал, как могло этого не быть. И каждая такая подробность прибавляла к портрету его любовницы, который он нарисовал себе, новую неизгладимую черту. В голове у Свана уже как будто укладывалось, что Одетта прославилась легкостью своего поведения, в чем он сам никогда бы ее не заподозрил, и что в Бадене и в Ницце, где она прежде жила по нескольку месяцев, она приобрела сомнительную популярность. Он попытался снова сблизиться кое с кем из прожигателей жизни и расспросить их, но они были осведомлены о его знакомстве с Одеттой, да он и сам боялся напомнить им о ней, навести их на ее след. До сих пор он считал, что нет ничего скучнее, чем космополитический дух Бадена и Ниццы, но теперь, допытавшись, что Одетта когда-то, быть может, вела рассеянную жизнь в этих веселых городах, и вместе с тем убедившись, что он так никогда и не узнает, что́ ее на это толкнуло: безденежье, которое благодаря Свану

больше ее уже не тяготит, или блажь, которая всегда может вернуться, он в бессильной, слепой, доводящей до головокружения тоске наклонялся над бездной, поглотившей первые годы Септената[203], когда было принято проводить зиму на Английском бульваре, а лето — под сенью баденских лип, — годы, в которых для Свана открывалась хотя и томящая, но лучезарная глубина, увиденная взором поэта. И Сван вложил бы в воссоздание мелких событий, происходивших на тогдашнем Лазурном побережье, если б только это помогло ему что-то постичь в улыбке или во взгляде Одетты, — таком, однако, открытом и простодушном, — больше пыла, чем поклонник прекрасного, который изучает документы, относящиеся к Флоренции XV века, чтобы как можно глубже проникнуть в душу Боттичеллиевой «Весны», «Прекрасной Ванны» или «Венеры»[204], Сван погружался в молчаливое ее созерцание, в мечтание — и слышал ее восклицание: «Какой печальный у тебя вид!» Не так давно от убеждения, что она хороший человек, что таких, как

[203] Примечания: 203

Септенат — семилетие (1873–1879) президентства генерала Мак-Магона, добившегося от Национального Собрания широких полномочий.

[204] Примечания: 204

«Весна», «Прекрасная Ванна», «Венера» — картины Боттичелли.

она, наперечет, он перешел к убеждению, что она — содержанка, но иногда шел обратным путем: от Одетты де Кре-си, быть может, находившейся в чересчур близких отношениях с кутилами, с бабниками, он возвращался мыслью к ее лицу с таким иногда мягким выражением, к ее человеколюбивой душе. Он говорил себе: «Ну и что ж, что вся Ницца знала, какова Одетта де Креси? Такие репутации, даже если для них есть какие-нибудь данные, создаются на основании чужих мнений». Он полагал, что эта легенда — пусть даже правдивая — не затрагивает сущности Одетты; что этот неистребимый и вредоносный дух от нее не исходит; что у этой женщины — хоть ее, может быть, и сводили с пути истинного — добрые глаза, отзывчивая душа и покорное тело, которое он держал в своих объятиях, которое он прижимал к себе, которое он ласкал; что когда-нибудь, если только он сумеет стать ей необходимым, вся ее жизнь будет принадлежать ему. У нее часто был усталый вид, с лица на время сходило выражение лихорадочной и радостной озабоченности чем-то неизвестным Свану и причинявшим ему боль; она поправляла волосы; ее лоб, все ее черты словно крупнели; и вот тут вдруг ее глаза золотисто лучились какою-нибудь

простою человеческою мыслью, каким-нибудь добрым чувством, появляющимся у всех людей, когда они, наедине с самими собой, находятся в состоянии покоя или самоуглубленности. И тогда все лицо ее озарялось: так в пасмурный день облака на закате неожиданно расходятся и все вокруг преображается. В такие минуты Сван готов был связать свою жизнь с Одеттой, связать свое будущее с ее будущим, в которое она сейчас, казалось, задумчиво вглядывалась; греховное возбуждение, по-видимому, не оставляло мути в ее жизни. Как бы ни были редки теперь эти мгновения, все же они свое дело делали. С помощью памяти Сван связывал эти обрывки, восстанавливал пробелы и отливал как бы из золота Одетту добрую и утихомирившуюся, ради которой он потом (что будет видно из следующей части этого произведения) пойдет на жертвы, каких другая Одетта от него бы не добилась. Но как мало было этих мгновений и как редко он теперь виделся с ней! Даже вечерние свидания она назначала ему в последнюю минуту: рассчитывая на то, что Сван всегда свободен, она ждала, не придет ли к ней кто-нибудь еще. Ссылалась Одетта на то, что ей должны дать ответ по очень важному делу, и, если даже она разрешала Свану

прийти, а друзья, уже вечером, звали ее в театр или поужинать, она подпрыгивала от радости и второпях начинала переодеваться. Каждое движение Одетты приближало Свана к моменту расставания — к моменту, когда она в неудержимом порыве покинет его; наконец, совершенно готовая, в последний раз погружала она в зеркало блестящий от напряжения и от пристальности взгляд, подмазывала губы, выпускала на лоб прядь, просила подать ей небесно-голубого цвета манто с золотыми кисточками, и Свану становилось так грустно, что у Одетты вырывалось нетерпеливое движение, и она говорила: «Так-то ты благодаришь меня за разрешение побыть со мной до последней минуты! Я думала, что доставлю тебе этим удовольствие. В другой раз буду знать!» Иногда, рискуя навлечь на себя ее гнев, он старался вызнать, кто был ее спутником, и намеревался вступить в сговор с Форшвилем, который, наверное, мог бы дать ему интересующие его сведения. Впрочем, если Сван не знал, с кем была Одетта, то почти каждый раз отыскивал среди своих знакомых кого-нибудь, кто хотя бы слышал о человеке, с которым провела вечер Одетта, и мог пролить свет. И когда Сван писал кому-нибудь из друзей и просил выяснить то или

иное обстоятельство, он успокаивался, оттого что переставал тщетно задавать себе вопросы и перекладывал выведывание на другого. Добытые сведения не приносили Свану большой пользы: знать — не всегда значит помешать. Но мы держим полученные сведения если не в руках, то, во всяком случае, в уме, там мы их располагаем по своему усмотрению, и это создает иллюзию, будто нам дана над ними некая власть. Если Одетта проводила время с де Шарлю, у Свана душа бывала на месте. Он знал, что между нею и де Шарлю ничего произойти не может, что де Шарлю выезжал куда-нибудь с ней только из дружеских чувств к Свану и что он ничего не станет скрывать от него. Иной раз Одетта в категорической форме объявляла Свану, что в такой-то вечер их свидание не состоится; по-видимому, она придавала какое-то особенное значение этому своему выезду, и тогда Сван добивался, чтобы де Шарлю был свободен и мог поехать с ней. На другой день, не решаясь забрасывать де Шарлю вопросами, он делал вид, что не совсем понял первые его ответы, и, выудив у него таким образом подробность за подробностью и очень скоро выяснив, что Одетта потратила вечер на самые невинные развлечения, совершенно успокаивался. «Но

все-таки, мой драгоценный Меме, я не понимаю… ведь вы же не прямо от нее направились в музей Гревена[205]? До этого вы еще куда-нибудь зашли? Нет? Чудно! Право, мой драгоценный Меме, это презабавно. Но что за странная мысль пойти потом в Ша-Нуар[206]? Это, конечно, ее мысль… Не ее? Ваша? Любопытно! В конце концов, это не такая уж плохая мысль, — у нее там, наверно, знакомых тьма? Нет? Она ни с кем не разговаривала? Поразительно! Значит, вы провели там весь вечер вдвоем? Я так вас обоих и вижу. Вы очень милы, мой драгоценный Меме, я вас очень люблю». Сван испытывал облегчение. Он не раз слышал от далеких ему людей, слова которых он поначалу в одно ухо впускал, в другое выпускал, такие, например, фразы: «Вчера я видел госпожу де Креси — она была с каким-то незнакомым господином», и фразы эти, мгновенно проникнув в самое сердце Свана, оплотневали, отвердевали, как инкрустации, давили на него, не двигались с места, и до чего же зато приятно было слышать

[205] Примечания: 205

Музей Гревена — галерея восковых фигур, открытая в Париже в 1882 г. французским художником Альфредом Гревеном (1827–1892).

[206] Примечания: 206

«Ша-Нуар» («Черная Кошка») — парижское кабаре, основанное в 1881 г. Родольфом Салисом. Излюбленное место встречи художников, которое также пользовалось успехом у аристократов и кокоток.

вот эти слова: «Никого из ее знакомых там не было, она ни с кем не разговаривала», — как свободно они перемещались в нем, какие они были текучие, легкоусваиваемые, вдыхаемые! И все-таки он тут же говорил себе: значит, Одетте с ним так скучно, что она предпочла его обществу эти развлечения. И хотя их заурядность успокаивала Свана, все-таки они терзали его, как измена.

Даже когда Сван не мог дознаться, куда уезжала Одет-та, его тоска, единственным лекарством от которой была радость побыть с Одеттой (лекарством, в конце концов ухудшавшим его состояние, оттого что он слишком часто к нему прибегал, но, по крайней мере, на время успокаивавшим боль), — его тоска прошла бы, если б Одетта позволила ему остаться у нее, дождаться ее умиротворяющего возвращения, в котором потонули бы часы, злою, колдовскою силою превращавшиеся для него в непохожие ни на какие другие. Но такого разрешения он от нее не получал; он ехал к себе домой; дорогой он заставлял себя строить планы, переставал думать об Одетте; пока он раздевался, ему даже удавалось настроить себя на более или менее веселый лад; он ложился и тушил свет, предвкушая, что завтра пойдет смотреть какое-нибудь выдающееся про-

изведение искусства; но как только он начинал засыпать и переставал делать над собой усилие, усилие бессознательное — настолько оно стало для него привычным, в то же мгновение по его телу пробегал озноб, а к горлу подступали рыдания. Он даже не старался уяснить себе, отчего он только что рыдал; он вытирал глаза и, смеясь, говорил себе: «Прелестно! Я становлюсь неврастеником!» Потом он снова невольно думал — думал с глубокой душевной усталостью, — что завтра опять надо будет допытываться, что делала Одетта, и пускаться на хитрости, чтобы увидеться с ней. Эта необходимость непрерывной, однообразной, бесплодной деятельности была для него так мучительна, что как-то, когда он обнаружил у себя на животе опухоль, его по-настоящему обрадовала мысль, что, может быть, это смертельно, что больше ему ни о чем не придется заботиться, что отныне болезнь станет распоряжаться им, а он — до теперь уже близкого конца — будет игрушкой в ее руках. И правда: в эту пору его жизни ему часто хотелось умереть, хотя он и не признавался себе в этом, — умереть для того, чтобы избавиться не столько от самой душевной муки, сколько от ее неотвязности.

И все-таки Сван мечтал дожить до того вре-

мени, когда он разлюбит Одетту, когда ей уже незачем будет лгать ему и он наконец узнает, лежала ли она в объятиях Форшвиля, когда он приходил к ней, а ему не отворили. Но потом его несколько дней мучило подозрение, что она любит кого-то другого, и это подозрение отвлекало его от мысли о Форшвиле, вопрос о Форшвиле становился для него почти безразличным: так новые стадии болезни на время заставляют нас забывать о предшествующих. Бывали дни, когда у него не возникало никаких подозрений. Ему казалось, что он выздоровел. Но наутро, просыпаясь, он чувствовал, что у него болит там же, где болело раньше, а ведь еще накануне эта боль как бы растворилась в потоке разнообразных впечатлений. Нет, боль осталась на прежнем месте. Именно острота этой боли разбудила Свана.

Одетта не вносила ни малейшей ясности в эти столь важные для Свана обстоятельства, которые изо дня в день отравляли ему существование (хотя он был уже достаточно опытен и ему бы следовало понять, что в этом-то и состоит радость жизни), а без конца напрягать воображение он был не в силах, его мозг работал впустую; он проводил пальцем по утомленным векам, как бы протирая очки, и переставал о чем бы то ни

было думать. И все же время от времени из этой неизвестности выплывали и вновь являлись его взору какие-то дела Одетты, имевшие непонятную связь с ее обязанностями по отношению к дальней родне или к старым друзьям, а так как эти люди, по словам Одетты, чаще всего и мешали ей встречаться со Сваном, то в его глазах они образовывали постоянную необходимую рамку, в которую была заключена ее жизнь. Время от времени она таким тоном объявляла Свану: «Когда я поеду с подругой в ипподром…», что — если в этот день Свану нездоровилось и он надеялся: «Может быть, Одетта будет так добра и приедет меня навестить» — он, вдруг вспомнив, что в ипподром она собиралась именно сегодня, говорил себе: «Ах нет, нечего и просить ее, как же это я забыл: сегодня она должна быть с подругой в ипподроме. Не следует желать невозможного. Просить о чем-либо неосуществимом — это значит заведомо нарываться на отказ». Выпавшая на долю Одетты обязанность ехать в ипподром — обязанность, с которой Сван мирился, — представлялась ему не просто неустранимой; необходимость исполнения этой обязанности придавала благовидность и законность всему, что имело к ней какое-либо отношение. Когда прохожий кланялся Одетте

и этим вызывал у Свана ревнивое чувство, а она, отвечая на вопросы Свана, устанавливала связь между этим человеком и своими наиболее важными обязанностями, о которых она еще раньше поставила Свана в известность, и говорила, например, так: «Он сидел в ложе моей подруги, с которой я езжу в ипподром», то такое объяснение рассеивало подозрения Свана: ему казалось вполне естественным, что подруга Одетты приглашает в ложу не только ее, но и своих приятелей, — он не пытался представить их себе, а может быть, это ему просто не удавалось. Ах, как хотелось Свану познакомиться с подругой Одетты, посещавшей ипподром, как хотелось ему, чтобы она пригласила его туда вместе с Одеттой! С какою радостью променял бы он всех своих знакомых на одного человека, постоянно видевшего Одетту, — ну хотя бы на маникюршу или на продавщицу из магазина! Он готов был пойти ради них на бóльшие затраты, чем ради королев. Ведь они знали жизнь Одетты и они снабдили бы его тем единственным средством, от которого могла бы утихнуть его боль. С каким наслаждением проводил бы он целые дни у этой мелкоты, с которой Одетта поддерживала отношения то ли по необходимости, то ли по врожденной своей

простецкости! С каким удовольствием поселился бы он навсегда на шестом этаже грязного, но такого влекущего дома, куда Одет-та не брала его с собой и где, если б он там жил с дешевой, уже ушедшей из мастерской портнихой, охотно выдавая себя за ее любовника, Одетта бывала бы у него почти ежедневно! Какую скромную, смиренную, но зато тихую, но зато дышащую покоем и счастьем жизнь согласился бы он вести до бесконечности в одном из таких почти простонародных кварталов!

Бывало и так, что Одетта, встретившись со Сваном, вдруг замечала, что к ней направляется человек, которого Сван не знал, и тогда он улавливал на ее лице ту же самую грусть, какую оно выражало, когда он пришел к ней в то время, как у нее был Форшвиль. Но это случалось редко; в те дни, когда она, несмотря на свою занятость и на боязнь, что́ о ней могут подумать, все-таки приходила к Свану, вся она бывала преисполнена самоуверенности, составлявшей резкий контраст с волнением и застенчивостью и, быть может, означавшей бессознательный реванш за них или естественную реакцию на эти чувства, которые она в первоначальную пору их знакомства испытывала и при нем, и даже вдали от него, в ту пору,

когда одно из ее писем начиналось следующим образом: «Друг мой! У меня дрожит рука, мне трудно писать». (По крайней мере, так ей казалось, и отчасти это у нее было искренне, иначе ей нечего было бы преувеличивать.) Тогда Сван ей нравился. Мы дрожим только над собой или над теми, кого мы любим. Когда наше счастье уже не в их руках, как спокойно, как легко, как смело нам при них дышится! Теперь в разговорах с ним, в письмах к нему Одетта уже не употребляла тех слов, с помощью которых она пыталась создать себе иллюзию, будто он принадлежит ей, не искала поводов прибавлять: «мой», «моя», «мое», когда обращалась к нему: «Вы — моя радость, я свято храню аромат нашей дружбы», — не говорила о будущем, не говорила даже о смерти как о том, что ждет их обоих. Тогда на все, что бы он ей ни сказал, она отвечала с восторгом: «О, вы не такой, как все!»; глядя на его продолговатую, лысеющую голову (люди, наслышанные о его успехе у женщин, имея в виду форму его головы, замечали: «Внешность его не безукоризненна, но, как хотите, он шикарен: эта непринужденность, этот монокль, эта улыбка!»), она, быть может, не столько мечтая стать его любовницей, сколько желая понять, что же он собой представляет,

восклицала: «Как бы мне угадать, что таится в этой голове!» Теперь она говорила с ним или раздраженным, или снисходительным тоном: «Ах, да когда же ты наконец станешь похож на людей!» Глядя на его голову, только слегка постаревшую от забот (теперь все благодаря тому же самому свойству, в силу которого люди, прочитав программу, догадываются о замысле части какой-нибудь симфонии или, познакомившись с родными ребенка, угадывают, на кого он похож, заключали: «Про него не скажешь, что он урод, но, как хотите, он смешон: этот монокль, эта непринужденность, эта улыбка!» — заключали, проводя в пристрастном своем воображении незримую грань между разделяемыми расстоянием в несколько месяцев головой счастливого любовника и головой рогоносца), она восклицала: «Ах, если б переделать эту голову, вложить в нее побольше благоразумия!»

Всегда готовый верить в исполнимость своих желаний — если только Одетта подавала ему хоть какую-нибудь надежду — Сван цеплялся за эти ее слова.

— Тебе стоит только захотеть, — говорил он и старался доказать ей, что успокоить его, руководить им, вдохновлять его — задача благородная,

которой другие женщины с радостью отдали бы все свои силы, хотя, впрочем, справедливость требует заметить, что если б они в самом деле взялись за исполнение столь благородного долга, то он расценил бы это как неделикатное и недопустимое посягательство на его свободу. «Значит, она хоть немножко да любит меня, иначе у нее не возникло бы желания меня переделать, — рассуждал он. — Чтобы переделать, нужно чаще со мной встречаться». Таким образом, в этой укоризне Одетты он видел доказательство ее интереса, быть может — любви к нему; и в самом деле: теперь она так редко баловала его любовью, что он принужден был рассматривать даже запреты, которые она накладывала на что-либо, как проявления любви. Однажды она заявила, что ей не нравится его кучер: он-де, наверно, настраивает Свана против нее, во всяком случае — он, с ее точки зрения, недостаточно исполнителен и недостаточно почтителен к нему. Она чувствовала, что Свану так же хочется услышать от нее: «Не езди с ним ко мне», — как хотелось бы, чтобы она его поцеловала. Она была в хорошем настроении, и она ему это сказала; он был тронут. Вечером, толкуя с де Шарлю, беседа с которым была ему приятна, потому что с ним он мог говорить об

Одетте прямо (теперь, даже когда Сван общался с людьми, не знавшими Одетту, его мимоходом оброненные слова косвенным образом относились к ней), он сказал:

— По-моему, она все же любит меня. Она со мной очень мила, круг моих занятий вызывает у нее неподдельный интерес.

Если Сван ехал к ней, то, подвозя кого-нибудь из приятелей, который говорил ему дорогой: «Э, да ты едешь не с Лорданом?» — с какой грустной радостью он ему отвечал:

— Да нет же, дьявольщина! Когда я еду на улицу Лаперуза, я Лоредана не беру. Одетта не любит его, она считает, что он мне не подходит. Ничего, брат, не поделаешь: чисто женский каприз. Она была бы крайне недовольна. Да, попробовал бы я только взять Реми! Мне бы так влетело!

То новое, что появилось в обращении Одетты со Сваном — безразличие, рассеянность, раздражительность, — разумеется, причиняло ему боль, но то была боль уж не столь ясно сознаваемая; так как Одетта охладевала к нему постепенно, день ото дня, то он мог бы измерить глубину совершившейся перемены, лишь наглядно представив себе различие между нынешней Одеттой и Одеттой, какою она была в начале их знакомства. Эта

перемена была его глубокой, его скрытой раной, болевшей и днем и ночью, и, стоило ему почувствовать, что мысли его подходят к ней слишком близко, он, боясь, как бы они не растравили ее, мгновенно направлял их в другую сторону. Он часто думал об Одетте: «В былое время она любила меня больше», — но не воссоздавал в своем воображении этого времени. У себя в кабинете он избегал смотреть на комод, он обходил его, потому что в одном из ящиков комода была спрятана хризантема, подаренная ему Одеттой в первый вечер, когда он поехал проводить ее, и письма, где она писала: «Ах, зачем вы не забыли у меня и свое сердце! Я бы вам его ни за что не вернула!», или: «Когда бы я вам ни понадобилась, — в любое время дня и ночи, — подайте мне только знак, и я в вашем распоряжении», — вот так и у него в душе было место, к которому он не давал приближаться своему сознанию, не позволял ему проходить рядом, а заставлял избирать окольный путь долгих рассуждений: там жили воспоминания о счастливых днях.

И все же благоразумная его осторожность однажды вечером потерпела крушение в великосветском обществе.

Произошло это у маркизы де Сент-Эверт, на

последнем в том сезоне из музыкальных вечеров, в которых принимали участие артисты, потом выступавшие на устраивавшихся ею благотворительных концертах. Свану хотелось быть и на предыдущих, но он все никак не мог собраться; когда же он переодевался, чтобы ехать на этот вечер, к нему заглянул барон де Шарлю и предложил, если Свану будет с ним легче и веселей, отправиться к маркизе вместе. Сван ему, однако, ответил так:

— Вы бы мне этим доставили огромное удовольствие, можете быть уверены. Но вы доставите мне еще большее удовольствие, если поедете сейчас к Одетте. Вы уже давно убедились в том, как благотворно вы на нее влияете. Помоему, она сегодня вечером должна быть дома, а потом поедет к своей портнихе и, конечно, будет очень довольна, если вы ее проводите. Во всяком случае, сейчас вы ее застанете дома. Постарайтесь развлечь ее и образумить. Если можно, устройте что-нибудь на завтра — такое, что бы ее порадовало и в чем мы все трое могли бы принять участие… Закиньте удочку насчет лета: может быть, у нее есть какие-нибудь планы, может быть, она мечтает — ну, скажем, — о морском путешествии, — тогда мы бы поехали втроем. Сегодня я вряд ли с ней

увижусь; впрочем, если б она выразила желание или если б вы ей намекнули, то вам стоит только послать мне записочку до двенадцати к маркизе де Сент-Эверт, а после двенадцати — ко мне домой. Спасибо вам за все, что вы для меня делаете, вы знаете, как я вас люблю.

Барон, обещав Свану повидать Одетту, проводил его до самого дома Сент-Эверт, и Сван приехал туда, успокоенный мыслью, что де Шарлю проведет вечер на улице Лаперуза, и вместе с тем в состоянии меланхолической безучастности ко всему, что не касалось Одетты, ко всей светской обстановке, — в состоянии, придававшем этой обстановке особую прелесть, которую приобретает для нас всякая вещь, уже не являющаяся предметом наших желаний и выступающая перед нами такою, как есть. Когда Сван вышел из экипажа, его взгляд порадовали на переднем плане — где хозяйки по торжественным дням, когда они особенно тщательно следят за стильностью костюмов и декораций, предлагают вниманию гостей мнимую суть своей домашней жизни — потомки бальзаковских «тигров», грумы, которые, ожидая, когда им прикажут ехать с хозяйками на прогулку, обычно стоят, в цилиндрах и в ботфортах, у подъездов, прямо на мостовой или возле

конюшен, напоминая садовников, расставленных при входе в цветники. Сван не утратил своей особенности искать сходство между живыми людьми и портретами в картинных галереях, но только теперь она проявлялась у него постоянно и приобрела более общий характер; вся светская жизнь, после того как он от нее оторвался, представала перед ним в виде ряда картин. Прежде, когда он был светским человеком, он оставлял в вестибюле пальто и шел дальше во фраке, ничего не замечая вокруг себя, так как мысль его, пока он на несколько минут задерживался в вестибюле, все еще пребывала на празднестве, с которого он только что ушел, или перенеслась уже на другое празднество, на которое он спешил, а сегодня он впервые обратил внимание на потревоженную неожиданным появлением запоздавшего гостя великолепную, разбредшуюся, ничем не занятую свору рослых выездных лакеев, дремавших на скамейках и сундуках, внезапно повернувших свои благородные острые профили, как у борзых собак, вскочивших и обступивших его.

Один из них, на вид особенно свирепый, в котором было что-то от палача на картине эпохи Возрождения, с неумолимым выражением лица направился к Свану и принял от него верхнее

платье. Суровость его стального взгляда уравновешивалась мягкостью его нитяных перчаток; когда же он подошел к Свану, то, глядя на него, можно было подумать, что он преисполнен презрения к самому Свану и почтения к его шляпе. Рассчитанность движений лакея придавала той осторожности, с какою он взял у Свана шляпу, нечто педантичное, и было что-то почти трогательное в той бережности, с какою он держал ее в своих могучих руках. Затем он передал шляпу одному из помощников, робкому новичку, от ужаса метавшему во все стороны злобные взгляды и проявлявшему возбуждение, каким бывает охвачен пойманный зверь в первые часы неволи.

Поодаль о чем-то мечтал здоровенный детина в ливрее, неподвижный, скульптурный, ненужный, напоминавший чисто декоративного воина на одной из самых бурных картин Мантеньи[207], задумчиво опершегося на щит, между тем как тут же, рядом, все сшибаются и рубят друг друга; стоя в стороне от своих товарищей, теснившихся вокруг Свана, лакей, казалось, решил остаться столь же безучастным к этой сцене, на которой

[207] Примечания: 207

Мантенья, Андреа (1431–1506) — итальянский живописец падуанской школы. Украсил фресками церковь Эремитани в Падуе, которую Пруст посетил в 1900 г.

он остановил отсутствующий взгляд своих зеленых жестоких глаз, как если бы он смотрел на избиение младенцев или на усекновение главы апостола Иакова. Казалось, он принадлежал к расе исчезнувшей — а быть может, и вообще не существовавшей нигде, кроме запрестольного образа в Сан Дзено и фресок в Эремитани, где Сван впервые приблизился к ней и где она все еще о чем-то мечтает, — происшедшей от оплодотворения античной статуи каким-нибудь натурщиком падуанского Маэстро или саксонцем Альбрехта Дюрера[208]. Рыжие его локоны, вившиеся от природы, блестевшие от брильянтина, рассыпáлись у него по плечам, как на греческой скульптуре, которую неустанно изучал мантуанский художник, а ведь греческая скульптура хотя и творит всего-навсего человека, но она умеет извлекать из простых человеческих форм многообразные, как бы заимствованные у живой природы богатства, так что чьи-нибудь волосы своею обвивающей гладью, острыми клювами прядей или пышным венцом втрое скрученных кос напоминают и пучок водорослей, и голубиный выводок, и венок

[208] Примечания: 208

Дюрер, Альбрехт (1471–1538) — немецкий живописец и гравер, занимался также скульптурой, архитектурой, написал несколько сочинений об искусстве.

из гиацинтов, и клубок змей.

По ступеням монументальной лестницы, где стояли другие лакеи, такие же громадные, — за их декоративность и мраморную неподвижность ей, как и лестнице во Дворце дожей, можно было присвоить название Лестницы гигантов[209], — Сван поднимался, с грустью думая о том, что Одетта никогда по ней не ступала. Ах, какое это было бы для него счастье — взбираться по темной, зловонной и опасной лестнице на «шестой», к бывшей портнишке, как бы он рад был платить ей дороже, чем за недельный абонемент в литературную ложу Оперы, за право провести у нее вечер с Одеттой, даже пожить у нее несколько дней, чтобы иметь возможность поговорить об Одетте, побыть с людьми, с которыми Одетта виделась, когда его там не было, и которые поэтому, как ему представлялось, проникали в самую подлинную, наименее доступную и наиболее таинственную область жизни его любовницы! Черного хода в этом доме не было, и на смрадной и такой желанной лестнице бывшей портнихи по вечерам перед каждой дверью стоял на циновке

[209] Примечания: 209

Лестница гигантов — лестница Дворца дожей в Венеции получила свое название благодаря двум гигантским статуям Марса и Нептуна работы Сансовино (1554).

пустой и грязный бидон из-под молока, по обеим же сторонам роскошной и презренной лестницы, по которой сейчас поднимался Сван, на разной высоте, перед каждым углублением в стене, будь то окно швейцарской или дверь в покои, швейцар, дворецкий, буфетчик (все люди почтенные, пользовавшиеся в другие дни недели известной независимостью в своих владениях, обедавшие у себя, как мелкие лавочники, хоть завтра готовые перейти на службу в буржуазную семью: к врачу или к промышленнику), в качестве представителей руководимой ими прислуги, встречали гостей, строго следуя наставлениям, полученным перед тем, как им позволили облачиться в пышную ливрею, которую они надевали в редких случаях и в которой им было немножко не по себе, и было в них что-то похожее на высящихся в нишах святых, чье ослепительное сияние умеряется простонародным добродушием, а стоило появиться новому гостю, и высоченный привратник, одетый как в церкви, ударял булавой о каменный пол. Поднявшись на самый верх лестницы, по которой вел Свана слуга, без кровинки в лице, с косицей, подвязанной лентою на

затылке, как у причетника Гойи[210] или у писца в старинной пьесе, Сван прошел мимо конторки — сидевшие за ней лакеи, перед которыми, точно перед нотариусами, лежали конторские книги, встали и записали его фамилию. Затем Сван вошел в маленький вестибюль, напоминавший комнаты, предназначенные хозяином дома для обрамления одного-единственного художественного произведения, по имени которого они называются, нарочно оставленные пустыми, ничем не заполненные, и выставлявший напоказ у самого входа, точно редкостную скульптуру сторожевого работы Бенвенуто Челлини[211], молодого лакея, слегка подавшегося всем туловищем вперед, выпятившего над красным нагрудником свое еще более красное лицо, изливавшего целые потоки усердия, пыла и робости, пронизывавшего

---

[210] Примечания: 210

Гойя, Франциско де (1746–1828) — испанский живописец и гравер, блестящий портретист. Его кисти принадлежит первый портрет Карла IV. «Причетника», о котором пишет Пруст, достаточно трудно идентифицировать по многочисленным работам мастера. Есть предположение, что писатель мог думать о портретах испанских тореодоров кисти Гойи, в частности о портрете Педро Ромеро (Галерея Уффици, Флоренция).

[211] Примечания: 211

Челлини, Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор и ювелир. Был приглашен Франциском I ко двору. Его знаменитая статуя Персея находится в Лоджии Ланци во Флоренции.

обюссонский ковер[212], завешивавший дверь в концертный зал, взволнованным, сторожким, растерянным взглядом, в котором, однако, отражались и спокойствие воина, и безграничная вера, являвшего собой олицетворение тревоги, воплощение ожидания, сигнал к бою, похожего и на дозорного, смотрящего с башни, близко ли неприятель, и на ангела, следящего с колокольни собора, не наступает ли Страшный суд. Наконец камердинер с цепью, поклонившись Свану так, словно он вручал ему ключи от города, распахнул перед ним двери в концертный зал. А Сван думал в это время о доме, где бы он, если б Одетта ему позволила, мог сейчас быть, и при воспоминании о стоявшем на циновке пустом бидоне из-под молока у него больно сжалось сердце.

Как только Сван очутился за обюссонским ковром и перед его взглядом вместо слуг замелькали фигуры гостей, к нему мгновенно вернулось ощущение мужской некрасивости. Но даже эти некрасивые и такие знакомые лица показались Свану новыми: прежде их черты служили приметами, а приметы всегда могли ему пригодиться,

---

[212] Примечания: 212

Обюссонский ковер — ковер производства мануфактуры г. Обюссона, основанной в XVI веке и получившей статус королевской мануфактуры в 1665 г.

чтобы узнать человека, являвшегося для него средоточием удовольствий, которые его манили, неприятностей, которых надо было избегнуть, любезностей, которые необходимо было оказать, а теперь эти лица уже не волновали его: их черты сохраняли свою автономию и возбуждали чисто эстетическое его любопытство. Даже монокли у многих из тех, которые окружали сейчас Свана (в былое время ношение монокля указывало бы Свану только на то, что этот человек носит монокль, и ни на что больше), уже не обозначали для него определенной привычки, у всех одинаковой, — теперь они каждому придавали нечто своеобразное. Быть может, оттого что Сван рассматривал сейчас генерала де Фробервиля и маркиза де Бреоте, разговаривавших у входа, только как фигуры на картине, хотя они в течение долгого времени были его приятелями, людьми, для него полезными, рекомендовавшими его в Джокей-клоб, его секундантами, монокль, торчавший между век генерала, точно осколок снаряда, вонзившийся в его пошлое, покрытое шрамами, самодовольное лицо и превращавший его в одноглазого циклопа, показался Свану отвратительной раной, которой генерал вправе был гордиться, но которую неприлично было пока-

зывать; а к оборотной стороне монокля, который маркиз де Бреоте носил вместо обыкновенных очков только когда выезжал в свет, ради пущей торжественности (так именно поступал и Сван), для каковой цели служили ему еще жемчужно-серого цвета перчатки, шапокляк и белый галстук, приклеен был видневшийся, точно естественно-научный препарат под микроскопом, бесконечно малый его взгляд, приветливо мерцавший и все время улыбавшийся высоте потолков, праздничности сборища, интересной программе и чудным прохладительным напиткам.

— Наконец-то! Вас не было видно целую вечность, — сказал Свану генерал, а потом, заметив, что лицо у него осунулось, и подумав, не удалился ли он от общества из-за тяжелой болезни, добавил: — А выглядите вы хорошо, — между тем как маркиз де Бреоте обратился с вопросом: «Кого я вижу? Вы-то здесь, дорогой мой, чем занимаетесь?» к автору романов из великосветской жизни, на что романист, только что вставивший в глаз монокль — единственное свое орудие психологических исследований и беспощадного анализа, с многозначительным и таинственным видом, раскатисто произнеся *р*, ответил:

— Изучаю нрррравы.

У маркиза де Форестеля монокль был крохотный, без оправы; все время заставляя страдальчески щуриться тот глаз, в который он врастал, как ненужный хрящ, назначение которого непостижимо, а вещество драгоценно, он придавал лицу маркиза выражение нежной грусти и внушал женщинам мысль, что маркиз принадлежит к числу людей, которых любовь может тяжко ранить. А монокль г-на де Сен-Канде, окруженный, точно Сатурн, громадным кольцом, составлял центр тяжести его лица, черты которого располагались в зависимости от монокля: так, например, красный нос с раздувающимися ноздрями и толстые саркастические губы Сен-Канде старались поддерживать своими гримасами беглый огонь остроумия, которым сверкал стеклянный диск всякий раз, как он убеждался, что его предпочитают прекраснейшим в мире глазам молодые порочные снобки, мечтающие при взгляде на него об извращенных ласках и об утонченном разврате; между тем сзади г-на де Сен-Канде медленно двигался в праздничной толпе г-н де Паланси, с большой, как у карпа, головой, с круглыми глазами, и, словно нацеливаясь на жертву, беспрестанно сжимал и разжимал челюсти, — этот как бы носил с собой случайный и, быть

может, чисто символический осколок своего аквариума, часть, по которой узнается целое, часть, напомнившую Свану, большому поклоннику падуанских «Пороков» и «Добродетелей» Джотто, «Несправедливость», рядом с которой густолиственная ветвь вызывает в воображении леса, где прячется ее берлога.

Свану хотелось послушать исполнявшуюся на флейте арию из «Орфея»[213], и по настоянию маркизы де Сент-Эверт он прошел вперед и сел в углу, но, к несчастью, здесь все от него заслоняли две сидевшие рядом зрелого возраста дамы, маркиза де Говожо и виконтесса де Франкто: эти две являвшиеся со своими дочками родственницы, держа в руках сумочки, разыскивали друг друга на вечерах, как на вокзале, и успокаивались, только когда, положив на стулья веер и носовой платок, в конце концов усаживались рядом. Маркиза де Говожо почти не имела знакомств, и она была рада, что у нее нашлась приятельница, а виконтесса де Франкто, напротив, вела светский образ жизни, и ей казалось, что есть что-то

---

[213] Примечания: 213

...арию из «Орфея»... — По-видимому, речь идет о соло для флейты из второго акта «Орфея и Эвридики» (1762) немецкого композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787). Новая постановка оперы в переложении Гектора Берлиоза (1803–1869) шла в Париже с 1859 г.

особенно тонкое и оригинальное в том, чтобы показать своим высокопоставленным знакомым, что она предпочитает им никому не известную даму, с которой ее связывают воспоминания юности. С горькой насмешкой наблюдал Сван за тем, как они слушают интермеццо для рояля («Святой Франциск, проповедующий птицам»[214] Листа), исполнявшееся тотчас после арии на флейте, и следят за ошеломляющей игрой виртуоза: виконтесса де Франкто — взволнованно и испуганно, словно он рисковал свалиться с трапеции высотою в восемьдесят метров, и в тех изумленно-недоверчивых взглядах, которые она время от времени бросала на соседку, можно было прочесть: «Непостижимо! Я себе просто не представляла, что можно так играть»; маркиза де Говожо — с видом женщины, получившей отличное музыкальное образование, отбивая такт головой, превратившейся в маятник метронома, амплитуда и частота колебаний которого от плеча к плечу (притом что ее растерянный и покорный взгляд, какой бывает у человека, который не в силах и даже не пытается превозмочь боль, словно говорил: «Ничего не поделаешь!»)

[214] Примечания: 214

«Святой Франциск, проповедующий птицам» (1863) — пьеса для фортепиано Ференца Листа (1811–1886).

были таковы, что бриллиантовые ее серьги поминутно цеплялись за плечики, а заколка — гроздь черного винограда — сползала, и ее приходилось поправлять, но это не мешало ускорению движения маятника. По другую сторону виконтессы де Франкто, немного впереди нее, сидели маркиза де Галардон, постоянно думавшая о своем родстве с Германтами, которое бесконечно возвышало ее и в глазах света, и в ее собственных глазах, но в котором было для нее и нечто обидное, так как самые блестящие представители этого рода сторонились ее — может быть, потому, что она была женщина скучная, может быть, потому, что она была женщина злобная, может быть, потому, что она принадлежала к младшей ветви рода, а может быть, и без всякой причины. Если около маркизы де Галардон находился кто-нибудь незнакомый, — а с виконтессой де Франкто маркиза была незнакома, — она страдала от того, что мысль о ее родственных отношениях с Германтами не может найти себе явного воплощения хотя бы в виде букв, как на мозаиках в византийских храмах, — букв, написанных столбиками, одна под другой, рядом с изображением святого, и составляющих слова, которые он произносит. Сейчас маркиза думала о том,

что юная ее родственница, принцесса де Лом, замужем уже шесть лет и за это время ни разу не удосужилась побывать у нее и ее к себе ни разу не позвала. Маркиза была этим возмущена, но и горда: кто бы ни выразил удивление, почему она не бывает у принцессы де Лом, она всем отвечала, что боится встретиться у нее с принцессой Матильдой[215] — ее ультралегитимистская семья никогда бы, мол, этого ей не простила, — и с течением времени сама поверила, что не бывает у своей молоденькой родственницы именно поэтому. Впрочем, она вспоминала, что не раз заговаривала с принцессой де Лом о встрече, но воспоминание это было смутное, да и потом она умела тут же обезвреживать и сводить на нет то досадное, что подсказывала ей память, беззвучным бормотанием: «Ведь не мне же делать первый шаг: я на двадцать лет старше ее». Эти про себя произнесенные слова укрепляли маркизу в ее убеждении, и она величественным движением расправляла плечи, отчего грудь у нее поднималась, а занимавшая почти горизон-

---

[215] Примечания: 215

Принцесса Матильда — племянница Наполеона I, Матильда Летиция Бонапарт (1820–1904), держала в Париже салон, который посещали аристократы, художники, писатели (Тэн, Сент-Бёв, Флобер). Пруст посвятил этому салону длинную статью, опубликованную в 1903 г. в «Фигаро».

тальное положение голова приобрела сходство с «приделанной» головой горделивого фазана, которого подают во всем его оперении. В самой внешности этой мужеподобной низкорослой толстухи не было ничего величественного — ее выпрямили обиды: так деревья, растущие в неблагоприятных условиях, на краю пропасти, вынуждены для сохранения равновесия отклоняться назад. Чтобы не страдать от сознания, что она не вполне ровня другим Германтам, маркиза все время уверяла себя, что она редко видится с ними из-за своей принципиальности, из-за своей гордости, и в конце концов эта мысль изменила ее фигуру, придала ей своеобразную осанку, являвшуюся в глазах буржуазок признаком породы и волновавшую мимолетным желанием пресыщенный взгляд иных клубных завсегдатаев. Если бы кто-нибудь подверг речь маркизы де Галардон анализу, который, устанавливая, как часто повторяет человек то или иное слово, помогает подобрать ключ к шифру, то выяснилось бы, что даже наиболее употребительные выражения встречаются у нее реже, чем: «у моих родственников Германтов», «у моей тетки Германт», «здоровье Эльзеара Германтского», «ложа моей двоюродной сестры Германт». Когда с ней

заговаривали о каком-нибудь выдающемся человеке, она отвечала, что она с ним незнакома, но постоянно встречает его у своей тетки Германт, причем говорила она об этом холодном тоном и глухим голосом, не оставлявшим сомнений, что она не считает нужным знакомиться с этим человеком в силу тех неискоренимых и незыблемых убеждений, которые заставляли ее расправлять плечи и которые служили ей снарядом, при помощи коего преподаватели гимнастики развивают вам грудную клетку.

Маркиза де Сент-Эверт не ждала принцессу де Лом, и вдруг принцесса появилась. Желая показать, что в салоне, до которого она снисходила, ей незачем чваниться, принцесса сжималась даже там, где не нужно было протискиваться в толпе, где не требовалось кому бы то ни было уступать дорогу, и она нарочно забилась в уголок, словно это и было ее место: так король становится в очередь у театральной кассы, когда дирекция не предупреждена, что он будет на спектакле; чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что она как-то заявляет о своем присутствии и требует к себе внимания, принцесса сознательно ограничила поле своего зрения: она рассматривала рисунок то на ковре, то на своей юбке, стоя в

углу, который показался ей самым укромным (и оттуда — в чем она нисколько не сомневалась — радостное восклицание маркизы де Сент-Эверт должно было ее извлечь, как только маркиза ее заметит), после маркизы де Говожо, с которой она была незнакома. Принцесса наблюдала за мимикой своей соседки-меломанки, но не подражала ей. Раз уж принцесса де Лом решила заглянуть к маркизе де Сент-Эверт, она старалась быть как можно любезнее и таким образом доставить маркизе двойное удовольствие. Но у нее было врожденное отвращение к «пересаливанью»; всем своим видом она говорила, что не «намерена» бурно проявлять свои чувства, так как это не в «духе» кружка, где она вращалась, но подобные проявления у кого-нибудь другого производили на нее впечатление, потому что даже наиболее самоуверенные люди в новой для них, пусть даже низшей, среде обнаруживают граничащую с застенчивостью неспособность уйти от чьего-либо влияния. Принцесса спрашивала себя: а что, если подобного рода жестикуляцию неизбежно вызывает исполняющееся сейчас музыкальное произведение, не укладывающееся в рамки той музыки, которую ей до сих пор приходилось слышать; а что, если, удерживаясь от жестикуляции,

она тем самым показывает, что не понимает этого произведения; а вдруг это невежливо по отношению к хозяйке дома; в конце концов принцесса пошла на «сделку с самой собой»: чтобы выразить противоречивые чувства, она, то с холодным любопытством наблюдая восторженную свою соседку, просто-напросто поправляла плечики или укрепляла в своих белокурых волосах усыпанные бриллиантами шарики из коралла и розовой эмали, делавшие ее прическу простой и прелестной, то отбивала веером такт, но, чтобы подчеркнуть свою независимость, невпопад. Когда пианист кончил играть Листа и начал прелюд Шопена, маркиза де Говожо взглянула на виконтессу де Франкто с умильной улыбкой, выражавшей удовлетворение знатока и намек на прошлое. Она еще в юности привыкла ласкать фразы Шопена с их бесконечно длинной, изогнутой шеей, такие свободные, такие гибкие, такие осязаемые, тотчас же начинающие искать и нащупывать себе место в стороне, вдалеке от исходного пункта и вдалеке от пункта конечного, к которому они, казалось бы, должны были стремиться, тешащиеся причудливостью этих излучин с тем, чтобы потом еще более непринужденным и более точно рассчитанным движением обратиться вспять

и, подобно неожиданному звону хрусталя, от которого мы невольно вскрикиваем, ударить нас по сердцам.

Маркиза росла в семье провинциалов, живших замкнуто, редко выезжала на балы и в своем усадебном уединении наслаждалась тем, что по временам замедлила, по временам ускоряла танец воображаемых пар, перебирала их, как цветы, затем ненадолго покидала бальную залу, чтобы послушать, как гудит в елях на берегу озера, ветер, и тогда к ней неожиданно приближался стройный юноша в белых перчатках, говоривший певучим, странно и фальшиво звучавшим голосом и совсем непохожий на земных возлюбленных, какими она их себе рисовала. Сейчас старомодная красота этой музыки представала перед ней как бы освеженной. Знатоки перестали преклоняться перед этой музыкой, за последние годы она утратила и почет, и власть над сердцами, даже людям с неразвитым вкусом она доставляла удовольствие небольшое, да и они не решались в этом сознаться. Маркиза украдкой оглянулась. Ей было известно, что молоденькая ее невестка (очень считавшаяся с мнениями членов своей новой семьи, но сознававшая свое превосходство в области умственных интересов:

она разбиралась во всем вплоть до гармонии и владела даже греческим языком) презирала Шопена, она его просто не выносила. Но эта вагнерианка сидела довольно далеко, со своими сверстницами, маркизу ей было не видно, и та могла наслаждаться беспрепятственно. Принцесса де Лом тоже упивалась. От природы она была немузыкальна, но пятнадцать лет назад она брала уроки музыки у преподавательницы из Сен-Жерменского предместья, женщины одаренной, на склоне лет впавшей в нищету и семидесяти лет опять начавшей давать уроки дочерям и внучкам бывших своих учениц. Ее уже не было в живых. Однако ее манера, чудесное ее туше иной раз оживали под пальцами ее учениц, даже тех, что во всем остальном представляли собой законченную посредственность, тех, что забросили музыку и почти никогда не подходили к роялю. Так вот, принцесса де Лом покачивала головой с полным знанием дела, верно судя о том, как пианист играет этот прелюд, который она знала наизусть. Конец фразы сам собой зазвучал у нее на устах. «Ддивно!» — прошептала она, удвоив звук *д*, что являлось признаком утонченности, и вызвав этим поэтическое ощущение, как будто по ее губам провели прелестным цветком,

а как только у нее это ощущение появилось, она невольно придала соответствующее выражение глазам — выражение смутной печали. Между тем маркиза де Галардон думала о том, как досадно, что она почти не встречается с принцессой де Лом, — она давно предвкушала удовольствие проучить ее и не ответить ей на поклон. Она не знала, что ее родственница здесь. Но виконтесса де Франкто так повернула голову, что маркизе стало видно принцессу. Расталкивая всех, маркиза устремилась к ней; однако, решив хранить надменный и холодный вид, долженствовавший всем напоминать о том, что она не желает поддерживать отношения с женщиной, у которой всегда можно налететь на принцессу Матильду и к которой она не обязана идти на поклон, потому что она ей «в матери годится», маркиза все же сочла нужным смягчить свою сдержанность и высокомерие обращением, которое оправдывало бы ее поведение и которое помогло бы ей завязать разговор; итак, подойдя к своей родственнице, маркиза де Галардон со строгим видом, будто бы пересиливая себя, протянула ей руку и спросила: «Как себя чувствует твой муж?» — таким встревоженным тоном, словно принц был опасно болен. Принцесса, засмеявшись своим особен-

ным смехом, который должен был, во-первых, показывать окружающим, что она над кем-то подтрунивает, а во-вторых, придавать ей еще больше прелести, потому что загоревшийся ее взгляд и смеющийся рот оживляли в ее лице каждую черточку, ответила:

— Превосходно!

И опять засмеялась. Тогда маркиза де Галардон, выпрямившись и изобразив на своем лице еще большую мрачность, как будто самочувствие принца продолжало ее тревожить, сказала своей родственнице:

— Ориана! (Тут принцесса де Лом удивленно и насмешливо взглянула на невидимое третье лицо, которое она как бы призывала в свидетели, что никогда не давало маркизе де Галардон права называть ее по имени.) Я была бы очень рада, если б ты завтра вечером заглянула ко мне послушать моцартовский квинтет с кларнетом. Любопытно, какое это на тебя произведет впечатление.

Казалось, будто она не столько приглашает, сколько просит оказать ей почтение, и будто бы выслушать суждение принцессы о квинтете Моцарта ей так же важно, как, угостив гурмана блюдом, приготовленным новой кухаркой, узнать его мнение о ее талантах.

— Да я же знаю этот квинтет и могу тебе сразу сказать… что я его люблю!

— Ты знаешь, мой муж неважно себя чувствует, у него печень… Он был бы счастлив тебя видеть, — настаивала маркиза де Галардон, пытаясь теперь внушить принцессе, что прийти к ней на вечер — значит сделать доброе дело.

Принцесса не любила говорить людям, что не хочет у них бывать. Каждый день она выражала в письмах сожаление, что из-за неожиданного приезда свекрови, из-за того, что ее просил приехать зять, что ей пришлось поехать в оперу, за город, она была лишена удовольствия провести там-то и там-то вечер, а между тем она туда и не собиралась. Так она многим предоставляла возможность ласкать себя мыслью, что она с ними в наилучших отношениях и что она непременно побывала бы у них, когда бы не скучные обязанности принцессы, а такого рода помехи льстили самолюбию ее знакомых. Помимо всего прочего, она принадлежала к славившемуся своим остроумием кружку Германтов, где еще не совсем утрачена была та свободная от общих мест и выдуманных чувств живость ума, которая

идет от Мериме[216] и последнее время нашла себе выражение в театре Мейлака и Галеви[217], и эту живость она вносила в свои общественные отношения, пропитывала ею даже изъявления учтивости; в самой своей светскости она старалась быть положительной, точной, близкой к неприкрашенной правде. Она никогда долго не распространялась в разговоре с хозяйкой дома о том, как ей хочется побывать на ее вечере; она полагала, что проявит больше учтивости, если укажет на разные мелочи жизни, от которых будет зависеть, сможет она приехать на вечер или не сможет.

— Понимаешь, в чем дело, — ответила она маркизе де Галардон, — завтра я во что бы то ни стало должна быть у своей подруги — она давно меня к себе зовет. Если она потом пригласит нас в театр, то мне при всем желании не удастся заехать к тебе. Но вот если мы останемся у нее — а кроме нас, насколько мне известно, там никого

---

[216] Примечания: 216

Мериме, Проспер (1803–1870) — французский писатель, автор исторических романов и новелл, во времена Второй Империи был очень близок ко двору.

[217] Примечания: 217

Мейлак, Анри (1831–1897); *Галеви*, Людовик (1834–1908) — французские драматурги, авторы многочисленных комедий и либретто к опереттам Жака Оффенбаха. Для Пруста оба литератора были представителями поверхностной литературы, пользующейся сиюминутным успехом.

не будет, — то, пожалуй, я смогу вырваться.

— Ты видела своего друга Свана?

— Нет! Ах, Шарль, радость моя! Я и не знала, что он здесь. Постараюсь попасться ему на глаза.

— Странно, что его пускает к себе даже тетушка Сент-Эверт, — заметила маркиза де Галардон. — О, я знаю, что он умница, — продолжала она, подразумевая под словом «умница» слово «интриган», — но все равно: еврей у сестры одного архиепископа и невестки другого!

— К стыду моему, должна признаться, что меня это не коробит, — возразила принцесса де Лом.

— Я знаю, что он крещеный, даже его родители и дедушка с бабушкой были крещеные. Но говорят, что выкресты еще строже придерживаются своей религии, чем некрещеные, что это одно притворство, верно?

— Право, не знаю.

Пианист должен был исполнить две вещи Шопена, и, сыграв прелюд, он тотчас перешел к полонезу. Но если бы даже воскрес сам Шопен и переиграл, одно за другим, все свои произведения, принцесса де Лом не стала бы его слушать после того, как узнала от маркизы де Галардон, что здесь Сван. Принцесса принадлежала к той половине рода человеческого, у которой, в отли-

чие от другой, вызывают любопытство только люди знакомые. Если тут же, где и она, находился кто-нибудь из ближайшего ее окружения, то, даже если ей не надо было сообщить ему ничего особенно важного, она, подобно многим дамам из Сен-Жерменского предместья, за счет остальных все свое внимание уделяла ему. В надежде перехватить взгляд Свана, принцесса, точно ручная белая мышка, которой протягивают кусок сахару, с тем чтобы сейчас же отдернуть руку, поворачивала голову в ту сторону — всем своим видом выражая сопереживание, не имевшее никакого отношения к полонезу Шопена, — где находился Сван, и если он переходил на другое место, то она соответственно перемещала притягивающую свою улыбку.

— Ты только не сердись на меня, Ориана, — продолжала маркиза де Галардон, неизменно жертвовавшая самыми заветными своими мечтами о положении в обществе — в частности, мечтою в один прекрасный день поразить весь Париж — непостижимому, непосредственному, сокровенному наслаждению сказать о человеке что-нибудь неприятное, — говорят, будто Свана нельзя принимать, это правда?

— Но… ведь ты же сама знаешь, что это правда:

ты двадцать раз его приглашала, а он к тебе так и не пришел, — ответила принцесса де Лом.

И тут она, отходя от своей оскорбленной родственницы, опять рассмеялась, возмутив тех, кто слушал музыку, но зато обратив на себя внимание маркизы де Сент-Эверт, из вежливости сидевшей у рояля и только сейчас заметившей принцессу. Для маркизы де Сент-Эверт это была приятная неожиданность: она думала, что принцесса де Лом все еще в Германте, ухаживает за больным свекром.

— Как, принцесса, вы здесь?

— Да, я села в уголок и наслаждалась музыкой.

— Так вы здесь уже давно?

— Давно, но время пролетело быстро, мне только было скучно без вас.

Маркиза де Сент-Эверт предложила принцессе сесть в ее кресло, но та отказалась:

— Ни за что! Зачем? Мне везде хорошо!

Чтобы показать, как просто себя держат знатные дамы, она умышленно выбрала стульчик без спинки:

— Лучше этого пуфа я ничего бы не могла выбрать. Волей-неволей придется держаться прямо. Ах, боже мой, я все время тараторю — сейчас на меня будут шикать.

Пианист между тем убыстрил темп, восторг слушателей достиг наивысшего предела, слуга, звеня ложечками, с подносом в руках обносил гостей прохладительными напитками, а маркиза де Сент-Эверт делала ему знак, чтобы он ушел, как она это делала каждую неделю, но еще не было случая, чтобы лакей его заметил. Некая новобрачная, которой внушили, что молодой женщине не подобает иметь скучающий вид, улыбалась будто бы от упоения и искала глазами хозяйку дома, чтобы взглядом засвидетельствовать ей свою признательность за то, что хозяйка, устраивая такой праздник искусства, «не забыла о ней». Тем не менее она хоть и спокойнее, чем виконтесса де Франкто, а все же с некоторой тревогой следила за игрой, но только тревожилась она не за пианиста, а за рояль: качавшаяся на нем при каждом фортиссимо свеча грозила если не поджечь абажур, то, во всяком случае, закапать стеарином палисандровое дерево. В конце концов гостья не выдержала и, взбежав по двум ступенькам на возвышение, где стоял рояль, быстрым движением сняла розетку. Но как только ее пальцы дотронулись до розетки, прозвучал последний аккорд, вещь была сыграна, и пианист встал. Всем понравилась смелость

молодой женщины, на секунду нечаянно столкнувшейся с пианистом.

— Вы обратили внимание, принцесса, на эту особу? — спросил принцессу де Лом генерал де Фробервиль, подошедший к ней поздороваться, когда маркиза де Сент-Эверт временно покинула ее. — Любопытно! Она кто, музыкантша?

— Нет, это маркиза де Говожо-младшая, — рассеянно ответила принцесса, но потом вдруг оживилась: — Я это говорю с чужих слов и даже не имею понятия, с чьих именно: кто-то сзади меня сказал, что это соседи по имению маркизы де Сент-Эверт, но я не думаю, чтобы они с кем-нибудь были знакомы. Должно быть, они «из деревни»! Впрочем, не знаю, как чувствуете себя в этом блестящем обществе вы, а мне даже фамилии этих ископаемых неизвестны. Если они не на вечере у маркизы де Сент-Эверт, то как они, по-вашему, проводят время? Скорее всего, маркиза заказала их вместе с музыкантами, стульями и прохладительными напитками. Согласитесь, что все эти «от Белуара» просто великолепны. Как ей не надоест каждую неделю нанимать этих статистов? Непостижимо!

— Но ведь род Говожо — знатный, старинный род, — возразил генерал.

— Хоть он и старинный, — сухо заметила принцесса, — но, во всяком случае, *неблагозвучный*, — прибавила она, выделив слово «неблагозвучный», как бы поставив его в кавычках: эта несколько аффектированная речь была свойственна кружку Германтов.

— Вы находите? Но она — дуся, — заметил генерал, по-прежнему следивший глазами за маркизой. — Вы со мной не согласны, принцесса?

— Уж очень она любит выставлять себя напоказ; когда так ведет себя молодая женщина, то, по-моему, это неприятно, а ведь она, я думаю, в дочки мне годится, — ответила принцесса де Лом (так выражаться было принято и у Галардонов, и у Германтов).

Заметив, что генерал де Фробервиль все еще смотрит на маркизу де Говожо, принцесса, отчасти по злобе к ней, отчасти из любезности по отношению к Фробервилю, продолжала:

— Это должно быть неприятно… ее мужу! Мне жаль, что я с ней незнакома; она, как видно, затронула ваше сердце, я бы вас представила ей, — сказала принцесса, хотя, будь она с ней знакома, она, вероятно, и не подумала бы представлять ей генерала. — А теперь я с вами попрощаюсь: сегодня день рождения моей подруги, и мне на-

до поздравить ее, — проговорила она просто и искренне, низводя светское сборище, куда она теперь направлялась, до степени обыкновенной, скучной церемонии, обязательной и в то же время трогательной. — А потом, я там встречусь с Базеном: я поехала сюда, а он — к своим друзьям, вы их, наверно, знаете, фамилия этих принцев напоминает название моста: Иенские[218].

— Еще раньше, принцесса, так называлась победа, — заметил генерал. — Конечно, для такого старого вояки, как я, — продолжал он, вынимая и протирая монокль с видом человека, перебинтовывающего рану, так что принцесса невольно отвела глаза, — знать эпохи Империи — это нечто совсем другое, но в конце концов, какова бы она ни была, для меня она по-своему прекрасна: эти люди в большинстве своем сражались как герои.

— Поверьте, что я глубоко уважаю героев, — с легкой иронией заговорила принцесса, — я не хожу с Базеном к принцессе Иенской совсем по другой причине — просто потому, что я с ней незнакома. Базен их знает, он их любит. О нет, не

---

[218] Примечания: 218

Иенские — аристократическая фамилия времен Империи. Одноименный (Иенский) мост был построен в Париже в 1809–1813 гг. в ознаменование победы Наполеона над прусской армией при Иене в 1806 г.

подумайте чего-нибудь такого, это не флирт, тут мне не из-за чего устраивать сцены! А впрочем, устраивай не устраивай, толк один! — сказала она печально: ни для кого не являлось тайной, что принц де Лом, женившись на своей обворожительной кузине, тут же начал направо и налево изменять ей. — Во всяком случае, тут не то: с этими людьми он знаком давно, у них он как рыба в воде, эту дружбу я вполне одобряю. Но мне, право же, достаточно его рассказов об их доме… Можете себе представить: вся мебель у них в стиле «ампир»!

— Но ведь это понятно, принцесса: обстановка перешла к ним по наследству от дедушки и бабушки.

— Очень может быть, и все-таки это безобразие. Я уже не говорю, что у всех непременно должны быть красивые вещи, но это не значит, что нужно держать в доме всякую дрянь. Как хотите, но я не знаю ничего более пошлого, более мещанского, чем этот ужасный стиль, чем эти комоды с лебедями, как на ваннах.

— А по-моему, у них есть и хорошие вещи; у них должен быть знаменитый мозаичный стол, на котором был подписан договор…

— Да я вовсе не отрицаю, что у них есть вещи,

интересные с исторической точки зрения. Но это некрасиво… потому что это ужасно! У меня у самой есть такие вещи — они достались Базену по наследству от Монтескью[219]. Но они валяются на чердаках в Германте, и там их никто не видит. Но не в этом дело: я полетела бы к ним с Базеном, я провела бы с ними время среди их сфинксов и среди всей их меди, если бы я была с ними знакома, но… я незнакома с ними! В детстве я только и слышала, что ходить в гости к незнакомым людям неприлично, — проговорила она тоном маленькой девочки. — Ну вот я и веду себя, как меня учили. Представляете себе, как вытянулись бы лица у этих почтенных людей при виде входящей к ним незнакомки? Думаю, что они встретили бы меня очень неласково! — заключила принцесса.

И тут она из кокетства постаралась как можно очаровательнее улыбнуться и придать своим голубым глазам, смотревшим прямо на генерала, мягкое и задумчивое выражение.

— Ах, принцесса! Вы прекрасно знаете, что они

---

[219] Примечания: 219

Монтескью — древний аристократический род, от которого по роману происходят Германты. Среди ближайших знакомых Пруста был граф Робер Монтескью-Фрезензак (1855–1921), светский поэт и эстет, послуживший моделью для образа барона де Шарлю.

были бы в восторге…

— Да почему? — перебила она генерала с чрезвычайной живостью — то ли потому, что боялась, как бы про нее не подумали, что ей известно, что она одна из самых знатных дам во всей Франции, то ли потому, что слова генерала доставили ей удовольствие. — Почему? Откуда вы взяли? А может, это было бы им крайне неприятно. Не знаю, наверно, я сужу по себе, но мне скучно даже со знакомыми, а уж если б пришлось ехать к незнакомым, хотя бы к «героям», я просто с ума сошла бы от скуки. Понятно, я не говорю о таких старинных друзьях, как вы, с которыми дружишь вовсе не из-за их героизма, а вообще я не уверена, что нужно везде и всюду козырять своим героизмом… Мне уже часто бывает скучно устраивать обеды, а тут еще изволь предлагать руку какому-нибудь Спартаку[220] и вести его к столу… Нет, правда, я никогда не пошлю за Верцингеториксом[221], даже если за столом у меня будет сидеть тринадцать человек. Я бы его приберегла для званых

[220] Примечания: 220

Спартак — фракиец, предводитель рабов, восставших против римлян в 73 г. до н. э.

[221] Примечания: 221

Верцингеторикс (72–46 до н. э.) — вождь галлов, ставший во главе союза галльских племен против Цезаря, был схвачен и казнен в Риме.

вечеров. А так как я их не устраиваю…

— Ах, принцесса, недаром вы из рода Германтов! Вы отличаетесь чисто германтским остроумием!

— Я буквально от всех слышу про *германтское* остроумие и не могу понять, что это значит. Стало быть, вам известно *еще чье-то* остроумие? — Тут принцесса рассмеялась смехом, брызжущим весельем, все черты ее лица уловила, накрыла сеть оживления, а в глазах вспыхнул, загорелся солнечно-яркий блеск радости, какою они могли засиять только от слов, хотя бы сказанных ею самой, но восхвалявших ее остроумие или же ее красоту. — А, вон Сван здоровается с вашей Говожо; вон он… около тетушки Сент-Эверт, видите? Попросите его, чтоб он вас познакомил. Только скорее, а то он собирается уходить!

— Вы обратили внимание, как скверно он выглядит? — спросил генерал.

— Милый Шарль! Наконец-то он идет ко мне, я уж думала, он не хочет меня видеть!

Сван очень любил принцессу де Лом; к тому же она напоминала ему Германт — имение около Комбре, — весь этот край, который он так любил и куда он не ездил, чтобы не выпускать из виду Одетту. Он знал, что полуартистическая,

полусветская манера держать себя, которую он вновь невольно усваивал, как только погружался в прежнюю свою среду, нравится принцессе, и сейчас, беседуя с ней, он держал себя именно так, а кроме того, он действительно испытывал потребность излить тоску по природе.

— Ах! И очаровательная принцесса здесь! — воскликнул он так громко, чтоб его слышала не только маркиза де Сент-Эверт, к которой он обращался, но и принцесса де Лом, для которой он это говорил. — Вы подумайте: она нарочно приехала из Германта, чтобы послушать листовского «Святого Франциска Ассизского», и успела только, подобно милой синичке, клюнуть несколько ягодок шиповника и боярышника и украсить ими свою головку; на ней еще блестят капельки росы и снежинки — воображаю, как там мерзнет герцогиня. Прелестно, дорогая принцесса!

— Как! Принцесса нарочно приехала из Германта? Ну это уже слишком большая жертва! Я не знала, я смущена! — простодушно воскликнула маркиза де Сент-Эверт, не привыкшая к свановской манере выражаться. — Да, правда, похоже… — рассматривая прическу гостьи, продолжала она. — Пожалуй, только не на каштаны, нет… Отличная мысль! Но каким образом прин-

цесса узнала мою программу? Музыканты даже мне ничего не сказали.

Сван, привыкший говорить тонкие вещи, непонятные большинству светских людей, женщине, с которой он непременно бывал изысканно любезен, не счел нужным объяснять маркизе де Сент-Эверт, что речь его носит метафорический характер. А принцесса залилась смехом: в ее кружке остроумие Свана ценилось высоко, а кроме того, она полагала, что всякий обращенный к ней комплимент должен отличаться наивысшим изяществом и вызывать неудержимый смех.

— Ну что ж, я очень рада, Шарль, что мои ягодки боярышника вам нравятся. А почему вы здороваетесь с Говожо? Разве вы и ее сосед по имению?

Маркиза де Сент-Эверт, убедившись, что принцессе доставляет удовольствие болтать со Сваном, оставила их вдвоем.

— Но ведь и вы ее соседка, принцесса.

— Я? Выходит, у них всюду имения! Я им завидую!

— Нет, вы соседка не Говожо, а ее родственников; ее девичья фамилия — Легранден, она часто приезжала в Комбре. Вам известно, что вы — графиня Комбрейская и что капитул обязан платить вам оброк?

— Не знаю, что мне должен платить капитул, — я знаю, что мне самой приходится ежегодно выкладывать сто франков в пользу священника, и особого удовольствия это мне не доставляет. Странная, однако, фамилия — Говожо. Она обрывается там, где нужно, но все-таки получается некрасиво! — со смехом добавила она.

— Начинается она не лучше, — заметил Сван.

— А ведь и правда: это же двойное сокращение!.

— Кто-то очень сердитый и чрезвычайно благовоспитанный не решился оставить все первое слово.

— И все-таки не удержался и начал второе; уж лучше бы он оставил целиком первое — и дело с концом. Мы с вами очень мило шутим, дорогой Шарль, но как я горюю, что совсем вас не вижу! — ласковым тоном продолжала принцесса. — Я так люблю беседовать с вами! Ведь какому-нибудь идиоту Фробервилю я бы даже не могла объяснить, почему Говожо — фамилия странная. Жизнь ужасна, согласитесь! Мне не бывает скучно только с вами.

Разумеется, принцесса говорила неправду. Но Сван и принцесса одинаково смотрели на мелочи жизни, и следствием этого — если не причиной

— являлось большое сходство в их манере выражаться и даже в произношении. Это сходство не поражало только потому, что у них были совсем разные голоса. Но стоило мысленно отделить от слов Свана их звуковой покров, забыть о том, что звук проходит у него сквозь усы, и оказывалось, что из его слов составлялись те же самые фразы и обороты и с теми же интонациями, какие можно было услышать в кружке Германтов. В важных вопросах Сван и принцесса решительно расходились. Но когда Сван загрустил и никак не мог унять дрожь, которую ощущает человек перед тем как расплакаться, ему все время хотелось говорить о своем горе, как убийце хочется говорить о своем преступлении. Услышав признание принцессы, что жизнь ужасная, он был так растроган, словно принцесса заговорила с ним об Одетте.

— Вы правы, жизнь ужасна. Нам надо бы почаще встречаться, дорогой друг. Ваша главная прелесть в том, что вы не жизнерадостны. Мы провели бы с вами чудесный вечер.

— Я в этом не сомневаюсь. Почему бы вам не приехать в Германт? Моя свекровь была бы безумно рада. Говорят, у нас очень некрасивая местность, а мне она, по правде говоря, нравится — я не выношу «живописных уголков».

— Я с вами согласен: местность дивная, — сказал Сван, — она даже чересчур хороша, чересчур ярка для меня в данный момент, — это край для счастливых. Может, это оттого, что я там жил, но все мне там так много говорит! Подует ветер, заволнуются нивы — мне кажется, что сейчас кто-то появится, что я получу откуда-то весть. И эти домики на берегу реки… Мне было бы там невмоготу!

— Шарль, милый, выручайте: меня заметила эта ужасная Рампильон, загородите меня и напомните, что́ у нее случилось, я путаю; не то она выдала замуж дочь, не то женила любовника, — я позабыла; а может, обоих… одновременно!. Ах нет, вспомнила: она развелась с принцем… Сделайте вид, что вы о чем-то оживленно со мной говорите, чтобы эта самая Вероника[222] не подошла приглашать меня на обед. Впрочем, я сейчас улизну. Шарль, милый, послушайте: раз уж я с вами встретилась, не позволите ли вы мне увезти вас отсюда к принцессе Пармской? Она будет так рада, и Базен тоже: мы с ним должны у нее

---

[222] Примечания: 222

Вероника (Береника) — имеется в виду иудейская принцесса (род. в 28 г.), которую римский император Тит привез в Рим с намерением жениться на ней, но не сдержал своего обещания, испугавшись гнева римлян, не желавших брака императора с чужеземкой. Ей посвящены трагедии Раси-на и Корнеля.

встретиться. Ведь я слышу о вас только от Меме… Мы же с вами совсем перестали видеться!

Сван отказался; он предупредил де Шарлю, что от Сент-Эверт он поедет прямо домой, и еще он боялся, что если поедет к принцессе Пармской, то не получит письма, а его не покидала надежда, что в течение вечера письмо ему вручит лакей, а может быть, его швейцар.

«Бедный Сван! — в тот же вечер сказала мужу де Лом. — Он все так же обаятелен, но вид у него очень грустный. Вот ты увидишь, — он дал слово, что на днях будет у нас обедать. Чтобы такой умный человек, как Сван, страдал из-за подобного сорта женщины, да еще и неинтересной, по словам тех, кто ее знает, идиотки, — как хочешь, по-моему, это сумасшествие», — мудро рассудила она, как рассуждают не влюбленные, полагающие, что умный человек имеет право быть несчастным только из-за женщины, которая стоит того; это все равно что удивляться, как люди допускают себя до заболевания холерой из-за крохотной бациллы-«запятой».

Сван решил ехать домой, но, когда он уже собирался ускользнуть, генерал де Фробервиль попросил его познакомить с маркизой де Говожо, и Свану пришлось вернуться в зал.

— А знаете, Сван, я бы предпочел жениться на этой женщине, чем быть зарубленным дикарями, — что вы на это скажете?

Слова «зарубленным дикарями» острой болью отозвались в сердце Свана; ему захотелось продолжить разговор с генералом.

— Сколько прекрасных людей погибло таким образом!. — воскликнул он. — Ну вот хотя бы… этот мореплаватель, останки которого привез Дюмон д'Юрвиль[223] — Лаперуз… — (И Сван уже был счастлив так, как будто он говорил об Одетте.) — Чудный человек был этот Лаперуз, он меня очень интересует, — печально добавил он.

— Да-да, ну как же, Лаперуз, — проговорил генерал. — Это известное имя. В его честь назвали улицу.

— Вы кого-нибудь знаете на улице Лаперуза? — взволнованно спросил Сван.

— Только госпожу де Шанливо, сестру почтеннейшего Шоспьера. Несколько дней назад она устроила нам отличный домашний спектакль.

---

[223] Примечания: 223

Дюмон Д'Юрвиль, Жюль (1790–1842) — французский мореплаватель, исследователь побережья Новой Гвинеи и Новой Зеландии, на острове Ваникоро обнаружил останки двух кораблей («Буссоль» и «Астролябия») экспедиции Жана Франсуа Лаперуза (1741–1788), знаменитого французского путешественника, отправившегося в 1785 г. по поручению Людовика XVII в кругосветное путешествие и убитого туземцами после кораблекрушения.

Ее салон со временем станет блестящим, вот увидите!

— Ах, так она живет на улице Лаперуза? Как это мило! Улица Лаперуза — такая красивая, такая печальная улица!

— Да что вы! Верно, вы давно там не были. Сейчас она уже не печальная — весь этот квартал перестраивается.

Когда Сван представил наконец Фробервиля Говожо-младшей, то она, впервые услышавшая фамилию генерала, изобразила на своем лице удивленно-радостную улыбку, как будто при ней только о нем и говорили; она еще не была знакома со всеми друзьями своей новой семьи, вот почему она принимала каждого человека, которого к ней подводили, за одного из ее друзей и, полагая, что если она сделает вид, будто столько о нем слышала после того, как вышла замуж, то это будет с ее стороны тактично, нерешительно протягивала руку: так она давала понять, что делает над собой усилие, чтобы преодолеть сдержанность, к которой ее приучили, и в то же время — что внезапно пробудившаяся в ней симпатия к этому человеку восторжествовала над ее сдержанностью. За это умение держать себя родители ее мужа, которых она все еще считала самыми

блестящими людьми во Франции, прозвали ее ангелом; впрочем, женя на ней своего сына, они с самого начала подчеркивали, что их привлекают душевные ее качества, а не богатое приданое.

— Сразу видно, что у вас музыкальная душа, — сказал генерал, как бы нечаянно намекнув на эпизод с розеткой.

Но в это время возобновился концерт, и Сван понял, что до конца нового номера ему не уйти. Ему было невыносимо тяжело в одной клетке с этими людьми — их глупость и нелепые выходки ранили его тем чувствительнее, что, не подозревая о его любви, неспособные, даже если б они о ней знали, проявить к ней участие и отнестись к ней иначе чем с улыбкой, как к ребячеству, или с сожалением, как к безумству, они вынуждали его рассматривать любовь как чисто субъективное состояние, которое существовало только в его представлении и реальность которого ничем не подтверждалась извне; звуки музыки причиняли ему такую муку, что он подавлял в себе стон, и эта пытка все усиливалась от сознания, что заточение его длится в таком месте, где Одетта не появится никогда, где никто и ничто не знает ее, где ее отсутствие чувствуется во всем.

Но вдруг она словно бы вошла, и ему стало

так больно, что он невольно схватился за сердце. Это скрипка взяла несколько высоких нот и как бы в ожидании продолжала тянуть их с таким воодушевлением, точно она уже завидела ожидаемое ею и, прилагая отчаянные усилия, пыталась продлить звук до его прибытия, чтобы успеть встретить его перед тем, как испустить последний вздох, старалась из последних сил, чтобы путь для него был свободен, — так держат дверь, чтобы она не захлопнулась. И прежде чем Сван успел сообразить и сказать себе: «Это фраза из сонаты Вентейля, — не буду слушать ее!», все его воспоминания о том времени, когда Одетта была в него влюблена, воспоминания, которые до самого этого мгновения по его воле жили невидимками в глубинах его существа, внезапно, обманутые лучом, пробившимся из поры любви, как им показалось, воскреснувшей, пробудились, вспорхнули и, равнодушные к теперешней его невзгоде, самозабвенно запели позабытые песни счастья.

На месте общих фраз: «То время, когда я был счастлив», «То время, когда я был любим», которые Сван часто произносил до сих пор, не особенно при этом страдая, потому что его разум вкладывал в них лишь вытяжки из прошлого,

где именно от его прошлого как раз ничего и не оставалось, он нашел все, что навсегда поселила в нем особая, летучая сущность утраченного счастья; он снова увидел все: снежистые, завивавшиеся лепестки хризантемы, которую Одетта бросила ему в экипаж и которую он потом вез, не отнимая от нее губ, четкий адрес «Золотого дома» на записке, в которой он прочел: «У меня дрожит рука, мне трудно писать», ее сдвигавшиеся брови, когда она с умоляющим видом говорила ему: «Надеюсь, вы не очень не скоро дадите мне знать о себе?»; он почувствовал запах щипцов парикмахера, который «наводил на него красоту», пока Лоредан отправлялся за молоденькой работницей, услыхал частые в ту весну ливни с грозами, почувствовал холод возвращения в коляске при лунном свете, восстановил все ячейки душевных своих привычек, впечатлений от времени года, телесных ощущений, раскинувших над чередой недель однородную сеть, которая сейчас вновь опутала его тело. Тогда он насыщал любопытство сладострастия, он познавал упоение человека, который живет только любовью. Свану представлялось, что так будет продолжаться и дальше, что ему не придется изведать муки любви; каким ничтожным казалось ему теперь очарование

Одетты в сравнении с неизъяснимым ужасом, окружавшим его, как гало окружает солнце, в сравнении с бесконечной тоской, охватывавшей его при мысли, что далеко не все мгновения ее жизни ему известны, что он не может обладать ею всегда и всюду! Он вспомнил, как она воскликнула: «Я всегда могу встретиться с вами, я всегда свободна», — она, которая теперь всегда была занята! Вспомнил, как интересно, как любопытно было ей знать, чем он живет, вспомнил, что она добивалась от него как милости — милости, которую ему тогда как раз не хотелось оказывать ей, потому что это могло внести в его жизнь нежелательный беспорядок, — позволения прийти к нему; как она насилу затащила его к Вердюренам; вспомнил, что она беспрестанно твердила ему, какое счастье было бы для нее видеться с ним ежедневно, о чем она так мечтает, а для него это была досадная помеха, — твердила до тех пор, пока он наконец сдался; потом он вспомнил, как это ей надоело, как она решительно прекратила их ежедневные встречи и как для него это стало неодолимой и мучительной потребностью. Сван не подозревал, как он был прав, когда, во время третьего свидания, на многократно повторенный ею вопрос: «Но почему же вы не хотите, что-

бы я приходила чаще?» — изысканно вежливо ответил, смеясь: «Я боюсь страданий». Теперь — увы! — Одетта писала ему иногда из ресторана или из гостиницы на бланке с их адресом, но эти записки жгли его, как огонь. «Из гостиницы Вуймона? А что ей там делать? С кем она? Что у нее там произошло?» Сван вспомнил, как гасли фонари на Итальянском бульваре, когда он встретил ее, потеряв уже всякую надежду, среди блуждающих теней, тою невозвратною ночью, когда ему даже в голову не могло прийти, что его поиски и эта неожиданная встреча могут быть неприятны Одетте: так он был уверен, что для нее нет большего счастья, чем встретиться с ним и вместе поехать, — ночью, казавшейся ему теперь почти фантастической, да и в самом деле уже принадлежавшей к некоему таинственному миру, куда не проникнешь вновь, после того как врата затворились. И тут Сван заметил какого-то несчастного человека, оцепеневшего при виде проглянувшего счастья, а так как он сразу его не узнал, то ему стало его мучительно жаль, и он опустил глаза из боязни, как бы кто-нибудь не увидел, что они полны слез. Это был он сам.

Как только это дошло до его сознания, жалость исчезла, но зато теперь, когда отвлеченное по-

нятие любви, не проникнутое этим чувством, уступило место пропитанным любовью лепесткам хризантемы и бланку «Золотого дома», он преисполнился ревности к прежнему самому себе, которого любила Одетта, ревности к тем, о ком он часто думал, особенно не терзаясь: «Может быть, она их любит», Свану стало так больно, что он провел рукой по лбу; при этом он уронил монокль; он поднял его и протер стекло. И конечно, если бы он себя сейчас видел, то присоединил бы к коллекции моноклей, остановивших на себе его внимание, вот этот, от которого он отделался, как от докучной мысли, и с запотевшей поверхности которого он пытался стереть носовым платком свои треволнения.

В скрипке можно уловить — если только не смотреть на нее и не иметь возможности соотносить слышимое с ее образом, меняющим звучание, — такие оттенки, которые придают ей сходство с иными контральто: создается впечатление, будто в концерте участвует певица. Но вот мы поднимаем глаза и видим лишь деки, драгоценные, как китайские шкатулки, хотя временами нас все еще вводит в заблуждение коварный зов сирены; время от времени нам слышится также голос плененного духа, бьющегося

внутри хитроумной коробки, заколдованного, трясущегося, как бес, которого погрузили в чашу со святой водой; наконец временами в воздухе словно пролетает чистое, неземное существо и разносит незримую весть.

Свану казалось, что музыканты не столько играют короткую фразу, сколько совершают обряды, на соблюдении которых она настояла, и творят заклинания для того, чтобы произошло и некоторое время длилось чудо ее появления, и он, уже утративший способность видеть ее, словно она принадлежала к миру ультрафиолетовых лучей, и испытывавший освежающее действие метаморфозы, которая происходила в нем, когда его, как только он к ней приближался, поражала мгновенная слепота, сейчас чувствовал, что она здесь, она, богиня-покровительница и наперсница его любви, облекшаяся в звуковой наряд, чтобы неузнанной подойти к нему в толпе, отозвать в сторонку и поговорить. И когда она, воздушная, миротворная, веющая, как благоухание, пролетала, говоря ему все, что хотела сказать, а он вдумывался в каждое ее слово и жалел, что слова так быстро уносятся, он невольно протягивал губы, чтобы поцеловать на лету ее ускользающее благозвучное тело. Он уже не чувствовал себя

отверженным и одиноким, — обращаясь к нему, она шептала ему об Одетте. Теперь у него уже не было такого ощущения, что короткая фраза не подозревает о существовании его и Одетты. Ведь она так часто являлась свидетельницей их радостей! Правда, она столь же часто предупреждала его, что радости эти непрочны. Но если тогда он улавливал страдание в ее улыбке, в ее прозрачном, безмечтанном напеве, то сейчас он скорее различал в ней благодать почти восторженного смирения. О горестях, о которых она говорила ему когда-то и которые она, улыбаясь, вовлекала в свой быстрый, петляющий бег, так что они не задевали его, — об этих горестях, которые теперь поселились в его душе и он уже не питал надежды когда-нибудь от них избавиться, — она словно говорила ему то же самое, что прежде говорила о его счастье: «Это что! Это пустяки»! И тут мысль Свана в приливе жалости и нежности впервые обратилась к Вентейлю, к неведомому брату с возвышенною душою, который тоже, наверное, много страдал. Как он жил? Из глубины какого горя почерпнул он эту божественную силу, эту безграничную творческую мощь? Когда короткая фраза говорила Свану о тщете его мучений, он находил отраду в той самой мудрости, которая

перед этим причиняла ему нестерпимую боль, когда он словно читал эту мудрость на равнодушных лицах людей, расценивавших его любовь как ни к чему не обязывающее развлечение. В отличие от них, короткая фраза, что бы она ни думала о кратковременности подобных душевных состояний, видела в них вовсе не что-то менее серьезное, чем проза жизни, но как раз наоборот, бесконечно возвышающееся над нею, так что только эти недолговечные душевные состояния и стоило выражать в звуках. Очарование затаенной грусти — вот что пыталась она воспроизвести, воссоздать, вплоть до самой его сущности, хотя сущность эта обычно непередаваема и представляется легковесной всем, кто ее не изведал, — коротая фраза овладела сущностью этого очарования и осветила ее. Она достигла того, что все сколько-нибудь музыкальные слушатели, хотя бы они потом, в жизни, не уловили этого очарования ни в одном возникшем у них на глазах чувстве, сейчас оценили его и ощутили божественную его нежность. Вне всякого сомнения, рассудок бессилен был разъять форму, в которую это очарование отливалось. Но уже больше года, с тех пор как у Свана — по крайней мере, временами — начала проявляться лю-

бовь к музыке и открывать ему его собственные душевные сокровища, он воспринимал музыкальные мотивы как самые настоящие идеи, но только идеи из иного мира, особого круга, идеи, покрытые мраком, непознанные, недоступные для ума и резко отличающиеся одна от другой, неравноценные и неравнозначные. После вечера у Вердюренов, вспоминая короткую фразу, Сван старался понять, как ей удавалось обольстить, окутать его благоуханием ласки, и в конце концов он догадался, что блаженное ощущение мурашек по телу достигалось краткостью интервалов между пятью ее нотами и частым повторением двух из них; но он вполне отдавал себе отчет, что эта его догадка касается не самой фразы, а простейших ее составных частей, которыми его рассудок для удобства подменил таинственную ее сущность, постигнутую им еще до его знакомства с Вердюренами, на том вечере, когда он в первый раз услышал сонату. Он отдавал себе отчет, что самое воспоминание о звуках рояля еще резче смещает тот план, на котором ему рисовалась музыка, что простор, открывающийся музыканту, — это не жалкая мелодия из семи нот — это необозримая клавиатура, почти вся еще неведомая клавиатура, из миллионов клавиш

которой лишь очень немногие, разделенные густым, непроглядным мраком, — клавиши нежности, страсти, отваги, спокойствия, столь же непохожие между собой, как одна вселенная не похожа на другую, — были открыты великими артистами, будящими в нас отклик найденной ими теме и этим облегчающими нам обнаружение того богатства, того разнообразия, какое таит в себе великая, непроницаемая и удручающая ночь нашей души, которую мы принимаем за пустоту и небытие. Одним из таких артистов был Вентейль. И в его короткой фразе, хотя для рассудка она и представляла неосвещенную поверхность, чувствовалось до того плотное, до того ясное содержимое, которому она придавала такую новую, такую самобытную силу, что, кто бы ее ни услышал, все берегли ее потом в себе вместе с отвлеченными понятиями. Для Свана это был образ любви и счастья, который он так же непосредственно воспринимал во всей его своеобычности, как воспринимал образы любви и счастья, связывавшиеся в его представлении

с «Принцессой Клевской»[224] и «Рене»[225], едва лишь эти имена приходили ему на память. Даже когда он не думал о короткой фразе, она продолжала жить в его подсознании, подобно другим понятиям, которые ничем нельзя заменить, как например понятия света, звука, объема, чувственного наслаждения, — подобно всем сокровищам, что разнообразят и украшают наш внутренний мир. Когда мы возвратимся в небытие, возможно, мы их утратим, возможно, они изгладятся. Но покуда мы живы, мы не можем не знать их, как не можем не знать какого-нибудь предмета, как не можем усомниться, к примеру, в свете лампы, которая, как только ее зажгут, преображает вещи в нашей комнате, откуда улетучилось самое воспоминание о темноте. Так фраза Вентейля, подобно, скажем, какой-нибудь теме «Тристана», тоже представляющей для мира наших чувств известное приобретение, связала себя с нашей тленностью, стала человечнее и

---

[224] Примечания: 224

«Принцесса Клевская» (1678) — роман французской писательницы Мадам де Лафайет (1634–1693), где находит выражение аристократическое понятие любви, от которой отказываются во имя долга.

[225] Примечания: 225

«Рене» (1802) — роман французского писателя Франсуа-Рене де Шатобриана (1768–1848), в котором любовь представлена в духе романтизма как «болезнь века», как всепоглощающая страсть.

тем самым трогательнее. Участь ее сплелась с будущим, с жизнью нашей души, составила одно из наиболее своеобразных, наиболее ярких ее украшений. Возможно, истина есть небытие; возможно, наши мечты есть нечто несуществующее, но тогда и эти музыкальные фразы, эти понятия, существующие, поскольку существует истина, тоже — ничто. Пусть мы погибнем, но божественные эти пленницы — наши заложницы, и они разделят с нами наш жребий. И наша общая гибель будет не такой уже мрачной, не такой бесславной, быть может — не такой правдоподобной.

Следовательно, Сван не заблуждался, веря, что фраза сонаты действительно существует. Очеловеченная, если смотреть на нее с такой точки зрения, она все-таки, разумеется, принадлежала к разряду существ сверхъестественных, которых мы никогда не видели, но которых мы тем не менее с восторгом узнаем, когда какому-нибудь исследователю невидимого удается залучить одно из них из неземного, доступного исследователю, мира, чтобы оно просверкало над нашим миром. Так именно и поступил Вентейль с короткой фразой. Он ограничился тем, что, как это ясно было Свану, с помощью музыкальных

инструментов снял с нее покров, сделал ее открытой взору, последовал за ней и благоговейно воспроизвел ее очертания такой нежной, такой осторожной, такой бережной и такой уверенной рукой, что звучание фразы менялось с каждым мгновением, то стушевываясь для того, чтобы она оборачивалась тенью, то оживая вновь, когда требовалось очертить какой-нибудь особенно смелый абрис. Если бы Вентейль не обладал такой зоркостью, если бы он не обладал даром мощной лепки и, чтобы скрыть слабость своего зрения, чтобы скрыть, что у него недостаточно сильная рука, кое-где добавлял какие-то черточки от себя, то всякий мало-мальски тонкий знаток музыки мгновенно распознал бы фальшь, и, значит же, Сван не ошибался, веря, что фраза действительно существует.

Фраза исчезла. Сван знал, что после длинной части, которую пианист г-жи Вердюрен всегда опускал, она появится вновь. Эта часть заключала в себе поразительные мысли, — когда Сван слушал сонату впервые, он их не уловил, теперь же они словно сбросили в гардеробной его памяти неизменный маскарадный костюм новизны. Сван вслушивался в отдельные темы, входившие в композицию фразы, как входят посылки

в неизбежный вывод, он присутствовал при ее рождении: «О, дерзновение, быть может, не менее гениальное, чем дерзновение Лавуазье[226], Ампера[227], дерзновение Вентейля, производящего опыты, открывающего тайные законы непознанной силы, доверившегося незримой колеснице, стремящейся сквозь неизведанное к единственно возможной цели, колеснице, которую он так никогда и не разглядит!» Как прекрасен был диалог скрипки и рояля в начале последней части! Можно было предположить, что отказ от слов дает волю воображению, — как раз наоборот: отказ от слов устранял воображение; никакая устная речь не вызывалась такой насущной необходимостью, не ставила таких уместных вопросов, не давала таких вразумительных ответов. Сперва одиноко прозвучала жалоба рояля, похожая на крик птицы, покинутой своею подругой; жалобу услыхала скрипка и ответила ей точно с ближайшего дерева. То было словно утро мира, словно их было только двое на всей земле, вернее — в этом мире,

[226] Примечания: 226

Лавуазье, Антуан Лоран де (1743–1794) — французский ученый, один из основателей современной химии.

[227] Примечания: 227

Ампер, Андре-Мари (1775–1836) — французский физик, открывший законы электромагнетизма, изобретатель первого электрического телеграфа.

отгородившемся от всего остального, построенном логикой творца, мире, где им суждено быть только вдвоем, — в мире сонаты. Так кто же оно, это невидимое, плачущее существо, чью жалобу так бережно передает рояль: птица, или душа короткой фразы, еще не достигшая полноты бытия, или фея? Крики его стали так часты, что для того, чтобы подхватить их, скрипач вынужден стремительно водить смычком. Чудная птица! Скрипач как будто хочет зачаровать ее, приманить, словить. Вот она уже проникла к нему в душу, вот уже откликнувшаяся на ее зов короткая фраза, точно медиум, потрясает тело воистину одержимого скрипача. Сван знал, что она прозвучит еще раз. Сознание Свана раздвоилось, и, ожидая тот неизбежный миг, когда он очутится лицом к лицу с ней, он зарыдал, — такие рыдания вырывает у нас из груди красивый стих или скорбная весть, но только не тогда, когда мы одни, а когда мы пересказываем их другу и отражаемся в нем уже как третье лицо, переживания которого, по всей вероятности, тронут нашего друга. Фраза появилась вновь, но теперь уже для того, чтобы всего лишь на мгновение повиснуть в воздухе, будто бы неподвижно, блеснуть и погаснуть. Вот почему Сван ничего не упускал из короткого

времени, в течение которого она звучала. Она все еще держалась в воздухе, словно мыльный пузырь. Подобно радуге, что опадает, тускнея, затем вновь вырастает и, прежде чем померкнуть, на время разгорается с особенной силой, она к двум цветам, которые в ней до сих пор можно было различить, прибавила другие яркие ноты, все цвета радуги, и все они у нее пели. Сван не шевелился; ему хотелось, чтобы и другие сидели спокойно, словно малейшее движение могло разрушить колдовские чары, отрадные и хрупкие, готовые каждую минуту рассеяться. Но слушатели и не думали переговариваться. Неизреченное слово единственного отсутствующего, быть может — покойного (Сван не знал, жив ли Вентейль), источавшееся образом, творимым этими священнослужителями, обладало достаточной силой, чтобы приковать внимание трехсот человек, и превращало возвышение, куда явилась на зов чья-то душа, в один из самых безгреховных престолов, на которых когда-либо совершалось таинство. И хотя, когда фраза наконец отцвела и лишь отдельные ее лепестки еще трепетали в пришедших ей на смену темах, Сван в первую минуту рассердился на славившуюся своею непосредственностью графиню де Монтерьянде,

которая еще до конца сонаты наклонилась к нему, чтобы поделиться впечатлениями, все же он не мог не улыбнуться ей и, может быть, даже обнаружил в ее словах глубокий смысл, который она и не думала в них вкладывать. В восторге от виртуозной игры, графиня воскликнула: «Изумительно! Меня еще ничто так не потрясало…» Однако стремление к точности заставило ее тут же оговориться: «…ничто так не потрясало… если не считать вращающихся столиков!»

После этого вечера у Свана не оставалось сомнений, что чувство Одетты к нему никогда уже не возродится, что его надежды на счастье не сбудутся. И если Одетта изредка была еще с ним мила и нежна, оказывала ему знаки особого расположения, то он воспринимал эти чисто внешние, обманчивые знаки кратковременного возврата к нему с той умиленно-недоверчивой внимательностью, с той безнадежной радостью, с какой люди, ухаживающие за неизлечимо больным другом, дни которого сочтены, сообщают нам факты первостепенной важности: «Вчера он сам проверил счета и даже исправил допущенную нами ошибку; он с удовольствием скушал яйцо; если оно ему не повредит, завтра попробуем дать ему котлету», — хотя в глубине души они

сознают, что накануне неизбежной кончины эти факты не имеют ровно никакого значения. Сван проникся твердой уверенностью, что ему надо было бы жить далеко от Одетты и тогда в конце концов она стала бы для него безразлична; он был бы рад, если б она навсегда уехала из Парижа; у него хватило бы мужества остаться, но на то, чтобы уехать, мужества ему не хватало.

Сван подумывал об этом часто. Он опять начал заниматься Вермеером, и в связи с этим ему нужно было съездить на несколько дней в Гаагу, в Дрезден, в Брауншвейг. Он мог бы ручаться, что картина «Туалет Дианы»[228], которую Морисюи приобрел на распродаже у Гольдшмидта, вовсе не Николаса Маэса, а Вермеера. Чтобы окончательно удостовериться в своей правоте, ему необходимо было увидеть картину. Но уехать из Парижа, когда Одетта здесь или даже когда ее здесь нет, это было для него слишком тяжело, — на новом месте, где наши ощущения не притупила привычка, боль вновь оживает, вновь начинает жечь, — и он мог все время думать о поездке

[228] Примечания: 228

«Туалет Дианы» — картина Вермера Дельфтского; была приобретена на распродаже коллекции Невиля Голдшмидта, которая состоялась в Париже в 1876 г. Во время покупки считалось, что картина принадлежит кисти голландского художника Николаса Маэса (1632–1693) и только в 1907 г. было признано авторство Вермера.

только потому, что твердо решил не приводить свой план в исполнение. Но когда он спал, мечта о поездке время от времени воскресала в нем — он забывал, что это мечта невозможная, — и осуществлялась. Однажды ему приснилось, будто он уезжает на целый год; высунувшись из окна вагона, Сван уговаривал какого-то юношу, который провожал его со слезами, поехать вместе. Но только поезд отошел, как Сван проснулся и тотчас опомнился: да ведь он же никуда не едет, он увидит Одетту сегодня, завтра, будет видеть ее почти ежедневно. Все еще переживая свой сон, он благодарил судьбу за то, что обстоятельства сложились так, что он сам себе господин, что он волен не уезжать от Одетты и добиваться от нее хотя бы нечастых встреч; перебирая в уме все свои преимущества: положение в обществе, деньги, в которых Одетта так нуждалась, что это одно удерживало ее от разрыва (поговаривали, будто она даже задумала женить на себе Свана), дружбу с де Шарлю, — впрочем, по правде говоря, Шарлю не многого добивался для него от Одетты, но зато благодаря Шарлю у Свана было отрадное сознание, что Одетта слышит о нем добрые слова от их общего друга, которого она очень уважала, — наконец, свой ум, все силы которого Сван

ежедневно тратил только на то, чтобы создавать новые положения, когда его присутствие могло быть если и не приятно, то, во всяком случае, необходимо Одетте, он думал о том, что́ было бы, если б он этими преимуществами не обладал; он думал о том, что если б он, как и многие другие, был беден, обездолен, нищ, если б он вынужден был не отказываться ни от какой работы, будь у него родители или жена, то ему, по всей вероятности, пришлось бы расстаться с Одеттой, и этот сон, весь ужас которого он еще живо ощущал, тогда, наверное, был бы в руку, и говорил себе: «Мы не сознаем, что мы счастливы. Нам всегда кажется, что мы несчастнее, чем на самом деле». Вспомнив, однако, что такая жизнь тянется уже несколько лет, что самое большее, на что он может надеяться, это чтобы она продолжалась и дальше, что он жертвует своими занятиями, своими удовольствиями, своими друзьями, словом, всей своей жизнью ради ежедневного ожидания встречи, которая ничего отрадного ему не сулила, он задавал себе вопрос: не совершает ли он ошибки; не испортили ли ему жизнь обстоятельства, благоприятствовавшие его связи и препятствовавшие разрыву; не было ли бы для него спасительным событие, так обрадовавшее

его тем, что оно ему только снилось: его поездка? И тогда он говорил себе, что мы не сознаем, что мы несчастны, — нам всегда кажется, что мы счастливее, чем на самом деле.

Порой он надеялся, что Одетта, оказавшись жертвой несчастного случая, умрет без мучений, — ведь ей же дома не сидится, она с утра до вечера в городе, переходит улицы. Но Одетта возвращалась цела и невредима, и Сван восхищался гибкостью и силой человеческого тела, обреченного на вечную скачку с препятствиями и избегающего опасностей, как это представлялось Свану, бесчисленных, потому что их рождало тайное его желание, — гибкостью и силой, которые дают человеку возможность ежедневно и почти безнаказанно лгать и ловить наслаждения. Сван вполне понимал Магомета II, чей портрет, который написал Беллини, так ему нравился: без памяти влюбившись в одну из своих жен, Магомет II заколол ее кинжалом, дабы, как простодушно замечает его венецианский биограф,

вновь обрести свободу духа[229]. Потом Сван возмущался, что думает только о себе; раз жизнь Одетты ему недорога, значит, рассуждал он, всем его страданиям грош цена.

Расстаться с Одеттой навсегда он не мог, но душевная его боль в конце концов утихла бы и его любовь, быть может, угасла бы, если б он виделся с ней постоянно. И когда Одетта заявила, что ни в каком случае не уедет из Парижа навсегда, Сван подумал, что только этого он и хочет. Он знал, что Одетта надолго уезжала из Парижа раз в год: на август и на сентябрь, — следовательно, в его распоряжении было несколько месяцев, чтобы растворить печальную мысль об ее отъезде в грядущем, а о нем он начинал думать задолго до разлуки, и оно, сотканное из дней, ничем не отличавшихся от настоящих, прозрачное и холодное, протекало у него в сознании, наполняя его грустью, но не слишком больно раня его. Стоило ей, однако, вымолвить слово, и это жившее

[229] Примечания: 229

...Магомет II заколол ее кинжалом, дабы, как... замечает его венецианский биограф, вновь обрести свободу духа. — Речь идет об эпизоде из жизни Магомета Второго, рассказанном в книге итальянского историка Джованни Мариа Анжиолело «Турецкая история», написанной после пребывания в турецком плену в 1470 г. В книге говорится о том, как султан в присутствии всего двора зарезал кинжалом молодую гречанку Ирену, в которую был безумно влюблен, но решил от нее освободиться, дабы любовь не препятствовала государственным делам.

внутри Свана будущее, эта бесцветная вольная река застывала, как ледяная глыба, оплотневала, промерзала до дна, и Свана внезапно как бы наполняло огромное количество прочной массы, давившей на внутренние стенки его существа, так что оно едва выдерживало этот напор. А все из-за того, что Одетта с улыбкой сказала, искоса взглянув на него: «На Троицын день Форшвиль отправляется в весьма заманчивое путешествие. Он едет в Египет», — и Сван мгновенно догадывался, что она хотела этим сказать: «На Троицын день я еду с Форшвилем в Египет». И в самом деле, несколько дней спустя Сван говорил ей: «Да, кстати, ты мне сообщила, что собираешься ехать с Форшвилем», а она, не моргнув глазом, подтверждала: «Да, милый, мы уезжаем девятнадцатого; мы пришлем тебе открыточку с пирамидами». В такие минуты ему хотелось допытаться, не любовница ли она Форшвиля, спросить у нее об этом прямо. Он знал, что она слишком суеверна для того, чтобы дать любую лживую клятву, а кроме того, раньше Свана удерживала боязнь рассердить Одетту допросом, вызвать у нее ненависть к себе, но теперь он утратил всякую надежду на взаимность, и его страх исчез.

Однажды Сван получил анонимное письмо, в

котором доводилось до его сведения, что Одетта — любовница многих мужчин (в том числе — Форшвиля, де Бреоте, художника) и женщин и что она часто посещает дома свиданий. Свана мучила мысль, что такого рода письмо способен ему прислать кто-то из друзей (некоторые подробности указывали на то, что аноним близко наблюдал жизнь Свана). Он строил догадки, кто бы это мог быть. Но Сван не мог составить себе хотя бы приблизительное представление о поступке того или иного лица, если ему не удавалось установить непосредственную связь между поступком этого человека и его словами. Он ломал себе голову над тем, где находится неведомая область, в которой мог зародиться этот гнусный поступок: под нравом де Шарлю, или де Лом, или д' Орсана, — нравом, каким он представляется с виду, но, поскольку в его присутствии никто из них никогда не одобрял анонимок, поскольку все, что они по этому поводу говорили, свидетельствовало об их отрицательном отношении к анонимным письмам, Сван не видел оснований для того, чтобы приписать эту низость кому-либо из них. Де Шарлю был чудаковат, но, в сущности, добр и мягок; де Лом суховат, но нравственно чистоплотен и прям. А д'Орсан умел, как никто,

утешить Свана в самых печальных обстоятельствах, он всегда держал себя в высшей степени тактично и порядочно. Вот почему Свану была не ясна та неблаговидная роль, какую д'Орсан якобы играл по отношению к одной богатой женщине, с которой он был в связи, и всякий раз, когда Сван думал о д'Орсане, он отбрасывал его дурную репутацию, не вязавшуюся с множеством доказательств его честности. Чтобы в голове у него хоть немного прояснилось, Сван заставил себя думать о другом. Затем собрался с духом, и мысли его приняли прежнее направление. Но так как он не подозревал никого в частности, то ему пришлось заподозрить всех. Ну что ж, что де Шарлю его любит, что у него доброе сердце! Но он неврастеник, завтра он может заплакать, узнав, что Сван болен, а сегодня из ревности, в запальчивости, под влиянием какой-нибудь неожиданно пришедшей ему в голову мысли, сознательно причинит ему зло. В сущности, нет хуже этой породы людей. Принц де Лом, разумеется, любит Свана гораздо меньше, чем де Шарлю. Но именно поэтому отношения у него со Сваном проще; и потом, это, конечно, человек по натуре холодный, но зато неспособный ни на подлости, ни на подвиги; Сван упрекал себя в том, что привязывался только к таким людям.

Затем он приходил к заключению, что человеку мешает делать зло ближнему своему доброта и что, в сущности, он, Сван, способен дружить только с теми людьми, с кем у него сродство душ, и вот таким человеком, в смысле отзывчивости, был де Шарлю. Представив себе, что он причинит Свану горе, Шарлю пришел бы в негодование. А можно ли предугадать, как поступит принц де Лом, человек бессердечный, человек совсем другого пошиба, под влиянием совсем иных побуждений? Быть добрым — это все, а де Шарлю был добр. Д'Орсан тоже был человек не злой, и его отношения со Сваном, приязненные, хотя и далекие, сложившиеся благодаря тому, что они оказались единомышленниками и беседы их доставляли удовольствие обоим, были спокойнее, чем пламенная любовь де Шарлю, способная и на хороший, и на дурной порыв. Единственный человек, на понимание которого Сван всегда мог рассчитывать и который всегда был тактичен в выражении своих чувств, это д'Орсан. Ну а как же его предосудительное поведение? Теперь Сван жалел, что прежде не придавал этому значения, что часто утверждал в шутку, будто никто не умеет внушать ему такую симпатию и уважение как заведомый негодяй. «Нужно же считаться с

тем, — убеждал он себя теперь, — что, с тех пор как люди научились судить ближнего своего, они судят о нем по его делам. Имеют значение только дела, а совсем не слова и не мысли. Каковы бы ни были недостатки де Шарлю и де Лома, это люди порядочные. У д' Орсана может и не быть таких недостатков, и все-таки порядочным человеком его не назовешь. Никогда не знаешь, чего можно от него ожидать». Потом Сван заподозрил Реми — правда, Реми мог только подбить кого-нибудь, и все же Свану показалось, что он напал на след. Прежде всего Лоредан имел основание быть злым на Одетту. Да и что же, собственно, неправдоподобного, что наших слуг, смотрящих на нас снизу вверх, прибавляющих к нашим денежным средствам и к нашим недостаткам воображаемые богатства, которым они завидуют, и воображаемые пороки, за которые они нас презирают, сама судьба заставляет действовать иначе, чем действуют люди нашего круга? Сван заподозрил еще и моего деда. Разве мой дед не отказывал Свану всякий раз, когда тот просил его о каком-нибудь одолжении? При этом дед, с его мещанским взглядом на жизнь, наверное, был убежден, что поступает так для пользы Свана. Еще Сван заподозрил Бергота, художника Вердюренов и опять

мысленно восхитился светскими людьми, не желавшими знаться с артистическими кругами, где такие вещи допустимы и даже могут сойти за милые шутки; но ему тут же вспомнилась прямота богемы по контрасту с изворотливыми, почти с мошенническими проделками аристократии, которую на это нередко толкают безденежье, любовь к роскоши, порочные наслаждения. Словом, анонимное письмо доказывало, что среди его знакомых есть человек, способный на мерзость, но Сван отказывался понимать, почему эта мерзость скорее должна скрываться в никем не исследованных недрах души человека мягкого, чем в недрах души человека холодного, скорее в недрах души художника, чем обывателя, вельможи, чем слуги. Какое избрать мерило для оценки людей? В сущности, любой из его знакомых мог совершить скверный поступок. Ну так что же, перестать с ними со всеми встречаться? Мысли у Свана смешались; он несколько раз провел рукой по лбу, протер носовым платком очки; затем, подумав, что люди, бывающие у де Шарлю, у принца де Лома и у других, в сущности, ничем не хуже его, он рассудил, что это не значит, что они не способны на подлость, но не водить с ними знакомство нельзя — к этому вынуждает

жизненная необходимость, распространяющая свою власть на всех. И Сван продолжал пожимать руки друзьям, находившимся у него на подозрении, — пожимать подчеркнуто холодно, так как Сван мог предполагать, что эти люди только и думают, как бы вывести его из равновесия.

Самое письмо нисколько не взволновало Свана: все, в чем обвинялась Одетта, не имело и тени правдоподобия. Как большинство людей, Сван страдал умственною ленью и не отличался живостью воображения. Он усвоил ту истину, что человеческая жизнь вообще соткана из противоречий, но когда дело касалось какого-нибудь определенного лица, то в представлении Свана неизвестная ему часть жизни этого человека ничем не разнилась от известной. Он дорисовывал то, о чем умалчивалось, с помощью того, о чем говорилось. Когда Одетта была с ним и они обсуждали чей-нибудь неделикатный поступок или неделикатность в проявлении чувства, Одетта их порицала, исходя из тех же нравственных принципов, каким неуклонно следовали родители Свана и каким оставался верен он сам; затем Одетта приводила в порядок цветы, выпивала чашку чаю, интересовалась работами Свана. И Сван распространял эти привычки на всю осталь-

ную жизнь Одетты; когда он пытался представить себе, что́ она делает вдали от него, он повторял эти ее движения. Если бы Свану описали Одетту и он удостоверился, что такою, как она есть, или, вернее, какою она в течение долгого времени бывала с ним, она бывает и с кем-нибудь еще, то это причинило бы ему боль, так как образ ее показался бы ему правдивым. Но что она ходит к сводням, предается однополой любви, ведет распутную жизнь отбросов общества — какая это немыслимая чушь, которую, слава тебе, Господи, опровергают и воображаемые хризантемы, и ежедневные чаепития, и благородное ее негодование! И лишь время от времени Сван намекал Одетте, что люди по злобе рассказывают ему о каждом ее шаге; вставив к месту какую-нибудь неважную, но невыдуманную подробность, которая стала ему известна случайно, вставив так, словно это у него вырвалось невольно и словно это лишь одна из многих частностей, вместе составляющих полную картину жизни Одетты, хранящуюся у него в душе, Сван давал ей понять, будто он осведомлен о вещах, которых на самом деле он не знал и о которых даже не подозревал, — ведь он так часто заклинал Одетту не извращать истину именно потому, что он, иной раз сам того

не сознавая, хотел, чтобы Одетта говорила ему о себе все. Сван внушал Одет-те, что он ценит откровенность, и он действительно ценил ее, но так, как ценят сводню, которая может держать мужчину в курсе дел его любовницы. Таким образом, любовь Свана к откровенности, поскольку она была небескорыстна, не являлась его добродетелью. Истину, которой он так дорожил, Одетта от него бы не утаила, но, чтобы узнать ее, он не стыдился прибегать ко лжи, а между тем Одетте он доказывал, что ложь нравственно разлагает человека. В общем, он лгал не реже, не потому что он был такой же эгоист, как Одетта, но только несчастнее ее. А она, слушая рассказ Свана о ней самой, смотрела недоверчиво и, на всякий случай, сердито, — лишь бы не выглядеть пристыженной и не краснеть за свои поступки.

Как-то, в период довольно долгого для Свана спокойствия, не омрачаемого припадками ревности, он согласился поехать вечером в театр с принцессой де Лом. Когда же он развернул газету — посмотреть, что сегодня идет, название пьесы

Теодора Барьера «Мраморные девушки»[230] так больно хлестнуло его по глазам, что он откинулся на спинку кресла и отвернулся. Как бы освещенное огнями рампы, попавшее в необычную обстановку, слово «мрамор», которое Сван утратил способность воспринимать — так часто мелькало оно у него перед глазами — вновь приобрело четкость и напомнило ему старый рассказ Одетты о том, как она была с г-жой Вердюрен на выставке во Дворце промышленности и как г-жа Вердюрен сказала ей: «Берегись, я сумею тебя растопить — ты ведь не мраморная». Одетта убедила Свана, что это была шутка, и он не придал ей никакого значения. Но тогда он больше доверял Одетте. А в анонимном письме говорилось именно о такого рода любви. Сван перевернул страницу, чтобы взгляд его вновь не упал на слова: «Мраморные девушки», и стал машинально читать сообщения из провинции. Ураган, пронесшийся над Ла-Маншем, произвел разрушения в Дьеппе, в Кабуре, в Бёзвале. И опять Сван откинулся на спинку кресла.

---

[230] Примечания: 230

«Мраморные девушки» — пьеса Теодора Барьера (1823–1877), популярного в эпоху Второй Империи драматурга. Премьера состоялась в 1853 г. в водевильном театре. «Мраморные девушки» — это актрисы, лишенные сердца, отвращающие скульптора Рафаэля от его призвания.

Название Бёзваль напомнило Свану местечко в той же самой области: Бёзваль, соединенный тире с другим названием: Бреоте, — он часто встречал его на географических картах, но только сейчас впервые обратил внимание, что такую фамилию носит его приятель — де Бреоте, о котором в анонимном письме говорилось, что он был любовником Одетты. Что касается де Бреоте, то, в конце концов, тут ничего невероятного нет, но насчет г-жи Вердюрен — это уж не может быть. Одетта иногда лгала, но это еще не значило, что она никогда не говорила правды, и те слова, какими она обменялась с г-жой Вердюрен, те, что сама же она передала Свану, он воспринял как пустые и опасные шутки, которые по своей неопытности и неискушенности в пороке отпускают, тем самым обнаруживая свою невинность, такие, как Одетта, менее, чем кто-либо, способные воспылать страстью к женщине. То, как Одетту разозлили подозрения, которые она своим рассказом на короткое время возбудила у Свана, вполне соответствовало всему, что было Свану известно о вкусах, о темпераменте его любовницы. Но на Свана внезапно нашло озарение — так перед поэтом, до сих пор умевшим только подбирать рифмы, вдруг открывается глубокая

мысль, а перед ученым, обладавшим скудным запасом наблюдений, — закон: именно в этой мысли, в этом законе они почерпнут всю свою мощь, — и ему вспомнилось, что Одетта говорила два года назад: «О, для госпожи Вердюрен никого, кроме меня, сейчас не существует! У нас с ней любовь, она меня целует, хочет, чтобы я всюду ее сопровождала, чтобы я говорила ей *ты*». Сван не усмотрел тогда связи между этими словами Одетты и вздорными рассуждениями, в которые она пускалась для придания себе порочности, — эти ее слова он воспринял только как доказательство пламенной дружбы между г-жой Вердюрен и ею. Но теперь воспоминание о нежностях г-жи Вердюрен внезапно связалось с воспоминанием о дурного тона разговоре, который как-то завела с ним Одетта. Сван не мог отделить одно от другого в своем сознании, как сплелось одно с другим для него и в жизни: нежности придавали нечто серьезное и значительное шуткам, а шутки отнимали у нежностей их как будто бы невинный характер. Сван отправился к Одетте. Сел от нее подальше. Он не решался поцеловать ее, так как не знал, что́ пробудит поцелуй и в ней, и в нем самом: гнев или страсть. Он молчал, он смотрел, как умирает их любовь. И вдруг решился.

— Одетта, родная моя, — заговорил Сван, — я сознаю, что это подло, и все-таки мне нужно спросить тебя кое о чем. Помнишь, я как-то раз подумал о тебе и о госпоже Вердюрен? Скажи, было ли у тебя что-нибудь на самом деле с ней или с другой?

Одетта, поджав губы, покачала головой — так обыкновенно отвечают люди, что они не пойдут, что это им не интересно, когда кто-нибудь их приглашает: «Поедемте смотреть верховую езду! Не хотите ли поглядеть обозрение?» Но такое покачивание головой, обычно выражающее нежелание принять участие в чем-нибудь, что еще только должно быть, именно поэтому вносит некоторую долю неуверенности в отрицание участия в том, что уже совершилось. И даже больше: это не столько осуждение, не столько подтверждение безнравственности того или иного явления, сколько забота о чистоте собственной репутации. Как только Одетта сделала движение в знак того, что он ошибается, Сван понял, что, может быть, он недалек от истины.

— Я же тебе говорила, ты же прекрасно знаешь, — сказала она с обидой и раздражением в голосе.

— Да, знаю, но ты-то сама уверена? Ты мне не

говори: «Ты же прекрасно знаешь», а скажи: «У меня никогда ничего подобного не было ни с одной женщиной».

Одетта повторила эти слова как затверженный урок, насмешливым тоном и как бы желая, чтобы он от нее отвязался:

— У меня никогда ничего подобного не было ни с одной женщиной.

— А ты можешь мне поклясться на твоем образке Лагентской Божьей Матери?

Сван знал, что Одетта никогда не даст на этом образке лживой клятвы.

— Нет, это просто наказание! — рванувшись, воскликнула Одетта, она как бы стремилась высвободиться из тисков вопроса. — Что с тобой сегодня? Какая тебя муха укусила? Ты хочешь, чтобы я тебя возненавидела, чтобы я тебя не переваривала? А я-то решила быть с тобой попрежнему, как в лучшие времена, и вот благодарность!

Но Сван, не отпуская Одетту, точно хирург, который дожидается, пока пройдет спазм, вынуждающий его не отказаться от операции, а лишь прервать ее, заговорил с ней тоном внушительным и притворно нежным:

— Ты глубоко ошибаешься, Одетта, если вооб-

ражаешь, будто я хоть сколько-нибудь на тебя сержусь. Я говорю с тобой только о том, что мне известно, а известно мне гораздо больше, чем ты можешь предполагать. Но ты одна своим признанием способна утишить то, что вызывает у меня ненависть к тебе, — вызывает только оттого, что я узнаю об этом от других. Гнев будят во мне не твои поступки, — я тебе все прощаю, потому что люблю тебя, — а твоя лживость, твоя бессмысленная лживость, заставляющая тебя упорно отрицать то, что мне известно. Как же я могу тебя любить, раз ты меня уверяешь, раз ты даешь клятвы, хотя мне доподлинно известно, что все это ложь? Не тяни, Одетта, это пытка для нас обоих. Тебе стоит только захотеть — и с этим будет покончено в одну секунду, ты будешь избавлена от этого навсегда. Поклянись мне на твоем образке, скажи «да» или «нет», было ли это у тебя когда-нибудь.

— Ну почем же я знаю! — в бешенстве крикнула Одетта. — Может быть… очень давно… причем я сама не отдавала себе в этом отчета… раза два-три.

Сван предусмотрел все варианты ответа. На самом деле было, значит, что-то, не имевшее никакого отношения к тому, что он пытался

предугадать, так же как не имеет отношения нанесенный нам удар ножом к облакам, медленно собирающимся у нас над головой: эти ее слова — «раза два-три» — впились ему в сердце. Как странно: эти слова — «раза два-три», — всего-навсего слова, слова, прозвучавшие в воздухе, на известном расстоянии от Свана, почти физически разорвали ему сердце, отравили его, как отравляет яд. Свану невольно вспомнились слова, которые он слышал у маркизы де Сент-Эверт: «Меня еще ничто так не потрясало, если не считать вращающихся столиков». Сван не думал, что ему будет так больно. Больно не только оттого, что, когда он терял к Одетте всякое доверие, ему все же редко представлялась такая степень испорченности, но еще и оттого, что, даже когда эта ее испорченность возникала в его воображении, она неизменно рисовалась ему расплывчатой, неопределенной, — в ней не было и тени того ужаса, что исходил от слов: «раза два-три»; она не заключала в себе той особой жестокости, которая была так же не похожа на все, что было им пережито до сих пор, как не похожа на другие болезни та, которой мы заболеваем впервые. И все-таки, хотя Одетта являлась носительницей зла, она была по-прежнему дорога Свану, — нет,

даже еще дороже: чем сильнее он страдал, тем как бы усиливалось действие успокоительного, действие противоядия, которым обладала только эта женщина. Ему хотелось ухаживать за ней, как за тяжелобольной. Ему хотелось, чтобы то ужасное, в чем она ему призналась и что было у нее «раза два-три», больше не повторялось. Для этого нужно было следить за Одеттой. Часто приходится слышать, что когда кто-нибудь указывает своему другу на недостатки его любовницы, то это только еще больше привязывает его к ней, потому что друг этому не верит, ну а если б даже и поверил, то ведь привязался бы еще сильнее! Но как же уберечь ее? — спрашивал себя Сван. Он еще мог бы, пожалуй, оградить ее от какой-то одной женщины, но ведь найдутся же другие, и тут Сван понял, какое это было безумие, когда он, не застав вечером Одетту у Вердюренов, возжаждал обладания — всегда невозможного — другим существом. К счастью для Свана, естественная основа его души, затопленной новыми страданиями, основа изначальная, мягкая, неслышно делала свое дело, — так клеточки раненого органа тотчас приступают к восстановлению поврежденных тканей, так мускулы парализованного члена пытаются по-прежнему двигаться.

Эти давние, коренные жители его души временно употребили все силы Свана на незримо восстановительную работу, которая создает для выздоравливающего, для оперированного иллюзию покоя. На этот раз, сверх обыкновения, перенапрягся не столько мозг Свана, сколько его сердце. Но все, что случилось однажды в жизни, стремится к повторению. Подобно издыхающему животному, по телу которого вновь пробегает как будто бы уже кончившаяся судорога, сердце Свана, ненадолго давшее ему отдых от боли, мучительно сжалось вновь. Свану вспомнились лунные вечера, когда, развалившись в коляске, мчавшей его на улицу Лаперуза, он с наслаждением вызывал в себе чувства влюбленного, не помышляя о том, что они неминуемо принесут отравленный плод. Но все эти мысли промелькнули у него в голове мгновенно, пока он схватился за сердце, перевел дух и смог изобразить на своем лице улыбку, скрывавшую его душевную муку. Он опять начал задавать вопросы. Дело в том, что его ревность, поставившая перед собою цель, какой не поставил бы перед собой злейший его враг, — нанести ему страшный удар, причинить ему такую адскую боль, какой он еще никогда не испытывал, — его ревность, полагая, что он

еще не дострадал, старалась нанести ему более глубокую рану. Точно злой дух, ревность воодушевляла Свана и толкала его к гибели. Если эта пытка сразу же не стала нестерпимой, то это была заслуга не его, а Одетты.

— Ну, моя родная, с этим покончено, — сказал он, — но я эту женщину знаю?

— Да нет, клянусь тебе! И потом, я, должно быть, наговорила на себя лишнего — до конца это у меня никогда не доходило.

Он улыбнулся и продолжал:

— Ну что там, это не важно, жаль только, что ты не хочешь сказать — с кем. Если б я ее себе ясно представил, я бы перестал о ней думать. Ведь я о тебе же забочусь: тогда бы я от тебя отстал. Когда что-нибудь себе представишь, это так успокаивает! Самое ужасное — это когда нельзя вообразить. Но ты и так уже была со мной достаточно откровенна — больше я не буду тебе надоедать. Ты для меня столько сделала — огромное тебе спасибо! С этим покончено. Только один вопрос: давно это было?

— Ах, Шарль, ты меня извел! В незапамятные времена. Я совершенно об этом позабыла — можно подумать, что ты нарочно мне об этом напоминаешь. Что ж, ты достигнешь своей це-

ли, — отчасти по глупости, отчасти умышленно уколола его она.

— Мне только хотелось выяснить, было это до нашего знакомства или после. Вопрос вполне естественный. Это происходило здесь? Не скажешь ли, в какой из вечеров, чтобы я восстановил в памяти, чем я был занят в тот вечер? Согласись, Одетта, радость моя, что ведь ты не могла забыть — с кем?

— Да нет же, не помню! Кажется, вечером, в Булонском лесу, когда ты приехал к нам на остров. Ты ужинал у принцессы де Лом, — сказала Одетта, радуясь, что припомнила подробность, свидетельствовавшую о ее правдивости. — За соседним столиком сидела женщина, с которой мы давным-давно не видались. Она мне предложила: «Зайдемте вон за тот камень, посмотрим, как вода блестит под луной». Я зевнула и ответила ей: «Нет, я устала, мне и здесь хорошо». Она начала уверять меня, что сегодня лунный свет как-то особенно прекрасен. Я ей сказала: «Вранье!» Я отлично понимала, чего ей хочется.

Одетта рассказывала со смешком — то ли потому, что это казалось ей вполне естественным, то ли желая показать, что она не придает этому особого значения, то ли боясь, что ее лицо может

принять виноватое выражение. Но, взглянув на Свана в упор, она заговорила по-другому:

— Противный! Тебе нравится меня мучить, заставлять меня лгать, — я поневоле лгу, чтобы ты оставил меня в покое.

Этот второй удар, нанесенный Свану, был еще жесточе первого. Сван никак не мог предполагать, что это произошло так недавно, почти у него на глазах, а он ничего и не заметил, что это относилось не к прошлому, которого он не знал, что это происходило вечерами, которые он отлично помнил, которые он проводил с Одеттой, о которых, как ему казалось, он знал все и в которых теперь, когда он на них оглядывался, он видел нечто коварное и жестокое; в их вечерах внезапно разверзалась пропасть — этот промежуток времени на острове в Булонском лесу. Одетта была неумна, но она отличалась пленительною естественностью. Она рассказала, она проиграла эту сцену с такой непринужденностью, что Сван, тяжело дыша, видел все: зевок Одетты, камень. Он слышал, как она — увы, весело! — ответила: «Вранье!» Он чувствовал, что сегодня она ничего ему больше не скажет, что сейчас бесполезно ждать от нее дальнейших саморазоблачений; он сказал Одетте: «Прости, бедняжка, я сознаю, что

делаю тебе больно, с этим покончено, я не буду больше об этом думать».

Но она видела, что его взгляд устремлен в неизвестное, устремлен в прошлое их любви, слитное, до сих пор вспоминавшееся им с отрадой, потому что он различал его смутно, а теперь разорванное, точно от ранения, этой минутой на острове в Булонском лесу, при лунном свете, после ужина у принцессы де Лом. Но Сван привык думать, что жизнь интересна, привык восхищаться любопытными открытиями, которые можно было совершать в ней, и, даже сознавая, что такой муки ему долго не вынести, он говорил себе: «А ведь жизнь и правда удивительна — сколько в ней неожиданностей! Очевидно, порок шире распространен, чем мы думаем. Вот, например, женщина, которой я так верил, которая кажется такой простодушной, такой порядочной, пусть даже легкомысленной, но, во всяком случае, нормальной, здоровой. Получив неправдоподобный донос, я допрашиваю ее, и то немногое, в чем она сознается, открывает мне гораздо больше, чем я мог подозревать». Но Сван не в силах был ограничиться этими умозаключениями. Он пытался точно определить ценность сообщенного Одеттой, чтобы уяснить себе, часто ли у нее это

бывало и повторится ли еще. Он мысленно твердил себе ее слова: «Я отлично понимала, чего ей хочется», «раза два-три», но они оживали в его памяти не безоружными: у каждого был нож, и каждое наносило удар. Точно больной, который не может удержаться, чтобы поминутно не делать движения, причиняющего ему боль, Сван долго повторял: «Мне и здесь хорошо», «вранье!», однако боль была так сильна, что в конце концов он перестал. Он диву давался, что поступки, к которым он прежде относился так легко, так благодушно, теперь казались ему серьезными, как опасная болезнь. Он мог бы попросить многих женщин последить за Одеттой. Но как знать, станут ли они на его теперешнюю точку зрения, не удержатся ли они на той, на которой он сам стоял до сих пор, на той, с которой он смотрел на свои сердечные дела, не скажут ли они ему со смехом: «Гадкий ревнивец! Самому можно, а другим нельзя?» Какой люк внезапно под ним опустился (под ним, которому в былое время любовь к Одетте доставляла лишь самые утонченные наслаждения), для того чтобы низвергнуть его в новый круг ада, откуда он не видел для себя выхода? Бедная Одетта! Он ее не осуждал. Она была виновата только наполовину. Ведь говори-

ли же, что в Ницце родная мать продала ее, еще почти девочку, богатому англичанину. Но какая горькая правда открывалась теперь для Свана в строках из «Дневника поэта» Альфреда де Виньи, которые он раньше читал равнодушно: «Когда мужчина влюбляется в женщину[231], он должен задать себе вопрос: „Кто ее окружает? Как она жила прежде? “ От этого зависит счастье всей его жизни». Сван дивился, что самые обыкновенные фразы, перечитываемые его мыслью: «Вранье!», «я отлично понимала, чего ей хочется», — могли делать ему так больно. Вместе с тем он сознавал, что то были не просто фразы, но части костяка, на котором держались готовые в любую минуту возобновиться страдания, которые он испытывал, слушая рассказ Одетты. Ведь как раз сейчас он вновь испытывал такие же страдания. Теперь ему уже не помогало сознание своей осведомленности, — теперь ему уже ничто не помогло бы, даже если б он с течением времени что-то забыл, что-то простил, — ему стоило мысленно повторить слова Одетты, и прежняя мука снова превращала Свана в того, каким он был до

---

[231] Примечания: 231

«Когда мужчина влюбляется в женщину…» — неточная цитата из «Дневника поэта» (опубл. 1867) французского писателя Альфреда де Виньи (1799–1863).

разговора с нею: ничего не знающим, во всем доверяющим; чтобы признание Одетты добило Свана, беспощадная ревность опять ставила его в положение человека, который ничего не знает, и спустя уже несколько месяцев эта старая история все еще потрясала его, как новость. Сван дивился страшной воссоздающей силе своей памяти. Он мог надеяться, что страдания его утихнут после того, как эта производительница ослабеет, ибо ее плодовитость с возрастом идет на убыль. Но когда способность, которой обладали слова Одетты, — способность причинять ему боль — как будто бы иссякла, вдруг одно ее слово, на котором до сих пор внимание Свана особенно не задерживалось, слово почти для него новое, являлось на смену другим и наносило ему свежую рану. Воспоминание о вечере, когда он ужинал у принцессы де Лом, было для него мучительно, но это был только центр его боли. Боль молниеносно распространялась вокруг, на все ближайшие дни. И как бы далеко ни уходили его воспоминания, от этого ему не становилось легче: вся та летняя пора, когда Вердюрены часто обедали на острове в Булонском лесу, ему причиняла боль. Такую острую, что любопытство, которое в нем возбуждала ревность, постепенно умерялось страхом

новых мучений, которым он бы себя подвергал, удовлетворяя свое любопытство. Он сознавал, что жизнь Одетты до встречи с ним — жизнь, которую он и не пытался себе представить, не есть некое умозрительное пространство, неясно рисующееся ему, что она состоит из годов, непохожих один на другой, изобиловавших определенными событиями. Но он боялся, что если он примется изучать эти годы, то бесцветное, текучее, терпимое прошлое Одетты приобретет осязаемую, отвратительную телесность, неповторимое демоническое обличье. И он по-прежнему не пытался постичь ее прошлое, но уже не из-за умственной лени, а из страха боли. Он все же надеялся, что настанет день, когда при нем заговорят об острове в Булонском лесу, о принцессе де Лом, и у него уже не будет разрываться на части сердце, — вот почему он считал неблагоразумным вырывать у Одетты новые признания, вызнавать у нее названия мест действия, при каких обстоятельствах происходило то-то и то-то: все это вызвало бы у него новый приступ только-только притихшей боли — приступ, непохожий на прежние.

Но часто сама Одетта невольно, не отдавая себе отчета, открывала Свану то, чего он не знал и что теперь он боялся узнать; в самом деле, Одетта

не представляла себе, как велик разрыв между ее действительной жизнью и жизнью относительно добродетельной, какую создало и все еще продолжало создавать воображение Свана: существо порочное, постоянно играющее в добродетель перед теми, от кого оно желает утаить свои пороки, лишено возможности проверить, насколько эти пороки, непрерывно растущие незаметно для него самого, постепенно уводят его от нормального образа жизни. Поступки Одетты, сосуществовавшие в ее сознании с теми, которые она скрывала от Свана, постепенно окрашивались в их цвет, заражались от них, и она уже не видела в них ничего необычного, они уже не звучали фальшиво в той особой среде, где они у нее жили; но, когда она рассказывала о них Свану, его ужасала та атмосфера, которая, как это явствовало из ее рассказа, окутывала их. Однажды он осмелился спросить Одет-ту — так, чтобы это ее не оскорбило, — имела ли она когда-нибудь дело со своднями. Откровенно говоря, он был уверен, что нет; после анонимного письма в душу к нему запало подозрение, но запало механически; оно не укрепилось у него в душе, но все же осталось, и, чтобы избавиться от чисто физического, но все же досадительного раздражения, Сван обра-

тился к Одетте с просьбой вырвать его с корнем. «О нет! Хотя они за мной гонялись, — сказала Одетта, улыбаясь выражавшей удовлетворенное тщеславие улыбкой и не желая понять, что Свану она может показаться неуместной. — Да вот не далее как вчера одна из них больше двух часов прождала меня, уверяла, что я могу заломить любую цену. Наверно, какой-нибудь посол пригрозил ей: „Если вы ее не приведете, я покончу с собой “. Ей сказали, что меня нет, но в конце концов мне все-таки пришлось выйти и турнуть ее. Ты бы слышал, как я с ней разговаривала! Горничная была в это время в соседней комнате и потом рассказывала, как я на нее орала: „Говорят вам, я не желаю! И что это вам в голову взбрело? Кажется, я сама себе госпожа! Если б я сидела без денег, это было бы еще понятно… “ Швейцару я велела не пускать ее, сказать, что я уехала за город. Вот было бы здорово, если б ты тогда спрятался! Ты бы, миленький мой, остался доволен. Теперь ты видишь, что в твоей маленькой Одетте все-таки есть что-то хорошее, хоть ее и бранят на все корки».

Итак, даже когда Одетта сознавалась в проступках, слух о которых, как она предполагала, мог дойти до Свана, ее признания чаще рождали в

нем новые подозрения, чем рассеивали прежние. Дело в том, что подозрения Свана никогда не исчерпывались ее признаниями. Одетта нарочно не касалась в своей исповеди ничего существенного, но зато какая-нибудь частность, которая и не снилась Свану, ошеломляла его своей неожиданностью и изменяла границу его ревности. И он уже не забывал ее признаний. Его душа, точно река — утопленников, несла их, ласкала, качала. Она была ими отравлена.

Однажды Одетта рассказала Свану о том, как в день празднества «Париж-Мурсия» к ней пришел Форшвиль. «Разве ты уже тогда была с ним знакома? Ах да, верно!» — чтобы скрыть свою неосведомленность, спохватился Сван. Но тут по его телу пробежала дрожь от одной мысли, что в день празднества «Париж-Мурсия», когда он получил от Одетты письмо, которое он так бережно хранил, Одетта, может быть, завтракала с Форшвилем в «Золотом доме». Она поклялась, что нет. «И все-таки „Золотой дом “ напоминает мне что-то неуловимо связанное с обманом», — чтобы припугнуть ее, сказал Сван. «Да, я там не была в тот вечер, когда ты искал меня у Прево, а тебе я сказала, что я только что из „Золотого дома“», — решив по выражению его лица, что

ему это известно, ответила Одетта с решимостью, в которой было гораздо больше робости, чем цинизма, гораздо больше скрываемой из самолюбия боязни рассердить Свана и, наконец, гораздо больше желания показать, что она может быть откровенна. Такой рассчитанный и сильный удар мог бы нанести Свану палач, хотя в самих словах Одетты не было ничего жестокого, потому что Одетта причинила Свану боль неумышленно; она даже рассмеялась — впрочем, быть может, главным образом для того, чтобы не иметь виноватого, смущенного вида. «Да, правда, я не была в „Золотом доме“, я шла от Форшвиля. Я действительно была у Прево, я тебе не наврала, там я встретила Форшвиля, и он пригласил меня к себе посмотреть гравюры. Но к нему кто-то пришел. Я тебе сказала, что иду из „Золотого дома“, потому что боялась, как бы ты на меня не рассердился. По-моему, я поступила правильно. Положим даже, я тогда была не права, зато сейчас я тебе сказала все как было. Какой же мне был бы смысл скрывать от тебя, что я завтракала с ним в день празднества „Париж-Мурсия“, если б я действительно с ним завтракала? Тем более что тогда мы с тобой еще не были близко знакомы, ведь правда же, мой родной?» Сван улыбнулся с тем внезап-

ным малодушием, какое нападает на человека, пришибленного убийственным значением чьих-либо слов. Итак, даже в то время, о котором он не смел вспоминать — до того это было счастливое время, — Одетта, тогда еще любившая его, уже лгала ему! Кроме случая с «Золотым домом» (а ведь это было в их первый «орхидейный» вечер), сколько, наверное, было других случаев, тоже скрывавших в себе ложь, но Сван об этом и не подозревал! Он припомнил слова Одетты: «Да я скажу госпоже Вердюрен, что платье мое было не готово, что запоздал кеб. Вывернуться всегда можно». Так, по всей вероятности, поступала она и с ним, лепеча слова, объяснявшие опоздание, оправдывавшие перенесение свидания на другой час и укрывавшие от него — хотя тогда он был еще далек от всяких подозрений — то, что было у нее с другим человеком, которому она говорила: «Да я скажу Свану, что платье мое было не готово, что запоздал кеб, вывернуться всегда можно». И теперь во всех самых отрадных воспоминаниях, во всех самых обыкновенных словах, которые прежде говорила Свану Одетта и которым он верил, как словам Евангелия, в повседневных ее делах, о которых она ему рассказывала, в самых привычных местах: в квартире у ее портнихи,

на авеню Булонского леса, в ипподроме, Сван различал под защитой лишнего времени, образующего даже в самые занятые дни просветы, промежутки и служащего тайником для иных поступков, скрытую возможность проползания лжи, осквернявшей все наиболее драгоценное, что еще у него оставалось (лучшие вечера, самую улицу Лаперуза, откуда Одетта исчезала всегда не в то время, какое она указывала Свану), на все отбрасывавшей тень того беспросветного ужаса, который ощутил Сван, услышав признание Одетты, касавшееся «Золотого дома», и, подобно нечистым тварям в разрушении Ниневии[232], не оставлявшей камня на камне от его прошлого. Теперь он старался отвлечься, как только память подсказывала ему злые слова: «Золотой дом», не потому, что они напоминали ему о давно утраченном счастье, как это с ним случилось на

[232] Примечания: 232

…подобно нечистым тварям в разрушении Ниневии… — Ниневия, столица древней Ассирии, разрушенная мидянами и вавилонянами в 606 г. до н. э. О разрушении Ниневии повествуется в Библии (Соф. 2, 13–15). На месте древнего города с 1843 г. велись раскопки, обнаружившие дворцы, статуи, клиновидные надписи и изображения фантастических существ, которые, согласно библейскому тексту, наводнят разрушенный город. Изображения подобных фантастических существ встречаются на барельефах западного портала Амьенского собора. Пруст описывает эти барельефы в предисловии к своему переводу «Амьенской Библии» Джона Рёскина (1819–1900), английского философа, искусствоведа и писателя.

днях у маркизы де Сент-Эверт, а потому, что они напоминали о несчастье, о котором он только что узнал. Позднее с названием «Золотой дом» произошло то же, что с островом в Булонском лесу: постепенно оно перестало мучить Свана. Ведь то, что мы именуем любовью, ревностью, не есть постоянная, недробимая страсть. Любовь и ревность состоят из бесчисленного множества одна другую сменяющих любовей, разнообразных ревностей, и все они преходящи, но их непрекращающийся наплыв создает впечатление постоянства, создает иллюзию цельности. Жизнь любви Свана, устойчивость его ревности составлялись из смерти и неустойчивости бесчисленных его желаний, бесчисленных сомнений, предметом которых всегда была Одетта. Если бы Сван долго не видался с ней, умершие в нем чувства не заменились бы новыми. Но присутствие Одетты продолжало бросать в сердце Свана то семена нежности, то семена подозрений.

Выдавались вечера, когда Одетта вдруг опять бывала с ним ласкова, и тогда она, не стесняясь, так прямо и говорила, что он должен пользоваться этим ее настроением, а то, мол, когда-то оно еще повторится; Свану ничего не оставалось, как сейчас же ехать к ней «орхидеиться», и это

желание, которое он будто бы вызвал в ней, было до того неожиданно, до того необъяснимо, до того настойчиво, ласки, которые она дарила ему, были до того бурны и до того необычны, что эта ее грубая, неискренняя нежность так же огорчала Свана, как ее ложь или злоба. Однажды вечером он явился по ее приказанию, и когда она, обычно такая холодная с ним, осыпáла его то поцелуями, то словами любви, ему вдруг послышался стук; он встал, все оглядел, никого не обнаружил, но у него не хватило смелости снова лечь рядом с Одеттой, — тогда она со злости разбила вазу. «Ты вечно все испортишь!» — сказала она. А у него осталось подозрение: не спрятала ли она кого-нибудь, в ком ей хотелось возбудить муки ревности или разжечь страсть?

В надежде что-нибудь узнать об Одетте он иногда ходил в дома свиданий, однако ни разу не назвал ее. «Есть у меня одна милашечка — она должна вам понравиться», — говорила хозяйка. И Сван целый час вел нудный разговор с бедной девушкой, дивившейся тому, что он этим довольствуется. Одна, совсем молоденькая, прехорошенькая, сказала ему: «Как бы мне хотелось найти себе друга! Вот уж тогда я больше ни к кому бы не пошла — он мог бы быть уверен». —

«Значит, по-твоему, если тронуть женщину своей любовью, так она уже никогда не изменит?» — взволнованно спросил Сван. «Убеждена! Все зависит от характера!» Сван говорил девицам такие вещи, которые должны были бы понравиться принцессе де Лом. Той, что искала друга, он с улыбкой сказал: «Ты мила, ты выбрала себе голубые глаза под цвет твоего пояса». — «А у вас голубые манжеты». — «Веселый разговор мы с тобой ведем, как раз подходящий для такого места! Тебе со мной не скучно? Может быть, у тебя есть дела?» — «Нет, я совершенно свободна. Если б мне было с вами скучно, я бы вам сказала. Наоборот, я слушаю вас с большим удовольствием». — «Весьма польщен. Ведь правда же, мы очень мило беседуем?» — обратился он к вошедшей хозяйке. «Очень! Я как раз сейчас говорила: „Как хорошо они себя ведут! “ Можете себе представить, ко мне теперь приходят просто поболтать. Недавно принц сказал, что здесь он чувствует себя лучше, чем с женой. Должно быть, теперь все светские дамы в таком же роде. Срамота! Ну, я вас покидаю, я женщина скромная». И она оставила Свана вдвоем с голубоглазой девицей. Но Сван вскоре поднялся и распрощался: ему было с ней неинтересно — она не знала Одетту.

Художник болел, и Котар прописал ему морское путешествие; кое-кто из верных изъявил желание поехать с ним; Вердюрены не могли себе представить, как это они останутся одни: сперва они наняли, потом купили яхту, и теперь Одетта часто отправлялась на морские прогулки. Во время ее недолгого отсутствия Сван всякий раз чувствовал, что отрывается от нее, но эта духовная отдаленность словно была в прямой зависимости от физической отдаленности: как только он узнавал, что Одетта вернулась, его неудержимо тянуло к ней. Однажды вся компания отправилась, как предполагалось вначале, всего лишь на месяц, но то ли путешественники вошли во вкус доро́гой, то ли Вердюрен, чтобы угодить жене, все это подстроил заранее и постепенно осведомлял верных о своих намерениях, — как бы там ни было, из Алжира они проехали в Тунис, оттуда в Италию, оттуда в Грецию, в Константинополь, в Малую Азию. Путешествие продолжалось около года. Сван был совершенно спокоен, почти счастлив. Как ни старалась г-жа Вердюрен убедить пианиста и доктора Котара, что тетка первого и пациенты второго в них не нуждаются и что, во всяком случае, неблагоразумно тащить г-жу Котар в Париж, где, как уверял Вердюрен, началась

революция, все же в Константинополе пришлось отпустить и того и другого. С ними уехал также художник. Как-то раз, вскоре после возвращения трех путешественников, Сван, увидев омнибус, отходивший в Люксембургский дворец, где у него были дела, вскочил и случайно сел как раз напротив г-жи Котар, — нарядно одетая, в шляпе с пером, в шелковом платье, с муфтой, зонтом, сумочкой для визитных карточек, в белых вычищенных перчатках, она объезжала тех, кто сегодня «принимал». В сухую погоду она во всем этом параде переходила из дома в дом, если дома находились в одном квартале, но уже в другой квартал ехала по пересадочному билету в омнибусе. Пока ее очарование — очарование чисто женское — еще не пробилось сквозь чопорность мещанки, г-жа Котар, к тому же не совсем твердо уверенная, удобно ли заговаривать со Сваном о Вердюренах, с полнейшей непринужденностью, как всегда — неторопливо, немузыкальным, тихим голосом, который временами совсем не был слышен из-за грохота омнибуса, сообщала кое-что из того, что слышала от других, и затем повторяла в двадцати пяти домах, где она успела побывать сегодня:

— Вы следите за всем, так что я не спрашиваю

вас, были ли вы у Мирлитонов[233], куда теперь сбегается весь Париж, и видели ли вы портрет Машара[234]. Что вы о нем скажете? Вы в стане поклонников или в стане хулителей? Во всех салонах только и разговору что о портрете Машара; не высказать о нем своего мнения — это дурной тон, это значит, что ты человек заскорузлый, отсталый.

Признавшись, что не видел портрета, Сван напугал г-жу Котар — она решила, что ему неприятно в этом признаваться.

— А, ну это другое дело: вы, по крайней мере, не скрываете, вы находите, что не видеть портрет Маша-ра — это не позор. По-моему, это очень мило с вашей стороны. Я-то его видела. Мнения разделились. Некоторые считают, что это чересчур отделано, что это напоминает взбитые сливки, а по-моему, дивно. Конечно, она не похожа на синих и желтых женщин нашего друга Биша. Но я вам скажу откровенно: можете считать, что я

---

[233] Примечания: 233

«Мирлитоны» — художественный кружок, основанный в 1860 г., преобразованный впоследствии в Кружок Союза художников, располагавшийся на улице Буасси-д'Англа, где проходили ежегодные выставки.

[234] Примечания: 234

Машар, Жюль-Луи (1839–1900) — французский художник, дебютировавший в Салоне 1863 г. и ставший знаменитым портретистом.

недостаточно передовых взглядов, но я говорю то, что думаю, — я его не понимаю. Ах, боже мой, разумеется, я признаю, что портрет моего мужа не без достоинств, в нем меньше странностей, чем вообще у Биша, но все-таки ему зачем-то понадобилось, чтобы у моего мужа были синие усы. Зато Машар!. Знаете, муж моей подруги, к которой я сейчас направляюсь (благодаря этому я имею удовольствие ехать вместе с вами), обещал ей, что если его выберут в академики (он — коллега доктора), то он закажет Машару ее портрет. Какое это счастье! У меня есть еще одна подруга, так та уверяет, что ей больше нравится Лелуар[235]. Я ничего не смыслю в искусстве, и, может быть, Лелуар как мастер еще выше Машара. Но все-таки я думаю, что главное достоинство портрета, особенно если он стоит десять тысяч франков, это — сходство, и притом сходство, ласкающее взор.

Поговорив на эту тему, к чему г-жу Котар обязывали величина пера на шляпе, монограмма на сумочке, номерок, выведенный чернилами на изнанке перчаток чистильщиком, а также то,

---

[235] Примечания: 235

Лелуар — существует несколько художников, носивших эту фамилию: Александр (1843–1884), его брат Морис (1853–1940), а также их отец Жан-Батист-Огюст (1809–1892); все трое получили известность в конце XIX века как портретисты и иллюстраторы.

что ей было неловко заговаривать со Сваном о Вердюренах, и убедившись, что до угла улицы Бонапарта, где кондуктор должен был остановить омнибус по требованию, еще далеко, она прислушалась к голосу своего сердца, подсказывавшему ей нечто совсем другое.

— У вас, наверно, все время горело ухо, пока мы путешествовали с госпожой Вердюрен. Мы только о вас и говорили.

Это удивило Свана — он был уверен, что его имя больше не произносится у Вердюренов.

— Да ведь с нами была госпожа де Креси, а этим все сказано, — пояснила г-жа Котар. — Где бы Одетта ни была, она не может не заговорить о вас. И понятно, говорит она про вас только хорошее. Как! Вы сомневаетесь? — заметив скептический жест Свана, спросила г-жа Котар, а затем, сама поверив в то, что говорит, без всякой задней мысли употребив слово, которое обычно употребляют, когда речь идет о дружеской привязанности, продолжала: — Но ведь она же вас обожает! О, я бы никому не посоветовала при ней плохо о вас отозваться! Пусть бы кто-нибудь заикнулся — она бы его живо поставила на место! О чем бы ни завести речь — ну, например, о картине, — она непременно вспомнит: «Ах, если бы он был

здесь, он бы нам сказал, подделка это или не подделка! Тут ему равных нет». И она поминутно спрашивала: «Что-то он сейчас поделывает? Хорошо, если бы занимался! Ведь жаль: такой талантливый малый — и такой лентяй! (Прошу меня извинить!) Я его так ясно себе представляю: он о нас думает, спрашивает себя, где мы сейчас». Она сказала одну фразу, которая мне очень понравилась. Вердюрен спросил: «Как же это вы можете себе представить, чем он в данное время занят? Ведь вас от него отделяет целых восемьсот миль!» Одетта ему на это ответила: «Для глаза друга нет ничего невозможного». Все это я говорю не для того, чтобы вам польстить, клянусь, что нет; Одетта — ваш искренний друг, таких немного на свете. И еще я хочу, чтобы вы знали, что вы — ее единственный друг. В последний день госпожа Вердюрен сказала мне (вы же знаете, что накануне отъезда разговоры бывают особенно задушевные): «Я не сомневаюсь, что Одетта любит нас, но одно слово Свана весит для нее больше, чем все наши слова вместе взятые». Ах, боже мой, кондуктор останавливает для меня омнибус по требованию, а я так с вами заболталась, что чуть-чуть не проехала улицу Бонапарта!. Скажите, пожалуйста: перо у меня на

шляпе держится прямо?

Тут г-жа Котар, вынув из муфты руку в белой перчатке, откуда вместе с выроненным пересадочным билетом выпорхнуло видение светской жизни, пропитанное запахом вычищенной кожи, попрощалась со Сваном. И, глядя с площадки омнибуса вслед г-же Котар, которая шла по улице Бонапарта гордым шагом, с приплясывавшей у нее на животе муфтой, с торчавшим на шляпе пером, одной рукой подобрав юбку, а в другой держа зонт и сумочку так, чтобы видна была монограмма, Сван почувствовал прилив нежности и к ней, и к г-же Вердюрен (и даже к Одетте, ибо к чувству, которое она вызывала у него теперь, уже не примешивалась душевная мука, — в сущности, это уже не было любовью).

Госпожа Котар оказалась лучшим врачом, чем ее муж, — она вызвала к жизни другие, нормальные чувства, столкнув их с болезненным чувством, какое питал Сван к Одетте: чувство признательности, дружеские чувства, словом, такие, которые в глазах Свана могли бы вновь очеловечить Одетту (сделать ее более похожей на других женщин, потому что другие женщины способны были внушать эти чувства Свану), ускорили бы ее окончательное превращение в

ту Одетту, которую он любил бы спокойной любовью, в ту, которая увела к себе его и Форшвиля с вечеринки у художника и угощала их оранжадом, в ту, с которой, как ему тогда показалось, он мог бы быть счастлив.

Прежде он часто с ужасом думал о том, что настанет день, когда его влюбленность в Одетту пройдет, и в конце концов дал себе слово быть начеку: как только он почувствует, что любовь уходит, он вцепится в нее и не выпустит. И вот оказалось, что вместе с отмиранием любви в нем отмирало и желание не утратить влюбленности. Ведь мы же не можем измениться, то есть стать другой личностью, продолжая находиться под властью чувств той личности, которая уже не существует. Иной раз промелькнувшая в газете фамилия человека, которого Сван подозревал в близких отношениях с Одеттой, шевелила в нем ревность. Но теперь это была ревность не жгучая, и так как она свидетельствовала, что Сван еще не окончательно порвал с прошлым, с прошлым, когда он так страдал — но и когда изведал высшее упоение страсти, — и что в продолжение его жизненного пути случай, быть может, еще позволит ему издали и украдкой взглянуть на красоту былого, то он испытывал раздражение

скорее приятное: так мрачному парижанину, который возвращается во Францию из Венеции, последний москит напоминает о том, что Италия и лето остались не так далеко позади. Но когда Сван делал над собою усилие не столько для того, чтобы продлить ту совсем особенную пору своей жизни, от которой он отходил, сколько для того, чтобы, пока это возможно, ее облик отчетливо вырисовывался перед ним, то чаще всего убеждался, что это уже невозможно; ему хотелось бросить на эту свою любовь прощальный взгляд, как на уплывающую даль; но ведь как трудно было раздвоиться и создать себе правильное представление о чувстве, которого уже не испытываешь, и оттого сознание Свана скоро погружалось во мрак, он ничего не видел, прекращал опыт, снимал очки и протирал стекла; он уговаривал себя, что надо немножко отдохнуть, что у него еще будет время, и, ко всему безучастный, отупевший, забивался в угол: так сонный пассажир надвигает шляпу на брови, чтобы поспать в вагоне, а вагон все быстрее и быстрее уносит его вдаль, из того края, где он так долго жил и который он собирался бросить, непременно оглянувшись на него в последний раз. Совсем как этот пассажир, просыпающийся уже во Франции, Сван, случайно

обнаружив новое доказательство, что Форшвиль был любовником Одетты, замечал, что у него уже не щемит сердце, что любовь теперь от него далека, и жалел, что пропустил момент, когда он расстался с ней навсегда. Перед тем как в первый раз обнять Одетту, он попытался запечатлеть в памяти ее лицо, каким он видел его на протяжении долгого времени и которое должно было измениться после поцелуя, и вот точно так же теперь ему хотелось — по крайней мере, мысленно — проститься, пока она еще существовала, с той Одеттой, которую он любил, ревновал, с той Одеттой, из-за которой он столько выстрадал и которую он больше никогда не увидит.

Сван ошибался. Вскоре ему предстояло еще раз увидеться с ней. Это было во сне, в сумерках сновидения. Он гулял с г-жой Вердюрен, с доктором Котаром, с незнакомым юношей в феске, с художником, с Одеттой, с Наполеоном III и с моим дедом по приморской дороге, то взбиравшейся на кручу, то возвышавшейся над водой всего лишь на несколько метров, так что все время приходилось подниматься и спускаться; те гуляющие, что уже спустились, были не видны тем, что еще поднимались; остаток дня угасал, и казалось, будто вот-вот нахлынет темная ночь. Время от времени

вздымались волны, и тогда Сван чувствовал на щеке ледяные брызги. Одетта говорила, чтобы он вытер щеку, но Сван не мог, и ему было стыдно, как будто он был в одной рубашке. Он надеялся, что в темноте никто ничего не заметит, но г-жа Вердюрен остановила на нем удивленный взгляд, и, в то время как она на него смотрела, лицо ее исказилось, нос навис над губой, у нее выросли длинные усы. Сван взглянул на Одетту: бледные ее щеки покрылись красными пятнышками, лицо осунулось, вытянулось, но смотрела Одетта на Свана глазами, полными ласки, готовыми выкатиться, как слезы, и упасть на него, и тут в Сване заговорило такое сильное чувство к ней, что ему захотелось сейчас же увести ее. Неожиданно Одетта приблизила к глазам запястье, посмотрела на часы и сказала: «Мне надо идти». Попрощалась она со всеми одинаково, не отвела Свана в сторону и не назначила ему свидания ни вечером, ни на другой день. Сван не решился заговорить с ней об этом; он хотел было пойти за ней, но ему пришлось, не глядя в ее сторону, с улыбкой отвечать на вопрос г-жи Вердюрен, а между тем сердце у него колотилось бешено, он сейчас ненавидел Одетту, ему хотелось выколоть ей глаза, которые он только сейчас разлюбил,

отхлестать ее по бескровным щекам. Он продолжал идти в гору вместе с г-жой Вердюрен, то есть все дальше и дальше уходить от спускавшейся Одетты. За одну секунду прошло много часов с тех пор, как она ушла от него. Художник обратил внимание Свана, что Наполеон III исчез тотчас после ее ухода. «Наверно, такой у них был уговор, — добавил он, — они должны встретиться внизу, но из приличия решили уйти порознь. Она его любовница». Незнакомый юноша заплакал. Сван попытался утешить его. «В конце концов, она права, — сказал он, вытирая юноше глаза и снимая с него феску, чтобы легче было голове. — Я настойчиво ей это советовал. Зачем грустить? Этот человек, наверно, сумеет ее понять». Так Сван говорил сам с собой, потому что юноша, которого вначале он не мог узнать, был тоже Сван; подобно иным романистам, он распределил свою личность между двумя героями: между тем, кому это снилось, и юношей в феске, которого он видел во сне.

А Наполеоном III Сван окрестил Форшвиля по некоторой, неясной ему самому ассоциации идей, да и лицо барона, каким он знал его наяву, слегка изменилось, а на шее у него красовалась широкая лента ордена Почетного легиона; во

всем остальном персонаж из сна изображал и напоминал, конечно, Форшвиля. Недовершенные, изменчивые образы приводили спящего Свана к неверным умозаключениям, но на время сна ему была дарована такая безграничная творческая мощь, благодаря которой он размножался путем простого деления клетки, как это происходит у низших организмов; теплом своей руки он наполнял углубление в чужой ладони, которую, как ему казалось, он пожимал, а из чувств и впечатлений, еще не дошедших до его сознания, сплетал перипетии, которые, дойдя до логического конца, в определенный момент сна должны были бы заставить Свана полюбить то или иное действующее лицо или же должны были бы разбудить его. Внезапно стемнело, ударили в набат, мимо пробегали погорельцы; Сван слышал шум вздымавшихся волн, слышал свое сердце, с прежней силой тревожно бившееся у него в груди. Внезапно оно забилось еще чаще; Свану почему-то стало больно и тошно; крестьянин, весь в ожогах, пробегая мимо, крикнул ему: «Спросите Шарлю, где Одетта проводит вечер со своим дружком. Когда-то они были близки, и она ему все говорит. Это они подожгли». Это был камердинер Свана — он пришел будить его.

— Сударь! — говорил камердинер. — Восемь часов, приходил парикмахер, но я ему сказал прийти через час.

Эти слова, погрузившись в волны сна, дошли до сознания Свана лишь после того, как подверглись преломлению, которое превращает луч на дне сосуда с водой в солнце, звяканье колокольчика, раздавшееся за минуту до этого, в пучинах сна выросло в набатный звон, а из набатного звона родилась сцена пожара. Тут декорация, которую Сван все время видел перед собой, рухнула; Сван открыл глаза и в последний раз услыхал удалявшийся шум морских волн. Сван схватился за щеку. Она была суха. А между тем у него были еще живы ощущения холодной воды и соленый вкус. Он встал, оделся. Вчера Сван известил письмом моего деда, что сегодня днем поедет в Комбре, — он узнал, что туда собирается на несколько дней маркиза де Говожо, урожденная мадемуазель Легранден, — и по этому случаю велел парикмахеру прийти пораньше. Прелесть молодого лица маркизы сочеталась в воспоминании Свана с прелестью деревни, где он так давно не был, и это сочетание показалось ему таким заманчивым, что он наконец решил на несколько дней уехать из Парижа. Разные случаи, сталкивающие

нас с теми или иными людьми, происходят не тогда, когда мы любим этих людей, — они могут иметь место за пределами поры любви: могут произойти до ее начала и повториться после; вот почему появление в нашей жизни существа, которому суждено впоследствии увлечь нас, ретроспективно приобретает в наших глазах значение предсказания, предзнаменования. В силу этого Сван часто связывал с образом Одетты, которую он встретил в театре, тот первый их вечер, когда он и не думал, что увидит ее вновь, а теперь он вспоминал вечер у Сент-Эверт, когда он познакомил генерала де Фробервиля с маркизой де Говожо. Наша жизнь таит в себе столько возможностей, что нередко одно и то же стечение обстоятельств, прокладывая дорогу к еще не существующему счастью, одновременно усиливает нашу душевную боль. И разумеется, это могло бы произойти со Сваном и не у маркизы де Сент-Эверт. Как знать: если бы он в тот вечер был где-нибудь еще, то не пришлось ли бы ему изведать другие радости, другие горести, которые в дальнейшем показались бы ему неизбежными? Но ему показалось неизбежным то, что с ним уже произошло, и он готов был видеть нечто провиденциальное в том, что он тогда решил пойти

на вечер к маркизе де Сент-Эверт: его разум, преисполненный восторга перед богатой выдумкой жизни и неспособный подолгу задерживаться на сложном вопросе, например, на том, что было бы для него желательней, видел между страданиями, которые не давали Свану покою на вечере у маркизы, и наслаждениями, которых он, Сван, тогда еще не предчувствовал, но которые пускали уже ростки, — что перевесит, это было тогда еще очень трудно определить, — неразрывную связь.

Через час после пробуждения, давая парикмахеру указания причесать его так, чтобы волосы не растрепались в вагоне, он опять вспомнил свой сон и увидел — так, как будто все это было у него перед глазами, — бледную Одетту, вытянутое ее лицо, впалые щеки, припухшие веки; пока не прекратились приливы нежности, благодаря которым длительная любовь к Одетте надолго заслонила от Свана первое произведенное ею на него впечатление, он всего этого не замечал, не замечал с первых же дней их близости, но, пока он спал, его память не случайно именно в этих днях попыталась отыскать его первоначальное, верное представление о ней. И тут он мысленно воскликнул с той хамоватостью, какая прорывалась у него временами, когда он переставал быть

несчастным и делался хуже: «Как же так: я убил несколько лет жизни, я хотел умереть только из-за того, что всей душой любил женщину, которая мне не нравилась, женщину не в моем вкусе!»

Часть третья. Имена стран: имя

Из всех комнат, которые бессонными ночами я особенно часто вызывал в своей памяти, ни одна так не отличалась от комнат в Комбре с их слоистым, пропитанным цветочной пыльцой, аппетитным, благочестивым воздухом, как номер в Гранд-отеле в Бальбеке, — номер, стены которого, выкрашенные эмалевой краской, точно отшлифованные стенки бассейна, где вода отливает голубизной, служили вместилищем для прозрачного, лазурного, соленого воздуха. Баварский обойщик, которому было поручено обставить отель, внес разнообразие в убранство номеров: там, где расположился я, он поставил вдоль трех стен низкие книжные шкафы со стеклянными дверцами, и это создавало непредвиденный им эффект: в зависимости от того, где стоял шкаф, в его дверцах отражалась та или иная часть изменчивой картины моря, так что на стенах как бы развертывались фризы со светлыми морскими видами, отделенными один от другого полосками красного дерева. В целом номер напоминал модельную спальню на выставке

мебель «стиль-модерн», увешанную картинами, долженствовавшими ласкать взор того, кто будет здесь спать, — картинами, сюжеты которых должны соответствовать местоположению дома.

Но еще резче, чем номер отеля от комнат в Комбре, отличался от подлинного Бальбека тот, о котором я часто мечтал в ненастье, когда ветер дул с такой неистовой силой, что Франсуаза, водившая меня гулять на Елисейские поля, говорила, что надо держаться подальше от домов, чтобы черепица не свалилась мне на голову, и, охая, пересказывала сообщения газет о стихийных бедствиях и кораблекрушениях. Самым страстным моим желанием было увидеть бурю на море, привлекавшую меня не столько как красивое зрелище, сколько как явление, в котором раскрывается подлинная жизнь природы; вернее сказать, к числу красивых зрелищ я относил только те, которые, насколько мне было известно, не были нарочно созданы для моего развлечения, зрелища неизбежные, низменные: красота природы, красота великих произведений искусства. Во мне возбуждало любопытство, жажду знаний лишь то, что я считал еще более подлинным, чем я сам, то, в чем я видел особую ценность — ценность хотя бы частичного проникновения в

замысел великого художника или же раскрытия мощи и прелести природы в тот миг, когда она предоставлена самой себе, когда ей не угрожает вмешательство человека. Воспроизведенный фонографом родной звук голоса нашей покойной матери бессилен возместить нам утрату, — равным образом механическое подражание буре оставило бы меня столь же равнодушным, как светящиеся фонтаны[236] на Всемирной выставке. Для того чтобы я признал бурю настоящей, мне еще требовался естественный берег, а не мол, недавно сооруженный муниципалитетом. Вообще я ощущал природу как нечто прямо противоположное изделиям человеческих рук. Чем незаметнее был на ней отпечаток человеческого труда, тем больше простора открывала она моему ненасытному сердцу. Название «Бальбек», которое я услышал из уст Леграндена, рисовалось мне в виде городка, расположенного около «угрюмого берега, у которого произошло столько кораблекрушений, берега, полгода окутываемого саваном туманов и пеною волн».

«Там ноги еще чувствуют, — рассказывал Ле-

[236] Примечания: 236

…светящиеся фонтаны… — Речь идет о фонтанах, сконструированных инженером Бехманом для Всемирной выставки 1889 г. в Париже и ставших одной из главных ее достопримечательностей.

гранден, — куда сильнее даже, чем в Финистере (как теперь ни застраивают отелями этот древнейший костяк земли, они бессильны изменить его облик), чувствуют, что тут действительно кончается французская земля, европейская земля, древняя Земля. И это — последнее становище рыбаков, похожих на всех рыбаков, от сотворения мира живших у врат вечного царства морских туманов и теней».

Однажды я нарочно заговорил в Комбре об этом крае при Сване, чтобы услышать от него, можно ли там наблюдать самые сильные бури, и он мне на это ответил так: «Ну уж Бальбек-то[237] я знаю прекрасно! Бальбекская церковь, двенадцатого и тринадцатого веков, еще наполовину романская, представляет собой, быть может, наиболее любопытный образец нормандской готики, но это еще что! Есть в ней нечто и от персидского зодчества». И эта местность, до сих пор казавшаяся мне обломком первозданной природы, современницей великих геологических сдвигов, находящейся за пределами истории человечества, — подобно

[237] Примечания: 237

Бальбек — имя вымышленного Прустом города фигурирует среди реальных географических названий (Байё, Кутанс, Витрэ, Кестамбер, Понторсон и другие), однако писателя совершенно не заботит географическая точность: ни один поезд не мог бы пройти через все эти города, разбросанные по Нормандии и Бретани.

Океану или Большой Медведице, — населенной дикими рыбаками, для которых не существовало Средневековья, как не существовало оно для китов, приобрела в моих глазах особую прелесть, когда она внезапно оказалась вдвинутой в ряд столетий, прошедшей через романский стиль, когда я узнал, что в свой час готический трилистник вкрапился и в эти дикие утесы, — так весною нежные, но живучие растения там и сям освежживают полярный снег. И если готика пролила свет на эти места и на этих людей, то ведь и они осветили ее. Я старался вообразить, как жили эти рыбаки, скученные в преддверии Ада, у подножия скал смерти, вообразить их робкую, нечаянную попытку установить в Средние века определенный строй общественных отношений, и в этих исключительных условиях, вдали от городов, от которых я прежде не отделял готики, на диких утесах, проросшая и процветшая островерхой колокольней готика оживала перед моим мысленным взором. Меня повели смотреть слепки самых знаменитых изваяний Бальбека — курчавых и курносых апостолов, деву Марию, украшавшую церковную паперть, и у меня от радости перехватывало дыхание при мысли, что я увижу, как они вырезываются в вечном

соленом тумане. Непохожими и отрадными февральскими вечерами ветер, нагоняя мне в душу, содрогавшуюся с не меньшей силой, чем сотрясался от его порывов дымоход в моей спальне, мечты о поездке в Бальбек, сливал во мне желание увидеть готическую архитектуру с желанием увидеть бурю на море.

Мне хотелось завтра же сесть в прекрасный, великодушный поезд, отходивший в час двадцать две, о времени отправления которого я всегда с бьющимся сердцем читал в расписаниях и в справочниках круговых путешествий: в моем представлении этот поезд ежедневно, в определенный момент, делая соблазнительный надрез, устанавливал таинственную мету, за которой изменившие ход часы, разумеется, по-прежнему двигались по направлению к вечеру, к утру следующего дня, но пассажиры видели и ветер, и утро уже не в Париже, а в одном из городов, мимо которых проходил поезд, предоставляя пассажирам возможность выбора между ними; ведь поезд останавливался в Байё, Кутансе, Витрэ, Кестамбере, Понторсоне, Бальбеке, Ланьоне, Ламбале, Бенодэ, Понт-Авене, Кемперлэ и шел дальше, обогащенный звучными названиями до такой степени, что я не знал, какому же из них отдать

предпочтение, — пожертвовать хоть одним из них я был не в силах. Если б родители мне позволили, я мог бы, не дожидаясь завтрашнего поезда, надеть на себя что попало и уехать сегодня же, с тем чтобы приехать в Бальбек, когда взойдет заря над расходившимся морем, от брызг которого я укроюсь в персидского стиля храме. Но стоило родителям пообещать как-нибудь на пасхальных каникулах повезти меня в Северную Италию, и вот уже с приближением каникул мечты о буре, переполнявшие меня до того, что мне ничего не хотелось видеть, кроме волн, все растущих, отовсюду набегающих на ни с чем не сравнимый в своей дикости берег, около таких же отвесных и морщинистых, как утесы, церквей, с колоколен которых кричали бы морские птицы, — и вот уже все эти мечты мгновенно рассеивала, лишала их очарования, вытесняла их, потому что они были несовместимы с ней и могли только ослабить ее влияние, сменяла их иная мечта — мечта о многоцветной весне, не о комбрейской, еще больно коловшей снежными иголками, но о той, что уже усыпа́ла лилиями и анемонами луга Фьезоле, а Флоренцию ослепляла золотом, напоминавшим

фон на фресках Анджелико[238]. В это время для меня имели цену только лучи, запахи, краски, ибо смена мечтаний влекла за собой переворот в моих устремлениях и внезапное — вот так же внезапно иногда меняется в музыке тон — резкое изменение моего душевного настроя. А иногда эти мои колебания зависели только от явлений атмосферических, но не от времени года. Ведь часто в одно время года забредает день из другого времени, и он заставляет нас жить этим временем, мгновенно воскрешает его в нашем воображении, заставляет нас чаять связанных с ним развлечений, прерывает нить наших мечтаний и то раньше, то позже вклеивает свой вырванный листок в изобилующий вклейками календарь Счастья. Вскоре, однако ж, подобно явлениям природы, из которых мы извлекаем для нашего удобства или для нашего здоровья случайную и несущественную пользу только до той поры, пока наука не покорит их, не научится сама создавать их и не укажет нам, как надо их вызывать, не снимет с них опеку случайности,

[238] Примечания: 238

Анджелико, фра Беато (1387–1455) — итальянский художник, монах-доминиканец, один из признанных мастеров христианской иконографии. Долгое время жил в доминиканском монастыре в городе Фьезоле близ Флоренции.

лишит их ее расположения, мои мечты об Атлантическом океане и об итальянских городах перестали всецело зависеть от календаря и от погоды. Чтобы мои мечты ожили, мне достаточно было произнести названия: Бальбек, Венеция, Флоренция, ибо внутри них в конце концов сосредоточилось внушенное ими мое стремление к тем краям, которые они обозначали. Даже если название «Бальбек» я находил в какой-нибудь книге весной, меня тотчас же тянуло к бурям и к нормандской готике; даже если на дворе бушевала буря, названия «Флоренция» или «Венеция» влекли меня к солнцу, к лилиям, к Дворцу дожей и к Санта Мария дель Фьоре[239].

Эти названия навсегда впитали в себя представление, какое составилось у меня об этих городах, но зато они их видоизменили, подчинили их воссоздание во мне своим собственным законам; вследствие этого они приукрасили мое представление, сделали нормандские и тосканские города, какими я их себе рисовал, непохожими на настоящие; до времени они усиливали восторг,

[239] Примечания: 239

Санта Мария дель Фьоре («Богоматерь в Цветах») — флорентийский кафедральный собор, построенный в XIV — XV веках. Памятник готической архитектуры, в строительстве которого принимали участие Джотто, затем Андреа Пизано.

рождавшийся по прихоти моего воображения, но тем горше было разочарование, постигшее меня, когда я впоследствии побывал в тех краях. Они возвысили возникший у меня образ иных земель тем, что придали им большее своеобразие и, следовательно, бóльшую подлинность. Я тогда представлял себе города, природу, памятники не в виде более или менее красивых картин, высеченных из цельного куска, — нет, каждый город, пейзаж, памятник казался мне незнакомым, совершенно ни на что не похожим, и вот именно знакомства с такими местами и жаждала моя душа, именно это знакомство должно было принести ей пользу. И насколько же своеобычнее стали эти места оттого, что у них оказались имена, свои собственные имена, как у людей! Слова — это доступные для понимания, привычные картинки, на которых нарисованы предметы, — вроде тех картинок, что висят в классах, чтобы дать детям наглядное представление о верстаке, о птице, о муравейнике, — предметы, воспринимающиеся в общем как однородные. Имена же, создавая неясный образ не только людей, но и городов, приучают нас видеть в каждом городе, как и в каждом человеке, личность, особь, они вбирают в себя идущий от каждого города яркий

или заунывный звук, вбирают цвет, в какой тот или иной город выкрашен весь целиком, точно сплошь синяя или сплошь красная афиша, на которой, то ли потому, что был применен особый прием, то ли потому, что такова была причуда художника, синими или красными получились не только небо и море, но и лодки, церковь, прохожие. Имя «Парма» — имя одного из городов, где мне особенно хотелось побывать после того, как я прочел «Пармскую обитель»[240], — представлялось мне плотным, гладким, лиловым, уютным; поэтому, если б мне сказали, что я буду жить в Парме, то я бы с радостью подумал о том, что поселюсь в гладком, плотном, лиловом, уютном доме, ничуть не похожем на дома в других итальянских городах: ведь мне помогало вообразить этот дом прежде всего тяжеловесное звучание имени «Парма», где нет ни малейшего движения воздуха, а затем стендалевская тишина и отсвет фиалок, которыми мне удалось наполнить воображаемый дом в Парме. Когда же я думал о Флоренции, то представлял себе дивно пахнущий

[240] Примечания: 240

«*Пармская обитель*» — роман Стендаля (1839), который очень часто упоминается в прустовской эпопее. Кроме этого, Пруст оставил «Заметки о Стендале», впервые опубликованные в разделе «Новая смесь» его книги «Против Сент-Бёва» (1954). См.: *Пруст М.* Против Сент-Бёва. Стр. 187–189.

город, похожий на венчик цветка: ведь ее же называли городом лилий, а ее собор называется Санта Мария дель Фьоре. А Бальбек казался одним из тех имен, на котором, как на старой нормандской посуде, сохраняющей цвет глины, пошедшей на ее изготовление, еще не стерлось изображение упраздненного обычая, феодального права, местности, какой она была когда-то, того устаревшего, основанного на причудливом сочетании слогов произношения, какое я уловлю — в чем я нисколько не сомневался — даже у трактирщика, который, как только я приеду, подаст мне кофе с молоком, а потом поведет меня к церкви посмотреть на разбушевавшееся море, и которого я наделял обличьем средневекового самоуверенного спорщика из фаблио.

Если б мое здоровье окрепло и родители мне позволили не поселиться в Бальбеке, а, только чтобы ознакомиться с нормандской и бретонской природой и архитектурой, поехать туда отбывающим в час двадцать две поездом, в который я много раз мысленно садился, то я бы заезжал в самые красивые города; напрасно, однако, я сравнивал их: если нельзя сделать выбор между человеческими личностями никак одна другую не заменяющими, то можно ли сделать выбор

между Байé, величественным в своей драгоценной бледно-красной короне, на самом высоком зубце которой горело золото второго слога в названии города; Витрэ, в имени которого закрытый звук *э* вычерчивал на старинном витраже ромбы черного дерева; уютным Ламбалем, белизна которого — это переход от желтизны яичной скорлупы к жемчужно-серому цвету; Кутансом, этим нормандским собором, который увенчивает башней из сливочного масла скопление жирных светло-желтых согласных в конце его имени; Ланьоном с такой глубокой провинциальной его тишиной, когда слышно даже, как жужжит муха, летящая за дилижансом; Костамбером и Понторсоном, смешными и наивными, этими белыми перьями и желтыми клювами, раскиданными по дороге и поэтичному приречью; Бенодэ, название которого чуть держится на якоре, так что кажется, будто река сейчас унесет его в гущину своих водорослей; Понт-Авеном, этим бело-розовым колыханием крыла на летней шляпе, отражающимся в зеленоватой воде канала, и прочнее других стоящим Кемперлэ, который уже в Средние века ощебечивался струившимися вокруг него ручьями и выжемчуживался ими в картину в серых тонах вроде того узора, что

сквозь паутину наносят на витраж солнечные лучи, превратившиеся в притупленные иглы из потемневшего серебра?

Образы эти еще вот почему были неверны: в силу необходимости они были очень упрощены; то, к чему стремилось мое воображение и что мои чувства неполно и неохотно воспринимали из окружающего мира, я, конечно, укрывал под защитой имен; так как я зарядил имена своими мечтами, то имена, конечно, притягивали теперь мои желания; но имена не слишком емки; мне удавалось втиснуть в них от силы две-три главнейшие «достопримечательности» города, и там они жались одна к другой; в имени «Бальбек», словно в увеличительном стеклышке, вставленном в ручку для пера — такие ручки продаются на пляжах, — я различал волны, выраставшие вокруг церкви персидского стиля. Быть может, эти образы действовали на меня так сильно именно своею упрощенностью. Когда мой отец решил, что в этом году пасхальные каникулы мы проведем во Флоренции и в Венеции, то, не найдя в имени «Флоренция» частей, из которых обычно составляются города, я вынужден был создать некий баснословный город путем оплодотворения весенними ароматами того, что

мне представлялось сущностью гения Джотто. Поскольку мы не властны растягивать имя не только в пространстве, но и во времени, то, подобно иным картинам Джотто, изображающим два разных момента в жизни одного и того же лица: тут он лежит в постели, а там садится на коня, я мог разделить имя «Флоренция», самое большее, надвое. В одном отделении я рассматривал под архитектурным навесом фреску, частично прикрытую завесой утреннего солнца, пыльной, косой и подвижной; в другом отделении (ведь я думал об именах не как о недостижимом идеале, но как о вещественной среде, где я буду находиться, — вот почему жизнь еще не прожитая, жизнь нетронутая и чистая, которую я помещал в имена, придавала самым земным утехам, самым простым сценам очарование примитива) я быстрым шагом — чтобы как можно скорее приняться за завтрак с фруктами и вином кьянти — переходил Понте Веккьо[241], погребенный под жонкилями, нарциссами и анемонами. Вот что (хоть я и находился в Париже) виделось мне, а вовсе не то, что было вокруг меня. Даже с чисто реалистической токи зрения, страны, о которых

[241] Примечания: 241

Понте Веккьо — старейший мост во Флоренции, построенный в 1355 г., на котором находятся ювелирные лавки.

мы мечтаем, занимают в каждый данный момент гораздо больше места в нашей настоящей жизни, чем страны, где мы действительно находимся. Если б я внимательнее отнесся к тому, что происходило в моем сознании, когда я говорил: «поехать во Флоренцию, в Парму, в Пизу, в Венецию», то, конечно, убедился бы, что видится мне совсем не город, а нечто столь же непохожее на все, что мне до сих пор было известно, и столь же очаровательное, как ни на что не похоже и очаровательно было бы для людей, вся жизнь которых протекала бы в зимних сумерках, неслыханное чудо: весеннее утро. Эти вымышленные, устойчивые, всегда одинаковые образы, наполняя мои ночи и дни, отличали эту пору моей жизни от предшествующих (которые легко мог бы с нею смешать взгляд наблюдателя, видящего только поверхность предметов, иначе говоря — ровным счетом ничего не видящего): так в опере какой-нибудь мотив вводит нечто совершенно новое, чего мы не могли бы ожидать, если б только прочли либретто, и еще меньше — если б, не войдя в театр, считали, сколько еще осталось до конца спектакля. Но даже и по длине дни нашей жизни не одинаковы. Чтобы пробежать день, нервные натуры, вроде меня, включают, как в автомоби-

лях, разные «скорости». Бывают дни гористые, трудные: взбираются по ним бесконечно долго, а бывают дни покатые: с них летишь стремглав, посвистывая. Целый месяц я, точно повторяя мелодию, жадно тянулся к образам Флоренции, Венеции и Пизы, и эта тяга к ним заключала в себе нечто глубоко человечное, словно то была любовь, любовь к некоей личности, — я твердо верил, что они являют собой реальность, живущую своею, независимой от меня жизнью, и они поддерживали во мне пленительную надежду, какую мог питать христианин первых веков перед тем, как войти в рай. Вот почему меня нисколько не смущало противоречие между стремлением увидеть и осязать созданное в мечтах и тем обстоятельством, что мои органы чувств никогда этих созданий, тем более для них притягательных, что эти образы отличались от всего, им известного, непосредственно не воспринимали, — напротив, именно это противоречие напоминало мне о подлинности образов, стократ усиливало во мне желание увидеть города, потому что оно как бы обещало, что мое желание будет исполнено. И хотя моя восторженность вызывалась жаждой наслаждений эстетических, путеводители занимали меня больше, чем художественные издания,

а еще больше, чем путеводители, — расписания поездов. Особенно меня волновала мысль, что хотя Флоренцию, которую я видел в своем воображении близкой, но недоступной, отделяет от меня во мне самом пространство необозримое, я все же могу до нее добраться, сделав крюк, пустившись в объезд, если изберу «земной путь». Когда я твердил себе и тем придавал особую ценность ожидавшему меня зрелищу, что Венеция — это «школа Джорджоне, город Тициана, богатейший музей средневековой архитектуры жилых домов»[242], то, разумеется, я был счастлив. И все же я был еще счастливее, когда — выйдя пройтись, идя быстрым шагом из-за холода, потому что после нескольких дней преждевременной весны опять вернулась зима (такую погоду мы застава ли обычно в Комбре на Страстной неделе), и глядя, как каштаны на бульварах, погруженные, словно в воду, в ледяной и жидкий воздух, но не унывавшие, эти точные, уже разряженные

[242] Примечания: 242

…«школа Джорджоне, город Тициана, богатейший музей средневековой архитектуры жилых домов»… — цитата из книги Дж. Рёскина «Камни Венеции».

Джорджоне (Джорджо да Кастельфранко, 1478–1510) — итальянский живописец венецианской школы.

Тициан (Тициано Вечеллио, 1477–1576) — итальянский живописец венецианской школы.

гости начинают вычерчивать и чеканить на своих промерзших стволах неудержимую зелень, неуклонному росту которой препятствовала, хотя и не в силах была приостановить его, мертвящая сила холода — я думал о том, что Понте Веккьо уже весь в гиацинтах и анемонах и что весеннее солнце покрывает волны Канале Гранде такой темной лазурью и такими редкостными изумрудами, что, разбиваясь под картинами Тициана, они могли бы соперничать с ними в яркости колорита. Я не в силах был сдержать свой восторг, когда отец, все поглядывая на барометр и жалуясь на холод, начинал выбирать самые удобные поезда и когда я понял, что если проникнуть после завтрака в у́гольно-черную лабораторию, в волшебную комнату, все вокруг нее изменяющую, то на другой день можно проснуться в городе из мрамора и золота, «отделанном яшмой и вымощенном изумрудами». Таким образом, Венеция и Город лилий — это были не только картины, которые при желании можно вызвать в своем воображении, — они находились на известном расстоянии от Парижа, которое надо непременно преодолеть, если хочешь увидеть их, находились именно там, а не где-нибудь еще, словом, они были вполне реальны. И они стали для меня еще

более реальными, когда отец, сказав: «Итак, вы могли бы побывать в Венеции с двадцатого по двадцать девятое апреля, а на первый день Пасхи, утром, приехали бы во Флоренцию», извлек их обоих не только из умозрительного Пространства, но и из воображаемого Времени, куда мы укладываем не одно, а сразу несколько наших путешествий, не особенно огорчаясь тем, что это лишь возможные путешествия, но не больше, — того Времени, которое так легко возобновляется, что если провести его в одном городе, то после можно провести и в другом, — и пожертвовал им несколько точно указанных дней, удостоверяющих подлинность предметов, которым они посвящаются, ибо это единственные дни: отслужив, они сходят на нет, они не возвращаются, нельзя прожить их здесь после того, как ты прожил их там; я почувствовал, что по направлению к неделе, начинавшейся с того понедельника, когда прачка должна была принести мне белый жилет, который я залил чернилами, движутся, чтобы погрузиться в нее при выходе из идеального времени, где они еще не существовали, два Царственных града, купола и башни которых я научусь вписывать способом самой волнующей из всех геометрий в плоскость моей жизни. Но я

все еще был на пути к вершине моего ликования; я вознесся на нее в конце концов (меня осенило, что на следующей неделе, накануне Пасхи, в Венеции по улицам, полным плеска воды, по улицам, на которые падает багровый отсвет с фресок Джорджоне, не будут прохаживаться люди, каких я себе, вопреки многократным разубеждениям, упорно продолжал рисовать: «величественные и грозные, как море, с оружием, отливающим бронзой, в складках кроваво-красных плащей», а что, возможно, я сам окажусь тем человечком в котелке, какого фотограф запечатлел на большой фотографии стоящим перед Святым Марком[243]), когда отец сказал мне: «На Канале Гранде, наверно, еще холодно, — положи-ка на всякий случай в чемодан зимнее пальто и теплый костюм». Эти слова привели меня прямо-таки в экстаз; до сих пор это казалось мне невозможным, а теперь я почувствовал, что действительно оказываюсь среди «аметистовых скал, похожих на рифы в Индийском океане»; ценою наивысшего, непосильного для меня напряжения мускулов сбросив с себя, как ненужную скорлупу, воздух моей комнаты, я заменил его равным количеством воздуха

[243] Примечания: 243
Святой Марк — собор Святого Марка в Венеции.

венецианского, этой морской атмосферы, невыразимой, особенной, как атмосфера мечтаний, которые мое воображение вложило в имя «Венеция», и тут я почувствовал, что странным образом обеспло́тневаюсь; к этому ощущению тотчас же прибавилось то неопределенное ощущение тошноты, какое у нас обычно появляется вместе с острой болью в горле: меня пришлось уложить в постель, и горячка оказалась настолько упорной, что, по мнению доктора, мне сейчас нечего было и думать о поездке во Флоренцию и в Венецию, и даже когда я поправлюсь окончательно, то мне еще целый год нельзя будет предпринимать какое бы то ни было путешествие и я должен буду избегать каких бы то ни было волнений.

И еще — увы! — он мне строго-настрого запретил пойти на спектакль с участием Берма; таким образом, я не мог утешать себя мыслью, что хотя я и не побывал во Флоренции и в Венеции, что хотя я и не съездил в Бальбек, но зато благодаря игре чудной артистки, которую Бергот считает гениальной, прикоснулся к чему-то, пожалуй, не менее значительному и не менее прекрасному. Меня только ежедневно посылали на Елисейские поля под надзором особы, которой поручалось следить за тем, чтобы я не переутомлялся: это

была Франсуаза, поступившая к нам после кончины тети Леонии. Я не выносил прогулок на Елисейские поля. Если бы еще Бергот описал Елисейские поля в одной из своих книг, тогда, конечно, мне бы захотелось на них посмотреть, как на все, о чем я сперва составлял себе понятие по «двойнику», которого поселяли в моем воображении. Воображение отогревало двойников, оживляло, каждого из них наделяло неповторимыми чертами, и я мечтал встретиться с ними в мире действительном; но в этом городском саду ничто не было связано с моими мечтами.

Мне надоело наше обычное место около каруселей, и Франсуаза однажды повела меня на экскурсию за границу, которую охраняют расположенные на равном расстоянии один от другого бастиончики торговок леденцами, — в соседние, но чужие страны, где лица всё незнакомые, где проезжает колясочка, запряженная козами; потом Франсуаза пошла за вещами, которые она оставила на стуле под купой лавров; в ожидании я начал ходить по лужайке, на краю которой находился увенчанный статуей бассейн и где росла редкая, низко подстриженная, выгоревшая на солнце травка, но тут с аллеи донесся громкий голос надевавшей пальто и прятавшей ракетку

девочки, обращавшейся к своей рыжеволосой подружке, игравшей около бассейна в волан: «До свидания, Жильберта! Я иду домой. Не забудь, что мы придем к тебе сегодня после обеда». Мимо меня вновь промелькнуло имя «Жильберта», тем живее напоминая о существовании той, кого так звали, что оно не просто говорило о ней, как говорят об отсутствующем, но окликало ее; оно промелькнуло мимо меня, если можно так выразиться, в действии, приобретая все большую мощь по мере усиления стремительности своего взлета и по мере приближения к цели; перенося на себе, как это я чувствовал, знания, понятие о той, к кому оно было обращено, — не мои знания и понятие, а кричавшей ей подружки, — все, что, произнося это имя, она воссоздавала в своем воображении или, по крайней мере, хранила в памяти из постоянного их общения, из их встреч друг у друга, все неведомое, тем более для меня, недосягаемое и мучительное, что оно было так близко и так доступно счастливой девочке, все, чем она задевала меня, но так, что я не мог туда заглянуть, и выбрасывала в своем оклике на ветер; уже распространяя в воздухе свой дивный запах, исходивший, благодаря точному попаданию в них, из невидимых уголков жизни мадемуазель

Сван, из того, как сложится у нее сегодняшний вечер; образуя — небесный гость, очутившийся среди детей и нянек! — изумительного цвета облачко, похожее на то, которое, клубясь над одним из чудных садов Пуссена[244], до мельчайших подробностей отражает, подобно оперному облаку с конями и колесницами, видение какого-нибудь божества; наконец, бросая на примятую траву — в том месте, где эта трава представляла собой и часть затоптанной лужайки, и послеполуденное мгновение в жизни белокурой девочки, продолжавшей подкидывать и ловить волан, пока ее не позвала гувернантка с голубым пером на шляпе, — восхитительную гелиотроповую полоску, неуловимую, как отблеск, стелившуюся, как ковер, по которому я долго потом ступал медленным, унылым, оскверняющим шагом, под крики Франсуазы: «А ну-ка, эй, застегните пальто, пошли!», и меня впервые раздражали грубая ее речь и прискорбное отсутствие голубого пера на шляпе.

Ну а девочка придет еще раз на Елисейские

---

[244] Примечания: 244

Пуссен, Никола (1594–1665) — французский живописец. Имеется в виду его картина «Царство Флоры», находящаяся в Дрезденской галерее. На картине изображена богиня Флора в саду в окружении нимф и героев, на небе в облаке видна колесница Гелиоса.

поля? На другой день ее там не было; но потом я опять увидел ее; я все бродил вокруг того места, где она играла с подругами, и вот однажды, когда их оказалось слишком мало для игры в догонялки, она предложила мне, не хочу ли я пополнить их ряды, и теперь я уже играл с ней всякий раз, когда она приходила на Елисейские поля. Но это бывало не каждый день; иногда ей мешали занятия, катехизис, завтрак, вся ее жизнь, которая была отгорожена от моей и которая всего лишь два раза, на тропинке в Комбре и на лужайке Елисейских полей, сосредоточившись в имени «Жильберта», до боли близко промелькнула мимо меня. Девочка предупреждала, что тогда-то не придет; если дело было в уроках, она говорила: «Вот скука, завтра я не приду; вы все будете тут веселиться без меня», и вид у нее при этом бывал такой грустный, что это меня отчасти утешало; но когда ее приглашали на детское утро, а я, ничего не зная, спрашивал, придет ли она завтра играть, она отвечала: «Надеюсь, что нет! Надеюсь, что мама отпустит меня к подруге». Но, по крайней мере, в таких случаях я знал, что не увижусь с ней, а бывало и так, что мать неожиданно брала ее с собой на прогулку, и на другой день она говорила: «А, да, вчера я ездила с мамой» — как

о чем-то обычном и не могущем кому-то причинить величайшее горе. В плохую погоду ее не брала на Елисейские поля гувернантка, потому что боялась дождя.

И вот, когда небо было подозрительным, я с самого утра беспрестанно поглядывал на него и принимал в соображение все приметы. Если я видел, что дама, жившая напротив нас, надевала у окна шляпу, я говорил себе: «Она собирается уходить; значит, сегодня погода такая, что выходить можно; почему бы тогда и Жильберте не выйти?» Небо между тем хмурилось; мама говорила, что может еще расчиститься, что для этого достаточно выглянуть солнечному лучу, но что, вернее всего, пойдет дождь, а какой же смысл идти в дождь на Елисейские поля? Словом, после завтрака мой тревожный взгляд не оставлял облачного, ненадежного неба. Небо попрежнему было пасмурным. Балкон продолжал оставаться серым. Внезапно угрюмые его плиты не то чтобы становились не такими тусклыми, но они как бы силились быть не такими тусклыми, я замечал на них робкое скольжение луча, стремившегося высвободить содержавшийся в них свет. Еще один миг — балкон становился бледным, прозрачным, как утренняя вода, ми-

риады отражений железной его решетки играли на нем. Порыв ветра сметал их, камень снова темнел, но отражения возвращались, словно их приручили; камень опять начинал незаметно белеть, а затем *crescendo*, как в музыке, когда одна какая-нибудь нота, стремительно пробежав промежуточные ступени, в конце увертюры достигает вершины *fortissimo*, у меня на глазах заливался устойчивым, незыблемым золотом ясных дней, на котором резная тень ажурной решетки выделялась своей чернотой, напоминая причудливой формы растение, поражая тонкостью во всех деталях рисунка, словно обличавшей некую вложенную в него мысль и удовлетворенность художника, поражая необыкновенной своей четкостью, бархатистостью, чувствовавшейся в спокойствии этого темного блаженного пласта, так что казалось, будто это широкое, густолиственное отражение, нежившееся на волнах позлащенного солнцем озера, в самом деле сознает, что оно — залог покоя и счастья.

Недолговечный плющ, непрочное вьющееся растение! По мнению многих, самое невзрачное, самое унылое из всех, что умеют ползать по стене и украшать окно, и ставшее моим любимым с того дня, когда оно появилось у нас на балконе, как

тень самой Жильберты, которая, быть может, уже играла сейчас на Елисейских полях и которая, когда я туда приду, скажет: «Давайте скорей играть в догонялки, вы в моей партии»; нестойкое, колеблемое ветром и вместе с тем зависящее не от времени года, но от часа; обещание близкого счастья, в котором день откажет или которым он наградит, то есть счастья действительно близкого, счастья любви; растение, которое на камне кажется еще нежнее, еще теплее, чем даже мох; живучее растение, которому нужен только один солнечный луч для того, чтобы оно родилось и от избытка радости расцвело даже в середине зимы!

И когда вся растительность исчезала, когда красивая зеленая кожа, обтягивавшая стволы старых деревьев, скрывалась под снегом, когда снег уже не падал, однако небо было сплошь затянуто тучами и у меня не оставалось надежды, что Жильберта выйдет, — внезапно, вызывая у моей матери восклицание: «Смотрите: разъясняется! Пожалуй, вам все-таки стоит пойти на Елисейские поля», выглянувшее солнце вплетало в снежный покров, устилавший балкон, золотистые нити и расшивало на нем черный узор решетчатого отражения. В такие дни на

Елисейских полях мы встречали какую-нибудь одну девчушку, да и та уже собиралась уходить и уверяла меня, что Жильберта не придет. Стулья, покинутые внушительным, но зябким сборищем гувернанток, пустовали. Недалеко от лужайки в полном одиночестве сидела приходившая сюда во всякую погоду, всегда в одном и том же великолепном темном костюме почтенного возраста дама, ради знакомства с которой я бы тогда, если б только это от меня зависело, пожертвовал всем самым заманчивым, что могло мне сулить будущее. Дело в том, что Жильберта каждый раз здоровалась с ней; она спрашивала Жиль-берту, «как поживает ее милая мама»; и мне казалось, что, будь я с нею знаком, Жильберта смотрела бы на меня совсем по-другому, раз я знаю друзей ее родителей. Внуки этой дамы резвились поблизости, а дама неизменно читала «Деба», которые она называла «мои старенькие „Деба“»; как истинная аристократка, она говорила о полицейском и о женщине, взимавшей плату за стулья: «Мой старый друг полицейский», и: «Мы с хозяйкой стульев старинные подруги».

Франсуазе было холодно стоять на одном месте, и мы пошли в сторону моста Согласия посмотреть на замерзшую Сену, — к ней все, даже дети,

подходили теперь безбоязненно, как к выброшенному на берег, беззащитному киту, громадную тушу которого сейчас будут разрубать. Оттуда мы опять пошли на Елисейские поля; я изнывал между неподвижными каруселями и стянутой черною сетью аллей, где снег был убран, белой лужайкой с возвышавшейся над нею статуей, которой вложили в руку сосульку словно для того, чтобы сделать более понятным ее жест. Наконец и пожилая дама, свернув «Деба», спросила у проходившей мимо няни, который час, и, сказав: «Очень вам благодарна!» — попросила сторожа позвать внуков, потому что она замерзла. «Будьте так любезны! Мне очень неловко вас беспокоить!» Внезапно сотрясся воздух: между кукольным театром и цирком, на фоне похорошевшей дали, на фоне приоткрывшегося неба я увидел чудесное знамение — голубое перо гувернантки. И уже со всех ног мчалась ко мне Жильберта в меховом капоре, сияющая, разрумянившаяся, особенно оживленная оттого, что на улице было свежо, оттого что она пришла поздно и ей хотелось играть; немного не добежав до меня, она раскатилась на льду и, то ли чтобы не потерять равновесия, то ли потому, что это казалось ей особенно грациозным, то ли изображая из

себя конькобежца, с улыбкой раскинула руки, как бы намереваясь заключить меня в объятия. «Молодчина! Молодчина! Вот это я понимаю! Если б я не была пережитком, женщиной старого закала, я бы выразилась, как это у вас теперь принято: „Шикарно! Здорово! “ — воскликнула пожилая дама, от имени безмолвных Елисейских полей выражая одобрение Жильберте за то, что она не убоялась плохой погоды. — Вы, как и я, несмотря ни на что остаетесь верны нашим стареньким Елисейским полям; нас с вами не запугаешь. Если б вы знали, как я их люблю, даже теперь! Может быть, это вам покажется смешным, но снег мне напоминает мех горностая!» И тут пожилой даме самой стало смешно.

Первый из таких дней, грустный, как день разлуки, обличьем своим сходный даже с днем отъезда, потому что снег — символ тех сил, что могли лишить меня свидания с Жильбертой, — менял вид нашего единственного, обычного места свиданий и старался помешать нам воспользоваться этим местом, теперь совершенно преобразившимся под чехлом, — первый из таких дней тем не менее способствовал развитию моего чувства к Жильберте: он явился как бы первым огорчением, которое испытали мы оба.

Из всей нашей стайки нас было только двое, и то, что мы оказались с Жильбертой вдвоем, было не только как бы началом нашей близости: это меня так тронуло, — можно было подумать, что Жильберта пришла в такую погоду из-за меня, — словно она отказалась пойти на детское утро только ради того, чтобы встретиться со мной на Елисейских полях; я не мог не верить в жизнеспособность нашей дружбы, в то, что у нее есть будущее, раз она продолжала жить среди развалин этого застывшего и опустевшего мира; и когда Жильберта насыпáла мне снегу за воротник, я растроганно улыбался, потому что воспринимал это как знак особого расположения, как знак того, что она берет меня в спутники по этому новому, зимнему краю, и как знак того, что она меня не бросит в беде. Немного погодя, одна за другой, точно боязливые воробушки, стали появляться ее подружки, совершенно черные на снегу. Мы начали играть, и так как этому грустно начавшемуся дню суждено было кончиться весело, то когда я, перед тем как пуститься бежать взапуски, подошел к девочке с громким голосом, из уст которой я впервые услышал здесь имя «Жильберта», она мне сказала: «Нет, нет, я прекрасно знаю, что вам больше хочется быть в

партии Жильберты, да вон, глядите: она сама вас подзывает». В самом деле, Жильберта звала меня в свою партию, на снежную лужайку, которую солнце усеивало розовыми пятнами, которой оно придавало металлическую гладкость старинной изношенной ткани которую оно превращало в Царство золотой парчи.

День, внушавший мне сперва опасения, оказался одним из немногих, когда я был не так уж несчастен.

Ведь я теперь только и думал о том, чтобы непременно каждый день видеть Жильберту (как-то раз моя бабушка не вернулась домой к обеду, и у меня невольно мелькнула мысль, что если ее раздавил экипаж, то некоторое время мне нельзя будет ходить на Елисейские поля; когда мы кого-нибудь любим, то мы уже никого больше не любим), а между тем мгновения, которые я проводил с Жильбертой, которых я с таким нетерпением ждал уже накануне, над которыми я трясся, ради которых я пожертвовал бы чем угодно, вовсе не были счастливыми; и для меня это не подлежало сомнению, ибо, пристально, напряженно всматриваясь в эти единственные мгновения моей жизни, я не обнаруживал в них ни крупицы радости.

Когда мы с Жильбертой были не вместе, мне постоянно хотелось видеть ее: я все время старался воссоздать ее образ, но у меня ничего не получалось, и я даже не мог ответить себе, кого же я люблю. Притом она еще ни разу не сказала, что любит меня. Этого мало: она часто подчеркивала, что у нее есть более близкие друзья, что я для нее хороший товарищ, с которым весело играть несмотря на то, что я рассеян и не отдаюсь всецело игре; словом, она часто бывала явно холодна ко мне, и это могло бы поколебать мою веру в то, что я значу для нее больше, чем все остальные, — могло бы, если б источником моей веры служила любовь Жильберты ко мне, а не моя любовь к ней, и вот это-то и укрепляло мою веру, ибо ставило ее в зависимость от того, как я, в силу внутренней потребности, думаю о Жильберте. Но ведь и я пока еще ничего не сказал Жильберте о моих чувствах к ней. Разумеется, все чистые страницы в моих тетрадях я заполнял именем ее и адресом, но при виде этих каракуль, которые я выводил без всякой надежды напомнить ей о себе, которые оставляли для нее так много видного места вокруг меня, но не втягивали ее в мою жизнь, я приходил в уныние, потому что они говорили мне не о Жильберте, которая и не увидит-то их

никогда, а только о моем желании, которое они, казалось, являли моему взору как нечто чисто личное, вымышленное, скучное и немощное. Самое для меня существенное заключалось в том, чтобы мы, Жиль-берта и я, продолжали встречаться и чтобы мы объяснились друг другу в любви, которая, можно сказать, еще и не начиналась. Понятно, разные причины, по которым я с таким нетерпением ждал свидания с Жильбертой, взрослому человеку показались бы не столь важными. С течением времени наша культура наслаждений становится утонченной, и тогда мы довольствуемся наслаждением мечтать о женщине, как мечтал я о Жильберте; нас уже не волнует мысль, соответствует ли созданный нами образ действительности, — мы довольствуемся наслаждением любить и не испытываем потребности знать наверное, что нам отвечают взаимностью; мы часто даже отказываем себе в удовольствии признаться любимой женщине, что мы ею увлечены, — отказываемся для того, чтобы она еще сильнее увлеклась нами: так японские садовники, чтобы вырастить необыкновенной красоты цветок, приносят ему в жертву другие. Но когда я любил Жильберту, я еще верил, что Любовь существует независимо от нас;

что, в лучшем случае, она может позволить нам обходить препятствия, но что она одаряет радостями в порядке, строгость которого ничто не властно нарушить; мне казалось, что если бы я самовольно заменил сладость признания игрою в равнодушие, то, во-первых, я лишил бы себя радости, о которой я особенно страстно мечтал, а во-вторых, изготовил бы по своему собственному разумению любовь искусственную, ничего не стоящую, ничего общего не имеющую с истиной, таинственными и предначертанными путями которой я, следовательно, отказывался бы идти.

Но когда я приходил на Елисейские поля и начинал было сопоставлять свое чувство, чтобы потом внести в него необходимые поправки, с его живым источником, существовавшим отдельно от меня, стоило мне встретиться с Жильбертой Сван, один вид которой, по моим расчетам, должен был обновить образы, которые моя усталая память уже не могла воссоздать, с той самой Жильбертой Сван, с которой я вчера играл, которую помог мне узнать и которой заставил меня поклониться слепой инстинкт, похожий на тот, что, когда мы идем, ставит одну нашу ногу впереди другой, прежде чем мы успеваем подумать, — и дальше все шло так, как будто

Жильберта и девочка, составлявшая предмет моих мечтаний, это два разных существа. Скажем, если я со вчерашнего дня носил в памяти два огненных глаза на пухлом и румяном лице, то при встрече наружность Жильберты навязывала мне что-нибудь такое, чего я как раз не запомнил: например, острую хрящеватость носа, и, в одно мгновение объединившись с другими ее чертами, эта хрящеватость приобретала значение тех отличительных признаков, по которым естественная история определяет вид, и относила Жильберту к типу девочек с острой мордочкой. Я только еще собирался, воспользовавшись долгожданным этим мгновением, так навести фокус своего внимания на созданный мною до прихода сюда и уже улетучившийся образ Жильберты, чтобы потом, в долгие часы одиночества, быть уверенным, что я вспоминаю именно ее, что именно к ней постепенно растет моя любовь, как разрастается книга, которую мы пишем, а Жильберта уже бросала мне мяч; и, подобно философу-идеалисту, чье тело вынуждено считаться с внешним миром, в реальность которого не верит его разум, мое «я», то, которое только что заставило меня поздороваться с Жильбертой, хотя я еще не успел узнать ее, сейчас торопило

меня поймать на лету брошенный ею мяч (как будто она была моей подругой, с которой я пришел поиграть, а не родственной душой, с которой я пришел слиться!), а затем, до самого ее ухода, заставляло меня говорить ей из вежливости всякие приятные, незначащие слова и таким образом мешало мне хранить молчание, во время которого я мог бы еще раз попытаться восстановить насущно необходимый, но утраченный образ и мешало заговорить с ней так, чтобы этот разговор произвел в нашей любви решительный сдвиг, и волей-неволей я этот сдвиг откладывал со дня на день.

И все же некоторый сдвиг обозначился. Как-то раз мы с Жильбертой подошли к торговке, которая всегда была с нами особенно любезна, — Сван покупал у нее пряники, а поедал он их в большом количестве в целях гигиены: они помогали ему от экземы и от запоров, — и Жильберта со смехом показала мне двух мальчиков, похожих на юного художника и юного натуралиста из детских книжек. Один из них не хотел красного леденца, потому что его больше прельщал фиолетовый, а другой, со слезами на глазах, отказывался от сливы, которую ему собиралась купить няня, и наконец полным отчаяния голосом объяснил,

почему: «Я хочу другую сливу — она с червяком!» Я купил на один су два шарика. Но залюбовался я блестящими агатовыми шариками: их держали в плену отдельно — в деревянной чашечке, и они казались мне драгоценными, потому что были веселыми и белокурыми, как девочки, а еще потому, что каждый из них стоил пятьдесят сантимов. Жильберте давали гораздо больше денег, чем мне; она спросила, какой из шариков мне больше нравится. Все шарики были прозрачные и талые, как жизнь. Мне не хотелось оказывать предпочтение какому-нибудь одному за счет других. Мне хотелось, чтобы Жильберта выкупила на свободу все до единого. Тем не менее я указал ей на шарик цвета ее глаз. Она взяла его, повернула так, что в нем вспыхнул золотистый луч, погладила его, заплатила выкуп, но тут же передала своего раба мне и сказала: «Держите, это вам, я вам его дарю на память».

В другой раз я, все еще горя желанием посмотреть Берма в классической пьесе, спросил у Жильберты, нет ли у нее распроданной брошюры, в которой Бергот говорит о Расине. Жильберта попросила сообщить ей точное заглавие, и вечером я послал ей короткую телеграмму, написав на конверте имя, которым я исписал все свои

тетради: «Жильберте Сван». На другой день она принесла мне обернутую, перевязанную лиловой ленточкой и заклеенную белым воском брошюру. «Вот то, о чем вы меня просили», — доставая из муфты мою телеграмму, сказала она. В адресе на телеграмме, вчера еще представлявшей собой всего-навсего исписанный моею рукою «голубой листочек», но после того, как телеграфист вручил ее швейцару Жильберты, после того, как лакей принес ее к ней в комнату, превратившейся в нечто бесценное: в один из «голубых листочков», которые в тот день получила она, я с трудом разобрал выведенные моим почерком ненужные строки, чужие всем этим почтовым штемпелям, карандашным пометкам почтальонов — этим знакам практического осуществления, печатям внешнего мира, символическим лиловым пояскам самой жизни, которые впервые обвивали, скрепляли, возвышали, тешили мою мечту.

А еще как-то раз она мне сказала: «Знаете, вы можете называть меня Жильбертой. Я, во всяком случае, буду называть вас по имени. А то это стесняет». Тем не менее она еще некоторое время говорила мне «вы», и, когда я обратил на это внимание, она усмехнулась и, придумав, построив фразу подобие тех, что в иностранных граммати-

ках приводятся только для того, чтобы мы узнали новое слово, закончила ее моим именем. Из того, что я ощущал тогда, впоследствии у меня, как наиболее яркое, выделилось впечатление, будто я сам некоторое время был на устах у Жильберты, нагой, лишенный социальных особенностей, которые были и у других ее товарищей, и, когда она произносила мою фамилию, ее губы, стараясь особенно отчетливо произносить те слова, какие ей хотелось выделить, — этим она чуть-чуть напоминала своего отца, — точно очистили меня от моих родных, точно срезали с меня кожуру, как очищают плод, если хотят съесть только мякоть, а взгляд Жильберты, переходя на ту же новую ступень близости, что и ее слова, смотрел на меня смелее и, просквоженный улыбкой, сознательный, выражал удовлетворение и даже благодарность.

Но тогда я не ценил этих новых для меня радостей. Одаряла ими не та девочка, которую я любил, и не меня, любившего ее, а другая, та, с которой я играл, и другого меня, у которого не было ни воспоминания о настоящей Жильберте, ни покоренного сердца, а ведь только оно и могло знать цену счастью, потому что только оно и мечтало о нем. Даже вернувшись домой,

я не радовался этими радостями: неизбежность, ежедневно внушавшая мне надежду, что завтра я погружусь в безобманное, спокойное, блаженное созерцание Жильберты, что она призна́ется мне наконец в любви, объяснив, почему до сих пор таила от меня свои чувства, — эта же неизбежность заставляла меня не дорожить прошлым, глядеть всегда только вперед и рассматривать некоторые знаки расположения со стороны Жильберты не сами по себе, не как нечто самодовлеющее, а как новые ступеньки, по которым я шаг за шагом буду продвигаться вперед и наконец дойду до счастья, пока еще недоступного мне.

Изредка оказывая мне эти знаки дружеского расположения, Жильберта доставляла мне и огорчения, делая вид, будто она совсем не рада видеть меня, и часто это бывало в такие дни, когда мне казалось несомненным, что надежды мои сбудутся. Уверенный, что Жильберта придет на Елисейские поля, я, вне себя от восторга, который представлялся мне лишь неясным предвозвещением безмерного счастья, утром шел в гостиную поцеловать уже совсем одетую маму, — на голове у нее была окончательно возведена башня черных волос, а от ее красивых белых пухлых рук еще пахло мылом, — и при виде столбика

пыли, одиноко стоявшего над роялем, услышав звуки шарманки, игравшей под окном «С парада возвращаясь»[245], догадывался, что нынче у зимы до самого вечера пробудет негаданным, светлым гостем весенний день. Во время нашего завтрака дама из дома напротив, отворив окно, мигом отгоняла — так что он стремительно перелетал через столовую — дремавший возле моего стула солнечный луч, который сейчас же снова возвращался додремывать. В школе, в первом часу, я изнывал от нетерпения и скуки, глядя, как солнце доводит золотистую полосу до самой моей парты, словно приглашая меня на праздник, куда я не мог пойти раньше трех часов: в три часа Франсуаза заходила за мной, и мы с ней шли на Елисейские поля вдоль расписанных светом, заполоненных толпою улиц, по обе стороны которых балконы, распахнутые солнцем, сотканные из тумана, плавали перед домами, подобно золотым облакам. Увы! На Елисейских полях Жильберты не было, она еще не

[245] Примечания: 245

«С парада возвращаясь...» — песня, написанная во славу французской армии и генерала Буланже знаменитым парижским шансонье Полюсом, исполнившим ее в первый раз 14 июля 1886 г. Парадоксальным образом небывалый успех песни совпал по времени с волной «буланжизма», а затем с «делом Дрейфуса». В одном из писем 1887 г. Пруст пишет, что хочет пойти на концерт Полюса, чтобы воочию увидеть популярное представление шансонье.

приходила. Стоя на лужайке, которую животворило невидимое солнце, зажигавшее отблески то на одной, то на другой былинке, и на которой слетевшиеся сюда голуби напоминали античные скульптуры, извлеченные мотыгой садовника на поверхность священной земли, я напряженно всматривался вдаль, я с минуты на минуту ждал, что из-за статуи, словно подносившей осиянного своего младенца под благословение солнцу, покажется Жильберта в сопровождении гувернантки. Старая поклонница «Деба» сидела на своем стуле, на том же месте; в знак приветствия она махала рукой сторожу и кричала: «Чудная погода!» К ней подходила женщина получить деньги за стул, — она засовывала в перчатку стоивший десять сантимов билетик и так при этом жеманилась, точно ей подарили букет цветов, и она, желая выразить свою признательность, подыскивает для букета самое почетное место. Засунув билетик, она поводила шеей, поправляла боа и, показав краешек желтой бумажки, видневшийся у нее на запястье, одаряла хозяйку стульев той очаровательной улыбкой, с какой женщина, показывая себе на грудь, спрашивает молодого человека: «Узнаете ваши розы?»

Я вел Франсуазу до самой Триумфальной арки,

но, так и не встретив Жильберту, возвращался на лужайку в полной уверенности, что она уже не придет, и вдруг, около каруселей, ко мне кидалась девочка с громким голосом: «Скорей, скорей! Жильберта уже четверть часа, как здесь. Она скоро уйдет. Мы ждем вас играть в догонялки». Я ходил встречать Жильберту на авеню Елисейских полей, а Жильберта, так как гувернантка, пользуясь хорошей погодой, решила прогуляться, появлялась со стороны улицы Буаси-д'Англа; зайти за дочерью должен был Сван. Итак, я был сам виноват; мне не надо было уходить с лужайки: ведь никогда нельзя было знать наверное, откуда появится Жильберта, на сколько она опоздает, и из-за этого ожидания меня по-особенному волновали не только Елисейские поля в целом и все продолжение второй половины дня — волновали бесконечной протяженностью пространства и времени, каждая точка, каждое мгновение которых таили в себе возможность появления фигурки Жильберты, — но и самая эта фигурка, ибо я знал, что это она пронзила мне сердце тем, что появилась не в половине третьего, а в четыре, в шляпе, а не в вязаной шапочке,

около Послов[246], а не между двумя кукольными театрами, ибо за всем этим я угадывал, что Жильберта была занята чем-то таким, в чем я не мог принять участие и от чего зависело, пойти ей или остаться дома, — я соприкасался с тайной ее жизни, о которой мне ничего не было известно. Эта же тайна тревожила меня, когда, бросившись по приказанию девочки с громким голосом на лужайку, чтобы сейчас же начать играть в догонялки, я видел, как Жильберта, такая живая и резкая с нами, приседала перед любительницей «Деба» (которая говорила Жильберте: «Как приятно на солнышке! Сидишь словно у камелька!»), застенчиво улыбалась ей и напускала на себя такую степенность, что у меня возникал образ другой девочки — той, какою Жильберта была, наверное, со своими родителями, с друзьями родителей, в гостях, какою она была всю остальную часть своей жизни, недоступную моему взору. Больше чем кто-либо помогал мне создать себе о ней представление Сван, некоторое время спустя заходивший за дочерью. Он и г-жа Сван — ведь

[246] Примечания: 246

Послы (Амбассадор) — театр «Амбассадор» находится в садах Елисейских полей недалеко от площади Согласия. Во времена Второй Империи это было очень популярное музыкальное кафе, которое в начале века стало театром.

дочка жила с ними, и ее занятия, игры, круг знакомств зависели от них — были, как и Жильберта, пожалуй даже больше, чем Жильберта (и так оно и должно было быть, поскольку г-н и г-жа Сван являлись для Жильберты всемогущими божествами), полны для меня проистекавшей из этого всемогущества непроницаемой таинственности, томящего очарования. Все, что их касалось, вызывало во мне ненасытимое любопытство, и когда Сван (которого прежде, во времена его дружбы с моими родными, я часто видел и который тогда не возбуждал во мне интереса) заходил за Жильбертой на Елисейские поля, то, как только мое сердце, начинавшее колотиться при одном виде его серой шляпы и плаща с капюшоном, успокаивалось, Сван представлялся мне исторической личностью, о которой мы совсем недавно много читали, каждая черточка которой приковывает к себе наше внимание. Когда при мне говорили в Комбре о его приятельских отношениях с графом Парижским, на меня это не производило никакого впечатления, а теперь в этом было для меня что-то из ряда вон выходящее, как будто до Свана никто никогда не был знаком с Орлеанами; эти отношения отчетливо выделяли Свана на пошлом фоне разного сорта гуляющих, заполнявших

аллею Елисейских полей, и я восхищался тем, что он не отказывался появляться здесь и не требовал к себе от этих людей особого почтения, каковое, впрочем, никто и не думал ему оказывать — такое строжайшее сохранял он инкогнито.

Он вежливо отвечал на поклоны подруг Жильберты и даже на мой, хотя был в ссоре с моими родными, но делал вид, что не узнает меня. (Эти его поклоны напоминали мне прежнего Свана, каким я его так часто видел в Комбре; память о том Сване у меня сохранилась, но — смутная, потому что с тех пор, как я снова встретился с Жильбертой, Сван был для меня ее отцом, а не Сваном из Комбре; подобно тому как мысли, которые теперь соединялись у меня с его именем, разнились от тех, которые связывались с ним прежде и которые больше не приходили мне в голову, когда я думал о нем, так и он сам превратился для меня в другое лицо; и все же я находил искусственную, несущественную, непрямую связь между этим Сваном и прежним нашим гостем; теперь я все ценил в зависимости от того, насколько это выгодно для моей любви, — вот отчего я со стыдом и сожалением, что не могу вычеркнуть их из жизни, возобновлял в памяти годы, когда тому самому Свану, который

был сейчас передо мной на Елисейских полях и которому Жильберта, на мое счастье, наверное, не сказала, как моя фамилия, я часто вечерами казался смешным, потому что просил маму, пившую в саду кофе с ним, с моим отцом, с дедушкой и бабушкой, прийти ко мне наверх проститься.) Сван позволял Жиль-берте поиграть еще четверть часика и, усевшись, подобно всем прочим, на железный стул, брал билет той самой рукою, которую так часто пожимал Филипп VII, а мы опять носились по лужайке, вспугивая голубей, и, красивые, с радужным оперением, сердцевидные, — ветки сирени из птичьего царства, — они искали убежища кто где: один садился на большую каменную вазу, опускал в нее клюв с таким видом, словно кто-то нарочно для него насыпал туда уйму ягод или зерен, и будто бы их клевал; другой садился на статую и как бы увенчивал ее голову одним из тех эмалевых украшений, разноцветность коих оживляет каменное однообразие иных античных скульптур, увенчивал принадлежностью, которая наделяет богиню особым эпитетом, отличающим ее от других божеств, подобно тому как смертных различают по именам.

В один из солнечных дней, когда надежды мои рухнули, я не сумел взять себя в руки и скрыть от

Жильберты свое разочарование.

— А мне именно сегодня так много надо было у вас спросить! — сказал я. — Я думал, что этот день будет иметь большое значение для нашей дружбы. А вы только пришли и уже собираетесь домой! Приходите завтра пораньше — мне необходимо с вами поговорить.

Жильберта просияла и запрыгала от радости.

— Как хотите, мой милый друг, но завтра я не приду! — ответила она. — У нас завтра много гостей. Послезавтра тоже не приду: я пойду к подруге смотреть из ее окна на приезд короля Феодосия[247] — это будет необыкновенно торжественно! — послепослезавтра я иду на «Мишеля Строгова»[248], а там Рождество, а там каникулы. Может быть, меня повезут на юг. Вот это было бы шикарно! Правда, тогда у меня не будет елки. Во всяком случае, даже если я и останусь в Париже,

---

[247] Примечания: 247

Король Феодосий — прототипом этого вымышленного восточноевропейского монарха был, согласно текстологическим исследованиям французских ученых, русский царь Николай II, который действительно посетил Париж в октябре 1896 г. Неоднократно говоря о визите этого монарха в Париж, Пруст в романе «Под сенью девушек в цвету» делает характерную оговорку, назвав короля Феодосием II.

[248] Примечания: 248

«Мишель Строгов» — пьеса по одноименному роману Жюля Верна (1828–1905), написанная в сотрудничестве с Адольфом Денери (1811–1899). Премьера состоялась в театре «Шатле» в 1880 г. Она шла также в 1887–1888 гг. и зимой 1891–1892 гг.

сюда я приходить не буду, мне надо делать с мамой визиты. До свидания! Меня папа зовет.

Домой я шел с Франсуазой по улицам, все еще расцвеченным солнцем, — казалось, то был вечер, когда догорают праздничные огни. Я еле тащился.

— Тут ничего удивительного нет, — заметила Франсуаза, — в это время года вдруг такая жара! Ах, боже мой, сколько сейчас, наверное, больных! Там, наверху, тоже, должно быть, все разладилось.

Сдерживая рыдания, я мысленно повторял слова Жиль-берты, звучавшие радостью от сознания, что теперь она не скоро придет на Елисейские поля. Но обаяние Жильберты, которое, как только я начинал о ней думать, испытывала на себе моя мысль, — а не испытывать его она не могла просто потому, что она работала, — и то особое, чрезвычайное, хотя и безотрадное, положение, в которое по отношению к Жильберте неизбежно ставила меня душевная моя скованность, уже начали примешивать даже к проявлению ее равнодушия нечто романтическое, и на моем лице сквозь слезы уже проступала улыбка, представлявшая собой не что иное, как робкий набросок поцелуя. А вечером, когда пришел почтальон,

я сказал себе то, что говорил потом каждый вечер: «Сейчас я получу письмо от Жильберты. Наконец-то она мне скажет, что всегда любила меня, и откроет тайну, почему она до сих пор в этом не признавалась, зачем притворялась, что может быть счастлива, не видясь со мной, зачем надела личину Жильберты — просто-напросто моей подруги».

Каждый вечер я тешил себя мечтой об этом письме, воображал, что читаю его, произносил вслух фразу за фразой. И внезапно в ужасе умолкал. До моего сознания доходило, что если я получу письмо от Жильберты, то оно, конечно, будет совсем не такое, — ведь это-то письмо я же сам сочинил! Теперь я старался не думать о словах, которые мне хотелось прочесть в ее письме, — старался из боязни, что если я их произнесу, то как раз самые дорогие, самые желанные попадут в разряд неосуществленных возможностей. Если бы даже произошло невероятное совпадение и я получил от Жильберты сочиненное мною самим письмо, то, узнав свое произведение, я уже не мог бы себя убедить, что письмо не от меня, что это нечто реальное, новое, что это счастье, мною не выдуманное, от моей воли не зависящее, что оно действительно дано мне любовью.

В ожидании письма я перечитывал страницу, которая хотя и не была написана Жильбертой, но которую я получил от нее: страницу из Бергота о красоте древних мифов, вдохновлявших Расина, — как и агатовый шарик, брошюра Бергота всегда была у меня под рукой. Меня трогало внимание подруги, которая достала мне эту брошюру; все люди стремятся оправдать свою страсть и бывают счастливы, если обнаружат в любимом существе свойства, за которые можно полюбить, о чем они узнали из книг и из разговоров, потом перенимают эти свойства и видят в них новые доводы в пользу своего выбора, хотя бы эти черты были совсем не те, какие отыскало бы наше стихийное чувство: когда-то Сван пытался доказать с точки зрения эстетической, что Одетта красива, — вот так и я, полюбив Жильберту в Комбре сперва за то, что ее жизнь представляла для меня область неведомого, в которую меня манило погрузиться, перевоплотиться, отрешившись от своей собственной жизни, потому что она была мне не нужна, теперь воспринимал как необычайную удачу то, что Жильберта может в один прекрасный день стать безответной служанкой этой моей слишком хорошо мне известной и надоевшей жизни, стать удобной и

уютной сотрудницей, которая будет по вечерам помогать мне в работе, сличать разные издания. А из-за Бергота, этого бесконечно мудрого, почти божественного старца, я в свое время полюбил Жильберту, еще не видя ее, зато теперь я любил его главным образом из-за Жильберты. С не меньшим наслаждением, чем его страницы о Расине, я изучал оберточную бумагу с большими, белого воска, печатями, опоясанную потоком лиловой ленты, — бумагу, в которой Жильберта принесла мне брошюру Бергота. Я целовал агатовый шарик, составлявший лучшую часть души моей подруги, не легкомысленную, но надежную, которая, хоть ее и приукрашала таинственная прелесть жизни Жильберты, была со мной, находилась у меня в комнате, спала в моей постели. И все же я сознавал, что красота камня и красота страниц Бергота, которую мне отрадно было связывать с мыслью о моей любви к Жильберте, — как будто в те мгновения, когда мне казалось, что моя любовь обращается в ничто, страницы Бергота придавали ей хоть какую-то устойчивость! — существовали еще до того, как я полюбил, что они на мою любовь не похожи, что и та и другая красота сложились благодаря дарованию писателя и по законам минералогии

еще до знакомства Жильберты со мной, что и книга и камень остались бы такими, как есть, если бы Жильберта не любила меня, и, значит, у меня не было никаких оснований вычитывать в них весть о счастье. И между тем как моя любовь, всегда ожидая, что завтра Жильберта объяснится мне в любви, каждый вечер браковала и уничтожала работу, неудовлетворительно выполненную днем, неизвестная работница, обретавшаяся в тени моего «я», не выбрасывала оборванные нити — не стараясь мне угодить, не радея о моем счастье, она располагала их в ином порядке, в том, какого она придерживалась, за что бы ни бралась. Не проявляя особого интереса к моей любви, не утверждая положительно, что я любим, она накапливала поступки Жильберты, казавшиеся мне не-объяснимыми, и провинности, которые я ей прощал. Благодаря этому и те и другие приобретали смысл. Этот новый порядок как будто хотел убедить меня, что я был не прав, когда думал про Жильберту, которая вместо Елисейских полей пошла на детское утро, гуляет со своей наставницей и собирается уехать на новогодние каникулы: «Или она легкомысленная, или она просто послушная девочка». Ведь если б она любила меня, то не была бы ни легкомысленной,

ни послушной, а если б ей и пришлось оказать повиновение, то повиновалась бы она с таким же отчаянием, в каком пребывал я, когда мы с нею не виделись. Еще этот новый порядок убеждал меня, что коль скоро я любил Жильберту, то мне не мешало бы знать, что же такое любовь; он обращал мое внимание на то, что мне всегда хочется показаться ей в самом выгодном свете, и поэтому я уговаривал маму купить Франсуазе непромокаемое пальто и шляпу с голубым пером, а еще того лучше, не посылать ее со мной, так как мне за нее стыдно (моя мать мне на это возражала, что я к Франсуазе несправедлив: Франсуаза — прекрасная женщина, всецело нам преданная), и еще этот новый порядок указывал мне на мое всепоглощающее желание видеть Жильберту, которое было так сильно, что я за несколько месяцев до каникул ломал себе голову, как бы это вызнать, когда она собирается уехать и куда именно, и при этом рассуждал так, что самый приятный уголок в мире — это все равно что место ссылки, если там ее нет, для себя же я мечтал только о том, чтобы навсегда остаться в Париже, при условии, что буду с ней видеться на Елисейских полях; и этому новому порядку нетрудно было доказать мне, что Жильберта не испытывает ни желания

нравиться мне, ни потребности меня видеть. В отличие от меня она почитала свою наставницу, и ей было безразлично, какого я о ней мнения. Она полагала, что если ей нужно пойти с гувернанткой в магазин, то вполне естественно, что она не придет на Елисейские поля; если же ей предстояло поехать куда-нибудь с матерью, то она уже с удовольствием не шла на Елисейские поля. Даже если б она позволила мне провести каникулы там же, где и она, то при выборе места она считалась бы с желанием своих родителей, принимала бы во внимание, что там ее ожидают, как она слышала, всевозможные развлечения, но ни в малой мере не сообразовалась бы с тем, что туда хотят меня отправить мои родители. Иной раз она уверяла, что любит меня меньше, чем кого-нибудь из своих приятелей, меньше, чем любила вчера, потому что по моей оплошности мы проиграли, а я просил у нее прощения, спрашивал, что́ я должен сделать, чтобы она любила меня по-прежнему, чтобы она любила меня больше других; я ждал, что она меня сейчас успокоит, я умолял ее об этом, как будто она могла изменить свое чувство ко мне по своей, по моей воле, чтобы доставить мне удовольствие, только при посредстве слов, в зависимости от того, хоро-

шо или дурно я себя веду. Неужели же я еще не сознавал, что мое чувство к ней не зависело ни от ее поведения, ни от моей воли?

Наконец, этот новый порядок, расчерченный невидимой работницей, доказывал следующее: как бы мы ни утешали себя, что в своем обидном отношении к нам данная особа была неискренна, однако последовательность ее поведения настолько ясна, что против этой ясности наши самоутешения бессильны, и вот именно эта ясность, а вовсе не наши самоутешения, ответит нам на вопрос, как она будет вести себя завтра.

Моя любовь вслушивалась в эти новые для нее речи; они убеждали ее, что завтрашний день будет точно такой же, как и предшествовавшие; что чувство, которое Жиль-берта испытывает ко мне и которое за давностью времени не способно измениться, это — равнодушие; что дружим мы оба, а люблю только я. «Это верно, — отвечала моя любовь, — от такой дружбы ждать нечего, в ней никаких изменений не произойдет». И я мысленно просил Жиль-берту с завтрашнего же дня (или отложив это до праздника, если до праздника оставалось немного, до дня рождения, ну, скажем, до Нового года, словом, до одного из особенных дней, когда время, отказавшись от

наследия прошлого, от завещанных ему печалей, открывает новый счет) покончить с нашей прежней дружбой и заложить фундамент новой.

Я всегда держал под рукой как некую драгоценность план Парижа, потому что на нем всегда можно было отыскать улицу, где жили Сваны. Для собственного удовольствия, а также из своего рода рыцарской верности, я кстати и некстати произносил вслух название этой улицы, так что мой отец, в отличие от матери и бабушки не знавший о моей любви, спрашивал меня:

— Да что это ты все повторяешь название улицы? Там ничего достопримечательного нет, а вот жить там хорошо: Булонский лес — в двух шагах, но таких улиц много.

Я пользовался любым поводом, чтобы навести моих родителей на разговор о Сване; разумеется, я без конца повторял его фамилию про себя; но я ощущал также потребность услышать пленительное ее звучание, проиграть эту музыку, ибо немое чтение ее нот меня не удовлетворяло. Правда, фамилия «Сван», которая мне была так давно известна, стала теперь для меня, как это случается с утратившими дар речи, когда им нужно произнести, казалось бы, самые простые слова, фамилией новой. Она неизменно пребывала в

моем сознании, но сознание все никак не могло к ней привыкнуть. Я расчленял ее, произносил по буквам — ее написание всякий раз оказывалось для меня неожиданностью. И, утратив свою привычность, она в то же время утратила в моем представлении свою безгреховность. Радость, какую она доставляла мне своим звучанием, казалась мне до того порочной, что я боялся, как бы другие не прочли моих мыслей и не переменили разговор, если бы я попытался упомянуть ее. Я беспрестанно заговаривал о чем-нибудь, касавшемся и Жильберты, без конца повторял все те же слова, — я прекрасно знал, что ведь это же только слова, слова, произносимые вдали от нее, слова, которые она не могла слышать, слова бессильные, подтверждавшие то, что было, но неспособные что-либо изменить, и все же мне казалось, что если вот так ворошить, перебирать все, что близко Жиль-берте, то, быть может, я извлеку из этого что-либо для меня отрадное. Я все твердил моим родным, что Жильберта очень привязана к своей гувернантке, словно эта сто раз повторенная фраза в конце концов могла вдруг ввести к нам Жильберту и навсегда поселить ее у нас. Я не уставал восхвалять почтенную даму, читавшую «Деба» (я внушил моим родным, что

это вдова посла, а может быть, даже герцогиня), и восторгался ее красотой, ее осанкой, ее породистостью, но как-то раз сообщил, что Жильберта называет ее госпожой Блатен.

— Ах, вот это кто! — воскликнула моя мать, а я в этот миг готов был сгореть со стыда. — «Берегись! Берегись!» — как говаривал твой покойный дедушка. И ты находишь, что она красива? Да ведь она же уродина, и всегда была уродиной. Это вдова судебного пристава. Ты был тогда еще совсем крошка и не можешь помнить, как я старалась от нее увильнуть на твоих уроках гимнастики, — она была со мной незнакома, но все время подъезжала с разговором о том, что ты «на редкость хорошенький мальчик». Она помешана на знакомствах. Я всегда была уверена, что у нее не все дома — значит, так оно и есть, раз она знакома с госпожой Сван. Будь она самого последнего разбора, я бы о ней дурного слова не сказала. Но ее страсть — завязывать отношения. Она уродлива, чудовищно вульгарна и к тому же еще страшная ломака.

Чтобы походить на Свана, я, сидя за столом, то и дело потягивал себя за нос и тер глаза. Отец говорил про меня: «Он дурачок, на него противно смотреть». Особенно мне хотелось быть таким

же лысым, как Сван. Он казался мне человеком совершенно необыкновенным, и то, что люди, у которых я бывал, тоже знали его и что с ним можно было встретиться невзначай, я воспринимал как чудо. И вот однажды моя мать, по обыкновению рассказывая нам за ужином, что она делала днем, только вымолвила: «Кстати, угадайте, кого я сегодня встретила в Труа Картье[249], в отделении зонтиков? Свана!» — как на почве ее рассказа, для меня очень сухой, мгновенно распустился таинственный цветок. Узнать, что сегодня, выделяясь в толпе необыкновенной своей фигурой, покупал зонтик Сван — в этом была какая-то горькая отрада! Из всех крупных и мелких событий, одинаково для меня безразличных, только это одно пробудило во мне те особенные отзвуки, какими всегда трепетала моя любовь к Жильбере. Отец говорил, что меня ничто не интересует, что я не слушаю, когда при мне говорят о том, какие политические последствия может иметь прибытие в Париж короля Феодосия, в настоящее время гостя Франции и, по слухам, ее союзника. Но зато как же мне не терпелось узнать, был ли на Сване плащ с капюшоном!

---

[249] Примечания: 249

Труа Картье — большой универсальный магазин на углу бульвара Мадлен и улицы Дюфо.

— Вы поздоровались? — спросил я.

— Ну конечно, — ответила мать, у которой, когда она говорила о Сване, неизменно появлялось такое выражение, точно она боялась, что если она признает, что мы со Сваном не в ладах, то кто-нибудь вызовется помирить нас, а ей бы этого не хотелось, так как она не желает знать г-жу Сван. — Он первый со мной поздоровался — я его не приметила.

— Так, значит, вы не в ссоре?

— В ссоре? Да откуда ты взял, что мы в ссоре? — живо отозвалась моя мать, словно я посягнул на видимость ее хороших отношений со Сваном и сделал попытку способствовать их «сближению».

— Наверно, он на тебя в обиде, что ты его больше не приглашаешь.

— Нет такого закона, чтобы приглашать весь свет; а он меня приглашает? С его женой я незнакома.

— Приходил же он к нам в Комбре.

— Ну да, в Комбре он приходил, а в Париже и у него много дел, и у меня. Но уверяю тебя: никто бы про нас не подумал, что мы в ссоре. Пока ему не принесли покупку, мы с ним постояли. Он спросил, как ты поживаешь, сказал, что ты

играешь с его дочерью, — добавила моя мать, и я подивился чуду: оказывается, я существую в сознании Свана, более того — это мое существование отличается достаточной полнотой: ведь когда я, трепеща от любви, стоял перед ним на Елисейских полях, он знал, как меня зовут, кто моя мать, и имел возможность ассоциировать со мной в роли товарища своей дочери кое-какие сведения о моих дедушке и бабушке, об их семье, о местности, где мы гостили, и такие черты из нашей прежней жизни, которые, может быть, даже и мне были неизвестны. Но моя мать, по-видимому, не обнаружила ничего особенно заманчивого в этом отделении Труа Картье, где Сван, пока она была там, воспринимал ее как определенную личность, с которой у него были связаны воспоминания, заставившие его подойти к ней и поздороваться.

Вдобавок, ни для нее, ни для отца разговор о дедушке и бабушке Жильберты, о звании почетного маклера, должно быть, не представлял животрепещущего интереса. Это только мое воображение выделило из людского Парижа и освятило одну семью, подобно тому как оно выделило из Парижа каменного один дом, подъезд коего оно украсило скульптурами, а окна — ху-

дожественной росписью. Эти украшения видел только я. Мои родители утверждали, что дом, где жил Сван, похож на другие дома, построенные одновременно недалеко от Булонского леса, — точно так же и семья Свана, по их мнению, ничем не отличалась от многих других семей биржевых маклеров. Они относились к ней более или менее благожелательно постольку, поскольку она обладала достоинствами, присущими всему человечеству, но не находили в ней ничего выдающегося. Другие семьи, с их точки зрения, отличались не меньшими, а иные — даже большими достоинствами. Так, признав, что дом Свана стоит на хорошем месте, они замечали, что другой дом расположен еще лучше, хотя он не имел никакого отношения к Жильберте, или же заводили разговор о финансистах более высокого полета, чем ее дед; если же на какое-то время и создавалось впечатление, что они со мной согласны, то потом оказывалось, что это недоразумение и оно тут же рассеивалось. Ведь для того, чтобы различить в мире, окружавшем Жильберту, новое качество, в области ощущений подобное тому, какое в области цвета представляет собой цвет инфракрасный, моим родителям не хватало дополнительного, недолговечного

чувства, каким меня наделила любовь.

Если Жильберта предупреждала меня, что тогда-то она на Елисейские поля не придет, то в такой день я старался делать прогулки, которые хоть как-то приближали бы меня к ней. Иногда мы с Франсуазой по моему настоянию совершали паломничество к дому Сванов. Я заставлял Франсуазу по многу раз пересказывать мне то, что она узнала от гувернантки о г-же Сван. «Как видно, она очень верит в образки. Ни за что никуда не поедет, ежели крикнет сова, ежели ей послышится тиканье часов, ежели накануне, в полночь, увидит кошку, ежели вдруг треснет что-нибудь из мебели. Очень уж она верующая!» Я был так влюблен в Жильберту, что если видел старого метрдотеля Сванов, гулявшего с собакой, то от волнения останавливался и пожирал страстным взором седые его бакенбарды.

— Что с вами? — спрашивала меня Франсуаза.

Мы доходили до подъезда, и там единственный в своем роде швейцар, даже от галунов на ливрее которого веяло тем же томящим очарованием, какое я ощущал в имени «Жильберта», оглядывал меня с таким видом, словно ему было известно, что я отношусь к числу людей, по самой природе своей недостойных когда-либо ступить за

порог таинственной жизни, которую ему было поручено охранять, а прорезанные над нею окна антресолей, казалось, понимали, почему они закрыты, и были гораздо больше похожи на глаза Жильберты, сходство с которыми усиливали благородные складки их кисейных занавесок, чем на какие-нибудь другие окна. Иногда мы гуляли по бульварам, и я занимал пост на углу улицы Дюфо; я слышал, что оттуда часто можно видеть, как Сван идет к зубному врачу; и мое воображение так резко отделяло отца Жильберты от остального человечества, его появление в реальном мире вносило в этот мир столько чудесного, что я еще был далеко от церкви Магдалины, а меня уже волновала мысль, что я подхожу к улице, где мне может быть видение.

Но особенно часто, — когда мне не предстояла встреча с Жильбертой, — узнав, что г-жа Сван почти ежедневно гуляет по Аллее акаций, вокруг Большого озера, и по Аллее королевы Маргариты, я тащил Франсуазу к Булонскому лесу. Он был для меня чем-то вроде зоологического сада, где представлены всевозможные флоры, где сосуществуют совершенно разные картины природы: тут холм, за ним грот, луг, скалы, река, ров, опять холм, болото, но где отдаешь себе ясный отчет,

что все это устроено для того, чтобы гиппопотаму, зебрам, крокодилам, кроликам, медведям и цапле было привольнее в этой привычной обстановке, или же чтобы создать для них более живописную рамку; Булонский лес, не менее сложный, объединяющий разнообразные и отъединенные мирки, перемежающий участок, засаженный красными деревьями, американскими дубами, — участок, напоминающий лесное хозяйство в Виргинии, — ельником на берегу озера или строевым лесом, откуда неожиданно появляется закутанная в пушистый мех, быстрым шагом прогуливающаяся женщина с красивыми глазами зверька, был Садом женщин; и точно: по Аллее акаций, засаженной нарочно для них деревьями одной породы, что придавало ей сходство с миртовой аллеей из «Энеиды»[250], любили гулять первые Красавицы. Подобно тому как дети, издали завидев верхушку скалы, откуда должен прыгнуть в воду тюлень, заранее приходят в восторг, так мне, когда я еще был далеко от Аллеи акаций, их разливавшийся кругом аромат уже давал ощущение

[250] Примечания: 250

Миртовая аллея из «Энеиды» — в VI книге «Энеиды» Вергилий говорит о том, как Эней, спустившись в Ад, увидел в миртовой аллее (мирт — дерево, посвященное культу Венеры) души женщин — жертв несчастной любви.

близости и своеобразия сильной и женственной растительной индивидуальности; затем я подходил к Аллее, и от верхушек акаций, унизанных легкими игривыми листьями, отличающихся естественным изяществом, кокетливого покроя, тонкого тканья, облепленных множеством цветков — целыми колониями крылатых, колышущихся редкостных насекомых, наконец, от их названия женского рода, названия нежного, беззаботного, — от всего этого у меня сильно билось сердце, наполняясь, однако, чисто земным желанием, какое рождают у нас в душе вальсы, при звуках которых в нашей памяти всплывают лишь имена красивых женщин, возвещенные лакеем при их появлении на балу. Мне говорили, что в Аллее я увижу элегантных женщин, имена которых, хотя не все они были замужем, обычно ставили рядом с именем г-жи Сван, — впрочем, у большинства из них были не имена, а клички; если у кого-нибудь из них и была другая фамилия, то она представляла собой своего рода инкогнито, которое толковавшие о дамах, чтобы быть понятыми, считали необходимым раскрыть. Думая, что женщинам открыты тайные законы Красоты — поскольку это одна из женских чар — и что женщины обладают способностью претворять

Красоту в жизнь, я заранее принимал как некое откровение их туалеты, выезды, множество мелочей, я вкладывал в них мою веру, как душу, и моя вера придавала этому быстролетному, зыбкому целому стройность произведения искусства. Но мне хотелось увидеть г-жу Сван, и ждал я ее с не менее сильным волнением, чем Жильберту, ибо Жильберта пропитала своею прелестью и родителей, как пропитывала она ею все, что ее окружало, и я любил их так же горячо, но только они будили во мне еще более мучительную тревогу (потому что их пути пересекались в запретной для меня стороне ее внутренней жизни), более того: я благоговел перед ними (ибо, как это будет видно из дальнейшего, я вскоре узнал, что наши с Жильбертой игры были им не по душе), как благоговеем мы перед всеми, кто обладает безграничною властью причинять нам зло.

Когда я видел, как по Аллее акаций, словно это был всего-навсего кратчайший путь к себе домой, быстрым шагом идет г-жа Сван, в суконной курточке, в шапочке с фазаньим пером, с приколотым на груди букетиком фиалок, и одними глазами отвечает на приветствия едущих в колясках мужчин, которые, издали заметив ее силуэт, кланяются ей и говорят друг другу, что

такой шикарной женщины больше нет, — самым большим художественным достоинством и верхом аристократизма мне представлялась простота. Однако уже не простоту, но блеск ставил я на первое место в том случае, если мне удавалось умолить обессилевшую Франсуазу, уверявшую, что у нее «ноги отказываются», погулять еще часок, и я наконец различал вылетавшее на ту аллею, что идет от Ворот дофина, олицетворение царственного величия, олицетворение прибытия высочайшей особы, производившее на меня столь сильное впечатление, какого потом ни одна настоящая королева никогда на меня не производила, ибо у меня уже сложилось более отчетливое и более наглядное представление от королевского могущества, и олицетворение это увлекал лёт пары горячих лошадей, поджарых, расстилавшихся, точно на рисунках Константена Гиса[251], как увлекал он и здоровенного кучера, закутанного, точно казак, и восседавшего на козлах рядом с маленьким грумом, который напоминал «тигра» «покойного Боднора»; я ви-

[251] Примечания: 251

Гис, Константен (1805–1892) — французский художник и график, запечатлевший в своих акварелях и зарисовках светскую жизнь Парижа времен Второй Империи. Творчество Гиса высоко ценил Шарль Бодлер, посвятив ему эссе «Художник современной жизни».

дел, — или, вернее, чувствовал, как ее очертания врезаются в мое сердце явственной, обескровливающей раной, — бесподобную коляску, нарочно сделанную повыше и так, чтобы сквозь «последний крик» моды проглядывала стилизация под старину, а в глубине коляски — г-жу Сван с единственной седой прядью в белокурых теперь волосах, подхваченных тонкою лентою из цветов, чаще всего — из фиалок, придерживавшую длинную вуаль, с сиреневым зонтиком в руке, свободно откинувшуюся на спинку и приветливо улыбавшуюся тем, кто с ней здоровался, многосмысленной улыбкой, в которой я читал лишь монаршье благоволение, хотя на самом деле в ней было больше всего вызова кокотки. Одним эта улыбка говорила: «Я все хорошо помню — это было упоительно»; другим: «Как бы я вас любила! Не повезло нам!»; третьим: «Пожалуйста! Мне еще некоторое время придется ехать в ряду экипажей, но при первой возможности я сверну». Когда навстречу ехали незнакомые, вокруг ее губ все же бродила ленивая улыбка, точно искавшая приюта в ожидании друга или в воспоминании о нем, и тогда о ней говорили: «До чего хороша!» И только для некоторых у нее была заготовлена улыбка кислая, насильственная, несмелая и хо-

лодная, означавшая: «Да, змея, я знаю, что у вас злой язык и что вы обожаете сплетничать! Да мне-то на вас наплевать!» Прошел Коклен[252], о чем-то рассуждая с друзьями и приветствуя проезжавших в экипажах широким театральным жестом. А я думал только о г-же Сван, но притворялся, будто не вижу ее: я знал, что, доехав до Голубиного тира[253], она велит кучеру свернуть и остановиться, а сама пойдет дальше пешком. И в те дни, когда я чувствовал, что у меня хватит смелости пройти мимо нее, я тащил Франсуазу туда же. Немного погодя я в самом деле видел, что по аллее для пешеходов идет г-жа Сван: она шла нам навстречу, расстилая за собой длинный шлейф сиреневого платья, одетая так, как, по понятиям простонародья, одеваются королевы, разряженные и разубранные совсем иначе, чем другие женщины, — шла, посматривая на ручку зонтика, почти не глядя на прохожих, точно главной ее задачей, точно ее целью был моцион, а что она делает моцион на виду и что все взгляды

[252] Примечания: 252

Коклен, Бенуа Констан (1841–1909) — первый актер-комик, непревзойденный исполнитель главной роли в «Мизантропе» и создатель образа Сирано де Бержерака.

[253] Примечания: 253

Голубиный тир — престижный спортивный клуб, расположенный между Мадридскими воротами и аллеей Акаций в Булонском лесу.

обращены на нее — это ей было безразлично. Впрочем, обернувшись, чтобы позвать свою собаку, она мельком оглядывалась по сторонам.

Даже те, кто не знал ее, угадывали по каким-то особенным, необычайным признакам, — а быть может, тут действовала сила телепатии, вроде той, что вызывала бурю рукоплесканий у невежественных зрителей в те мгновения, когда Берма бывала особенно хороша, — что это женщина, пользующаяся известностью. Они спрашивали друг у друга: «Кто это?», иногда обращались с этим же вопросом к прохожему, старались запомнить, как она одета, чтобы ее туалет послужил приметой для их более осведомленных друзей, которые могли бы немедленно удовлетворить их любопытство. Другие гуляющие ненадолго останавливались, и у них происходил такой разговор:

— Вы знаете, кто это? Госпожа Сван! Это вам ничего не говорит? Одетта де Креси!

— Одетта де Креси! Я так и подумал: те же грустные глаза… Но ведь она уже, знаете ли, не первой молодости! Я припоминаю, что я с ней весело провел время в день отставки Мак-Магона.

— Я бы на вашем месте не напоминал ей об этом. Теперь она — госпожа Сван, жена члена

Джокей-клоба, друга принца Уэльского. Да ведь она и сейчас еще обворожительна.

— Вы бы видели ее тогда — какая она была красивая! Жила она в оригинально обставленном особнячке — там у нее было полным-полно китайских безделушек. Помнится, нас доняли крики газетчиков, и в конце концов она сказала, чтобы я одевался.

Смысл этих разговоров был мне неясен, но я улавливал вокруг г-жи Сван невнятный шепот славы. Сердце у меня учащенно билось при мысли, что немного спустя все эти люди, среди которых я, к сожалению, не обнаруживал банкира-мулата, как мне казалось, презиравшего меня, увидят, что безвестный молодой человек, на которого они не обращают ни малейшего внимания, здоровается (по правде сказать, я не был с нею знаком, но полагал, что имею на это право, так как мои родители были знакомы с ее мужем, а я был товарищем ее дочери) с женщиной, славившейся своей красотой, безнравственностью и элегантностью. Однако, подойдя к г-же Сван почти вплотную, я таким быстрым и широким движением снимал шляпу и так низко кланялся, что она невольно улыбалась. Слышался смех. Г-жа Сван ни разу не видела меня вместе с Жиль-

бертой, не знала, как меня зовут, я был для нее — вроде сторожа Булонского леса, вроде лодочника, вроде утки на озере, которой она бросала крошки, — одним из второстепенных персонажей, примелькавшихся, безымянных, лишенных характерных особенностей, как «лицо без речей» в пьесе, появлявшихся во время ее прогулок по лесу. В те дни, когда я не видел ее в Аллее акаций, я иной раз встречался с ней в Аллее королевы Маргариты, где гуляют женщины, желающие или делающие вид, что желают побыть в одиночестве; она-то долго в одиночестве не оставалась, ибо вскоре ее догонял кто-нибудь из друзей, обычно — в сером цилиндре человек, которого я не знал, и они долго говорили между собой, а их экипажи ехали за ними.

Сложность Булонского леса, придающую ему искусственность, делающую из него Сад в зоологическом или в мифологическом смысле слова, я опять почувствовал в этом году, идя через него в Трианон[254], утром, в начале ноября, когда недоступная близость зрелища осени, так быстро кончающегося для тех, что сидят по домам, рождает такую тоску по сухим листьям, что люди

[254] Примечания: 254
Трианон — дворец-павильон в Версальском парке.

буквально бредят ими и не могут уснуть. В моей закупоренной комнате листья, притянутые моим страстным желанием видеть их, уже целый месяц кружились между моими мыслями и любым предметом, на котором я сосредоточивал внимание, — кружились желтыми пятнами, вроде тех, что иногда мельтешат у нас перед глазами, куда бы мы ни обращали взгляд. И вот в то утро дождь наконец перестал, в углах окон с опущенными занавесками улыбался погожий день — так с углов закрытого рта слетает тайна счастья, — и я почувствовал, что смогу увидеть, как желтые листья, во всей их дивной красе, пронизывает солнечный свет. Не в силах побороть в себе желание взглянуть на деревья, так же как в давно прошедшие времена, когда ветер особенно дико завывал в трубе, я не мог не пойти к морю, я пошел через Булонский лес в Трианон. Это был тот час и то время года, когда лес кажется, пожалуй, особенно многообразным не только потому, что он особенно пестр, но еще и потому, что эта его пестрота необычна. Даже в открытых местах, где взгляд обнимает широкое пространство, аллея оранжевых каштанов, тянувшаяся напротив далеких темных громад деревьев, уже безлистых или еще не совсем облетевших, напоминала

начатую картину, словно художник лишь кое-где положил краски, изобразив солнечную аллею, отведенную им для случайной прогулки людей, которых он допишет потом.

Дальше, там, где листья на деревьях были все до одного зеленые, только одному крепышу, бутузу-карапузу со спиленной верхушкой, ветер трепал безобразную красную гриву. В других местах тоже было как бы самое начало весны листьев, а чудесный ампелопсис, улыбавшийся, точно зацветший зимою терновый куст, с самого утра был как бы весь в цвету. И во всем лесу чувствовалось что-то непостоянное, искусственное, как в питомнике или в парке, где, то ли с научной целью, то ли готовясь к празднику, недавно посадили среди самых обыкновенных деревьев, которые еще не успели выкопать, две-три редкие разновидности с неправдоподобной листвой, как бы рождающие вокруг себя простор, воздух, свет. Итак, то было время года, когда Булонский лес обнаруживает особенно много всевозможных пород и объединяет наиболее разнящиеся одна от другой части в многослойное целое. И час дня был тот самый. Создавалось впечатление, что, где еще не облетели деревья, вещество листьев подвергается изменению там, где до них дотянулись

солнечные лучи, еще почти горизонтальные утром и через несколько часов, когда, с наступлением сумерек, они засветятся, точно лампочки, бросят издали на листву искусственные, жаркие отблески и подожгут самые верхние листья, а под охваченной пламенем верхушкой тусклым, несгораемым канделябром будет выситься ствол. Тут лучи утолщались наподобие кирпичей, из которых складывают желтые с голубым узором стены персидских домов, и под самым небом кое-как скрепляли листья каштанов, а там они, наоборот, отрывали их от неба, к которому листья протягивали свои золотые пальцы. К середине ствола одного дерева, одетого в дикий виноград, они как бы прикрепили целую охапку красных цветов (разновидность гвоздики), неразличимых в слепящем блеске. Разные части леса, летом легче сливавшиеся в сплошную густоту зелени, теперь были разграничены. Края почти каждой из них означались более ярко освещенными пространствами или пышной листвой, похожей на орифламму. Точно на раскрашенной карте, явственно различались «Арменонвиль», «Кателанский луг», «Мадрид»[255], Скаковой круг,

[255] Примечания: 255

«Арменонвиль», «Кателанский луг», «Мадрид» — кафе-рестораны в Булонском лесу.

берега озера. Здесь виднелось какое-нибудь бесполезное сооружение, искусственный грот, а там деревья, расступившись, освободили место мельнице, или же ее выдвинула вперед бархатистая площадка лужайки. Чувствовалось, что Булонский лес был теперь не просто лесом, что он исполнял какое-то назначение, не связанное с жизнью деревьев; мой восторг вызывался не только любованием осенью, но и томлением. Томлением — мощным источником радости, бьющимся так, что душа первое время не понимает, почему она радуется, не сознает, что причина ее состояния находится не вовне. Вот почему я смотрел на деревья с нежностью неутоленной — моя нежность переплескивалась через них и безотчетно тянулась к произведению искусства, какое являли собой гулявшие красавицы, которых ежедневно на несколько часов огораживали деревья. Путь мой лежал к Аллее акаций. Я шел меж высоких деревьев, где утреннее солнце по-иному рассаживало их, подстригало, объединяло стволы разных пород и составляло купы. Оно хитростью приманивало к себе два соседних дерева; вооружившись острым топором из света и тени, оно у каждого отсекало полствола и половину сучьев и, сплетя оставшиеся половины, превращало их

то в единый теневой столб, отмежевывавший область солнца, то в единый световой призрак, неестественные, зыбкие очертания которого были оплетены сетью черной тени. Когда луч солнца золотил верхушки, казалось, будто, пропитанные искрящейся влагой они одни держатся на поверхности жидкого изумрудного воздуха, куда остальной лес был погружен, как в море. Ведь деревья продолжали жить по-своему, и если они облетали, то их жизнь еще ярче блистала на чехлах из зеленого бархата, наброшенных на стволы или на белой эмали круглых, как солнце и луна в «Сотворении»[256] Микеланджело, шаров омелы, усеивавших верхушки тополей. Так как деревья благодаря своеобразной взаимной прививке столько лет волей-неволей жили с женщинами одной жизнью, то они вызывали в моем представлении образ дриады, стремительной светской красавицы в разноцветном уборе, которую они осеняют своими ветвями, чтобы и она почувствовала могущество осени; они напоминали мне счастливые времена моей доверчивой

[256] Примечания: 256

«Сотворение» — общая тема пяти фресок купола Сикстинской капеллы работы Микеланджело: «Отделение света от тьмы», «Сотворение солнца и луны», «Отделение неба и воды», «Сотворение человека», «Сотворение женщины».

юности, когда я летел в те места, где под листьями — этими моими неумышленными соучастниками — временно воплощались чудеса женского изящества. Ели и акации Булонского леса переполняли мое существо стремлением к красоте и поэтому сильнее меня волновали, чем каштаны и сирень Трианона, которыми я шел полюбоваться, но красота жила во мне самом, а не в памятниках той или иной эпохи, не в произведениях искусства, не в храмике Любви, у подножия которого лежали груды позолоченных листьев. Я вышел к озеру, дошел до Голубиного тира. Когда-то идеал совершенства заключался для меня в высоте коляски, в худобе лошадей, злых и легких, как осы, с налитыми кровью глазами, как у свирепых коней Диомеда[257], и теперь мной овладело желание взглянуть на все, что я любил, желание не менее пылкое, чем то, которое гнало меня много лет назад на эти же самые дороги; мне хотелось, чтобы перед моими глазами вновь промелькнул рыжий кучер г-жи Сван, под присмотром маленького грума, толстого, как бочонок, с детским лицом св. Георгия, пытавшийся сдержать коней,

[257] Примечания: 257

Диомед — в древнегреческой мифологии фракийский царь Диомед кормил своих коней человеческим мясом. Был побежден Гераклом, бросившим его на съедение собственным коням.

что неслись на стальных крыльях, которыми они испуганно били. Увы! Теперь там ездили только в авто, и управляли ими усатые шоферы, рядом с которыми сидели рослые выездные лакеи. Чтобы удостовериться, так ли очаровательны дамские шляпки, до того низенькие, что их можно было принять всего-навсего за веночки, как они рисовались взору моей памяти, мне хотелось посмотреть на них взором телесным. Теперь у всех были шляпы огромные, с плодами, с цветами и всевозможными птичками. Красивые платья, в которых г-жа Сван выглядела королевой, сменились греко-саксонскими туниками со складками, как на танагрских статуэтках[258], да платьишками из либерти[259] в стиле Директории[260], по которым, точно по обоям, были пущены цветоч-

---

[258] Примечания: 258

Танагрские статуэтки — статуэтки из терракоты, найденные в Греции на раскопках некрополя города Танагры в Беотии в 1872–1880 гг. Статуэтки изображали женщин и детей, одетых в простые туники с вертикальными складками. Эти туники очень быстро вошли в моду в Париже благодаря кутюрье Полю Пуаре и Сезонам русского балета. Пруст называет их «греко-саксонскими туниками»: греко — потому что это туники, а саксонскими — за строгость и геометричность стиля, которые накануне войны ассоциировались со всем «немецким».

[259] Примечания: 259

Либерти — ткань, названная по имени лондонского торговца тканями Артура Либерти, который открыл в 1875 г. в Лондоне магазин восточных и псевдовосточных товаров.

[260] Примечания: 260

…в стиле Директории… — Модницы конца XVIII века носили платья свободного покроя, схваченные на талии, напоминавшие одежды греков, римлян и древних германцев.

ки. У мужчин, которые могли бы гулять с г-жой Сван по Аллее королевы Маргариты, я не видел ни цилиндров, ни каких-либо других шляп. Они гуляли с непокрытой головой. Не веря в эти новые персонажи, я и не вводил их в спектакль, я не мог придать им единство, осязаемость, жизненность; разрозненные, случайные, неживые, они были лишены даже частиц красоты, из которых мой взгляд прежде мог что-то составить. В изящество этих женщин я не верил, их туалеты были, на мой взгляд, невыразительны. А когда теряешь веру, то, чтобы прикрыть наше бессилие придавать жизненность новым явлениям, на смену вере приходит и все сильней укореняется фетишистская привязанность к былому, которое некогда одухотворяла наша вера в него, — как будто это в былом, а не в нас самих, жило божественное начало и как будто причина нынешнего нашего неверия — причина случайная: смерть богов!

«Какой ужас! — думалось мне. — Неужели эти автомобили столь же элегантны, как прежние выезды? Конечно, я очень постарел, но я не могу жить в мире, где женщины наступают себе на платья, которые невесть из чего сшиты. Зачем приходить под эти деревья, если никого уже не осталось из тех, что собирались под их неж-

ными багряными листьями, если пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли? Какой ужас!» Нынче, когда изящества больше нет, меня утешают воспоминания о женщинах, которых я знал когда-то. Но могут ли те люди, которые смотрят на мерзкие эти существа в шляпах с вольерой или с фруктовым садом, — могут ли они хотя бы только чувствовать очарование, исходившее от г-жи Сван в незатейливой сиреневой шляпке или же в шляпке с одним-единственным ирисом, стоявшим прямо? Мог ли бы я передать волнение, охватывавшее меня зимним утром, когда я, встретив шедшую пешком г-жу Сван в пальто из норки, в простенькой шапочке с двумя ножеобразными перьями куропатки, ощущал тем не менее комнатное тепло, каким от нее веяло только благодаря смятому букетику фиалок у нее на груди, живое, голубое цветение которых на фоне серого неба, в морозном воздухе, среди голых деревьев, обладало тою же чудесною особенностью — воспринимать пору и погоду только как рамку и жить в человеческой атмосфере, в атмосфере этой женщины, — тою же особенностью, что и цветы в вазах и жардиньерках ее гостиной, возле топившегося камина, у дивана, обитого шелком,

смотревшие в окно на метель? Притом, если б теперь одевались по-прежнему, меня бы это не удовлетворило. Воспользовавшись спаянностью частей воспоминания, которым наша память не дает расцепиться, так что мы бессильны что-либо от него отделить или что-либо не признать, я хотел бы перед вечером выпить чаю у одной из таких женщин в комнате, покрашенной темной краской, как это было у г-жи Сван (даже через год после того, о чем рассказывается в этой книге), где бы в ноябрьские сумерки мерцали оранжевые огни, где бы пылало багровое зарево, где бы полыхало розовое и белое пламя хризантем и где бы я вновь упустил счастье, как (о чем будет речь впереди), упускал его неизменно. Но теперь, хоть я и ничего не достиг, эти мгновения были бы дороги мне сами по себе. Я хотел бы, чтоб они повторились, как они мне запомнились. Увы! Теперь были только комнаты в стиле Людовика XVI, сплошь белые, уставленные голубыми гортензиями. Да и потом, в Париж стали возвращаться гораздо позднее. Г-жа Сван ответила бы мне из какого-нибудь замка, что вернется не раньше февраля, когда хризантемы уже отцветут, если б я попросил ее восстановить для меня все, из чего сложилось мое воспоминание, связанное, как я

это ощущал, с давно прошедшим временем, с годом, на который мне не дозволено обернуться, из чего сложилось мое желание, не осуществившееся так же, как недостижимым оказалось счастье, в погоню за которым оно в былые годы напрасно бросалось. И еще мне было необходимо, чтобы это были те самые женщины, чьи туалеты вызывали во мне интерес, — в то время, когда я еще верил, мое воображение наделило каждую из них чертами резкого своеобразия и создало о них легенды. Увы! В Аллее акаций — миртовой аллее — я увидел кое-кого из них, состарившихся, превратившихся в жуткие тени того, чем они были когда-то, блуждавших, тщетно что-то искавших в Вергилиевых рощах. Потом они исчезли, а я долго еще напрасно взывал к опустевшим дорожкам. Солнце ушло в тучу. Природа снова воцарялась в лесу, и мысль, что это Елисейский сад женщины, от него отлетала; настоящее небо над игрушечной мельницей было серое; ветер рябил Большое озеро, как всякое озеро; большие птицы пролетали по Булонскому лесу, как по всякому лесу, и с громкими криками, одна за другой, садились

на кряжистые дубы, друидические венки[261] и додонское величие[262] коих словно оповещали о безлюдье утратившего свое назначение леса и помогали мне яснее понять бесплодность моих попыток отыскать в окружающей действительности картины, написанные памятью, ибо им всегда будет не хватать очарования, которое они заимствуют у памяти, и они будут недоступны для чувственного восприятия. Того мира, который я знал, больше не существовало. Если бы г-жа Сван появилась здесь хотя бы чуть-чуть не такой, какою она была, и в другое время, то изменилась бы и Аллея. Знакомые места — это всего лишь пространство, на котором мы располагаем их, как нам удобнее. Это всего лишь тонкий слой связанных между собой впечатлений, из которых складывалось наше прошедшее; воспоминание о некоем образе есть лишь сожаление о некоем

---

[261] Примечания: 261

…друидические венки… — Древние галльские и британские жрецы — друиды, поклонявшиеся природе и совершавшие свое богослужение в лесах, украшали свою голову венками из омелы, чужеядного растения, живущего на различных деревьях, в том числе на дубах.

[262] Примечания: 262

…додонское величие… — Додона — в древнегреческой мифологии одна из океанид, возлюбленная Зевса. Ее именем было названо знаменитое додонское святилище Зевса в Эпире. Центром святилища был Додонский дуб. Из шелеста листьев священного дуба додонские жрицы выводили свои предсказания.

миге. Дома, дороги, аллеи столь же — увы! — недолговечны, как и года.

Примечания

Представив в конце 1912 года рукопись своего романа парижскому издателю Эжену Фаскелю и почти одновременно в «Нувель Ревю Франсез», Пруст получает отказ в обоих издательствах: в первом рецензентом был салонный поэт Жак Мадлен, который, по-видимому, не оставил без внимания того, как обошелся с ним Пруст в своей ранней книге «Утехи и дни»; во втором автором отрицательного отзыва был не кто иной, как Андре Жид, которому придется вскоре признаться в своей слепоте («Мой дорогой Пруст!... Отказ опубликовать эту книгу останется самой тяжкой ошибкой „Н. Р. Ф. “ и (мне стыдно, но большая доля ответственности за нее лежит на мне) одним из самых жгучих раскаяний и угрызений моей жизни... Для меня Вы всегда были... снобом, светским любителем, как нельзя более неприемлемым для нашего журнала...»). Однако наиболее курьезный ответ на предложение опубликовать роман Пруст получил от издателя Оллендорфа, к которому он обратился также в конце 1912 года: «Возможно, я глуп, как пробка, но я не могу по-

нять, как некий господин исписывает тридцать страниц, чтобы рассказать, как он ворочается с боку на бок прежде чем заснуть».

В феврале 1913 года Пруст обращается к Бернару Грассэ, предложив ему оплатить расходы на издание. В это время книга состоит из двух частей, общее название — «Сердечные перебои», первая часть называется «Утраченное время», вторая — «Обретенное время». После того как издатель просит несколько сократить первую часть романа ввиду того, что по объему она значительно превосходит вторую, Пруст меняет общий план книги, разделив ее на три тома. Новое название романа — «В поисках утраченного времени», первый том называется «По направлению к Свану», второй — «У Германтов», третий — «Обретенное время». Роман «По направлению к Свану» выходит в свет в ноябре 1913 года с многочисленными опечатками и погрешностями в наборе. В августе 1914 года публикация цикла приостанавливается в связи с началом войны и призывом Грассэ в армию. Начиная с 1915 года Пруст дорабатывает второй и третий романы трилогии, а в 1916 году разрывает договор с Грассэ. С этого времени роман выходит в «Н. Р. Ф.». Новое издание его вышло в «Н. Р. Ф.» в 1919 году.

Трехчастная композиция романа («Комбре», «Любовь Свана», «Имена стран: имя») соответствовала несколько поспешной попытке внести гармонию в книгу, разрастающуюся по мере поступления отказов от издателей. Для Пруста было важно, чтобы первый том имел определенную цельность. Однако он не мог вместить в него всю историю любовных отношений Рассказчика и Жильберты Сван. Вот почему он решает поделить эту историю между первым томом, в котором рассказывается о нежной юности влюбленных, и вторым, посвященным «девушкам в цвету».

История взросления Рассказчика в Комбре дополняется историей любви Свана, имевшей место еще до рождения героя. Это несколько чужеродный эпизод, даже повествование от третьего лица идет вразрез с повествовательной манерой всей книги. Но Сван — своего рода alter ego Рассказчика, его модель на протяжении всего романа. Существенное различие между персонажами обнаружится позднее: если Сван вплоть до самой смерти так и останется дилетантом, то Рассказчик найдет в себе силы преобразовать в искусство смехотворную никчемность светской жизни. Кроме того, анализ любви и ревности Свана предвосхищает любовный опыт, который

будет суждено приобрести герою. Сван переживает исключительную в своем роде страсть, которая его губит; Рассказчик, которому Жильберта причиняет те же страдания, ту же боль, на которые Одетта обрекла Свана, вытесняет болезнь любви «атлетизмом» письма. Прустовская любовь — это любовь, рождающаяся из душевной тревоги, это своего рода умозрительное построение, в котором другому уделяется очень мало места; другой вызывает ревность, все ту же боль, исцеление от которой могло бы принести его исчезновение. Наконец, включение истории Свана в канву детских воспоминаний (Комбре, Бальбек) объясняется стремлением Пруста обнаружить собственное творческое лицо: он не хочет выглядеть писателем, которого мучает тоска по детству, он готов показать все, на что он способен, представить читателю очертания растущего на глазах романа, автором которого мог быть лишь взрослый человек.

«Чувственное воспитание» Рассказчика, его трудное, болезненное становление писателем предваряется своего рода философией имени, которая предвосхищает уроки «Обретенного времени»: «Реальность, которую я знал, больше не существовала». Реальность — это маска, задача

писателя — снять маску с реальности, используя искусство именования. Вот откуда — «Имена стран: имя».

С. Л. Фокин